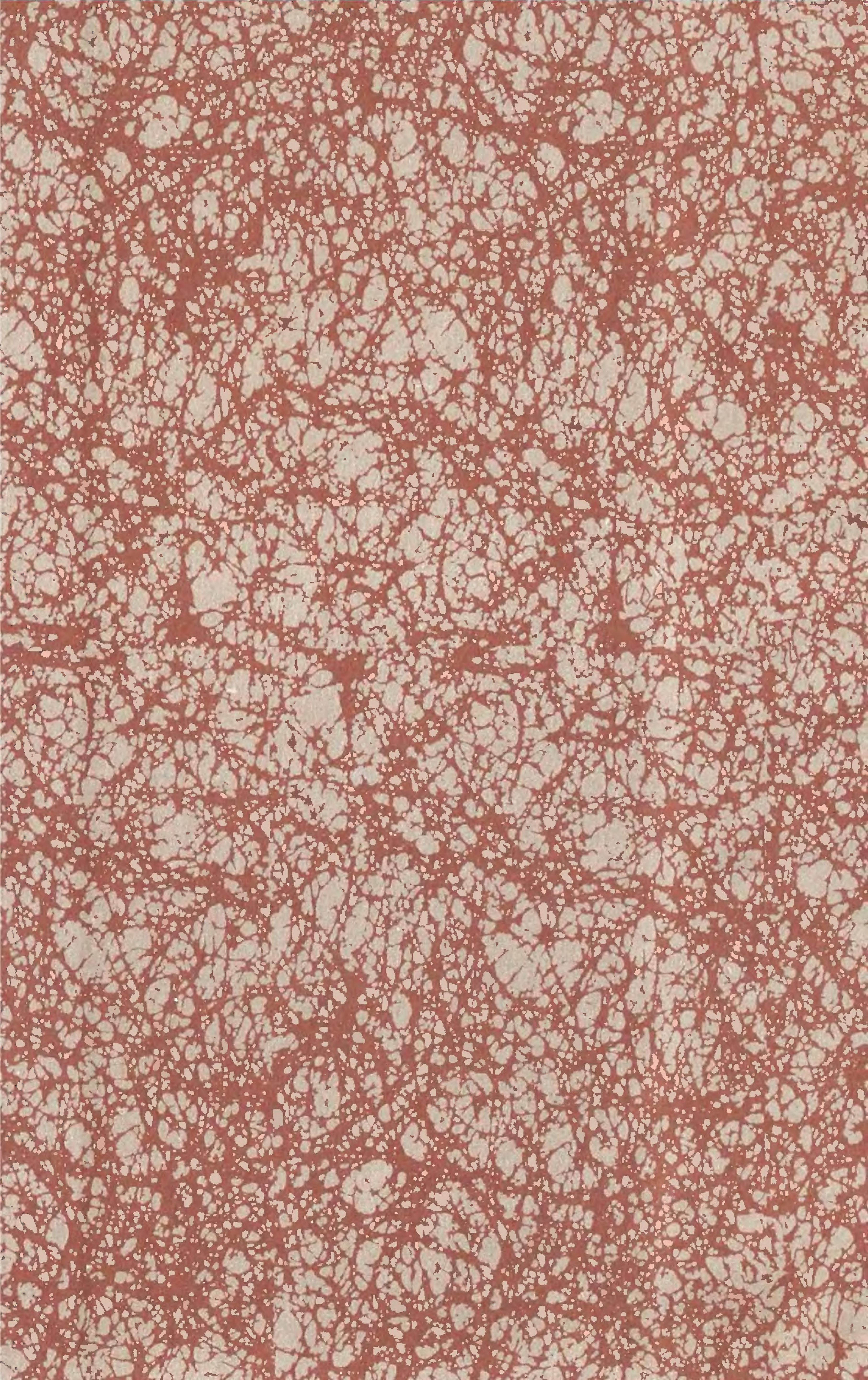
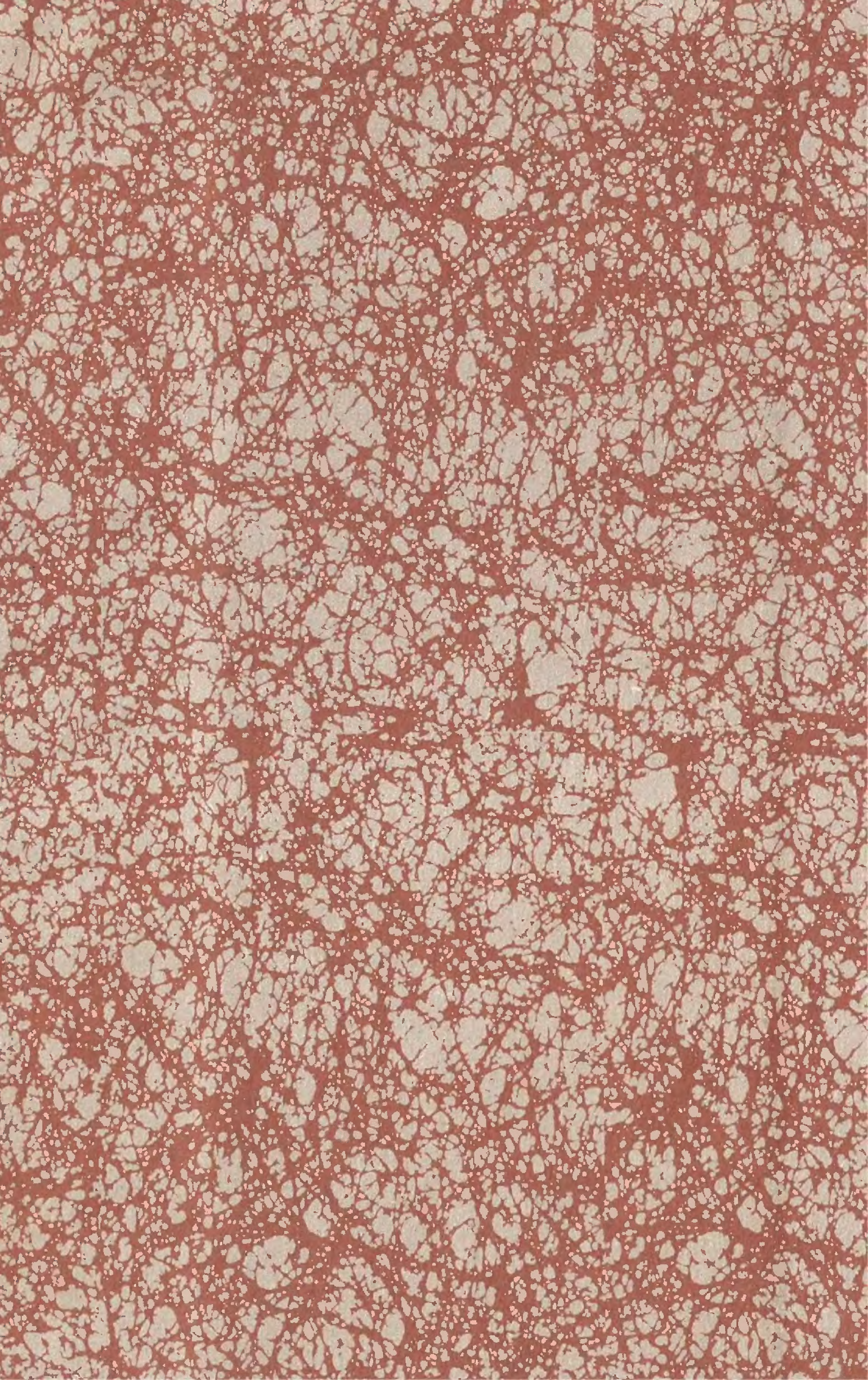
Константин Симонов

РАЗНЫЕ ДНИ ВОЙНЫ





БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

РАЗНЫЕ ДНИ ВОЙНЫ

дневник писателя

ТОМ II

1942—1945 годы

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ»

МОСКВА ● 1981

Р 2
С 37

В книге использованы фотографии военных корреспондентов: Д. Бальтерманца, Г. Зельмы, А. Капустянского, В. Мастюкова, Д. Минскера, П. Трошкина, В. Темина, М. Трахмана, Я. Халипа, Е. Халдея, а также некоторые фотографии, авторство которых не установлено.

В данном томе фотоиллюстрации, подобранные автором, публикуются в сокращенном варианте по отношению к изданию «Молодой гвардии» 1977 года.

С $\frac{7.0302-030}{074(02)-81}$ 440-81 подписное

Сорок второй

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Ночью с 30 на 31 декабря 1941 года я пришел к редактору, чтобы внести некоторые поправки в свой шедший в номер очерк «Июнь — декабрь», и вдруг неожиданно для самого себя решился и попросил у него позволения вылететь утром на два дня в Свердловск, к своим близким, с тем чтобы 2-го или, в крайнем случае, 3-го вернуться в Москву. Редактор согласился и приказал добыть мне место на летевшем туда завтра самолете.

Казалось, все было в порядке. Я уже представлял, как завтра вечером окажусь в Свердловске. Внеся поправки в очерк, я остался в кабинете редактора, он попросил меня посмотреть шедший в номер рассказ Гроссмана «Шагай быстрей». Я должен был найти там двадцать строк для сокращения, а кроме того, Ортенберг заинтересовался: кажется ли мне психологически правдоподобной рассказанная история?

А история была такая: часть, в которой служит поваром герой рассказа, неожиданно оказалась в пятнадцати километрах от деревни, где живет жена повара, которую он не видел уже полгода. Повар давно тяготится своей профессией и просит, чтобы его послали в разведчики. Но командир батальона все не удовлетворяет и не удовлетворяет его

просьбы. Назавтра вечером часть должна двигаться дальше. Непосредственный начальник повара — лейтенант — разрешает ему на ночь глядя сходить в деревню, повидать жену и к вечеру следующего дня вернуться. И повар уже готовится к этому, как вдруг его вызывают к комбату и тот наконец удовлетворяет его просьбу: посылает его в эту же ночь вместе с разведывательной группой в тыл к немцам. Возникает борьба между чувством и долгом, и повар, несмотря на всю силу соблазна встречи с женой, все-таки отправляется в разведку.

На вопрос редактора я ответил, что ситуация, может быть, и не слишком жизненная, но психологически правдоподобная. Если уж сюжетно допустить такую возможность, то психологически, наверно, каждый из нас поступил бы примерно так, как герой этого рассказа.

Я сократил в рассказе Гроссмана двадцать строк и продолжал говорить с Ортенбергом о чем-то другом, как вдруг часа в два ночи пришло сообщение о начале нашей десантной операции в Керчи и Феодосии.

Ортенберг поделился со мной тем, что он услышал по телефону об этих десантах, и сказал, что туда нужно будет послать человека. Честно признаться, я на этот раз не вызвался лететь туда. Редактор тоже делал вид, что вопрос со мной для него уже решен, и даже разговаривал при мне о том, кого послать — Павленко или еще кого-то из корреспондентов. Потом он позвонил и вызвал к себе Павленко. А я пошел в буфет пить чай.

Прошло, наверно, минут пятнадцать. Я успел выпить несколько стаканов чаю, когда в буфет позвонил Ортенберг.

— Слушай, Симонов, зайди ко мне. Я хочу все-таки послать в Крым тебя. Больше некого. Павленко заболел.

Когда я зашел, на редакторском столе еще лежал сокращенный мною рассказ Гроссмана.

— Так вот,— сказал Ортенберг,— выходит, некого послать. В крайнем случае, я могу еще кого-нибудь найти — не Павленко и не тебя,— но мне не хочется. Тебя я не заставляю. Как ты решишь, так и будет. Своих слов обратно не беру — можешь лететь в Свердловск. Ну? — Он нетерпеливо посмотрел на меня.

Я задумался. Очень уж я был, как говорится, одной ногой в Свердловске. Потом мы посмотрели друг на друга, наши глаза сошлись все на том же рассказе Гроссмана, и мы оба невольно улыбнулись.

— Ну что ж,— сказал я,— раз это психологически правдоподобная ситуация, то придется ехать. Только, если можешь, соедини меня перед этим по телефону со Свердловском.

Ортенберг сначала позвонил авиаторам и достал мне место на самолете, шедшем завтра утром до Краснодара. Потом позвонил в Наркомат связи, сказал, что ему лично необходимо в течение пятнадцати минут поговорить со Свердловском. Через десять минут ему дали Свердловск.

Забрав под мышку папку со своими редакторскими делами, он вышел из кабинета и закрыл за собой дверь. А я остался объясняться по телефону. По разным причинам разговор получился невеселый, и я вышел из кабинета со скучной рожей. Ортенберг это тут же заметил и спросил: в чем дело? Я отговорился, что ничего особенного, и пошел к себе, чтобы успеть хоть два часа поспать. Но не успел заснуть, как раздался звонок — меня срочно требовали к редактору.

Оказалось, что, увидев мою физиономию, он по собственной инициативе еще раз добился Свердловска и снова вышел из кабинета, когда я во второй раз разговаривал по телефону.

Второй разговор вышел не лучше первого.

В комнате, где я жил на казарменном положении, спал наш фотокорреспондент Саша Капустянский. У ног его стояли огромные валенки. А мои валенки были тесные, я боялся лететь в них в дальнюю дорогу и впервые в жизни пошел на подлог: вынул из валенок Капустянского портянки, взял эти валенки себе, а на их место поставил свои, аккуратно вложив в них портянки.

По дороге на аэродром мы засадили машину в снег, долго вытаскивали ее и в конце концов приехали — в тот момент, когда наш самолет уже выруливал.

Когда я спросил у дежурного по аэродрому, где самолет, который летит в Краснодар, он показал: «А вот он»,— на уже катившуюся далеко по полю машину.

Было глупо и стыдно. Вдобавок могло создаться впечатление, что не улетел нарочно. Я даже не знал, что делать. В руках у меня был чемоданчик, и я растерянно стоял с ним на аэродроме. Вдруг самолет, который до этого катился по аэродрому, застопорил. Он попал колесами в сугроб и буксовал. Мы с дежурным побежали к самолету и, задыхаясь, добежали до него в тот момент, когда он, погазовав, уже выбрался из сугроба и собирался взлететь.

Оказалось, что на мое место уже взяли второго пассажира, одного засунули в фюзеляж, другой сидел впереди, в штурманской кабине. Самолет был СБ, и лишних мест в нем не было. Но летчик, ругаясь, все же согласился взять меня, и буквально в последнюю минуту меня вместе с моим чемоданчиком подняли на руках и впихнули в штурманскую кабину.

Для того чтобы представить себе дальнейшее, нужно описать кабину. На штурманском месте в ней уже сидел пассажир, а в лобовом целлулоидном щите в специально сделанных прорезях стояли спаренные пулеметы. Меня впихнули и защелкнули снизу люк. Самолет рвануло, и он стал взлетать. Сесть было некуда, и я устроился полусидя, вкось, на рукоятках пулеметов. В этой тесноте я почти не мог пошевельнуться, трудно было даже двинуть рукой, чтобы вытереть лицо или поправить на голове шапку.

Погода была скверная. Мы обходили какие-то бураны, нас качало и трясло. Из пулеметных прорезей врывался холодный воздух, а мороз в этот день и внизу, на земле, был около тридцати.

Когда мы примерно через четыре часа полета сели вблизи Каменска, где тогда размещался штаб Южного фронта, я вылез из самолета полуживой. Лица не чувствовал, рук — тоже, ноги почти не отзывались на боль. Я трясся от холода, но это как раз легче всего было поправить. В столовой у летчиков я выпил триста граммов водки, внутри стало тепло, но, как я ни растирал снегом лицо и руки, они продолжали белеть.

Вдобавок ко всему выяснилось, что сегодня мы дальше не полетим.

Узнав, что здесь поблизости стоит штаб Южного фронта, я вспомнил, что во фронтовой газете работают знакомые ребята, в том числе Коля Кружков. Мне удалось по телефону соединиться с газетой и поймать там Кружкова.

Через полчаса на попутном грузовике я уже ехал в Каменск, с тем чтобы вернуться на аэродром завтра к восьми утра, ко времени вылета. Редакцию удалось найти без особого труда. Я радостно встретился там с Колей Кружковым и познакомился с корреспондентом «Правды» Мартыном Мержановым, которого раньше не знал и который оказался моим неожиданным попутчиком до Краснодара, а потом и до Феодосии.

Я лег на койку и, минут пятнадцать поотвечав Кружкову на его вопросы о Москве, заснул мертвым сном.

Проснулся я от какого-то звяканья. В комнате стояли Кружков и еще кто-то незнакомый. Коля извлекал из ящика стола бутылку. Я спросил, который час. Был уже второй час ночи. Я так и проспал Новый год.

Бутылка, которую вытащил из ящика Кружков, почему-то оказалась «Шато-Икемом». Мы выпили по чайному стакану этого «Шато-Икема», Коля и его спутник ушли из комнаты, а я, пощупав свою обмороженную физиономию, снова завалился спать. Утром, посмотрев в осколок зеркала, я увидел, что щеки, подбородок и лоб покрыты у меня багровыми пятнами, на которых местами запеклась черная корка. В таких же пятнах были и руки. А ноги так распухли, что я с трудом влез даже в валенки Капустянского.

Но делать было нечего, надо было лететь дальше. Пришлось по дороге заехать в госпиталь, где мне намазали чем-то лицо и руки. Руки забинтовали, а на лицо наложили почти полную повязку, оставив только нос, рот и глаза.

Один из моих вчерашних попутчиков — офицер фельдсвязи, заехавший за мной, как мы уговорились с ним накануне, сказал, что мы теперь вылетаем с другого аэродрома и на другой машине, а не на той, на которой летели. Так что чемодан, который у меня остался в ней с сапогами, ватником и водкой, можно было считать пропавшим.

Мы с офицером фельдсвязи и с Мержановым поехали на другой аэродром и после некоторых препирательств с пилотом Скрынниковым, лихим, но заносчивым парнишкой, все-таки уселись в его самолет, на этот раз системы «Вульти». Когда-то мы хотели взять у какой-то американской фирмы лицензию на постройку этих легких пикирующих бомбардировщиков, но потом это намерение не осуществилось, а десяток таких пробных машин остался работать у нас в армии. Машина вообще была удобная: в кабине можно было по-человечески сидеть. Но при хорошей маневренности и скорости до трехсот километров недостаток этих «Вульти» заключался в том, что их было всего несколько на всю страну, контуры их не значились ни в одном справочнике, и уже не раз то наши зенитчики, то летчики норовили сбить эти бедные машины.

Мы сели в «Вульти» и часам к двум дня оказались над краснодарским аэродромом. Внизу было столпотворение вавилонское. В Краснодаре выпал небывалый, чуть не полутораметровый снег; все машины, стоявшие на аэродроме, были занесены им, а по краям аэродрома валялось несколько разбитых самолетов. От снега пока что была рас-

чищена только одна дорожка, на которой скопилось целое стадо машин. С воздуха было видно, что на аэродроме копошатся и работают сотни людей, но пока что садиться было буквально некуда. Садиться в снег значило скапотировать, а на дорожке не хватало свободного места, учитывая изрядный пробег нашего «Вульти».

Скрынникову минут сорок не давали посадки, и он почти до полного расхода горючего все кружился и кружился над аэродромом.

Наконец, решив, что так или иначе ему все равно надо садиться, потому что дальше лететь не на чем, он лихо приземлился, маневрируя между самолетами.

Было уже около трех часов дня 1 января. А мы добрались всего-навсего до Краснодара. Теперь отсюда предстояло добираться или в Керчь, или в Феодосию, по нашему усмотрению.

Дороги с аэродрома в город были переметены; машины не ходили, но трамвай, по слухам, ходил. Мы прошли километра полтора пешком, сели на трамвай и доехали до города. Сюда шесть или семь дней назад, к началу операции, перебралась часть штаба Кавказского фронта во главе с командующим Козловым и членом Военного совета Шаманиным. Остальная часть штаба оставалась еще на прежнем месте, в Тбилиси.

Кроме задания побывать в Керчи или в Феодосии, мне было дано еще второе задание: сделать для газеты так называемую авторскую статью генерала Козлова об этой операции, которую проводил его фронт.

Отдохнув часок на диване у адъютанта, я попал к командующему. Козлову был лет за пятьдесят. Это был человек с двумя орденами за гражданскую, довольно плотный, седеющий, с обрюзгшим недовольным лицом. Был он чем-то непохож на многих других генералов, которых я уже видел на войне. Видимо, непохож тем, что для них война уже давно была в разгаре, а для него она была еще в новинку и он еще психологически не до конца перешел с положения мирного времени на военное положение. Как мне кажется, Иранский поход был для Закавказского фронта своего рода психологическим несчастьем, потому что у людей, которые до начала этого похода еще не участвовали в нынешней войне, создалось совершенно превратное первое впечатление о том, что такое военные действия. И некоторые из них потом расплачивались за это в Крыму.

Козлов рассказал мне о ходе операции, я записал и по-

просил у него разрешения подготовить по этим записям статью. Он дал согласие. Кроме того, я попросил его завтра утром дать мне У-2 для полета в Керчь и написать мне записку, чтобы после возвращения оттуда меня вместе с материалами первым же самолетом отправили обратно в Москву. Все это было мне обещано, и я пошел в оперативный отдел брать дополнительную, нужную для статьи информацию. В течение ночи я получил ее, но написать статью за эту ночь, конечно, не успел и решил сделать это по возвращении из Керчи.

Мержанов оказался в ту ночь более оперативным, чем я. К утру он успел уже передать первую информацию в Москву.

Кстати сказать, постоянный корреспондент «Правды» по Закавказскому фронту Козырев перебрался в Краснодар из Тбилиси только в этот день. Как я понял, именно из-за его нерасторопности сюда перебросили с Южного фронта Мержанова.

Говорю об этом не к тому, чтобы кого-то помянуть дурным словом, а потому, что это вообще больной вопрос, в котором трудно найти правильную линию. Корреспондент, сидящий в штабе фронта, имея под рукой и ВЧ, и телеграф, и телефон, в состоянии передать информацию наиболее оперативно, раньше всех других. Корреспондент, сидящий в штабе армии, особенно во время наступления, уже в значительной мере лишен этой возможности; он может передать только очень короткие телеграммы или буквально несколько слов по ВЧ. Если же говорить о корреспонденте, который оказывается в дивизии или забирается еще дальше, то ему приходится передавать информацию, лишь вернувшись оттуда.

Таким образом, часто тот, кто видел все самолично, в итоге передает информацию позже всех. Этот вопрос всегда был и остается острым.

Труднее всего в этом смысле, конечно, рядовым корреспондентам, которым одновременно вменено в обязанности и видеть все происходящее своими глазами, и передавать своевременно и оперативно информацию, передать которую можно только из штаба. Рядовым корреспондентам в «Красной звезде» не прощали того, что иногда прощали мне, как писателю,— задержку той или иной статьи на один или два дня на том основании, что она написана лучше, чем другие статьи, появившиеся раньше ее.

Утром 2 января мы с Мержановым отправились на

аэродром, где стояли У-2. Один из них было приказано дать нам для полета в Керчь. С утра была метель с сильным ветром. Первые километры до аэродрома мы ехали больше часа, потом машина застряла. Оставалось еще три километра. Мы прошли уже полдороги, когда встретили возвращавшегося с аэродрома летчика, который тоже должен был лететь сегодня на своем У-2 в Керчь. Он вполне официально заявил нам, что на сегодня все полеты отменены, и, когда мы потом, вернувшись, проверили его слова еще и по телефону, оказалось, что все так и есть. Пришлось отложить полет до завтра. С одной стороны, это было скверно, а с другой — хорошо. Теперь я мог подготовить и отправить в редакцию статью Козлова и лететь завтра дальше, в Керчь, уже со спокойной душой.

Получив дополнительные утренние сведения в оперативном отделе, я подготовил статью и передал ее для чтения Козлову. Мне до ночи так и не удалось увидеть его, и я про себя, может быть, и несправедливо подумал, что, наверное, нет на свете более занятого человека, чем еще не привыкший воевать генерал.

Я связался по ВЧ с редактором и доложил ему, что сегодня вылететь в Керчь не удалось, вылечу туда завтра, а до этого утром надеюсь передать по проводу ту статью Козлова, которую от меня требовали.

— Скорей сделай и прилетай,— сказал редактор.— Одна нога там, другая здесь. Главное — быстро сделать и вернуться. Понятно?

Ночью мы с Моржановым зашли к члену Военного совета фронта Шаманину. У него оказались какие-то служебные счеты с Андреем Семеновичем Николаевым, который по-прежнему был членом Военного совета 51-й армии. Я имел несчастье радостно отозваться об этом прекрасном человеке, и Шаманин немедленно начал его честить. Оказывается, когда-то он был подчиненным у Николаева, а лягнуть ногой свое бывшее начальство — большая радость для всякого недоброго человека. Шаманин долго и дурно ругал Николаева; он сидел, а мы с Моржановым стояли перед ним. Беседа продолжалась около двух часов, а мы все стояли и стояли.

Я всегда считал своим долгом в подобных случаях прежде всего помнить, что я человек, одетый в военную форму, а потом уже писатель. Раз начальство не предлагает сесть, стало быть, надо стоять. Но на этот раз, когда такое состояние продолжалось почти два часа, я под конец

смотрел на Шаманина уже с любопытством: додумается он все-таки посадить нас или не додумается? Он так и не додумался. Если он сознательно хотел этим поставить на свое место корреспондентов — еще так-сяк! Гораздо хуже, если он сделал это просто так, нечаянно — тогда это значило, что он так поступает со всеми.

Уже опубликовав свой дневник в журнале, я получил письмо от одного из политработников 2-й ударной армии, куда летом сорок второго года, после Крыма, пониженный, как и Мехлис, в звании поехал начальником политотдела Шаманин. Как я понял из этого письма, понюхав пороха и много пережив, Шаманин там, на новом месте, проявил себя хотя и не уравновешенным, но несомненно храбрым и в общем справедливым человеком.

Получив это письмо, я подумал, что надо дать в моей книге место и этой иной, чем моя, точке зрения на человека, встреченного мною на войне в иное время, в иных обстоятельствах и в ином служебном положении.

Возвращаюсь к дневнику.

Этой же ночью мою статью показали Козлову. Он прочел ее, сказал, что в ней в общем правильно отражены события, но нужно еще посоветоваться с начальником штаба. Поздней ночью я побывал у начальника штаба. Он тоже прочел статью и не имел возражений, но сказал, что надо посоветоваться с моряками.

Представителем моряков в штабе фронта был пожилой вице-адмирал из старых морских офицеров, человек очень высокого роста, стриженный ежиком и своим видом напоминавший мне фотографии времен первой мировой войны.

Вице-адмирал сидел на диване напротив меня, подперев голову рукой и полузакрыв веки. Казалось, что он спит. О том, что он читал статью, свидетельствовала только его рука, мерно перевертывавшая страницы. Наконец он поднял на меня усталые глаза, с полминуты разглядывал меня, как какую-то непонятно зачем к нему попавшую букашку, и, сказав равнодушным голосом: «Я возражений не имею»,— поднялся и ушел.

Ночью статья была снова отдана адъютанту Козлова, и мы с മержановым остались ночевать в штабе на диванах.

С утра опять шла метель, самолеты опять не летели.

А между тем было уже третье число. Тогда мы решили изменить свой план и двухчасовым поездом двинуться в Новороссийск, чтобы оттуда добираться до Крыма морем. В Керчь или в Феодосию — в зависимости от того, куда пойдет ближайший корабль.

Утро ушло на ожидание того, когда Козлов даст «добро» и можно будет отправить статью. Это произошло за двадцать минут до нашего отъезда, и я в последний момент попросил других корреспондентов в порядке товарищеского одолжения передать ее по телеграфу. В Москву статья попала, но по ряду причин в газете не пошла. Впрочем, может, и к лучшему, что статья, повествовавшая об операции, начавшейся столь блестяще и кончившейся столь плачевно, так и не появилась в печати.

Мы добрались до вокзала по заваленным снегом краснодарским улицам и сели в поезд дачного типа, который через шесть часов довез нас до Новороссийска. Мы прошли в темноте под какими-то арками, потом через какой-то туннель и наконец через полчаса ходьбы добрались до набережной, где в небольшом двухэтажном доме помещался штаб Черноморского флота. Я надеялся застать там знакомого мне по Одессе члена Военного совета флота Азарова, но его не было, и пришлось обратиться к комиссару штаба тыла, который посетовал: прибудь мы всего на полчаса раньше, мы бы еще поспели на крейсер «Красный Кавказ», который ровно две минуты назад — комиссар штаба тыла при этом посмотрел на часы — отвалил от стенки и пошел в Феодосию.

Не очень-то доверяя такой слишком уж картинной точности, я попросил все же позвонить в порт, может, крейсер еще не отвалил. Он ответил, что во флоте точность — это действительно точность. Но я все-таки попросил его еще раз позвонить.

Когда он позвонил, выяснилось, что крейсер еще здесь, но должен отвалить с минуты на минуту. Мы взяли у комиссара записку и, как угорелые выскочив из штаба, в сопровождении краснофлотца понеслись по набережной на дальний причал, у которого стоял крейсер. Все причалы были полны судов. Стояла морозная погода, и шел снег. Над морем и над набережной курился густой белый пар. Гулко шагали краснофлотские патрули. Минут через двадцать мы добежали до крейсера, который еще и не думал отваливать. На него догружали орудия, ящики с боеприпасами, автомашины и многое другое. Кроме грузов, на крей-

сере шли в Крым штабные работники 44-й армии, командование которой уже находилось в Феодосии.

Моряки на крейсере по зимнему времени имели не столь щеголеватый вид, как обычно. Они ходили в полушубках, отличаясь только своими черными морскими шапками.

Прошел еще час, прежде чем мы отвалили. Двое моряков рассказывали о первом дне высадки, но мне так хотелось спать, что я не выдержал и заснул.

В Феодосию мы пришли в четыре часа утра. Пришвартовались и начали выгрузку.

Мы с Мержановым по своей корреспондентской торопливости выбрались на берег чуть ли не первыми. Все причалы, весь берег были загромождены ящиками с боеприпасами, еще какими-то ящиками и машинами. Поодаль виднелись фантастические очертания вдребезги разбитых складов, взорванного железа, изогнутых и вздыбленных в небо крыш. У низкой портовой стенки, которую я помнил в Феодосии с детства, с двадцать четвертого года, валялись скрюченные трупы немцев.

Немного поблуждав среди всего этого лабиринта развалин и обломков — результата обстрела нашей артиллерии в ночь высадки и последовавших за нашей высадкой немецких бомбежек,— мы выбрались из пределов порта.

Город поднимался вверх большой подковой. Он был в этот час черным и пустынным. Стоял мороз — девятнадцать градусов, а на юге мороз всегда кажется более злым, чем на севере. С моря дул сильный шквалистый ветер. Дома зияли пустыми разбитыми окнами. Многие были разрушены. То нет половины стены, то прямо в стене дыра от снаряда. Открытые настежь двери со стуком хлопали на ветру, дребезжали и сыпались вниз разбитые стекла, а перегоревшие железные листы спускались с крыш домов, точно знамена, и при сильных порывах ветра с лязгом били по стенам.

Чем выше поднимались в гору, тем больше попадалось нам брошенных немецких машин — и грузовых и легковых. Кое-где на тротуарах и на мостовой еще валялись трупы немцев. Город был взят внезапно. Все машины, которые и в гаражах, и на улицах из-за морозов стояли у немцев со спущенной водой, так и были брошены там, где оставались стоять на ночь.

По виду и по количеству машин нетрудно было определить, что и где размещалось у немцев. Валявшиеся на улицах трупы иногда были полуголые: немцы, застигнутые

врасплох, часто выскакивали из домов в чем попало, а многих убили прямо в домах.

Все это происходило между рождеством и Новым годом. В квартиры, где жили немецкие офицеры, да и солдаты, было натащено съестное со всего Европейского континента. Французское шампанское и коньяк, датское сало, голландский сыр, норвежские селедки и так далее и тому подобное.

Начинало светать. Мы с Մержановым, бродя по городу, заглянули в особый отдел, где нам посоветовали зайти немного позже, обещали, что будет для нас интересный материал. Продолжая бродить по улицам, мы зашли в какой-то дом, где в двух соседних комнатах были расположены зубоврачебный кабинет и немецкая аптека. Стекла были разбиты. Снег лежал прямо на зубоврачебном кресле, а кругом валялись какие-то банки, склянки, пузырьки, патентованные лекарства, таблетки, пилюли. Не то немцы, убегая отсюда, в последний момент все это побили и перевернули, не то наши переворошили все это просто так, дабы нарушить немецкий порядок. Наш брат в таких случаях не в состоянии отказать себе в удовольствии перевернуть и поставить вверх дном все, что попадется под горячую руку.

С началом светлого времени началась бомбежка. Наши зенитные орудия беспомощно стояли на площадях и перекрестках Феодосии. Их было переправлено уже довольно много, но вся беда заключалась в том, что немцы вчера потопили транспорт, который шел сюда со снарядами для зениток. Зенитчики, как им и полагалось по долгу службы, находились возле своих орудий, но стрелять не могли. Все вместе взятое было достаточно драматично.

Немцы налетали на Феодосию не особенно большими группами, по девять, по шесть, а иногда по три и даже по два самолета. Но зато почти беспрерывно, как по конвейеру. Каждые пять минут то в одном, то в другом конце города слышались взрывы. Проходя по улице, а потом возвращаясь через полчаса обратно тем же путем, мы встречали на дороге новые воронки, которых не было, когда мы шли в ту сторону.

У меня был с собой фотоаппарат, и, помня о необходимости снять что-нибудь для газеты, я щелкнул несколько кадров: разрушенные дома, стоящие на перекрестках зенитки. Я не обнаружил при этом особой изобретательности и даже не решился сделать какую-нибудь инсценировку, как это водится среди фотокорреспондентов. Когда мне

приходится снимать, я почему-то всегда испытываю чувство неловкости перед людьми, которых снимаю, и заставить их что-то специально сделать, как-то по-другому встать — выше моих сил. После нескольких снятых кадров моя «лейка» перестала щелкать, очевидно, замерзла.

Часа через полтора в подворотне какого-то дома на одной из центральных улиц мы нашли двоих ребят из армейской газеты 44-й армии. Они потащили нас к себе, кое-что рассказали о происходивших здесь, в Феодосии, событиях, а потом уговорили позавтракать с ними.

Ребята из редакции были в подавленном настроении. Недавно на соседней улице убило одного из их товарищей-корреспондентов. Насколько я понял из их рассказа, его ранило осколком бомбы, но на поясе у него висели гранаты, и он вдобавок взорвался на них. Услышав от нас, что мы пробудем здесь максимум сутки и отплывем обратно с одним из первых пароходов, ребята написали записки в свою редакцию, пока оставшуюся в Новороссийске, и попросили, чтобы мы на обратном пути обязательно завезли их. В этих записках они извещали о смерти товарища.

Пока мы завтракали, в типографию, где мы сидели, пришел старик наборщик — один из двух или трех евреев, которые, по его словам, уцелели во всей Феодосии. По тяжелому предчувствию, он не пошел в немецкую комендатуру, когда там была объявлена регистрация и сбор всех живших в городе евреев, а спрятался и таким образом остался жив до нашего прихода, все же, кто явился — а их было около тысячи человек,— погибли.

Забегая вперед, хочу сказать, что, наверное, никогда не забуду, как ко мне уже потом, в феврале, в Москве пришла женщина, еврейка по национальности, не могу сейчас вспомнить ее фамилию. Узнав, что я недавно вернулся из Феодосии и снова собираюсь туда, в Крым, на Керченский полуостров, она стала расспрашивать меня про Феодосию и про то, могли ли, по моему мнению, остаться там в живых ее старики родители и ее сын, которого она имела несчастье в самом начале войны отправить именно в Феодосию, как в тихое место, к своим старикам. Ну что я ей мог сказать в ответ? Она смотрела на меня с надеждой, а я вспоминал того старого наборщика, который дрожащим голосом рассказывал мне, как все это произошло в Феодосии, и перебирал по пальцам фамилии нескольких людей, оставшихся в живых.

Из типографии Мержанов пошел в особый отдел, а я —

в гараж Союзтранса. По слухам, там стояло несколько сот немецких машин, и мне хотелось их сфотографировать.

На улицах уже не было чувства той ночной тревоги, которая рождалась от темноты, от звона стекол, грохота распахнутых дверей и далеких редких автоматных очередей. Но было другое. Было тяжелое, беспомощное чувство оттого, что немцы все это время безнаказанно бомбили город. До гаража был всего километр, но, пока я дошел туда, мне пришлось два раза растягиваться посреди улицы и ждать, помилует бог или нет.

Стоял холодный, на редкость ясный зимний день. По старой привычке, ложась, я повертывал голову и смотрел вверх и видел, как падают бомбы, черными каплями отваливаясь от самолетов.

В гараже было действительно чудовищное скопление машин: «мерседесы», «опели», грузовики, огромные штабные автобусы. В сторожке, пристроенной к гаражу, я нашел техника-лейтенанта, который рассказал мне, что именно он со своими красноармейцами брал этот гараж и так и остался тут за начальника.

Мы походили с ним по двору. Моя «лейка» вроде бы отогрелась, и я сделал несколько снимков. Уже прощаясь, мы остановились с техником-лейтенантом около сторожки.

— Здоровый гараж,— сказал он.— Сколько барахла навалено! Разве за всем усмотришь? И двор, глядите, какой огромный. Сараи, закоулки, черт его знает! Мы за вчерашний день четверых немцев поймали, прятались здесь среди машин. Стреляли по нас и одного у меня ранили. И сегодня еще одного поймали. Он в автобусе сидел. Забрался под сиденье, провертел себе дырку и стрелял через нее. А они ведь как стреляют? Когда бомбежка начинается, под прикрытием грохота они стреляют. А когда тишина, и у них тишина. Трудно их изловить. Но, кажется, всех изловили. За одним долго по всем сараям гонялись, а все-таки поймали.

Как раз в это время развернулись очередные три «юнкерса» и стали пикировать. Мы прижались к стене. За гаражом на улице раздался грохот взрывов. И вдруг я не услышал, а увидел, как рядом с нами по стене струйкой посыпался кирпич. Мы отскочили за угол.

— Вот черт,— спокойно сказал техник.— Еще один где-то прячется. Зайдем в помещение, а то еще пристрелит дуриком.

Мы вошли в сторожку. Грохот бомбежки стих.

— Теперь пойдем на волю,— сказал техник-лейтенант.— Теперь, в тишине, он стрелять не будет. Это точно.

Было странно, что только что откуда-то стрелял по нас автоматчик.

Техник-лейтенант вызвал двух бойцов и приказал им еще раз обыскать все сараи. Я сунул в полевую сумку несколько валявшихся в гараже иллюстрированных немецких журналов. На одном из них громоздился толстый, с благостным лицом Геринг, на другом Лей, почтительно изогнувшись, пожимал руку Гитлеру.

Из гаража я пошел в дом, где, как мне сказали, размещалась сейчас местная власть. По дороге пришлось еще раз ложиться и пережидать бомбежку. На память вдруг пришло то ощущение усталости и отупения, почти равнодушия, которое у меня было когда-то во время бомбежки в первые дни войны на Западном фронте.

Местная власть помещалась в маленьком доме, уцелевшем посреди наполовину разрушенной улицы. Представителем местной власти оказался лейтенант государственной безопасности, среднего роста, усталый, видимо, замученный бесконечным количеством своих новых обязанностей человек, который сказал мне, что никакая другая власть в город еще не прибыла, так что он пока тут один за всех: и за председателя горсовета, и за начальника НКВД, и за начальника милиции. И швец, и жнец, и на дуде игрец.

— Никогда я не думал, что в городе столько сволочи,— сказал лейтенант.

— А много? — спросил я.

— Много. Черт их знает, откуда их столько набралось!

По его тону я понял: слова о том, что страшно много сволочи, не результат служебного рвения или профессиональной подозрительности, а грустные слова действительно удивленного человека.

Я невольно вспомнил один рассказ, который еще до войны хотел написать про Ялту, но так и не написал, только придумал название «Город брошенных женщин». Это должен был быть рассказ о курортном городе, куда люди приезжают всего на месяц: первого числа начинают здесь свою жизнь, а тридцатого кончают, где приезжие чувствуют себя гостями и где все — любовь и привязанности — чаще всего на месяц. И перед глазами тех, кто живет в этом городе постоянно, вечно проходит калейдоскоп людей, которые приехали сюда ненадолго и которым здесь немного нужно.

Пожалуй, это воспоминание не имело прямого отношения к тому, что говорил мне лейтенант, но мне подумалось тогда, что именно в таких курортных городках и должно было оказаться много всяких людей из прошлого, спрятавшихся, скрывшихся, тихо живших, чего-то ждавших, недовольных, а порой ненавидящих не только власть, но и всех тех, кто приезжает сюда на время, этих гостей из другой жизни.

Я сказал лейтенанту, что хотел бы поговорить с некоторыми из арестованных за сотрудничество с немцами. Он ответил, что едва ли это удастся сегодня, потому что раньше ночи он никого не будет допрашивать, а никаких помощников у него под рукой нет, и вообще он один.

— Ну ладно,— сказал он.— Вот бургомистр Грузинов, отпетая сволочь. Или начальник полиции — все понятно! Но вот вы мне объясните, товарищ. Здесь немцы две недели назад, к Новому году открыли откровенную вербовку в публичный дом. Просто предложили добровольно туда записывать. Так вот здесь у меня документы из магистратуры есть. Оказались такие женщины, которые подали туда заявления. Ну, что с ними теперь делать? Публичный дом немцы не успели открыть — мы помешали. А заявления у меня. Ну, что теперь делать с этими бабами? Откуда они взялись? Пострелять их за это нельзя, не за что, а посадить... Ну, допустим, посадишь, а что потом с ними делать?

Я спросил его, где находится бургомистр.

— Бургомистра я передал в особый отдел армии, он там сидит...

В оставшемся от феодосийской поездки фронтовом блокноте сохранился короткий перечень фактов и имен, сообщенных мне в тот день лейтенантом госбезопасности Б. Г. Великовским. Вот он, этот перечень:

«Немцами расстреляно в городе 917 евреев. 1 декабря была проведена регистрация всех евреев якобы для работы. Велели им явиться с продуктами на два дня, а 3 декабря расстреляли всех, начиная с 12 лет. Детей до 12 лет усыпляли и отдавали матерям. Матерей расстреливали, а их, по существу, закапывали живыми. Отдельно вызывали крымчаков, 12 декабря. Явилось человек 300. Многие, наученные горьким опытом, разбежались. Все, кто явился, были расстреляны, в противотанковом рву; расстреляли из пулемета и зарыли. Стоны раздавались два дня, и часовые

никого не подпускали. Это было за известковым заводом бывшего Бедризова. Такую же операцию готовили и для караимов. Но не успели. Всю эту регистрацию производила городская управа под руководством Андржиевского и Грузинова.

Андржиевский Николай Иванович — инженер-строитель.

Грузинов Василий Софронович — специалист по плодоовощам и виноделию.

Гришин — начальник полиции, бухгалтер».

...Я пошел в особый отдел. Там мне сказали примерно то же, что говорил лейтенант,— допрашивать пока некому и некогда. Я стал настаивать. Тогда мне ответили, что им это делать некогда, но если я желаю допросить бургомистра Грузинова, то они ничего не имеют против этого, сейчас его приведут.

Минут десять я сидел в комнате один и ждал. Продолжалась бомбежка, и дом почти непрерывно трясся. Наконец в комнату вошел красноармеец, а за ним высокий человек в кожаной тужурке, в галифе, в порыжелых сапогах, в кубанке. На вид ему было под пятьдесят. У него было крепкое, еще не старое лицо с крючковатым носом и твердо сжатыми губами.

Очень отчетливо помню то первое ощущение, которое я испытал при виде его. Он был похож по своему типу на начальника какого-то хозяйственного учреждения, рачительного хозяина, тихого с начальством, грозного с подчиненными и ухажористого со всеми попадающими от него в зависимость женщинами.

Этот человек был мне отвратителен. Отвратителен в гораздо большей степени, чем любой пленный немец. В силе этого чувства играли роль два момента: во-первых, он служил немцам, то есть был предателем. А во-вторых, может быть, я все же испытывал бы к нему меньшее физическое отвращение, если бы его можно было хотя бы считать принципиальным нашим врагом, убежденным, что Россия должна быть не такой, какая она есть, и что лучше отдать немцам часть ее территории, чтобы на оставшейся восстановить буржуазное или самодержавное государство, восстановить любой ценой, только бы не жить при Советской власти.

Но у этого человека явно не было никаких принципов,

даже таких. Ему не было никакого дела до судеб России. Его интересовал только он сам, его собственная судьба, его собственное благосостояние. Он был для меня символом всего того спокойного, удовлетворенного и собой и окружающим в условиях удачного стяжательства; всего того мещанского, уныло-жадного, что я ненавидел с детства. Както, помню, я прочел у Хлебникова замечательные слова о том, что отныне млечный путь человечества разделился на млечный путь изобретателей и млечный путь приобретателей. Так вот, передо мной была частичка с млечного пути приобретателей.

Несколько лет назад этот человек пролез в кандидаты партии. Он был директором какого-то плодовинного хозяйства, но, очевидно, его главной мечтой в жизни было стать хозяином, а не просто директором. Надо думать, что он при Советской власти в меру сил старался быть именно таким хозяином, то есть крал и хищничал. Но, ожидая прихода немцев, он чутьем знал, что при них его желания могут исполниться до конца. А то печальное для него теперь обстоятельство, что он стал в свое время кандидатом партии, уравновешивалось другим, радостным обстоятельством — тем, что жена, на его удачу, оказалась немкой из Поволжья и знала немецкий язык. Очевидно, он считал, что при наличии жены-немки ему простят бывшую партийную принадлежность. Уже в дни эвакуации он каким-то хитроумным путем выписал ее с Кавказа к себе в Феодосию. А свою новую карьеру начал с того, что, отправив вперед в эвакуацию всех своих сотрудников, сам остался на месте якобы не то взрывать, не то поджигать склады и погреба. А на самом деле запер, запечатал их и спрятался, пережидая бои.

Когда после боев он снова появился на божий свет, немецкие солдаты начали тащить из этих погребов все, что им попадалось. Тогда он сделал ловкий ход: пошел и пожаловался немецкому коменданту, заявив, что сохранил эти подвалы для того, чтобы ими планомерно пользовалось немецкое командование, а не для того, чтобы сюда приходили и брали что попало. Довольный старательностью этого жлоба, немецкий комендант сразу назначил его управляющим подвалами и приказал ему давать вино только по запискам из комендатуры. Вскоре в ход пошла и жена-немка, устроившаяся работать в магистратуре, а потом Грузинова назначили городским головой.

И его психология, и причины его поступков в течение

всего полуторачасового разговора с ним казались мне совершенно ясными. И только двух вещей я никак не мог понять. Во-первых, он все еще надеялся на что-то и явно не понимал, что никакого другого конца, кроме расстрела, ему ждать не приходится. А во-вторых, он очень боялся бомбежки, которая шла в городе. Очень боялся за свою жизнь. Очевидно, оба эти чувства были связаны одно с другим. Именно потому, что он все еще не верил в безнадежность своего положения, он и боялся бомбежки. Он несколько раз повторял, что он «еще заслужит», и в разговоре со мной оправдывался самым глупейшим образом. Когда я спрашивал его, он ли составлял списки на расстрел евреев и караимов, он ответил, что нет, не он. Когда я стал спрашивать, где же они составлялись, он ответил, что в магистратуре.

— Но вы же были бургомистром!

— Да, был.

— Так вы писали эти списки?

— Нет, я их не писал.

— А кто же их писал?

— Писали работники.

Потом я стал расспрашивать его про свидетельства о благонадежности, которые он одним давал, а другим не давал. Он отвечал на это, что сам он никого не выдал немцам и ни о ком не говорил плохо.

— А кто же говорил?

— Когда немцы меня спрашивали, тогда я им говорил. А если не спрашивали, я не говорил.

— Значит, вы говорили о людях плохое только тогда, когда немцы вас спрашивали о них?

— Да.

И то, что он выдавал немцам людей только после того, как немцы спрашивали его об этих людях, видимо, казалось ему сильно смягчающим его вину обстоятельством. Во всяком случае, он повторил это несколько раз.

Во время нашего разговора с ним на улице упали две серии бомб. Оба раза он при первых звуках бомбежки начинал ерзать на стуле, а потом пытался сползти с него и лечь на пол. В первый раз я удержался, но во второй раз крикнул на него:

— Неужели вы не понимаете, что вас все равно расстреляют? Ну чего вы лезете на пол?

Он с видимым трудом, дрожа, поднялся с пола, сел обратно на стул и сказал:

— Я еще надеюсь, что я оправдаю доверие.

Трудно поверить, что человек в такой обстановке мог выговорить такую фразу, но он ее выговорил. И после этих слов к концу допроса у меня даже не осталось чувства ненависти к нему — были только омерзение и гадливость, доходившие до того, что мне было бы трудно дотронуться до него. Это был уже не человек, а медуза.

После разговора с Грузиновым я встретился в типографии с Мартыном Мержановым, и мы пошли с ним к морякам, которые первыми высаживались здесь с десантом. Они, как мы узнали, оставались здесь, в городе, весь их отряд состоял при комендатуре.

Комендатура помещалась на одной из нижних феодосийских улиц, недалеко от гавани. Дом, словно в воображаемый, геометрически точный круг, был вписан в несколько воронок от бомб, разорвавшихся в этот день и накануне. Все стекла были побиты и заткнуты мешками, а внутри комендатуры горели коптилки. Было тесно, входили и выходили люди. В городе в качестве комендантской роты властвовали те самые моряки из отряда Айдинова, которые остались живы и не ранены после того, как в первую ночь десанта первыми зацепились за берег.

В комендатуре я несколько часов разговаривал с командиром отряда Айдиновым, с комиссаром Пономаревым и с несколькими бойцами. В этих людях еще не остыл веселый задор после удачного десанта, но в то же время они очень устали за эти дни и были обозлены бомбежкой, которая все не прекращалась и, казалось, никогда не прекратится. Думаю, не преувеличу, сказав, что из-за этой злости и беспомощности перед лицом непрекращающейся бомбежки у людей в городе было в тот день нервное настроение. И пожалуй, именно поэтому, стараясь преодолеть свой страх и желание, сделав дело, живым и здоровым уехать отсюда восвояси, я расспрашивал людей особенно дотошно и неторопливо...

В блокноте осталось много записей, приведу лишь одну — рассказ комиссара отряда Н. Ф. Пономарева:

«Бросок семи катеров. За землю зацепились, а там — отдай Феодосию! О чем тут еще говорить? Погибли смертью храбрых: Магометов, Ципулиндра, Шалахов, Замураев. Из трехсот человек погибло восемьдесят два и ранено тридцать шесть. Наше дело было взять порт и ближайшие две улицы. Мы взяли стенку, а потом видим, что паника. Ну что же, стоять, что ли? Давай вперед! И полго-

рода взяли. А у меня было два экземпляра доклада Сталина. Я дал команду — собирать раненых в Дом грузчика. Зашел туда, смотрю, там народ поит раненых, согревает их. Я дал доклад одному пожилому мужчине: на, читай. Кругом него сразу толпа. А рядом больница, родильный дом; сестры прибежали читать. Меня девочка одна встретила: «Дяденька, а можно теперь красный галстук вешать? У меня значок «Будь готов!» есть, я его от немцев спрятала...» В порту мы взяли 225 винтовок, 25 пулеметов, в городе, скромно говоря, 800 груженых машин. Высадились в четвертом часу ночи. Тут же взяли стенку, потом пошли по улицам. Пехота подошла часов в шесть, в семь. К вечеру тридцатого прочесала город до конца. А внутри шла борьба за каждый дом. Моряки тут были первой властью. Тем более курортный городок... Люди тут всегда будут ездить и чтить память».

Перечитываю эти строки и гляжу на фотографию — проект памятника феодосийскому десанту, который скоро встанет в Феодосии на Набережной десантников.

Фотографию эту мне прислал недавно скончавшийся генерал-майор Алексей Николаевич Первушин, человек, чей боевой путь драматически оборвался там, в Феодосии.

Командир 106-й стрелковой дивизии, во главе ее стойко до самого конца прикрывавший в ноябре сорок первого наше отступление из Керчи на Тамань, Первушин в декабре высадился в Феодосии, уже командуя армией. Но на двадцатые сутки боев за Феодосию молодой, тридцатишестилетний командарм был ранен так тяжело, что только после семи месяцев слепоты и тридцати операций, сделанных руками Филатова, к нему частично вернулось зрение. А о возвращении в строй, в действующую армию уже не могло быть и речи.

Передо мной — датированная 18 января 1942 года телеграмма, посланная в штаб фронта, в Краснодар из Феодосии: «Бомбили штаб армии. Командарм, член Военсовета и начштаба ранены».

Так в первый же день немецкого контрнаступления одним ударом была обезглавлена 44-я армия, и с этого началась вся драма ее исхода из Феодосии.

Думая о Первушине и о высаживавшихся когда-то под его командованием в Феодосии людях, я вспоминаю слова комиссара морского отряда Пономарева, сказанные дав-

ным-давно под грохот немецких бомб в одном из самых первых освобожденных нами городов: люди всегда будут сюда ездить и чтить память...

Строки Ольги Берггольц «Никто не забыт, и ничто не забыто» еще не были врублены ни в мрамор Пискаревского кладбища, ни в наше собственное сознание... Но, как видно, потребность в этих, еще не произнесенных словах существовала в душах людей уже тогда, в самый первый год войны.

...В шесть часов вечера, когда уже стемнело, а я кончил свои разговоры с моряками, нам с Мержановым сказали, что вскоре должен сняться с якоря и уйти в Новороссийск какой-то пароход, забыл его название. Мы пошли на пристань. Только что выгрузившееся пополнение шло по улицам, оглядываясь на хлопающие двери и громыхающее от ветра железо.

Мы с Мержановым не дошли до пристани примерно метров триста, как вдруг впереди грохнуло несколько сильных взрывов, поднялся столб пламени, и, когда мы подошли еще ближе, выяснилось, что пароход, на котором мы собирались отплыть, не пойдет. Одна из только что разорвавшихся бомб попала ему в корму.

Немного постояв на пристани в малоприятном соседстве со штабелями выгруженных на нее боеприпасов, мы вернулись обратно в комендатуру, чтобы узнать там, не пойдет ли сегодня что-нибудь еще.

В комендатуре глядя на ночь стало совсем тесно: люди спали вповалку на полу и на диванах. В ожидании коменданта я тоже прикорнул, подложив под голову диванный валик, и, как потом оказалось, проспал целый час. Вернувшись, комендант нацарапал нам на бумажке несколько слов и сказал, что где-то у мола — где точно, он не знал — стоит «морской охотник», который через час или полтора должен сняться и пойти прямым ходом в Новороссийск.

Мы снова двинулись на пристань. Хотя, с точки зрения реальной опасности, за время войны бывали часы и дни гораздо более страшные, но я, наверно, долго не забуду той ночи. То ли у меня расходились нервы, то ли я устал после всех поездок последнего времени, то ли слишком много думал о том, что женщина, которую я очень хотел увидеть, должна со дня на день оказаться в Москве — и эта ночь, может быть, последняя опасность, которая отделяет меня

от встречи,— а в общем, наверное, от всего вместе взятого я испытывал в ту ночь гораздо большую боязнь и даже страх, чем со мной обычно бывало.

Когда мы во второй раз вышли из комендатуры, было совершенно темно, не видно ни зги. Мы дошли до пристаней; недалеко, словно два маяка, продолжали гореть два разбитых бомбами парохода. Правее вдали виднелись еще два зарева повыше — это были зажженные бомбами дома. Феодосийская гавань была как бы в полукольце этих маяков, ориентируясь на которые немцы беспрерывно бомбили.

Мы брели вдоль пристаней. Все было загромождено обломками, ломаным и рваным железом, мятыми, изуродованными нефтяными и бензиновыми баками, сорванными железными крышами пакгаузов. Во тьме мы каждую минуту проваливались в какие-то ямы, наступали на железо, падали. Бродили около часа, но так и не обнаружили ничего похожего на «морской охотник».

Мы шли вдоль портовой стенки, когда вдруг прямо над нами загорелась осветительная ракета. Она горела ослепительным белым светом, и я, догадываясь по опыту, что будет дальше, крикнул Мержанову: «Ложись!» — и сам лег там, где стоял. Слева и справа от меня было что-то вроде укрытия, по обеим сторонам высились какие-то ящики. Ракета продолжала светить, но бомбы еще не падали. Я перевернулся лицом вверх. Все вокруг было залито светом. Было неестественно светло, как в маленькой комнате, в которую засунули огромную электрическую лампу. Я оглянулся направо и налево, чтобы разглядеть, где я лежу.

Сейчас я вспоминаю об этом со смехом, но тогда мне было не до шуток. Я лежал между двумя аккуратными штабелями ящиков с желтыми полосками и с черными надписями «мины». В соседнем проходе между этими же ящиками в той же позиции, что и я, лежал Мержанов. Едва мы успели удостовериться, что лежим между минами, как бухнули подряд три или четыре бомбы. На наше счастье, они упали сравнительно далеко — метрах в трехстах, а может, и дальше. Где-то невдалеке что-то рвануло от детонации, но наши минные ящики остались целы, а заодно с ними и мы.

Ракета погасла. Мы двинулись дальше. Искали катер еще час, но его нигде не было. Тогда, по детским воспоминаниям восстановив мысленно вид Феодосийской бухты, я сказал Мержанову, что, должно быть, комендант имел в

виду тот мол с маяком, который выдается далеко в море с правой стороны бухты, и мы ищем «морской охотник» совсем не там, где он должен стоять.

Теперь мы двинулись с левого края бухты на правый: стараясь сократить себе путь, шли вдоль самого берега.

Бомбежка стихла. Немцы прилетали по одному, но каждый самолет, сбросив бомбы, потом еще долго жужжал в воздухе, пока на смену ему не приходил следующий. Бомбы падали на город с интервалами в десять — пятнадцать минут.

Идя вдоль пристаней, мы увидели, что против того места, где мы недавно лежали, швартуется какое-то судно. Мы подошли к нему. Это был лесовоз «Серов», который только что пришел из Новороссийска и наконец разгружал в Феодосии долгожданные снаряды к зениткам, грузовые машины и баллоны со сжатым воздухом, запас которых был необходим для того, чтобы посадить здесь, в Феодосии, наши истребители.

Мы спросили на всякий случай, когда пойдет обратно этот пароход. Нам сказали, что часа через четыре, как только разгрузится. Мы пошли дальше. В одном месте на пристани продолжали гореть остатки складов и вообще было такое нагромождение обломков, что пройти там ночью было почти невозможно. Тогда мы поднялись повыше в город и стали пробираться дальше уже за чертой портовой стенки, по нижним улицам.

В это время снова началась сильная бомбежка. Мы ложились, наверное, раз десять или пятнадцать. Немцы стали бросать тяжелые фугаски, от которых все вокруг долго стонало и ныло уже после разрыва. Осколки, жужжа, пролетали в воздухе, хлопались о крыши, соскакивали с них.

Улицы поблизости от порта были завалены мертвыми немцами. Одни из них лежали, другие почему-то сидели, и нам несколько раз пришлось падать рядом с ними.

Наконец мы все-таки добрались до мола и пошли по нему. Но «морского охотника» здесь не было.

Теперь нам оставалось только грузиться на лесовоз «Серов», но для этого требовалось пройти обратно вдоль всех пристаней.

Бомбежка продолжалась. Когда мы уже почти добрались до лесовоза, раздался близкий страшный свист; мы легли, прижавшись к низкой южной стенке. Раздался такой грохот, что я еще несколько секунд лежал неподвижно. Вся левая часть тела — голова, рука, нога,— все было

какое-то чужое, ватное, казалось, кто-то силой напихал в меня это чужое.

Мержанов лежал позади меня: я, не оборачиваясь, тронул его ногой и спросил, жив ли он. Он не ответил. Я снова спросил. Он молчал. И только на третий раз, когда я уже заорал во весь голос, он ответил, что жив, но даже если бы он умер, все равно не надо пинать его ногами в голову.

Встав, мы увидели, что перекрестка, к которому мы подходили только что, уже не существует. Бомба упала в самый центр перекрестка и вкось обвалила все четыре дома, стоявшие по четырем углам. Воронка была такая, что нам пришлось обойти кругом через другой квартал, чтобы продолжать свой путь. Это была последняя бомба. После нее два часа было совершенно тихо.

Мы добрались до лесовоза и предъявили документы. Кто-то повел нас в кают-компанию, и мы, смертельно усталые, уселись там в ожидании окончания разгрузки и отплытия. Мержанов попробовал читать, а я, по своему обыкновению, решил переспать неприятные минуты и все-таки заставил себя заснуть.

Проснулся я от удара. Меня швырнуло с дивана и с маху ударило об стенку, а потом об стол. Когда я поднялся, дверь каюты была раскрыта настежь — все уже выбежали. Оказалось, что большая бомба упала недалеко от парохода, вызвала детонацию, взорвались снаряды, и пароход здорово тряхнуло. Как потом выяснилось, этот взрыв образовал трещину в корпусе, и наш лесовоз еле-еле дополз до Новороссийска.

Бомбежка возобновилась с новой силой, но пароход продолжал разгружаться.

Когда я вернулся с палубы в кают-компанию, там сидели трое моряков и разговаривали с помощником капитана. Это были моряки с соседнего, продолжавшего еще гореть парохода. Они рассказывали, как в их пароход попала бомба, как оторвало ногу их буфетчице и как случилось еще что-то и еще что-то... Они сильно замерзли, и здесь, на лесовозе, их немножко согрели водкой. Но выпивка не помогла. Они были грустны, и один из них все время выходил на палубу и, посмотрев на свой пароход, возвращался и повторял:

— Все горит.

В конце концов я все-таки заснул под их разговор и проснулся в восемь утра. Мы шли в открытом море курсом на Новороссийск.

У меня болела вся левая часть головы, рука и нога. Улегшись на эту левую сторону, чтобы меньше чувствовать боль, я стал читать «Войну и мир»; книга, на мое счастье, оказалась в судовой библиотеке.

Потом днем я довольно долго говорил с несколькими моряками нашего лесовоза. Не берусь судить с точки зрения военно-морской стратегии, но из этого разговора, так же как из некоторых личных впечатлений, я вынес ощущение, что мы на Черном море поначалу недостаточно берегли свой торговый флот, недостаточно прикрывали своим военным флотом торговые суда и, поставив на них по две-три пушки, порой пускали их в опасные рейсы. Так получилось, в частности, и в Феодосии, где после великолепной высадки десанта, потом при подброске подкреплений и боеприпасов, многие пароходы шли вразброд, без конвоя, и немцы потопили четыре или пять из них.

Не знаю, быть может, все это и не совсем правильно и точно, но тогда на лесовозе у меня возникло именно такое ощущение. А что до торговых моряков, с которыми я говорил в тот день, то это были храбрые ребята, но в их душах присутствовало горькое чувство обиды и даже некоторой обреченности: ну что ж, может быть, они сделают еще один рейс, может быть, еще один, а там... Наверно, в тот день на них повлияло, что на их глазах только что рядом с ними, в Феодосийской гавани, потопили два парохода. А может, повлияло и то, что их самих целых два часа подряд бомбили, пока они шли без всякого прикрытия в Феодосию.

Я долго думал об этом горьком разговоре и, когда позже прочел Указ о награждении моряков торгового флота, вспомнил ребят с «Серова» и порадовался за них.

Документы Центрального военно-морского архива подтверждают сказанное в моем дневнике об ожесточенности немецких бомбежек Феодосии и о тех жестоких испытаниях, которым подвергались наши суда и при разгрузке в Феодосии, и по дороге туда и обратно.

Вот только некоторые выдержки из этих документов:

«...4.1 «Красный Кавказ» разгружает войска в Феодосии... Авиацией противника в Феодосии потоплен транспорт «Красногвардеец» и сожжен транспорт «Ташкент». Авиабомбами повреждены транспорты «Курск» и «Димитров». ...В результате налета авиации противника 4. 1. 42 в порту Феодосия затонул транспорт «Ногин»... Транспорт

«Зырянин» затонул в результате повреждений, полученных во время налета авиации противника 4.1 на Феодосию. Транспорты «Азов», «Красный профинтерн», «Калинин» и «Курск», следовавшие с войсками в Феодосию, 5.1 направлены для разгрузки в Керченский пролив... Поврежденный в результате ударов авиации противника в районе Феодосии крейсер «Красный Кавказ» 5.1.42 прибыл в Туапсе. Повреждены рули, башни главного калибра, две зенитные установки, перебит гребной вал машины № 3, имеет в корме четыре подводных пробоины, на корпусе много трещин, принята тысяча тонн воды кормовым отсеком, управление кораблем вышло из строя».

Есть в этих документах и абзац, посвященный тому самому «Серову», на котором мы плыли обратно:

«Пароход «Серов», поврежденный при налете самолетов противника на Феодосию, следуя из Феодосии в Новороссийск, в 16.35 5.1.42 в районе Мыс Кызаульский был безрезультатно атакован авиацией противника...»

Мы высадились в Новороссийске вечером и прямо с парохода зашли на ФКП, где я на этот раз застал Азарова. Узнав, что я только что вернулся из Феодосии, и, очевидно, вспомнив, что когда-то, в начале войны, я ходил на подводной лодке, он сказал:

— Вот, товарищ Симонов, приехали бы вы пораньше...

— А что?

— Отправили десанты в разные пункты, в частности, один на подводной лодке. Вам было бы интересно.— Помолчав, он добавил: — Жаль, жаль, что вас не было. Я бы вас устроил!

Глухой ночью мы добрались до редакции армейской газеты 44-й армии, той самой газеты, в чьей выездной редакции мы были в Феодосии. В редакции нас радушно встретили, и мы еще долго сидели и разговаривали.

Привезенное нами известие о смерти товарища вызвало у ребят из редакции ту особого рода грусть, какая бывает у людей, которым очень жаль друг друга, но которые в то же время привыкли считаться и с возможностью собственной смерти.

Наконец нас уложили спать: Мержанова в кабинет к редактору, а меня в соседнюю комнату, где спали машинистки. Бедных девчат потеснили на одну койку, а мне отдали другую. Я заснул как убитый и утром спросонья услы-

шал рядом с собой женский шепот. Открыв на секунду глаза, я вспомнил все сразу и отвернулся к стенке, чтобы дать женщинам одеться. А потом, когда они ушли, оделся сам.

Оказалось, ближайший поезд на Краснодар мы уже проспали, и теперь можно было уехать только во второй половине дня.

Девчата, рядом с которыми я спал в комнате, узнав, о гибели того парня в Феодосии, очень расстроились, и, снова зайдя в их комнату, я застал их обеих плачущими. Одна скоро успокоилась, а другая все еще ходила со вспухшими от слез глазами, и та, которая перестала плакать, обращалась с ней, как с больной. Когда плакавшая девушка ушла, я потихоньку спросил у другой, в чем дело. И она, задыхаясь от волнения, рассказала мне печальную историю о том, что вот эта девушка, которая так плачет, и тот парень, которого убили, они любили друг друга и хотели пожениться. А перед этим он поехал в Феодосию, и они договорились встретиться здесь или там, в Феодосии, и пожениться, и все это уже было договорено между ними, и, конечно, все это ей очень грустно, и она, бедная, плачет.

Я, конечно, посочувствовал этой печальной истории и, увидев еще через полчаса редактора, упрекнул его: зачем же ей так, без подготовки, бухнули? Девушка любила, собиралась выходить замуж; надо было все-таки как-нибудь подготовить ее, а то она теперь рыдает.

— Какая девушка? Кто рыдает? Кто? Что? — недоумевал редактор.

Я рассказал.

— Все неправда,— сказал редактор.— Они почти не знали друг друга. Он был очень хороший парень, но я точно знаю, что это не так. Ну, может быть, нравился ей немного, ничего больше. Уверен, ручаюсь, иначе бы не сказал. Все это фантазия. Им грустно, вот они и нафантазировали.

И когда редактор сказал мне это, я поверил, что он говорит правду, и представил себе, что девушкам, должно быть, все-таки очень тяжело на войне, и тоскливо, и ужасно хочется красивой любви и красивой фантазии, и вот представился случай. Им и правда было очень жаль того парня, но, кроме того, им хотелось придумать вот такую романтическую историю. Это было им душевно необходимо, и история родилась.

Я хотел даже написать об этом стихотворение, но оно не вышло, а потом, сев писать пьесу «Русские люди», почти целиком вставил в нее эту подслушанную в жизни историю.

Вечером мы уехали в Краснодар, попав в один вагон с азербайджанской делегацией, которая везла подарки на фронт под Москву.

Утром прямо с поезда я пошел в Краснодаре в редакцию краевой газеты, к секретарю редакции Копиту — толстому веселому человеку из числа тех провинциальных журналистов, которые все и всех знают. У них в редакции обязательно есть стул, на котором сидел Маяковский, у них все бывали, все выступали, все что-нибудь печатали, а сами они душевно любят литературу и людей, имеющих к ней хотя бы какое-нибудь отношение.

Копит помог мне с машинисткой, и я с ходу продиктовал статью «Последняя ночь» — о взятии Феодосии. Вечером передал статью по прямому проводу и сразу же ночью сел писать вторую — «Предатель» — о Грузинове.

Этой же ночью мне удалось связаться по ВЧ с редактором, и он сказал мне, что одна статья уже получена и чтобы со второй я вылетел прямо в Москву немедленно, при первой возможности.

На следующее утро я, на мое счастье, встретил в бюро пропусков штаба знакомого летчика Тужилина, который когда-то уже возил меня на своем СБ из Ростова в Москву. Он завтра летел в Москву, и я был уверен, что завтра же там мы и окажемся. Тужилин был из тех ребят, которые при любой погоде не любят ночевать в дороге.

На следующий день в пятом часу, перед заходом солнца, мы сели в Москве, на том же аэродроме, с которого я вылетал на юг в канун Нового года...

На этом кончается сделанная во время войны запись о командировке в Крым. Я обнаружил в своем архиве связанную с этой поездкой старую служебную записку Ортенберга, датированную 31 декабря 1941 года и адресованную Николаеву, тогдашнему члену Военного совета 51-й армии.

«Дорогой товарищ Николаев! Поздравляю тебя с первой победой и крепко обнимаю как своего боевого друга. Знаю, что первая победа далась вам нелегко и стоила много крови,— тем значительнее она. Уверен, что дело будет доведено до конца. Посылаю самолетом на несколько дней Симонова. Не ругай его, что он в свое время не возвратился в Крым. Симонов против своего желания был командирован мной на Дальний Север. Прошу тебя помочь Симонову и, главное, быстрее отправить его обратно в Москву с материалами».

Эту служебную записку Ортенберг дал мне с собой, когда я летел в Крым. Ни он, ни я не знали тогда, что я попаду не в 51-ю армию, которая высаживалась в Керчи, а в 44-ю, которая высаживалась в Феодосии. Редактор считал, что если я попаду в ту армию, где Николаев, то надо защитить мое доброе имя в связи с тем, что когда-то, улетая из Крыма, я обещал Николаеву вернуться и не вернулся. А кроме того, редактор счел нужным подчеркнуть, что в данном случае его корреспонденту приказано быстро собрать материал и вернуться в Москву.

Эта фраза в служебной записке была не случайной для Ортенберга. У нашего брата корреспондента порой возникали нравственные трудности: с одной стороны, бывало как-то неловко в разгар событий уезжать или улетать с фронта в Москву, а с другой — интересы дела требовали возвращения. Наш редактор хорошо понимал это, и служебная записка, которую я привел,— один из примеров такого понимания.

Эти страницы книги, связанные с поездкой в Феодосию, уже печатались раньше. И мне хочется привести отрывки из писем двух участников тех событий, о которых идет речь.

В письмах этих присутствует воздух времени, а кроме того, содержатся некоторые фактические уточнения.

Первое из писем от Валентина Дмитриевича Межевича, плававшего тогда на «Серове».

«...Вы правильно оценили тогдашнее положение торговых моряков. К концу войны торговых судов, находящихся в эксплуатации, осталось не более десятка, и в том числе теплоход-рудовоз «А. Серов», на котором Вам пришлось сделать переход из Феодосии в Новороссийск. От лесовоза «Серов» отличался только тем, что у него на палубе были установлены краны, а не грузовые лебедки и стрелы. Вам, как не моряку, эта неточность простительна.

Настроения наши Вами описаны точно. Особенно обидно было то, что мы считались гражданскими. Когда я с молодыми серовцами в Новороссийске попытался добровольно вступить в ВМФ, нам в военкомате отказали. Сейчас же, несмотря на наличие наград, считается, что мы в армии не служили, а при военных операциях только присутствовали.

Но это личное.

Если Вас интересует судьба т/х «А. Серов», то она очень интересная, и я ее могу коротко сообщить. Построен он был незадолго перед войной на Николаевском заводе. Работал на линии Мариуполь — Поти и перевозил руду.

После описанного Вами рейса «Серов» ходил в Керчь, Камышбурун, Севастополь. Из транспортов он ушел из Севастополя последним, так как получил прямое попадание во второй трюм. Пробоина в правом борту было в несколько кв. м. Команда при помощи водолазов поставила пластырь, откачала воду и, имея после 4 пробоин надводный борт не более метра, привела «Серова» в Новороссийск.

Перед сдачей Новороссийска «Серов» был направлен в Батуми на ремонт, но, не доходя Геленджика, получил одну пробоину в третий трюм и выбросился на отмель. Опять команда заделала пробоину и, откачав воду, довела судно до Поти, а затем в Батуми. После окончания ремонта «Серов» плавал на протяжении 1943—44 гг. из Батуми в Трапезунд. Рейсы эти были тоже очень напряженные, т. к. охранение провожало нас только до нейтральных вод, а там судно без вооружения самостоятельно добиралось до Трапезунда. Таким же образом возвращались обратно. Обстановка усложнялась еще тем, что в Трапезунде было немецкое представительство, так что их флот знал о передвижениях теплохода.

После окончания войны, последние годы «Серов» провел в плаваниях в Румынию, Болгарию и порты Средиземного моря. Однако служба его, беспримерно верная, оборвалась в 1949 году, когда «Серов» на траверзе Севастополя подорвался на мине. Дело было зимой в штормовую погоду...

А тем взрывом, о котором Вы вспоминаете, в Феодосии убило моего друга и соученика по школе плавсостава Алешу Кочуровского, его воздушной волной разбило о переборку надстройки.

Своими воспоминаниями Вы почти убедили меня, что я не такой уж трус, ведь мне, 18-летнему пареньку, тогда было тоже очень страшно, но я в то время думал, что это детские игры по сравнению с настоящим фронтом...»

Второе письмо прислал Юрий Михайлович Кокарев, редактор газеты 44-й армии:

«...Насчет одних суток, проведенных Вами в Новороссийске, когда Вы были гостем работников редакции армейской газеты «На штурм», редактором которой я был. Все в основном правильно, но мне хочется рассказать, что запомнил я. Нас не баловали своими визитами писатели. Редакционные кадры наши были в основном провинциальные. Может быть, поэтому та встреча с Вами, в первые дни января 1942 г., стоит в памяти довольно отчетливо.

Вы появились внезапно в совершенно мокрых валенках, мокром комбинезоне. И с порога первая просьба:

— Ребята, водки или спирту...

Вид у Вас был явно замерзающий, и мы сразу стали стягивать с Вас верхнее барахло. Вот спирту или водки у нас не было. Поставили на стол консервы и бутылку рислинга «Абрау-Дюрсо». Конечно, это была не та кондиция, но мы сразу принялись откармливать и отпаивать Вас и Мартына. А часов в 11 вечера Вы начали читать стихи. Причем предложили сами:

— Хотите послушать?..

Прошибли они нас до слез. И это было не от хмеля, а от войны, от печали потери Геннадия Золотцева — 23-летнего москвича, который погиб, не отлюбив, это было от разлук, оттого, что все мы тосковали по нежности. И тут я оскандалился. Когда Вы кончили читать «Жди меня», я полушепотом повторял:

— Как хорошо...

А Вы внезапно предложили:

— Хочешь, отдам... Возьми опубликуй...

Это было неожиданно. И я стал что-то бормотать, что в газету нужно героическое, а не интимно-лирическое. И бил себя по лысеющей голове потом, когда эти стихи опубликовала «Правда».

А вот перед тем, как ложиться спать, Вы у меня выпросили на утро машинистку. И на другой день я был удивлен, когда к 11 часам утра Вы дали мне прочитать своего «Предателя». Мы его сразу отправили в набор. Так что диктовали Вы его не в Краснодаре, а у нас, и мы же первые его опубликовали. Можете проверить по подшивке армейской газеты...»

Из этого письма выходит, что я спутал, где и в какой очередности писал свои феодосийские корреспонденции. На самом деле одну из них продиктовал еще в Новороссийске, а в Краснодаре только вторую...

Но, во всяком случае, когда я 9 января вернулся в Москву, одна из них уже появилась в «Красной звезде», а другая была напечатана сразу же вслед за ней.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Должно быть, потому, что я только что вернулся из Крыма, Ортенберг вдруг вспомнил о моей первой поездке

туда, в 1941 году, и, едва успев напечатать «Предателя», снова вызвал меня к себе:

— Послушай, Симонов, помнишь, когда ты в прошлый раз вернулся из Крыма, ты мне рассказывал, как корпусной комиссар Николаев говорил тебе, что храбрые умирают реже?

Недоумевая, я ответил, что помню.

— Так вот,— сказал редактор,— написал бы ты на эту тему рассказ. Это идея важная и, в сущности, справедливая.

Я ушел от него с некоторой робостью в душе, потому что никогда в жизни не писал рассказов и за время работы военным корреспондентом «Красной звезды» мысль вдруг написать на материале того, что я видел, не корреспонденцию, а рассказ, еще ни разу не приходила мне в голову.

Написать этот первый рассказ помогли воспоминания об Арабатской стрелке, нахлынувшие после разговора с Ортенбергом. Вспомнив Николаева и самое твердое и непоколебимое из всех его убеждений, что храбрых убивают реже, чем трусов, я расположил некоторые подробности того памятного для меня дня так, как мне показалось удобнее, и через два дня положил на стол редактору свой первый рассказ, который назывался «Третий адъютант».

Рассказ понравился, его сдали в набор, а меня послали накоротке — на один-два дня, если не запамятовал — под Можайск, взятие которого ожидалось вот-вот, но произошло неделей позже.

Я вернулся с материалом третьестепенного значения, не пошедшим в газету. Какой это был материал, не помню, записей об этой поездке не осталось. Знаю только, что, вернувшись, я с радостью узнал, что в мое отсутствие в «Правде» было напечатано «Жди меня».

Незадолго перед этим я предлагал его вместе с другим стихотворением — «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» — Ортенбергу для «Красной звезды». «Ты помнишь, Алеша...» Ортенбергу понравилось, и он вскоре его напечатал, а со «Жди меня» поколебался и вернул мне, сказав, что эти стихи, пожалуй, не для военной газеты, мол, нечего растравлять душу солдата — разлука и так горька!

Наша «Красная звезда» помещалась тогда в том же самом здании, что и «Правда» и «Комсомолка». После возвращения из Феодосии я по дороге из машинного бюро встретился в редакционном коридоре с редактором «Правды» Петром Николаевичем Поспеловым. И он повел меня

к себе в кабинет попить чаю. Я думал, он хочет расспросить меня о поездке в Феодосию; у него вообще была привычка затаскивать к себе и за стаканом чаю расспрашивать, где кто был и что видел. Но на этот раз, против моего ожидания, разговор зашел не о поездке, а о стихах. Посетовав, что за последнее время в «Правде» маловато стихов, Поспелов спросил, нет ли у меня чего-нибудь подходящего. Я сначала ответил, что нет.

— А мне товарищи говорили, будто вы недавно тут что-то читали.

— Вообще-то есть,— сказал я.— Но это стихи не для газеты. И уж во всяком случае, не для «Правды».

— А почему не для «Правды»? Может быть, как раз для «Правды».

И я, немножко поколебавшись, прочел Поспелову не взятое в «Красную звезду» «Жди меня». Когда я дочитал до конца, Поспелов вскочил с кресла, глубоко засунул руки в карманы синего ватника и забегал взад и вперед по своему холодному кабинету.

— А что? По-моему, хорошие стихи,— сказал он.— Давайте напечатаем в «Правде». Почему бы нет? Только вот у вас там есть строчка «желтые дожди»... Ну-ка, повтори мне эту строчку.

Я повторил:

— «Жди, когда наводят грусть желтые дожди...»

— Почему «желтые»? — спросил Поспелов.

Мне было трудно логически объяснить ему, почему «желтые».

— Не знаю, почему «желтые». Наверное, хотел выразить этим словом свою тоску.

Поспелов еще немножко походил взад и вперед по кабинету и позвонил Ярославскому.

— Емельян Михайлович, зайдите, пожалуйста, ко мне...

Через несколько минут в редакторский кабинет вошел седоусый Емельян Михайлович Ярославский в зябко накинутой на плечи шубе.

— Прочитайте, пожалуйста, стихи Емельяну Михайловичу,— сказал Поспелов.

Я еще раз прочел свое «Жди меня», теперь уже им обоим.

Ярославский выслушал стихи и сказал:

— По-моему, хорошо.

— А вот как вам кажется, Емельян Михайлович, эти

«желтые дожди»... Почему они желтые? — спросил Поспелов.

— А очень просто,— сказал Ярославский.— Разве вы не замечали, что дожди бывают разного цвета? Бывают и желтые, когда почвы желтые...

Он был сам живописцем-любителем и, наверное, поэтому нашел для моих «желтых дождей» еще один довод, более логический и убедивший Поспелова больше, чем мои собственные объяснения.

Потом они оба попросили меня в третий раз прочесть стихи. Я прочел и оставил их Поспелову, сказавшему: «Будем печатать». А через несколько дней, вернувшись из-под не взятого еще вопреки ожиданиям Можайска, увидел свое «Жди меня» напечатанным на третьей полосе «Правды».

Примерно в те же дни, когда было напечатано «Жди меня», у меня созрело решение написать пьесу о том, что я успел увидеть на войне. Первым толчком, пожалуй, была еще та декабрьская встреча с московскими актерами, когда они в разговоре со мной посетовали, что война идет под боком, а пьесы об этой войне у них нет. «Вот взяли бы да написали...»

Я начал писать пьесу в середине января и кончил в середине марта. Три недели из этих двух месяцев ушли на две фронтовые поездки.

Уже начав писать пьесу, я попросил месячный отпуск, но получил на первый случай только двадцать дней.

Перебирая письма, сохранившиеся у моих уезжавших в эвакуацию родителей, я нашел несколько слов об этом отпуске, написанных в шутливом тоне; я считал тогда, что он действует на них успокаивающе:

«С сегодняшнего дня, а именно с 21.1.42, дитяти вашему дан двадцатидневный отпуск для написания военной пьесы. По использовании этого отпуска сын ваш предполагает отправиться опять на крайний юг. Впрочем, сие зависит также и от желания редактора» [1].

В бумагах военного времени я нашел еще несколько страничек, связанных с работой над пьесой. Они были написаны через год, в марте 1943-го, для американского телеграфного агентства — к тому времени «Русские люди» были изданы в Англии и поставлены на американской сцене:

---

[1] Готовя настоящее издание «Разных дней войны», Константин Михайлович Симонов привел содержание своих писем к родным в точное соответствие с оригиналами. *(Прим. ред.)*

«Когда я принес режиссеру Горчакову последний акт пьесы, он спросил меня:

— Слушайте, когда вы успели это написать?

И этот вопрос был сложнее, чем мог показаться с первого взгляда. Должно быть, я быстро написал эту пьесу потому, что начал ее не в тот день, когда стал диктовать стенографистке, а в тот день, когда попал на войну.

Среди того, что я видел на войне, было немало такого, о чем хотелось поговорить подробнее, глубже, серьезнее, чем это удается в рядовой газетной корреспонденции. В июле сорок первого я был в полку, оборонявшем Могилев. Там я встретился с людьми, защищавшими этот город до последнего патрона, когда он уже был обойден и справа и слева. Там, в Могилеве, у меня впервые родилась мысль, что если я останусь жив, то обязательно напишу что-то о людях, защищающих этот город, оторванных от своих и все же не унывающих и не склоняющих головы перед бедствием. Потом, в августе, я попал в Одессу, в тяжелые для нее дни, когда резервы считали по пальцам, а подкрепления все еще не подходили. Немцы заняли станцию, где начинался городской водопровод, в городе почти не было воды, ее выдавали стаканами, за ней стояли в очереди. Но город все-таки оборонялся, и там, в Одессе, у меня родилась мысль написать потом какую-то большую вещь об осажденном городе.

Потом, в сентябре, я был в Крыму. Во время боев я попал на голую песчаную косу, на ней было безводно и сухо, а с двух сторон была соленая вода. Вместе с другими оказавшимися там в это время людьми мне пришлось туго, и в одну из тяжелых минут я подумал, что обязательно нужно остаться в живых, чтобы потом написать обо всем этом.

Потом я оказался на Крайнем Севере, на полуострове Рыбачьем, где в совершенно других, полярных, условиях люди, как и в Одессе, были в положении осажденного гарнизона. И я подумал, что, верно, надо написать вот о таком кусочке русской земли, осажденном, но непобедимом.

Во время нашего декабрьско-январского наступления я входил вместе с нашими войсками в освобожденные города, видел в них и следы мужества, и следы страданий, видел пленных немцев и попавших в наши руки предателей. Это добавило мне что-то необходимое, что-то такое, чего недоставало раньше для того, чтобы начать пьесу.

Все это вместе взятое и было настоящим началом работы над «Русскими людьми». И хотя, когда я писал пьесу, я дважды отрывался от нее для поездок на фронт, но сказать

«отрывался», наверное, не совсем точно, потому что и во время этих поездок жизнь подсказывала мне еще что-то нужное для пьесы. Может быть, я ее написал не медленнее, а быстрей именно потому, что отрывался от нее для поездок...»

Перечитывая сейчас эти отправленные весной 43-го года в Америку страницы, я, конечно, замечаю налет некоторого бравирования своим фронтовым опытом.

Однако и на самом деле обстановка окружения, отрезанности, в которой мне несколько раз приходилось бывать, вызвала к жизни именно такой, а не иной сюжет пьесы.

Я сидел в Москве и писал военную пьесу. Сначала она называлась «Десять дней», потом «За лиманом» и лишь потом по совету моего фронтового товарища, в те дни корреспондента «Красноармейской правды», Мориса Слободского получила свое окончательное название «Русские люди». К этому периоду работы над пьесой и к прерывавшим ее фронтовым командировкам относится несколько десятков страниц записей, сделанных мною где-то в середине войны, через год-два после описанных в них событий.

...Москва начинала понемногу заполняться. Гостиница «Москва» пустовала уже гораздо меньше, чем в декабре. Я перестал жить в гостинице и в редакции и временно поселился у знакомых. Хотя людей и прибавилось, но в Москве все еще было много пустых квартир.

Комнату в редакции за мной на всякий случай все же оставили, со столом, с креслом, шкафом и койкой на случай ночных бдений, которых у меня, впрочем, не происходило. Ортенберг знал, что я готов по первому слову выехать на фронт, но, пока я находился в Москве, сидеть в редакции меня не заставлял. Согласившись дать мне отпуск, пока я буду писать пьесу «Русские люди», он не забыл оговорить, что в случае каких-нибудь экстраординарных событий сразу же вытребует меня на фронт. «Да, впрочем, ты и сам не усидишь»,— сказал он. Это была его вечная, подкупавшая меня присказка.

Московский быт стал чуть-чуть устроенней, чем в де-

кабре, но по-прежнему сохранил свои черты. В квартирах было холодно, и, чтобы согреться, чаю предпочитали водку. Доставали ее неожиданно и из самых разных источников, в том числе привозили с фронта. Машины военных корреспондентов по-прежнему были частью жилья. Старались держать в них и запас продовольствия, и запас горючего, чтобы можно было в любой момент выехать.

Прерву себя, чтобы сказать, что именно этот тогдашний зимний полумосковский-полуфронтовой быт моих товарищей, военных корреспондентов, как-то сам собой лег в написанные годом позже стихи «Хозяйка дома»:

...Не мне судить, плоха ли, хороша,
Но в эти дни лишений и разлуки
В тебе жила та женская душа,
Тот нежный голос, те девичьи руки,
Которых так недоставало им,
Когда они под утро уезжали
под Ржев, под Харьков, под Калугу, в Крым.
Им девушки платками не махали,
И трубы им не пели, и жена
Далеко где-то ничего не знала.
А утром неотступная война
Их вновь в свои объятья принимала...

...Ортенберг по воскресеньям, а иногда и среди недели, рано утром, выпустив номер, уезжал на фронт и спал по дороге в машине. Я, пока писал «Русских людей», несколько раз ездил к нему в редакцию. Иногда мы накоротке перекусывали в примыкавшей к его кабинету каморке, заедая корнишонами я — водку, а Ортенберг — мускат. Корнишонов у него была здоровенная банка, которую сразу не съешь, даже при всей моей любви к ним. Посиделки эти были короткими, Ортенберг был, как всегда, занят. Но посидеть хоть немножко в его каморке, самой теплой в редакции, было очень хорошо. Она была такая маленькая, что рефлектор ее быстро нагревал.

Я каждый день диктовал пьесу нашей редакционной стенографистке Музе Николаевне Кузько в ее свободные от дежурства часы. Идея, что можно диктовать пьесу стенографистке, родилась у меня отчасти от молодого нахальства, окрепшего после того, как я благополучно продиктовал несколько очерков прямо на машинку, отчасти из боязни, что не успею — могут послать на фронт раньше, чем закончу. Диктовать стенографистке я еще не привык, делал это очень шумно, разговаривая во весь голос за всех дейст-

вующих лиц, иногда даже и кричал. Из-за этого произошел целый переполох в квартире, где я жил. Я диктовал седьмую картину, в которой старуха Сафонова последними словами костила фашистов. Муза Николаевна, съежившись за столом, тихо выводила свои стенографические крючки, а я, забывшись, орал на всю квартиру: «Суки! Кого вы народили? Каких жаб на свет народили! Каких гадюк на свет народили!..» Услышав из кухни мои вопли и вообразив, что там происходит какой-то скандал между мною и тишайшей Музой Николаевной, хозяйка квартиры влетела в комнату. У нее было такое перепуганное лицо, что мы, в свою очередь, не поняли, что случилось, а потом, когда поняли, покатились со смеху.

Дописав первый акт, я поехал с Ортенбергом в его очередную поездку на фронт.

Первый акт вышел невероятно длинным, но я все равно повез его Горчакову. Прочел вслух и оставил у него, договорившись встретиться после моего возвращения из поездки.

Но через несколько часов, уже среди ночи, незадолго до того, как мне пора было уезжать, Горчаков, не став звонить по телефону, нагрянул ко мне и сказал, что, если я вдруг задержусь на фронте, он без меня распределит роли и начнет репетировать.

— Я же не дописал,— сказал я.

— Ничего, ничего,— сказал Горчаков,— мы начнем сразу работать, и пусть у вас это все время сидит в памяти. Быстрее закончите пьесу, если будете это помнить! У вас как будто получается, у нас тоже получится. Только очень уж длинно! Если вы будете продолжать в том же духе, то у вас, наверное, выйдет страниц триста. Такого количества текста мы просто не выдержим!

Он усмехнулся и помахал у меня перед носом толстой пачкой листов первого акта.

— Вполне очевидные для меня длинноты я буду сразу выкидывать. Как, даете согласие?

Он стал листать пьесу, почти на каждой странице которой были отмечены эти «вполне очевидные» длинноты. Я согласился и потом не жалел об этом. Такое начало работы мне пришлось по душе, и, когда мы рано утром выехали на фронт, я полдороги думал, как буду писать дальше.

Ехали двумя машинами с редакционными шоферами — Мироновым и Иткиным, впоследствии убитым. В первой с нами ехал художник Борис Ефимов, а во второй Миша

Бернштейн. По-моему, это была наша последняя совместная поездка перед его гибелью.

Сначала мы поехали по Минскому шоссе в 5-ю армию, в ту из ее дивизий, которая стояла прямо на шоссе. Не помню сейчас ее номера, помню только, что это была одна из дивизий, воевавших еще на Халхин-Голе. Командовал ею генерал Орлов, которого я не знал, а Ортенберг знал еще по Халхин-Голу. Навсегда сохранив слабость ко всем халхингольцам, Ортенберг вез Орлову из Москвы в подарок генеральскую папаху, которой тот, оказывается, не мог достать. Генерал был доволен и нашим приездом, и папахой. У него в дивизии в эти дни стояло затишье. Главные боевые действия происходили на фланге в армии в обход Гжатска, к этому времени уже пришли к убеждению, что в лоб Гжатска не взять, надо его обойти. В дивизии Орлова шла только перестрелка и велись отвлекающие частные операции.

Штаб дивизии размещался недалеко от шоссе в нескольких землянках и трех-четырех оставшихся от сгоревшей деревни домиках. Было все как полагается в дни затишья — фронтовой обед с водкой. Ортенберг с некоторым недоверием посмотрел на меня и на Мишу Бернштейна, но мы все-таки выпили по второй, потому что было студено.

Командир дивизии в ту короткую встречу ничем особенным не запомнился; осталось только впечатление о хорошем и милом человеке. Ходил он в танкистском шлеме, в сапогах, в ватных штанах и полушубке, своим внешним видом мало напоминая генерала. Было в то время какое-то поветрие — одеваться немножко в партизанском духе, как бог на душу положит; и грешили этим не только наш брат — военные корреспонденты.

После обеда, уже в темноте, двинулись в штаб полка. Штаб полка помещался километрах в трех от штаба дивизии в большом сарае, кажется, единственном, оставшемся от целиком выгоревшей деревни. Сарай был разгорожен на несколько закутов, в нем топилась печка и было сравнительно тепло.

После взаимных приветствий вытащили на стол карты, и командир полка доложил Орлову и Ортенбергу обстановку.

Предполагалась ночная операция одним батальоном. Нужно было что-то пройти, зайти куда-то во фланг и под прикрытием такого-то и такого-то огня взять высотку, на

которой сидели немцы и мешали нашему продвижению к другой высотке, а эта другая высотка, в свою очередь...

Судя по докладу, все это казалось тщательно продуманным, и в то же время меня не покидало чувство, что, быть может, все это делается зря и что те, кто сейчас докладывает об этом, не до конца верят в то, что все это выйдет. Уж слишком точно рассказывали они заранее обо всех подробностях того, как все это будет, кто куда двинется и кто докуда дойдет.

Чем дольше я слушал, тем у меня все больше усиливалось ощущение, что выйдет, наверное, совсем не так, как в этом, так хорошо разработанном плане. И вся эта частная операция, наверно, не имеет значения для взятия Гжатска; вряд ли ночной бой, предпринятый всего-навсего одним батальоном где-то на второстепенном направлении, способен что-нибудь изменить в общей обстановке.

У меня было тоскливое предчувствие, что успеха не будет и все это кончится только тем, что к утру останутся лежать на снегу убитые, а несколько десятков человек с легкими и тяжелыми ранами отправят в медсанбат...

Конечно, трудно брать на себя смелость судить, когда частная операция нужна и когда бесполезна, но в тот вечер у меня возникло чувство бесполезности вот такой толчеи — вперед на высотку, назад с высотки, опять вперед на высотку, опять назад с высотки, толчеи, которая начинается, когда в тех или иных частях армии, в сущности, уже исчерпан на какое-то время наступательный порыв.

Дальше смогут успешно наступать, очевидно, другие части и скорей всего в другом месте, но, во всяком случае, сейчас и здесь на это нет сил. Однако наступление, в сущности, уже умершее на этом участке до следующего настоящего удара, все еще живет в прежнем своем виде и в умах людей, и в газетах...

Так это и было в тот раз, и еще не раз бывало впоследствии на моих глазах.

Командир дивизии одобрял план командира полка и доносил о запланированных им действиях в штаб армии; там утверждали, и, когда все уже бывало утверждено, командир дивизии нажимал на командира полка, а тот на командира батальона, непосредственно проводившего операцию. Сил бывало недостаточно для достижения успеха, и хотя при этом иногда и удавалось захватить высотку или три-четыре блиндажа, но все-таки потери во время этой частной, не связанной с общим наступлением операции в итоге

чаще всего оказывались у нас больше, чем у немцев. Если командир полка или командир батальона обладали бесшабашной храбростью, а именно так и бывало в доброй половине случаев, они шли вперед вместе с бойцами и нередко погибали от пулеметной очереди или разрыва мины. А потом в штаб армии шло донесение о том, что операция удалась или не удалась, или удалась частично...

После того как все долго и внимательно рассматривали и карту и схему, составленную начальником штаба полка, на столе так же, как и в штабе дивизии, появились горячие фронтовые щи, с той только разницей, что теперь это называлось не обедом, а ужином. Потом мы еще немножко посидели в этом сарае, послушали минометную перестрелку и по той же глубокой снежной дороге, которая вилась между сугробами, словно огромный окоп, возвратились в штаб дивизии.

Здесь Ортенберг сказал, что пойдет в ночную операцию вместе с батальоном.

Командир дивизии сначала было возразил, но потом, должно быть вспомнив знакомый ему по Халхин-Голу характер Ортенберга, перестал сопротивляться.

Что до меня, то я не испытывал ни малейшего желания вылезать из избы и топать ночью по снегу с батальоном, принимая участие в этой операции, против которой у меня возникло предубеждение с самого начала разговора о ней. Да и попросту не хотелось без особой нужды лезть туда, где с излишней легкостью можно оказаться убитым.

Но Ортенберг спросил:

— Ну как, пойдем вместе?

И я по характеру наших отношений был не в состоянии сказать «нет» и сказал «да».

Оставалась только надежда, что все это каким-нибудь образом не состоится. Или сама операция, или наше участие в ней.

Операция намечалась на два часа ночи, и Ортенберг, который накануне выпускал до утра газету и не смыкал глаз, вернувшись в дивизию, лег вздремнуть, предварительно попросив начальника штаба дивизии разбудить его за час до начала.

Заснул он мгновенно, как убитый, и я подумал — чем черт не шутит,— может быть, начальник штаба не станет его будить. Себя я будить не просил, решил, что если Ортенберг пойдет, то разбудят и меня, а кроме того, еще неизвестно, разбудят ли его самого, если он сам не вскочит.

Вряд ли у дивизионного начальства есть особенно горячее желание отправлять в атакующий батальон редактора «Красной звезды» и, случись что, потом отвечать за него.

Так все оно и вышло, как я думал. Мы проснулись сами в шесть утра. Было еще темно, и Ортенберг, не разобрав, сколько времени, схватился идти в батальон. Но ему сообщили, что частная операция за это время и началась и кончилась тем, что в таких случаях называют «частичным успехом», то есть почти ничем.

Идти было уже поздно.

Мне показалось задним числом, что Ортенбергу не так уж хотелось идти туда, в батальон, этой ночью, просто он по свойственной ему непоседливости, соблюдая свое обычное правило видеть все, что только можно, непременно самому, вчера вечером предложил пойти, а сейчас, когда все это уже не состоялось, притом не по его вине, не особенно жалел об этом.

Наскоро позавтракав, мы поехали в 32-ю дивизию, действовавшую на фланге армии. Чем дальше мы отъезжали от Минского шоссе, чем больше приближались к цели, тем все нагляднее чувствовалась разница между временно спокойным участком фронта и действующим. По сторонам разбитой дороги было много черных воронок, лежали убитые лошади, и нетронутые, и уже изрубленные на куски; кое-где их не рубили, а пилили, как дрова. Почти всегда при наступлении с подвозом провианта происходили перебои, и, как только со снабжением становилось тяжелее, конина сразу же шла на харчи.

Чем дальше, тем дороги были все больше размолоты, деревни сожжены, а снег покрыт воронками. Наконец на развилке, на каком-то пепелище мы нашли так называемый ВПУ — вспомогательный пункт управления,— передовой командный пункт 5-й армии. Среди развалин и обгоревших остовов изб было вырыто несколько блиндажей.

Мы влезли в один из них. Он был прочно построен, с несколькими накатами над головой, тесный и чистый, с печкой, столом и койкой. В блиндаже за картой сидели командующий 5-й армией генерал Говоров и артиллерийский генерал-лейтенант с двойной, не запомнившейся мне фамилией, если не ошибаюсь, это был командующий артиллерией Дальневосточного фронта, прибывший для стажировки сюда, на Западный фронт, и именно к Говорову, должно быть, потому, что Говоров был сам артиллерист и его 5-ю армию отчасти из-за командующего, отчасти из-за ее

богатой оснащенности артиллерией называли тогда «Артиллерийской армией».

Говорову было на вид лет сорок пять. Это был крупный черноволосый мужчина с умным и насмешливым лицом. Говорил он с немножко подчеркнутым спокойствием и той медлительной обдуманной мягкостью, которые нередко бывают у людей, умеющих до поры сдерживать себя, а на самом деле крутых и резких, особенно во гневе.

Генерал, прибывший с Дальнего Востока, был седой человек, на вид лет пятидесяти, а может, и больше, дородный, спокойный и рассудительный.

Когда мы вошли, генералы вели какой-то свой генеральский разговор, и я своим к тому времени более или менее наметанным взглядом сразу же определил для себя, что, кажется, где-то в армии сложилась трудная обстановка, что мы попали сюда в напряженную минуту и оба генерала, в особенности Говоров, очень недовольны нашим приездом.

Впрочем, Говоров, видимо еще до этого хорошо знакомый с Ортенбергом, внешне ничем не выразил своего неудовольствия и пригласил нас расположиться в блиндаже и выпить с дороги чаю. Однако, когда Ортенберг вслед за этим объяснил, что намерен прямо отсюда ехать к командиру 32-й дивизии Полосухину, и спросил, где тот сейчас находится, Говоров достаточно категорически ответил, что ехать прямо к Полосухину сейчас нельзя, что дорога к наблюдательному пункту, где сейчас находится Полосухин, густо простреливается минометами, и как добраться до него, можно будет подумать только завтра, когда кое-что прояснится в сложившейся сейчас обстановке. Да и то нам, наверное, придется ехать к нему на танке.

Все это он сказал с категорическим спокойствием и добавил, что наблюдательный пункт, на котором находится Полосухин, выброшен довольно далеко вперед от штаба дивизии.

— Ну а до штаба-то дивизии можно добраться? — спросил Ортенберг.

— До штаба? — недовольно переспросил Говоров и, посмотрев на Ортенберга, после некоторой запинки сказал, что до штаба можно. И показал по карте, куда надо ехать.

В этот момент его вызвали к телефону в другую землянку на прямой провод, и мы стали собираться.

Дальневосточный генерал-лейтенант, артиллерист, стал отговаривать Ортенберга ехать, говорил, что ехать

туда сейчас, среди дня, и незачем и опасно, что не только по дороге туда, но даже здесь, рядом с их блиндажами, немцы все время бросают тяжелые снаряды. В общем, беспокоился, как бы с нами чего не случилось.

Через семь с лишним месяцев после этого разговора мы с Ортенбергом оба разом о нем вспомнили. Во время наших сентябрьских настойчивых, но так и не увенчавшихся успехом попыток прорваться с севера на выручку к Сталинграду, попав в наступающие части в районе совхоза «Котлубань», мы вдруг узнали, что только что где-то тут же, всего в полукилометре, убит при бомбежке ехавший на «виллисе» тот самый дальневосточный генерал, который когда-то под Москвой у Говорова советовал нам быть поосторожнее. Еще один пример той иронии судьбы, которая то тут, то там напоминает о себе на войне.

Говорова надолго задержали на прямом проводе, Ортенберг, конечно, как всегда, спешил, и мы уехали в дивизию к Полосухину раньше, чем Говоров вернулся к себе в блиндаж.

Отправились дальше на одной «эмке». Ортенберг, поколебавшись, оставил очень недовольного этим Бориса Ефимова на КП армии, договорившись, что захватим его на обратном пути из полосухинской дивизии.

До штаба дивизии, судя по карте, оставалось три-четыре километра. На дороге в нескольких местах образовались пробки — застряли в снегу машины и повозки,— и мы ехали чем дальше, тем медленнее. Потом, после какой-то сожженной деревни, впереди оказалось чистое поле, за ним начинался лес. Оттуда слышались частые минные разрывы, и по краю поля то там, то здесь появлялись хорошо видные отсюда дымки разрывов.

Мы продолжали ехать вперед вдоль этого поля и наконец прямо у дороги наткнулись на штаб дивизии.

В одном из блиндажей, кое-как вырытых прямо в поле или устроенных в подвалах разбитых и сожженных домов, мы застали комиссара дивизии Мартынова.

Командира дивизии полковника Полосухина, как и предупредил нас Говоров, здесь не было — он еще с ночи находился на наблюдательном пункте в двух километрах отсюда, и засветло к нему невозможно было пройти. Дорога туда с обеих сторон простреливалась немецкими автоматчиками.

Вообще, как выяснилось уже позже, дивизия, наступая, влезла узким языком в немецкое расположение. Не только

впереди, но и справа и слева от дороги были немцы. Ширина пробитого дивизией коридора, как это в последнее время часто бывало, в самом широком месте не превышала километра с небольшим.

Откуда били немецкие минометы, было трудно разобрать, но разрывы слышались и впереди, и справа, и слева, иногда где-то позади.

Как водится, нас решили с дороги покормить, и мы наскоро что-то перекусили; у Мартынова и у начальника политотдела дивизии Ефимова был при этом недовольный вид — беспокоились, что нечем нас угостить, беспокойство в сложившейся обстановке, в общем-то, нелепое, но искреннее.

Миша Бернштейн занялся съемками, а я со слов Мартынова и начальника политотдела стал записывать то, что могло мне потом пригодиться для корреспонденции.

Вскоре после этого Ортенберг решил пройти хотя бы немного вперед, осмотреться, что делается кругом, и, взяв с собой Бернштейна, быстро исчез.

— Ты пиши, пиши,— сказал он в последний момент, уже уходя, таким тоном, словно извинялся передо мной за то, что не берет меня.— В другой раз вместе пойдем.

Я продолжал записывать данные о действиях дивизии за предыдущие дни.

Мартынов вышел, остался начальник политотдела. Автоматные очереди слева, а теперь и сзади все усиливались. Я перестал записывать и тоже вышел наверх. Теперь стреляли совсем близко, вдоль дороги. Я постоял, послушал и вернулся в блиндаж. Вслед за мной вошел Мартынов и сердито спросил, у всех ли есть личное оружие. Я ответил, что есть. Он сказал, что все обойдется, но пока что слева к дороге подошел батальон немцев. Немцев, конечно, отобьют, но про оружие он на всякий случай обязан спросить.

Ортенберг с Мишей все еще не возвращались. Я беспокоился за них, чувствовал себя виноватым, что не пошел с ними.

Потом Ортенберг с Мишей, слава богу, наконец вернулись. Они изрядно вывалялись в снегу и влезли в блиндаж, не успев отряхнуться. Оказывается, они пошли на наблюдательный пункт артиллерийского полка; наблюдательный пункт засыпало минами, и им пришлось полежать под обстрелом. Ортенберг по своей привычке подшучивал над

Мишей, говорил, что никогда не предполагал, что тот так быстро умеет бросаться рыбкой в снег.

— А что пользы стоять, когда она летит? — невозмутимо, как всегда, возразил ему Миша.

— Это верно, но ты все-таки слишком быстро ныряешь. Кто ты? Пловец? Или корреспондент «Красной звезды»? Это мне не подходит. В другой раз не возьму тебя с собой,— смеялся Ортенберг.

Часа через полтора, когда начало темнеть, автоматная стрельба стала понемногу утихать. Автоматчиков оттеснили от дороги, и мы стали собираться в обратный путь.

После обычных в таких случаях обещаний непременно еще раз заехать в дивизию мы вместе с Мартыновым вышли из блиндажа. Комиссар дивизии был все время, от начала и до конца, серьезен и сдержан, почти никогда не улыбался, а иногда в разговоре становился резок, и резкость эта, по-моему, происходила от никак иначе не проявлявшего себя внутреннего волнения. Впоследствии мы еще не раз встречались с ним, и эти встречи подтвердили мое первое впечатление о нем как о человеке глубоких и сильных чувств.

Обратно ехали в полной темноте. Навстречу нам шли части подтягивавшейся из тыла дивизии, которой, должно быть, предстояло развивать наметившийся на этом участке успех. Тот, кто ездил по зимним фронтовым дорогам, где с обеих сторон сугробы и негде развернуться, легко может представить себе, что значит объезжать на такой дороге движущуюся навстречу колонну войск. Четыре километра, отделявшие нас от командного пункта Говорова, мы ехали около шести часов: то натыкались на колонны, то на повозочных, то на забуксовавшие грузовики, и, пытаясь их объехать, сами зарывались в сугробы и на руках вытаскивали свои машины.

Как всегда, в такой обстановке Миша Бернштейн был незаменим. Он то, пробивая дорогу, шел впереди машин в своей сдвинутой на затылок ушанке, в расхлястанной шинели, с «лейкой» на толстом животе, то, когда снова и снова приходилось толкать машины, проявлял свою недюжинную силу.

И с чужой помощью, и собственными силами мы раз пятнадцать вытаскивали из снега свои машины и, не застав на командном пункте Говорова, который куда-то выехал, прихватили с собой Бориса Ефимова и часам к двенадцати ночи добрались до штаба армии, который разме-

щался далеко позади вынесенного вперед говоровского командного пункта.

Там, в большой деревне недалеко от Можайска, сравнительно быстро нашли избу начальника политотдела армии бригадного комиссара Абрамова, впоследствии убитого, и застали там у него бригадного комиссара С. и П. Ф. Юдина, приехавшего из Москвы читать лекции в частях армии. Все они были весь день в войсках, только что, глядя на ночь, съехались сюда и пили чай.

Изба была большая, в ней было чисто и тепло. И мне почему-то невольно бросился в глаза контраст этой просторной избы в штабе армии с тем маленьким блиндажом в разрушенной деревне, в котором утром сидел Говоров: теснота и сугубо боевая обстановка, телефоны, карта, адъютант.

С. был круглый мужчина, здоровяк, с тремя орденами Красного Знамени на гимнастерке. Как мне показалось по первому впечатлению, он в отличие от сдержанного, молчаливого начальника политотдела, видимо, любил порисоваться. Может быть, не вообще, но, во всяком случае, перед работниками искусств. Армия, стоявшая прямо на Можайском шоссе, была больше других избалована посещениями писателей, артистов, делегаций, и у С. был тон несколько утомленного гостеприимством хозяина.

В разговоре с нами С. подчеркнуто держал себя сугубо по-фронтовому, несколько раз по разным поводам напоминая, что он старый вояка. Хотя обычно люди редко подчеркивают в себе то, что стало их плотью и кровью.

Ортенберг, знавший С. раньше, кажется еще с финской, видимо, недолюбливал его. Во всяком случае, они быстро сцепились из-за какого-то спорного фронтового вопроса, хотя, как обычно в таких ситуациях, резкость спора была прикрыта шутками, да и кончилась шуткой.

Посидели мы недолго, выпили по стакану чаю, и разговор, вначале оживленный, вдруг сник. Все устали за день, и всем хотелось спать. Мы простились и во втором часу ночи тронулись дальше, к Москве. Незадолго перед тем, как мы уехали, С., не помню, по какому поводу, похлопал себя по трем орденам Красного Знамени, сказал Ортенбергу.

— Люблю однообразие.

Ортенберг поморщился, но промолчал, словно пропустил мимо ушей.

Проехали через полуразрушенный Можайск и еще с де-

сяток километров двигались без задержек. Но потом на одном из объездов застряли в огромной глубокой луже. Она натекла во время недавней оттепели и успела заледенеть только сверху. Целый час мы буксовали в этой луже, стараясь из нее выбраться, и меня, пока я толкал машину, угораздило вымокнуть до пояса. Как потом ни ерзал, ни пытался согреться, сидя в машине, зуб на зуб не попадал до самой Москвы.

По заметкам в блокноте, сделанным в дивизиях Полосухина и Орлова, я написал небольшую корреспонденцию, которую Ортенберг не напечатал, и, говоря по чести, печатать ее, наверное, и не стоило. Сам факт, что ее не напечатали, меня не огорчил, но осталось, как это всегда бывает, когда даешь какой-то материал, а потом ничего не появляется в газете, чувство неудобства перед людьми, у которых был и которых расспрашивал...

На этом месте еще раз прерву себя. Строго говоря, в военной науке слово «операция» обычно употребляют, когда речь идет о действиях фронтов и армий. Но в моих записках это слово повторяется столь часто, наверно, потому, что в реальном быту первого года войны оно было в ходу не только в штабах армий, но и в дивизиях и в полках. Многие командиры любили употреблять его и тогда, когда правильней было бы говорить не о «частных операциях», а о боях местного значения. И я решил сохранить эту черточку военной фразеологии того времени, оставившую свой след в моих записках.

Роясь в своем архиве, я наткнулся на несколько страничек неоконченной и никак не озаглавленной статьи, судя по всему, задуманной в связи с трехлетием войны. И хотя статья писалась в июне 1944 года, все начало ее связано с нашим зимним наступлением под Москвой. Вот почему приведу две странички из этой рукописи именно здесь, а не там, где речь пойдет о событиях 1944 года:

«В течение двух недель мне посчастливилось наблюдать действия наших войск на Карельском перешейке, последовательный прорыв первой, второй и третьей линии финской обороны, взятие Выборга и дальнейшее движение к государственной границе.

Подведение военных итогов операции — это, конечно, дело большого командования, но некоторые психологические итоги того, что я видел, мне как писателю хочется все-

таки подвести. Мастерство и спокойствие — вот то основное, что отличает сейчас здесь стиль ведения военных операций на всех ступенях, от командира роты до командующего крупным соединением. Всегда, когда что-то новое и сильное поражает и радует глаз, невольно вспоминаешь предыдущие этапы войны, невольно в голове возникает сравнение между стилем действий наших командиров тогда и сейчас. В эти дни я вспоминал месяц за месяцем наше зимнее наступление под Москвой в 1941/42 году.

Грандиозное по замыслу и по общим результатам, оно недаром вошло в народное сознание именно как разгром немцев под Москвой и как прообраз всех одержанных нами с тех пор побед. Но при этом оно было первым нашим крупным наступлением, школой опыта. И, проходя эту суровую школу, мы учились и на своих ошибках. И когда вспоминаешь по частностям действия наших командиров в тот период и сравниваешь их с тем, что происходит сейчас, то даже у непрофессионала военного задним числом создается ощущение некоторой горечи.

Ах если бы уже тогда знать все, что мы знаем теперь, если бы уже тогда уметь делать все так, как мы умеем теперь!

Вспоминается радиобоязнь того времени и фактически почти полное отсутствие радиосвязи, вспоминаются бесконечные блуждания по дорогам в поисках штабов, от самых больших до самых маленьких, вспоминаются кровопролитные фронтальные атаки населенных пунктов, которые можно было бы обойти, вспоминаются негибкие разграничительные линии между соседними частями, недостаточное умение маневрировать и зачастую слишком узкое понимание задачи в пределах своего узкого, строго нарезанного участка, без нужды, именно из-за отсутствия гибкости порождавшее все эти фронтальные атаки.

Вспоминаются многочисленные случаи неиспользования командирами своего штабного аппарата, которое в период преследования противника доходило до того, что начальник штаба порой сутками не знал, где находится его командир. Вспоминается система непременных и постоянных разъездов командиров соединений по своим частям, часто связанная с потерей управления. Основой таких разъездов было, конечно, желание самому заняться проверкой исполнения своих приказов, но эта проверка исполнения была зачастую поставлена неверно и понималась только как личная задача самого командира.

Отчетливо вспоминаю случай, когда командующий армией со своей маленькой оперативной группой настолько стремился быть все время впереди, что вполне довольствовался тем, что где-то впереди него есть еще его разведка. В этом, как и во многом другом, конечно, был по-человечески красивый и мужественный порыв, была беззаветная храбрость, была твердая решимость любой ценой взять в срок тот или иной населенный пункт, даже отаковав его двадцать раз. Во всем этом был грандиозный порыв армии, ощутившей свои силы и впервые перешедшей в большое наступление.

Но зрелости, опыта, расчета, спокойствия, умения управлять войсками тогда еще явно не хватало многим и многим командирам, и поэтому часто, несмотря на все беззаветное мужество людей, в тысячах маленьких частных операций потери и затраченные усилия подчас обидно не соответствовали достигнутым результатам.

Таким грандиозным в целом и слишком часто несовершенным в частностях вспоминается сейчас, после трех лет войны, наше первое великое наступление под Москвой...»

Так виделась мне зима 41/42-го года оттуда, из лета 44-го, которое мы начали поразившим меня своею стремительностью прорывом линии Маннергейма. Так выглядели некоторые мои, как я их тогда называл, «психологические итоги».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

...Вернувшись в Москву 4 февраля, я до двадцатых чисел сидел в Москве, заканчивая «Русских людей». Едва я успел поставить точку на первом черновике, как Ортенберг именно в этот вечер вызвал меня и спросил, как обстоят дела с пьесой. Я сказал, что она дописана до точки, осталась только правка.

— Это хорошо,— сказал он.— Завтра утром полетишь в Керчь.

— А что там?

— Там Мехлис. Надо полагать, на днях там что-то начнется, и поэтому следует торопиться.

Я спросил, как полечу, один или еще с кем-нибудь.

— Один. Там у нас и так уже трое: Слесарев, Бейлинсон и Темин.

На следующий день мы вылетели с Центрального аэро-

дрома довольно поздно, часов в девять утра. «Дуглас» был грузовой, в нем везли несколько больших ящиков с танковыми моторами и десяток поменьше — с детонаторами. Пять или шесть пассажиров пристроились кто где, между ящиками. Рядом со мной сидел бригадный комиссар Емельянов, которому предстояло стать начальником политуправления Крымского фронта. Но это выяснилось впоследствии, а пока он просто летел к Мехлису по его вызову.

Погода стояла холодная, и к тому времени, когда «дуглас» сел в Сталинграде, я порядочно замерз. В Сталинграде долго заправлялись бензином, потом несколько раз запрашивали погоду... В конце концов заночевали на аэродроме. От города было довольно далеко, ехать не на чем, и я так и не попал тогда в Сталинград.

На ночлеге моим соседом оказался какой-то полковник, который назавтра улетал из Сталинграда в Саратов. Несколько дней назад я получил из эвакуированного в Саратов МХАТа от Хмелева письмо с просьбой связаться с ними: они узнали, что я пишу военную пьесу. Из Москвы я ответить не успел, а тут, на ночлеге в Сталинграде, написал ответное письмо Хмелеву и сделал к нему приписку, чтобы подателя этого письма непременно устроили на спектакль. Показав эту записку полковнику, я был совершенно уверен, что теперь-то письмо дойдет по назначению. Так оно потом и оказалось.

На следующее утро мы вылетели из Сталинграда и, по расчету времени, уже подлетали к Краснодару, как вдруг из кабины летчика раздались резкие гудки.

Наш самолет был оборудован фонарем для стрелка, врезанным примерно посередине фюзеляжа в потолок. Задремавший стрелок быстро залез на свою подставку и стал там, в фонаре, крутить спаренные пулеметы. Покрутил и начал стрелять, очередь за очередью. Я читал какой-то роман, уже не помню какой, и, когда стрелок полез на свою подставку и начал палить из пулеметов, мне стало не по себе, я оторвался от чтения, но потом, решив, что — смотри не смотри — все равно делу не поможешь, пересилил себя и опять уткнулся в книгу, хотя при этом продолжал считать очереди. После десятой очереди стрелок крикнул:

— Отвернул!

Из кабины вышел штурман, долго смотрел, прижавшись к окошку, и подтвердил:

— Отвернул.

Тогда я тоже посмотрел в окошко: далеко в небе маячил удалявшийся маленький самолет, кажется, истребитель.

— По-моему, это наш,— сказал штурман.— Я почти уверен, что наш. Но в другой раз будет знать, как подходить с хвоста. Раз подходит с хвоста, надо по нему бить, а то «наш, наш», а потом как по ошибке вмажет в тебя да потом еще донесет, что сбил «юнкерс»...

Через полчаса после этого мы уже без происшествий сели в станице Крымской. Я думал, что мы летим прямо до Керчи, но оказалось, что у летчиков полетный лист только до Крымской; самолет должен сдать там грузы, а мы, пассажиры, отправимся дальше как бог даст!

Приемщиков грузов на аэродроме в Крымской не оказалось, грузы, видимо, должны были принимать в Керчи, но полетный лист был до Крымской, и приказ есть приказ, летчики лететь дальше отказались: над Керченским проливом барражировали «мессершмитты».

В общем, несмотря на уговоры, они дальше не полетели, а мы отправились в штаб авиадивизии, которая пока стояла здесь, в Крымской, но завтра должна была перебазироваться на Керченский полуостров.

В этот день долететь до Керчи нам так и не удалось. Переночевав в Крымской, мы утром вылетели в Керчь на ТБ-3.

Нам сказали, что над Темрюком нас должны будут встретить истребители. Подлетев к Темрюку, мы сделали три круга над аэродромом, и истребители действительно сразу же после этого поднялись и аккуратно сопровождали нас до самой Керчи.

Сделав полукруг над Керчью, мы сели на аэродром неподалеку от противотанкового рва, в котором немцы убили и закопали больше семи тысяч человек.

Потолкавшись на аэродроме, двинулись в Керчь. Там выяснилось, что политуправление Крымского фронта в этот же вечер переезжает в село Ленинское, к новому месту расположения штаба. В оставшееся до отъезда время я зашел во фронтовую газету и встретил там ее редактора, полкового комиссара Березина, у которого когда-то, в 1939 году в Чите, спал одну ночь на редакционном диване, перед тем как лететь на Халхин-Гол.

В политуправлении шла обычная суета, связанная с переездом на новое место, но к ночи мы все-таки выехали. Ночь была темная, моросил дождь. Я по обыкновению поч-

ти всю дорогу проспал и удивился тому, как мы быстро приехали.

Довольно долго проплутав по грязным улицам села, мы наконец добрались до дома, где нам предстояло ночевать, и завалились спать — Емельянов и приехавший вместе с ним тоже на работу в политуправление фронта бригадный комиссар Веселов вдвоем на кровати, а я на какой-то шатучей брезентовой койке, напоминавшей носилки, но только на длинных подставках. Койка ходила подо мной ходуном, скрипела и шаталась, но усталость помогла быстро заснуть.

Проснувшись, я узнал, что наступление уже началось не то в пять, не то в шесть утра. Погода была отвратительная: дождь уже не моросил, как вчера, а лил не переставая. По улицам села приходилось ползать, как мухе по меду, с трудом выдирая ноги из грязи. Небо висело над самой землей.

В политуправлении шла суета, связанная с переменами: Емельянова только что назначили начальником политуправления, а прежний начальник еще не уехал, ходил тут же. Заменяли одних работников другими, кого-то назначали, кого-то перемещали, кого-то понижали.

Я целый день тщетно бился в поисках машины. Нужно было ее добыть, чтобы добраться до штаба 51-й армии, в которой, по словам знающих людей, должны были происходить наиболее интересные события.

К командующему фронтом генералу Козлову после знакомства с ним в январе в период Феодосийской операции желания идти с просьбами не было, к Мехлису не удалось пробиться через его порученца, который сам был бригадным комиссаром, попутной машины до штаба 51-й так ни одной и не попалось, и я проторчал целый день в Ленинском.

Наконец ночью, уже потеряв надежду добыть машину, я все-таки еще раз пошел к Мехлису. Но попал в предотъездную горячку: Мехлис сам уезжал в 51-ю армию. На приеме у него в адъютантской сидели и ждали незнакомые мне генералы. Один из порученцев Мехлиса, Амелин, сказал мне, что я явился не вовремя, что Мехлис очень занят, принять меня не успеет, да и вообще машин нет. В ответ на мою просьбу прихватить с собой в армию на какой-нибудь из их машин ответил, что посадить меня с собой тоже не смогут, все места заняты.

Увязая в грязи, я пошел в хату, где мы накануне ночевали. Дождь все лил и лил. И я подумал, что если такой

дождь будет продолжаться и завтра, то, наверное, вообще ни на какой машине не проедешь.

Вернувшийся ночевать Емельянов был такого же мнения и посоветовал мне плюнуть на машины и ехать в армию верхом. Нельзя сказать, что меня обрадовала такая перспектива. Если не считать детства, когда меня, еще совсем маленького, в военном городке, бывало, на минуту-другую подсаживали на коня, я никогда в жизни верхом не ездил. Но делать было нечего, главное было выбраться отсюда в армию. На лошади так на лошади.

Емельянов, уже начавший входить в права начальника политуправления, кому-то что-то приказал, и утром к нашей хате подъехал коновод с двумя лошадьми. Коновод был рябоватый и рыжеватый пожилой солдат по фамилии Кучеренко. До штаба 51-й армии нам предстояло ехать 35—40 километров. Где-то на полпути возле железнодорожной станции мы должны были заехать на пункт связи и переменить лошадей, а этих послать обратно.

С помощью коновода я вскарабкался на лошадь и, едва мы выехали за окраину села, понял, что, наверно, мне на все ближайшие дни придется стать кавалеристом. На дороге стоял сплошной рев буксующих машин. Они то стояли в грязи — ни взад, ни вперед,— то ползли по ней так медленно, что мы обгоняли их на своих клячах. Моя лошадка была вроде той, на которой д'Артаньян въехал в Париж,— неопределенного цвета и возраста. Впрочем, то, что она была не первой молодости, оказалось к лучшему. Не проявляя инициативы, она трюхала вслед за лошадью коновода, а мне только это и требовалось. Ехали медленно. Копыта увязали в грязи.

Наконец часа через четыре, проехав, по моим расчетам, около двадцати километров, мы добрались туда, где нам предстояло менять лошадей. Железнодорожная станция была забита людьми и гружеными повозками. Все тонуло в грязи. Вокруг станционных зданий и между путями было много воронок. Почти все дома были полуразбиты. Кое-где на земле валялись остатки немецкого снаряжения, снарядные ящики, залитые грязью снаряды, брошенные немцами и румынами еще в январе при их отступлении от Керчи.

На путях грузился эшелон, состоявший из открытых платформ. На платформы тесно набивалась пехота с пулеметами. На некоторые платформы втаскивали легкие орудия. Было очевидно, что если такая, как сегодня, погода удержится и в ближайшие дни, то железная дорога станет

на это время единственным реальным видом транспорта.

Меж трех разбитых снарядами халуп стояла одна совершенно целая, и в ней размещался пункт связи, который мы искали.

Мы спешились. Коновод пошел выяснять, сменят ли нам здесь лошадей. Но ему отказали, и он вернулся.

Тогда пошел я. Я был в ватнике и с головы до ног заляпан грязью. Увидя мой затрапезный вид, щеголеватый младший лейтенант, командир пункта связи, сначала не хотел давать лошадей, но, когда я раскипятился, что я старший по званию, что я из Москвы и т. д. и т. п., он отдал мне своего собственного коня, который плясал так, что его с трудом удерживал коновод.

Не знаю уж, почему он мне дал именно этого коня. Скорей всего в отместку, чтобы неповадно было в другой раз повышать голос.

Во всяком случае, лейтенант и его подчиненные, должно быть успевшие увидеть, как я подъезжал к их хате, и оценившие уровень моего кавалерийского искусства, столпились на улице, с нескрываемым интересом ожидая, как я буду садиться на этого лейтенантского коня.

Отступать было поздно. За дорогу я уже раза три слезал с лошади и снова влезал и сейчас, к большой своей радости, сунув ногу в стремя, довольно ловко, как мне самому показалось, вскочил в седло.

Но это было пределом моих достижений. Едва я вскочил в седло, как конь, совершенно не обращая на меня внимания, понесся по улице, свернул раз, потом другой раз, куда ему вздумалось, и, выскочив на железнодорожную насыпь, галопом понесся прямо по шпалам, налетая грудью на разбегавшихся людей. Он несся по шпалам, а я думал только об одном — как бы не свалиться! В конце концов от беспомощности и злости у меня подкатил комок к горлу, и я, перехватив поводья покороче, вцепился в них с такой силой, что конь задрал голову и остановился.

Не желая больше рисковать, я поспешил слезть с него, и тут-то и произошло самое постыдное: проскакав целый километр и все-таки не свалившись, теперь, уже слезши и поставив ногу на землю, я зацепился вторым сапогом за стремя и растянулся во весь рост в грязи, к счастью, не выпустив из рук повода.

Едва я успел встать, даже еще не утерся, как меня догнал коновод, и я тут же благоразумно решил, пока не поздно, обменяться с ним. И дальнейший путь трюхал сза-

ди него примерно на такой же смирной, немолодой лошадке, на какой ехал вначале.

Часов в пять вечера, измученный с непривычки кавалерийской ездой и окоченевший от ветра и дождя, я наконец добрался до деревни, где помещался штаб 51-й армии. По карте выходило, что мы проехали 36 километров.

Но штаба здесь уже не было, остался только пункт сбора донесений, где мне после предъявления документов сообщили, что штаб переехал в другое место, поближе к линии фронта, километров за восемь отсюда.

Я снова взгромоздился на лошадь, и еще через полтора часа, уже почти в темноте, мы наконец добрались до маленькой деревни, наполовину разбитой артиллерией. Улицы ее были затоплены грязью, а дождь все лил и лил.

Раскорякой, на непослушных ногах я влез в ближайшую хату, и там мне подтвердили, что на этот раз все в порядке: мы действительно добрались до штаба 51-й. И даже сообщили обрадовавшую меня подробность, что секретарем Военного совета у них в 51-й по-прежнему Василий Васильевич Рощин, с которым я подружился в Крыму в августе — сентябре 1941 года.

Оставить у себя коновода и лошадей я был не вправе, меня об этом заранее предупредили, так что пришлось прощаться с Кучеренко. За дорогу мы с ним успели о многом переговорить. Это был немолодой, спокойный, милый человек; уйдя вместе с армией из родного села где-то на Дону, он оставил там жену и дочь, как он уверял, красавицу. Мы по дороге перекусили с ним и распили водку из моей карманной фляжки. Я шутил, что после войны приеду свататься к его дочери, он посмеивался, а в общем, расставаться было жаль, мне во всяком случае. Кстати, потом я вспомнил наши разговоры с Кучеренко в дороге и некоторые подробности их включил в рассказ, написанный для «Красной звезды» после возвращения из Крыма. Рассказ с самого начала вышел не особенно удачный. Но в газете напечатали с сокращениями, и он от этого стал еще хуже.

Простившись с коноводом, я разыскал Рощина. За те полгода, что я его не видел, у него поседели виски. Он жил в маленькой комнатке рядом с кухней в халупе, пристроенной к дому, где жил командующий армией. Не задавая мне лишних вопросов, он сразу же сделал все необходимое: дал мне водки — согреться, покормил и пристроил на свободную койку. Сделав все это, он ушел по делам, а я,

несмотря на усталость, долго не мог заснуть — так с непривычки ломило спину после верховой езды.

Вернувшись ночью, Рощин присел ко мне на койку. В 51-й армии уже вторую неделю был новый член Военного совета, вступивший в эту должность вместо Андрея Семеновича Николаева. Я уже слышал об этом в штабе фронта, но точного ответа, что произошло с Николаевым, там так и не получил. Одни говорили, будто бы снят, другие, что нет, не снят, а куда-то переведен.

— Не переведен, а снят,— сказал Рощин.

И со своей обычной спокойной иронией начал рассказывать мне обо всем, что произошло в Крыму после моего отъезда в конце сентября 41-го. Рассказывал и о Николаеве, не скрывая своего сожаления.

Рассказывая, какой Николаев хороший человек и как они отступали в октябре и ноябре 41-го к Керченскому полуострову, как дрались на Акмонайских позициях, потом под Керчью, и как ему самому пришлось быть почти все время с Николаевым, и как тот в последние дни боев под Керчью был уже не просто, обычно для себя, безоглядно храбр, а, видимо, по наблюдениям Рощина, искал смерти и не находил ее.

Когда я услышал это от Рощина, мне показалось, что это похоже на правду. Тут не могло быть трагической позы. Николаев вообще ни в малейшей степени не был человеком позы; но я вспомнил теперь свой разговор с ним в Крыму еще до начала боев, когда он без нажима, очень просто сказал врезавшуюся мне в память фразу: что 51-я армия не пустит немцев в Крым, что он отвечает за это жизнью и обязан не пустить их или умереть. Очевидно, в соответствии с этими собственными, сказанными тогда перед началом боев словами он и жил последние дни в Крыму на последних кусочках крымской земли.

Но снят с должности он был не тогда, а теперь, в феврале, уже после того, как 51-я армия высадилась и освободила Керчь. По мнению Рощина, снятие это было несправедливым, Рощин считал, что Николаев пострадал не столько из-за себя, сколько из-за обманутых ожиданий, из-за общей обстановки, сложившейся особенно тяжело после того, как сосед, 44-я армия, у которой сразу бомбежкой выбило весь Военный совет, не удержалась в Феодосии. А 51-я, по мнению Рощина, как раз вела себя в этой тяжелой обстановке неплохо и удержала перешеек.

Говоря о нынешнем наступлении, Рощин воздержался

от прямых оценок, но, судя по тому, как он грустно улыбался, мне показалось, что продолжавшееся второй день наступление уже не вышло и немаловажную роль в этом сыграла неожиданная чудовищная погода, из-за которой застряло все, в том числе и танки.

Утром, чуть свет, я пошел к командарму 51-й генералу Львову.

Львов был плотный красивый человек лет пятидесяти, с седеющими волосами и густыми седыми усами. Он сидел на лавке у стола в высоких, выше колена, болотных сапогах со шпорами и похлопывал по ним плеткой. С первого взгляда он произвел на меня впечатление человека угрюмого и неразговорчивого. Хотя, наверно, опрометчиво относить мое тогдашнее впечатление вообще к характеру этого человека. Дни были исключительно тяжелые, действия неудачные, и, может быть, именно этим объяснялась бросившаяся мне в глаза угрюмость Львова.

Я спросил генерала, куда, в какие части его армии он посоветует мне ехать. Помолчав с полминуты, он, в свою очередь, спросил:

— На коне ездите?

Я с запинкой сказал, что езжу.

— Так вот, я буду сегодня объезжать все части,— сказал Львов.

Что мне оставалось? Я ответил, что рад буду его сопровождать. Он угрюмо хмыкнул и, вызвав адъютанта, приказал приготовить для меня лошадь получше и коновода. Слова «лошадь получше» меня испугали, я с тревогой вспомнил лейтенантского коня, но теперь, после того как я сказал генералу, что езжу на коне, делать было нечего.

Я забежал к Рощину и предупредил его, что уезжаю со Львовым верхами. Услышав слово «верхами», Рощин усмехнулся. Улыбка его не сулила добра. У крыльца уже стояли лошади с коноводами, и мы выехали кавалькадой человек в десять. Львов, его адъютант, их коновод, я и мой коновод, начальник инженерной службы армии и еще несколько командиров.

Уже через четверть часа я понял, что одно дело ездить вдвоем с коноводом на тихо трюхающей вслед за ним лошадке, другое дело ездить со Львовым. Генерал ехал размеренной крупной рысью, от времени до времени слегка подхлестывая лошадь. Хотя дорога была отвратительная, местами на полметра залитая жидкой грязью, Львов редко переходил с рыси на шаг.

Не помню всех подробностей дня, но хорошо помню, что Львов в дороге так ни разу и не оглянулся, не посмотрел на ехавших за ним, поспевают ли они. По приказанию Львова лошадь мне была дана хорошая, и поэтому я поспевал. Но километров через десять часть ехавших уже отстала. Теперь в нашей группе, не считая коноводов, ехало только четверо: Львов, его адъютант, начальник инженерной службы и я, грешный.

Мы переехали через железную дорогу, миновали линию наших проволочных заграждений, передний край, откуда началось наступление, и перед нами открылась картина всего, что происходило здесь в последние два дня. Грязная узкая дорога вилась меж полей, которые мало чем отличались от нее по виду: та же самая грязь, только не утоптанная. На дороге, на объездах, в балках и в балочках — всюду виднелись застрявшие машины. Они ревели и рыдали, моторы выбивались из сил, но никакие человеческие и нечеловеческие усилия, никакой мат не могли сдвинуть их с места. Под диким дождем, лившим без передышки третьи сутки, солончаковые почвы чудовищно развезло. Все вокруг буквально плавало в грязи. Даже тракторы там, где они двигались, а не стояли, ползли со скоростью полукилометра в час, и в том, как они двигались, была, пожалуй, еще большая безнадежность, чем в зрелище стоявших машин.

Мы быстро проехали через ничейную зону. Потом по ходуном ходившим, наспех сколоченным мосткам перебрались через противотанковый ров и миновали первую линию румынских проволочных заграждений и окопов.

Зрелище, которое я увидел вслед за этим, должно быть, никогда не забуду. Слева и справа от дороги, насколько хватал глаз, тянулось огромное грязное поле, истоптанное так, словно по нему долго ходил скот. На этом грязном поле с кое-где торчащими пожелтевшими стеблями прошлогодней травы и с бесчисленными мелкими минными воронками лежали трупы. Редко на войне я видел такое большое количество трупов, разбросанных на таком большом и при этом легко обозримом пространстве. Это были румынские минные поля, расположенные между первой и второй линиями их обороны. Поля эти тянулись примерно на километр вглубь, и на них лежали бесчисленные трупы — румынские и наши. Сначала, убегая с первой линии обороны, на эти собственные минные поля нарвались румыны. А потом, очевидно, на них же нарвались и наши, спешившие че-

рез эти поля вперед, вслед за отступавшими румынами. Мертвецы чаще всего лежали ничком, как упали на бегу — лицом в землю, руки вперед. Некоторые сидели в странных позах, на корточках. У некоторых оставались в руках винтовки, у других винтовки лежали рядом. Румынские странные, непривычно высокие черные бараньи шапки, наверное, некрепко державшиеся на головах, валялись рядом или впереди.

Не знаю, прав ли я, но я мысленно восстановил по этому зрелищу картину того, что произошло здесь. Румыны, когда мы ворвались на первую линию их позиций, а может быть, даже и раньше, когда мы накрыли ее артиллерийским огнем, бросились бежать. Наверное, забыв при этом, что позади них, между их первой и второй позициями, лежат их собственные минные поля, забыв о том, что через эти поля есть только немногочисленные узкие проходы, они бросились бежать прямо по этим минным полям, густо начиненным не только противотанковыми, но вдобавок к ним еще и противопехотными минами. Они бежали так густо, что на каждого человека, наступившего на мину и разорванного в клочья, приходилось еще по нескольку трупов, пораженных осколками. Они-то, эти мертвецы, и напоминали сейчас людей, прилегших отдохнуть или споткнувшихся на бегу и упавших.

А потом, через какой-то интервал времени, очевидно недостаточный для того, чтобы заметить катастрофы, происшедшей с румынами, наши, ворвавшись в первую линию окопов, сразу же бросились дальше, вслед за румынами, и сгоряча нарвались на то же минное поле.

Зрелище было настолько тягостное, что Львов, служивший штабс-капитаном еще в старой армии, человек, которому, должно быть, за три войны вид смерти был не в новинку, начал горько материться.

В первый раз за дорогу он остановил коня и, подозвав армейского инженера, стал яростно ругать его за скверную разведку минных полей противника. Километра через три, не знаю, то ли напуганный предыдущим выговором, то ли в самом деле вспомнив какие-то свои сведения о румынских минных полях, начальник инженерной службы галопом обогнал съехавшего с дороги Львова.

Львов хотел сократить путь и спрямить его через поле. Армейский инженер, обогнав его, воспротивился, заявив, что, по его сведениям, как раз вот это поле, тянувшееся

вперед на два километра, заминировано румынами. Львов иронически посмотрел на него и сказал:

— Ваши сведения ни к черту не годятся, я им больше не верю.

— Здесь все действительно точно, товарищ генерал-лейтенант,— сказал полковник.— Здесь действительно минировано, я точно знаю.

— Ничего вы точно не знаете,— с угрюмой иронией сказал Львов.— Вот мы сейчас проверим точность ваших сведений.

И он направил коня прямо через предполагаемое минное поле. Инженеру, адъютанту, коноводам и мне не оставалось ничего другого, как следовать за командующим. Копыта лошадей увязали в грязи, и мы ехали через это поле, наверно, целых полчаса. Чувство опасности немного смягчилось для меня тем природным недоверием, которое сопутствует человеку, еще ни разу до этого не подорвавшемуся на минах.

Наконец, сократив наискосок расстояние, мы выехали на другую поперечную дорогу, и Львов, во второй раз остановив коня, все с той же угрюмой иронией спросил инженера:

— Ну, так где же ваше минное поле?

— Мы проехали через него,— упрямо сказал полковник.

Львов молча посмотрел на него и поехал дальше.

Еще через километр мы проехали мимо огневых позиций «катюш». И едва проехали, как за нами побежал кто-то из командиров, крича, чтобы мы свернули в сторону, потому что сейчас будет залп.

— А что, у вас такая траектория, что нас за головы заденет? — спросил Львов.

— Нет, но все-таки неприятно,— сказал командир.

— На войне все неприятно,— хмуро сказал Львов и поехал дальше.

Мы отъехали метров сто, когда позади нас раздался залп. Впечатление было сильное. Через наши головы бил целый дивизион тяжелых эрэсов. Лошади плясали как бешеные, и я чуть не свалился в грязь.

Единственный раз я увидел на лице Львова улыбку. Сдерживая лошадь, он улыбался, глядя на «катюши», и, следя за полетом их снарядов, бормотал про себя что-то вроде «здорово, черт возьми». Во всяком случае, так мне

показалось по движению губ. Стоял такой грохот, что услышать слова было нельзя.

Дальнейшее, виденное на протяжении всего этого дня, говорило о том, что наступление явно не удается, и Львов, как мне казалось, прекрасно понимал это сам.

Все завязло в грязи, танки не шли, пушки застряли где-то сзади, машины тоже, снаряды подносили на руках. Людей на передовой было бессмысленно много. Ни раньше, ни позже я не видел такого большого количества людей, убитых не в бою, не в атаке, а при систематических артналетах. На каждом десятке метров обязательно находился подвергавшийся этой опасности человек. Люди топтались и не знали, что делать. Кругом не было ни окопов, ни щелей — ничего. Все происходило на голом, грязном, абсолютно открытом со всех сторон поле. Трупы утопали в грязи, и смерть здесь, на этом поле, почему-то казалась особенно ужасной.

Немецкие орудия не слишком густо, но беспрерывно и настойчиво обстреливали все это пространство.

Наконец мы въехали на холм, где был наблюдательный пункт командира дивизии Волкова.

Высокий, в хорошо пригнанном обмундировании, в перекрещенном ремнями ватнике, он отвечал на вопросы рассерженного Львова с достоинством и равнодушной сдержанностью человека, который уже понял, что с наступлением не получается, а раз не получается, командующий рассержен этим, иначе и быть не может. И по выражению лица и по тону Волкова чувствовалось, что этот человек привык за последние дни к возможности смерти в любую минуту и сейчас, среди всего происходящего, равнодушен и к орденам и к нагоняям.

Части дивизии наступали. Справа виднелись лиманы Азовского моря. Впереди был виден узкий язык какой-то воды — не то лимана, не то речки. Наступающие цепи переходили сейчас эту речку или лиман вброд, поднимались на ту сторону по отлогой возвышенности, на гребне которой были румыны. Отсюда, с холма, с наблюдательного пункта было хорошо видно, как в одних местах атакующие толпились гуще, в других растягивались в редкую цепочку, как они шли вперед в одном месте медленно, в другом быстрее, как рвались вокруг мины, и люди то залегали, то вновь вставали и шли.

Через наши головы били наши пушки. Немцы и румыны тоже били из орудий. Несмотря на то, что там впереди в

каких-то местах еще продолжалось продвижение вперед, во всем вместе взятом, в воздухе ощущалась потеря надежды на успех. И чувствовалось это даже в тех приказаниях и нагоняях, которые давал Львов, какими бы они суровыми ни казались.

С правого фланга поехали на левый. По дороге снова увидели танки, застрявшие в грязи и двигавшиеся со скоростью не больше километра в час и поэтому заведомо безнадежно не поспевавшие в эту распутицу за пехотой, оказавшиеся сегодня уже не в состоянии помочь ей, но продолжавшие двигаться вперед в силу приказа.

День был не только дождливый, но и туманный. Туман висел, казалось, всего в ста метрах над головой. Львов по дороге на левый фланг заезжал еще в две бригады, и я почувствовал, что мне не следует больше присутствовать при тех тяжелых разговорах, которые однообразно возникали в этот день. В ожидании Львова я топтался вместе с коноводами на открытом поле. Погода была нелетная, но немцы на этот раз с погодой, очевидно, решили не считаться и все-таки летали. В первый и пока единственный раз за всю войну я видел эту необычную, непохожую на другие бомбежку. Облака и туман висели над полем. При этом продолжал идти дождь. Но немецкие «юнкерсы», как большие рыбы, выныривали из тумана почти на бреющем, били из пулеметов и, сориентировавшись, снова исчезнув в тумане, уже оттуда, откуда-то сверху, невидимые, сбрасывали бомбы. Должно быть, они делали так потому, что вырывались из тумана слишком низко, бомбить с этой высоты было бы опасно для них самих.

У меня, да, наверное, не совру, если скажу, что и у коноводов, настроение было не из лучших. Хотелось одного — чтобы поскорее стемнело. Халупа, в которой я сегодня ночевал, казалась желанным домом.

Во время бомбежки мы с коноводами несколько раз спешивались, чтобы побыстрей лечь на землю, если бомба упадет близко. Я из чувства самосохранения старался стать между двумя лошадьми. Как только мы спешивались, так ноги увязали в грязи по колено, и каждый раз, чтобы снова сунуть сапог в стремя, приходилось руками сдирать с него пудовую грязь.

Дело близилось к вечеру. Мы подъезжали к левому флангу армии, где у нее в районе железной дороги, шедшей из Керчи на Владиславовку, был стык с соседней 44-й армией. Владиславовка по плану должна была быть

взята в первый же день, но еще не была взята и сейчас, на третий. Немецкий бронепоезд систематически бросал оттуда свои тяжелые снаряды. До левофланговой дивизии мы добрались почти в темноте.

Ее командный пункт и командные пункты поддерживавших ее артиллерийских полков — все буквально по горло сидело в грязи, в ямах и рытвинах, кое-где прикрытых плащ-палатками. От времени до времени то тут, то там рвались немецкие снаряды.

Львов провел здесь полчаса, разговаривая с командиром дивизии и с командирами артиллерийских полков. Сзади, несмотря на темноту, «юнкерсы» продолжали сбрасывать бомбы через облака.

В полной темноте мы тронулись назад по единственному сухому месту вдоль полотна железной дороги. Но оказалось, что ехать там почти невозможно. Повсюду вдоль насыпи были вырыты бесконечные ямы и ямки, прикрытые шинелями и плащ-палатками, и всюду в этих ямах и ямках отогревались и обсушивались солдаты.

Мы поднялись наверх и поехали прямо по шпалам. Потом свернули с железнодорожного пути на какую-то дорогу, вернее, подобие дороги. Львов и на обратном пути всюду, где это было возможно, ехал рысью.

По моим расчетам, мы сделали за день километров шестьдесят. Моя лошадь стала спотыкаться и по временам отставать. Я подхлестывал ее изо всех сил, боясь, что если отстану, то заночую где-то в этой грязи, не найдя дороги. Уже ночью мы подъехали к Акмонаю. У железнодорожного полотна в разбитых сараях горел неожиданно яркий свет. Заваривали автогеном пробоины в танках. Коновод сказал, что теперь остается около шести километров.

Сделав эти последние шесть километров и где-то около штаба отдав лошадь коноводу, я еле добрел до хаты Рощина. Помню, он пытался уговорить меня поесть, но, хотя я ничего не ел с самого утра, у меня даже поесть не было сил. Стащив около печки сапоги, я добрался до койки, упал на нее плашмя и заснул как мертвый.

Следующий день был обычным штабным днем корреспондента с очередным посещением разведотдела и отдела по работе среди войск противника, с чтением разведсводок, политдонесений и протоколов допроса пленных.

Остальную часть дня я отлеживался после вчерашней и позавчерашней верховой езды...

На этом месте прерву записи военного времени.

Пригревший меня тогда в своей хате секретарь Военного совета 51-й Крымской армии Василий Васильевич Рощин, как это явствует из его личного дела, был к началу войны тяжело больным человеком и жил в Крыму из-за своего туберкулеза. Это не помешало ему пойти с первых дней в армию и провоевать до конца войны. Пройдя обе горестные крымские эпопеи, и сорок первого и сорок второго годов, он после этого участвовал в боях под Сталинградом и закончил войну в Германии в должности начальника отдела штаба все той же 51-й армии.

Несколько слов о том, чего я тогда не записал в свой дневник. На самом деле в тот день я не только ходил в разведотдел и не только отлеживался после верховой езды в хате у Рощина, но еще и писал стихи, законченные спустя несколько лет, а напечатанные еще того позже, после войны.

Не берусь вспомнить, какие строчки этих стихов первоначально легли на бумагу тогда, а какие написаны позже, но, что эти стихи были начаты именно в тот день, помню хорошо. Точно так же, как всегда буду помнить, где именно тридцатью годами позже, на разбитой бомбами и залитой ливнями дороге, идущей к 17-й параллели, застряли в памяти первые строчки «Чужого горя не бывает» — поэмы о Вьетнаме, которую я писал, вспоминая нашу далекую уже войну.

Стихи, начатые там, на Керченском полуострове, в халупе у Рощина, по-своему тоже дневник:

...Мы только полчаса назад
Вернулись с рекогносцировки,
И наши сапоги висят
У печки, сохнут на веревке.

И сам сижу у печки, сохну.
Занятье глупое: с утра
Опять поеду и промокну —
В степи ни одного костра.

Лишь дождь, как будто он привязан
Навеки к конскому хвосту,
Да свист снаряда, сердце разом
Роняющего в пустоту.

А здесь, в халупе нашей, все же
Мы можем сапоги хоть снять,
Погреться, на соломе лежа,
Как видишь — письма написать...

Во-первых, чтоб ты знала: мы
Уж третий день как наступаем,
Железом взрытые холмы
То вновь берем, то оставляем.

Нам в первый день не повезло:
Дождь рухнул с неба, как назло,
Лишь только, кончивши работу,
Замолкли пушки, и пехота

Пошла вперед. А через час
Среди неимоверной, страшной
Воды, увязнувший по башню,
Последний танк отстал от нас.

Есть в неудачном наступленье
Несчастный час, когда оно
Уже остановилось, но
Войска приведены в движенье.

Еще не отменен приказ,
И он с жестоким постоянством
В непроходимое пространство,
Как маятник, толкает нас...

Все свыклись с этой трудной мыслью:
И штаб, и мрачный генерал,
Который молча крупной рысью
Поля сраженья объезжал.

Мы выехали с ним верхами
По направленью к Джантаре,
Уже синело за холмами,
И дело близилось к заре.

Над Акмонайскою равниной
Шел зимний дождь, и все сильней,
Все было мокро, даже спины
Понуро несших нас коней.

Однообразная картина
Трех верст, что мы прошли вчера,
В грязи ревущие машины,
Рыдающие трактора.

Воронок черные болячки.
Грязь и вода, смерть и вода.
Оборванные провода,
И кони в мертвых позах скачки.

На минном поле вперемежку
Тела то вверх, то вниз лицом,
Как будто смерть в орла и решку
Играла с каждым мертвецом.

А те, что при дороге самой,
Вдруг так похожи на детей,
Что, не поверив в смерть, упрямо
Все хочется спросить: «Ты чей?»

Как будто их тут не убили,
А ехали из дома в дом,
И уронили, и забыли
С дороги подобрать потом.

А дальше мертвые румыны,
Где в бегстве их застиг снаряд,
Как будто их толкнули в спину,
В грязи на корточках сидят...

Все. Даль над серыми полями
С утра затянута дождем,
Бренча тихонько стременами,
Скучают кони под окном.

Сейчас поедем. Коноводы,
Собравшись в кучу у крыльца,
Устало матерят погоду
И курят, курят без конца.

Возвращаюсь к прозаическим записям.

...Поздно вечером я познакомился в штабе армии с человеком, к которому мне посоветовали завтра присоединиться, когда он поедет в войска. Его звали Николаем Ивановичем; у него была неприметная внешность, и мне показалось, что он застенчив настолько, что его словно бы стесняет присутствие других людей, в данном случае мое. Он коротко сказал мне, что действительно завтра с утра поедет верхом объезжать части и если я хочу, то могу ехать вместе с ним. Я сказал «да, хочу», подумав про себя, что, как видно, судьба и дальше судила мне быть кавалеристом.

Мы выехали на рассвете на двух понурых лошадках. Лошадь у Николая Ивановича была не лучше моей, и сам он как-то понуро сидел на ней, и все в это утро было понуро: и небо, и земля, и все на свете.

Повторялась почти в тех же самых подробностях позавчерашняя поездка со Львовым. Сначала мы ехали мимо застрявших в грязи машин, которые засосало за сутки еще глубже в землю, мимо завязших в грязи тракторов и танков, мимо минного поля с трупами... Дорога вела нас в ту же, что и вчера, дивизию к полковнику Волкову. Только день был хотя и дождливый, но не такой туманный, как вчера, и немцы, пользуясь лучшей погодой, систематически бомбили дороги.

Сначала для нас лично все сходило благополучно, бомбили где-то далеко — то справа, то слева, но потом на одной из развилок, около застрявшего в грязи танка, бомбежка застигла и нас. Девятка «юнкерсов», вываливаясь из гораздо более высоко, чем вчера, стоявших облаков, в несколько заходов бомбила все кругом этой развилки.

Николай Иванович с лошади не слез, да и, наверное, если бы мы слезли и легли, то лежа не удержали бы за поводья бесившихся от грохота бомбежки лошадей. Лошади плясали и вертелись, как на цирковой арене; пытаясь удержать свою, я два или три раза едва не полетел с седла. В конце концов мне удалось подъехать к застрявшему танку, подогнать вплотную к нему лошадь и, схватившись рукой за пушку, придержать около танка лошадь. Там, около танка, я был хотя бы с одной стороны прикрыт.

Бомбежка прекратилась, и мы поехали дальше.

Так же как и вчера было много жертв — и убитых и раненых. В нескольких шагах от нас слева от дороги кто-то стаскивал с убитого сапоги. Николай Иванович сначала проехал мимо, потом повернул было коня, но махнул рукой и поехал дальше.

Через полчаса после этого, когда мы приехали к полковнику Волкову, тот, вытянувшись, доложил обстановку. Доложил нормально, с должной выправкой. Но в глазах у Волкова я прочел при этом невысказанный упрек, адресованный Николаю Ивановичу: «А вы для чего ко мне приехали? Еще и вы будете у меня на голове сидеть?..»

Николай Иванович счел нужным, однако, проделать все, что полагалось. Вслед за Волковым выехал прямо на коне на гребень холма, долго смотрел в бинокль и, когда, как положено в таких случаях, его предупредили, что тут нельзя долго стоять, тем более с лошадьми — могут засечь, обстрелять и убить,— ответил, что это не суть важно. Перед тем как ему сказали об опасности, он, кажется, уже собирался съехать с холма, но теперь, когда его предупредили, проторчал на холме еще лишних пятнадцать минут, лишних потому, что все, что отсюда можно было увидеть, он уже увидел в первые минуты.

Кстати сказать, открывшаяся с холма картина была та же самая, что вчера. Это больше всего и поразило меня своей безрадостностью. Так же виднелся впереди переходивший в речку лиман, так же через этот лиман на лежавшую за ним высоту шла пехота, не выполнившая вчера поставленной перед ней задачи и пытавшаяся сделать сегод-

ня то, что не вышло вчера. Николай Иванович наблюдал за полем боя и задавал время от времени вопросы. Командир дивизии отвечал на них. Потом, получив ответы на свои вопросы и, очевидно, решив, что простоял здесь, на этом месте, где его могли убить, достаточно долго, Николай Иванович простился с Волковым и поехал дальше.

По дороге в другую дивизию мы заблудились и вместо того, чтобы ехать в деревню Тулумчак, куда нам нужно было попасть, чуть было не заехали в деревню Корпеч, занятую неприятелем. Однако все-таки не заехали, вовремя вернулись и, ориентируясь, куда нам теперь ехать, долго стояли на каком-то холме, наблюдая, как, безнадежно утопая в грязи, ползут по ней наши танки.

Постояв, двинулись снова. По дороге было видно, как немцы девятками заходят на бомбежку, но теперь они бомбили далеко от нас.

Наконец мы добрались до небольшого холма, по которому подымался ход сообщения. Ход вел в блиндаж на командный пункт нужной нам дивизии. Оставив лошадей под холмом, мы пешком взобрались на него сначала по склону, потом по ходу сообщения, влезли в блиндаж, где сидел начальник штаба дивизии (командир дивизии был впереди в полку), и неожиданно для себя провели в этом блиндаже около двух часов. Причиной такого долгого сидения было то, что через полчаса, когда мы уже собрались уезжать, немцы открыли, может быть, с того же самого бронепоезда, что и вчера, сильный огонь как раз по холму, где мы были. Блиндаж содрогался от близких разрывов тяжелых снарядов. Все мы ждали, попадет или не попадет, и старательно разговаривали на отвлеченные темы, чтобы показать друг другу, что не боимся.

Проверяя себя в таких случаях, обычно поглядываешь на других. Я несколько раз смотрел на Николая Ивановича. Он сидел в этом сыром блиндаже на узкой скамейке спокойно и неподвижно, уставившись глазами в одну точку. Казалось, что он не боится, не нервничает, а просто ждет.

Обстрел все продолжался. Николаю Ивановичу предложили перекусить, но он почему-то отказался, к моей досаде, потому что мне как раз очень хотелось есть, как это обычно со мной бывает, когда мне страшно или не по себе.

Обстрел кончился примерно через час. У начальника штаба возник какой-то вопрос к Николаю Ивановичу, и тот попросил меня сходить пока за коноводами и ло-

шадьми, подогнать их поближе сюда, чтобы ехать дальше.

Еще в начале нашего сидения в блиндаже туда пришел артиллерийский полковник, грузин — худощавый, немолодой и усталый человек. Пока мы пережидали в блиндаже обстрел, он оживленно рассказывал о разных событиях этого дня, напирая главным образом на разные мелкие подробности. Когда общая картина происходящего невеселая, людям особенно хочется рассказать хоть о чем-нибудь хорошем и удачном. Должно быть, поэтому полковник-грузин несколько раз возвращался к рассказу о подвигах одного из своих наводчиков и хвалил свою батарею, которая всего с шести выстрелов разбила немецкий артиллерийский наблюдательный пункт.

Услышав, как Николай Иванович посылает меня за лошадьми, и поняв из его слов, что мы собираемся уезжать, полковник попросил у него разрешения отбыть — отправиться на огневые позиции. Мы вышли вместе с ним, я пошел направо по склону за лошадьми, а он свернул налево, по ходу сообщения.

Лошади с коноводами были довольно далеко. Едва я сделал пятьдесят шагов, как начался новый артиллерийский налет, и я вернулся в блиндаж. Едва я вошел, как вслед за мной в блиндаж вскочил кто-то из штабных командиров и сказал, что полковник-артиллерист, тот самый, с которым я расстался всего несколько минут назад, смертельно ранен в живот осколками одного из первых снарядов прямо в ходе сообщения.

— Где же он? — спросил Николай Иванович.

— Его уже понесли.

— Понесли,— сказал Николай Иванович.— Да...

И больше ничего не прибавил.

Обстрел и на этот раз длился довольно долго. Опять блиндаж трясся и ходил ходуном, опять нам, уже во второй раз, предлагали перекусить. И Николай Иванович опять отказался. Наконец все опять стихло.

Мы сели на лошадей и поехали дальше.

Не знаю почему, но так уж это было: как и накануне, я видел в этот день много убитых, но меня почему-то больше всего испугало на этот раз не зрелище лежащих в степи мертвых тел, а это внезапное смертельное ранение грузина-полковника, с которым я, с живым и здоровым, разговаривал всего за две или за три минуты до того, как для него все будет кончено, с которым мы, казалось, вот только что,

только что вышли вместе из одного и того же блиндажа — я направо, а он налево...

В стрелковую бригаду, куда нам надо было попасть, мы ехали долго, канительно, путаясь, увязая в грязи. Немцы продолжали методический артиллерийский обстрел. Снаряды летели над нашими головами и рвались где-то сзади. Звук полета был отвратительный, визжащий, а разрывы где-то там за спиной напоминали далекое чавканье громадного зверя.

Два раза попали под бомбежку. Оба раза слезали с лошадей и садились на них снова, вымокшие и грязные.

Наконец после долгих блужданий все-таки нашли наблюдательный пункт стрелковой бригады — глубокий окоп с ячейками, вырытый на небольшом холмике. Окоп был по щиколотку залит липкой грязью.

Командир бригады Петрунин, обросший, с трехдневною щетиною, в помятой каске, в ватнике, перепоясанном обтрепанными ремнями, весь заляпанный грязью, потный, потому что он только что прошагал по грязи из батальона, который водил в атаку — неудачную, как и все, что происходило в этот день,— показался мне хорошим командиром, влипшим в неудачное дело.

Он был очень расстроен и, не стесняясь присутствием начальства, ругался и сетовал, со слезами в голосе говорил о том, что всего два дня назад у него была бригада, а теперь только остатки от нее и ему обидно, что пришлось положить столько людей, чтобы продвинуться всего на каких-то паршивых три километра. Он уже имел приказ согласно ранее намеченному плану атаковать еще раз лежавшее впереди селение, предполагалось, что его можно будет с ходу захватить в лоб, потому что наши танки к этому времени уже обойдут его с двух сторон. И танки — мы их видели по дороге — действительно уже начинали выползать недалеко отсюда на равнину, но двигались они по грязи так медленно, что было абсолютно ясно — до темноты они никак не успеют обойти это селение, которое должна атаковать бригада Петрунина.

А между тем Петрунину нужно было начинать новую атаку этого селения ровно через час, то есть тогда, когда танки еще не успеют и не могут успеть обойти его с двух сторон, как это им приказано.

Мы долго стояли и смотрели, как движутся танки. Было уже ясно, что из этого ничего не выйдет, что они не успеют. Минутами мне казалось, что вот сейчас, сейчас каким-то

чудом они пойдут быстрее, чем шли, и все уладится, все сразу пойдет хорошо... Но они не могли пойти быстрее и не шли, и ничего не улаживалось. И когда настало назначенное время, Петрунин, с остервенением махнув рукой, дал по телефону приказание своему батальону атаковать это селение одному, без танков. А еще через сорок минут, как и следовало ожидать, атака задохнулась.

Николай Иванович уже собрался ехать, как вдруг пришло донесение, что не то румыны, не то немцы перешли в контратаку против одного из батальонов бригады Петрунина, и Николай Иванович после этого не счел возможным уезжать и остался — ждать, как развернутся события.

Темнело, по-прежнему лил дождь...

Румынскую контратаку благополучно отбили. Когда ее отбили и получили донесение об этом и подтверждение этого донесения, Николай Иванович решил, что теперь, после этого, ему можно отсюда уехать, что он вправе это сделать.

Мы ненадолго заехали еще в одну дивизию и на обратном пути долго плутали по полям, отыскивая дорогу. В штаб армии вернулись глубокой ночью. Я спросил Рощина, какое положение сложилось к концу дня на фронте. Он сердито отмахнулся от меня.

— Я думал, что вы мне расскажете, вы же оттуда!

Я ответил, что не имею ни малейшего представления о том, что и как на самом деле реально происходит. Есть только общее горькое ощущение неудачи.

Рощин сказал, что ощущение у меня правильное и что мы сегодня за весь день так и не продвинулись дальше.

После этого я пробыл в частях 51-й армии еще один день, в течение которого не произошло ничего утешительного. К ночи мы снова нигде не продвинулись, и я окончательно понял, что все кончилось неудачей. У меня и раньше возникало чувство, которое еще раз подкрепилось здесь, в Крыму, событиями этих дней, что если ни в первый, ни на второй, ни на третий день не происходит решительного рывка вперед, значит, наступление не вышло и не выйдет впредь до новой перегруппировки и нового удара.

Посоветовавшись с Рощиным, я решил ехать в штаб фронта и, получив лошадь и коновода, двинулся обратно в Ленинское.

Должно быть, я уже успел притерпеться к верховой езде, во всяком случае, обратную дорогу до Ленинского мы с коноводом одолели за каких-нибудь семь часов. По дороге нам встретилась шедшая в сторону передовых свежая

дивизия. Она топала по грязной, разбитой дороге и по обочинам. Молодые безусые люди, новые каски на головах, свежее, еще не потрепанное обмундирование. Шли ладно и аккуратно, аккуратно тащили пулеметы, аккуратно везли минометы. И у меня возникало в душе щемящее чувство при виде этих людей, которые сейчас вот так спокойно, складно и дружно идут, а через день, через два или через неделю попадут в пекло боев...

Утром следующего дня наши зенитки подбили над самым Ленинским немецкий «юнкерс». Летчики были взяты в плен, и в числе их не то капитан, не то майор — командир немецкой разведывательной эскадрильи. Узнав, что их допрашивают в разведотделе, я пошел туда и стал дожидаться разрешения поговорить с ними в комнате, соседней с той, где их допрашивали. Вдруг из этой второй комнаты выкатился толстый помощник Мехлиса, которого раньше в редакции, когда он еще был газетчиком, все запросто, непочтительно звали Пашей. Выкатился и раскричался, чтобы отсюда немедля убирались все лишние, что разведотдел — это вам не пункт сбора донесений! В общем, вел себя так,словно сам никогда не работал в газете, и ни в какую не хотел войти в наше корреспондентское положение. Как я его ни урезонивал, он все равно орал, чтобы мы убирались. Ничего не поделаешь, пришлось убраться, так и не воспользовавшись случаем поговорить с пленными немецкими летчиками в надежде хоть что-нибудь сделать для газеты.

Во второй половине дня мы с нашим корреспондентом по Крымскому фронту Бейлинсоном влезли на попутный грузовик и поехали в Керчь. Уже подъезжали к ней, когда начался воздушный налет: рвались бомбы, со всех сторон лупила наша зенитная артиллерия, в воздухе перекрещивались пулеметные трассы... Но делать было нечего, надо было добираться до дома, где устроились корреспонденты «Красной звезды». До этого мы ссадили у госпиталя раненого, которого взяли в кузов грузовика по дороге. Всю дорогу до Керчи сыпал снег пополам с дождем, озябший раненый старался держать на весу простреленную в предплечье руку, а я, сидя с ним рядом, на ухабах держал его самого, чтобы его не ударяло о борт.

У корреспондентской квартиры мы вылезли мокрые и замерзшие и поднялись по выходившей во двор зыбкой деревянной лестнице в маленькую комнату на втором этаже. Наш краснозвездовский фотокорреспондент Темин, к на-

шей радости, оказался на месте, но, к нашему горю, у него не оказалось ничего — ни поесть, ни выпить, хоть шаром покати. Бейлинсон предложил сходить в морскую столовую керченской флотской базы, сказал, что уже один раз там был и нас, хоть мы и не флотские, наверное, пустят туда.

Зенитки лупили вовсю, и мы старались идти впритирку к стенам домов и побыстрее, перебежками. Шли в хорошем темпе и через двадцать минут оказались в кают-компании флотской базы. Там за одним из столов сидели моряки, пригласившие нас подсесть. Во главе стола сидел командир базы контр-адмирал Фролов. Он ужинал, морщась от боли, вся голова его была так плотно перебинтована, что было не совсем понятно, куда он вливает водку и откуда исходит его голос. Накануне в штаб моряков было прямое попадание бомбы, несколько человек было убито, Фролову сильно разбило голову, вдобавок зацепило несколькими осколками, но он оставался в строю и продолжал командовать базой.

Вскоре кончилась бомбежка, а за ней и зенитная стрельба. И мы уже без этого аккомпанемента довольно долго говорили с Фроловым. Судя по этому и еще по двум разговорам, которые у нас были с ним до моего отлета из Керчи, он показался мне человеком острого и озорного ума.

Я пробыл в Керчи несколько дней. Был за эти дни у командующего ВВС Крымского фронта, ездил в авиационный полк, разговаривал с летчиками, ходил над Керченским рвом. Он был уже закопан, но все равно имел страшный вид — из-под земли то здесь, то там высовывалась то нога, то рука, то обрывок полуистлевшего тряпья.

Два дня я разговаривал с керченскими партизанами и сделал для газеты единственное реальное за всю поездку дело: собрал материалы для очерков о борьбе в керченских каменоломнях...

В дневниковых записях я ограничился только упоминанием об этой героической странице истории города. Но в блокноте сохранился рассказ, записанный мною со слов Николая Ильича Бантыша, начальника штаба партизанского отряда имени Ленина:

«Родился в деревне Маяк под Керчью в 1910 году. Русский. Сам рыбак. Начал рыбачить с тринадцати лет. Наша деревня вся рыбачья. Был на действительной в армии. Кончил школу связи. Вернулся младшим командиром. С 37-го

года в партии. Три брата в армии, двое из них саперы. Работая начальником цеха на рыбозаводе, дважды подавал заявление в военкомат. Потом райком партии включил меня в состав партизанского отряда. Мне предложили, и я согласился. Не то что согласился, а боялся, чтобы меня почему-нибудь не выключили! Потом меня назначили начальником штаба, и мы подготавливали людей и все необходимое.

Когда немцы подходили к Керчи, ребята днем продолжали работать, а по ночам готовили скалу — возили продукты, боеприпасы, цемент для изготовления резервуаров для воды. К четырнадцатому ноября наш отряд был в полном сборе. Было роздано оружие — винтовки, пулеметы, гранаты. Мы к тому времени уже несли охрану скал. В этих скалах ведь так: только потуши свет — и ты погиб, хоть родись там, в этих скалах, но потуши свет — и ты погиб!

Нас в отряде было пятьдесят пять мужчин и пять женщин. Мы забрались в глубину и часть выходов за собой заложили. К двадцать первому ноября немец выгнал население, которое гнездилось в крайних коридорах, и двадцать второго добрался до нас. Начал разбирать заложенные галереи и обстреливать. Мы отвечали огнем, а потом заложили в проходах на пути немцев фугасы и взорвали их. Слышали крики и стоны. Скалы очень чувствительны на толчки, а на голос отзываются глухо.

Мы знали места, где скалу можно пробурить сверху. И вот слышим — бурят! Мы уже приготовили камень, чтобы подложить, подпереть, чтобы немец не заметил момента, когда бур пройдет насквозь. Но они не прошли насквозь буром, бросили.

Особенно остро у нас было с водой. Давали по два стакана на сутки. Никто лишних даже двадцати граммов воды не мог получить без разрешения. Уже на третий день, когда мы там находились, немцы стали насильно сгонять население и заставлять его замуровывать наши ходы наружу цементом, а там, где было трудно замуровать, заваливали их с помощью взрывов. Старались оставить в каменоломнях всего несколько отверстий, у которых встала немецкая охрана.

Однажды зашли в такое отверстие двое немцев. Мы им дали погулять. Один из них был такой храбрый, что ходил с факелом. Потом мы их застрелили. Хотели взять, обыскать, но немцы сверху не давали, бросали кругом тру-

пов гранаты, а потом заложили дырку и взорвали над трупами скалу, похоронив их под нею.

Вырываться из-под скал наружу бывало трудно. В скалу вот так — тук-тук — постучишь, и слышно на два метра, а когда идешь со светом — а без света нельзя,— то не только слышно, а и видно издалека. Однажды мы незаметно проделали новую дырку в скале, и Виктор Иудин полез через эту узкую дырку. Только стал вылезать, а ему штык к спине приставили, но немец растерялся, и Иудин успел ускользнуть обратно.

Немец держал над скалами чуть не целый полк, сделал укрепленные точки с амбразурами, насажал автоматчиков. Они думали, что нас тут, внизу, очень много, а у нас на самом деле не хватало людей для всех дежурств, где требовалось дежурить. Дежурили часто, через сутки. Один из нас — Кочубей — пошел в разведку. Днем выполз на исходную позицию, а ночью вылез и добрался в город на завод. Когда вернулся, сообщил нам, что Москва и Ленинград окружены и что немцам в Крыму обещают дать отпуск после взятия Севастополя. Так мы узнали, что Севастополь все же не взят! Но самое хорошее было то, что наши сбросили в Керчи листовки населению, что Новый год будем встречать вместе! Когда Кочубей с этой листовкой ночью добирался к нам обратно, он ошибся, наткнулся на заложенную стенку. Сзади светили немецкие ракеты. Он разобрал за ночь стенку и к рассвету с окровавленными руками упал к нам.

В каменоломнях естественного света никакого не было — полный мрак, совершенная темнота. Оставалось надеяться только на свечи, лампы и фонари. С дежурных постов имелась проводка — телефон, и было запасено на два с половиной месяца воды. Были у нас морские суточные часы, я сам следил за ними и перекидывал листы на календаре. Календарь работал без ошибки, а часы ушли часа на два вперед.

Раз в день после завтрака была раздача воды. Получил свою воду, что хочешь, то и делай! Когда немец начал активно рвать скалу, мы на тридцать процентов сократили еду, чтобы дольше продержаться. Пищу раздавали женщины, и на раздаче воды была женщина — начальник водрежима, так мы ее звали. В первые дни у нас был хлеб, но там, под землей, сырость, все цветет и преет, так что мы правильно сделали, что запасли муку, пекли из нее. Когда была годовщина товарища Сталина, попросили

начальника водрежима Анну Родионовну испечь нам пирог с брынзой, а до этого ко дню Конституции она напекла пирожков.

Один раз начальник продовольствия Войтенко задумал сделать винегрет, всем хотелось острого, попросил разрешения, я было разрешил, а потом вспомнил — ведь бураки и картошку надо же варить в кожуре, значит, вода пропадет! Иду к нему, говорю — отменяю ваш винегрет, а он украинец, говорит: «Чого?» Я говорю: а куда ты денешь воду с картошки и бураков? Он говорит: «С картошки пойдет на суп». А с бураков? Он стал в тупик, и пришлось запретить.

Грязь там, под землей, знаете, какая? И вот вдруг выпал снег, через дырки нападал в галерею. Тут все, а особенно женщины, стали просить у комиссара Черкеза пустить их из-под носа у немцев снегу поворовать. Пошли принесли, стали головы мыть, а кто и до пояса! В скалах кое-где сверху капает вода чистая. Каждый завел себе банку и подставлял — такой был добавочный паек, за которым ходили. Иногда далеко. Двое пошли и чуть не заблудились.

Один из наших дежурных заснул на посту, раз заснул, второй раз заснул, мы вызвали его и вызвали начальника разведки, Зайченко Анания Семеновича. Говорим: отведите его и расстреляйте. Зайченко его повел, но потом по дороге говорит: вернись. Попроси прощения! Он вернулся, попросил, и мы его простили.

С двадцать пятого на двадцать шестое декабря услышали сильную стрельбу и бомбежку. Из наших дырок в скале видели, как проходят мимо немецкие колонны. Мы стали их обстреливать, они разбегались, а потом начали бить по нас минометами. Двадцать седьмого сделали вылазку. Кисляков из пулемета заглушил амбразуру, откуда по нас бил немецкий пулеметчик, а мы зажигательными пулями зажгли стоявшую поблизости радиостанцию. Немцы нас все еще продолжали охранять. Начали снимать охрану только двадцать девятого утром. Мы вышли наверх и стали бить по отходящим немцам.

Представьте себе, выйти наверх, кругом воздух, и стоишь во весь рост! Вынесли из-под земли и воткнули в скалу наше знамя. Потом пошли к деревне Аджимушкай, ворвались в нее и освободили там сидевших у немцев заложников. По дороге вывели из строя шесть машин и в одной из них захватили документы штаба полка.

Мы бы сделали, наверно, еще больше, но когда вышли наверх — солнце и снег, как слепые, почти ничего не видим! И верилось, и не верилось, и сам не знаешь, ты ли это или не ты. Напечатали приказ и расклеили, что власть в Сталинском районе отныне принадлежит партизанскому отряду имени Ленина, у нас портрет его там, под землей, висел...»

Я вторгся этим рассказом в свои дневниковые записи, потому что в общей атмосфере тех керченских дней февраля — марта сорок второго года была и эта торжествующая нота, звучавшая в голосах людей, выстоявших, вырвавшихся с оружием в руках наверх, на свет божий, навстречу нашему десанту.

...По Керчи и ее окрестностям я ездил все на той же редакционной «эмке» с брезентовым верхом, на которой когда-то, в сорок первом, добирался из Москвы в Севастополь. Теперь она была уже и вовсе потрепанная, чихала и фыркала, но все-таки ползала.

Во время нашего прошлого отступления из Крыма ее удалось вывезти через Керченский пролив, потом на ней ездили корреспонденты где-то под Ростовом, потом на Северном Кавказе, и наконец она снова переправилась сюда, чтобы на этот раз окончить свои дни здесь во время нашего второго отступления из Керчи.

Хочу сказать то, что думаю об этом отступлении. Катастрофа произошла через два месяца после того, как я уехал отсюда, из Керчи. И теперь, после нее, задним числом, мне можно и не поверить, но тогда, когда я возвращался из армии сначала в Керчь, а потом в Москву после зрелища бездарно и бессмысленно напиханных вплотную к передовой войск и после связанной со всем этим бестолковщины, которую я видел во время нашего неудачного наступления, у меня возникло тяжелое предчувствие, что здесь может случиться что-то очень плохое.

Войск было повсюду вблизи передовой так много, что само их количество как-то ослабляло чувство бдительности. Никто не укреплялся, никто не рыл окопов. Не только на передовой, на линии фронта, но и в тылу ничего не предпринималось на случай возможных активных действий противника.

Здесь, на Крымском фронте, тогда, в феврале, был в ходу лозунг: «Всех вперед, вперед и вперед!» Могло

показаться, что доблесть заключается только в том, чтобы все толпились как можно ближе к фронту, к передовой, чтобы, не дай бог, какие-нибудь части не оказались в тылу, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не оказался вне пределов артиллерийского обстрела противника... Какая-то непонятная и страшная мания, с которой мне не приходилось сталкиваться ни до, ни после.

А как только вы отъезжали на десять километров в тыл, вам уже не попадалось на глаза ничего — ни войск, ни узлов противотанковой обороны, ни окопов, ни артиллерийских позиций.

От фронта до Керчи тянулось почти пустое пространство. Даже на линии знаменитых Акмонайских позиций не было вырыто ни одного нового окопа, а старые, оставшиеся от прежней обороны, были изуродованы: проходившие вперед войска нарыли там себе со всех сторон норы, должно быть, грелись по ночам.

Нет, я не лгу, говоря, что тяжелые предчувствия у меня возникали в душе уже тогда, в феврале и марте.

Пробыв несколько дней в Керчи, я еще раз поехал в штаб ВВС и узнал, что войска перешли к обороне, начинается перегруппировка, предстоит подготовка к новым действиям.

Решив, что раз так, то я при всех обстоятельствах успею слетать в Москву, где мне до зарезу нужно было пробыть хоть несколько дней, чтобы закончить «Русских людей», я, договорившись с редакцией, утром 8 марта сел на «дуглас», шедший в Москву. Кстати, вез меня на своем самолете тот самый симпатичный бородатый летчик Боев, который через четыре месяца на бреющем полете воткнулся в какой-то курган за Ростовом. Боев покалечился, а оказавшийся в числе его пассажиров возвращавшийся из Севастополя Евгений Петров разбился насмерть.

Сделав короткую посадку в Краснодаре, мы через пять часов были в Москве. Так закончилась эта моя поездка, с точки зрения газетчика, самая неудачная из всех, что пока были, а с точки зрения человека, который будет писать о войне через десять лет после нее, быть может, одна из самых важных...

Прошло не десять, а почти тридцать лет после конца войны и нашей победы, но я все еще не могу перечитывать эти страницы дневника без боли и горя. Неудачное наступ-

ление, свидетелем которого я тогда оказался, было прямым преддверием всего дальнейшего. И во время февральской неудачи, и во время майского поражения Мехлис, действовавший на Крымском фронте в качестве уполномоченного Ставки и державший себя там как личный представитель Сталина, подмял под себя образованного, но безвольного командующего фронтом и всем руководил сам. Руководил, как может это делать человек лично фанатично храбрый, в военном отношении малокомпетентный, а по натуре сильный и не считающийся ни с чьим мнением. Мне рассказывали, что, когда после катастрофы в Крыму Мехлис явился с докладом к Сталину, тот не пожелал слушать его, сказал только одну фразу: «Будьте вы прокляты!» — и вышел из кабинета.

Я поверил в этот рассказ, во всяком случае, в его психологическую возможность.

И еще больше укрепился в своем ощущении, прочитав в книге А. М. Василевского «Дело всей жизни» о том, с какой чрезвычайной строгостью Ставка в своей директиве от от 4 июня 1942 года отнеслась к поражению в Керчи, несшему за собой тяжелые последствия для Севастополя: «Основная причина провала Керченской операции заключается в том, что командование фронта — Козлов, Шаманин, Вечный, представитель Ставки Мехлис, командующие армиями фронта и особенно 44-й армии — генерал-лейтенант Черняк и 47-й армии — генерал-майор Колганов обнаружили полное непонимание природы современной войны...»

Перечитывая свои записи, я с горечью вспоминал многих людей, которые погибли в ту весну в Крыму, не дожив ни до Сталинграда, ни до Курской дуги и так и не успев увидеть своими глазами, как меняется война, как она поворачивает с Востока на Запад.

Среди многих погибших там весной 1942-го были и те, чьим спутником я был и о ком упоминал на страницах своих записей,— и Николай Иванович, и генерал-лейтенант Владимир Николаевич Львов. В первую мировую войну — подпоручик (а не штабс-капитан, как сказано у меня в дневнике), в гражданскую войну — командир бригады, в двадцатые годы — военный советник в Монголии и Китае, этот опытный и мужественный человек, не погибни он в первые же дни боев на Керченском полуострове, наверное, мог бы еще много сделать на этой, четвертой на его веку войне.

Конечно, к моей радости, я не раз встречал потом на

войне и тех, кто остался в живых, пройдя невредимым через тяжкую крымскую эпопею весны сорок второго. Но они даже в дни самых больших побед не любили вспоминать о ней.

На разные воспоминания тянуло людей во время войны, в том числе и на трудные. Но на воспоминания о случившемся тогда на Керченском полуострове — нет, не тянуло!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Я вернулся в Москву 8 марта, а в следующую свою корреспондентскую поездку на Западный фронт отправился только 5 апреля. Без малого месяц я работал над «Русскими людьми» то в тесной, заставленной мебелью красного дерева, нетопленной квартире Николая Михайловича Горчакова, то прямо на репетициях, в тоже нетопленном здании филиала МХАТа в Петровском переулке, где играл тогда свои спектакли Московский театр драмы — так к тому времени стал называться Театр Ленсовета, пополненный оставшимися в Москве актерами других театров.

Спектакли из-за опасности бомбежек начинались очень рано, днем, и обычно половину нетопленного театрального зала занимали фронтовые полушубки.

Горчаков, руководивший театром и ставивший мою драму, был известен как блестящий комедийный режиссер, и в начале нашей работы над «Русскими людьми» это меня даже тревожило. Однако тревоги быстро исчезли. Война, как и во многих других людях, открыла в Горчакове что-то, может быть, неведомое и неожиданное даже для него самого, какую-то трагическую, дремавшую в нем до этого струну души.

Несмотря на свой юмор и внешнюю веселую обходительность, Николай Михайлович, в сущности, был человеком скорей замкнутым, чем общительным. Но в ту военную зиму и весну он жил и работал с какой-то особенной открытостью. В театральной среде его принято было считать дипломатом, а он, словно наперекор себе прежнему, работал с актерами над моей военной пьесой так, словно сам надышался фронтового воздуха, начистоту, прямо и резко выкладывал все, что думал,— и о несовершенствах пьесы, и и об актерских неудачах.

Я написал за свою жизнь много пьес, но самое полное

нравственное удовлетворение я испытал тогда, в сорок втором году, работая над «Русскими людьми».

В театре было очень холодно. Репетировали, дуя от холода в кулаки, кутаясь. Работали денно и нощно, без отдыха, потому что всем очень хотелось поскорее сыграть эту пьесу — хорошую или плохую, но рассказывавшую о том, что происходило на фронте.

В Московском театре драмы в то время работали два удивительных актера: Дмитрий Орлов и Ростислав Плятт. И именно они играли в «Русских людях» две лучше других удавшиеся мне роли — Глобу и Васина.

В покойном Дмитрии Николаевиче Орлове, в самой его натуре и повадках тогда, в сорок втором году, я ощущал что-то редкостно близкое все тем встречавшимся мне на фронте в разных должностях, бывалым, немолодым русским людям, немногословно, обыденно впрягшимся в войну и потащившим ее на себе, не произнося речей, не числя себя героями и не забывая при случае пошутить — и над немцами, и над собой, и над смертью. Недаром Орлов впоследствии так неповторимо читал Теркина. И хотя я, а не Орлов написал в пьесе подсмотренного по кусочкам в разных местах войны военфельдшера Глобу, хорошо помню, как я уже с первых репетиций почувствовал, что Орлов знает об этом написанном мною человеке больше, чем я. Он влез в эту роль с самого начала и так и сидел на репетициях, уже не существуя ни в каких других качествах, сидел Глобою, привычно заложив большие пальцы за ремень гимнастерки, с привычной хитринкой прищуриваясь на говорящих.

В театре, как я уже сказал, был лютый холод. Но Орлов на репетициях не хилился, не горбился, не мерз — ватник был небрежно наброшен на плечи, грудь широко расправлена, в движениях ни зябкости, ни торопливости.

Мне никогда не забыть, как сначала на репетициях, а потом и на спектаклях Орлов — Глоба уходил на смерть с песней «Соловей, соловей, пташечка, канареечка жалобно поет»... Он немножко, чуть слышно прокашливался от волнения в ту минуту, когда окончательно понимал, что уходит на верную смерть. И только этим покашливанием да, пожалуй, крохотной задержечкой, с которой застегивал ватник, давал почувствовать, как ему не хочется умирать. Песню он начинал чуть слышно, самую малость надтреснутым от волнения голосом. А потом, задушив в себе это волнение,

выводил ее все сильней и сильней, яростно, залихватски и кончал так, словно плевал в лицо смерти.

Если бы Орлов уже на репетициях не убедил меня, что Глоба, уходя на смерть, не только может, но и должен именно так петь эту песню, возможно, я не решился бы оставить ее в пьесе. Конец сцены мне нравился, но я не был до конца уверен в его жизненной правде. И только Орлов убедил меня в этом.

«Русские люди» писались среди войны, и за персонажами пьесы почти вплотную стояли люди, которых я видел и о которых вспоминал. Это было не столь важно для зрителя, но для меня, автора, было существенно.

За городским головой, доктором Харитоновым, стоял для меня феодосийский бургомистр Грузинов.

За водителем полуторки Валей Анощенко была встреча на Арабатской стрелке с бесшабашно храброй девушкой-«шоферкой».

Манера разговаривать с людьми, примеченная мной на Рыбачьем полуострове у Дмитрия Ивановича Еремина, толкнула на то, чтобы именно таким написать в пьесе капитана Сафонова.

Для тех, кто знал по фронту тишайшего, нескладнейшего и храбрейшего из нас, военных корреспондентов, Евгения Кригера, не составляло труда догадаться, откуда взялся в моей пьесе журналист Панин.

И, пожалуй, лишь у одного из действующих лиц, майора Васина, которого играл в «Русских людях» Ростислав Плятт, не было на войне даже и отдаленнейшего прототипа. Прототип был, но не на войне, а в глубоком тылу, в Молотове, куда осенью 41-го года уехали мои родители. В данном случае все вышло наоборот: я не взял человека из войны, а отправил туда, на войну, человека, который вопреки своему желанию не смог в ней участвовать. Мой отчим, с пяти лет стремившийся привить мне свои понятия о правилах человеческого поведения, был к этому времени уже шестидесятилетним человеком. Профессиональный военный, офицер, а потом командир Красной Армии, участник японской, германской и гражданской, пять раз раненный и вдобавок отравленный газами, он был к началу войны настолько недужен, что его ходатайства об отправке на фронт ни к чему не привели. Он жил войной там, в тылу, в Молотове; преподавал военное дело в эвакуированном московском институте и писал мне редкие, всегда короткие письма. А я на фронте в минуты слабости или нерешитель-

ности не раз проверял себя им. Впрочем, в данном случае мне как-то больше с руки сказать о нем строчками из написанной уже после войны поэмы «Отец»:

...Ни страха в письмах, ни тоски,
За всю войну, ни слова,
Хотя вы с мамой старики
И сына нет второго.

Лишь гордая твоя строка
Из далека далекого:
Что хоть судьба и нелегка,
Солдат не ищет легкого!

Как часто я себя пытал
Войны годами длинными:
Отец лежал бы или встал
Сейчас, вот тут, под минами?

Отец пополз бы в батальон,
Чтоб все яснее ясного?
Иль на КП застрял бы он,
Поверив сводке на слово?

Как вспомню прошлую войну,
Все дни ее и ночи,—
Ее во всю ее длину
Со мной прошел мой отчим...

Именно этого, служившего для меня нравственным мерилом человека я попытался представить себе не в тылу, а на фронте. Так родилась в пьесе фигура майора Васина, роль которого репетировал весной 1942 года Ростислав Плятт.

В данном случае я совершенно точно представлял себе реально существующего человека и допускаю, что во время репетиций даже мешал Плятту, когда старался показать ему именно э т о г о человека. Тем более благодарен остался я актеру, который, отбрасывая все излишества в моих советах, все мелкие подробности, которые были важны только для меня самого, сыграл эту роль с таким внутренним сходством с ее прототипом, что созданный им образ майора Васина на всю жизнь остался для меня чем-то гораздо большим, чем просто театральная роль.

Мне хочется закончить свой рассказ о работе над спектаклем «Русские люди» несколькими выдержками из письма того времени. В апреле 1942 года, уезжая на фронт в разгар репетиций, я свел воедино свои мысли и соображения и оставил Горчакову довольно длинное послание.

Пьесу собирались ставить и другие театры, и я считал, что письмо может пригодиться и для них. Наверно, тут сыграло свою роль и чувство, что, длинная или короткая, мне все же предстоит поездка на фронт и все мы — под богом ходим!

В письме много чисто театральных соображений. Опустив их, приведу лишь те места, где речь идет о взглядах на войну. Сама пьеса «Русские люди» была для меня первой попыткой обобщения этих взглядов. Такой же попыткой, только в другой форме, были и некоторые страницы письма:

«...Важно сохранить ощущение, что война не начинается на первой странице пьесы и не кончается на ее последней странице. Если в пьесе сто страниц, предположить для себя, что до начала ее первой страницы уже было триста страниц войны, а после ее последней страницы будет еще шестьсот страниц войны. И все это будет толстый том войны, в середину которого, как тоненькая тетрадка, вплетена пьеса. Для героев пьесы война не начинается в первой картине. Для них война идет уже давно, они уже привыкли к ней, давно воюют, видели смерть в глаза, и она для них не в новинку.

Война не есть сплошная опасность, одно ожидание смерти, одни мысли о ней. Если бы это было так, то ни один человек не выдержал бы тяжести войны не только в течение полугода, но даже в течение месяца. Война есть совокупность смертельной опасности, постоянной возможности быть убитым и рядом с этим всех случайностей и особенностей, деталей повседневного быта, который всегда, а не только на войне присутствует в нашей жизни. Я хочу этим сказать, что человек, даже постоянно находясь в опасности, все-таки не думает о ней все время хотя бы по той простой причине, что он носит белье и, когда может, стирает его, что он греется, ест, пьет, оправляет свои естественные надобности, в общем, делает все то, что так или иначе принято делать в нормальной жизни. Он не только делает все это, но и думает обо всем этом. Думает повседневно и ежечасно. И если человека могли убить вчера, и если он чудом спасается от смерти завтра, то это не значит, что он сегодня не станет думать о том, выстирано его белье или нет; он непременно будет об этом думать. Больше того. Он будет ругаться, если белье не удалось постирать, совершенно забыв в эту минуту, что завтра его могут убить, независимо от того, в каком он будет белье — в чистом или в грязном. Эти бытовые обстоятельства отнимают у человека и

время, и нравственные силы. И это не только не плохо, а, наоборот, прекрасно, ибо без этого человек всецело был бы занят мыслями об опасности.

Чувство опасности присутствует у всех и всегда. Больше того. Продолжаясь в течение длительного времени, оно чудовищно утомляет человека. При этом надо помнить, что все на свете относительно. И то, что вы, приехав со своей актерской бригадой на фронт, считаете для себя опасностью, командир полка, к которому вы приехали, считает для себя безопасностью. Обстрел дальнобойной артиллерией той деревни, где вы даете концерт, для вас — опасность. А для него — относительная безопасность, потому что сегодня утром он был в атаке. Человеку, который вернулся из атаки, деревня, до которой достают дальнобойные снаряды, кажется домом отдыха, санаторием, чем угодно, но только не тем, чем она кажется вам, только что приехавшим в нее из Москвы. Это я говорю никому не в обиду. Просто привожу как пример. Потому что, если продолжить эту цепочку, для человека, сидящего сейчас в Новосибирске, Москва, которую иногда бомбят, тоже в какой-то мере кажется опасностью, в то время, как вы сами, только что вернувшись из фронтовой поездки, считаете ее совершенно безопасным местом.

Чувство страха у людей никогда не исчезает. Но есть две причины, по которым оно смягчается на фронте. Одна из них — мысль о том, что тебя могут убить не только в двухстах метрах от немцев, но иногда и в двадцати километрах; и вторая — главная,— что человек на фронте занят работой, бесконечным количеством дел, о которых ему в силу своих обязанностей постоянно нужно думать и из-за которых он часто не успевает думать о своей безопасности. И чувство страха притупляется на фронте именно поэтому, а вовсе не потому, что люди до такой степени привыкают, что становятся бесстрашными.

Вопрос о риске. О том, что люди рискуют жизнью в такой степени, когда почти не остается надежды остаться в живых. Играя людей в таких обстоятельствах, надо при этом помнить, что и Глоба и Валя идут в разведку не откуда-то из безопасного места, а из окруженного немцами города, где всем им так или иначе всечасно грозит смерть. И смертельный риск, на который они готовы, не так уж далеко отстоит от постоянного, ежечасного риска, которому они подвергаются. В таких обстоятельствах и легче решаться и легче решать — посылать людей на смерть.

Война меньше всего сборник приключений. Это дело тяжелое, неуклюжее, во многих случаях совершающееся вовсе не так, как это первоначально бывает задумано. В войне есть, несомненно, некая общность и логика событий. Но в каждом отдельном случае логика то и дело нарушается; война не геометрия. На ней трудно провести прямую линию от А до Б. Прямых линий не получится. Будут зигзаги. На пути людей ежедневно будет возникать масса непредвиденных препятствий, и реальных и психологических, потому что, повторяю, война — дело тяжелое и изобилующее случайностями.

О немцах. Розенберг — садист и любитель подлых ощущений. Но это не значит, что он плюгав, отвратительной внешности и труслив. Вернер — солдат, не любящий лишних слов, грубый, беспощадный. Но это не значит, что это закованный в железо кусок мяса. Оба они самые обычные люди. Но в том-то и состоит самое страшное, что эти самые обыкновенные с виду и по своим внешним мелким проявлениям люди, в сущности, совершают страшные дела.

Не следует финал пьесы превращать в апофеоз нашего оружия. Это не нужно и вредно. Говоря о финале пьесы, мне хочется напомнить особенно твердо и решительно то, с чего я начал: пьеса всего лишь тоненькая тетрадь, вплетенная в середину огромной книги войны. И за той, последней страницей пьесы, где ее герои отбивают у немцев город, будут еще шестьсот страниц войны, еще многие месяцы опасности. Для тех, кто на последней странице пьесы остался в живых, война не кончилась, она еще в разгаре. Немцы еще не разбиты и не отомщены. Вернер и Краузе ушли из пьесы невредимыми, и это сделано мною намеренно, а не случайно...»

...В первые дни апреля я вместе с Габриловичем и фотокорреспондентом Минскером уехал на неделю на Западный фронт в 5-ю армию и большую часть времени провел там в одном из полков дивизии полковника Полосухина, к тому времени погибшего.

На обратном пути в Москву заехал в медсанбат дивизии, где лечился от ран выбывший из строя командир того полка, где я был, майор Гриценко, и несколько часов проговорил с ним. Сведя потом его рассказ со своими собственными наблюдениями, я напечатал в газете корреспонденцию «День, в который ничего не произошло».

Наша машина на обратном пути из дивизии Полосухина испортилась, мы подтягивали ее на буксире, заводили, она снова шла километр или два и снова останавливалась. Мне наскучило все это, я вылез из машины и, попрощавшись с Габриловичем и Минскером, влез на попутный грузовик с дровами. Лежа наверху огромной кучи дров, я к ночи добрался до Москвы и почти сразу же сел писать корреспонденцию.

Когда я писал, мне хотелось хоть в какой-то мере объяснить другим то, что было тогда на душе у меня самого. Ощущение повседневной тяжести войны, бесконечных людских трудов, со зрелищем которых было связано мое раздражение против тех бесконечно легкомысленных вопросов, которые ежедневно волновали многих московских попрыгунчиков и служили предметом обсуждения у «пикейных жилетов»: «почему мы остановились?», «почему сегодня в сводке опять ничего не взяли?», «почему?», «почему?»... Да вот потому! Потому что ради взятия этой не обозначенной ни на каких картах, кроме пятисотки, круглой рощицы нужно всем, начиная от командира полка, еще в сороковой или в пятидесятый раз за зиму рисковать жизнью, потому что ради этого кому-то нужно умереть. И все это очень трудно, и особенно тогда, когда общий большой порыв наступления уже иссяк.

Вспоминая об этом трудном для нас периоде, хочу прервать свои записи одной страницей из воспоминаний К. К. Рокоссовского, где он с позиций командарма анализирует общий смысл тех разрозненных фактов, с которыми я то здесь, то там сталкивался как корреспондент.

Вот что он пишет на 113-й странице своей книги «Солдатский долг»:

«Противник был отброшен от Москвы, потерпел поражение. Но он еще не потерял обороноспособности, сумел в конце концов закрепиться и продолжал перебрасывать свежие войска с запада, где военные силы гитлеровской Германии не были связаны действиями наших союзников. Все, на что были способны наши истощенные войска,— это выталкивать врага то на одном, то на другом участке, тратя на это силы и не достигая решительных результатов. Они с трудом пробивались вперед. Я неоднократно тогда бывал в разных частях и на разных участках с целью изучить причины низких результатов наших наступательных

действий. То, что удалось лично увидеть и на себе испытать, убедило меня, что мы не в состоянии достичь решающего успеха. В полках и дивизиях не хватало солдат, не хватало пулеметов, минометов, артиллерии, боеприпасов; танков остались единицы...

Не лучше ли, думалось мне, использовать выигранную передышку и перейти к обороне, чтобы накопить силы и средства для мощного наступления?

По данным нашего штаба, противник значительно превосходил нас. Парадокс: сильнейший обороняется, а более слабый наступает. Причем в наших условиях — по пояс в снегу...

Все это с подсчетами и выводами было изложено в обстоятельном докладе и представлено командующему фронтом.

Ответ был короткий: «Выполняйте приказ!»

Оставалось одно — думать, как решить задачу».

Возвращаюсь к своим записям.

...Через несколько дней после приезда в Москву у меня состоялась, а вернее, не состоялась еще одна поездка, которая не идет в счет потому, что до фронта я так и не добрался. Утром мы с Сашей Капустянским выехали на «эмке» в направлении Юхнова и, не доезжая до фронта, просто-напросто застряли. Выяснилось, что весенним ледоходом сорвало впереди все мосты, нужно было двое или трое суток ждать на дороге, пока их восстановят. А вся эта поездка была рассчитана только на три-четыре дня, и я не солоно хлебавши вернулся в Москву.

Обстоятельства на фронте были такие, что острой необходимости ехать куда-нибудь от «Красной звезды» пока не предвиделось. Но моя личная жизнь по некоторым причинам сложилась так, что я всей душой рвался уехать из Москвы на фронт. Я зашел к Ортенбергу и сказал ему, что, пока здесь, на Западном фронте, стоит затишье, я хочу еще раз поехать на север, на Мурманское направление.

— На сколько дней? — спросил он.

Я сказал, что хотел бы поехать на месяц.

— Черт вас знает, писателей,— сказал Ортенберг.— Когда нужно ехать, то вы только начали писать, то еще не кончили! А как раз когда не нужно ехать и можно писать, вы проситесь ехать!

Я повторил ему, что хочу ехать.

И он со свойственной ему душевной чуткостью, которой люди, знавшие его хуже, чем я, за ним не подозревали, согласился на мою поездку на север.

Я снова жил в гостинице «Москва» и, увидевшись там с Евгением Петровым, в тот же вечер начал соблазнять его перспективой совместной поездки. Он с ходу согласился и только после этого стал расспрашивать меня о севере. Расспросив, подтвердил, что непременно поедет, и, считая для себя это дело решенным, начал созваниваться со своим начальством в Информбюро, чтобы получить согласие...

В эти дни перед отъездом в Мурманск я впервые встретился с Александром Сергеевичем Щербаковым, который был тогда секретарем ЦК, МК и одновременно начальником Информбюро.

Восполняя уже после войны пробелы в своих записях военного времени, я восстановил по сравнительно свежей еще памяти важные для меня подробности этой встречи.

...В «Красную звезду» вдруг позвонил Фадеев и сказал, что меня хочет видеть Щербаков. По какому поводу, объяснять не стал, просто дал телефон.

Я позвонил. Меня соединили с Щербаковым. Щербаков спросил: могу ли я к нему сейчас приехать? Через полчаса я был у него в здании МК, около Каретного.

Разговор оказался таким же неожиданным, как и вызов. Незадолго перед тем я сдал в издательство «Молодая гвардия» книгу стихов. Она состояла из двух частей: в первую входило двадцать пять стихотворений, составивших впоследствии книжку «С тобой и без тебя», а во вторую несколько моих фронтовых баллад и других военных стихотворений.

Примерно за неделю до вызова Щербакова я имел беседу в издательстве, в ходе которой мы, как говорится, не пришли к соглашению. Большинство лирических стихов, включенных мною в первый раздел книги — не то пятнадцать, не то семнадцать,— редактор, а вернее, издательство не рисковало печатать.

После долгих споров я согласился изъять только одно стихотворение «На час запомнив имена...» и сказал редактору, что книгу, из которой будет изъято полтора десятка стихотворений, печатать отказываюсь; пусть они, пока я буду на фронте, подумают; поговорим еще раз, когда вернусь.

Придя к Щербакову и поздоровавшись с ним, я с удивлением увидел, что у него на столе лежит та самая рукопись моих стихов, которую я сдал в издательство. Она могла перекочевать к нему только оттуда; второй экземпляр рукописи оставался у меня, а других не было. Я увидел свою рукопись, и Щербаков заметил, что я ее увидел, однако, ничего не сказав о ней, спросил, когда я еду на фронт. Я ответил, что собираюсь ехать послезавтра.

— Куда? — спросил он.

Я сказал, что на Карельский фронт, на Мурманское направление.

— А зачем? — задал он вопрос, показавшийся мне странным.

Я стал объяснять, зачем еду: что собираюсь написать несколько очерков для «Красной звезды».

— А ведь вы уже были там, на севере, и довольно долго,— сказал Щербаков.

Я ответил, что был, но хочу побывать еще раз в тех же местах, во время затишья на главных фронтах материал, присланный оттуда, с севера, может оказаться интересным для газеты.

— Вот именно — затишье,— сказал Щербаков.— Могли бы это тихое время использовать — посидеть, поработать в Москве. Да и надо ли вам туда ехать? Кто вас гонит?

Я довольно решительно ответил, что сам хочу ехать и уже собрался.

— Ну, смотрите,— сказал Щербаков и повторил: — Смотрите. А теперь давайте поговорим о ваших стихах. Вы ведь сдали книгу в «Молодую гвардию»?

Я сказал, что да, сдал.

— Мы их оттуда затребовали, посмотрели.— Он сказал «мы» как-то неопределенно, так что нельзя было понять, имел ли он в виду себя, но не хотел говорить «я затребовал», или имел в виду не только себя, а еще кого-то. Я так и не понял тогда, как это было на самом деле.— Мы тут почитали,— сказал Щербаков.— Что у вас там за недоразумение с издательством? Что за драка?

Я сказал, что никакой драки не было, просто мы не договорились с издательством и решили вернуться к разговору после моего возвращения с фронта.

— Что значит — не договорились? О чем не договорились? — спросил Щербаков.

Я объяснил ему, что из двадцати пяти стихотворений первого раздела книги в издательстве хотят взять только восемь или девять. А я считаю, что все стихи, кроме одного, можно печатать.

— Так против каких же стихотворений они возражают? — спросил Щербаков и пригласил меня сесть к столу рядом с ним.— Давайте посмотрим их.

Перед нами на столе лежал экземпляр моей рукописи со всеми пометками редакции, со всеми знакомыми мне птичками на полях.

Мы стали листать рукопись. Стихотворение за стихотворением, останавливаясь на каждом, против которого возражали в редакции. И каждый раз о каждом из них Щербаков говорил, что, по его мнению, это можно печатать.

— Значит, все? — спросил Щербаков, когда мы добрались до конца.

— Все.

— Мы поговорим с издательством,— сказал Щербаков.— Я думаю, они согласятся с нами, что все это можно напечатать. Таким образом, вопрос исчерпан... Хотя погодите. Вы сказали, что насчет одного стихотворения согласились с ними. Где оно? Мы смотрели его с вами?

Я сказал, что нет, мы его не смотрели, потому что, согласившись с издательством, я вынул его из рукописи.

— А может быть, зря вынули? — спросил Щербаков.

— Не знаю, может, и зря,— сказал я.— Но мне показалось, что у редактора были резоны, когда он говорил про это стихотворение, что его могут понять не так, как я его написал

— А как вы его написали?

Я сказал, что, по-моему, это стихотворение вовсе не воспевает легкую любовь, оно просто рассказывает о том, как бывает в жизни, но при этом в нем есть тоска по настоящей любви.

— А может, и другие люди прочтут в нем именно то, что вы в него вложили? — сказал Щербаков.— Прочитайте. Можете?

Я наизусть прочел ему стихи «На час запомнив имена...».

Он попросил прочитать еще раз, и я прочел еще раз.

Он некоторое время молчал, потом сказал:

— А вы знаете, по-моему, в этих стихах нет никакой двусмысленности. Я, например, именно так и понял ваше авторское намерение, как вы мне о нем сказали. Может быть, другие поймут иначе, но вы понимаете так, и я тоже понимаю так. Значит, нас уже двое.— Он улыбнулся.— Включите и это стихотворение. Пусть напечатают и его.

Удивленный и обрадованный таким оборотом разговора, я поблагодарил за поддержку.

— А теперь,— закрыв рукопись, сказал Щербаков,— я с вами хотел поговорить вот о чем. Возникает ощущение, что вы слишком рискуете там, на фронте. Ну а если сказать резче, то даже ищете смерти. Как? Правда это?

Он смотрел на меня внимательно и испытующе.

Как ответить на такой вопрос? Смерти я не искал, это была неправда. Но рисковать, особенно в сорок первом году, случалось, и не раз. Так складывались некоторые поездки. И вопрос Щербакова был для меня в каком-то смысле лестен: оказывается, он знал о том, что я вел себя на фронте, в общем, не трусливо и бывал в разных переплетах. И в то же время его вопрос меня ошарашил. Откуда и что ему известно? А главное, почему он меня спрашивает?

Я ответил ему, что нет, смерти я не ищу, не искал и никогда не буду искать. Что у меня на это нет никаких причин.

— Никаких? — настойчиво переспросил Щербаков.

И я впервые подумал, что он знает что-то связанное с моей личной жизнью.

— Никаких,— ответил я.

Это была правда, потому что, как бы там ни было, а искать смерти я не собирался.

— А то вот тут у вас в стихах меня встревожила одна строфа.— Щербаков взял рукопись, перелистал ее и, найдя стихотворение, прочел вслух:

Будь хоть бедой в моей судьбе,
Но, кто б нас ни судил,
Я сам пожизненно к тебе
Себя приговорил.

Ни тогда, ни сейчас мне не казалось и не кажется, что в этой строфе было что-то, что могло навести на мысль о поисках смерти. Но, очевидно, сочетание фразы «будь хоть бедой в моей судьбе» и слов «пожизненно приговорил» создало это ложное впечатление, и Щербаков, прочтя вслух строфу, вновь испытующе посмотрел на меня.

— Как понимать эти строчки?

Я ответил, что мне трудно объяснить эти строчки, но умирать я не собираюсь, наоборот, очень хочу дожить до конца войны.

— Ну ладно,— сказал Щербаков.— Значит, со стихами мы решили.

Он встал и протянул мне руку.

— А вы, когда поедете, будьте осторожнее, не рискуйте. Вы должны это обещать. И должны беречь себя. Во всяком случае, не делать глупостей.

О Щербакове от причастных к литературе людей я слыхал разное — и хорошее и плохое. Но на меня в ту первую с ним встречу он произвел впечатление сердечного человека, чуть-чуть стесняющегося собственной сердечности. Услышать из его уст, что я должен беречь себя, мне по молодости лет было, конечно, приятно. Хорошо, что у меня хватило тогда ума ни с кем не делиться рассказами об этой встрече...

Эти написанные после войны и после смерти Щербакова странички воспоминаний пролежали у меня в ящике столько лет и все это теперь так далеко в прошлом, что я без душевной неловкости привожу тогдашние добрые слова Щербакова перед моим отъездом в Мурманск.

О самой поездке сохранились записи военного времени.

...Евгению Петрову дали разрешение ехать, и через день он, я и наш краснозвездовский фотокорреспондент Олег Кнорринг сели в поезд, шедший до Архангельска. Прямое сообщение Москва — Мурманск еще не установилось, и от Архангельска до Мурманска нам предстояло добираться или самолетом, или по железнодорожной ветке через Обозерскую до Беломорска, а там дальше как выйдет!

До Архангельска ехали без приключений. За двое суток выпили всю припасенную мною водку и съели дотла мою колбасу, лук и чеснок. По поводу установившегося

после этого в нашем купе крепкого чесночного духа Петров шутил, что ему теперь кажется, что мы сидим не в купе, а в семейной столовой в каком-нибудь еврейском местечке Западной Белоруссии. Он, как всегда, много рассказывал, делал многочисленные политические и военные прогнозы относительно сроков, когда наши союзники всерьез вступят в войну. Он считал, что это будет не раньше 1944 года.

Говорили и о всяких вещах, не касающихся впрямую войны. Здесь же в дороге Петров прочел захваченный мною экземпляр рукописи стихов «С тобой и без тебя» и сказал, что будет редактировать ее и издаст в библиотечке «Огонька». Как всегда и все, что он обещал, он сделал это сразу после возвращения — отредактировал, подписал, и она вышла в библиотечке уже после его гибели.

Время до Архангельска пролетело незаметно. Мы пехом проперли до гостиницы «Интурист», стоявшей на одной из центральных улиц Архангельска. Там нам устроили номер на троих. Это был один из тех так называемых полуправительственных номеров в провинциальных гостиницах, две комнаты — приемная и спальня с двумя глубокими, похожими на гробницы кроватями и старыми, когда-то хорошими, но давно облезшими обоями, которые так гипнотизируют администрацию своей былой ценностью, что никто не решается содрать их и заново покрасить стены.

В гостинице мы прожили три дня. Сначала в ожидании самолета, а потом в ожидании санитарного поезда, который должен был порожняком идти из Архангельска в Беломорск. На Карельском фронте, кажется, намечалось наступление и предвиделось большое количество раненых.

К нам в гостиницу несколько раз заходил Юрий Герман с женой. В то время он служил там, в Архангельске, в Беломорской военной флотилии. По соседству с нами в гостинице жил недавно приехавший сюда из блокированного Ленинграда писатель Владимир Беляев с женой. Мы несколько раз обедали и ужинали вместе с ними. Ресторан при гостинице оставлял какое-то смутное впечатление. В нем кормилось несколько человек наших, военных и не военных, а весь остальной контингент посетителей составляли английские и американские морские представители, капитаны англий-

ских и американских торговых судов и многочисленные поляки. В Архангельске в это время существовало польское представительство. Оно не то создавало здесь какие-то польские части, не то собирало находившихся на севере поляков для дальнейшей транспортировки на Волгу и в Среднюю Азию, где формировалась армия Андерса.

Здесь же, поблизости от Архангельска, наши летчики вместе с английскими инструкторами осваивали английские «харриккейны». И на улицах и особенно в районе порта и железнодорожной станции нередко можно было встретить и англичан и поляков в военной форме. Маленький ресторанчик при гостинице как бы концентрировал эту атмосферу.

Беляев и его жена рассказывали об ужасах ленинградского голода, перечисляли все, что они там пили и ели, начиная от аптечных снадобий, вроде валерьяновых капель, и кончая чуть ли не кожей, которую парили в кипятке. За этими рассказами чувствовалась травма людей, которые так сильно наголодались, что теперь никак не могут наесться досыта. Беляев производил впечатление симпатичного интеллигентного человека. Жена его тоже была славная молодая женщина. Мы вспомнили с ним, что когда-то встречались в Белостоке, кстати сказать, он оттуда и привез жену, которая была раньше спортсменкой, а потом довольно известным спортивным репортером и до войны часто ездила из Польши на международные состязания.

Я невольно задумался над странностями судьбы: девушка, родившаяся в Польше и выросшая там, объездившая всю Европу и вышедшая потом замуж за русского, попала в Ленинград в страшную блокаду, потеряла там ребенка и еле живая, с опухшими ногами добралась сюда, в Архангельск. Теперь здесь она понемногу приходила в себя. Боже ты мой, сколько же всего за эти два с половиной года перевернулось вокруг нее и как все это должно было ее оглушить! И все-таки ничего, люди живучи. Она продолжала жить, разговаривать, быть милой и хорошей.

На четвертый день утром мы погрузились в санитарный поезд, уходивший в Беломорск. Поезд был предназначен для тяжелораненых и состоял из так называемых кригеровских вагонов с довольно широким прохо-

дом посередине и с двумя рядами подвесных коек по обеим сторонам.

Вагон, в котором мы устроились, был почти пуст. Кроме нас, в нем ехало двое или трое военных. Мы выбрали себе три нижние койки и довольно удобно расположились на них. Для дневного времяпрепровождения мы обосновались в уголке, где стояли маленький аптечный столик и три белые табуретки.

Старшей в нашем вагоне ехала медсестра, кажется, ее звали Таня — милая, веселая и довольно хорошенькая девушка. Мы вместе с Петровым и Кноррингом много болтали с ней и наперебой невинно ухаживали, главным образом на остановках. Поезд подолгу стоял на них, и мы все вместе ходили взад и вперед вдоль вагонов.

Вечером на одной из остановок мы с Петровым зашли в поездную аптеку. Нас принимали там девушка-сестра из нашего вагона и начальница аптеки, которая, узнав о том, что мы едем, очень захотела познакомиться с живыми писателями и по этому поводу сочинила нам даже маленький ужин, состоявший из колбочки со спиртом и куска какой-то соленой архангельской рыбы.

Начальница аптеки была крошечная смешная девчушка с острым носиком, маленькими блестящими глазками и такой пулеметной скороговоркой, что из всех встреченных мною пока в жизни людей соперничать с ней в этом мог бы, пожалуй, только один — режиссер Столпер. Аптека была маленьким закутком, со всех четырех сторон до потолка забитым банками, склянками, мазями, порошками. В купе стоял такой густой аптекарский запах, что даже рыба, которую мы ели, казалось, пропиталась им.

Петров сидел на скамейке, подобрав под себя ноги, по-турецки, и незаметно направлял разговор. Среди болтовни деловито выяснял, что девушки читали и чего не читали, почему они читали то, а не это, какие книги они знали потому, что эти книги были во всех рекомендательных списках литературы, начиная от школы и кончая техникумом и армией, и какие книги они любили просто так, без всяких рекомендательных списков. Просидели мы, наверно, часа четыре, и мне запомнился этот длинный, нескладный и милый разговор в поездной аптеке.

Чтобы не проходить обратно по вагонам через весь поезд, мы с Петровым вылезли на каком-то полустанке и пошли вдоль поезда. Но он вдруг раньше, чем мы думали, тронулся, и весь следующий перегон нам пришлось ехать на соседних лесенках, потому что двери обоих вагонов оказались закрытыми изнутри. Мы держались за поручни и переговаривались, вернее, перекликались друг с другом, а мимо летел унылый и вместе с тем прекрасный пейзаж севера — низкие березки, сосны, валуны, камень, болотистая топкая земля... Эта одноколейная ветка — которую по какому-то гениальному предчувствию Сталин приказал срочно провести еще после финской кампании весной 1940 года — теперь, после того как финны и немцы перерезали Мурманскую железную дорогу, в общем-то спасла Карельский фронт. Выглядела она, когда мы ехали по ней, очень странно: узкая железная полоска, проведенная через топкие болота почти без всяких населенных пунктов на всем ее протяжении; лишь кое-где по сторонам стояли одинокие бревенчатые или дощатые бараки, поменьше на полустанках, побольше на станциях...

Прерву свои тогдашние записи.

О гениальном предчувствии сказано, конечно, с восторженной наивностью. На самом деле строительство этой дороги было просто-напросто весьма разумным и своевременным делом, подсказанным событиями финской войны.

Но, печатая сейчас свои записи того времени, я, как и всюду в подобных случаях, удержался от соблазна поправок, которые помешали бы читателю представить себе мои тогдашние чувства и умонастроения.

Возвращаюсь к записям.

...До Беломорска добрались примерно через полтора суток. Нам повезло, мы добыли машину и через час попали на северную окраину Беломорска, в редакцию фронтовой газеты Карельского фронта. Товарищи приняли нас тепло, но, несмотря на это, вечер там, в редакции, оставил у меня тяжелое воспоминание. За два или за три месяца, в общем, незадолго до этого в редакции был арестован самый старший по возрасту из работавших в ней писателей, критик Федор Левин, которого я до войны знал по Москве, а во время войны, в

начале, встречал на Западном фронте. Он производил на меня впечатление хорошего, чистого и честного человека, и я просто не мог поверить, что он мог сделать что-то такое, что действительно вынуждало его арестовать. Он вспомнился мне таким, каким я видел его на Западном фронте. Он казался там несколько растерянным, как и многие из нас в первые дни войны, и, может быть, даже несколько пессимистически настроенным, тоже как и многие из нас. Но в то, что, судя по рассказам, ему инкриминировалось здесь, что он распространял пораженческие настроения, я никак не мог поверить.

Впоследствии так оно и оказалось: пробыв несколько месяцев под следствием, он был выпущен, оправдан и восстановлен в партии. Оказалось, что просто кто-то устроил вокруг него возню и наклепал на него. Я подумал, что, может быть, тут сыграла какую-то роль и сложившаяся в редакции не особенно хорошая атмосфера: фронт почти все время стоял неподвижно, с других фронтов к газетчикам доходили слухи то тревожные, то радостные, здесь же почти ничего не менялось, а это иногда плохо влияет на людей. Вдобавок в составе редакции оказался человек, по-моему, просто-напросто бездарный и неведомо как попавший в число литераторов. Я помню его еще по довоенным лагерным военным сборам, где он вдруг оказался в роли отделенного и где его натура — унтера Пришибеева — расцвела махровым цветом. Злой и неумный человек, вдобавок обиженный тем, что у него у самого в литературе ничего не выходило, и от этого тем более желавший властвовать, иметь возможность кем-то помыкать, кому-то причинять зло...

Почти весь этот вечер прошел в разговорах о Левине и о том, что же произошло. И все-таки докопаться до истины, добиться толку оказалось трудно, хотя Петров упрямо пытался это сделать. Я только в этот вечер узнал от него, что его еще заранее в Москве в Союзе писателей просили выяснить, в чем тут дело и не случилось ли тут какой-нибудь несправедливости, и он с обычной своей тщательностью стремился выполнить это поручение.

Не знаю, что он сказал и что написал потом, когда вернулся в Москву, но в тот вечер он был очень взволнован и расстроен.

Поздно вечером мы с Петровым позвонили члену

Военного совета фронта корпусному комиссару Желтову. Он сказал нам, чтобы мы не выезжали завтра утром мурманским поездом, просил быть у него на следующий день ровно в два часа дня и добавил, что сам обеспечит потом нашу отправку в Мурманск.

На следующий день ровно в два часа, минута в минуту, он нас принял. В приемной никого не было, никто его не ждал, а он ждал нас.

Как это всегда бывало и до этого и потом, когда мне приходилось заходить к кому-нибудь вместе с Петровым, все началось с вопросов и собственных соображений Петрова об общем положении, о перспективах и прогнозах.

Желтов оказался высоким мужчиной атлетического телосложения, с такими широкими плечами, что посаженная на них довольно крупная голова все равно казалась из-за этих плеч маленькой. Он был подстрижен ежиком, на простом лице умные, острые глаза.

Он рассказал нам, не играя в излишние военные тайны, все, что считал возможным и необходимым рассказать, вежливо отказался ответить на один или два вопроса Петрова и объяснил в заключение, что задержал нас потому, что вечером сам едет в Мурманск и приглашает нас ехать вместе с ним.

— Встретимся ровно в двадцать на вокзале,— сказал он. Он произвел на нас впечатление человека, привыкшего к четкости и пунктуальности, человека дела, который отвечает за каждое слово и бережет каждую минуту.

Простившись с товарищами по редакции, в 20 часов мы были на вокзале. Поезд, которым ехал член Военного совета фронта, состоял из салон-вагона, паровоза, тендера и двух платформ со счетверенными пулеметными установками. Немцы все время бомбили дорогу на Мурманск, начинались белые ночи, и мы должны были выехать точно, с тем чтобы в самое темное время проскочить самый бомбимый участок в районе Кестеньги.

Поезд, раскачиваясь, шел очень быстро, мы сидели за столом и пили чай с коньяком. Во всех повадках Желтова чувствовалась сдержанность. Чай был не вовсе без выпивки, но выпили мы по рюмке коньяку, не сверх того. Разговор с нами был не совсем официальный, но в то же время и без излишних откровенностей.

Желтов, который до своего назначения сюда был

членом Военного совета Дальневосточного фронта, рассказывал нам об их переживаниях там во время немецкого летнего и осеннего наступления; как, с одной стороны, была крайне тревожная и напряженная обстановка в связи с возможностью выступления японцев, а с другой стороны, в критические дни под Москвой у них сюда, на запад, забирали дивизию за дивизией.

Петров, как у него водилось, заинтересовался жизнью нашего собеседника. Выяснилось, что Желтов кадровый командир, майор, закончивший академию Фрунзе и лишь после этого перешедший на политработу. Должно быть, его подчеркнутая подтянутость среди других причин объяснялась и привычкой к строевой службе. Он не забыл упомянуть, что в свое время держал в академии первое место по многоборью и лыжам и до сих пор регулярно всегда, когда есть возможность, встает рано утром и до начала работы ходит на лыжах. Сказал об этом с удовольствием страстно любящего спорт человека.

Утром, еще до полудня, мы оказались уже в Мурманске и вместе со встречавшим Желтова начальником тыла 14-й армии прямо с вокзала направились на командный пункт. Впрочем, как я понял по дороге, то место, куда мы ехали, уже не было командным пунктом армии; основные отделы штаба переехали за Кольский залив на ту сторону и располагались теперь на запад от Мурманска, между 20-м и 30-м километром Петсамской дороги. На прежнем командном пункте теперь остались только начальник тыла и подчиненные ему службы.

Кажется, я не описывал этот командный пункт, вспоминая о своей предыдущей поездке на север. Снаружи он ничем себя не обнаруживал: две железные, покрытые камуфляжем двери вели с двух сторон в скалу, под которой размещались штабные помещения. Они напоминали узкие коридоры корабля с каютами по обе стороны. Над головами громоздилась огромная скала в несколько десятков метров толщиной, которую, разумеется, не могли пробить никакой снаряд и никакая бомба. Полы в коридоре были устланы половиками, работала вентиляция. Словом, все это отнюдь не казалось сырым подземельем и очень понравилось Петрову, считавшему правильным, когда люди по мере возможности создают себе удобства для работы.

Пока готовили катер для переправы через залив,

Желтов занимался своими служебными делами. Мы пробыли здесь около часа и поехали снова через Мурманск к пристани мимо так хорошо мне знакомой гостиницы «Арктика». За то время, что я здесь не был, вокруг нее легло несколько бомб, одна даже попала в ее крыло, но в общем гостиница, к моему удивлению, продолжала стоять и действовать.

Оставалась целой после всех бомбежек и, казалось бы, самая уязвимая цель — восьмиэтажный дом межрейсового отдыха моряков. Там нам с Кноррингом и Петровым выделили комнату. Мы кинули в ней все лишние вещи, я сбросил шинель, оставшись в ватнике, и поспешили к пристани, догоняя Желтова.

Переправа длилась недолго, через полчаса мы были уже на том берегу Кольского залива. Желтов сел в первую «эмку», мы во вторую и так больше и не видели его в эту поездку.

Наша «эмочка», как это почему-то почти всегда случается с машиной, идущей сзади, по дороге бесконечно чихала и наконец вовсе испортилась.

На этом участке Петсамской дороги я никогда раньше не бывал. Не знаю, должно быть, я пристрастен к северному пейзажу, но он уже в который раз поразил меня своей угрюмой красотой, своим простым и резким сочетанием черного и белого — черного камня, черных стволов и почти черной в туманном северном свете хвои с белым снегом.

Дорога, пока наша «эмка» еще продолжала ехать, была неважная, сильно разбитая, вдобавок она беспрерывно то подымалась в гору, то спускалась с горы, и на крутых подъемах приходилось то и дело выскакивать и толкать. Два раза над головами пролетали «мессершмитты».

Когда «эмка» окончательно встала, мы в ожидании попутной машины час топтались возле маленькой землянки регулировщика — крошечного строеньица из валунов и камней, обложенного со всех сторон снегом. Наконец нам попалась какая-то попутная «санитарка», и мы добрались на ней до штаба армии.

Штаб не надо было даже как-нибудь особенно искусно маскировать, он и так уже с расстояния двухсот-трехсот метров был невидим. На склоне горы было трудно разобрать, где серые и черные огромные валуны и где приросшие к скату, полузасыпанные снегом и

омытые первыми грязными весенними дождями стандартные домики и землянки штаба.

Из старых знакомых в штабе оказался Дмитрий Иванович Еремин, перешедший с прежней должности комиссара артиллерийского полка на Рыбачьем полуострове в армию, на должность комиссара штаба артиллерии. Он недавно получил орден Красного Знамени, радовался этому, гостеприимно устроил у себя в землянке всех нас троих — Петрова, Кнорринга и меня: двоих уложил на кровать уехавшего куда-то вперед начальника артиллерии армии полковника Пониткина, третьего устроил на сдвинутых табуретках.

Других знакомых не было: морские разведчики находились в Мурманске и Полярном, а начальник 7-го отделения Рузов сидел где-то впереди в 14-й дивизии со своей передаточной станцией и «разлагал» там австрийских горных егерей.

Посовещавшись, мы решили разделиться: Кнорринг поехал в одну дивизию, а мы с Петровым — в другую, которой, как выяснилось, командовал теперь мой старый знакомый по прошлому году, по Среднему и Рыбачьему полуостровам, генерал-майор Красильников.

Наутро Еремин дал нам свою «эмку», навстречу из дивизии нам обещали выслать на дорогу «маяка», и мы поехали, если не ошибаюсь, до 57-го километра Петсамской дороги. Дальше, встретив «маяка», предстояло двигаться пешком.

Через несколько часов мы благополучно добрались до этого места, и нас действительно встретил «маяк» — бойкий молодой старшина с незаконченным высшим образованием. Отсюда до командного пункта дивизии предстояло идти семь километров пешком, большую часть в гору. Дорога в гору была завалена осыпями камней, после недавней оттепели земля немного размякла, потом ее поверху опять засыпал снег, и камни были в скользкой ледяной корке.

Часа через три, как сказали бы в Москве, перед темнотой, а здесь все в том же сером одинаковом свете начинавшегося полярного дня мы наконец добрались до дивизии.

Штаб размещался в трех маленьких стандартных домиках, приткнувшихся к плоскому каменному отвесу огромной скалы. Она являлась здесь господствующей высотой, и все называли ее «зубцом». Наверху этой ска-

лы, метров на 200 выше штаба, если мысленно брать, конечно, прямо по воздуху, а не по тропинке, помещались в разных местах наблюдательные пункты командира артиллерийского полка и двух дивизионов и один из наблюдательных пунктов командира дивизии.

В стандартном домике штаба было жарко от накаленной гофрированной трофейной финской печи. И командир и комиссар дивизии были в передовых частях, и здесь хозяйничал маленький усатый полковник, начальник штаба дивизии. Он сидел сразу на двух телефонах: один соединял его с командирами полков и с уехавшим в один из этих полков командиром дивизии, а другой связывал командный пункт дивизии со штабом армии. Полковник оторвался на несколько секунд, чтобы вежливо, но очень коротко приветствовать нас, и сейчас же снова сел на свои телефоны.

В тот первый раз мы пробыли здесь, в дивизии, в общей сложности около трех суток, и, когда бы за эти трое суток ни зашли в стандартный домик, всегда видели одну и ту же картину: начальник штаба сидит за телефонами или над картой и днем и ночью все в той же позиции; только иногда, когда телефонные звонки на какое-то время прерывались, он клал голову на карту и сразу же засыпал. А подле него, тоже почти всегда в одинаковых позициях, за исключением ночных часов, когда они спали, за тем же длинным столом, который был одновременно и штабным и обеденным, сидели начальник политотдела дивизии и начальник особого отдела. Как видно, дивизии не повезло с людьми, замещавшими в ней обе эти должности. Оба они во время всех наших приходов ничем не были заняты и упорно сидели друг против друга, обмениваясь разными малозначительными замечаниями. Было такое ощущение, что они просто тянут тут время то в ожидании завтрака, то в ожидании обеда, то в ожидании ужина.

Так как полковник, начальник штаба, был тут среди них старшим в звании и при этом все время был очень занят, то он сам постоянно забывал и об обеде и об ужине, а они оба, не решаясь в присутствии занятого сверх головы человека напоминать о том, что пора уже приступить к принятию пищи, томились и укоризненно глядели на работящего и забывавшего о еде полковника. Мне даже под конец показалось, что он, в душе злясь на них обоих, нарочно подолгу тянул с обедами

и с ужинами, и если бы не мы, то назло этим двум и сам бы, пожалуй, ничего не ел и им не давал. Наконец кто-нибудь из них мечтательно говорил: «Да-а, хорошо бы подзаправиться». «Хорошо бы»,— соглашался другой.

Свое собственное сидение здесь в разговорах с нами они объясняли тем, что у них все люди разосланы, все на местах, все работают там, где требуется. Это было действительно так. И заместитель начальника политотдела, и все инструкторы, и все работники особого отдела были в полках и в батальонах. Но эти двое, по-видимому, не испытывали желания ни проверить работу своих подчиненных на месте, ни вообще тронуться куда бы то ни было из-за этого стола. Вид их каждый раз возбуждал у меня невольную улыбку, тем более что, вообще-то говоря, такое неотступное сидение в штабе никак не характерно для работников обеих этих категорий.

Петров, когда мы уходили и оставались наедине по дороге куда-нибудь, страшно кипятился и сердился на этих двоих. И никак не хотел соглашаться с моими возражениями: то, с чем мы здесь столкнулись, редкое явление, и — чего не бывает! — как видно, бывают и на войне тунеядцы. Петров говорил, что все равно, редкие они или не редкие, а его берет зло, и он просто удивляется ангельскому терпению начальника штаба, у которого они сидят над головой и который до сих пор не послал их к чертовой матери.

Доконала Петрова сцена, происшедшая на третий день, когда мы снова зашли на командный пункт. Как раз в этот момент начальник штаба куда-то вышел, а к начальнику политотдела явился комиссар батальона; он только что привел свой батальон сюда откуда-то из второго эшелона и стал докладывать о том, какой они проделали тяжелый марш, как устали и замерзли люди и как хорошо было бы получше разместить их, дать им возможность отогреться.

И вдруг, к нашему удивлению, начальник политотдела стал распекать его:

— Какой вы там марш совершили и как вы греться и питаться будете, это вы по строевой части обратитесь! Пусть этим ваш командир полка занимается! А мне вы ответьте, почему уже три дня от вас нет политдонесений? Почему вы запускаете отчетность?

Комиссар батальона начал что-то объяснять насчет того, что у него на долгом марше главные заботы касались обогрева и питания людей и что он занимался этим.

Но начальник политотдела накричал на него, что не позволит передоверять политработу кому-то другому, что не дело комиссара заниматься продовольственным обеспечением, что он не квартирьер... На наших глазах происходило самое плохое, что можно себе представить в армии: формалист, которому важно было только соблюдение внешних норм и которого беспокоила лишь возможность нагоняев со стороны начальства за несвоевременную подачу сведений, грубо ругал умного и хорошего политработника, который клал всю душу прежде всего на то, чтобы людям в трудных условиях войны было хоть немножко легче жить и сподручней воевать.

После ухода комиссара батальона Петров, рассвирепев и решив хоть как-то донять наоравшего на своего подчиненного формалиста, стал желчно высказывать ему все, что думает о формалистах, бюрократах и чинушах вообще. Но Петров недооценил своего собеседника. Менее самодовольный человек не мог бы не понять, что тирады Петрова адресованы прямо ему. А этот так и не понял, пропустил мимо ушей, и заряд Петрова пропал даром.

Трудно задним числом записывать все по порядку. Помнится, первые сутки мы сидели на КП дивизии, знакомились с обстановкой и брали на карандаш подробности продолжавшегося уже шесть или семь дней на этом участке наступления. Цель его заключалась в том, чтобы скинуть австрийских егерей с ряда господствующих высот и выйти на берег реки Западная Лица, заняв участок, с которого впоследствии можно будет развивать наступление. Несколько высот за эти семь дней действительно удалось занять, причем на одной из них был окружен егерский батальон. Судя по сообщениям генерала Красильникова, сидевшего в том полку, который окружил егерей, дело шло к концу. Но окончательно добить егерей мешала разыгравшаяся уже после того, как мы пришли сюда, метель, в которой ничего не было видно.

Соединившись с Красильниковым, мы попросили проводника, который отвел бы нас к нему. Он ответил, что в такую метель, как сегодня, проводника за нами не

пошлет. Завтра разберемся. Помимо всего прочего, мне показалось по телефонному разговору, что самому Красильникову хотелось сперва докончить затянувшуюся ликвидацию этого егерского батальона, а потом уж разговаривать с корреспондентами.

Метель продолжалась всю ночь. Она казалась нам сильной, но здешние старожилы утверждали, что это еще пустяки по сравнению с тем, что здесь может быть и бывает.

На следующее утро на КП пришел полковник Поныткин, начальник артиллерии армии. Здесь, среди скал и снегов, люди ходили в чем попало: в ватниках, парашютных куртках, полушубках, одни в валенках, другие в трофейных горных егерских ботинках. Полковник Поныткин был одет по всей форме: в хромовые сапоги, в хорошую драповую новенькую шинель, перетянутую ремнем с новой портупеей, с аккуратным планшетом, полевой сумкой и револьвером в аккуратной новенькой кобуре. На голове у него была щеголеватая артиллерийская фуражка, а в руке новенький кожаный портфель. Таким мы увидели его, когда он открыл дверь и вошел на КП, точно в таком же виде он отправился вместе с нами наверх, на артиллерийский наблюдательный пункт. Он взбирался впереди нас на скалу по скользкой, занесенной снегом тропинке, одной рукой, чтобы не упасть, хватаясь за корни и за валуны, а в другой продолжал сжимать свой канцелярского вида портфель.

Мы лезли туда, наверх, минут сорок, и за это время метель приутихла. Поднявшись на наблюдательный пункт и радуясь вдруг установившейся видимости, Поныткин сразу же стал показывать нам всю панораму боя, расположение наших, расположение немцев, систему ведения огня. Собственно говоря, «панорамой боя» все это можно было назвать только условно. С вершины огромной сопки, на которой мы стояли, сквозь мелкую сетку снега, продолжавшего все-таки понемножку сыпать, были видны каменистые холмы впереди, налево и направо от нас. Все они были покрыты снегом, все заросли мелким, но густым лесом, и только при тщательном наблюдении там, где одна сопка переходила в другую, в лощинах и трещинах виднелись ниточки тропок.

Окруженный горноегерский батальон был левее нас на маленькой сопке, закрытой двумя другими и поэтому

отсюда невидной. Но Пониткин все-таки счел нужным показать нам, где она находится. Другие позиции австрийцев были прямо перед нами, примерно в двух километрах. Пониткин показывал нам на сопках уже взятые у них дзоты и блиндажи, места, где закрепилась наша пехота перед новыми атаками, показывал и те блиндажи и дзоты, в которых сидят австрийцы и которые еще предстоит брать.

Я долго рассматривал все это в бинокль и в стереотрубу и, честно, не всегда был убежден, что вижу то, о чем он мне так подробно рассказывает. То есть несомненно я что-то видел, и какие-то из тех серых пятен, что я видел в стереотрубу и в бинокль, наверно, и были уже взятыми или еще не взятыми австрийскими дотами и блиндажами. Но какие именно,— в противоположность Пониткину, никак не мог различить, хотя, не желая огорчить полковника, и говорил ему: «Да, да, конечно, вижу». Когда же он в одном месте вдруг стал наблюдать перебегающих от блиндажа к блиндажу австрийцев, то такая острота зрения представилась мне уже и вовсе фантастической. Я ни минуты не сомневался, что сам Пониткин действительно это видит, но я своим неопытным глазом ничего разобрать не мог, тем более за тонкой сеткой все-таки продолжавшего падать снега.

На наблюдательном пункте мы провели довольно много времени...

Забыл с самого начала сказать, что Пониткина встретил здесь знакомый мне еще по Рыбачьему полуострову майор Рыклис; теперь он стал подполковником и командовал здесь артиллерийским полком, тем самым, чей наблюдательный пункт был на сопке.

После того как Пониткин объяснил обстановку и показал нам в бинокль и стереотрубу все, что мог показать, он перестал заниматься нами и стал работать с Рыклисом. Полк все время, пока мы находились на высоте, вел побатарейный огонь. Иногда мы видели разрывы наших снарядов среди серых пятен камней и блиндажей, иногда артиллерия била через сопки по тем невидимым лощинам, где предполагалось или наблюдалось скопление противника. Оттуда радировали сюда, на наблюдательный пункт, выброшенные вперед артиллерийские разведчики.

Примерно после трехчасового методического огня из-за одной сопки поднялся высокий столб черного дыма.

Пониткин и Рыклис, посовещавшись по этому поводу, радостно сказали нам, что это не что иное, как пожар замаскированной австрийцами около дороги нефтебазы, которую мы никак не могли нащупать...

На этом обрываются сохранившиеся у меня об этой поездке записи.

Была еще одна машинописная тетрадь военного времени, доведенная до июля 1942 года. Но сколько я ее ни разыскивал после войны, так и не нашел.

В этой пропавшей тетради было среди прочего записано и все, до конца, наше путешествие с Евгением Петровым и Кнаррингом на север. Продолжалось оно около месяца, и «Красная звезда» напечатала пять моих присланных оттуда и написанных уже в Москве очерков.

На другой день после того, на котором обрываются мои записи, мы снова долго сидели на наблюдательном пункте у артиллеристов, а в последующие дни ходили в один из стрелковых полков, были в разведроте у разведчиков и разговаривали с только что взятыми пленными австрийцами из воевавшего там горнострелкового корпуса генерала Дитля.

Потом побывали в специально сформированных на Мурманском участке фронта санитарных частях, в которых самоотверженно работали ненцы-оленеводы, вывозившие раненых из самых опасных и трудных для передвижения мест на оленьих упряжках.

Были в Мурманске в защищавших его авиационных истребительных полках. Об одном из наших истребителей, об Алеше Хлобыстове, совершившем двойной таран, я напечатал в «Красной звезде» очерк «Русское сердце». Потом были в Полярном на только что вернувшихся из похода подводных лодках. Встречались с американскими моряками, пришедшими в Мурманск с последним к тому времени конвоем.

Перечисляю все это, чтобы дать общее представление о том, из чего состояла наша фронтовая поездка, последняя, из которой Петров вернулся живым.

Во время этой поездки из Москвы, из редакции, мне сообщили, что я награжден орденом Красного Знамени. И эту радость в землянке у гостеприимного Дмитрия Ивановича Еремина разделил со мною Петров, че-

ловек, умевший радоваться за друзей больше, чем за самого себя.

Тогда, во время войны, как-то уж само собой выходило, что о том или ином человеке мы думали прежде всего как о своем фронтовом товарище и оценивали его прежде всего с этой стороны. Так оно тогда было для меня и с Петровым. Но сейчас, когда со времени его гибели прошло тридцать с лишним лет, а со времени появления его и Ильфа романов «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» — больше сорока, когда писатель Ильф-Петров давно стал в моем сознании классиком советской литературы, уже как-то по-другому смотришь на прошлое. И мне хочется включить в эту книгу все, что связано для меня с памятью о Евгении Петрове.

В июле 1942 года, вскоре после его гибели, я написал о нем воспоминания. Они печатались еще тогда, во время войны, но я все-таки хочу привести здесь те места из этих воспоминаний, которые не повторяют уже рассказанного мною.

...Нигде так быстро не узнаешь человека, как на фронте. И мало того, что узнаешь близко, главное, что узнаешь верно, таким, какой он есть на самом деле.

Поезд идет в Архангельск. На одной из станций Евгений Петрович случайно встречает тоже едущего на Карельский фронт знакомого. Через полчаса знакомый перетащен уже в наш вагон, еще через пять минут сидит у нас в купе, ему уже весело и уютно, и они вдвоем с Петровым, смеясь, принимаются за мелкое дорожное портняжничество. Через сутки станция, на которой сходить знакомому Петрова. Лес, маленький перрон и перспектива прождать сутки до пересадки. Мы едем дальше — до Архангельска. Знакомому Петрова грустно расставаться с нами, не хочется вылезать на этой станции, где он не знает ни души. Мы прощаемся с ним в вагоне. Но Петров выходит на платформу, стоит там со своим знакомым до самого отхода поезда, потом вскакивает на подножку и еще долго машет ему фуражкой. Мы едем дальше вместе, а тот остается один, и Петрову не хочется, чтобы человеку было неуютно.

Архангельск. Мы задерживаемся еще на сутки в ожидании дальнейших средств передвижения. Вечером мы идем по городу. На улицах много грязи, они запущены. У пристаней свален мусор. Завтра нам предстоит уезжать на фронт, и, казалось бы, нам мало дела до архан-

гельского коммунального хозяйства. Но Евгений Петрович не может говорить ни о чем другом. Он рассержен. Ему очень нравится этот северный город, и поэтому его особенно раздражает портящие город неряшливость и грязь. Он говорит о том, как просто все это убрать и привести пристани в приличный вид. Мы идем целый квартал молча. Оказывается, Петров все это время, пока мы молчим, обдумывает, как именно следует приводить город в порядок, и начинает развивать нам план этого мероприятия. Потом вдруг спрашивает:

— Как вы думаете, мы завтра уедем утром?

Я отвечаю, что, может быть, и вечером.

— Если вечером,— говорит Петров,— то я напишу фельетон в здешнюю газету.

Он не говорит «обязательно» напишу, как обычно говорим мы. Он просто говорит «напишу», и это у него всегда значит — обязательно.

Фельетон обдуман, назначен час прихода в газету. Приход не состоится только потому, что мы уезжаем на рассвете.

— Если будем возвращаться через Архангельск,— говорит Петров,— все равно напишу.

В пустом сейчас вагоне для тяжелораненых, в котором мы едем к фронту, Петров просит проводника поднять подвесные койки, примериваясь, ложится на одну из них.

— А им неудобно будет лежать, голова низко.

Проводник показывает, как поднимается изголовье.

— Ну а упасть с койки они не могут?

Проводник показывает приспособление, предохраняющее от этого.

Петров внимательно следит за ним и задает еще несколько вопросов, касающихся удобств для раненых. Получив ответы, говорит удовлетворенно:

— Хороший вагон, удобный.

Ему очень нравится вагон, в котором все так умно устроено, что ни к чему не придерешься.

На перепутье проводим несколько часов во фронтовой газете. Поэт Коваленков двенадцатый месяц безвыездно работает на этом отдаленном участке фронта. Коваленков не жалуется, но Петров чувствует: этот человек страдает оттого, что стихи его не доходят до Москвы и что некоторые из них, написанные не для газеты, так и остаются лежать.

Петров требует, чтобы он тут же прочел стихи вслух, и договаривается об издании его книжки в библиотечке «Огонька».

Мурманск. Дорога на фронт. Сидим в крошечной землянке регулировщика. Телефонист сообщает вперед и назад по линии количество прошедших машин. При помощи несложного приспособления — резинки он так ловко приладил трубку, что при разговоре у него свободны руки для записей.

Петров очень этим доволен.

— Молодец,— говорит он, выходя из землянки.— Мелочь, а насколько удобнее работать. Ох, как часто у нас не хватает именно вот такой пустяковой сообразительности!

Идем пешком в гору. Мы с проводником налегке, в ватниках. Петров — в шинели. У него тяжеленная полевая сумка с обстоятельно упакованными предметами первой необходимости и фляга. Он задыхается на подъеме — дает себя знать не очень здоровое сердце. Мы с проводником просим отдать нам сумку и фляжку. Уговоры напрасны. Пыхтя и отдуваясь, Петров добирается до места и говорит с одышкой, но с торжеством в голосе:

— И дошел, и не отстал. А то привыкли на Западном все на машинах да на машинах!

Петров сам человек точный и увлеченный своим делом. Ему нравятся точные, отвечающие за свои слова люди и тот особенный азарт, который рождается любовью к своей профессии, к своему роду оружия. Его приводит в восторг начальник артиллерии — немолодой полковник, который лезет на наблюдательный пункт, бережно неся в руке портфель. В пути это очень неудобно, но, когда полковник наверху начинает объяснять нам обстановку, аккуратно извлеченные им из портфеля карты сияют свежестью. На них все нанесено так точно и красиво, как на экзамене по черчению.

На другой день на том же наблюдательном пункте. Командир полка корректирует огонь нескольких батарей, время от времени уступая нам свой бинокль. Я, грешным делом, не разобрав, где что, не вдаюсь в подробности. А Петров добросовестно и упрямо говорит «не вижу» до тех пор, пока в самом деле не находит в поле бинокля того крошечного пятнышка, на которое обращал его внимание командир полка. Посреди

этого занятия немецкая батарея, засекшая наблюдательный пункт, начинает вести по нас огонь.

Вершина горы гладка, как стол. Наблюдательный пункт — круглая стенка, сложенная из камней до половины человеческого роста и сверху ничем не закрытая. Снаряды начинают ложиться то впереди, то сзади нас совсем близко. Командир полка старается подавить немецкую батарею, но она продолжает стрелять. Тогда он советует нам спуститься вниз.

— Для чего же мы шли сюда? — говорит Петров.— Мы же для этого и шли.

В глазах его то же самое выражение азарта, что и у командира полка. Петров чувствует себя в эту минуту артиллеристом. Он присутствует при артиллерийской дуэли, и ему так интересно, что он не может уйти отсюда.

Перестав обращать на нас внимание, командир полка занимается немецкой батареей. Он во что бы то ни стало решил подавить ее. Немецкие снаряды продолжают ложиться вокруг нас. Петров увлечен дуэлью и изо всех сил старается понять систему, по которой командир полка делает поправки и корректирует стрельбу. Стараясь понять, как все это происходит, Петров несколько раз порывается спросить командира полка, с трудом удерживается только потому, что может помешать работе.

Когда два снаряда попадают совсем близко впереди и сзади нас, флегматичный украинец-наблюдатель говорит ленивым голосом:

— В вилку взяли. Тот впереди, этот сзади. Теперь аккурат в нас будет.

Петров смеется и говорит мне в ухо:

— Как ни странно, такая форма пророчества успокаивающе действует на нервы. А?

Ему нравится спокойствие украинца.

Дуэль продолжается. После нового залпа наших батарей командир полка прислушивается и говорит про немцев:

— Больше не будут.

Но немцы посылают очередной снаряд.

Так повторяется несколько раз. В одну из пауз Петров смеется.

— Чего вы смеетесь? — спрашиваю я.

— Потом скажу.

Наконец немецкая батарея подавлена. Мы спускаемся под гору, в палатку командира полка.

— Знаете, почему я смеялся? — говорит Петров.— Только не обижайтесь, товарищ подполковник. Во время этих пауз мне вспомнилось, как мы мальчишками норовили последними ударить друг друга. Ударить и крикнуть: «Я последний!» Было что-то такое в вашей артиллерийской дуэли от этих мальчишек.

Возвращаемся обратно в сильнейшую пургу. По дороге несколько раз подолгу отсиживаемся. Петров использует это время для разговора с людьми, вникая в мелочи фронтовой жизни.

— Вы не понимаете, как все это интересно,— говорит он мне, когда мы добираемся до места.— Вы проходите иногда мимо самого любопытного. Можно заранее обещать редакции, что я напишу то-то и то-то. Но никогда нельзя обещать это самому себе! Уезжая куда-нибудь, вы никогда не можете заранее сказать, что вы увидите и о чем сможете написать. Иначе вы поедете с готовым кругом интересов и пропустите много чрезвычайно важного!

У него абсолютно отсутствует безразличие, и он не на шутку сердится, когда с ним не соглашаются. Если он считает что-то правильным, то непременно хочет убедить своего собеседника, что это правильно. Мало того, он хочет добиться, чтобы его собеседник, убедившись в его правоте, сам после этого делал все правильно, так, как это нужно делать, по мнению Петрова.

Его расстраивает, когда люди, казалось бы, безразличные ему, делают что-то не так, неправильно. Потому что, в конце концов, ни один человек, с которым он сталкивается, ему не безразличен.

На обратном пути с передовой начинается шумный спор с Кноррингом.

— Нет, вы мне скажите, почему вы на войне снимаете только войну и не желаете снимать жизнь? — кричит Петров.— Почему? Ведь люди не только воюют, они живут.

Кнорринг отвечает, что наша редакция неохотно печатает привезенные с войны бытовые снимки.

— А вы бы сами хотели их делать? — спрашивает Петров.

— Да.

— Так докажите, что это правильно. Это ваш долг.

А если не напечатают в «Красной звезде», я напечатаю у себя в «Огоньке». Целую полосу, нет, целый разворот фотографий о военном быте! Извольте мне их сделать! Я знаю, почему вы не желаете снимать быт! Вы боитесь, что, если привезете много бытовых снимков, скажут, что вы сидели по тылам. А пусть вам будет наплевать, что о вас скажут! Вы должны делать свое дело. Вот я приеду и напишу специально о быте на войне. И пусть думают обо мне что хотят! Полковник, у которого мы с вами пережидали метель, прекрасный человек и, наверное, хороший солдат,— говорит мне Петров.— Вы там скучали, а мне было очень интересно наблюдать за ним. Сначала он был один, а потом к нему приехало высокое начальство. Так? А потом оно уехало, а он опять остался один.

— А что интересно?

— Интересно то, что он весь день, и до приезда начальства, и при нем, и снова без него, вел себя совершенно одинаково. Не волновался, ожидая, не суетился, принимая, и не вздыхал с облегчением, проводив. Значит, в нем есть чувство собственного достоинства. И он уверен в том, что все, что он делает, делает правильно. Ему не за что и не перед кем волноваться. Это хорошо. Это не все умеют, и об этом нужно написать... А вы вот сидели и скучали, и ждали, когда же можно будет ехать дальше. Это неверно. Ну, согласитесь, ведь неверно?

И он еще долго добивался, чтобы я признался, что да, неверно!

Война занимает все его мысли. Он любит говорить о ней. Но именно о ней, а не о себе на войне. Он хорошо понимает, что те, с кем он говорит, так же, как и он, бывали в переделках и что им тоже знакомы и чувство риска, и чувство страха. Рассказывая о войне, он никогда не говорит «я пошел», или «мы лежали под огнем», или «а в это время как ударит рядом мина!». Он говорит только о том, что может оказаться интересным для всех. Больше всего о любопытном, забавном и смешном. Когда один из наших попутчиков, человек хороший и храбрый, но злоупотребляющий рассказами о том, как они шли, как лежали и как по ним стреляли, принимается за эти свои неинтересные для других рассказы, Петров с комическим ужасом поднимает руки:

— Опять боевые эпизоды! — и лукаво, необидно улыбается.

А вообще он очень чуток к людям.

Уже перед самым отъездом с севера приходим на базу подводного флота. Одна «малютка» только что вернулась из удачного, но тяжелого плавания. Вокруг нее разорвалось много глубинных бомб, и в ее корпусе несколько десятков вмятин. По традиции подводников после возвращения на базу на лодку приглашен командир бригады и заодно с ним мы с Петровым. На скорую руку устроен ужин из оставшихся после похода продуктов. Жестяные кружки с водкой и консервы передаются из рук в руки. Сидим тесно, друг на друге. В разгар веселья кто-то роняет кружку, и она с грохотом падает. Сидящие за столом подводники вздрагивают. Это рефлекс. Только что много часов подряд они слышали грохот взрывов, измучены до предела и еле держатся на ногах от усталости.

После ужина молодой моторист тащит Петрова в свой отсек. После огромного напряжения и усталости на него подействовали сто граммов водки, и он с упорством подвыпившего человека хочет, чтобы Петров непременно пощупал все до одной вмятины в его отсеке. Петров добросовестно лезет вместе с ним и щупает вмятины, ударясь о приборы. Это продолжается довольно долго, и я стараюсь его выручить.

— Подождите, я еще не все посмотрел,— говорит он сердито и лазает вместе с мотористом еще пятнадцать минут.

Когда мы поднимаемся из лодки на воздух, Петров говорит мне:

— Как вы не понимаете? Этому парню так хотелось непременно показать мне все свои вмятины. Я понял, что они пережили за эти кошмарные сутки. Как я мог его торопить?

И я, слыша это, понимаю, что по-человечески прав Петров, а не я.

Мы летим обратно в Москву из Мурманска белой северной ночью. Километров пятьсот самолет идет вдоль линии фронта. Петров сначала дремлет, а потом, взяв у меня томик Диккенса «Приключения Николаса Никльби», удобно пристроившись, с увлечением читает. Полет кончается благополучно.

В июне в гостинице «Москва» Петров заходит ко

мне в номер и говорит, что, очевидно, завтра утром летит в Севастополь. Нет ли у меня плаща?

Я достаю ему плащ. Примерив плащ, он улыбается.

— Если вы гарантируете неприкосновенность мне, я гарантирую неприкосновенность вашему плащу. Или не ждите никого, или ждите нас обоих.

Это последняя фраза, которую я от него слышу, и последняя улыбка, которую я вижу на его умном лукавом лице...

Уже после гибели Петрова я не раз получал письма от людей, у которых мы вместе с ним бывали во время поездки на север. Получал во время войны, получал и много лет спустя.

Две выписки из этих писем:

«Это было на горе Пила, в маленькой загородочке из камней, мой так называемый НП! Вы и покойный Евгений Петров. Я его и вас убедительно упрашивал: спуститесь вниз, там, где безопаснее. А он и вы ни за что не соглашались и остались на НП. А немец свирепствовал, захватил нас в узкую вилку. Я вспоминаю запах порохового дыма, которым обдало нас в нашей загородочке. Вы тогда заявили, что впервые его так близко нюхаете. А потом ночь, палатка-юрточка у подножья Пилы, облепленная снегом. Петров, вы и я, черпачки — колпачки от снарядов, из которых вы пили за двадцать лет моей службы в армии...»

Так вспоминал о встрече с Евгением Петровым командир артиллерийского полка Ефим Самсонович Рыклис.

«Я сейчас же пригласил тебя и Евгения Петрова пойти ко мне в землянку и по дороге перед вами извинился, что хотя чин у меня теперь большой, но землянка невзрачная, не то что на Рыбачьем, и угостить не могу, как там. Когда вошли в землянку, было тесно. С потолка текло капельками. Мой солдат-ординарец был очень изобретателен. Видя, что гости пришли, он под каждую капель подвязал консервные баночки, чтобы капли за шиворот гостям не попадали. Евгений Петров попросил меня достать машинку — печатать материал, который вы уже успели записать, будучи в частях армии. Я выполнил его просьбу. Печатал он материал, как помню, об оленьих лыжных бригадах. Это новое было формирование для Заполярья, незаменимое по тому

времени. И он назвал свое повествование «Олени в штанах». Я и это помню хорошо. Пока он печатал материал, мы с тобой занимались по хозяйству, то есть приготовлениями к ужину. А когда он закончил, мы соорудили примитивно стол из двух чемоданов — один на попа, а другой на него вместо крышки стола. Сервировали его парой кружек жестяных, а кому не было кружек — консервные банки. В это время вошел полковник Рузов, очень озабоченный тем, что дорогой произошло несчастье: разбил бутылку спирта. Упал, поскользнулся, а она у него в полевой сумке. Но мы сказали: пусть не горюет, мы поправим его здоровье и подсушим ноги, которые он, жаловался, промочил, идя пешком по глубокому снегу. А тогда действительно были огромные заносы! Когда стали разливать, ты как-то незаметно ни для кого Рузову вместо спирта налил воды. И когда одним взмахом глотнули, так как спирт иначе пить нельзя, то у Рузова такая была физиономия, когда он почувствовал воду вместо спирта, что Евгений Петров просто был поражен и даже ругнул тебя за эту грубоватую шутку и тут же налил ему. Вот как это было, дорогой Костя! И Евгений Петрович мне очень понравился своей выдержанностью и серьезностью. Просто был милый человек...»

Это из письма Дмитрия Ивановича Еремина, комиссара штаба артиллерии 14-й армии.

Ничего особенного нет в этих письмах, просто запомнился хорошим людям хороший человек — Евгений Петров. Запомнился, как и многим другим.

Ортенберг очень хотел, чтобы Петров стал постоянно работать в нашей «Красной звезде», и был твердо уверен, что рано или поздно так оно и будет... Во всяком случае, в свою последнюю командировку Петров впервые полетел с нашим командировочным предписанием:

«Специальному корреспонденту «Красной звезды» писателю Евгению Петровичу Петрову (Катаеву). С получением сего вам надлежит отправиться в служебную командировку на Северо-Кавказский фронт в город Севастополь для выполнения заданий редакции. По выполнении заданий вам надлежит вернуться в Москву...»

В Москву Петров не вернулся. Самолет, на котором он возвращался, между Ростовом и Миллеровом врезался на бреющем в курган. Погибли не все, но Петров оказался среди погибших. В «Красной звезде» была напечатана его последняя статья о Севастополе, черно-

вик которой нашли у него в полевой сумке. Последние абзацы в этой последней статье Петрова были такие:

«Немцы пустились на хитрость. Они объявили во всеуслышанье, что Севастополь — неприступная крепость. Пора внести ясность в этот вопрос. Морская база Севастополь никогда, к сожалению, не была сухопутной крепостью. В этом смысле Севастополь ничем не отличается, скажем, от Сингапура. Пошел двадцать первый день штурма. Держаться становится все труднее. Возможно, что город все-таки удержится. Я уже привык верить в чудеса, потому что семь с лишним месяцев обороны Севастополя — военное чудо... И вот наконец мы увидели в лунном свете кусок скалистой земли, о которой с гордостью и состраданием думает сейчас вся наша советская земля. Я знал, как невелик Севастопольский участок фронта, но у меня сжалось сердце, когда я увидел его с моря: таким он казался маленьким. Корабль вышел из Севастополя около двух часов...»

Эта последняя фраза так и осталась недописанной.

Почти через год после гибели Петрова я оказался на Южном фронте, который вел тогда бои между Ростовом и Таганрогом, и меня свалила с ног гнойная ангина. Я лежал сперва в медсанбате, а потом в санчасти штаба фронта. И там приглядывавший за мной военврач Николай Алексеевич Лещ принес мне половину тетрадочного листка в линейку, исписанного фиолетовыми чернилами чьим-то неровным и быстрым почерком.

— Вот нашел вдруг среди наших бумаг. Не знаю, точно как, но как-то к нам попало. Возьмите, пусть хранится у вас.

Я сначала не понял, что это такое, а потом, разобрав неровный и быстрый почерк неизвестного мне военного медика, понял. Вот он, этот печальный текст тетрадочного листка, попавшего мне в руки через год после гибели Петрова.

«Петров Е. П.

Клинический посмертный диагноз. Открытый перелом правого бедра в нижней трети со вскрытием правого коленного сустава. Закрытый перелом правого клювовидного отростка с кровоизлиянием в полость правого плечевого сустава. Множественное ранение мягких покровов черепа, преимущественно в затылочной и лобной

областях. Полное рассечение правой ушной раковины и верхней губы.

Причина смерти — большая острая кровопотеря и шок, явившийся следствием множественных и тяжких повреждений мягких тканей и скелета».

Прочитав это, я представил себе степь между Ростовом и Миллеровом, обломки разбившегося самолета, мертвого Петрова...

В сорок втором году, после гибели Петрова, я написал стихи, посвященные его памяти:

Неправда, друг не умирает.
Лишь рядом быть перестает.
Он кров с тобой не разделяет,
Из фляги из твоей не пьет.

В землянке, занесен метелью,
Застольной не поет с тобой
И рядом, под одной шинелью,
Не спит у печки жестяной.

Но все, что между вами было,
Все, что за вами следом шло,
С его останками в могилу
Улечься вместе не смогло...

Сейчас, через много лет, проверив эти слова временем, убеждаюсь в том, что они были правильными. Да. Не смогло.

ГЛАВА ПЯТАЯ

В первые же дни после возвращения с севера я встретился в Москве с Андреем Семеновичем Николаевым, бывшим членом Военного совета 51-й армии.

Эта встреча, оказавшаяся последней, произошла случайно днем в фойе Колонного зала, и мы потом вместе провели все оставшееся до ночи время.

После своего снятия Мехлисом Николаев состоял в резерве, ожидая нового назначения, но все еще никак не мог его до сих пор получить, томился и писал рапорты о назначении на любую низшую должность с немедленной посылкой на фронт.

Об обстоятельствах своего смещения Николаев не говорил ни слова. Не берусь судить, было ли в его душе чувство обиды или не было, он за весь день ни разу даже вскользь не упомянул об этом.

Этот человек, который во время боев при мне не раз оборачивался к людям суровой своей стороной, в тот день вдруг, как бы освободившись от обязанности говорить о вещах, имевших отношение к его прямому делу — войне, с каким-то удивившим меня юношеским, романтическим чувством говорил о чистоте души, которой не хватает людям и которая, как он считал, окончательно придет только тогда, когда всюду, на всем земном шаре будет социализм. Он говорил о недостатке самопожертвования и в особенности самоотречения у, казалось бы, даже самых хороших людей. В тот день среди всех этих разговоров я как-то вдруг понял, что те жизненные привычки, которые я замечал за ним раньше — жесткая койка с солдатским одеялом, умеренная до удивления еда, непременно собственноручное подшивание подворотничков и чистка сапог,— были не только привычкой, как мне это казалось раньше, но и результатом его взглядов на поведение человека.

Не помню, с чего завязался разговор, но он вдруг заговорил об Испании, и когда он говорил о поражении республиканцев, то на его глазах были слезы. И я понял, что там, в Испании, была часть его души и эта часть души после поражения республиканцев была повержена в прах, он не мог с этим примириться так же, как не мог примириться с тем, что немцы заняли Киев или Кривой Рог.

С этими разговорами было связано мое последнее впечатление о нем. А дальше идут только архивные бумаги, в которых я рылся после войны, ища хоть каких-нибудь упоминаний о его дальнейшей судьбе. И нашел их всего два.

Первое упоминание — подписанный 8 мая 1942 года заместителем наркома обороны СССР армейским комиссаром 1-го ранга Мехлисом приказ о том, что «Николаев, Андрей Семенович, корпусный комиссар, состоящий в распоряжении Главного политического управления РККА, назначается военным комиссаром 150-й стрелковой дивизии».

Мы встретились с Николаевым позже даты, стоящей под этим документом. Но он еще не знал об уже состоявшемся назначении. Приказ, подписанный Мехлисом в Крыму как раз в день начала немецкого наступления, видимо, еще не дошел до Москвы.

Второе упоминание — короткая чернильная пометка в личном деле А. С. Николаева: «Пропал без вести в июне 1942 года».

Продолжая поиски, я обратился к документам, связанным с судьбой 150-й стрелковой дивизии, входившей в мае 1942 года в состав 57-й армии Юго-Западного фронта. Эта армия во время нашего неудачного наступления под Харьковом в мае 1942 года оказалась в глубоком окружении, а ее командующий генерал-лейтенант Подлас застрелился.

Читая эти документы и размышляя о самоубийстве Подласа, я подумал, что он мог в критическую минуту подумать о себе примерно теми же словами, которыми я в своей книге «Живые и мертвые» наделил одного из ее героев, человека схожей с ним судьбы, генерала Серпилина: «Помереть на глазах у всех я не боюсь. Я без вести пропасть не имею права».

Части 57-й армии вырвались из окружения с кровопролитными боями и тягчайшими потерями. 18 мая 150-я дивизия перешла к обороне в районе станции Лозовая, а 6 июня из армии во фронт было направлено донесение, что из состава 150-й дивизии вышли из окружения 477 человек.

В документах упоминается, что к 10 июня 1942 года была не известна судьба ни командира дивизии генерал-майора Д. Е. Егорова, ни ее начальника штаба М. Ф. Ширяева. Упоминается также, что из окружения не вернулся полковой комиссар Лященко, «начальник политотдела, он же военком 150-й дивизии». Эта последняя деталь — упоминание о Лященко «он же военком» — заставляет предполагать, что если Николаев, назначенный комиссаром в эту дивизию, успел в нее попасть, то, очевидно, он погиб в начале боев и его уже в окружении заменил начальник политотдела.

После журнальной публикации дневников пришло два письма, подтверждавших мои предположения.

Первое письмо пришло из Киева, от профессора Романа Васильевича Бершеда:

«...Вы с особой теплотой пишете об А. С. Николаеве, корпусном комиссаре. Все, что Вы установили по документам, подтверждает его трагическую судьбу. Вы сомневаетесь в том, доехал ли он в 150 с. д. и принял ли дела военкома. Прибыл и вступил в должность. Как Вам известно, под Харьковом, со стороны Барвенков-

ского выступа, 6 армия начала наступление 12.V.42 г.

В это время я был заместителем военного прокурора 57 армии и где-то 14—15 мая по делам службы был в 150 с. д. и встречался с Д. Е. Егоровым и А. С. Николаевым. Андрей Семенович произвел на меня впечатление умного и высокопартийного комиссара. Я тогда не знал всех обстоятельств его смещения с поста члена Военного совета армии. И меня, конечно, удивило то, что человек в таком высоком звании — комиссар дивизии. Вам известно, что указанные должности занимали, как правило, полковые комиссары...»

Второе письмо пришло из Донецка, от бывшего танкиста Г. А. Павлова:

«...В своей книге Вы касаетесь судьбы корпусного комиссара А. С. Николаева, т. е. что в его личном деле сделана пометка — «пропал без вести», будучи военкомом 150 с. д. в боях под Харьковом.

В 1941 г. я окончил Харьковское танковое училище им. Сталина. В 1940—41 гг. корпусной комиссар Николаев, будучи нач. Политуправления Харьковского военного округа, бывал в училище, я слушал его лекции.

Во второй половине 1942 г., находясь в плену (в окружении был ранен и контужен) в лагере Луккенвальде в Германии, принесли какую-то газетенку (не помню название) для военнопленных, я хорошо помню, что было написано о том, что бывший нач. Политуправления Харьковского военного округа корпусной комиссар Николаев застрелился.

Позже, беседуя с одним майором, попавшим в плен под Харьковом, я рассказал ему свой жизненный путь, и он мне также сказал, что А. С. Николаев застрелился.

Вот то, что я могу дополнить...»

В дни, когда я дописывал в Москве свои северные очерки, в моей жизни произошли важные для меня события.

В штабе Западного фронта мне вручили орден Красного Знамени. Для меня, который еще мальчишкой с трепетом глазел на комроты Синицына, чуть ли не единственного знакомого мне краснознаменца у нас в Рязани на пехотных курсах, где служил тогда мой отчим, получить самому такой орден очень много значило. Что я награжден, я знал еще в Мурманске. Но од-

но дело знать, а другое — когда тебе в двадцать шесть лет не во сне, а наяву привинчивают на грудь первый полученный за войну орден.

В эти же дни на партийном собрании в «Красной звезде» мои товарищи по работе проголосовали за мой перевод из кандидатов в члены ВКП(б). После утверждения этого решения в парткомиссии ГлавПУРа я получил партийный билет. А вскоре вслед за этим — звание старшего батальонного комиссара.

Эта перемена была внутренне очень важна для меня, хотя, по правде говоря, я и раньше считал свои обязанности военного корреспондента обязанностями политработника, а не «интенданта первого ранга», как это вплоть до июня 1942 года значилось в моем удостоверении личности.

В середине июня я получил от редактора несколько необычное задание — поехать на два-три дня на один из подмосковных аэродромов, где сидели тяжелые бомбардировщики, и побеседовать там с одним из экипажей об их недавнем дальнем спецперелете.

Должно быть, чтобы подразнить меня, Ортенберг не нашел нужным входить ни в какие дополнительные объяснения.

— Они предупреждены, что ты приедешь, и все, что следует рассказать, расскажут. Поезжай!

В чем суть редакционного задания, я выяснил уже на аэродроме. Речь шла о только что благополучно закончившемся полете В. М. Молотова через Великобританию, Исландию и Ньюфаундленд в Вашингтон для переговоров с Рузвельтом.

Полет этот был совершен на одном из наших тяжелых бомбардировщиков — тех самых, которые в начале войны летали на Берлин.

Возил Молотова туда, в Америку, и обратно командир экипажа, по национальности эстонец, а по месту рождения сибиряк Эндель Карлович Пусеп. От него и его товарищей по экипажу мне предстояло узнать подробности этого трудного по тому времени полета. Предполагалось, что их рассказ в моей записи будет напечатан на страницах «Красной звезды».

Материал этот я подготовил, он был большой, на целую газетную полосу; его отправили на согласование, и в газете он так и не появился. По каким причинам не получили «добро» на его публикацию, не знаю — то

ли по соображениям сохранения военной тайны, то ли по каким-то иным.

Материал не пошел, но чувства зря потраченного времени у меня не было. Неожиданное газетное задание свело меня с хорошими, интересными людьми — с Пусепом и его штурманами Александром Павловичем Штепенко и Сергеем Михайловичем Романовым. Все трое имели за плечами по многу лет службы в авиации и по многу боевых вылетов — на Берлин, Кенигсберг, Данциг и другие дальние цели.

Рассказывали они о полете в Америку откровенно, не скрывая трудностей. Молотова хвалили за выдержку и спокойствие. О себе говорили мало, главным образом в тех случаях, когда без этого никак не обойдешься, рассказывая об обстоятельствах полета.

А обстоятельства были сложные хотя бы потому, что перед этим дальним полетом экипаж сделал первый пробный рейс только на первом, самом коротком отрезке — до Англии и обратно. Правда, именно на этом отрезке приходилось пересекать линию фронта, но к этому бомбардировщики привыкли. Дальнейшее их беспокоило куда больше — незнакомая на всем протяжении трасса, незнакомые аэродромы, неизвестные, ни разу лично не опробованные места взлетов и посадок. Добавим ко всему этому меру ответственности за успех порученного дела, за жизнь пассажиров и за результат их миссии...

В моих блокнотах остались записи разговоров с летчиками, сделанные тогда же, вскоре после их полета, и мне хочется привести несколько отрывков из этих записей. Думается, они дают некоторое представление и о времени, и о нравственном облике людей.

Александр Павлович Штепенко, майор, штурман. До авиации — кровельщик; и отец, и дед тоже кровельщики...

«...Вдруг увидели Вячеслава Михайловича, думали — он провожает, а тут генерал Голованов подводит его и говорит:

— Вот ваш пассажир.

Мы залезли в кабину. Ну, думаем, влипли. Погода по маршруту была по прогнозу отвратная, но зато благоприятная в месте посадки, поэтому не отложили, остановились на этом дне. Обыкновенный военный самолет,

холодно — до 30 градусов; на высоте восемь тысяч метров люди стали замерзать, стали укрывать их всем, чем могли — чехлами, промасленными или нет, все равно.

Летели через грозу. У Пскова шли на 7800 метрах. Разрывы зениток ложились далеко внизу; прожекторы светили только в разрывы облаков.

Из-за встречного ветра полет удлинился на два часа. Была опасность нехватки бензина, поэтому вышли к берегу ближе, чем собирались, и дальше пошли по берегу. Свыше четырех часов шли в кислородных масках. Одной из секретарш сделалось дурно, ей хотелось сдернуть маску, но стрелок, наоборот, только прибавил ей кислороду.

Сели в Англии к восходу солнца. Встречал караул из гвардейских шотландских стрелков в юбочках.

Молотов за завтраком расспрашивал нас: а что это было? А что это? Звездочки — это разрывы? Огни — это прожекторы?

Потом поехали на машинах в Лондон. Он к королю, а мы в посольство.

Пока наши пассажиры занимались своими делами, мы пошли по авиационным ведомствам утрясать насчет Америки. Расспрашивали английских и американских летчиков об условиях трассы.

Полет в Исландию, все время над морем, был для нас новостью. Облака загнали нас на высоту в шесть тысяч метров. Шли на ней пять часов. Потом у берегов Исландии нашли «окно» и спустились к воде. Последний кусок шли под облаками.

За сто километров от аэродрома нас встретили американские истребители. Вели нас — как будто прилипли, руку пожать можно, переговаривались с ними на пальцах.

В Исландии сутки ждали погоды. Впереди еще 2700 километров океана. Посреди пути английские маяки уже не доставали, американские еще не были слышны.

В Канаде подлетели к аэродрому с чистой стороны, а кончили пробег уже в тумане.

Когда летели из Канады в Вашингтон, над Балтиморой огни сварки на секунду показались нашим стрелкам зенитными выстрелами.

Когда сели в Вашингтоне, сразу увидели Максима Максимовича Литвинова и с ним еще несколько человек.

На следующий день нас представили Рузвельту. Руз-

вельт поблагодарил нас за то, что мы доставили Молотова, и сказал:

— Надеюсь, что я еще раз поздравлю вас, когда вы еще раз столь же благополучно привезете сюда мистера Молотова, с которым мы обсудим, надеюсь, одно дельце, которое мы сейчас с ним задумали.

На обратном пути трое суток пришлось сидеть в Ньюфаундленде. Погода отвратительная. Сидели на метеостанции и нервничали.

В Исландию летели уже по знакомой дорожке, но было тяжело. Четыре часа летели вслепую.

Во время этого полета в облаках у всех было тяжелое настроение. Полет был слепым, никаких возможностей для проверки правильности курса не было. На вопросы сквозь зубы отвечали: «Все в порядке».

К Англии подходили в шторм. Опять спустились через дырку в облаках. Трепало как никогда.

В Лондоне, считая обратный путь рискованным, нам предлагали даже лететь в Москву через Африку...»

Сергей Михайлович Романов, майор. До армии — слесарь.

«...Пробивались через грозу. Кругом были кучевые облака с молниями. Пусеп сказал — надо обходить! Мы ответили ему — на твоей совести! Держи на запад, потом разберемся.

Осматривали Лондон. Снесены целые районы. По ним по расчищенному асфальту можно ехать мимо бесконечных развалин.

В Англии на метеостанции дают прогноз только на сутки, но зато исключительно точный; а на трое суток, как ни проси, не дают.

Специалисты-метеорологи прочно, на много лет, закреплены за одними и теми же линиями. А кроме того, они не брезгуют информацией от пролетающих летчиков.

Когда шли на Лондон, то стали получать из него уже на полпути пеленги и сочетали их с астрономическими наблюдениями.

В Исландии сели на только что выстроенный аэродром. Камни, ветер, холод, и, как нам сказали, теплее здесь не бывает. Ледники, дикая природа, отсутствие растительности.

Американские офицеры просили нас взять письма и опустить их в Америке. Мы взяли письма и таким образом неожиданно для себя стали почтарями.

Когда справа от себя увидели вершины гренландских ледников, то сначала приняли их за облачные шапки.

В Канаде вокруг аэродрома в Хусвее мелкий хвойный лес. Среди работающих на аэродроме много украинцев. Осматривали наш самолет. Один сказал:

— Перший раз бачу такой велыкий литак...

Они приехали сюда, в Канаду, в 1910 году.

Когда летели из Канады в Вашингтон, под конец устали так, что уж казалось, что самолет не летит, а стоит на месте.

Вашингтон — зеленый город, много зелени и машин. Чего больше, неизвестно. Столько машин, что думали — встреча; потом поняли — так всегда!

У Рузвельта все по-деловому: карты, старый шкаф с книгами, стол, два кресла, телефоны.

На обратном пути встретили фронт облаков — шли два с половиной часа вслепую. В пути изотермы, выше которых начиналось обледенение, все снижались. Снижались и мы. Как начиналось обледенение, сразу скакали вниз. Лед то появлялся, то оттаивал.

Выскочили из облачности только у берегов Гренландии и увидели эти берега во всей их красоте. Острые черные каменные пики у берегов и белые шапки ледников в глубине. А море было все серое, и в нем свирепствовал шторм...»

Эндель Карлович Пусеп, майор. В авиацию пришел из педагогического техникума.

«...Молотов спросил меня — готов ли самолет? Как я себя чувствую и как я смотрю на сегодняшнюю погоду? Я доложил, что все в порядке.

Генерал сказал мне — не спешите, делайте все основательно и добротно. И я помнил это всю дорогу.

В одном из моторов у нас стало пробивать масло, и я приказал второму пилоту, капитану Обухову, идти прямо на берег — до него оставалось восемьсот километров, — а потом идти уже вдоль берега.

На земле Молотов спросил нас — почему так долго шли вдоль берега, не ошиблись ли штурманы в курсе? Я объяснил все как было.

Когда вернулись, он поблагодарил нас, сказал мне: Спасибо, что хорошо довезли туда и обратно.

Самым рискованным моментом оказался взлет в Исландии. Аэродром еще не был достроен до конца, кругом бетонной дорожки расстилалась топь и камни. Поэтому довольно много самолетов стояло впритык у самой дорожки, вдоль краев ее. А дорожка сама по себе была слишком коротка. Дорожка уже подходит к концу, а мы еще не отрываемся!

На секунду справа впереди себя увидел стоявшие в конце дорожки маленькие американские самолеты-«амфибии» и понял, что сейчас начну их рубить своим правым крайним винтом. Самолет еще не взлетел, а сбавлять газ поздно — не остановишь. Не сбавляя скорости, накренил самолет на левое колесо, и «амфибии» промелькнули под приподнятым правым крылом, чуть-чуть не задели их!

Потом, на обратном пути, когда сели там, в Исландии, американские летчики, наблюдавшие за нашим взлетом по пути в Америку, говорили: «Ну и взлетик был у вас, уже глаза закрыть хотелось, чтобы не видеть, что произойдет». В общем, этот наш взлет запал им в голову...»

Так отрывочно, с пятого на десятое, рассказывали сами летчики тогда, в июне сорок второго года, об этом недавно кончившемся перелете. Сейчас примерно по этому маршруту ходят регулярные рейсы Москва — Нью-Йорк и от взлета в Москве до посадки в Нью-Йорке проходит всего десять часов.

Тогда, в сорок втором, разговаривая с летчиками, я спрашивал их о том, что всех нас волновало в начале второго лета войны,— о втором фронте. Что они об этом думают после своего полета в Англию и в Америку?

Они отвечали мне, что отношение всюду — на аэродромах, где садились, и у обслуживающего персонала, и у летчиков, и английских и американских,— было хорошее, товарищеское, но насчет второго фронта никто ни из англичан, ни из американцев не заговаривал, а самим заводить разговоры на эти темы было заранее не рекомендовано...

Приближалась первая годовщина войны. В связи с приближением этой даты у меня взяли интервью для английской и американской печати. Я нашел в своих бумагах копию этого интервью. Первые вопросы и ответы касались моей работы военного корреспондента, они ни-

чего не добавят к уже рассказанному и в этой и в других моих дневниковых книгах.

Но ответ на последний вопрос интервью я хочу привести, он характерен для наших настроений того времени: тревога и настороженность все усиливались по мере того, как все ясней становилось, что в этом, 1942 году, второй фронт вряд ли будет открыт.

«В о п р о с. Что бы вы хотели сказать в эти дни нашим друзьям в Америке и Англии?

О т в е т. Недавно я был на севере и встречался там с американскими моряками. То, как они возят к нам грузы через Ледовитый океан под налетами немецких торпедоносцев и под атаками немецких подводных лодок, доказывает лучше всяких слов, что они действительно хорошие и смелые ребята, и я могу по этому поводу сказать только одно — честь и слава морякам британского и американского торгового флота!

Прошлой осенью там же, на севере, я встречался с английскими военными летчиками. Они хорошо дрались там, их там уважали и любили, и, поскольку я их видел в деле, я вправе сказать, что они прекрасные ребята.

Думаю, что английские пехотинцы ничем не хуже их, но на войне знакомишься с людьми по-настоящему, только когда дерешься бок о бок с ними. Поэтому одно из моих самых искренних желаний — познакомиться на деле с английскими пехотинцами, которые, наверное, такие же хорошие ребята, как и английские летчики. И я думаю, что это мое желание совпадает с желанием многих наших командиров и солдат.

Война есть война, и все, вплоть до продовольствия, идет в первую очередь для армии. Поэтому наши семьи, для которых делается все, что возможно, все-таки живут много хуже, чем бы нам этого хотелось, и скрывать этого не приходится. Не говорю уже о семьях, которые остались на территории, занятой немцами, где жизнь их просто ужасна. Должно быть, поэтому, когда читаешь в газетах, что в Америке или Англии будет что-то готово, снабжено и вооружено только к 1943 или к 1944 году, то, не углубляясь в высокую политику, мне больно за наши семьи. Мы сами готовы выносить тяготы войны столько, сколько это потребуется, но нам невыносима мысль о затяжке войны, когда мы вспоминаем о наших женах, матерях и детях.

Я говорю это не в обиду и не в укор, а просто хочу, чтобы наши друзья за океаном на минуту поставили себя на наше место. Может быть, сердце подскажет им, что нужно спешить, очень спешить, бесконечно спешить, потому что военные расчеты военными расчетами, но голос сердца иногда сильнее военных расчетов, и он заставляет людей совершать такие поступки и действовать с таким напряжением сил, которое по всем расчетам еще вчера казалось им преждевременным и неразумным.

Хотелось бы, чтобы наши друзья за рубежом прислушались к этим словам человека, в общем, знающего, что сейчас чувствуют и о чем сейчас думают на фронте наши солдаты и офицеры».

В этом тогдашнем ответе на вопрос больше горечи, чем реальной веры в то, что словами, статьями или укорами можно придвинуть срок открытия второго фронта.

В общем-то, к июню месяцу мы это уже понимали, но, держа в памяти всю ту чашу страданий, что за первый год войны испила наша страна, мы в душе никак не могли примириться с тем, что уже поняли умом: второй фронт там, на западе, и теперь, на второй год войны, все еще не откроется.

Уехав в июле на Брянский фронт, я привез оттуда корреспонденции, напечатанные в «Красной звезде» и «Правде».

На фронте нас снова преследовали неудачи, немцы опять наступали, и перед нами, корреспондентами, снова, как летом сорок первого, вставала задача увидеть своими глазами людей, подававших в этой трудной обстановке пример воинского уменья, мужества, стойкости; самое главное — стойкости.

Такие примеры, разумеется, были даже в самые тяжкие дни, и именно о них я считал своим долгом писать в ту пору.

Этим и определялся характер всех трех моих корреспонденций о летних боях в степном и полустепном районе военных действий северо-западнее Воронежа.

Одна из них была о людях добровольческой Башкирской дивизии, о майоре Нафикове, погибшем во время беспримерного по дерзости ночного налета на немцев, и о командире этой дивизии полковнике Шаймуратове,

человеке непоколебимого авторитета, еще до войны, как я писал о нем тогда, «объездившем полмира по особым заданиям правительства».

Добавлю, что до конца войны Шаймуратов, успевший стать генералом, не дожил — погиб в бою, как и его командир полка Нафиков.

Вторая корреспонденция была о псковиче Василии Козлове, человеке уже немолодом, получившем кубари лейтенанта после двенадцати лет службы, начатой рядовым бойцом. Он проявил редкое присутствие духа: оказавшись со своим спешенным эскадроном в тылу у немцев, без единого выстрела долго двигался по высоким хлебам вслед за наступающими немецкими цепями и, в последний момент внезапно в упор перекосив их сзади из пулеметов, почти без потерь вышел к своим.

Дальнейшую судьбу этого человека мне пока что узнать не удалось.

Третья корреспонденция была о двадцатилетнем комсомольце с Алтая, из Ойрот-Туры, Илье Шуклине — командире батареи 76-миллиметровых полуавтоматических пушек, подбившем в ровной, как стол, степи четырнадцать немецких танков.

Во время боя Шуклин подавал команды, сидя верхом на лошади, потому что, видите ли, как он мне объяснял, ему так, сверху, были видней танки!

Выглядел он совсем юным, буквально мальчишечкой, и просил меня, если можно, передать привет от него отцу и матери — Захару Ильичу и Марье Григорьевне — и девушке Вале Некрасовой.

И я сделал это в своей корреспонденции, которая появилась ровно за двенадцать дней до его гибели в следующем большом бою.

Героем Советского Союза он стал уже потом, посмертно...

Лето сорок второго года, если не считать черновиков корреспонденций, оставило в моем архиве мало следов. Об утрате одной из дневниковых тетрадей я уже говорил. Приведу то немногое, что сохранилось.

...Поездка на Брянский фронт продолжалась около трех недель. Время было, не считая июня и июля 1941 года, может быть, самое скверное за всю войну.

Мы выехали из Москвы вместе с Иосифом Уткиным.

Это была его первая, по-моему, поездка на фронт после августа прошлого года, когда он тоже отправился на Брянский фронт и был тяжело ранен там в бою в руку, потеряв четыре пальца.

Мы добирались с ним на машине до фронта два дня и никак не могли притереться друг к другу. Уткин всю дорогу говорил о себе. В этом человеке жила какая-то отчаянная душевная обида, не спрятанная в глубь души, как это чаще всего бывает, а выступавшая наружу и дававшая о себе знать, как желтуха.

Я встречался с Уткиным в тридцать девятом году, перед войной. Мы жили рядом в Ялте и много разговаривали. Он производил на меня впечатление человека совсем не злого и умного, когда он говорил о других людях, о поэзии, вообще о чем угодно, кроме себя. Но когда он заговаривал о себе, то сразу становился болезненно ранимым.

— Конечно, у вас между собой принято считать меня пошляком, но тем не менее я вам все-таки должен сказать...

Это было его обычное предисловие, после которого он говорил и умные и хорошие вещи. И такими предисловиями однообразно сопровождалось почти все, о чем бы он ни заговаривал. Было такое ощущение, что, прежде чем дойти до сути того, что он хотел сказать, ему непременно нужно понавтыкать вокруг себя целый частокол этих самозащитительных оговорок.

Теперь, после своего тяжелого ранения, которое по всем законам начисто освобождало его от военной службы, он, вылечившись, все-таки снова упрямо поехал на фронт и беспрерывно всю дорогу со все новыми подробностями вспоминал обо всем, что успел увидеть на войне до своего ранения.

И то, как он много, теряя чувство меры, рассказывал о себе, вступало в полное противоречие с его нынешним поступком, с тем, что, оказавшись инвалидом, он вновь поехал на фронт.

Наверное, он действительно храбро себя вел в прошлом году, я верил ему, что это правда. Правдой было и то, что его ранило тяжело и что это могло быть и было душевным потрясением. Но вокруг всей этой правды нарастало что-то такое бесконечно многословное, он с таким упорством доказывал свою действительную храбрость, словно это непременно нужно было доказывать, словно

все люди, которым он это рассказывал, никак не хотят ему поверить.

Было обидно за него, что человек талантливый и умный сам говорит о себе так, что мешает хорошо относиться к нему.

Я ехал, молчал и слушал, и у меня постепенно возникало ощущение, что этот сидящий со мной рядом человек так беспрерывно говорит, потому что не верит в продолжительность воздействия сказанного. Ему казалось, что сказанное им помнят, только пока он говорит, и он повторял все это снова и снова, незаметно для самого себя нагромождая вариации, которые уже не хотелось слушать, потому что они подрывали чувство первоначального доверия.

Мне меньше всего хотелось его обидеть, но и слушать дальше я был не в состоянии. И когда мы добрались до штаба фронта, я вопреки нашему первоначальному московскому уговору — ездить вместе — утром удрал один в части противотанковой артиллерии, о которых у меня было задание написать.

В те дни на Брянском фронте разворачивалась операция на его южном, то есть, собственно говоря, не на южном, а на левом фланге, потому что к этому времени фронт под напором немцев был загнут лицом на юг. Для облегчения положения Воронежа на левом фланге Брянского фронта было спешно предпринято наступление только что сформированной тогда танковой армии. В начале наступления ею командовал генерал Лизюков, с которым год назад, когда он был еще полковником, я ехал из Москвы на фронт.

На левом фланге Брянского фронта наступали на немцев танкисты Лизюкова и части генерала Чибисова.

В районе этих, хотя и сыгравших свою оттягивающую роль, но, в общем, неудачных для нас боевых действий я провел две недели. Какая-то часть увиденного в те дни вошла в корреспонденции, напечатанные после моего возвращения в Москву.

Остро запомнилась одна подробность, не вошедшая ни в какие корреспонденции.

Когда я был на передовом командном пункте у Чибисова, который размещался в маленькой деревеньке вблизи переднего края и был, очевидно, засечен немцами и беспрерывно бомбим ими, я колебался, куда раньше поехать отсюда — в Башкирскую кавалерийскую диви-

зию, побывать в которой входило в число моих редакционных заданий, или попробовать добраться до Лизюкова, которого я встречал дважды и хотел повидать в третий раз.

Сначала я решил ехать все-таки в кавалерийскую дивизию, но потом в деревеньке вдруг появился офицер связи, приехавший от Лизюкова. Я с ним случайно столкнулся у оперативного дежурного и, узнав, что он вскоре возвращается обратно к Лизюкову, решил ехать с ним.

Договорились, что он сходит на узел связи, а потом на выезде из деревни через пятнадцать минут я присоединюсь к его броневичку на своей «эмочке».

Ровно через пятнадцать минут я ждал его, стоя около «эмочки» на выезде из деревни. Ждал долго, часа полтора. Только через полтора часа выяснилось, что все вдруг почему-то переменилось и этот офицер-танкист, так и не успев зайти на узел связи, ровно через три минуты после разговора со мной был вызван к командующему и, получив от него какое-то приказание, немедленно уехал обратно к Лизюкову.

Танкисты были где-то в движении, пробираться к Лизюкову без офицера связи было бессмысленно, и я поехал на несколько дней в Башкирскую кавалерийскую дивизию.

Только вернувшись оттуда в штаб фронта, я узнал, что всего через несколько часов после того, как мы договаривались ехать к Лизюкову с его офицером связи, Лизюков погиб. И погиб при обстоятельствах довольно страшных.

Одна из его бригад была отрезана, и с ней была потеряна связь. Обескураженный своими неудачными действиями в предыдущие дни, Лизюков не стал дожидаться подхода танков другой, подтягивавшейся из тыла бригады, сел на свой командирский танк КВ и пошел разыскивать пропавшую бригаду в одиночку. Через два или три километра, когда он подходил к опушке леса, его танк расстреляли в упор спрятанные в засаде немецкие орудия. Спасся только один башенный стрелок — он успел выскочить, забился в рожь и оттуда видел дальнейшее.

По его словам, фашисты окружили танк, вытащили оттуда трупы погибших, в том числе труп Лизюкова, по документам поняли, что это генерал, и в доказательство того, что он убит и что они забрали именно его документы, отрезали у трупа голову и взяли ее с собой.

В этом эпизоде, рассказанном очень просто, было что-то одинокое и отчаянное, характерное для тех отчаянных дней...

Через двадцать лет после войны, разыскивая в архивах документы, связанные с последующими судьбами людей, которых я встречал на фронте, я нашел копию отправленной в штаб бронетанковых сил докладной записки об обстоятельствах гибели Лизюкова. Приведу ее для сравнения со своей дневниковой записью.

«В тот день, не имея сведений от прорвавшегося в район гвоздевских высот 89-го танкового батальона 148-й танковой бригады, генерал Лизюков и полковой комиссар Асоров на танке КВ выехали в направлении рощи, что западнее высоты 188,5, и в часть не возвратились. Из показаний бывшего заместителя командира танковой бригады гвардии полковника Давиденко Никиты Васильевича известно, что при действии его бригады в этом районе был обнаружен подбитый танк КВ, на броне которого находился труп полкового комиссара Асорова, и примерно в ста метрах от танка находился неизвестный труп в комбинезоне с раздавленной головой. В комбинезоне была обнаружена вещевая книжка генерала Лизюкова. По приказанию гвардии полковника Давиденко указанный труп был доставлен на его НП и похоронен около рощи, что западнее высоты 188,5. Вскоре бригада из этого района была вынуждена отойти. Других данных о месте гибели и погребении генерала Лизюкова не имеется».

Сравнивая свою дневниковую запись с этим документом, вижу, что некоторые изложенные в нем обстоятельства совпадают с первоначальным рассказом очевидца — башенного стрелка. В комбинезоне у Лизюкова оказалась только вещевая книжка, значит, остальные документы были взяты, а труп был изуродован до неузнаваемости...

Некоторые дополнения и к услышанному о Лизюкове тогда, на фронте, и к разысканному потом в архиве дает полученное мною недавно письмо бывшего артиллериста Петра Павловича Лебедева:

«...Я тогда, в начале июля 42-го, командовал взводом 76-мм пушек 835 сп 237 сд. В один из этих дней (не помню точно числа) у меня произошла одна встреча, странным образом связанная с судьбой командарма Лизюкова.

Взвод занимал огневую позицию где-то в районе села Ломов. Уже несколько суток шли тяжелые танковые бои, и с каждым днем все меньше становилось надежд на успех. Это чувствовалось даже далекими от штабов солдатами. Кстати, может быть, именно солдат на переднем крае первым чувствует грозные симптомы неудачи. Впереди горели наши танки. Помню эти высокие траурные, черные, как копоть, столбы дыма. В этот вечер на нашу огневую набрел раненный в голову танкист. Присев на бруствер окопа, он, как водится, закурил и рассказал, что на его глазах погиб командарм-5, что он видел (или даже сам участвовал в этом), как его обгорелый труп извлекали из сожженного танка. Сейчас я боюсь еще что-нибудь добавить, не помню. Названа была и фамилия командарма — генерал Лизюков. Фамилия эта тогда была мне незнакома, мало о чем говорила, и я бы, наверное, вообще накрепко забыл об этой встрече, но был в моем расчете красноармеец Иван Ильич Пылаев. Он-то и вспомнил, что в сорок первом осенью воевал в дивизии Лизюкова, что даже встречался с ним. Раненый танкист ушел, а Пылаев все рассказывал нам, как воевал в 41-м в этой дивизии, и хвалил своего бывшего комдива и жалел его теперь. Поэтому-то и запомнился мне этот случай и снова возник в памяти, когда в конце пятидесятых годов стали говорить о трагической судьбе этого генерала...»

Во вступлении к своей книге я говорил об ошибках памяти, которые возможны, тем более на такой огромной временной дистанции, какая отделяет нас сейчас от минувшей войны. Одна из таких ошибок памяти произошла со мной, когда я вспомнил об Александре Ильиче Лизюкове через много лет после войны.

Память подвела меня, и по прошествии многих лет мне стало казаться, что тогда, на Брянском фронте, в той деревеньке, где помещался командный пункт, я мимолетно видел самого Лизюкова, что это он сам приехал туда на броневичке, обещал, что возьмет меня с собой, а потом уехал один, не предупредив меня об этом.

Так с течением времени это отложилось в моей памяти, и отложилось настолько крепко, что я был уверен — так оно и было. И лишь недавно, после долгого перерыва заглянув в те отрывочные записи о сорок втором годе, которые сохранились у меня, я убедился, что с годами события того дня удалились в моей памяти от реальности, и если бы я теперь не заглянул в эти записи, то и по сию

пору мне бы казалось, что я мельком виделся тогда с самим Лизюковым, а не с приехавшим от него офицером связи, как это было на самом деле.

Эта ошибка была для меня в ходе работы над книгой тревожным сигналом, лишний раз напомнившим о том, что в памяти не только многое бесследно утрачивается — это еще полбеды,— но кое-что бессознательно деформируется, а это уже беда, с которой надо бороться, по возможности проверяя все, что поддается проверке.

Возвращаюсь к своим военным записям.

...В штабе Брянского фронта я снова встретился с Уткиным. Он упрекнул меня за то, что я от него удрал, уехал один, но упрекнул мельком, не сердито, так, словно где-то в глубине души сам понимал, что я не мог поступить иначе.

Нам нужно было повидать члена Военного совета фронта, и мы ждали его около хаты, и, пока ждали, секретарь Военного совета принес и дал нам прочесть экземпляр июльского приказа Сталина о том, что отступать дальше некуда, что нужно остановить врага любой ценой.

Мы сидели с Уткиным на срубе деревенского колодца и целый час, оглушенные, молчали после того, как прочли приказ. По-настоящему я пришел в себя только через несколько дней в Москве. Все эти дни мне казалось, что течение времени прекратилось. До этого война наматывалась, как клубок — сначала как клубок несчастий, потом, в декабре сорок первого, этот клубок как будто начал разматываться, но потом он снова начал наматываться, как клубок новых несчастий. И вдруг, когда я прочел этот приказ, словно все остановилось. Теперь движение жизни представлялось в будущем каким-то прыжком — или перепрыгнуть, или умереть!

Сидели и молчали. Потом зашли к вернувшемуся члену Военного совета. Потом так же молча разошлись по своим хатам.

На следующее утро я уехал в Москву, а Уткин остался...

Десять лет назад, в 1964 году, я получил письмо от одного из читателей моей книги «Солдатами не рождаются», отвечая которому я иногда спорил с ним, но чаще соглашался. В письме этом среди прочего шла речь о том

самом приказе № 227, о котором упоминается в моих записях военного времени. В них сказано, какое впечатление произвел этот приказ на меня, военного корреспондента. А из письма видно, чем был этот приказ для тогдашнего сержанта артиллерии. И мне хочется для полноты картины привести несколько выдержек из этого интересного человеческого документа:

«На всю жизнь помню смысл приказа Сталина, прочитанного вслух перед строем нашей батареи в небольшом перерыве между боями жарким летним днем в начале августа 1942 года где-то между Краснодаром и Армавиром, с решительным: «Ни шагу назад!»

Приказ № 227, как Вы, конечно, помните, был предельно правдив, откровенно объяснял то отчаянное положение, в какое попали наши народ и страна к середине лета грозного 1942 года. Не могу найти слов, чтобы выразить наши настроения и чувства в то время, после чтения этого приказа. Его, по-видимому, зачитывали во всех подразделениях действующей армии, политработники доводили до каждого, даже до самого отсталого бойца, в конце приказа так, помню, и было написано: «Зачитать во всех ротах, батареях, эскадронах, эскадрильях и экипажах».

Думается, вполне можно утверждать, что не буква, а дух и содержание этого документа очень сильно способствовали морально-психологическому духовному перелому, если позволительно так выразиться, в умах и сердцах всех, кому его тогда читали и кто держал в те дни в своих руках оружие, а значит, и судьбу Родины, да и не только Родины — человечества!

Дело даже не в тех крайних мерах, которые предусматривались этим приказом, а в его содержании, сыгравшем громадную роль в деле создания такого перелома.

По-моему, главное в том, что людям, народу (приказ зачитывался всем войскам) мужественно сказали прямо в глаза всю страшную и горькую правду о той пропасти, на грань которой мы тогда докатились. Еще Ленин подчеркивал (точно не могу вспомнить), что народ должен все знать, обо всем правильно судить, на все идти сознательно. Армия (народ) поняла, осознала и по-настоящему оценила правду, ей сказанную в приказе № 227, и сделала порой казавшееся тогда невозможным...

Приказ № 227, вероятно, из-за своего слишком прямого и сурового смысла, что тогда, как показала последующая жизнь, было оправдано, а может быть, и по другим причинам, по-видимому, был строго секретным, но, по существу, какой же это секрет, если многие сотни тысяч бойцов и командиров (если не миллионы), бывших на фронте летом 1942 года, знали о его содержании?

Если рядовые по состоянию своего духа не хотят или не способны по-настоящему воевать, то никакие самые грозные приказы, никакие крутые меры не заставят их это сделать и не удержат от бегства. Самые талантливые военачальники и опытные командиры будут бессильны что-либо сделать. Рядовые — это сам народ. А Отечественная война была всенародной. Достойны жить только те народы, которые не боятся и умеют умирать, такова, видать, суровая логика истории...»

Я возвращался с Брянского фронта в Москву с материалом для нескольких корреспонденций. Дней за десять до этого там, на фронте, мне попала в руки «Правда», один из номеров, где печаталась целыми полосами моя пьеса «Русские люди». Это было совершенно неожиданно и очень обрадовало меня, но теперь, после чтения приказа Сталина, все другое на обратном пути в Москву как-то притупилось. И мысли о том, как я буду писать корреспонденции, и радость оттого, что напечатаны в «Правде» «Русские люди»,— все куда-то отодвинулось. Хотелось писать не корреспонденции о том, что я видел, а что-то другое, что было бы выходом из того состояния потрясения, в котором я находился. Хотелось что-то сказать и самому себе и другим о том, как же быть дальше. Что нужно делать?

С этим чувством я по дороге в Москву в «эмке» начал бормотать про себя первые пришедшие на ум строчки стихотворения «Безыменное поле».

В нем не было ни слова об июльском приказе Сталина, но для меня самого оно было прямым и немедленным ответом на то потрясение, которое я испытал, прочитав этот приказ. Вернее, не ответом, а выходом из этого потрясения:

Опять мы отходим, товарищ,
Опять проиграли мы бой,
Кровавое солнце позора
Заходит у нас за спиной.

Мы мертвым глаза не закрыли.
Придется нам вдовам сказать:
Что мы не успели, забыли
Последнюю почесть отдать.

Не в честных солдатских могилах —
Лежат они прямо в пыли.
Но, мертвых отдав поруганью,
Зато мы живыми пришли...

Не правда ль, мы так и расскажем
Их вдовам и их матерям:
Мы бросили их на дороге,
Зарыть было некогда нам...

Так начинались эти дописанные уже в Москве горькие стихи, кончавшиеся напоминанием о Бородине:

Пусть то безыменное поле,
Где нынче пришлось нам стоять,
Вдруг станет той самой твердыней,
Которую немцам не взять.

Ведь только в Можайском уезде
Слыхали названье села,
Которое позже Россия
Бородином назвала...

В газетах их тогда не печатали. «Убей его», стихи тоже горькие и тоже навеянные тяжелыми событиями этого лета, напечатали еще в середине июля сразу и в «Красной звезде» и в «Комсомолке», а эти стихи — нет. Поколебались и мягко посоветовали: отложи до книжки!

Я не спорил, отложил до книжки, которая вскоре вышла. Среди других в ней были и эти стихи.

С неотвязной мыслью, которая казалась даже не мыслью, а предчувствием — что и в этой войне должно наступить свое Бородино, что оно вот-вот будет! — я не мог расстаться и через полтора месяца первую же из своих посланных из Сталинграда в Москву корреспонденций кончил перефразированной последней строфой из «Безыменного поля»:

«Но когда-то ведь и слово «Бородино» знали только в Можайском уезде, оно было уездным словом, а потом за один день стало всенародным...»

Возвращаюсь к записям.

...В августе мы с Алексеем Сурковым примерно с неделю были на Западном фронте. В это время было пред-

принято нами наступление в направлении железной дороги Ржев — Вязьма, очевидно, с целью оттянуть часть немецких войск с южных фронтов, где наши дела складывались особенно тяжело. Продвинулись мы за эти дни здесь, на Западном, в разных местах километров на двадцать-тридцать. Взяли городки Погорелое Городище и Зубцов.

Мы с Сурковым были в частях, наступавших в направлении Погорелого Городища. Дожди, грязь. На дорогах нескончаемые пробки. Бросили машину и шли двадцать километров пешком. Ночевали с Сурковым вповалку в залитой водой немецкой землянке, устроив тюфяк из еловых веток. Проснулись мокрые. Упавшая с головы пилотка плавала в воде.

Впервые увидел освобожденные деревни не зимой, а летом. Горестное ощущение пустыни... Устиново... Карманово... Жители выселены немцами, дома превращены в дзоты, в стенах выпилены амбразуры для пушек. Кое-где в полях лежат наши убитые, еще не убранные. В глухом диком поле, заросшем бурьяном, встретили одинокого сумасшедшего старика, бредущего обратно на пепелище. Ужасное запустение земли щемит душу. Летом все это еще страшнее, чем зимой. Зимою все под снегом и кажется, что весной оживет. А летом так очевидно, что все должно жить, а на самом деле все вокруг пусто и катастрофически тихо. И мертвые летом страшнее. Они, если это можно сказать о мертвых, более живые, от них еще долго остается ощущение растерзанности тела, ощущение чего-то еще не переставшего принадлежать человеку.

Ночуем в полуразрушенной избе. В ней осталось только двое жителей — до крайности исхудавшая молодая женщина Мария Семеновна и ее дочь Анька. Аньке год. Она все время кашляет надрывно, как большая. Мать укачивает, мы даем пососать кусочек сахару — все напрасно, недетский кашель буквально выворачивает худенькое тельце. Мать объясняет, что зимой застудила ее. В избе стоял немец, а девочка болела животом и плакала по ночам — мешала немцу спать.

— Немец встанет, возьмет ее из колыбельки, сунет мне в руки и толкает меня за порог. Выйду с ней на мороз и хожу под окнами — она холодеть начнет и затихает. Я ее обратно в избу и уже сама стерегу — как крикнет, опять с ней из избы. Немец не выносил детского крика.

Так и заморозила ее, теперь все кашляет, когда перестанет, не знаю.

И я тоже не знаю. Немцы пробыли здесь семь месяцев. Вчера мы их выгнали отсюда. Но, кроме радости возвращения, есть и горечь. Кроме поправимого, есть и непоправимое...

ГЛАВА ШЕСТАЯ

...Вернувшись в Москву, я необычно долго сидел над очерком об этом наступлении. Никак не получалось. Откровенно написать о нем как о самопожертвовании во имя помощи другим фронтам было невозможно и психологически, и по условиям военной тайны, а писать как-то по-другому тоже было почти невозможно.

Написав очерк, сразу же сел за пьесу «Жди меня». Поначалу я ее довольно долго придумывал, а потом вдруг составился в голове весь план от начала до конца. Писал каждый день по картине, словно предчувствуя, что вот-вот опять поеду. Еще не кончил работу, как меня среди ночи вызвал Ортенберг, посадил напротив себя и сказал, что скоро полетит под Сталинград и чтобы я готовился лететь с ним.

Во мне что-то дрогнуло. Кажется, я испугался поездки.

Ортенберг, ожидавший от меня быстрого и положительного ответа, с удивлением посмотрел на меня. А я, понимая, что, конечно же, поеду, в то же время не мог задушить в себе тревогу. Не знаю, как кому, а мне Сталинград казался чем-то очень страшным. Мысли о нем связывались с мыслями о смертельной опасности; хотелось закончить до поездки в Сталинград свою пьесу, которая была дописана как раз до середины и мне самому очень нравилась.

В общем-то, это было ощущение, которое я испытывал и раньше и которое повторялось и потом. Всегда было легче уезжать на фронт, когда что-то закончено, и труднее уезжать, оставляя неоконченную работу.

Я ответил Ортенбергу, что буду рад поехать в Сталинград, но хотел бы до этого закончить пьесу. Он сказал, что не может ждать, пока я буду кончать свою пьесу. Я сказал: хорошо, если он не может ждать, я готов ехать сейчас же.

— Мне нужно сейчас, а не потом,— смягчившись

после моих слов, сказал Ортенберг.— Четыре-пять дней оттяжки тебя же не устроят.

Я сказал, что четыре дня меня как раз устроят.

— Четыре? — недоверчиво спросил он.

— Четыре,— сказал я.

— И кончишь пьесу?

— И кончу пьесу.

— Хорошо,— сказал он.— Тогда, значит, мы полетим не завтра, а...— и, прибавив четверо суток, назвал число.— Успеешь?

— Успею.

На этом и кончился разговор.

У меня было надиктовано пять картин пьесы, оставалось еще четыре. Другого выхода не было, я должен был дописать эти четыре картины за четыре дня. Наверно, это отразилось на пьесе не лучшим образом, но так или иначе я за эти четверо суток додиктовал ее до конца и в последний вечер, накануне вылета в Сталинград, позвал товарищей послушать ее.

Рано утром мы вылетели из Москвы и на исходе дня прилетели в Заволжье, в Эльтон, известный мне, как и всем, по школьным географическим воспоминаниям: «Эльтон и Баскунчак — места добычи соли».

Пыльный длинный летний вечер; пыльная станция, пыльные широко разбросанные домишки, пыльные степи с пыльным солнцем на горизонте, и где-то вдали поблескивающие на солнце соляные озера.

На путях одинокий эшелон редакции фронтовой газеты Юго-Западного фронта, который, впрочем, к тому времени назывался уже Юго-Восточным. Вообще, с названиями фронтов выходило как-то странно: сам Сталинград обороняли армии, входившие в Юго-Восточный фронт, а фронт, который в эти дни назывался Сталинградским, был не в Сталинграде, а стоял севернее его.

Никогда не забуду Эльтона и того ощущения пустыни, которого я, пожалуй, не испытывал со времени Монголии. Это был самый последний пункт, до которого можно было, добираясь до Сталинграда, лететь самолетом. Дальше предстояло ехать через степи машиной.

Тот тихий и не примечательный никакими событиями вечер в Эльтоне, проведенный там перед тем, как двинуться в Сталинград, показался мне самым печальным за всю войну. Было отчаянное ощущение загнанности на край света и громадности пройденных немцами расстояний.

Нависшая над страной тяжесть войны сконцентрировалась здесь до небывалой и гнетущей силы, и все, что было впоследствии, все сталинградские впечатления и переживания, все было потом гораздо проще, прочнее, надежнее и жизнерадостнее, чем этот тихий вечер в Эльтоне.

Мы сели в машину и поехали через степи к Сталинграду. Чем ближе к Волге, тем мы встречали все больше и больше беженцев...

Потом уже после того, как я делал эти записи, мне попалось в одном из немногих уцелевших сталинградских блокнотов — большинство их пропало самым нелепым образом — несколько строф недописанного стихотворения о беженцах и об этой дороге от Эльтона к Сталинграду:

...Не плачь! Все тот же поздний зной
Висит над желтыми степями,
Все так же беженцы толпой
Бредут, и дети за плечами...

Не плачь! Покуда мимо нас
Они идут из Сталинграда,
Идут, не подымая глаз,—
От этих глаз не жди пощады.

Иди, сочувствием своим
У них не вымогая взгляда.
Иди туда, навстречу им —
Вот все, что от тебя им надо...

Я заглянул сейчас в свою первую корреспонденцию, написанную в ту поездку. Она называлась «Солдатская слава», и в ней шла речь о том, как рядовой боец Семен Фролович Школенко, тридцати лет от роду, из Ростовской области, Тацинского района, села Сычевки, по профессии шахтер — горный мастер, вступивший в армию на второй день войны, был послан здесь, под Сталинградом, за «языком» и на протяжении суток привел в полк сперва одного «языка» — немецкого пулеметчика, а потом второго — телефониста. При этом он еще отбил из плена и привел несколько лично ему знакомых солдат своего же полка, днем раньше попавших в руки к немцам.

В начале корреспонденции было объяснено, почему она названа «Солдатская слава»:

«По ночам вокруг Сталинграда стоит красное зарево. Под одним небом ночуют в степях и слава и бесславье...

Сегодня мы держимся. Мы еще не побеждаем. Слава дивизий и армий еще не родилась на этих полях. Но солдатская слава каждый день и каждую ночь рождается то здесь, то там...»

Это сказано в корреспонденции. А во фронтовом блокноте рядом с незаконченными стихами сохранилась такая дословная запись: «Почему нас немцы бьют? Там бьют, где трусость. Где не струсишь — победа. Как найдется таких два-три человека и больше — так и пойдет! Иной в окружении оружия не ценит — бросает. А я лучше хлеб выброшу, а сумку патронами набью. Немец, если на него не нахрапом, конечно, а ловким ходом насесть, немец боится. Немец, когда чувствует, что на него идет человек, который не боится, он его сам боится. А если от него тикают, ясно, он бьет! Кто-то кого-то должен бояться».

Так выглядели в те дни некоторые деловые соображения Семена Фроловича Школенко, за чьей солдатской спиной был Сталинград.

Об этом чувстве — Сталинграда за спиной — было сказано и в конце корреспонденции:

«Школенко долго смотрит на вечернюю степь, и на лице его появляется горькое выражение.

— Что смотрите? — спрашиваю я.

— Смотрю, куда допятил он нас. Далеко он нас допятил...»

Фотография солдата была напечатана вместе с корреспонденцией на третьей полосе «Красной звезды» 11 сентября 1942 года. Гляжу на нее и думаю: жив ли?

Печатая свой дневник в журнале, я задавал этот вопрос не только себе, но и другим. И другие, знавшие то, чего не знал я, прислали нерадостный ответ: нет, не жив! Был награжден орденом Красного Знамени, прошел через все сталинградские бои, уже в звании лейтенанта дошел до Украины и в сорок третьем году погиб там, на белгородской земле...

В моих дневниках есть коротенькая запись о том, как мы переправлялись через Волгу в Сталинград, но в данном случае я приведу вместо нее несколько, в сущности, тоже дневниковых страниц из своей корреспонденции «Дни и ночи», которая была передана в Москву тогда же, в сентябре сорок второго, по военному проводу:

«...Мы переправлялись через Волгу вечером. Пятна пожаров становились уже совсем красными на черном вечернем небе. Самоходный паром, на котором мы переезжали, был перегружен: на нем было пять машин с боеприпасами, рота красноармейцев, несколько девушек из медсанбата. Паром шел под прикрытием дымовых завес, но переправа казалась все-таки долгой. Рядом со мной на краю парома сидела двадцатилетний военфельдшер — девушка-украинка по фамилии Щепеня, с причудливым именем Виктория. Она переезжала туда, в Сталинград, уже четвертый или пятый раз.

Здесь, в осаде, обычные правила эвакуации раненых изменились: все санитарные учреждения уже негде было размещать в этом горящем городе, фельдшеры и санитарки, собрав раненых, прямо с передовых сами везли их через город, погружали на лодки, на паромы, а перевезя на ту сторону, возвращались обратно за новыми ранеными, ждавшими их помощи. Виктория и один из моих спутников оказались земляками. Половину пути они оба наперебой вспоминали Днепропетровск, его улицы, тот дом, где жил мой спутник, и тот дом, где жила Виктория. Они вспоминали свой родной город во всех подробностях, и чувствовалось, что в сердце своем они не отдали его немцам и никогда не отдадут, что этот город, что бы ни случилось, есть и всегда будет их городом.

Паром уже приближался к сталинградскому берегу.

— А все-таки каждый раз немножко страшно выходить,— вдруг сказала Виктория.— Вот меня два раза ранили, и один раз очень тяжело, а я все не верила, что умру, потому что я еще не жила совсем, совсем жизни не видела. Как же я вдруг умру?

У нее в эту минуту были большие грустные глаза. Я понял, что это правда: очень страшно в двадцать лет быть уже два раза раненной, уже пятнадцать месяцев воевать и в пятый раз ехать сюда, в Сталинград. Еще так много впереди — вся жизнь, любовь, может быть, даже первый поцелуй, кто знает! И вот ночь, сплошной грохот, горящий город впереди, и двадцатилетняя девушка едет туда в пятый раз. А ехать надо, хотя и страшно. И через пятнадцать минут она пройдет среди горящих домов и где-то на одной из окраинных улиц среди развалин под жужжание осколков будет подбирать раненых и повезет их обратно, и если перевезет, то вновь вернется сюда в шестой раз...»

Мне остается добавить, что на самом деле мой разговор с девушкой-военфельдшером был длиннее и не мог целиком поместиться в моей корреспонденции. Но, хорошо его помня, я еще раз вернулся к нему весной сорок третьего года, когда писал повесть о Сталинграде — с тем же названием, что и корреспонденция, «Дни и ночи».

Прошло много лет. Накануне двадцатой годовщины Сталинградской битвы я вдруг получил письмо из Днепропетровска от заместителя редактора областной газеты «Зоря», старого журналиста Льва Осиповича Авруцкого:

«...Очень хотелось бы узнать об одной героине Вашего очерка «Дни и ночи», посвященного битве на Волге. Речь идет о нашей землячке Виктории Щепеня. Очень хотелось бы узнать о ее послевоенной судьбе.

Я искал ее здесь, в Днепропетровске, но не нашел. Не слышали ли Вы что-нибудь о ней? А может быть, целесообразно поискать через Министерство обороны? Не знаете ли, как?

Буду весьма благодарен, если поможете советом газетчику...»

Я был почти уверен, что в данном случае по некоторым причинам поиски почти безнадежны, и постарался в ответном письме объяснить почему:

«...Получил Ваше письмо. Не меньше Вашего хотел бы знать судьбу Вашей землячки Виктории Щепеня, но, к сожалению, думаю, что она погибла.

В «Днях и ночах» (в повести) настолько подробно и точно приведен целый кусок нашего разговора с ней в той сцене, где Сабуров первый раз переправляется в Сталинград, что, я думаю, если бы Ваша землячка была жива, она бы как-то откликнулась. «Дни и ночи» на протяжении многих лет вышли двумя десятками изданий, и, будь она жива, она, наверное бы, наткнулась на ту сценку, где Аня говорит Сабурову то, что она говорила во время переправы мне и моему попутчику.

Как ни грустно об этом думать, но боюсь, что девушка, о которой я упоминал в очерке «Дни и ночи» и о словах которой вспомнил потом в книге, наверное, погибла. Хорошо, если бы это было не так!

Кстати, в очерке имя, фамилия и город были названы совершенно точно, без всякого домысла. Я всегда, когда было можно, старался в то время делать именно так, потому что знал, что «Красную звезду» широко читают и можно порадовать близких того или иного человека,

которые, встретив имя и фамилию в газете, убедятся, что, во всяком случае, несколько дней тому назад он был жив и здоров...»

Отправив это письмо, я вскоре уехал из Москвы на празднование 20-летия Сталинградской битвы, а когда вернулся, нашел на столе телеграмму из Днепропетровска:

«Радость. Щепеня жива трудится родном городе передает вам привет. Авруцкий».

В дополнение к телеграмме я узнал от Авруцкого уже по телефону, что Виктория Илларионовна Щепетя (а не Щепеня, как у меня в корреспонденции) после Сталинграда была еще раз ранена, но прошла всю войну до конца и теперь, вырастив троих детей, работает в Днепропетровске на вагоноремонтном заводе.

Я в тот же день послал Щепете телеграмму и книжку «Дни и ночи», а вдогонку письмо.

«...Хотя виделись мы с Вами тогда, во время переправы, всего какие-то считанные минуты, но почему-то эта встреча запала в память так крепко, как редко что западало. Тогда, в сентябре 42-го года, когда я посылал в «Красную звезду» из Сталинграда свой очерк «Дни и ночи», обстановка была такая, что пришлось его диктовать на телеграфный аппарат на узел связи. И увидел я его напечатанным только потом, много позднее, когда вернулся в Москву. Наверное, при передаче по телеграфу телеграфисты и изменили одну букву в Вашей фамилии.

Тот мой попутчик, который плыл вместе с Вами и со мной тогда в Сталинград и который был Вашим земляком-днепропетровцем, жив и здоров. Тогда он был дивизионным комиссаром, редактором «Красной звезды» и подписывал газету фамилией Вадимов. На самом деле его зовут Давид Иосифович Ортенберг. Сейчас он генерал-майор в отставке. Когда я позвонил ему, напомнил о нашей переправе через Волгу и сказал о том, что Вы живы и что товарищи из днепропетровской газеты разыскали Вас, он очень обрадовался, так же как и я, когда, вернувшись из Волгограда, вдруг нашел телеграмму из Днепропетровска, что Вы живы и нашлись.

Свою книгу «Дни и ночи» я писал вскоре после окончания сталинградских событий, в апреле — мае 43-го года. На фронте было затишье, редакция мне дала двухмесячный отпуск, чтобы написать книгу о Сталинграде. Хотя это был роман и герои в нем вымышлены мною, я, конечно, во многом опирался на собственные воспоминания. Вспом-

нил и тяжелые картины, что видел там, в Сталинграде, и тех людей, с которыми там встречался. Живо вспомнился мне и тот разговор, который был у нас с Вами во время переправы. Я его не записал тогда — не до того было,— но мне казалось, что я его хорошо помню, и, когда я стал писать сцену переправы Сабурова и Ани через Волгу, я вложил в уста Ани то, что Вы говорили тогда, во время переправы, мне и моему спутнику. Может быть, все это не дословно, но думаю, что этот разговор в романе близок к тому разговору, который на самом деле был у нас на переправе.

Но дело не только в этом. Та короткая встреча с Вами, та искренность, с которой Вы говорили о своих чувствах, и то скромное мужество, которое было присуще Вам и которое Вы, сами того, может быть, не замечая, проявляли тогда там, на волжской переправе,— все это оказалось для меня как для писателя первым толчком к тому, чтобы написать выведенную у меня в романе медсестру Аню именно такой, какой я написал ее. И сейчас, спустя много лет, мне хочется поблагодарить Вас...»

Вскоре пришел ответ — короткий, сдержанный, исполненный глубокого внутреннего достоинства:

«...Константин Михайлович, даже не верится, что так быстро проходит время и я уже не девушка, с которой встречались на пароме, но я мать троих сынов, женщина, которой скоро исполнится сорок два года. Как дороги мне те минуты, когда я вспоминаю Сталинград в тяжелые дни войны, а в то же время так хочется посмотреть его в мирное время. Увидеть Мамаев курган, подвалы, где была с ранеными, те места, где была расположена наша переправа через Волгу, встретиться с боевыми товарищами... Случалось, когда мне было трудно, я доставала вырезку из «Красной звезды» с Вашим очерком. Иногда хотелось написать Вам письмо о своей жизни, но так и не собралась».

Нет, думаю я, заново перечитывая сейчас все это, здесь дело не в букве, перепутанной на военном телеграфе.

Таких людей, как Виктория Илларионовна Щепетя, трудно бывает разыскать не потому, что когда-то неточно напечатали в газете их фамилию, а потому, что все сделанное ими на войне они искренне считают для себя естественной нормой поведения и не видят причин кому-то напоминать о себе и своем военном прошлом.

А уж тем более не спешат назвать себя прототипами чьих бы то ни было литературных героев.

Дело не в букве, а в характере.

Ничего не знал я долгие годы и о другом действующем лице своих сталинградских корреспонденций — о Вадиме Яковлевиче Ткаленко, главном герое очерка «Бой на окраине», двадцатитрехлетнем командире батальона в бригаде Горохова, сражавшейся на самом крайнем северном участке Сталинградской обороны, как раз там, где теперь стоит Волжская гидроэлектростанция.

В конце ноября 1942 года, когда 66-я армия генерала Жадова соединилась северней тракторного завода с уже давно отрезанной от остальных войск 62-й армии группой Горохова, в газетах промелькнула фамилия старшего лейтенанта Ткаленко, с той, сталинградской, стороны первым пробившегося навстречу войскам 66-й.

После войны мой очерк о Ткаленко несколько раз перепечатывался и в моих книгах, и в разных сборниках, но сам Ткаленко так ни разу и не подал голоса.

И только когда я через двадцать лет после событий встретился с Сергеем Федоровичем Гороховым и его сталинградским комиссаром Владимиром Александровичем Грековым, то узнал, что Вадим Ткаленко — Чапаев, как его когда-то звали в бригаде за пшеничные чапаевские усы,— оказывается, жив, и у генерала Горохова даже имеется адрес его бывшего комбата.

Я написал Ткаленко и через несколько дней получил ответ:

«...Разрешите поздравить с 20-й годовщиной разгрома, именно разгрома немецких войск под Сталинградом!

Вступление окончил, начинаю отчет о своей жизни за годы после Сталинградской битвы. Повоевать мне пришлось много. После окончания боев на Волге я попал от ее могучих просторов к истокам, к ее началу. Воевал в Калининской и Смоленской областях. Из 124-й бригады, которая после сталинградских боев стала Краснознаменной, выбыл по ранению. После излечения был назначен командиром стрелкового полка 234-й стр. дивизии, с которым и воевал до ухода на учебу на курсы «Выстрел». Как Вам известно, начало войны меня застало на западных границах Украины. Освобождая Украину, я вышел со своим полком всего на 12 километров северней того места, откуда начал отступать. Побывал в тех местах и даже нашел квартиру, на которой пришлось перено-

чевать ночь перед войной. Конец войны меня застал в 12 км от города Антрацит, куда привез свою семью из Средней Азии, находясь в отпуску.

После окончания войны еще год находился в армии. Ушел из армии 7 мая 1946 года. За время войны мне много пришлось поневоле произвести разрушений, а поэтому сразу по приходе из армии я включился в работу по восстановлению Донбасса. Первые два года работал помощником главного механика угольного треста, а с 1948 года по настоящее время в системе Шахтстроя — монтажником. Восстанавливали разрушенные войной шахты и обогатительные фабрики, а окончив восстановление, строим новые.

Вот так и идут мои житейские дела.

Немного о семье. Семья у меня небольшая — шесть человек. Два сына, дочь, жена и мама. Старший сын уже отслужил положенный ему срок в Советской Армии, сейчас учится в техникуме. Дочь учится в музыкальном училище, а самый меньший кончает 8-й класс. Мы с женой работаем, а бабуся наша, моя мама, на хозяйстве...

При первой же возможности передайте, пожалуйста, Сергею Федоровичу Горохову от меня привет, да не только от меня, а от всего моего семейства. Под Новый, 1963 год получил поздравительную открытку от Грекова, к моему стыду, не знаю его имени и отчества. Вы, наверное, его помните, он был комиссаром бригады. Как бы я хотел, чтобы встретиться всем нам у меня дома и вспомнить былое. Прошло двадцать лет, а кажется, совсем недавно...»

Да, Ткаленко прав. Не только тогда, в 1963 году, когда я получил это письмо, но и сейчас, еще через десять лет, все равно кажется, что Сталинград — это недавно.

Было бы неправдой, если б я сказал, что все связанное с ним по-прежнему на памяти. Нет, конечно, в памяти очень многое стерлось. Но кроме памяти, есть еще тот, я бы сказал, з в у к Сталинграда, тот хруст непоправимо надломившейся немецкой машины, который мы тогда услыхали.

Не этот ли звук, так и оставшийся до сих пор в наших ушах, повелевает руке писать, казалось бы, неестественное через тридцать лет слово: недавно?

Возвращаюсь к дневниковым записям, в данном случае, как это видно из текста, сделанным уже после того, как я и написал и напечатал книгу «Дни и ночи».

...Пожалуй, я бы уже не смог сейчас записать последовательно всю эту поездку. Одно забылось, другое помнится смутно, а все самое интересное из наблюдений вошло в повесть и сейчас сочетается в голове не столько с самим собой, сколько с людьми, про которых писал.

Однако некоторые подробности записать все-таки хочу.

Переправились благополучно. Еще у берега нас встретил удручающий запах гари, горелого железа и еще чего-то такого, с чем мы потом, очевидно, свыклись и перестали замечать. Но в первый момент во всем этом было что-то невыразимо тяжкое, напомнившее мне минувшую зиму, Западный фронт и все сожженные города и деревни, в которые приходилось попадать после немцев, и этот неизменный запах гари, всегда стоявший в воздухе.

Все вчетвером — Темин, Коротеев, Ортенберг и я — сначала отправились в главное штабное подземелье, которое находилось где-то около театра оперетты и реки Царица, пополам разрезавшей город.

Штаб работал на полный ход: в подземелье стучали машинки, бегали люди, звонили телефоны.

Ортенбергу нужно было не сюда, а на командный пункт фронта, который, как выяснилось, недавно перебрался отсюда в другое подземелье на самом берегу Волги.

Мы спустились по какой-то улице, а потом по тропке в котлован. Часовой остановил нас, проверил документы, и мы, пройдя мимо него, оказались около дверей, ведущих в подземелье. У дверей стояли курили несколько военных. В полутьме один из них хрипловатым спокойным хозяйским голосом неторопливо рассказывал какую-то смешную историю.

Вглядевшись, мы узнали в нем командующего фронтом генерала Еременко. Он вышел из подземелья, чтобы размяться, и, прихрамывая после ранения, тяжело наваливался на палку.

Ортенберг поздоровался, несколько минут поговорил с Еременко, и мы пролезли в подземелье.

Как сейчас вижу перед собой один из отсеков этого подземелья. Говорю «отсеков», потому что весь этот тоннель с поперечными дощатыми переборками чем-то вдруг напомнил мне огромную подводную лодку.

В одном из отсеков с койкой и столом сидел Хрущев и подписывал какие-то бумаги. Я сел в сторонке, а Ортенберг довольно долго расспрашивал Хрущева о положении дел и о том, как, по его мнению, освещать все в газете.

Положение дел было тяжелое, Хрущев был мрачен и отвечал односложно. Потом вытащил папиросы и стал чиркать спичку за спичкой. Но спички мгновенно гасли, в тоннеле была плохая вентиляция.

Он чиркнул подряд, наверное, спичек двадцать и раздраженно отшвырнул спичечный коробок и папиросы. В это время ему снова принесли на подпись какие-то бумаги, и он, кажется, был доволен, что это дает возможность прервать разговор и углубиться в чтение. Чувствовалось его явное нежелание говорить с нами, да и говорить в тот момент с корреспондентами было тягостно и, пожалуй, не о чем.

Ночью мы с Ортенбергом вернулись в то расположенное у реки Царица главное подземелье, где мы оставили Коротеева и Темина, и, безумно усталые, завалились спать. А утром, когда проснулись — было уже, наверное, часов девять, а может, и десять,— все кругом было тихо. Штаба не было, машинок не было, людей не было. Мы проснулись в пустой комнате на своих шинелях, и когда вышли в туннель, то увидели, как телефонисты сматывают там последние линии. Было совершенно пусто и абсолютно ясно, что штаб фронта за эту ночь эвакуировался.

Странное это было чувство. Ложились спать — шумело, гудело, двигалось, стучали машинки, а проснулись — пусто. Логически — ничего страшного, все вроде бы нормально, а на душе тревожно.

Вскоре мы узнали, что в эту ночь под утро весь штаб фронта эвакуировался на тот берег Волги, в Ахтубу, а здесь, в северной части Сталинграда, остался только штаб 62-й армии. Мне кажется, в тот день ею командовал еще генерал Лопатин, а Чуйков принял над ней командование только на следующий. Впрочем, может быть, я ошибаюсь.

Что же вспомнить из того, что хотя бы в преображенном виде не вошло потом в «Дни и ночи»?

Вспоминается утро перед нашим отъездом из Сталинграда. Дело происходит все в том же подземелье, в котором мы были в первую ночь у Еременко и Хрущева. Теперь они на том берегу, а здесь остался представителем фронта генерал Голиков.

Ортенберг получил сведения, что части Сталинградского фронта вскоре начнут прорываться с севера, чтобы соединиться с 62-й армией, в которой мы сейчас находимся. Он хочет, чтобы мы наблюдали эти бои не отсюда, а оттуда,

с той стороны. Для этого нам придется два раза переправляться через Волгу, сначала здесь — с правого на левый берег, а потом севернее, обратно с левого на правый.

Я лично предпочел бы пока остаться здесь, в Сталинграде, кстати, еще и потому, что эти две предстоящие переправы мне не особенно улыбаются. Но я знаю, что для Ортенберга мои желания в данном случае не играют никакой роли, и поэтому сижу и молчу, пока он разговаривает с заместителем командующего фронтом.

Голиков слушает Ортенберга, и мне кажется, что он относится к нам с плохо скрываемым презрением. Наверное, в душе считает нас трусами, потому что мы собираемся уехать из Сталинграда. Мало ли что мы будем делать потом, а пока все-таки собираемся уехать.

Ортенберг, видимо, чувствует это отношение, но считает ниже своего достоинства что-либо объяснять. Я отношусь к этому спокойно. Я уже заметил, что люди, остающиеся в критической обстановке, часто считают трусами уезжающих от них корреспондентов. А может быть, Голиков ничего такого не думает, просто злится из-за того, что у него мучительный приступ язвы. На животе у него грелка. Он то садится к столу, то полулежит на койке и между отдачей приказаний и подписыванием бумаг с отвращением пьет рисовый отвар.

Приносят еще одно донесение, видимо неприятное, он кривится и опять пьет рисовый отвар.

За эти дни бывало и так, что мне хотелось уехать из Сталинграда. А сейчас хочется еще немножко повременить, посидеть здесь под землей. Чувство опасности пребывания в Сталинграде не исчезло, но ощущение опасности предстоящей переправы сильнее, тем более что за это время мы уже три раза переправлялись через Волгу и эта сегодняшняя переправа — четвертая. За ней предстоит еще и пятая.

Я думаю обо всем этом, пока Ортенберг заканчивает свой разговор с Голиковым. Наконец мы уходим. Выбираемся из подземелья на берег и доходим до переправы неподалеку от кирпичного здания мельницы.

Ясный осенний день. Берег вовсю бомбят. Земля под ногами то сильнее, то слабее содрогается от разрывов. Кругом все смешалось — развалины домов, рухнувшие бараки, изогнутые рельсы, рваные железные бочки, доски, обломки мебели, утварь.

Над самым обрывом стоит маленький дощатый домик,

какая-то будка, в которой, как выясняется, столовая, и в этой столовой питается оставшаяся в городе областная власть. Почему питается именно здесь, неизвестно.

Ортенберг заходит туда, в домик, я почему-то — не помню уже, почему — не иду. Мы с Коротеевым сидим на берегу и ждем баржу, которая только что отошла от того берега.

Снова начинается бомбежка.

Ортенберг выходит из домика и кричит нам с Коротеевым, чтобы мы тоже шли завтракать. Я говорю, что мы не хотим завтракать. Ортенберг возвращается в домик. Начальство завтракает там под бомбежкой и показывает друг другу свою выдержку. А нам с Коротеевым выдержку показывать некому, а бежать куда-то в другое место, чтобы основательно спрятаться от бомбежки, далеко и неудобно. А здесь, на самом берегу, в общем-то, прятаться некуда. И мы тоже сидим и ждем, чем все это кончится.

Продолжается это около часа. Наконец подходит баржа, и мы на ней за сорок минут благополучно перебираемся на тот берег.

Ночуем в деревне в районе Ахтубы. Проводим там сутки и, помнится, именно там делаем для газеты материал о митинге гвардейцев, вышедших сюда из боев на пополнение 33-й гвардейской дивизии.

На следующее утро, простившись с Коротеевым, едем с Ортенбергом по левому берегу Волги вверх по течению до какой-то деревеньки, возле которой через Волгу ходят на тот берег к Дубовке паромы.

Влезаем на паром, добираемся до середины реки. Над головами появляется немецкий бомбардировщик и начинает бомбить нас. С парома никто не стреляет — ни пулеметов, ни орудий нет. Бомбардировщик заходит три раза подряд, кладет бомбы вокруг нас, улетает.

Проходит еще минут двадцать, пока мы добираемся до того берега. Вылезая на него, думаю о том, что, если сведения Ортенберга точны, если наступление отсюда, с севера, действительно снова начнется и окажется удачным, мы, может быть, всего через несколько дней вместе с войсками снова окажемся в Сталинграде на тракторном заводе, там, где мы уже были...

Вот и все те отрывочные записи о Сталинграде, которые я сделал для памяти в конце войны и в первые послевоенные годы.

Думая сейчас о том времени, мысленно прибавлю к этим записям страницы очерков «Солдатская слава», «Бой на окраине», «Дни и ночи», переданных тогда, в сорок втором году, в редакцию по военному проводу. И некоторые страницы повести «Дни и ночи», не все, конечно, а только те, за которыми в той или иной мере стоят собственные наблюдения и переживания тех дней.

Весной сорок третьего года, садясь за эту повесть, я хотел было начать работу с того, чтобы записать по свежей памяти подряд всю свою сталинградскую поездку, все, чему оказался там свидетелем. Но неизвестность — сколько продлится весеннее затишье и сколько времени судьба даст мне для работы,— очевидно, так давила на меня, что я отказался от первоначального плана и сразу сел за текст повести, а не за дневник.

И, написав об этих событиях повесть, уже не стал возвращаться к ним в дневниковой форме, ограничился только отрывочными заметками. Жаль, но ничего не поделаешь, так уж вышло...

Я уже упоминал о пропавших сталинградских блокнотах, но в одном из них, сохранившемся, есть запись разговора с Александром Ивановичем Утвенко, командиром 33-й гвардейской дивизии, в которой мы были на митинге и делали полосу для газеты.

Сам разговор с Утвенко происходил в спокойной обстановке в деревне, в хате на том берегу Волги, после нашего возвращения из Сталинграда. Но его рассказ обо всем, что он пережил во время летних боев сорок второго года, вплоть до 6 сентября, когда остатки его дивизии вывели за Волгу, может служить своего рода предисловием к Сталинграду.

Перечитывая сейчас эти записи о том, как летом сорок второго года дралась одна из отступавших к Сталинграду дивизий, я как-то заново подумал: Сталинград устоял не только потому, что его непосредственные защитники сделали все, что было в силах человеческих, но и потому, что еще задолго до этого, летом, люди, сложившие свои головы на дальних подступах к Сталинграду, своим упорством надорвали силы немцев.

Как раз об этом и дают известное представление те страницы из рассказа полковника Утвенко, который мне кажется уместным здесь привести:

«...На Западном фронте был контужен, потом ранен тремя пулями в руку, в ногу и в грудь под Рузой почти под Новый год. Лечился до марта. Был предназначен для тыловой работы, командовал резервной дивизией, оттуда срочной телеграммой был вызван принять 33-ю гвардейскую.

Принял дивизию, когда она уже заняла оборону. 23 июля немцы навалились на нас несколькими дивизиями при протяженности нашего фронта в двадцать два километра. На правом фланге прорвались танки, а на левом отошел сосед.

Я постепенно загибал фланги и в конце концов занял круговую оборону общей длиной в пятьдесят шесть километров. Использовал в обороне подвижной резерв — 17 танков с автоматчиками.

С 24 по 27 июля была прервана связь с армией. Потом возобновилась и 6 августа порвалась совсем.

Наши — слева и справа — ушли за Дон. Я держался и по приказу и потому, что считал себя опорным пунктом, опираясь на который наши могли бы перейти в наступление. Чувствовал, что сковываю одну дивизию немцев целиком и две частично. До 9 августа вел кровопролитные бои.

Нас бы быстро съели, если бы мы не зарылись в чистом поле в землю выше головы. Оставалось все меньше боеприпасов и продовольствия. Раненых ночами на повозках, на верблюдах отправляли в тыл.

К вечеру 9 августа, когда получили приказ по радио уходить на восток, у меня оставалось от дивизии не больше трех тысяч человек.

Немцы тоже несли большие потери. Во время этих боев на одном только участке батальона капитана Ермакова мы сами, своими руками стащили в овраг 513 немецких трупов, потому что мы контратаковали и устояли на месте и много убитых немцев оставалось в глубине нашей обороны. Так что нечем было дышать, смрад.

В контратаках брали у немцев трофеи, в том числе взяли 19 ручных пулеметов. Голодая без наших патронов, выбрасывали ночью вперед, на высотки, пулеметчиков с многотысячными запасами немецких патронов, и они там бились до конца, не давая немцам подходить к нашим основным позициям.

С самых первых дней было туго с едой — слишком далеко от всего оторвались в степях. 6 августа стало

почти нечего есть. Варили и ели пшеницу, драли ее на самодельной крупорушке. К 9-му есть было уже совсем нечего.

К моменту приказа о прорыве на восток у меня было до трех тысяч людей, семнадцать орудий, тринадцать легких танков.

Двинулись двумя колоннами напролом через овраги. Пушки — на руках. Прорвались на узком фронте, потеряв около трехсот человек.

Немцы за ночь и утро перекинули полк пехоты еще восточнее нас и опять закрыли кольцо.

11-го с четырех часов утра снова начался бой. Нас бомбили и атаковали танками. Общий бой шел до полудня, а потом нас рассекли на группы.

Сопротивлялись до конца. Я сам пять раз перезарядил маузер. Секли из автоматов. Несколько командиров застрелилось. Было убито до тысячи человек, но жизнь продали дорого. Один вынул из кармана листовку и пошел к немцам. Галя, наша переводчица штаба дивизии, крикнула: смотрите, гад, сдается! И выстрелила по нему из маузера.

Танки били по нас в упор. Я стрелял из последней пушки. У пушки кончились снаряды, шесть расчетов было выбито, адъютанта убили. Немцы подскочили к орудию, я прыгнул с обрыва в болото, метров с девяти, там осока высокая. Снаряд ударил в ногах и всего завалил грязью. Сверху на обрыве сидели немцы, а я то терял сознание, то слышал, что говорили. Отовсюду еще доносились выстрелы.

Уже в темноте с двумя бойцами выполз наверх, на следующий обрыв. Там нашли еще четырех человек, потом набралось двадцать. День пересидели в подсолнухах.

В сорок первом году тоже выходили из окружения. Осенью я плыл через реку Угру, разламывая ледяную корку. Виски кололо, как иголками, но выбраться, выбраться... И выбрался!

Но это все семечки по сравнению с нынешним, летним, где за каждый грамм воды — драка. За воду ходили драться. Бросали гранаты, чтобы котелок воды отбить у немца, а жрать было нечего.

Я гимнастерки своей не менял, шел из окружения со шпалами. Если умирать, так надо в своей форме. Форму получить полковничью, а умирать в гражданском платье —

это тяжело, это позор! А тем более нам. Я бы без Советской власти батраком был.

Набралось сто двадцать человек с оружием, и переплыли через Дон. Утонуло восемь человек. Днем шли группами по азимуту. Ночью собирались.

У меня температура была до сорока. Новый мой адъютант Вася Худобкин — фельдшер, акушер; он должен был женщин лечить, а ему пришлось мужчин. Но он больше немцев убил, чем наших вылечил. И через Дон переплыл без штанов, но с автоматом.

После переправы через Дон я собрал шестьсот человек с оружием, и мы еще с 16 по 25 августа держали оборону под Алексеевкой. А потом со 2 по 6 сентября дрались под Сталинградом.

После этого осталось от дивизии сто шестьдесят человек.

Для себя лично еще не пожил ничего, все для дела. Уже стареем, а еще не жили. Я сам себя не знал до боев, каков я. А теперь мне осталось только воевать, теперь мне уже никто не напишет — «береги себя». Я ни о чем не думаю, я только думаю, чтобы умереть в Киеве...»

Александра Ивановича Утвенко я встречал и потом, и на войне и после войны. Но он уже никогда не возвращался к тому своему рассказу, который остался у меня в блокноте. Да и никогда потом больше я его не видел таким, как в ту ночь в деревне за Волгой, когда считанные дни отделяли его от того последнего боя.

Человек военный до мозга костей, умеющий держать себя в руках, в ту ночь он вспоминал пережитое, не сдерживая чувств и не стыдясь слез. Мне кажется, что эти слезы чувствуются в каких-то местах моей записи его тогдашнего рассказа о лете сорок второго года.

Наверное, не лишним будет сказать, что тогдашние горькие слова Утвенко: «осталось от дивизии сто шестьдесят человек» — к счастью, оказались неточными.

Из окружения вырвались не только Утвенко и те, кто был с ним. Вырвались с оружием в руках и отрезанные немцами от Утвенко другие части дивизии во главе с полковником Г. П. Барладяном.

Судьбой военфельдшера Васи Худобкина, о котором упоминал в своем рассказе Утвенко, прочтя в журнале мой дневник, заинтересовался бывший ведущий хирург одного из сталинградских медсанбатов Павел Владимирович Чебуркин:

«...Мы развернулись на окраине поселка завода «Красный Октябрь», здесь нашли политотдел нашей дивизии, но буквально через несколько часов все работники политотдела были убиты авиабомбой! Где-то здесь, в расположении наше вышел Утвенко, которого его адъютант-фельдшер тащил на себе 10 километров. Мои помощники оказывали ему помощь, он был ранен в ноги — я не запомнил фамилию того фельдшера, теперь Вы ее напомнили — Худобкин. Интересно, жив ли он?..»

Пришлось ответить, что — нет. Умер пятидесяти шести лет от роду, немного не дожив до тридцатилетия Победы. «Умер от ран войны» — как он сам когда-то написал мне про Утвенко, вспоминая, как был на могиле своего умершего в пятьдесят лет генерала.

С Худобкиным я встречался на войне и позже, в сорок третьем, но несколько слов о нем хочется сказать именно здесь. Война, уже после того как он довоевал ее до конца, все-таки записала его в инвалиды.

И в сорок втором, и в сорок третьем он казался мне человеком богатырской силы и здоровья, и я не догадывался, что уже тогда его иногда била эпилепсия — результат первой из контузий, под Керчью.

Характер этого человека, пожалуй, лучше, чем я, объяснят выдержки из его послевоенных писем:

«...Теперь это все осталось только воспоминания, а как мог вынести человек такое? Сейчас, конечно, я не полезу ни в одну реку, а в те годы мне было двадцать четыре, вес — девяносто восемь килограммов, я ни о чем не думал, просто с ходу подошли к Дону, разделся догола, одежду свою привязал к полутораметровому баллону, себе на спину привязал Утвенко и — айда через Дон как был. Вытащил Утвенко, и тут же на берегу меня, голого, начала бить эпилепсия. Вот тут-то Утвенко и сказал: «Господи, как это не случилось с тобою в реке!» А я пришел в себя, ответил: «Раз здесь нашей смерти нет, значит, в войну не умрем, будем живы». И он засмеялся...»

«...В то время я вообще был — зверь, сила и здоровье были огромные, а дух еще сильнее. То, что я видел в Крыму, начиная от Феодосии до Керченского пролива в мае сорок второго, это был ад. Когда меня, тяжело раненного и контуженного, вывезли из Крыма, после этого я вообще о смерти не думал, так как мать получила похоронную и отпела сына по русскому православному обычаю. А раз мать отпела — отпетые живут долго! Не дай бог больше

такого никогда, что вынес наш народ. Смерть, холод, голод, расстрелы, виселицы — а на колени не встал. Перенес все...»

«...Сколько приходилось мне воевать вместе с солдатами — трусов почти не видал. Сам я получил три ранения и две контузии. Ранения — это заживает, а вот контузия, она так и остается на всю жизнь. Да, жизнь идет к закату, мне пятьдесят пять лет, идет пятьдесят шестой, это полбеды, но Гитлера помнить до могилы буду — за все его коварство.

Что Вас интересует о войне, пишите, ведь я дошел до Праги. Освобождал Румынию, Болгарию, брал Будапешт, Вену. Повидал многое, хорошего и плохого.

Тогда был молод...»

К тому, что я уже рассказал о нашей поездке в Сталинград, остается добавить немногое.

Для полноты картины упомяну, что мы с Ортенбергом побывали в волжской речной флотилии, базировавшейся где-то в рукавах и затонах левого берега. Добирались мы туда из бригады Горохова и обратно из флотилии снова вернулись на сталинградский берег, туда же, к Горохову, поэтому в моих записках и упомянуто, что, когда мы уезжали из Сталинграда, это была уже четвертая по счету переправа через Волгу.

Переправившись в пятый раз у Дубовки, мы пробыли несколько дней в частях Сталинградского фронта, еще не переименованного тогда в Донской.

Корреспондент «Красной звезды» Василий Игнатьевич Коротеев, с которым мы в сталинградскую поездку почти всюду бывали вместе, вернулся в город. До войны он был секретарем Сталинградского обкома комсомола, ему был знаком там каждый дом, и он особенно тяжко переживал зрелище нескончаемых, на десятки километров тянувшихся вдоль Волги развалин.

У меня сохранился снимок, который сделал Темин на сталинградской переправе. Вдали, во весь снимок, панорама дымящегося города. Когда я смотрю теперь, через много лет после войны, на этот снимок, я всегда вспоминаю покойного Васю Коротеева. На этом снимке он смотрит через Волгу на горящий Сталинград, и на его искаженном страданием лице такое выражение, как будто у него только что, вот сейчас, на его глазах убили отца и мать...

Коротеев перед самой войной работал уже в Москве членом редколлегии «Комсомольской правды» и, мобили-

зованный оттуда в «Красную звезду», когда начались сталинградские события, сделал все от него зависевшее, чтобы попасть именно туда.

Передо мной лежит написанное осенью того же сорок второго года письмо другого сталинградца, Михаила Луконина.

«После года войны я попал в тыл на курсы. Не могу тут сидеть, не нужно мне это. Пусть отзовут отсюда, поеду в любую газету, но только на фронт. Помоги мне.

Если поедешь к Волге, то передай привет Коротееву. Хочу туда страшно. Ведь бьется мой родной город. Может быть, как-нибудь можно мне туда...»

Перечитывая сейчас это письмо, думаю, что и в нем частица духовной жизни того времени, частица того, что в конечном итоге сделало Сталинград не только военной, но и нравственной победой.

Из Дубовки мы сначала попали в войска 66-й армии, которой в тот период командовал генерал Малиновский. Помнится, как раз в то утро, когда мы туда попали, армия приостановила наступление. Несколько суток тяжелых боев при очень слабом насыщении артиллерией, да еще в условиях полного превосходства немцев в воздухе, не дали ощутимых результатов. Продвижение в сторону Сталинграда измерялось где километром-полутора, а где всего несколькими сотнями метров.

Обо всем этом сказал сам Родион Яковлевич Малиновский, рекомендуя нам ехать от него к соседу справа, который спешно подтягивал части для предстоящего наступления.

Мы были у Малиновского на командном пункте, сидели рядом с ним на лавке у входа в землянку, вырытую в поросшем кустарником скате какого-то оврага.

Малиновский был спокойно-мрачен и немногословно, горько откровенен. Ему совершенно явно не хотелось с нами разговаривать, но, раз мы приехали к нему, он счел долгом прямо сказать, что здесь, на участке его армии, успеха нет.

Наверно, у каждого из воевавших от начала и до конца войны был на ней свой самый трудный час.

Мне почему-то кажется, что в этом заросшем кустарником овраге северней Сталинграда, в день, когда наступление 66-й выдохлось и она остановилась, мы застали Малиновского как раз в этот самый его трудный час войны. Позади были поражение, понесенное Южным фронтом,

падение Ростова и Новочеркасска и та тяжесть ответственности за случившееся, о которой шла речь в июльском приказе Сталина.

И после всего этого — назначение сюда командармом 66-й, и, несмотря на отсутствие достаточных сил и средств, приказ наступать, прорвать фронт немцев, соединиться с окруженной в Сталинграде 62-й армией, и после нескольких дней кровопролитных боев продвижение всего на сотни метров, остановка, неудача.

Что было на душе у Малиновского? О чем он мог думать и чего мог ждать для себя? Мне остается только поражаться задним числом той угрюмой спокойной выдержке, которая не оставляла его, пока он разговаривал с нами в это несчастное для себя утро.

Впереди были назначение командующим 2-й гвардейской армией, бои под Котельниковом и разгром танковой группы Гота, которым была поставлена точка на судьбе армии Паулюса.

Впереди был приход на должность командующего Южным фронтом, освобождение Ростова, бои в Донбассе и Криворожье, разгром немцев в Ясско-Кишиневской операции, Бухарест, Будапешт...

Но все это, чему еще только предстояло произойти, не могло быть предугадано и не могло идти в счет в тот час войны, когда мы застали Малиновского на командном пункте его остановившейся после неудачного наступления 66-й армии.

Уехав из 66-й, мы несколько дней пробыли в начавшей наступать 1-й гвардейской армии генерала Москаленко. За эти дни мы были с Ортенбергом в разных частях, главным образом стрелковых. Изъездили и исходили пешком много километров. Помню за войну разные бомбежки, но таких беспрерывных, растянувшихся с рассвета до заката, как в те дни севернее Сталинграда, пожалуй, не помню.

Впоследствии сам Кирилл Семенович Москаленко, вспоминая в разговоре со мной об этом наступлении, спрашивал меня:

— Вы помните, что там происходило? Помните, как душил нас там Рихтгофен со своей воздушной армадой?

Эти сказанные после войны слова не были преувеличением. Действительно, севернее Сталинграда над полем боя висел чуть ли не весь воздушный флот Рихтгофена.

Помню, как в один из этих дней — они были сентябрьские, еще довольно длинные,— добравшись затемно, до рассвета, на наблюдательный пункт Москаленко, мы просидели на нем около восемнадцати часов до наступления полной темноты. Дело происходило в степи, и наблюдательный пункт этот был устроен даже не на холме, а просто на какой-то почти незаметной складке местности, врыт в эту складку и хорошо замаскирован.

Боюсь оказаться неточным, но в моем тогдашнем ощущении от этого наблюдательного пункта до передовой было утром перед возобновлением наступления, наверно, метров семьсот-восемьсот, не больше.

Справа и слева от нас сосредоточивалась пехота и потом несколько раз за день переходила в атаки.

А в небе с утра до вечера висела немецкая авиация и бомбила все кругом, в том числе и еле заметную возвышенность, на которой мы сидели.

День был настолько тяжелый, что даже не лежала душа что-нибудь записывать, и я, сидя в окопе, только помечал в блокноте палочками каждый немецкий самолет, заходивший на бомбежку над степью в пределах моей видимости.

И палочек в блокноте к закату набралось триста девяносто восемь. Каждый десяток палочек я соединял поперечной чертой и писал вместо них десять. И таких десяток в темноте набралось тридцать девять. И еще восемь палочек, не успевших составить последнюю десятку.

А когда потом мы шли с наблюдательного пункта обратно через это поле, на котором сосредоточивалась и с которого переходила в наступление пехота, вокруг было страшное зрелище бесконечных воронок и разбросанных по степи кусков человеческого тела.

В эти самые дни на участке армии Москаленко был убит тот генерал-лейтенант, артиллерист, Корнилов-Другов, которого мы когда-то встретили под Москвой у Говорова.

Наступление армии Москаленко существенно облегчило положение защитников Сталинграда в этот, один из самых тяжелых для них периодов. Но, несмотря на большие жертвы, решить поставленную задачу до конца, то есть соединиться со сталинградцами, не удалось.

Редактор «Красной звезды» был тут же, рядом со мной, и мне не надо было объяснять ему, почему, хотя

у его корреспондента более чем достаточно личных впечатлений, предложить на газетную полосу нечего.

Ортенберг понимал это не хуже, а может, и лучше меня и в конце нашего пребывания в 1-й гвардейской сказал мне, что где-то недалеко отсюда стоит полк «кукурузников», действующий по занятым немцами кварталам Сталинграда, чтобы я съездил к ним туда, запасся материалом для газеты.

Я поехал к «кукурузникам», как тогда называли У-2. Называли и по-другому, по-разному, но на южных фронтах чаще всего «кукурузниками».

Написанный после этого очерк под названием «Руссфанер» о том, как наши У-2 бомбили немцев в Сталинграде, в том числе и тот авиагородок, где сами когда-то стояли, и дома, в которых сами жили, был моей последней корреспонденцией за эту поездку.

Кстати, обратно до Камышина, до пересадки на «дуглас», мы летели на этих самых У-2. Начало полета вышло неудачным. В воздухе появился «мессершмитт». Пришлось спасаться — срочно садиться на ту же лесную полянку, с которой взлетели. Наш У-2 не зацепило, но другой, севший полминутой позже, рубануло очередью. Хотя и летчик и пассажир остались целы, зрелище это заставило меня проявить дополнительную бдительность. Когда мы взлетели во второй раз, я чуть не отвертел голову, с великим усердием глядя во все стороны, тем более что Ортенберг заниматься этим не желал.

В Камышине на аэродроме, когда мы садились в «дуглас», я увидел Марину Раскову, а с нею несколько девушек из ее бомбардировочного полка, летавшего на пикирующих бомбардировщиках. Они провожали летчика-истребителя Героя Советского Союза Клещова; он был из того полка, который сопровождал на бомбежки полк Марины Расковой. Раненного в воздушном бою, его отправляли в госпиталь прямо в Москву, и Марина Раскова и ее девушки трогательно заботились о нем. Смотрели, хорошо ли закреплена в самолете его койка, клали ему под руку кулечки с яблоками на дорогу.

Марина Раскова поразила меня своей спокойной и нежной русской красотой.

Я не видел ее раньше вблизи и не думал, что она такая молодая и что у нее такое прекрасное лицо. Быть может, это врезалось мне в память еще и потому, что очень скоро после этого я узнал о ее гибели. Погиб в бою,

почти одновременно с нею, и тот истребитель, Иван Клещов, которого она провожала в госпиталь.

Вечером того же дня, без ночевок в пути, мы вернулись в Москву. Сталинградская поездка осталась позади.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Вскоре после возвращения в Москву меня вызвали в редакцию и сказали, что я должен ехать на встречу с Уенделлом Уилки, что он попросил организовать ему разговор с несколькими советскими писателями и журналистами, и я один из тех, кому поручено участвовать в этом.

Встреча состоялась в тот же вечер.

Я приехал на нее в обрез, за минуту, за две до назначенного времени и уже застал на месте остальных советских участников встречи — Илью Григорьевича Эренбурга, генерал-лейтенанта Алексея Алексеевича Игнатьева, автора очень известной в то время книги «Пятьдесят лет в строю», и журналиста Бориса Войтехова.

Мы едва успели поздороваться, как появился Уилки с сопровождавшим его в поездке по России и неплохо владевшим русским языком Джозефом Барнсом, в те времена редактором иностранного отдела газеты «Нью-Йорк геральд трибюн».

Хочу напомнить, что Уенделл Уилки был в то время лидером республиканской партии и соперником Рузвельта на выборах. Он именовался кандидатом в президенты, поездка его в Россию именовалась миссией, носила официальный характер, и ей придавалось немалое значение.

С одной стороны, тогдашняя Америка хотела глазами Уилки установить, в какой мере после весенних и летних поражений способна Россия к продолжению борьбы один на один с немцами, а с другой стороны, подчеркивался дружественный характер этой миссии, и перед Уилки ставилась нелегкая по тому времени задача смягчить все нараставшее у нас раздражение, связанное со все отдалявшейся перспективой открытия второго фронта.

Были у этой поездки, наверно, и свои внутриамериканские аспекты, связанные с домашними противоречиями, но это нас, меня по крайней мере, тогда меньше всего интересовало.

Уилки был еще не старый, здоровенный и прочный на вид мужчина. Он был склонен показать нам, что он человек

деловой, предпочитающий разговор начистоту, без дипломатии.

Не знаю, насколько мое впечатление соответствовало действительности, но оно расположило меня в тот вечер к Уилки. Надо отдать ему должное, он на протяжении нескольких часов мужественно выслушивал горькие истины, которые мы все четверо ему говорили. Такова уж была его миссия.

А наша миссия была — выложить ему все, что мы думаем по поводу того, что американцы и англичане не открыли и в ближайшем будущем не собираются открывать второго фронта. Да, собственно, ни о чем другом мы и не хотели говорить.

Сам подбор четырех советских участников беседы имел смысл именно при такой теме разговора. Алексей Алексеевич Игнатьев представлял в нашей четверке исторические традиции России и воспоминания о союзнических отношениях времен первой мировой войны; Эренбург еще с весны этого года во всех статьях, которые он печатал и в Америке и в Англии, неукоснительно нажимал на необходимость открытия второго фронта, а мы с Войтеховым были журналистами, способными засвидетельствовать тяжесть происходившего на фронте. Войтехов был в осажденном Севастополе, и его корреспонденции уже издали книгой на английском языке, а я приехал из Сталинграда.

Обстановка не располагала к уклончивости. Немцы были на Кавказе, на Волге, на окраинах Ленинграда и в двухстах километрах от особняка, где мы сидели с мистером Уилки.

Мне, только что вернувшемуся из Сталинграда, не хотелось в тот вечер благодарить этого американца и в его лице Америку ни за американскую тушенку, ни за американские телефонные аппараты, ни за американские «виллисы» и грузовики, ни за американские танки.

Во всяком случае, благодарность за все это выговаривалась тогда с трудом. А главное, что хотелось сказать и что я сказал в тот вечер, было другое: что помощь снабжением и даже вооружением — еще отнюдь не то, что можно называть солдатской дружбой союзников на этой войне с общим врагом. Что американский танк, конечно, хорошая вещь, но, пока в нем сидит, из него стреляет и в нем горит не американец, а русский, это еще не пахнет солдатской дружбой. А по-настоящему запахнет

ею только тогда, когда по земле Европы будут двигаться и стрелять в немцев танки, в одних из которых будут сидеть русские, а в других американские экипажи. Об этом думают и на это надеются люди, воюющие на фронте, в том числе в Сталинграде, откуда я вернулся.

А что касается американской техники, про которую спрашивал меня мистер Уилки, то я хочу подтвердить, что неоднократно видел ее своими глазами и что люди, к которым она попадает в руки, стремятся использовать ее на войне так, чтобы она не пропадала зря. Но меру их благодарности за эту технику я бы не хотел преувеличивать, она в их глазах не может заменить до сих пор все еще не открытого второго фронта.

Примерно это я выложил в разговоре с Уилки в тот вечер, еще не остыв от сталинградских воспоминаний.

Добавлю, что, стремясь поточней восстановить наш разговор, я, кроме памяти, опираюсь еще и на одно свое письмо, в котором тогда же, в сорок втором году, рассказывал о встрече с Уилки.

Уенделл Уилки, вернувшись домой, написал о своей поездке книгу. В одной из ее глав идет речь о нашей встрече. Как это часто бывает с людьми, мне больше всего запомнилось в разговоре с Уилки одно, а ему другое. Поэтому в дополнение к уже рассказанному приведу одно место из воспоминаний Уилки:

«...В течение нескольких дней я пытался разъяснить, что со стороны Советского Союза было бы хорошим ходом послать Дмитрия Шостаковича, их великого композитора, с визитом в США. Накануне вечером я сидел в набитом Зале Чайковского, большом московском концертном зале, и слушал его Седьмую симфонию. Это суровая музыка, и многое в ней мне трудно полюбить, но вступление произвело на меня самое сильное впечатление.

«Мы должны научиться понимать друг друга,— сказал я.— Мы должны учиться узнавать друг друга. Мы — союзники в этой войне, и американский народ не оставит вас, пока Гитлер не будет разбит. Но я хотел бы, чтобы мы работали вместе и в мирное время. Это потребует большого терпения, большой терпимости и большого понимания с обеих сторон. Почему Шостакович не может быть послан в США, где у него уже есть толпа почитателей и где он неизмеримо помог бы в деле взаимопонимания, которого предстоит достичь обеим сторонам?»

На этот раз мне ответил Симонов: «Господин Уилки,

взаимопонимание — это двусторонний процесс. Мы всегда пытались узнать побольше об Америке. Мы многое у вас заимствовали, мы посылали наших лучших людей учиться в Америку. Мы кое-что знаем о вашей стране, не так много, как вам бы хотелось, но достаточно, чтобы понять, почему вы желаете пригласить Шостаковича.

Вам следовало бы послать несколько опытных людей, чтобы изучать нас. Тогда бы вы, может быть, поняли, почему мы не отвечаем сейчас тепло на такие приглашения. Видите ли, мы втянуты в борьбу не на жизнь, а на смерть. Не только наши собственные жизни, но и идея, которая сформировала нашу жизнь, лежит на весах Сталинграда сегодня вечером. Объяснять нам, что мы должны послать музыканта в Соединенные Штаты, которые также втянуты в эту войну и где также на чаше весов лежат человеческие жизни, для того, чтобы убедить вас музыкой в очевидных вещах, это странный способ оскорбить нас».

Я думаю, что я правильно его понял...»

Разумеется, говорил в тот вечер не только я, а все четверо — и Войтехов, и Игнатьев, и больше всех, резче и убедительнее всех нас Эренбург, на чьи плечи легла львиная доля споров.

На протяжении вечера Уилки несколько раз краснел, сердился, отругивался и порой обижался; но как раз то, что его задевали наши упреки, и понравилось мне в нем.

Джозеф Барнс, переводивший значительную часть разговора, страдальчески морщился на особенно резких поворотах и старался смягчить их шуткою. Глядя на этого человека, я чувствовал, что он относится с глубокой внутренней симпатией к той сражающейся России, в которую он приехал в качестве спутника и переводчика Уенделла Уилки. И я был рад через несколько лет получить от него письмо, подтверждавшее мое первое впечатление. Он вспоминал о вечере, проведенном с уже покойным к тому времени Уилки, и сообщал, что перевел на английский и готовится отдать в печать мои «Дни и ночи».

Так незаметно протянулась ниточка от этой встречи с Уилки и Барнсом осенью 1942 года, когда я весь еще был полон Сталинградом, к поездке в Америку в 1946 году, когда переведенные Барнсом «Дни и ночи» стали в Америке одним из бестселлеров первого послевоенного года.

Октябрь я сидел в Москве, занимаясь сразу двумя делами: приводил в порядок пьесу «Жди меня», которая хотя и была додиктована накануне отъезда в Сталинград,

но на поверку, когда я перечел ее после возвращения, оказалась длинной и сырой, и я еще долго выжимал из нее воду, прежде чем она приобрела объем, приемлемый для постановки в театре.

Вторая работа, которой я занимался одновременно с доделкой пьесы, был сценарий кинофильма на ту же тему.

Сначала для сценария было придумано другое, более заковыристое название «Как долго тебя не было», но потом оно было бесповоротно вытеснено словами «Жди меня», прямо отражавшими смысл того, ради чего ставился фильм.

Я сел работать над сценарием, еще не успев закончить работы над пьесой. Вышло это неожиданно для меня самого. Режиссеры Александр Столпер и Борис Иванов закончили в Алма-Ате фильм «Парень из нашего города», сделанный по моей пьесе, и привезли его в Москву.

Сейчас, спустя несколько десятилетий, многое в нем мне кажется наивным, но осенью сорок второго года я был очень благодарен Столперу и Иванову за эту их взволновавшую меня тогда работу. И когда Столпер, прочитав «Жди меня», захотел сделать фильм по этой не доделанной еще пьесе, я тут же сел за сценарий.

Написанный тоже за очень короткий срок сценарий получился все-таки лучше пьесы. А картина Столпера и Иванова «Жди меня» исправно работала на экране почти два года войны и уже одним этим оправдала себя.

Задним числом думаю, что в тогдашней моей скоропалительной работе и над пьесой и над сценарием «Жди меня» проявилось недостаточно строгое отношение к писательскому ремеслу.

Сама по себе тема — жди меня! — неотвратимо рожденная войной, была действительно нужна. Написанная об этом же песня «Темная ночь» из фильма «Два бойца» весной сорок третьего года оказалась на устах буквально у каждого фронтовика. Это было потребностью времени. Все так!

Но мне самому, наверно, не следовало заниматься эксплуатацией однажды найденного и перетаскивать свое «Жди меня» из стихов сперва в театр, а потом в кино. Все, что я сам мог сказать на эту тему, было исчерпано в стихотворении. И я был наказан за то, что не понял этого.

Однако понять это тогда было не так просто. Я уже закончил пьесу и отдал ее в Московский театр драмы Горчакову, когда в ноябре сорок второго года меня вдруг

пригласил к себе Владимир Иванович Немирович-Данченко. Велев своим сотрудникам достать экземпляр «Жди меня» и прочитав пьесу, он долго говорил со мной о своем интересе к ней и закончил тем, что, если я заберу ее из театра драмы, он сам поставит ее на сцене Художественного театра.

Но слово — не воробей, пьеса уже отдана Горчакову, и я отказался от лестного для меня предложения.

Сейчас, вспоминая все это, я испытываю даже какое-то чувство обиды на самого себя, что единственный в моей жизни разговор с таким человеком, как Немирович-Данченко, на мое несчастье, возник вокруг этой самой плохой моей пьесы, а не вокруг чего-то другого, хотя бы «Русских людей», которых как раз в это время Художественный театр репетировал и в работе над которыми Немирович принимал участие.

Но тогда, осенью сорок второго года, он всерьез относился к моей пьесе «Жди меня» и разговаривал со мной главным образом о ней. Странно, но так.

Я уже сдал пьесу Горчакову, но не успел поставить точку на сценарии, как новая работа еще на некоторое время привязала меня к Москве. Приближалась 25-я годовщина Великой Октябрьской революции, и в редакции возникла мысль сделать газетную полосу, посвященную военной Москве. Ортенберг позвонил Щербакову и сказал ему об этом. Щербаков сразу же спросил: кто ее будет писать? Ортенберг с ходу ответил: Симонов. Наверно, сыграло роль и то, что я был в это время не на фронте, а здесь, в Москве, под руками.

На второй день Щербаков вызвал меня к себе, спросил, что мне нужно для этой работы и если потребуется помощь, то какая. Я сказал, что помощь, наверно, потребуется: октябрь — ноябрь прошлого года я был под Мурманском и своими глазами бои под Москвой видел только начиная с декабря, с нашего перехода в наступление. Мне нужно говорить с людьми, рассказы которых восполнят то, чего я не видел сам.

— Хорошо, людей мы найдем, а возникнет необходимость, даже вызовем с фронта,— сказал Щербаков.— Но вам надо написать не только о днях обороны Москвы, но и о предшествующем, об организации ополчения. Надо встретиться с людьми из ополченческих дивизий,

чтобы они рассказали, как это было. Кроме того,— добавил Щербаков,— есть много незаметных людей разных профессий, которые участвовали в обороне Москвы — и в истребительных батальонах, и в пожарных командах, и в группах по обезвреживанию неразорвавшихся бомб. Мы постараемся найти таких людей. Перед тем как начнете писать, у вас должна быть полная картина всего происходившего.

Прощаясь, Щербаков назначил день следующей встречи, и я начал работать над полосой.

Во время второй встречи Щербаков рассказал мне ряд обстоятельств, связанных с обороной Москвы и работой Московского комитета партии.

— В прошлый раз забыл,— сказал Щербаков в конце разговора,— а сегодня вспомнил. Вам надо поехать на московские заводы, поглядеть на тех, кто там теперь работает. В дни обороны Москвы на уже эвакуированных, в сущности, предприятиях наладили производство целого списка самых необходимых для нас вещей. В том числе автоматов, минометов, мин. К станкам стало много четырнадцати-пятнадцатилетних подростков. Им делали специальные подставки к станкам, чтобы они могли дотягиваться до суппорта. Съездите, поговорите. Лучше всего в Бауманский район, он вам даст особенно много материала.

Я поехал в Бауманский райком партии, а потом несколько дней ездил по разным предприятиям района и говорил с теми, кто не только осенью сорок первого года, но и сейчас, осенью сорок второго, составлял большую часть рабочего класса на этих заводах, уже после эвакуации основного оборудования наладивших в опустевших цехах новое военное производство. Говорил главным образом с женщинами, часто пожилыми, и с подростками; многие из них продолжали стоять за станками на тех самых подставках, о которых вспоминал Щербаков.

Собрав материал на заводах, я встретился в МК с бойцами, командирами и политработниками из нескольких ополченческих дивизий и с людьми, служившими в разных учреждениях и командах, связанных с обороной Москвы. Стенограммы этих бесед тоже послужили материалом для полосы.

Когда я написал очерк, его сдали в набор, и Ортенберг повез сверстанную полосу Щербакову. Щербаков прочел, внес несколько поправок, и 6 ноября полоса была напе-

чатана в «Красной звезде», а 10 ноября перепечатана в «Вечерней Москве».

Щербаков снова вызвал меня — в третий раз. Поблагодарил за сделанную работу, пожал руку и отпустил...

Та запись о встречах с Щербаковым, которую я здесь использовал, сделана уже давно, и сейчас мне вдруг захотелось заменить слово «вызвал» на слово «пригласил». «Пригласил» — последние годы звучит как-то привычнее. Но в записи стоит слово «вызвал», и оно соответствует действительности: так оно и было. Щербаков, ставший вместо Мехлиса начальником Главного политического управления Красной Армии, не приглашал, а вызывал к себе старшего батальонного комиссара Симонова, состоявшего в штате «Красной звезды».

Весной по поводу стихов приглашал меня к себе, а осенью — вызывал. И написать полосу об обороне Москвы мне было предложено по долгу службы. Так это обстояло с формальной и, добавлю, вполне правильной в военное время точки зрения. Но в Щербакове было то качество партийного работника, которое не дает тебе поводов размышлять: вызвали тебя или пригласили, сделали предложение или дали поручение. Все замыкалось на слове «нужно». Оно присутствовало в атмосфере его рабочего кабинета, и ты прекрасно понимал, что слово «нужно» имеет здесь всеобщий характер, оно так же обязательно для самого Щербакова, как для тебя.

Щербаков уже тогда был очень нездоров. Еще молодой — ему шел сорок второй год,— сильный, широкоплечий, но при этом с больным сердцем, с отечностью, нездоровой полнотой, с нарушенным обменом веществ и с необходимостью ежедневной двадцатичасовой работы по всем своим к тому времени четырем должностям — в ЦК, МК, Информбюро и ПУРе,— этот человек жил словом «нужно». И других слов ни для других, ни для себя у него не было.

Когда в сорок пятом году, доработав до самого последнего дня войны, он на следующий скоропостижно умер, чувство горечи у меня было, а чувства удивления — нет. Он был человеком неимоверной работоспособности, но перегрузки, выпавшие на его долю — хочу употребить, говоря о том времени, именно это нынешнее слово «перегрузки»,— были еще более неимоверными.

Мой очерк «Москва» издали брошюрой для армии. Материалы, собранные тогда, сыграли роль и в моей дальнейшей работе. Через много лет после войны находка старых стенограмм бесед с ополченцами московских дивизий натолкнула меня на идею сделать документальный фильм о Москве сорок первого года «Если дорог тебе твой дом».

Закончив работу над очерком «Москва», я в десятых числах ноября вместе с Халипом выехал на Карельский фронт, на Мурманское направление. Мне казалось, что, как и прошлой тяжелой осенью, газете для разнообразия будут полезны материалы оттуда, с крайнего северного участка фронта; тем более что, по сведениям Ортенберга, там намечались активные наступательные действия. Кроме того, у меня была в запасе идея сходить еще раз на подводной лодке, на этот раз не на юге, а на севере, не к берегам Румынии, а к берегам Норвегии. Идея эта, наверно, возникла еще и потому, что мне в глубине души было стыдно, что я, написав о первом периоде боев в Сталинграде, потом не вернулся туда еще раз, а полтора месяца безвыездно просидел в Москве. Правда, я работал с утра до ночи, но в те времена никакая работа не могла служить полным внутренним оправданием для человека, давно не ездившего на фронт.

Я всего несколько дней как приехал в Мурманск, едва успел оглядеться и собрать материал для первой корреспонденции «Полярной ночью», как пришло потрясшее нас сообщение о начале наступления под Сталинградом, а вслед за этим телеграмма от редактора с приказанием, прервав командировку, возвращаться в Москву.

Погода была нелетная, и мы с Халипом несколько суток долго и трудно добирались до Москвы, надеясь поехать под Сталинград. Но к тому времени, когда мы наконец появились в редакции, под Сталинград уже успели выехать другие наши корреспонденты в полном комплекте.

Тем не менее, когда я явился в редакцию к Ортенбергу, он обещал, что через несколько дней отправит меня под Сталинград на смену первому, кто вернется. Но следующей же ночью позвонил мне домой и сказал, что разгораются существенные события на Западном фронте и мне надлежит в семь утра выехать туда машиной. Было это часа в четыре ночи. Я немножко вздремнул перед дорогой и выехал на Западный фронт, где началось

наше наступление против все еще стоявшей своими передовыми частями в двухстах километрах от Москвы немецкой группы армий «Центр».

Эта операция не имела решительных результатов, как наступление наших южных фронтов, да и велась куда меньшими силами. Однако, в итоге заняв после жестоких боев и тяжелых потерь очень небольшую территорию, мы все же помешали немцам перебросить на юг сколько-нибудь значительные резервы с Центрального фронта.

Но писать об этом так откровенно, как я пишу сейчас, и оценивать таким образом значение нашего наступления на Западном фронте было тогда более чем затруднительно.

Я привез из командировки только два материала — «Мост под водой» и «Декабрьские заметки», рассказав в этой второй, довольно большой по объему корреспонденции о том, что видел своими глазами, хотя и некоторые мои ощущения, связанные с этим наступлением, и некоторые разговоры, услышанные на фронте, по вполне понятным обстоятельствам военного времени не могли в первозданном виде появиться на страницах газеты. Приведу несколько сохранившихся у меня разрозненных черновых дневниковых записей, сделанных в этой поездке, отчасти вошедших, а отчасти не вошедших в напечатанную в газете корреспонденцию.

...Вчера весь день до вечера была такая метель, что мы едва не разбились. Врезались передком машины в заваленный сугробами немецкий танк. И вообще ничего не было видно. Только сегодня с утра, глядя с наблюдательного пункта назад, видишь, что между занятыми вчера второй и третьей немецкими позициями раскидано довольно много немецкой техники. Едва мы добрались до наблюдательного пункта и познакомились с командиром дивизии генералом Мухиным, как он сразу схватился за телефон — какое-то срочное донесение. А я смотрел на его темный полушубок и вдруг вспомнил полковника Полосухина, погибшего прошлой зимой вот из-за такого же самого, особенно сильно выделявшегося на снегу черного полушубка. И я был у него в дивизии, и было это совсем недалеко отсюда, всего несколько десятков километров назад, на восток.

Я думал о том, что наши генералы часто подчеркнуто

не считаются с опасностью быть убитыми. Когда дела шли плохо, в этом был свой смысл, а сейчас вряд ли есть. Думал об этом, а в голове крутилась глупая рифма: «Мухин — Полосухин».

Генерал сказал кому-то в трубку, чтобы вел огонь всей наличной артиллерией, ждал поддержки и не нервничал. Потом приказал соединить себя с кем-то еще и только тут, оторвавшись от трубки, сказал мне, что на соседнюю, вчера освобожденную деревню в двух километрах отсюда за бугром идут в контратаку двадцать четыре немецких танка. Один подбили, а остальные пока движутся. Сказал это спокойно, видимо, не только советовал другим не нервничать, но и сам не нервничал. Потом снова раз за разом брал трубку и отдавал приказания, главным образом артиллеристам. Ставил артиллерийские заслоны на нескольких возможных направлениях движения танков.

Я вытащил свою карту, но не смог разобраться, как все это выглядело на местности, и, плюнув на это, просто смотрел на генерала. Черный полушубок был у него напоказ, а спокойствие было не показное, действительное, с верой в то, что возникшая опасность не так так этак, все равно будет пресечена.

Я невольно подумал о нем, что, не говоря уже о прошлом лете, еще и в прошлую зиму навряд ли он был бы таким спокойным при известии о немецкой танковой контратаке. И не потому, что был менее храбр тогда, чем сейчас, а потому, что был меньше уверен в своих силах, и в себе самом, и в своей дивизии.

Артиллерия впереди и левее нас била полчаса подряд. Потом донесли, что немцы, оставив пять подбитых танков, поворачивают и отходят.

Морозная дымка в небе рассеялась, и над нашими головами прошли вперед штурмовики под прикрытием истребителей. И почти сразу же, только повыше, чем они, прошли в нашу сторону три девятки «юнкерсов» и начали пикировать сзади нас на тылы дивизии. Но в ответ с разных точек начался сильный зенитный огонь. Начальник артиллерии сказал, что только на их участке зенитчики сбили за эти три дня тринадцать самолетов. Даже если считать, что половина всего этого сбита соседями справа и слева, как это часто бывает при подсчетах, все равно картина получается совершенно другая, чем была раньше.

Ночью, когда я добрался в батальон, в землянке был долгий разговор на разные темы вокруг нашего наступ-

ления. С одной стороны, лозунг в дивизионной газете «Будем драться, как сталинградцы!» и общее восхищение нашими успехами на юге. А с другой стороны, самокритика: «Чтобы до смерти бить немцев, главное, чего нам не хватает, это управления боем. Бойцов из окопов зачастую поднимают не младшие, а средние командиры, и к моменту, когда бойцы уже подняты, командиры уже выбиты, и дальнейшим боем роты сплошь и рядом руководит какой-нибудь сержант».

А за этой самокритикой — горечь от нынешних собственных темпов наступления, более медленных, чем ждали. И в самооправдание опять разговоры про юг: «Там мехкорпуса, а у нас только отдельные танковые батальоны».

Я сказал в ответ то, что первым пришло в голову,— что танки, сколько бы их ни было, всюду поровну все равно не раздашь. Командир батальона в ответ несколько раз молча кивнул, вроде бы согласился, но потом вдруг вытащил из планшета из-под пятисотки другую карту, маленькую, школьную, Европейской России и, меряя по ней пальцами, сказал: «А нам, между прочим, отсюда напрямую ближе всего до границы». Его сердило, что главное наступление происходит не здесь, у них...

Так выглядит моя последняя запись, связанная с событиями 1942 года.

Почти весь этот год был для меня связан с теми или другими фронтовыми воспоминаниями. Однако сейчас, восстановив последовательно одну за другой все свои фронтовые поездки, вижу, что в общей сложности находился на фронте меньше половины этого года. А остальное время пробыл в Москве. Хотя, понадейся я на память, я бы наверняка сказал, что большую часть 1942 года был на фронте.

Наверное, такая аберрация памяти происходит потому, что со временем на первый план выходят воспоминания, связанные с самым трагичным, острым, поразившим, застрявшим в душе. А та работа, которой был занят, возвращаясь в Москву, остается где-то в дальних углах сознания. Хотя одно без другого не существует.

Если говорить о литературной работе, то, помимо фронтовых поездок и всего с ними связанного, год этот был для меня очень напряженным. Как теперь понимаю, выручала молодость, потому что работал я почти до исто-

щения сил. И невозможность угнаться за событиями порой ставила меня в тупик. В конце сорок второго года я даже не удержался и написал об этом старикам, отцу и матери:

«Никак невозможно догнать происходившие события. И не могу я добиться того, чтобы, возвращаясь из каждой поездки, записывать все касающееся ее. Все приходится писать про старое, про давно прошедшее. Выручает память. Получается работа очень громоздкая. Только за первые шесть месяцев войны получилось около восьмисот страниц на машинке. Когда я все-таки к вам приеду, я привезу свои дневники. Тогда вы узнаете все подробности моей жизни...»

Необходимость записывать по горячим следам каждую поездку на фронт я понимал, но делать это не хватало сил. Мешало и внутреннее сознание, что дневник, как ни важен он для тебя самого, все-таки не общественная обязанность, что ты вправе тратить на это только свободное время. А его-то и не было.

Во второй половине декабря, отписавшись за поездку на Западный фронт, я получил в свое распоряжение десять дней. Пять — чтобы добраться до Алма-Аты, где началась работа над фильмом «Жди меня», пять — на пребывание там, а дальше вступало в силу лежавшее у меня в кармане гимнастерки предписание, с которым я должен был ехать через Ташкент, Красноводск и Тбилиси на Кавказский фронт.

Встретив новый, 1943 год в Алма-Ате за одним столом с Блиновым и Свердлиным, которым предстояло играть главных героев фильма «Жди меня» — летчика Ермолова и фотокорреспондента Мишу Вайнштейна, я выехал согласно предписанию в сторону Каспийского моря.

Но это уже начинался 1943 год. 1942-й — кончился.

Сорок третий

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

От Алма-Аты до Красноводска мне предстояло добираться поездом, через Ташкент — Ашхабад, а как дальше от Красноводска, пока оставалось неизвестным — то ли самолетом, то ли пароходом.

Когда я приехал в Ташкент, встретивший меня на вокзале корреспондент «Красной звезды» по Туркестанскому военному округу, полковник Дерман, сообщил о звонке из редакции: в Тбилиси ремонтируется «эмка», которая поступит в мое распоряжение: фотокорреспондент Халип ждет меня там, чтобы ехать на фронт вместе.

Я запросил редакцию, и мне разрешили на три дня задержаться. Я хотел увидеть репетиции пьесы «Жди меня», которую ставила в театре группа киноактеров, и встретиться с одним из моих самых близких довоенных друзей, оказавшимся в Ташкенте; меня очень тревожила тогда его судьба.

Однако самым сильным ташкентским впечатлением тех дней осталась для меня неожиданная встреча с первым секретарем ЦК КП Узбекистана Усманом Юсуповым. Хорошо помню долгий разговор с ним и сидевшим у него в кабинете вторым секретарем ЦК Николаем Анд-

реевичем Ломакиным, то и дело прерываемый то телефонными звонками, то чьими-то приходами.

Не знаю уж, почему, может быть, из-за стихов «Жди меня», первые строчки которых Юсупов вдруг прочел наизусть, то ли из-за моих сталинградских корреспонденций, которые он знал и с которых начал разговор, у него, видимо, возникла душевная потребность рассказать мне, человеку, впервые за войну попавшему сюда, в тыл, в Ташкент, о том, что здесь делается. Говорил он без прикрас, не обходя трудного. Должно быть, ему органически присуще было, начав говорить, договаривать до конца. В то же время за его словами чувствовалась гордость сделанным; и он сам, и те, с кем он вместе работал, по собственной охоте и из чувства долга перед войной старались взвалить на свои плечи как можно больше, порой вдобавок ко всему, что и без того взваливалось на них сверху.

Юсупов гордился тем, что они разместили у себя в Ташкенте столько эвакуированных предприятий, выпускавших теперь военную продукцию, сколько никто сначала не надеялся тут разместить.

Но с еще большей внутренней гордостью он говорил об усыновлении сирот, о том, как много их взято из детских домов, из приемников, из санпропускников на вокзалах в узбекские семьи. В том числе в самые многодетные. Проявившаяся в этом духовная красота народа трогала его самого.

Вполне допускаю, что такой хваткий и дальновидный человек, как Юсупов, с великим трудом размещая в сорок первом и сорок втором году в Ташкенте и вообще в Узбекистане то один, то другой эвакуированный завод сверх ранее намеченных, держал при этом в памяти не только войну, но и послевоенное будущее своей республики, заранее думал о том промышленном скачке в ее развитии, основой которого станут эти эвакуированные в военное время заводы и выросший вокруг них рабочий класс. Почти уверен, что и это присутствовало тогда в его мыслях. Но первоосновой самих этих мыслей о будущем была его не дрогнувшая в самые худшие для нас времена вера в победу. Одно было неотторжимо от другого.

В конце пятидесятых годов, когда Юсупов, снятый с высоких должностей, сам выбрал для себя место работы — самый отстающий совхоз в Голодной степи —

и уехал туда директором, я не раз бывал у него. Должность была другая, а человек оставался все таким же духовно сильным. С утра до ночи, загорелый, пропыленный, он мотался по землям совхоза, растил в этой полупустыне сады, радовался каждому выжившему листику зелени и ни слова не говорил о прошлом. Только о настоящем и будущем. Резкая перемена в общественном положении не деформировала его личности. Он устоял, остался таким же, каким был. Пожалуй, вернейшее из всех свидетельство духовной прочности человека.

Второй секретарь ЦК КП Узбекистана Николай Андреевич Ломакин удивил меня тогда, в январе сорок третьего, своей молодостью — он был почти мой ровесник — и своей осведомленностью в писательских судьбах. Очевидно, во время разговора он почувствовал в моих словах налет молодой нетерпимости и предвзятости по отношению к некоторым из моих товарищей по профессии, по тем или другим причинам оказавшимся в ту пору не на фронте, а в Ташкенте, и в ответ стал подробно и подчеркнуто уважительно рассказывать мне, кто из писателей что здесь делает, где выступает, в каких общественных делах принимает участие.

Мои собственные настроения той поры можно короче всего выразить строфой из набросанного вчерне еще во время войны, а напечатанного много позже стихотворения «Зима сорок первого года»:

Хоть шоры на память наденьте!
А все же поделишь порой
Друзей — на залегших в Ташкенте
И в снежных полях под Москвой.

В этих строчках и отзвук сурковской «Землянки», и собственных переживаний после некоторых из ташкентских встреч.

Сказать по правде, известные основания у меня были. Но, должно быть, Ломакин чутким ухом уловил мое тогдашнее стремление к расширительному толкованию некоторых личных судеб и счел долгом дать этому отпор, деликатный, но поучительный.

Добавлю, что через полгода, летом сорок третьего, размышляя на эти темы на страницах газеты «Литература и искусство», я подходил к делу уже более здраво:

«У нас почему-то получилось так: многие люди уехали в тыл, и вместо того, чтобы собрать там огромный матери-

ал об эвакуированных заводах, о деревне, о семьях фронтовиков, увидеть всю массу возникающих там самых животрепещущих проблем, они пожелали во что бы то ни стало писать на военные темы. Ясно, что им трудно было добиться успеха. Я не хочу, чтобы меня поняли так, что я делю художников на тех, которые большую часть войны пробыли на фронте, и на тех, которые оставались в тылу. Не в этом суть. Но беда в том, что многие писатели не нашли своей среды там, где они оказались. Будь то Камчатка, Ташкент или Новосибирск, в каждом городе нужно по военному времени такое же преданное отношение к делу, как на фронте, и творческая честность, позволяющая браться только за то, что ты хорошо знаешь».

От Алма-Аты до Ташкента я ехал около суток, а от Ташкента до Красноводска еще четверо. На разъездах навстречу грохотали длинные тяжелые составы с бакинской нефтью. Такие тяжелые, что, казалось, под ними прогибались не только рельсы и шпалы, но и сама земля.

От пяти суток, проведенных в поездах, остались следы в дневнике. Один прозаический, другой стихотворный. Сначала приведу первый.

...В поезде между Алма-Атой и Ташкентом на двух верхних койках мягкого вагона еду я и майор авиации, как впоследствии выясняется, штурман. Целый день он обо мне заботится, даже организует варку супа у проводников. Вообще очень предупредителен. На какой-то станции уговаривает меня пойти побриться, доказывает, что мы вполне успеем. Мы бегом бежим в парикмахерскую, и он поднимает кого-то уже севшего в кресло.

— Садитесь, товарищ старший батальонный комиссар.

Меня действительно успевают побрить, и мы вскакиваем в поезд. Особенного желания бриться у меня не было, но майор действовал с такой энергией, что было трудно сопротивляться.

Мы едем дальше, и он продолжает заботиться обо мне с пугающей энергией.

Ночь. Я долго читаю. Не спится. Майор тоже не спит, ворочается. Наконец, поворочавшись, окликает меня:

— Товарищ старший батальонный комиссар...

— Да?

— Я вас по газете узнал.

Я при слабом вагонном свете вижу у него в руках газету со статьей обо мне и с портретом.

— Это вы?

Отвечаю, что да, это я.

— «Жди меня» вы написали?

— Да, я.

— Тогда у меня к вам просьба.

— Слушаю вас, товарищ майор.

— Я попрошу вас сочинить для меня письмо к моей жене. Вы убедительно ей можете сказать, а мне это требуется.

Растерянно спрашиваю, что я, собственно, должен написать его жене и в чем дело, почему возникла такая необходимость.

— Я расскажу вам, в чем необходимость. Необходимость большая,— говорит майор очень серьезно и печально.— Я вам все сначала расскажу.— И рассказывает мне примерно следующую историю: «Когда я эвакуировал семью, то отправил ее на Южный Алтай.— Он называет сначала какой-то городок, потом какое-то село.— Вот там и оказалась жена с двумя детьми. Я ей высылал аттестат. Переписывались с ней, все было вроде хорошо. А летом получаю от нее письмо, в котором она пишет: «Прости меня, Федя, все очень нехорошо. Со мной случилось несчастье». Даю ей телеграмму: «Объясни подробности несчастья». А она в ответ пишет еще одно письмо, объясняет, что есть там у них один учитель, и вот она не выдержала, сошлась с ним. Но мучается и не знает, как быть. Все это ей ни к чему и плохо, и она его бросает. Если я могу ее простить, то чтобы я простил.

Я после этого письма пошел, подал заявление в финансовую часть, чтобы ей перестали выдавать по аттестату.

Проходит четыре месяца. Я ей не пишу, и от нее ничего не приходит. Вызывает меня комиссар и спрашивает:

— Ты аттестат перестал высылать жене?

Отвечаю — перестал.

— Почему перестал?

— Так, неприятность у меня с ней вышла.

— Ну вот что,— говорит комиссар,— мы должны получить в Ташкенте самолеты, я тебя пошлю за самолетами, а неофициально даю тебе две недели, чтоб ты по дороге добрался до жены, выявил ваши неприятности.

Я отвечаю — не хочу к ней ехать.

— Почему?

— Потому же, почему аттестат перестал высылать.

А он говорит:

— Я твое глупое заявление насчет аттестата отменил, она продолжает получать по аттестату, как получала, так что поезжай. Увидишь все на месте.

Я поехал. Приехал в районный центр, сошел с поезда. До села десять-двенадцать километров. Уже вечер. Думаю, куда пойти. Хотел узнать, где переночевать и как завтра добираться. Захожу к начальнику районной милиции. Он на месте. Представился ему. Он говорит: «Здравствуйте, рад вас видеть. Ваше командование телеграмму дало, что вы приедете, мы уже знаем». В общем, встречает меня очень хорошо. Говорит:

— Куда же вам добираться двенадцать километров ночью? Утром дадим вам лошадку, и поедете. А заночуете у меня.

Пришли к нему. Жена его собрала на стол и даже спиртик поставила, а сама ушла в другую комнату. Сидим с ним, пьем. Пьет он подходяще, и я тоже. Но я ему ничего не говорю, сижу спокойно. Тогда он сам говорит:

— Ты, однако, скрытный человек, ничего мне не объясняешь.

— А что мне объяснять,— говорю,— мы сегодня только познакомились.

Он говорит:

— Все равно я про тебя все знаю. За твое здоровье, чтобы у тебя все хорошо было! У меня к тебе одна просьба, обещай, что выполнишь.

Я говорю: как же я могу заранее обещать?

— Нет,— говорит,— обещай заранее.

Выпили еще.

— Ну, обещаю,— говорю.— Что дальше?

— Прошу тебя,— говорит он,— делай с ней, со стервой, все что хочешь. Побей ее, поучи, но только к тебе одна просьба: чтобы у меня в районе было без смертных происшествий. Дай слово.

Я уже считал, что дал слово, пришлось подтвердить.

— Хорошо,— говорит.— Теперь давай будем спать.

Утром дал мне лошадку, и я поехал. И приехал.

А дело, оказалось, было так. Жена моя была у них на квартире, снимала комнату у его матери. А он, учитель, тоже приехал туда, эвакуированный. Где-то был

в другом месте, а приехал туда. Вдовый, с сыном. А у нас двое детей. Старший сын одиннадцати лет и младшая — девочка.

Я когда подошел к их дому, сын мой увидел меня из окна и бежит навстречу. Я спрашиваю: где мама? Мама, отвечает, на работе — она работала на лесозаготовках,— придет, говорит, вечером.

А сам, встретив меня, как я уже после узнал, побежал к его сыну — они с его сыном приятели были — и говорит ему:

— Мой папка приехал, наган у него вон какой! Сейчас он твоего папку постреляет.

Тот к своему отцу в школу. Отец закрыл класс и, не возвращаясь домой, пошел прямо в районный центр — только его и видели. Так я его и не встретил.

Мой сын после этого во вторую смену в школу ушел. А моей дочки дома не было. Оказывается, она лежала в детской больнице.

Я сижу жду, сижу жду. Приходит жена уже вечером.

— Здравствуй.

— Здравствуй.

— Ты меня не признаешь? — говорит.

Я говорю:

— Молчи.

Она говорит:

— Я с ним после того письма, как тебе написала, больше не жила. Все это ошибка. Кого хочешь спроси, я с ним больше не жила. Я тебя люблю.

Я говорю:

— Молчи.

Она говорит:

— Ну, бей меня, что хочешь со мной делай.

Я ей говорю:

— Молчи.

Она молча собрала на стол. Пообедали.

К дочке в больницу я съездил, а все остальное время дома сидел, ничего не делал. У меня было всего пять дней времени. С ней не спал. Только на четвертую ночь не выдержал. И в последнюю ночь тоже.

Она мне в последнюю ночь говорит:

— Ты простил меня или нет?

Я говорю: нет, не простил. И уехал».

— И вот я вас прошу, товарищ старший батальонный

комиссар, написать ей письмо от меня, чтобы она почувствовала.

— Чего же вы хотите? — спросил я у майора.— Как вы сами-то думаете дальше жить?

— Я не знаю, товарищ старший батальонный комиссар, как дальше жить. Я ей верю, что она с ним уже не живет, что ушла от него. Мне так и люди сказали. Но мне тяжело это вспоминать.

— Так что же я должен написать вам?

— Не знаю. Вы в стихах написали, вот вы и мне напишите.

— Но все-таки что же написать? Что вы сами-то думаете? Я напишу, а потом вам не понравится.

— Мне понравится. Вы только напишите. Вот вам блокнот и карандашик.

— У меня свой карандаш есть.

— Да нет уж, вы моим.

Ложусь. Начинаю писать. Только начал, майор поворачивается и говорит:

— Товарищ старший батальонный комиссар.

— Ну?

— Вы вот ей что напишите. Напишите ей, какая она стерва, чтобы она почувствовала. И в то же время, что я люблю ее и прощаю.

Я так и написал. Не так, но в этом смысле. Писал долго, старался.

Прочитав письмо, майор прослезился, тряс мне руку.

— Не забуду вам этого. Теперь она должна почувствовать. Вы, товарищ батальонный комиссар, очень мне помогли.— И, уже не возвращаясь к разговору о том, что у них произошло с женой, стал рассказывать, как он ее любит и какая она хорошая. Как будто этим написанным мною письмом закончен какой-то один кусок жизни и начат другой.

Утром, проснувшись, вижу, как он сидит, свесив ноги с полки, и аккуратно переписывает письмо.

Через полчаса Ташкент. Меня встречает полковник Дерман, и мы прощаемся с майором на утренней холодной привокзальной площади...

Второй дорожной записью были стихи «Слепец». Я начал писать их в поезде, а кончил ночью на пароходе, когда переправлялся из Красноводска в Баку.

На видевшей виды гармони,
Перебирая хриплый строй,
Слепец играл в чужом вагоне
«Вдоль по дороге столбовой».

Ослепнувший под Молодечно
Еще на той, на той войне,
Из лазарета он, увечный,
Пошел, зажмурясь, по стране.

Это был один из тех случаев, когда стихи оказываются частью дневника. По дороге к Красноводску в нашем вагоне появился старик с гармоникой, до этого, наверно, побывавший и в других вагонах.

Он был солдатом первой мировой войны, ослепнувшим от слезоточивых газов. Играл он разные песни, главным образом знакомые: «Раскинулось море широко», «Синий платочек», «Каховку», «Там вдали за рекой». И среди них одну незнакомую, должно быть, успевшую перекочевать через фронт с кем-то бежавшим из плена, самодельную, полуграмотную, но, как заноза, застревавшую в сердце, песню о немецкой неволе.

Старик, сам себе хрипло подпевая, играл все песни одинаково надрывно, похоже одна на другую, но эта — о немецкой неволе — ударяла в душу с какой-то особенной силой, словно все мы, слушавшие ее, были в чем-то виноваты.

В конце концов один из офицеров, возвращавшихся после госпиталя на фронт, не выдержал, запсиховал, заставил старика замолчать, а потом стал делиться с ним харчами. Поделились и другие. И старик перебрался в следующий вагон.

Когда я писал стихи, у меня в памяти стоял не только этот старик, но и последние фронтовые впечатления, увезенные в декабре с Западного фронта. Дымные, черные, покрытые пороховой копотью снега и освобожденные безрадостные деревни, пустыри, где ничего не было, кроме печных труб и обгорелых, раскиданных по снегу бревен...

Сердце щемило от предчувствия, что хотя вроде бы все хорошо и, по сводкам, на Северном Кавказе мы успешно наступаем, не ждут ли нас и там те же горькие картины пепелищ?

О том, как я добирался дальше из Красноводска в Тбилиси, сохранилась короткая дневниковая запись.

...Из Красноводска в Баку летели на бомбардиров-

щике СБ. Было очень холодно, и в то же время над Каспием стояла какая-то зимняя туманная морская сырость. Мы долго пробивались через облака, то высоко вверх, то шли вниз, до самой воды. Вода была унылая и холодная. В ней плавал лед. В конце концов мы обледенели и, промаявшись в воздухе около двух часов, еле живые от холода, вернулись в Красноводск, на тот же аэродром, с которого взлетали.

Ночью отправился в Баку морем, на транспорте, на котором плыли части двигавшейся из Средней Азии на Кавказский фронт кавалерийской дивизии. Всю ночь стоял двойной шум — волн и неумолчного топота лошадей в трюмах.

Днем в Баку, дожидаясь поезда на Тбилиси, встретил в гостинице Григория Васильевича Александрова. Он снимает здесь какой-то фильм. Угостив меня всем, что нашлось, он вдруг стал вспоминать о встречах с Чарли Чаплином и о том, как вместе с Эйзенштейном ездил в Мексику. Потом вытащил из-под кровати гитару и одну за другой начал петь мексиканские песни.

Слушал его и вдруг почувствовал себя довоенным мальчиком, мечтавшим о поездках в разные далекие страны. И вообще все это было очень странно и почему-то даже печально. Наверное, по контрасту с войной...

О двух или трех днях, которые я провел в Тбилиси перед отъездом на фронт, в дневниках ничего нет. Это были обычные предотъездные дни, с получением харчей по продаттестату, с хождением на военный провод за телеграммами из редакции, с добычей горючего на дорогу. Ремонт редакционной «эмки» еще не был закончен; пришлось нажимать, чтоб закончили. Задерживаться дальше было нельзя, да и душа не лежала.

Кроме встречи с Халипом, который и во время нашей ноябрьской поездки в Мурманск и теперь все еще прихрамывал после того, как в прошлом году сорвался во время съемки с танка и покалечил ногу, в памяти остались от тех тбилисских дней еще две зарубки.

Вечером в день приезда в Тбилиси, возвращаясь в гостиницу из похода за горюче-смазочным, я встретил своего старого друга Ираклия Абашидзе, который с ходу обрушился на меня с упреками: как же так, уже несколь-





ПРАВДА

Действующая армия. Конники 3-й Гвардейской кавалерийской дивизии идут в атаку.

ЖДИ МЕНЯ

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь.
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди, и с ними заодно
Выпить не спеши.

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям на зло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: повезло.
Не понять не ждавшим, им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,—
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

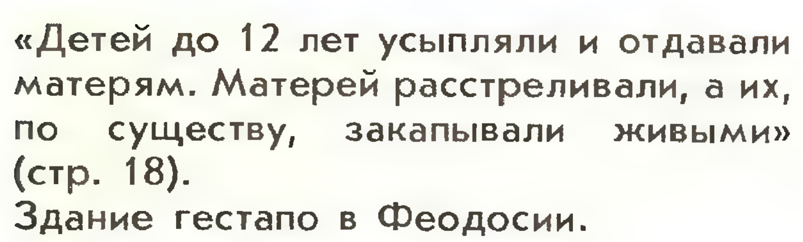
Константин СИМОНОВ.

«Говорову было на вид лет сорок пять. Это был крупный черноволосый мужчина с умным и насмешливым лицом» (стр. 46).

«...вернувшись из-под не взятого еще вопреки ожиданиям Можайска, увидел свое «Жди меня» напечатанным на третьей полосе «Правды» (стр. 37).







«Детей до 12 лет усыпляли и отдавали матерям. Матерей расстреливали, а их, по существу, закапывали живыми» (стр. 18).
Здание гестапо в Феодосии.

«Этот человек был мне отвратителен» (стр. 19).
Бургомистр Грузинов.

«Так в первый же день немецкого контрнаступления одним ударом была обезглавлена 44-я армия...» (стр. 23).

Военно-телеграфная станция № 151 ч/м

(наименование соединенья)

ПРИНЯТА		ПЕРЕДАНА
От ВТС № ____	ВТС ____	На ВТС № ____
____ го ____ час. ____ мин.	из	____ го ____ час. ____ мин.
Провод № ____	ВТС ____	Провод № ____
Катушка № ____	№ ____	Катушка № ____
Принял ____		Передал ____

Число слов	ПОДАНА	АДРЕС (кому)
	____ го ____ час. ____ мин.	Краснодар
...ные отметки:		

...кст: 11.20. 3 XII бомбили штаб армии, командарм член военсовета и начштаба ранены [illegible]

Подпись [illegible]

МВО 5780





«С благодарностью думаю о покойной матери и о покойном отце, сохранивших у себя мои письма того времени. Порой только эти письма и помогают мне сейчас разобраться, что и когда было» (стр. 233).

«...мы сели на аэродром неподалеку от противотанкового рва, в котором немцы убили и закопали больше семи тысяч человек» (стр. 55).



«Среди многих погибших там весной 1942-го... был... и генерал-лейтенант Владимир Николаевич Львов...» (стр. 83).

«— А вы знаете, по-моему, в этих стихах нет никакой двусмысленности...— Он улыбнулся» (стр. 96).
А. С. Щербаков. Довоенный снимок.





«В сорок втором году, после гибели Петрова, я написал стихи, посвященные его памяти: «Неправда, друг не умирает» (стр. 123).
Е. Петров, 1942 год.

«Одна из корреспонденций была о людях добровольческой Башкирской дивизии... и о командире этой дивизии полковнике Шаймуратове, человеке непоколебимого авторитета...» (стр. 134).
Второй слева — М. М. Шаймуратов.

«Мы выехали из Москвы вместе с Иосифом Уткиным» (стр. 135).
Справа налево — И. Уткин, Е. Кригер, В. Темин.



«...Мы переправлялись через Волгу вечером» (стр. 150).

Справа налево — В. Коротеев, Д. Ортенберг.

«В конце ноября 1942 года... в газетах промелькнула фамилия старшего лейтенанта Ткаленко, с той, сталинградской, стороны первым пробившегося навстречу войскам 66-й» (стр. 154).
Второй справа сидит В. Я. Ткаленко.



«Фотография солдата была напечатана вместе с корреспонденцией на третьей полосе «Красной звезды» 11 сентября 1942 года» (стр. 149).
С. Ф. Школенко.

«Корреспонденция «Дни и ночи»... была передана в Москву тогда же, в сентябре сорок второго, по военному проводу...» (стр. 149).



«...поехал... еще раз к Утвенко, который после Сталинграда успел стать из полковника генералом» (стр. 237). Перед строем — генерал-майор А. И. Утвенко.



«...побывали в волжской речной флотилии, базировавшейся где-то в рукавах и затонах левого берега» (стр. 165).

«...обратно до Камышина, до пересадки на «дуглас», мы летели на этих самых У-2» (стр. 169).

«Казак Урюпинской станицы генерал Горшков» (стр. 217).





«...это и есть Парамон Самсонович Куркин, такой, каким его сняли тогда на Миусе» (стр. 219).

«Редактор сказал, что Западный и Калининский фронты начали наступление на Ржев и Вязьму...
— На семь утра подготовлена машина, поедешь» (стр. 225).



«Разбить то, что показано на выставке, было трудно, и слава тем, кто это сделал» (стр. 257).



«...очень хорошо помню то утро, когда немцы прекратили наступление на участке 75-й гвардейской» (стр. 271).
Крайний слева — В. А. Горишный, крайний справа — И. А. Власенко.



«...Николай Васильевич Петрушин, командир бригады, 39 лет. Со Смоленщины» (стр. 278).



«Федор Андреевич Моджонок, из Приморья, дальневосточник. Девятнадцать лет... сбил «юнкерс» (стр. 265).

«...Женщина, с ней пятеро детей... Шестого ребенка я в первую минуту не разглядел...» (стр. 281, 282).

«Вернувшись из этой поездки, я дописал наконец тот рассказ о рядовом пехотинце, которого требовал от меня Николай Павлович Пухов» (стр. 295).



«...Когда Батов был военным советником в Интернациональной бригаде... Там, в Испании, псевдоним у Батова был — Фриц...» (стр. 298).

«...Освобожденное на рассвете село... Две трети домов сожжено... За речкой... расстрелянное немцами из пулемета стадо» (стр. 302).

ко дней в Тбилиси, он ищет меня, а я на глаза не показываюсь!

Я сказал, что если и виновен, то заслуживаю снисхождения: приехал только сегодня утром, всего полчаса, как освободился, и никому не успел позвонить.

Ираклий удивился — в Управлении по охране авторских прав ему сказали, что я несколько дней назад получал там авторские за спектакль «Парень из нашего города», а сегодня утром разнесся слух, что у меня вчера вышла здесь в гостинице какая-то ссора и меня побили. И он специально пришел сюда узнать, где я и не нужна ли мне помощь, раз пошли такие слухи.

Я рассмеялся и еще раз повторил, что приехал утром и в городе Тбилиси никем бит пока не был.

Ираклий облегченно вздохнул.

— Значит, кто-то назвался тобой!

Его догадка оправдалась. Происшествие в Тбилиси было началом длинной истории, следы которой еще не раз всплывали на поверхность за годы войны.

Какой-то авантюрист, мой однофамилец, не то уголовник, не то дезертир, выучил наизусть все мои напечатанные к тому времени лирические стихи, добыл где-то форму капитан-лейтенанта морской авиации и орден Красного Знамени и в таком виде на протяжении войны в разных местах в зависимости от обстоятельств выдавал себя то за меня, то за моего несуществующего брата.

Тбилиси, где он сначала получил за меня деньги, а потом, подравшись с кем-то, был побит и исчез, оказался лишь первым пунктом его похождений. После освобождения Нальчика он перекочевал туда и наскоро женился там на какой-то девушке по имени Роза, от которой я осенью сорок третьего года получил в Москве скорбное письмо: почему я, как обещал, не забираю ее к началу учебного года к себе в Москву?

Деятельность моего двойника не столь существенная, но все же характерная черточка того времени, когда после тяжких событий лета сорок второго года уголовная и полууголовная нечисть на волнах поспешной эвакуации хлынула в теплые места — и на Кавказ, и дальше, в Среднюю Азию.

И вторая характерная уже не черточка, а черта времени — обострившаяся в годы войны доверчивая любовь к стихам, жадное желание услышать их. По отзывам слушавших «капитан-лейтенанта» — а с такими людьми

я потом встречался,— читал стихи он неплохо, с чувством, парень был молодой, рослый, примерно моих лет и комплекции, а телевидения тогда еще не было!

Засыпался он, говоря уместным в данном случае блатным языком, лишь через год после войны, выступая с чтением стихов в районном городке Ростовской области и напоровшись там, на свою беду, на демобилизованного лейтенанта, с которым я встречался на Четвертом Украинском фронте в конце войны и который хорошо помнил меня в лицо. Лейтенант оказался человеком решительным, однофамильца моего сгреб и доставил куда следует, а мне прислал письмо с изложением всех подробностей этого финального «вечера поэзии».

Но тогда, в январе сорок третьего в Тбилиси, я столкнулся лишь с самым началом этой истории, и Ираклий, поняв, что я правда приехал только сегодня утром, зажмурясь от хохота, хлопал себя ладонями по коленям.

Вечер накануне отъезда из Тбилиси я провел в доме грузинского поэта и драматурга Ило Мосашвили, которого, так же как Ираклия, знал до войны. В его доме я познакомился с одним из старейших сейчас писателей Грузии, Александром Кутатели. Кроме них троих, в тот вечер были только их близкие, точнее, те из близких, кого не оторвала от дома война. А она многих оторвала.

Конечно, как водится у грузин, на столе стояло все, что нашлось в доме. Стол был одновременно и бедный и щедрый — из тех благородных столов, когда назавтра у хозяев хоть шаром покати!

Я читал в тот вечер много стихов. Читал подряд все, что хотели, и все, что хотелось самому. Помню, что самое сильное впечатление на моих хозяев произвело стихотворение «Хозяйка дома»:

Поставь же нам стаканы заодно
Со всеми. Мы еще придем нежданно...

В блокноте осталась только одна строчка — адрес Ило Мосашвили: Мочабели, 7. А в памяти весь этот вечер, перешедший в ночь. Остался, наверно, еще и потому, что, не говоря этого вслух, меня в ту ночь провожали на войну.

По своей профессии военного корреспондента, то уезжавшего на фронт, то снова приезжавшего и, в общем-то, уже привыкшего жить — из горячего в холодное и обратно,— я как-то не привык к проводам и даже

с долей суеверия внутренне боялся их. И вдруг эти проводы. И это желание, чтобы я еще, и еще, и еще читал стихи, как будто, если не прочту сейчас, их потом уже не услышишь.

Не будь этого вечера и ночи тогда там, в Тбилиси, наверное, многими годами позже в повести «Двадцать дней без войны» я бы не написал той главы, которую люблю в ней больше других.

Тогда, зимой 1943 года, я пробыл на Кавказском фронте около месяца, с середины января до освобождения Краснодара. О том, что я видел, было написано несколько статей в «Красную звезду». Одна из них под названием «В Краснодаре», написанная в день взятия Краснодара, была передана в Москву по военному проводу.

Другая — «Русская душа» — появилась позже, уже после того, как был освобожден Ростов и начались затяжные бои на реке Миус, западнее Ростова. Статья была попыткой оглянуться на все увиденное в январе и феврале. Начиналась она так:

«Просматривая потрепанные блокноты военного времени, трудно будет вспомнить потом, к кому относятся записанные среди полустертых карандашных строчек имена, названия, даты. Но все равно останется, как вечный спутник, чувство, с которым мы воевали в эту войну...»

Да, верно. Чувство это, «как вечный спутник», действительно осталось. Но досадно, когда, разложив сейчас перед собой все записанное тогда наспех во фронтовых блокнотах, иногда ощущаешь свое почти полное бессилие вспомнить, к кому и к чему относятся те или другие даты, названия, имена и вообще все те подробности, которые были тогда сцеплены между собой памятью, а сейчас рассыпались на кусочки. Блокноты исписаны вдоль и поперек, и в них все так перепутано, что они порой выглядят как ребусы.

Относящиеся к тому времени дневниковые записи очень коротки и связаны главным образом с дорогой, пока мы на своей редакционной «эмочке» догоняли наступавшую армию, и с днями освобождения Краснодара. Чтобы сделать эти дневниковые записи хоть немного подробней, пополню их сейчас некоторыми рабочими заметками из лежащих передо мною фронтовых блокнотов.

...Из Тбилиси поехали «эмкой» через Крестовый перевал. С опаской — как бы не застрять. Армию догонять уже далеко. На перевале снежные заносы. На верхней точке — старый курортный ресторанчик. Все стекла выбиты, столы заметены снегом. В углу на очаге все-таки жарили тощие шашлыки. Вина не было и в помине, но все равно в этой заметенной снегом полуразбитой шашлычной на перевале было какое-то нелепое курортное ощущение, было что-то напоминавшее мирное время.

Минеральные Воды. Вся станция забита захваченными немецкими эшелонами. Армия ушла дальше. Разыскивая коменданта, попадаю на заседание местных властей. Они после освобождения города, сидя в комнате с выбитыми стеклами, в шинелях, в полушубках, распределяют, кому о чем заботиться. Среди многого прочего заботиться о церкви поручают заведующему коммунальным отделом. Он крутит головой, ругается, отказывается. Председатель райисполкома усовещивает его:

— Целый час продержал в приемной епископа! Куда ж это годится?

— Так я же не со зла. Я просто не знаю, о чем с ним говорить.

— Он к тебе сегодня придет. Ты его прими и выясни его нужды.

Заведующий коммунальным отделом:

— Я же в религии ничего не понимаю. Кроме ругаться в бога мать. Я и в церкви-то сроду не был. Почему я?

— Эти теории оставь при себе,— говорит председатель.— Они дальше этих стен не пойдут. А нужды их выслушай и обеспечь. Наряду со всеми гражданами. Ясно? Если будет с твоей стороны не то отношение, смотри!

Еду из Минеральных Вод в Пятигорск. Подвожу по дороге какого-то оставшегося без машины военного прокурора. Он говорит, что после ухода немцев в известковой яме найдено много неразрытых трупов взрослых и детей, умерщвленных неизвестным способом. Есть сведения, что у немцев имелась какая-то газовая машина смерти. Спрашиваю, что это за машина. Говорит, что пока неизвестно, не захватили, может быть, только слухи. Говорит, что убитых немцами жителей очень много. Две с половиной тысячи убили в Армянском лесу, у сте-

кольного завода и еще многих у места дуэли Лермонтова за кирпичным заводом. Потом вдруг говорит:

— Работаю теперь, как в первые дни Советской власти. Все законы у меня сгорели и кодексы тоже. И весь трибунал у меня убили бомбой в машине.

Пятигорск. Стою в толпе, собравшейся на траурный митинг. Люди истощенные, оборванные. А митинг идет долго. В городе много расстрелянных и повешенных немцами, и то одних, то других снова перечисляют то в одной, то в другой речи. Под конец выступает девочка на вид лет тринадцати в солдатской шинели с обрезанными полами. Ее зовут Нина Пак. У нее немцы повесили отца и мать, и она рассказывает об этом, говоря о них как о живых: папа и мама.

Не знаю, может быть, все-таки не надо было давать говорить на митинге этому ребенку. Она рассказывает ровным тонким, хорошо слышным голосом, и слушать ее нестерпимо страшно. Толпа вокруг меня до этого стояла неподвижно, а сейчас шевелится и всхлипывает.

Едем в направлении Кропоткина. Следы отступления немцев. Бесснежная мерзлая степь. Ледяные колеи. Замерзшие лошади. Мертвые верблюды, дошедшие сюда из калмыцких степей. Мертвые мулы, завезенные из Греции немецкими горными егерями. Перевернутый немецкий автобус с прибитым к нему нашим новеньким указателем: «На Морозовскую 2 километра». Лошадь прямо на дороге в такой позе, словно она замерзла на бегу. Вывороченные телеграфные столбы. Белая собака с надетой на голову немецкой каской бежит и мотает головой. Кто-то так привязал эту каску, что собака никак от нее не избавится.

Солдат так бережно, словно детскую колясочку, везет перед собой миномет, что похож на усатую няньку. Впереди повозка, за ней пленные. Идут тихо и молча. Из окопа торчит мертвая нога.

— Хоть бы зарыли поглубже,— говорит водитель,— а то собаки бегают.

Солдат-казах сидит и неторопливо ест кашу из банки от немецкого противогаза, как из котелка.

У разрушенного моста работают солдаты железнодорожной бригады. Командир говорит, что начинали свой путь от Любашовки Одесской области. Потом через Первомайск и вот досюда, до Кавказа.

— Что ни вспомнишь, все рвали да рвали.— Сказав

это, добавляет как объяснение: — мы по роду своей работы должны уходить последними.

Рассказывает, как осенью во время отступления от Даркоха взрывать Даркохский мост остался лейтенант Холодов. Мост был заминирован, и он взорвал его, дождавшись, когда немецкие автоматчики добегут до середины моста.

— В последнюю секунду перед взрывом немецкие автоматчики застрелили его. Застрелили и сами взлетели на воздух. Холодов был засыпан, как в могиле, вздыбленной взрывом землей. Его нашли по торчащему штыку. Возвращаясь через полтора месяца, увидели торчащий из земли штык от винтовки и нашли внизу Холодова. Похоронили его в Беслане. Когда отступали, пути растаскивали «червяками», рвали стрелки, рвали столбы толом. Пассажирских помещений на станциях не портили. Сейчас восстанавливаем дорогу с помощью захваченных в Прохладной немецких материалов и приспособлений...

В халупу, где мы ночевали, принесли раненого летчика. Сразу набились люди. Летчик лежит без сознания. За ним приехали, чтобы везти в госпиталь. Старший из приехавших, капитан, тоже летчик, говорит набившимся в хату женщинам, жалеющим раненого:

— Мы люди войны, мы для этого учились и готовились.— Словно хочет им объяснить, что ничего такого особенного не произошло, что такое происходит у них каждый день...

До фронта мы с Халипом добрались за несколько дней перед освобождением Кропоткина. Пробыли эти дни в одной из наступавших дивизий, но, как освобождали Кропоткин, не видели, оказались в стороне от него.

Никаких записей в блокнотах об этих днях я так и не нашел: ни фамилий людей, ни номеров частей. Допускаю, что просто-напросто пропал один из моих кавказских блокнотов. Видимо, там, где мы были, ничего особенного не происходило, да и мы сами ни в какие переделки не попадали. Иначе бы что-то запомнилось, если уж говорить начистоту, то воспоминание о пережитой тобой лично опасности обычно застревает в памяти, даже когда забывается многое другое.

В один из этих дней мы вошли вместе с войсками

в лежавшую почти на границе со Ставрополем большую кубанскую станицу Гулькевичи. Помнится, первый раз заночевали там в день ее освобождения, а потом, уже во время боев под Краснодаром и за Краснодар, еще несколько раз приезжали и жили в этой станице. Когда войска пошли дальше, в ней разместились штабные учреждения Северо-Кавказского фронта, в том числе узел связи, поблизости от которого, как всегда, лепились корреспонденты. Отсюда уезжали на передовую, сюда возвращались, чтобы передать в Москву материал.

Квартировали мы, когда приезжали в Гулькевичи, на Школьной улице, в доме у Марии Ивановны Новиковой, пожилой женщины, у которой многие из ее близких были на фронте, и она относилась к нам, сравнительно еще молодым людям, истино по-матерински, с молчаливой самоотверженной заботливостью.

Я не раз за войну вспоминал эту прекрасную женщину. В одном из блокнотов остались строчки, которыми должно было начаться стихотворение:

Нет, я не забуду вас, Марья Ивановна,
Солдатская мать из деревни Гулькевичи...

Нахлынули другие события, стихотворение так и осталось недописанным, но спустя два года, зимой сорок пятого, когда уже далеко на чужой земле думали о близкой победе, я написал восемь строчек, в которых был отзвук той зимы сорок третьего, той женщины, той материнской заботы:

Не той, что из сказок, не той, что с пеленок,
Не той, что была по учебникам пройдена,
А той, что пылала в глазах воспаленных,
А той, что рыдала, запомнил я Родину.

И вижу ее накануне победы
Не каменной, бронзовой, славой увенчанной,
А очи проплакавшей, идя сквозь беды,
Все снесшей, все вынесшей русскою женщиной...

Когда я писал эти стихи, я вспоминал старую женщину из Гулькевичей. Ее имени нет в стихах, потому что адрес их оказался шире, но вспоминал я именно ее.

Бывая в Гулькевичах, я несколько раз по вечерам заходил в осиротевшие дома, из которых угнали на работу в Германию шестнадцати-, семнадцатилетних подростков, сыновей и дочерей. В последнее время оккупа-

ции, когда немецкий железный порядок начал давать трещины, некоторые возвращались, прыгали с поездов на ходу и, добравшись до дома, рассказывали, как все это было. Но большинство не вернулось, и никто не знал, когда они вернутся и вернутся ли.

После нескольких тяжелых ночных разговоров в разных домах станицы я послал в «Красную звезду» корреспонденцию «Гулькевичи — Берлин», которой в редакции дали другой заголовок — «Поезда рабов».

Во фронтовых блокнотах сохранились некоторые связанные с этой мрачной темой записи, сделанные чаще всего со слов свидетелей.

...Продолговатый лист бумаги; наверху черный германский орел, внизу подпись: «Главнокомандующий германскими войсками на Кавказе». Заголовок «Германия зовет тебя!» с черным большим восклицательным знаком. Текст: «Ты живешь в стране, где фабрики и заводы разрушены, а население пребывает в страшной нищете. Поехав на работу в Германию, ты сможешь изучить прекрасную страну немцев, познакомиться с просторными предприятиями, чистыми мастерскими и работой домашней хозяйки в ее уютном жилище. Отход первого транспорта последует в ближайщем времени, о нем будет своевременно объявлено. Будь готов к поездке. Возьми с собой ложку, нож, вилку...»

...Наша подпольная рукописная листовка. На одной стороне крупно «МОЛИТВА» и просьба: «Если ты верующий — перепиши». А на обратной стороне мелким почерком сталинградская сводка.

...При вербовке немцы говорили: «Если ваша молодежь будет у нас в Германии работать, будем больше посылать товаров в вашу разрушенную страну».

...Конторщик связался с немцами. Набрал ящики пасты, зубных щеток, перламутровых пуговиц. Когда немцы убегали, застегивал чемоданы — аж плясал на них, злился: застегнуть никак не мог, до истерики дошел.

...Инвалид Кузьма Осипович Пантелеев, бывший партизан гражданской войны, раненный на этой. Остался лежать, не мог уйти. Потом работал при немцах санитаром в больнице под чужой фамилией. Немцы его искали по станице, а им сказали, что он уже повешен в Кропоткине. Когда немцы перед уходом заминировали больницу, хотели взорвать, он перерубил провод топором.

...Женщина пришла пешком из Калмыкии, плакала, говорила: «Сталинград весь взяли, а наших бойцов — их и нету, одни пилотки по Волге плывут».

...Корова дает — не дает молока, пусть хоть телится, а девяносто два литра немцам подай, хоть детей не пои!

...Когда брата забрали — угонять в Германию, ничего не могли собрать ему в дорогу, ушел безо всего. Утром видала эшелон из девяти вагонов, у каждого три вооруженных немца. Брат выскочил на подножку, обнял меня, я расплакалась. Шепнул мне, что в Ростове убежит, но, значит, не убежал, пока нет его...

...Из Гулькевичей ушло на Берлин два поезда. Грузы, цистерны и прицепленные вагоны с угнанными. Один ушел пятого ноября, другой — пятого января.

...Немецкая агитация — чтобы ехали на работу в Германию; мотивы агитации у самих немцев и через полицаев: «На Кавказе русские уже не воюют, воюют англичане. Если придут сюда, угонят всех в Африку и в Индию. Не уедете в Германию добровольно, все равно потом будет всеобщая мобилизация. Уедете — вашим семьям будет хорошо».

...Если мобилизованный на работу в Германию не явится, на семью штраф пятьсот рублей, а его самого в Барлеевский лагерь.

...Я на них, на немцев, говорю — черти вы скаженные. А они кивают: я, я, я!

...На заборе нацарапано ребятами кирпичом по беленой стене еще при немцах, перед тем, как они стали уходить: «Что такое «вас ист дас»? Немцы драпают от нас».

...Немецкие марки ходили одна за десять рублей. Женщин, отказывавшихся их принимать, немцы вешали.

...Песня, которую стали петь в станице после первых угонов в Германию:

Здравствуй, мать,
Прими привет от дочки.
Пишет дочь тебе издалека.
Я живу, но жизнь моя разбита,
Одинока, нищенски горька.
Завезли меня в страну чужую
С одинокой бедной головой
И разбили жизнь мне молодую,
Разлучили, маменька, с тобой...

Дальнейшие дневниковые записи и многочисленные заметки в блокнотах связаны с освобождением Краснодара.

...Въежаем в Краснодар на рассвете. Мосты порваны. Долго крутимся меж железнодорожных путей. Брошенные вагоны с надписью: «Франция, Руан», «Франция, Лион», «Германия, Бреслау», «Германия, Штеттин». Халип беспрерывно снимает.

Добираемся до центра. На окраинах еще бьют орудия. Где-то за квартал, за два винтовочные выстрелы и очереди. Город изуродован бомбежками старыми и новыми, обстрелом, взрывами и пожарами. Но улицы все равно полны встречающих армию людей. Последнюю неделю под непрекращающуюся канонаду краснодарцы спали не раздеваясь, каждую ночь ждали нас.

В руках у людей несколько флагов — красных, сохраненных под страхом смерти.

На нескольких углах подряд у фонарных столбов только что снятые повешенные. Возле трупов на снегу дощечки, висевшие у них на груди, а сейчас сорванные. У одного, на углу улицы Ворошилова и улицы Шаумяна: «За распространение ложных слухов». У другого, мальчишки лет шестнадцати: «Я воровал имущество германской армии». У третьего, пожилого человека, на углу Красной улицы, у сквера: «За агитацию против германской армии».

Какая-то женщина говорит про мертвеца, что это ее знакомый, врач.

Еще один труп, женщины. На сорванной дощечке написано: «Я отравила двух солдат германской армии и двух своих детей». Гляжу на эту дощечку и думаю, что, может быть, так все оно и было, как написано. За надписью на дощечке трагедия, о которой теперь уже никто не расскажет.

Проволока на улице вокруг дома, где был немецкий штаб. Все кругом было огорожено колючкой, людей не подпускали. Говорят, что немцы начали жечь Краснодар еще две недели назад. Значит, в тот день, когда мы взяли Кропоткин.

Подальше, на той же Красной улице, около здания банка шесть трупов немецких солдат. Кругом на снегу много крови. Столпившиеся жители говорят, что этих немцев, почему-то не успевших отступить со своей частью из центра, убили не наши солдаты — их здесь тогда

еще не было,— а вооружившиеся винтовками краснодарские мальчишки. Похоже на правду. Вижу, как вдали по улице идет мальчишка, волоча за штык винтовку.

Выезжаем на одну из боковых уцелевших улиц и в конце ее слышим выстрелы. Едем туда. Из ворот навстречу нам бросается женщина в одном платье, хватает меня за рукав.

— Идемте! Там у нас во дворе немцы ранили командира.

Она тычет пальцем в грудь около сердца, показывая, куда ранили.

Во дворе лежит мертвый немец. Второй, тоже мертвый, свешивается головой и руками из разбитого окна верхнего этажа.

— Он убил,— показывает женщина на свешивающегося мертвого немца.— А еще один побежал дворами. За ним бойцы побежали.

Она просит, чтобы мы дали свою машину — ее сынишка доедет на ней за врачом, тут до больницы недалеко. Мальчишка уезжает на машине, а мы заходим в комнату. Раненый офицер лежит поперек на постели, на залитых кровью кружевных подушках, без сознания. Гимнастерка разорвана. На перевязанной полотенцами груди багровое пятно. Кругом толпятся женщины. Сначала молчат, потом, привыкнув, что раненый без сознания и разговор ему не может помешать, начинают наперебой говорить нам о разных краснодарских ужасах, событиях и вообще о жизни при немцах.

Рассказывают, что вчера в бывшем родильном доме немцы живьем сожгли всех раненых военнопленных, которые там лежали, и, пока дом горел, патрули никого туда не подпускали. Но женщины все-таки разломали сзади забор и вытащили нескольких обгоревших раненых, спасли их. А когда стали вытаскивать еще, немцы их заметили и двух женщин застрелили.

Когда немцы входили в город, они раздавали на улицах детям шоколадки и снимали это для кино. И в январе, когда совсем не стало чем топить, согнали жителей, приказали им разобрать несколько деревянных домов и заборов и потом раздавали эти доски как дровяной паек населению. И тоже снимали это для кино.

Одна из женщин начинает рассказывать про какую-то Марью Ивановну, костюмершу из оставшегося тут при немцах ленинградского театра Радлова. Говорит про нее,

что эта Марья Ивановна имела связь с подпольем, но потом ее выдал один из актеров, и ее взяли в гестапо и позавчера расстреляли у кирпичного завода. Но ей только прострелили шею, и она выбралась из-под земли. Ее перевязали и спрятали, и можно ее увидеть.

Приезжает на нашей машине старик врач, начинает возиться с раненым. У него у самого вид полуживого человека и руки трясутся, что страшно смотреть.

Выходим во двор. Женщины идут за нами и продолжают рассказывать наперебой. Каждой хочется выговориться.

Хлеб не выдавали совершенно. Только работающие получали по двести граммов в день. Радио немцы срезали. Почта не работала. Последнее время жгли подряд все, что не успели вывезти. Обмундирование, сапоги, седла, кожу, белье, склады. А городской сад давным-давно, еще в самом начале, вырубили.

Говорят про немцев — жестянщики. Я сначала не понимаю, почему жестянщики. Объясняют: потому что немцы отправляли отсюда на родину масло и очень ловко насобачились запаивать его в жестяные банки.

Рассказывают со злобой про какого-то бывшего капитана Никитина из военторга, который, не то попав в плен, не то сам перейдя к немцам, стал у них хозяином ресторана «Европа».

Кто-то из женщин начинает хвалить стоявших в городе словаков, рассказывает, как словак, увидев у нее в квартире патефон, попросил: «Поставь, пожалуйста, «Если завтра война» и «Широка страна моя родная».

Другая тоже начинает рассказывать про словаков, как они ночью шли, подвыпив, по Красной улице и пели «В бой за Родину, в бой за Сталина» и «Если завтра война».

А еще одна женщина вдруг, наверно, с чьих-то чужих слов рассказывает про какую-то краснодарскую хозяйку, которая из угодливости или из страха повесила у себя в комнате портрет Гитлера, а один из квартировавших у нее немцев сорвал со стены этот портрет, а потом налил рому другим немцам и заодно и хозяевам и сказал: «Пейте за что хотите, только не за Гитлера». Говорит, что все это было недавно, когда они уже жгли город, собираясь уходить.

С трудом могу представить себе, что все это правда,

но, с другой стороны: зачем ей рассказывать мне об этом неправду?

Еще раз проезжаем по Красной мимо убитых немцев. Вокруг по-прежнему толпа, приходится притормозить. Какой-то старик ругает толпящихся женщин:

— Чего вы на них дивитесь? Что, они вам за шесть месяцев не надоели?

Старик, когда мы притормозили, подходит к нам и угощает папиросами. Коробка от «Казбека», а в ней сложены самые разные папиросы по одной, по две штуки: и «гвоздики», и «Пушка», и «Люкс». Наверно, сохранял эти папиросы специально, чтобы угостить наших, когда войдут в город.

Заходим в комендатуру. Первые часы ее работы. Пришел механик, просит разрешения заняться восстановлением разрушенного водопровода. Ему разрешают, жмут руку.

Явился летчик, выбросившийся под Краснодаром из сгоревшего самолета, рекомендуется майором Боярским. Объясняет, что его спрятали здесь жители и он работал в подполье.

Входит несколько словаков вместе с нашими солдатами и с местными жителями — хозяевами тех квартир, где они прятались от немцев. Жители удостоверяют, что словаки действительно прятались у них от немцев, что немцы расстреливали тех, кто прятался, собираясь сдаться русским. Говорят, что сами словаки просили поскорей привести кого-нибудь из русских солдат на квартиру, чтобы там сдаться им в плен.

Задерживаюсь в комендатуре, чтобы поговорить со словаками.

Бартоломей Семендюк — надпоручик 20-го полка, 1915 года рождения, край Прешов, словак. Кончил Сорбоннский университет по отделению философии и литературы. Пока учился, жил переводами. В 37-м году вернулся на родину. Его взяли на службу. Поступил в школу резервистов.

Спрашиваю: «Как же вы отнеслись к немцам?»

Отвечает: «Я же воспитан во Франции! В сорок первом году меня посадили в тюрьму за то, что я несколько раз говорил солдатам: «Осторожно, ребята, как бы вам первыми не протопать по Москве с поднятыми руками». Просидел за это шесть месяцев. До этого был адъютантом у полковника Маркуша. После тюрьмы меня вызвали

в министерство, чтобы я добровольно пошел на фронт. Но я отказался. Тогда в августе сорок второго года меня взяли насильно, и в сентябре я поехал на фронт. Наш премьер-министр Тука не больно здоровый на голову, как говорят у нас в народе. Я хотел перейти к вам еще в Горячем Ключе, но это не вышло, потому что, оказывается, был приказ за мной глядеть, чтобы меня сопровождали всегда два солдата. Еще в Польше, когда мы там были, я видел, как эсэс взял за ногу двухлетнего ребенка и прострелил ему голову. Когда нас отвели с фронта в Краснодар, мы, пока сгружались вещи с подвод, вместе с моим денщиком Михаем Мильнаром пошли на Пашковскую улицу, шестьдесят семь, где у меня были знакомые. Пришли туда десять дней назад, и они все десять дней укрывали нас от немцев. А сегодня утром Александр Иванович мне сказал, что на дворе есть один красный солдат. Я ему сдал оружие, и он нас с денщиком привел сюда!»

Он вытаскивает из кармана бумажку, которая оказывается сложенной вчетверо нашей листовкой-пропуском для перехода на нашу сторону.

Среди словаков в комендатуре оказывается и один румын — сержант Ион Ионеску. Этот снял форму два дня назад и прятался на квартире у какой-то хозяйки. Одет невообразимо. Поверх всего драное женское пальто, которое ему одолжила хозяйка, чтобы не замерз, когда пойдет по городу.

После словака и румына разговариваю с пришедшим в комендатуру, тоже с нашей листовкой-пропуском в кармане, легионером из так называемого Туркестанского легиона. Он из Ферганы, кончил семилетку, оттуда попал в армию, оказался в окружении и в плену. Потом попал в этот Туркестанский легион, который немцы формировали в двенадцати километрах от Радома. Учились там три месяца. Форма была чешская, а каскетки похожи на японские. Во время обучения оружие было русское. На рукавах в легионе были повязки: полумесяц и звездочка.

Легионер — человек грамотный, неплохо говорит по-русски. Рассказывает, что в Берлине есть некий Вали Каюм-хан, он называет себя «туркестанский президент». По призыву этого «туркестанского президента» и был сформирован легион. Говорит, что командир одной из его рот ездил представителем от легиона в Берлин. Там

перед представителями разных легионов якобы выступал Гитлер. Вали Каюм-хан посетил легион около Варшавы. Ему года тридцать два, он был у них в легионе в гражданском платье.

Когда закончилось обучение, легион послали на фронт, ехали на Таганрог, потом на Белореченскую. В их легионе было 850 человек. Командовал капитан немец. Вторую роту для пробы послали на передовую линию. Четверых отправили в разведку, и все они перешли к русским. Тогда у остальных рот отобрали оружие и отправили их на разные работы, главным образом ездовыми на подводах...

Рассказывает все это мне вроде бы искренне, но в начале и в конце разговора оба раза отдает мне честь на немецкий манер. Видимо, здорово въелось...

Тридцать лет спустя я столкнулся с именем Вали Каюм-хана, «туркестанского президента», читая вышедшую в Алма-Ате документальную книгу Серика Шакибаева «Падение «Большого Туркестана».

Оказывается, тогда в Краснодаре бывший легионер в разговоре со мной был довольно точен. Вали Каюм-хан — хотя ему и было на несколько лет больше, чем показалось при встрече легионеру,— действительно существовал. В 1922 году, посланный учиться из Советского Союза в Германию, он остался там, принял немецкое подданство, в тридцатые годы стал платным агентом гестапо, а затем в годы войны и «президентом» «Туркестанского национального комитета», созданного заботами рейхсминистра по делам восточных территорий — Альфреда Розенберга.

После войны Вали Каюм-хан оказался в американской зоне и успел скрыться. Сделал то, чего не успел Власов...

Вернусь к своим краснодарским записям.

...После разговора с легионером снова сталкиваюсь еще раз с тем же словацким надпоручиком. На этот раз он говорит уже не о себе, а о взаимоотношениях между немцами и словаками, о все обострявшихся столкновениях с немцами, о том, как их словацкий генерал пытался перейти на нашу сторону и послал к нам для

переговоров офицера, и этот офицер благополучно сходил к нам и вернулся, уже было договорено, где и когда именно перейдет их дивизия на нашу сторону. Но кто-то выдал, немцы переместили их дивизию на другой участок фронта за день до того вечера, когда она должна была перейти на нашу сторону.

Из комендатуры еду в типографию. Я знаю, что в ней немцы печатали газету «Кубань» на русском языке, и надеюсь найти там комплект этой газеты. Предположение частично оправдывается. Хотя немцы и подожгли перед уходом типографию, но впопыхах недожгли. Комплекта «Кубани» не нахожу, но несколько номеров разыскиваю и сую в свою полевую сумку.

Нахожу в типографии не только «Кубань» — орган бургомистра города Краснодара, но еще и какую-то «Возрожденную Кубань» — орган управления усть-лабинского районного атамана и «Майкопскую жизнь» — издание городской управы. Трудно понять: не то они все печатались здесь, не то отсюда, из Краснодара, редактировались...

Снова прерву свои записи о тех днях, чтобы привести несколько цитат. Вот они, засунутые тогда в Краснодаре в полевую сумку, лежат сейчас передо мною на столе, эти газеты, издававшиеся немцами под редакцией их русских прихвостней — какого-то Виктора Норделя, С. Н. Лепарского и Н. В. Полибина. Заголовки то покрупней, то помельче: «Население города должно добровольно сдать...», «Германия зовет тебя...», «Регистрируйся немедленно...», «Предлагается вступить добровольно...»

В октябре тон возвышенный, торжествующий. В одной из передовых — жизнеописание Адольфа Гитлера. В другой — призыв к крестьянам как можно лучше проводить осенний сев пшеницы, «твердо помня, что это один из наших главных вкладов в дело быстрейшей победы германской армии, проливающей кровь за наше освобождение».

В третьей передовой под заглавием «Творчество свободно», посвященной литературе, сказано так: «Уже сейчас в Краснодаре без всяких ограничений по инициативе представителей германского командования можно писать все и свободно печатать. Нет ограничений для творчества. Творчество свободно! Слава Германии!»

Еще одна передовая: «Наше дело — создание свободной Европы». И в ней: «В настоящее время вся сознательная Европа борется против засилья большевиков, англичан и американцев».

Статья «Сталин во власти англо-американских держав».

Сводка: «Бои за Сталинград вступают в последнюю фазу. Из московских отчетов видно, что падение города близко».

Вторая сводка: «В западной части Кавказа германские войска сломили сопротивление врага».

Третья сводка: «Уничтожено 990 советских самолетов».

И так далее, и тому подобное.

В номере «Возрожденной Кубани» за 1 января, кстати напечатанном на обороте бланков накладных на почтовые посылки, сводки звучат уже несколько туманнее: «На участке Терека враг повторил свои тщетные атаки. Между Волгой и Доном немецкие бронедивизии в совместном действии с румынскими частями в атаке против упорно обороняющегося противника взяли важный отрезок реки». И хотя дела явно идут все хуже, в передовой статье «С новым годом» все-таки написано: «Совсем не нужно быть гениальным провидцем, чтобы не отдавать себе ясного отчета, что именно наступающий 1943 год будет годом потрясающего и позорного разгрома большевизма».

В последнем номере, вышедшем 28 января, за четырнадцать дней до падения Краснодара, передовых уже нет. Зато есть статьи: «Музыкальная жизнь современной Германии», «Молодое поколение германских рабочих», «Как живут немецкие крестьяне». В хронике сообщение о том, что «вновь организованная в Краснодаре фабрика «Перламутр» выпустила 200 штук железных бачков, освоила выработку конторских скрепок и организует цех массового изготовления зажигалок».

В сводке сказано: «Несмотря на неблагоприятные метеорологические условия, в районе Восточного Кавказа наша тяжелая артиллерия обеспечила отвод наших войск на новые позиции вопреки продолжительному натиску врага».

И, как ни странно, перелистывая сейчас одну за другой страницы этих выходивших под покровительством немецкого командования рабских листков, натыкаешься кое-

где на лирические стишки о природе и даже о любви за подписью какого-то Н. Леля. Стишки, правда, совсем уж дрянные, да и подпись — Лель — не иначе как псевдоним.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

...Ночью, передав в Москву корреспонденцию о взятии Краснодара, получил по военному проводу встречную телеграмму — перебраться на Южный фронт. Видимо, в редакции хотят, чтобы я поспел к освобождению Ростова.

Днем добывал «виллис». Свою «эмку» мы с Халипом окончательно доломали и уже в Краснодар добирались без нее, на чужой машине. В конце концов с телеграммой «Красной звезды» в руках пробился к большому начальству и получил «виллис».

После некоторой волынки, устроенной не хотевшим ехать водителем, у которого, как постепенно выяснялось, не было то того, то этого, необходимого для длинной дороги, все-таки под моим нажимом рано утром выезжаем. Водитель машины, взятый напрокат, да еще у начальства, да еще с перспективой длиннейшей и грязнейшей дороги и затем возвращения обратно по ней же, одному, с самого начала невзлюбил меня от всей души.

Ехали через стык двух фронтов ненаезженной, непроторенной дорогой. За два дня пути почти никого не встречали, как это часто бывает на таких стыках. Водитель боялся случайностей. И я тоже.

Чтобы переломить себя, в дороге стал сочинять «Корреспондентскую песню» и просочинял ее всю дорогу — почти двое суток. «Виллис» был открытый, было холодно и сыро. Лихорадило. Сидя рядом с водителем, я закутался в бурку, и вытаскивать из-под бурки руки не хотелось, поэтому песню сочинял на память. Написав в уме строфу, начинал ее твердить вслух, пока не запомню. Потом начинал сочинять следующую и, сочинив, чтобы не забыть предыдущую, повторял несколько раз подряд вслух обе. И так до конца песни. И чем дальше сочинял ее, тем длинней был текст, который я каждый раз повторял.

Так мы ехали то по мерзлой, то по раскисшей грязи. Под Батайском, в глубокой колее у нас сорвало колесо

вместе с ободом, и мы несколько часов сидели в грязи, пока нас вытаскивали и пока чинились. В конце концов добрались до Батайска, где стоял штаб Южного фронта и находился фронтовой корреспондентский пункт «Красной звезды».

Ростов освободили, еще когда мы только выезжали из Краснодара. Торопиться в этот вечер было уже некуда, и мы с Халипом остались у товарищей корреспондентов, возглавляемых Васей Коротеевым. Они согрели нас с дороги водкой и выставили толстую яичницу с салом.

Водитель, как только мы приехали, попросил сразу же разрешения отлучиться, а вскоре после этого в хате нашего корреспондентского пункта появился военврач из санитарной части штаба. Как потом под общий смех выяснилось, мой хмурый водитель, всю дорогу не проронивший ни слова и мрачно наблюдавший процесс рождения новой песни, явился в санчасть с сообщением, что с ним с Северо-Кавказского фронта ехал сюда ненормальный подполковник, который всю дорогу громко разговаривал сам с собою.

Мы посмеялись над этим и спели на мотив «Мурки» (музыки Блантера тогда еще не было) сочиненную мной корреспондентскую песню:

От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы не скитались мы в пыли...

Двадцать лет спустя, когда я в одной радиопередаче полусерьезно-полушутя рассказал об этой забавной истории, я получил письмо из Ялты от доктора Николая Алексеевича Леща, которое начиналось так: «Слышал я Ваш рассказ о том, как Вы ехали в штаб Южного фронта и как шофер, наблюдавший процесс рождения новой песни, принял это за признак некоторой психической несостоятельности. Дело в том, что я и есть тот самый врач, который приезжал к Вам из санитарной части...»

Что Н. А. Лещ и был «тот самый врач», я, конечно, помнил и сам, но он, как человек пунктуальный, решил это все-таки подтвердить.

Возвращаюсь к дневниковым записям.

...Ростов. Мрачный, выжженный, малолюдный. Более или менее уцелела только окраинная часть города, На-

хичевань, с маленькими одноэтажными домиками. Все центральные улицы разорены, обледенели, холодны, черны.

По улице идет немолодой изможденный человек, тянет за веревку салазки. На салазках гроб, сбитый из двух фанерных ящиков. На ящиках написаны знакомые слова: «Папиросы «Дукат». Ростов-на-Дону».

Не знаю, как будет, но сейчас мне кажется, что, вспоминая потом об этих отчаянных днях войны, отчаянных не с точки зрения военного положения — мы уже почти повсюду наступаем,— а с точки зрения того, в каком состоянии находятся страна и люди, я всегда буду вспоминать эту ледяную ростовскую улицу, этого человека и этот гроб из двух папиросных ящиков.

В последние дни чувствуется, что после взятия Ростова и выхода к реке Миус мы уткнулись здесь в прочную, заранее подготовленную немцами оборону.

С утра сижу вместе с командиром казачьего полка Дудниковым у него в эскадроне на наблюдательном пункте. Во всем полку, как он считает, осталось на сегодня сорок активных штыков. Он по привычке называет их саблями, хотя его казаки уже давно воюют в спешенном строю.

Сидим с ним на окраине деревни, в лощинке среди жидких оголенных садиков и нескольких полуразрушенных хаток. Впереди возвышенность, которую ночью предстоит взять и окопаться на ее обратных склонах. Сейчас на этой возвышенности и правее ее маневрируют и стреляют друг в друга болванками немецкие и наши танки. Танковые пушки бьют с коротким и сильным, каким-то пробочным звуком. Наши танки маневрируют, если можно так выразиться, спиной к нам, а немецкие — лицом.

Немецкие болванки, пролетая над нашими танками, хлопаются в землю то сзади нас, то в нашей лощинке. Танки то скрываются за складками местности, то вновь появляются. Загорается один немецкий танк, потом один наш, потом один немецкий, потом еще один наш. Потом танки снова маневрируют и постепенно расползаются в стороны.

У соседней хаты в воротах стоит полковая пушка. У ворот распахнуты обе створки, и пушка бьет прямо из ворот по горе. Наблюдатель со стереотрубой сидит на три двора вперед на деревянном колодце. Пристроил

трубу на колодезном вороте, а ноги свесил внутрь колодца...

Темнеет. Сверху звонят, что задача остается прежней: высоту ночью надо взять. Усталый командир полка с трудом вытаскивает из глубокого снега валенки, топает обратно по лощине к себе в штаб полка. Идет готовить атаку своих сорока активных штыков...

...Пока готовится предстоящее наступление, сидим в хате, в штабе полка, с приехавшим сюда полковым комиссаром из политотдела армии. Сначала он хмурится, не хочет вдаваться со мной в разговоры, а потом вдруг сам начинает вспоминать разные подробности последних месяцев боев.

«Все время мороз и ветер. Обогревались в степи в стогах сена. А в Калмыкии не было и этого. Шли по пояс в снегу. Волчий холод. Все тылы отставали, только и ели, что на ходу жевали сухари. Шли через реки Цимлу, Куберле, Сал, Маныч. Танкисты при переправах наращивали лед, чтобы прошли танки. Солома, бревна, лед, и снова в том же порядке. Танкисты по нескольку суток не вылезали из танков. Горючее не успевали подвозить. И пехота топала бесконечные версты. Идешь и видишь — собака бежит и тащит по степи человеческую кость. И такая усталость, что даже лень выстрелить по ней. Там, где немцы зацеплялись, основные удачные атаки были, как правило, ночью. У наших в этом смысле крепче нервы. Вечером перекусят — и в атаку. Раньше «немцы не любят воевать ночью» было только фразой. Говорить ее говорили, а сами тоже не больно-то воевали ночью. А в эту зиму стали. Вообще стали умней воевать. Оказалось, что немцы еще более чувствительны к обходам, чем мы. Там, где наталкивались на сильное сопротивление, не упрямились, шли им в тыл, в обход.

Жаль, жаль Еременко, что не докомандовал фронтом до Ростова, увезли в госпиталь. Очень не хотел этого. Последнее время командовал фронтом, лежа на койке с открывшимися ранами, превозмогая себя.

А наши механизированные корпуса, можно смело сказать, давили немцев так, как они когда-то давили нас...»

Полковые пушки бьют из соседних дворов. Вздрагивает пламя коптилки. Звонят по телефону, что немецкой болванкой убило наводчика. Через несколько минут в заиндевелом башлыке входит командир батареи.

Выясняется, что убит старый наводчик по фамилии

Дашевец. Все вспоминают его: такой старик с усами... Жалеют, что погиб, и посылают линейку привезти тело.

— Так, бедный, и не успел свою награду получить,— говорит про него Дудников и вспоминает другого старика — Белоусова, тоже наводчика. Три раза раненный, он все же остался в строю, и только вчера четвертое ранение — в ногу — заставило его выйти из боя.— Ты мне должен хлеб по хатам выпечь! — отрываясь от других дел, говорит Дудников своему пому по хозяйственной части.— У нас дрожжей нет, а пресные пышки невыгодные — припеку не дают. И еще. На чем хочешь, а теперь же подвези сюда снарядов, хотя бы полсотни.

Захожу в соседнюю хату. В нее стаскивают раненых, стелют все что попадется и кладут на пол рядом. Дочка хозяев — девочка лет двух с половиной — смотрит на раненых взрослыми страдающими глазами. Еще один, раненный в голову, его устроили на хозяйской постели. Но он не лег, а как-то на корточках забился в самый угол и так и застыл там...

Ночь. Новая атака на ту же самую высоту.

Напутствие: «Ни пуха ни пера! И перо и пух будут на горе!»

Сидим на новом, перенесенном еще ближе к высоте наблюдательном пункте в разрушенном промерзшем рабочем бараке.

Полковник в телефон:

— Ты мне не жми, а захвати!

Холодно, он охрип. Высоту и в эту ночь взять не удается...

Все эти записи относятся к пребыванию в Донском казачьем корпусе генерала Селиванова.

Прежде чем попасть туда, я побывал у танкистов и в пехоте — в 33-й гвардейской дивизии Утвенко, которая воевала теперь здесь, на Южном фронте.

Так же, как и их соседи справа и слева, казаки уперлись в эти дни в немецкую оборонительную линию на Миусе, которую нам удалось прорвать только спустя полгода, в августе. Но тогда, в конце февраля, примириться с тем, что мы здесь остановлены, и надолго, никому не хотелось. То здесь, то там продолжались безуспешные попытки продвинуться еще хоть на немножко вперед. Но для успеха не было ни сил, ни средств. За-

писанная мною тогда цифра — сорок активных штыков на полк — достаточно красноречива.

Об одном из наших удачных танковых рейдов я сразу же сделал корреспонденцию и отправил ее в Москву. А о тех боях местного значения, о характере и масштабах которых дает представление мой дневник, писать не приходилось, редакция в этом не нуждалась.

Думая о том, что же все-таки сделать для газеты, я стал день за днем записывать рассказы казаков о пережитом ими за осень и зиму — сначала об отступлении через донские и кубанские степи до кавказских перевалов, а потом о нашем зимнем наступлении от Моздока до Миуса.

Я впервые за войну оказался в кавалерийских частях, да еще в казачьих, которые в значительной мере и формировались и пополнялись за счет добровольцев, случалось, далеко перешагнувших за призывной возраст.

Хочу привести сохранившуюся у меня в блокноте запись рассказа одного из таких людей — Парамона Самсоновича Куркина, старшего лейтенанта, коменданта штаба полка, участника мировой и гражданской войн, дважды краснознаменца, шестидесятичетырехлетнего казака, уроженца станицы Нижне-Чирской хутора Логовского:

«...Первый мой сын, Михаил,— комиссар батареи. Второй, Тарас, кончил Смоленское артучилище, двадцать третьего июня написал: «Жив-здоров, воюем». И все. Третий сын после десятилетки пошел в Сталинградскую школу летчиков. Где они трое и где жена, не знаю. Должна была, по моему мнению, уйти от немца.

Я с первого дня войны просился в кавалерийскую часть. Не взяли. А мне в голову вошло — как это меня спросят: был на войне? Как отвечу — нет, не был? А тут как раз из Тулы старые товарищи Сухов и Харченко прислали письмо: мол, не утерпишь ты, как и мы, мы тебя знаем, а мы уже воюем!

Поехал в Сталинград в военкомат. Говорят: куда же тебе на войну, какой из тебя солдат? Старый ты уже человек, 79-го года рождения. А я им говорю: а знаете, с кем я ровесник? С кем, говорят. А со Сталиным. Так ежели мы с ним ровесники, а он главнокомандует, то неужто я казаковать не могу? Вот таким образом

я их убеждал тогда. Но они мне опять отказали. Потом под праздник заехал лейтенант, говорит, за пополнением в Одиннадцатую казачью дивизию. Тут я созвал красных партизан, и дело загремело. Тридцать человек собралось. Колхозы дали денег, собрали коней — тридцать верховых, шесть упряжных, поделали седла, справили обмундирование, и восьмого марта сорок второго года мы выехали.

Конь этот у меня третий за войну. Одного коня под Кущевской убили, другого переменил — не люблю мелкую лошадь. По ущельям лазили, листьюшками кормили коней целый месяц. А в бурунах под Моздоком, как говорится, пожили с живым миром. Окоп выроешь — степных крыс полно, бегают, проклятые! Хлебнули горя! Хотя на горе нельзя ссылаться, потому что война. И в лесах с кормом было плохо. Орешник рубили; он в два обхвата, а зелень только на верхушке. Переживали бедные лошадки.

В гражданскую нас воевало три брата. И десять племянников на войне. Целый почти взвод. И зять на войне. Жену мою первую тогда белые убили, а дочь четырнадцати лет сошла с ума и умерла, пока я под Царицыном был.

Лишили меня белые казачьего звания и земли. Свояка, который дочку спрятал в подвале, стравили.

Я на действительной в царской армии сапожником был, меня белые за это Парамошкой-сапожником звали.

А в гражданскую у меня отряд был сто сорок человек с нашего хутора Логовского. Я уже тогда с бородой был. Мне все не верили сперва из-за этой бороды, что я красный казак.

Ох и злые мы сейчас, в эту войну, на этих немецких казаков, которые у них со значками, что добровольцы. Загнал бы их всех в Крутую балку и пожег.

Тяжело было в прошлом году говорить «до свидания» Дону, переживать отступление. Тяжело было, когда шли через станицы и на наших глазах стоят казачки и плачут, и кормят нас. Тяжело. Тяжелее, чем когда в голом поле за тобой танки гонятся.

Первый бой был под балкой Сухаревой, потом под Степной, под Кущевской, под Белореченской, под Линейной. Из Линейной вошли в ущелье, пошли к Туапсе. Под Кущевской потеряли много коней, а в ущельях на высоте 101,0 потеряли дюже много людей. Погибли

начальник штаба Бучнев, Портянский, Мытарев. Не можем мы забыть таких командиров, каких потеряли на высоте 101,0. Погиб первый командир полка майор Кузнецов. Под Буденновской нас окружили танками. Понесли тяжелые потери, половина пушек была раздавлена танками. Ерохин погиб на высоте 101,0. Шестьдесят семь лет ему было, самый старый из нас, старше меня. Ему послабление хотели сделать, а он в разведку пошел. Выскочил впереди всех на голое место, увидел немцев, сел на камень задом к немцам, лицом к нашим — задохся малость — и кричит: «Ну чего вы, тудыт вашу мать! Скорей!» Тут его и убило. И Куклина, наш санинструктор, погибла, перевязывая раненых на поле боя.

Казак Урюпинской станицы генерал Горшков, когда танки окружили наш командный пункт, поспешно надел полную генеральскую форму, чтобы если помирать, так в мундире. А потом, когда отбились, кончилась эта процедура, говорит мне: «Крой отсюда». А я говорю: «Что же, моя жизнь дороже вашей?»

А когда я пополнение привел, Горшков испытывал меня, как я на коня сяду. А я раньше молодого сяду, сто километров не слезу, лишь бы конь был!

Жалко, не знаю, где сейчас моя подруга — жена! Есть старая пословица: «Какой на войне, такой и на гумне». Я когда в первый бой шел, смотрю: десять, пятнадцать, двадцать бегут. Спрашиваю: «Вы куда бежите? Что это у вас за автоматы? Ну-ка покажи,— говорю я одному,— дай я посмотрю.— Взял.— Ну а теперь,— говорю,— не будет тебе автомата, с автоматом не бегают».

Натура у меня жестокая.

Наступать было тоже тяжело. Зима, ничего же нет! Присядешь на камешек, на саман, задремлешь, а он подтает под тобой, проснешься.

От Моздока сюда скрозь шли с боями. Однажды на марше нам в двух километрах перерезали дорогу танки. Я попросил, что я сам выясню, что за танки. Если не наши, лучше я один погибну. Оказалось — наши!

Переход за переходом едем. Холодно. Ведешь коня в поводу. Зайдешь в деревню — деревня сожжена. В снег лечь — это не хитро. Хитро со снега встать.

Комендантом штаба меня второй месяц как назначили.

Я во время опасности боя никогда не могу заснуть.

Меня уж за это ругали. Ну а я не могу заснуть, так как чувствую себя, как старый солдат, общим охранником. У меня третья война идет. Я сопоставляю боевую обстановку и переживания всех тяжестей. Подходишь, спрашиваешь: почему конь грязный, седло не починено, сапоги, оружие грязное? Ну, ребята подтягиваются! Ночью хожу проверяю, как себя держат на посту, чтоб не спали!

Я сильно люблю и жалею коня. За коня убить могу. Я всегда, может, кому и не понравится, а даже ночью пойду проверю, как у него конь содержится. Если я пройду по полку и вижу — есть время, а конь нерасседланный, я так этого не оставлю. Это мой долг как старейшего человека на войне.

Какие наши недостатки? Недостатки наши известные и простые. Ходили чересчур часто в лоб, без достаточной осторожности. Это под высотой 101,0, и в Песках тоже. Вступали в бой, не обеспечив себя достаточно снарядами.

И еще. Почему после ранения казаки не возвращаются в свои части? Теряется наша увязка, наша дружба, наша братская любовь, когда я знаю командира и он меня.

Помню, идем через перевал, встречаем на перевале вернувшегося после ранения любимого лейтенанта своего, Зайцева, казака. А он везет на ишаках груз — обозом командует — и сам плачет. И не уйти сил нет, и уйти с обоза самовольно — за дезертира будешь. Он в обозе, а нам вместо этого, бывало, присылали таких, что и конского хвоста не видели. А ведь когда возвращается кто обратно — после ранения в свою часть, какой восторг и у него, что еще повоюет, рану отквитает, и у всех, кто его снова увидит! А то у нас так: то одного, то другого встретишь на дороге. Один в пехоту попал, другой в обоз. А нужно людям маршрут давать — из госпиталя в свою часть. Ну вот оторви ты меня от коня, я в пехоте и кушать не буду...»

Перечитываю сейчас это и вспоминаю, сколько же раз за войну мне приходилось слышать горькие сетования на то, что раненые после госпиталей не попадают обратно в свои части! В гвардейские еще с грехом пополам, а в остальные только если уж как-то особенно повезет!

При огромных наших пространствах и огромных расстояниях от тыловых госпиталей до разных участков фронта решить эту проблему было неимоверно трудно. Этого забывать не приходится. Но невозможно забыть и того, с какой душевной болью думали и говорили фронтовики о невозможности после ранения вернуться в свою часть.

Передо мной лежит вышедшая во время войны, третья по счету книжка моих военных корреспонденций: «От Черного до Баренцева моря». На обложке ее верхом на большом черном коне, в полушубке, в папахе, с автоматом на груди сидит кряжистый, широкоплечий, бородатый казак, это и есть Парамон Самсонович Куркин, такой, каким его сняли тогда на Миусе.

Командир 11-й гвардейской кавалерийской дивизии генерал Горшков — о котором Куркин в своем рассказе не забыл упомянуть, что он казак Урюпинской станицы,— с первых дней войны командовал стрелковой дивизией, а в 1942 году формировал эту Донскую казачью.

Мне трудно заново писать сейчас о Сергее Ильиче Горшкове, потому что почти все, что я узнал о нем тогда, весной сорок третьего, тогда же и легло, с самыми малыми отклонениями от истины, в мой полурассказ-полуочерк «Сын Аксиньи Ивановны». Остались в рассказе и станица Урюпинская, и имя сына, и имя-отчество матери, только фамилия была заменена: Горшков — на Вершков, и генеральское звание снижено до полковничьего...

Но одну страничку своих тогдашних первоначальных записей все же приведу в надежде, что сквозь них проглянут черточки характера этого милого моему сердцу военного человека.

«...На перевале, когда отступали к Приморью, четверо суток ничего не ели абсолютно. Подойдет то один, то другой старый казак, спросит:

— Вы, наверное, кушать хотите, товарищ генерал?

— А что у тебя есть?

— А сухари.

— Брешешь.

— А вот.

Вытаскивает из переметных сум замусоленный кусок сухаря.

— Да ты сам же не ел.

— Да я ел только что.

— Чего же ты ел? Врешь же.

— Да, ей-богу, ел.

— Да чего же ел?

— Да опять же сухари. Да вот этот остался, не хочется больше.

И так пристанет до тех пор, пока не заставит сгрызть кусок сухаря.

Когда формировалась дивизия, собрал бородачей со своей родной и соседних станиц.

По станицам пошел разговор:

— Начдив приехал, свой, Аксиньи Ивановны сын, Сережка...

И стали съезжаться...»

Генерал сидит, молчит, подперши голову руками, потом говорит неожиданным голосом, в котором чувствуется слеза:

«А теперь вот боюсь и появиться в станицах. Спросят: «Ну куда ты их дел, а?» Мало кто после всех боев остался сейчас в строю...

...Недавно после вручения наград собрал изо всей дивизии стариков на ужин. Выпили, а потом побеседовали о боях и об ошибках, моих и ихних. И эти три часа были такие, словно целый курс академии Фрунзе кончил. Старики настолько все знают, что мы себе даже и не представляем...

Есть у нас в дивизии девушка Маруся, военфельдшер, по прозванию Малышка. Так уж все ее кличут — Малышка и Малышка — за то, что очень маленькая. Так вот, как раз она вывезла массу раненых. И теперь награждена орденом Красной Звезды. А был с ней такой случай. Отступали. Она везла в крытой машине шесть тяжело раненных — двоих в голову и четырех в живот. Дороги разбитые. Еще одного, раненного в грудь, она посадила в кабину, а сама ехала всю дорогу на крыле, больше ста километров от одного места назначения до другого и до третьего; оказалось, все госпитали были уже эвакуированы и раненых некуда было сдать. Раненые от тряски начали стонать, но казачья честь не позволяла им этого, тем более при женщине. И они сговорились, чтобы не стонать, завели на всю дорогу, или, как говорят, казаки, заиграли песню, старую нашу казачью:

Скакал казак через долину,
Через маньчжурские края.
Скакал он, всадник одинокий,
Блестит колечко на руке...

Она лечить раненых не любит — лодырь! А ездить за ними — это она любит. На передовые за ними ехать — для нее любимое дело!

А вообще надо сказать, что присутствие женщины на войне, тем более когда опасность, облагораживает человека, который рядом. Делает его намного более храбрым...»

Повторяю, в те дни, которые я провел в казачьем корпусе Селиванова, главным образом в дивизии Горшкова и больше всего в полку у Дудникова, сколько-нибудь крупных событий, оперативно интересовавших газету, там не происходило.

Но блокноты ежедневно заполнялись важными для меня записями о встречах с людьми, начиная с Селиванова и Горшкова и кончая Куркиным и той самой Малышкой, о которой впервые рассказал мне Горшков.

Я и поныне с благодарностью вспоминаю замполита корпуса Никифора Ивановича Привалова, с которым мы немало поездили и на его «эмочке», и на броневичке и по тылам, и на передовую. Многим из запомнившихся мне встреч я был обязан именно этому душевному человеку, не щеголявшему, как это иногда случается, памятью на имена, показным, картинным знанием людей, а как настоящий комиссар, знавшему их доподлинно и повседневно.

Впоследствии, когда на страницах «Красной звезды» стали один за другим появляться мои очерки и рассказы о людях казачьего корпуса, редактор был доволен и хвалил меня; но тогда, в последних числах февраля, узнав, что Южный фронт остановился, он не утерпел и поспешил вызвать меня в Москву. Причем срочно, как это явствует из моих дневниковых записей.

...Редактор прислал из Москвы телеграмму, потребовал немедленного возвращения. Очевидно, собирался дать какое-то другое задание.

Как раз на следующий день в Москву должен был

вылететь Хрущев. Говорили, что ему после Южного предстояло ехать на другой фронт тоже в качестве члена Военного совета. Так, во всяком случае, считали в штабе.

За это время здесь, на Южном фронте, я дважды виделся и разговаривал с Хрущевым.

В первую из этих встреч я в качестве корреспондента «Красной звезды» проинформировался у него как у члена Военного совета о том, что происходило на фронте.

А в другой раз просто попросил его рассказать мне о своих собственных чувствах и наблюдениях в период наступления Южного фронта от Сталинграда до Ростова. Это были уже не корреспондентские, а писательские вопросы,— никакого поручения от редакции я не имел. Но он, судя по его ответам, именно так и понял меня.

Узнав, что он завтра летит, я подумал, что другого шанса добраться до Москвы завтра же, за один день, у меня скорей всего не будет, и попросил в штабе, чтобы меня, если возможно, устроили на этот самолет. К вечеру мне обещали это, и утром, переночевав не в Батайске, а в Нахичевани, чтобы быть поближе к аэродрому, я сел в нашу редакционную «эмку» и заранее, с запасом поехал на аэродром.

Однако оказалось, что мы с Халипом ошиблись; в Ростове было два разных аэродрома, и мы сначала приехали не на тот, с которого должен был лететь Хрущев. А туда, куда нам нужно было попасть, добрались с опозданием минут на двадцать пять против срока вылета.

Я почти не сомневался, что все, кому положено лететь, уже улетели. Но когда мы поспешно вылезли из машины, то увидели вдали у самолета группу людей и среди них Хрущева.

На меня, кипя от негодования, накинулся один из тех, кто провожал Хрущева.

— Вас ждут! — негодовал он.— За вами на тот аэродром уже У-2 посылали. Уже три раза спрашивали про вас!

Мы торопливо шли рядом с генералом; он угнетал меня своими упреками, а я действительно чувствовал себя виноватым. Но когда мы на рысях добрались до самолета, Хрущев сказал совершенно спокойно:

— Ну что, приехали? А то мы тут вас поджидали. Теперь полетим.

И все. Оказалось, что рейс предстоял через Сталин-

град. Одну посадку до Москвы все равно нужно было делать, и командующий 64-й армией генерал Шумилов и его член Военного совета бывший секретарь Киевского горкома партии Сердюк уговорили Хрущева залететь к ним в Сталинград — позавтракать и посмотреть, как все это выглядит там сейчас, ровно через месяц после капитуляции Паулюса.

64-я армия Шумилова все еще продолжала стоять в Сталинграде. И штаб ее оставался все в той же самой Бекетовке, куда когда-то был привезен к Шумилову взятый в плен частями 64-й Паулюс.

Мы сели на сталинградском аэродроме и поехали в Бекетовку мимо пустырей и развалин. Вдруг на изгибе дороги передняя машина остановилась. Остановилась и наша. Я вылез из машины и увидел зрелище, смысла которого сначала не понял. Не то котлован, не то большой снежный овраг с очень ровным дном. И на этой ровной белой плоскости сложены громадные поленницы дров. Первое ощущение — гигантский дровяной склад. И только потом понял: здесь, на дне котлована, сложено несколько тысяч трупов. Сложено так, как складывают дрова в хорошо содержащемся дровяном складе — улицами и переулочками. Несколько сот немцев складывали мертвых в аккуратные поленницы.

Не знаю, но мне показалось, что сам принцип этой странной аккуратности не был результатом приказаний людей, распоряжавшихся этим делом с нашей стороны — я их, во всяком случае, не видел,— а был следствием собственной инициативы перевозивших сюда трупы немцев. Как выяснилось, сюда свозили и здесь складывали вытащенные из-под развалин Сталинграда немецкие трупы, чтобы весной, с началом оттепели, город не был охвачен эпидемией, когда под развалинами начнут гнить и разлагаться мертвые тела.

Здесь впоследствии предполагали взорвать откос котлована и сделать одну большую могилу. И все-таки, несмотря на всю разумность этой меры, когда мы уже сели в машины и отъехали и все это опять издали превратилось в поленницы дров, я все смотрел туда, назад, с содроганием...

Пока заправляли наш самолет, мы сидели у Шумилова в том самом небольшом бревенчатом доме, где он когда-то разговаривал с Паулюсом. Дом был из тех, какие я помню с детства в Рязани, дом скопившего себе

на черный день паровозного машиниста — с одной большой комнатой, где мы завтракали, и с несколькими маленькими.

Еда не лезла в горло после того, что недавно видели. Я больше курил, чем ел, и прислушивался к разговорам. Шумилов вдруг вспомнил об Испании. Оказывается — я этого раньше не знал,— он был нашим последним военным советником в Мадриде и вылетел из него в тот день, когда в него вошли фашисты. Он вспоминал, как вылетел оттуда в Африку, кажется, в Алжир, потому что больше лететь было некуда.

Потом зашел разговор о том, где теперь придется воевать 64-й. Чувствовалось, что людей, оставшихся здесь, на месте, после капитуляции немцев, все еще не покидает странное ощущение, наступившее после того, как вдруг затихли последние выстрелы и показалось: война окончилась.

Конечно, все понимали, что она не окончилась, но здесь она кончилась месяц назад. Еще час назад была в трехстах метрах и вдруг оказалась в трехстах километрах. То есть, продолжая где-то существовать, в то же время физически здесь уже не существовала. И это странное чувство, кажется, не прошло и теперь, через месяц.

Слушая рассказы о последних днях боев, я вдруг вспомнил и вновь вспоминаю сейчас, когда записываю это, Сталинград в последний день пребывания там штаба фронта, подземелье на берегу Волги, куда мы зашли ночью с Ортенбергом, и в нем Хрущева.

Я прекрасно помню то подземелье. Над головой неаккуратные балки, стены, слегка выпертые внутрь давлением земли. Он подписывал тогда распоряжения, выслушивал доклады, спокойно отвечал и приказывал. Но в то же время у него, как мне показалось тогда, было какое-то состояние оглушенности горем. Можно было посмотреть в лицо этого человека и почувствовать, что где-то там, внутри, в нем все время сидит память о том, что отдана немцам вся Украина, что было очень много несчастий, очень много неудач и что, хотя это и не имеет прямого отношения к тем приказаниям, которые он сейчас отдает, и к тому спокойствию, которое он соблюдает, но ощущение этой трагедии присутствует в нем и угнетает его.

Сила этого чувства, наверно, была увеличена еще

и тем, что оно не имело права быть передано другим. Это ощущение происшедшей трагедии оставалось для себя, внутри, и никуда наружу его нельзя было выпустить.

Это я вспомнил на завтраке у Шумилова. Вокруг были довольные лица людей, на какой-то час освобожденных от всех забот. Ощущение счастья, которое при всех обстоятельствах все мы несли в себе после Сталинграда. Каждый по-разному, но все равно несли все сообща.

Через два часа мы вылетели дальше. Летели в сплошную пургу. Пилот подошел к Хрущеву, сидевшему в кресле впереди меня, и стал у него спрашивать, лететь или не лететь. Может быть, вернуться в Сталинград, сесть, переждать до завтра непогоду?

Хрущев повернулся к нему и спокойно сказал:

— Вы командир корабля, вы и решайте.

И мы продолжали полет.

С аэродрома я поехал прямо в редакцию. Добрался до нее только поздно вечером.

Редактор сказал, что Западный и Калининский фронты начали наступление на Ржев и Вязьму, поэтому он меня и вызвал.

— На семь утра подготовлена машина, поедешь.

Потом во время разговора с ним выяснилось, что первоначально он вызвал меня все-таки не поэтому. Просто решил, что я засиделся на Южном фронте, хотел, чтоб я вернулся в Москву, за несколько дней отписался и после этого поехал на Юго-Западный. Теперь планы менялись.

— Сначала съездишь на Западный, дашь оперативный материал оттуда, а уже после этого отпишешься за Южный, отдашь все, что задолжал...

В моих дневниковых записях этого нет, но и в самолете, пока летели из Сталинграда, и потом, в тот первый вечер в Москве, у меня все не выходил из головы Михаил Степанович Шумилов с его рассказом про Испанию.

До этого я разговаривал об Испании только с дравшимися там летчиками, а Шумилов был один из тех военных советников в Испании, которые теперь, в эту войну, командовали армиями и фронтами. Все то, о чем он рассказывал — и как фашисты вошли в Мадрид, и как

он вынужден был лететь оттуда в Алжир,— произошло в феврале тридцать девятого. Ровно за четыре года до того, как этот же Шумилов, командуя армией, в Сталинграде принимал капитуляцию фельдмаршала Паулюса.

Всего-навсего четыре года между тем и другим!

...Кружится испанская пластинка.
Изогнувшись в тонкую дугу,
Женщина под черною косынкой
Пляшет на вертящемся кругу.

В дымной, промерзающей землянке,
Под накатом бревен и земли,
Человек в тулупе и ушанке
Говорит, чтоб снова завели!

У огня, где жарятся консервы,
Греет свои раны он сейчас,
Под Мадридом продырявлен в первый
И под Сталинградом — в пятый раз...

Так начинались написанные мною под впечатлением встречи с Шумиловым стихи о Мадриде и Сталинграде, а кончались строчками:

Потеряв в снегах его из виду,
Пусть она поет еще и ждет:
Генерал упрям, он до Мадрида
Все равно когда-нибудь дойдет...

Так это казалось тогда, вскоре после Сталинграда, что с фашизмом в эту войну будет покончено навсегда и повсюду, что генерал дойдет и до Мадрида.

До Мадрида генерал не дошел, дошел с боями только до середины Европы. В сорок пятом году в Праге Шумилов подарил мне маленькую любительскую карточку, снятую зимой сорок третьего, во время нашей остановки в Сталинграде по пути с Южного фронта.

Скромнейший по натуре человек, Шумилов, даря мне на память эту карточку, наверное, даже не обратил внимания на то, что сам он на ней стоит позади всех и почти не виден. Но его надпись на обороте карточки была сделана со значением и даже с долей строгости:

«В день победы передаю тебе, Константин Симонов, эту карточку. Это было на Волге, а теперь Прага. Помни это. Шумилов».

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

У матери сохранилось письмо, которое я написал ей и отцу в марте сорок третьего года, сразу же после возвращения из командировки на Западный фронт:

«Приехал ночью. Сегодня весь день писал статью для «Красной звезды», которую, надеюсь, Вы в ней прочитаете, под названием «На старой Смоленской дороге». Как будто получилось неплохо, что, впрочем, не гарантирует ее напечатания... Видел я в эту поездку много печального, много сожженных деревень, много человеческого горя и страданий. Иногда так устаешь от этого бесконечного горя, которое видишь в отбитых у немцев местах, что тяжело становится на душе и порою хочется закрыть глаза, чтобы ничего не видеть...»

Вопреки моим опасениям статью «На старой Смоленской дороге» редактор напечатал. А сомнения, появится ли она у нас в «Красной звезде», наверно, возникли у меня тогда из-за горьких абзацев, с которых она начиналась:

«Когда я думаю о Родине, я всегда вспоминаю Смоленщину, ее дороги, ее белые березы, ее деревеньки на низких пригорках... Должно быть, это потому, что начинать войну мне приходилось здесь, на этих дорогах, и горечь утраты родной земли застигла меня именно здесь, на Смоленщине. Здесь я проезжал через деревни и знал, что через час по этим пыльным дорогам пройдут немцы. Здесь, остановив машину, чтобы напиться у колодца, я не мог найти в себе силы посмотреть прямо в глаза крестьянам. С тех пор в полевой сумке среди нужных мне карт то того, то другого участка фронта я всегда вожу с собой одну карту, казалось бы, ненужную. Это старая школьная карта Смоленской области, которую, не имея никакой другой, я купил на вторую неделю войны в одном из маленьких прифронтовых тогда городков. В октябре сорок первого года она стала ненужной, мы ушли из Смоленщины, но я положил эту карту в сумку, и она, порванная на сгибах, лежит сейчас передо мной. Если бы карта переменилась так, как переменилась земля, то ее трудно было бы сейчас читать. Мы едем по изуродованному, взорванному и сожженному миру, по земле, изуродованной взрывами мин, по полям, словно оспой, обезображенным воронками, по дорогам,

которые немцы, отступая, разрубили, как человеческое тело, на куски, взорвав все мосты.

Земли Смоленщины стали пустыней. Редко-редко на дороге попадется согнувшаяся старуха, везущая за собой санки, на которых сложены два узла и торчит крышка самовара.

Проезжаем одну деревню за другой, и те, кто остался жив, стоят посреди своих опустевших дворов, над развалинами своих изб. И даже позы у людей какие-то одинаковые: безмолвное недоумение, взгляд, ищущий хотя бы следов жилищ, хотя бы следов того, что здесь когда-то было...»

С этих горьких нот начиналась статья о первых освобожденных нами весной сорок третьего года районах Смоленщины, где потом, после войны, мне довелось быть депутатом и где, по статистическим данным, в одном из районов после немецкой оккупации на три тысячи оставшихся жителей было две лошади, семнадцать коров и пятнадцать несожженных домов.

Статистики тогда, весной сорок третьего, я, конечно, не знал, но собственные глаза подсказывали ее, и это отразилось в моей статье.

Об этом наступлении Западного фронта в моих дневниках ничего нет. Но рабочие записи в сохранившихся двух блокнотах дают известное представление о том, что я видел и слышал.

...Раньше услышим «танки!» — бежали. А теперь услышим «танки!» — где? Раньше услышим «автоматчики!» — неужели? А теперь услышим про автоматчиков у себя в тылу, говорим: а, ну пусть погуляют, только надо об обозах позаботиться, чтоб шли с охраной!

Немцы стремятся нас измотать, оставляя в арьергардах возможно меньше людей и возможно больше техники — орудий, минометов, танков, создают небольшие, но мощные подвижные группы. Дерутся очень стойко. Все время приходится их обходить — слева, справа, где удобнее, тоже небольшими и сильными подвижными группами. Артиллерия сперва отставала, а теперь все время перекатами движется за пехотой, даже включая и РГК. Артиллерийская разведка идет с войсковой. Командир

батареи идет с командиром роты и управляет огнем. Артиллеристы почти ноль внимания на обстрелы и на самолеты, делают свое дело в поте лица, работают, мокрые, в одних гимнастерках.

Впереди все сплошь минировано в три слоя: прошлогоднее, летнее и нынешнее зимнее минирование, мина на мине.

Саперы поротно приданы полкам, и им достается туже всех; они идут буквально без сна и отдыха.

Сейчас вдруг подтаяло, идут в валенках, мокрые. Перед Вязьмой навстречу саперам вылезает из подвала сожженной избы старик на костылях.

— Вы, сынки, здесь мин не ищите! Вон где они.— И показывает костылем.— Здесь, здесь и здесь. А там еще и второе ихнее поле, а там третье.

Оказывается, сам старый сапер, служил еще в японскую войну.

Деревня за Вязьмой. В овраге убитые немцами старики и женщины, незакопанные. Одна с ребенком.

Немолодой сапер смотрит в овраг, говорит, ни к кому не обращаясь:

— Робеночка не пожалели.— И повторяет еще раз: — Робеночка не пожалели.

Вязьма разбита и сожжена так, что ничего не могу понять. Сейчас, когда уже прошли ее с одного конца насквозь, видны крайние развалины на другом конце города. Пробую представить себе, где же был дом, в котором мы сидели в ту ночь, когда я в последний раз видел тех ребят из армейской газеты, которые потом погибли в октябре сорок первого в вяземском окружении, и не могу вспомнить, где он был. Все так завалено обломками, что даже трудно понять, как и где шли раньше улицы.

— Немцы приехали сжигать деревню, один дом зажгли, а больше мы не дали!

Новое явление, кроме партизан, отряды самообороны с оружием в руках. Четыре парня, прятавшихся в лесу с оружием, узнали, что из их деревни гонят на переселение женщин и детей, вышли из лесу, чтобы отбить их у немцев, но у них ничего из этого не вышло. Немецкий конвой троих убил, а одного ранил, и этого раненого потом привезли в деревню и расстреляли.

Спрашиваю фамилии этих ребят. Долго вспоминают, потом говорят мне: один Саша Иванов, другой Вася.

А фамилий и имен остальных двоих не знают, они из другой деревни.

Женщина берет вожжи из рук подъехавшего мальчика, садится в сани, и сани трогаются. Все вокруг молчат.

— Там на дороге лежит Сашка ее,— говорит девочка, когда женщина отъехала.— Вот она поехала теперь, она его захоронить хочет.

Прошлую зиму наши части подходили близко к Вязьме, и население им помогало. Этим объясняется особенная жестокость немцев.

Молодой лейтенант, взяв у какой-то женщины письмо, присланное ее дочерью, угнанной в Германию, построил свою роту и читает письмо. Читает громко, почти кричит, чуть не плача сам. Все очень злые, много пожилых, по сорок пять — по пятьдесят, вдвое старше командира роты...

Это все из первого блокнота. Во втором только одна запись — рассказ какой-то молодой женщины, очевидно медсестры. Абсолютно не помню сейчас, как и при каких обстоятельствах это было записано, не помню этой женщины. Ничего не помню. Но мне кажется, что ее рассказ говорит не только о мере мужества людей, но и о мере душевной усталости, накопившейся у них к этому времени.

...Первых бомбежек боялись, тряслись руки. Потом ели, наедались хлебом и плакали о погибших девушках и вообще о погибших. Сейчас кажется глупо, что плакали, плакали по-детски, что вот вдруг встанет мертвый и поймает тебя. Думали, может быть, последний день живем, больше не увидим родных.

Так боялись попасть в плен, что иногда даже не ложились спать.

А потом курсы медсестер — ни сна, ни отдыха, стирка белья, мозоли...

Раненый говорит: тяжело тащить, брось меня. А как мне его бросить? И сама себе внушаешь, что тебе не страшно. В начале боя боишься, а в долгом бою забываешь обо всем этом, одна необходимость остается — перевязывать.

Раненые, если потеряли много крови, когда ведешь их, на ходу засыпают, бывает, бормочут: «Я умру, я умру».

Когда получила письмо, что убили Павлика, впала в детство, думала про гроб: какая доска противная, под ней Павлик ничком похоронен. Не верилось, что нет его.

Когда идешь под долгим обстрелом, начинаешь нарочно думать о хороших днях, а потом думаешь: напрасно об этом вспоминаешь, все равно убьют. А иногда думаешь наоборот — что уж поскорей бы убили тебя. И в то же время стараешься успокоить раненого, чтоб поверил, что не умрет. А после боя — реакция. Видишь все это поле, поле, по которому ползла, и в слезы.

После того как ранило бомбою, стала больше всего бояться бомбежки. Припаду к земле, лежу, ничего не помню. Помню, очень грязная была после ранения, за собой ведь не следишь в минуты опасности.

Пошла добровольно. Бойцы относятся хорошо. А иногда хочется быть мужиком. Все, что есть, все в санитарной сумке. И одну гранату тоже в сумке держу. Пусть что угодно, а от раненых не уйду.

Когда девчат наших убивает, все равно каждый раз плачем о них страшно, ничуть не меньше, чем раньше...

Вернувшись с Западного фронта в Москву, я, кроме статьи для «Красной звезды», написал стихотворение «Дом в Вязьме». Непосредственным толчком были безрезультатные поиски того дома, где мы когда-то, в сорок первом году, сидели с товарищами-журналистами:

Я помню в Вязьме старый дом.
Одну лишь ночь мы жили в нем.

Мы ели то, что бог послал,
И пили, что шофер достал.

Мы уезжали в бой чуть свет.
Кто был в ту ночь, иных уж нет...

Конечно, в годы войны для нас, военных корреспондентов, главной жизненной средой была армейская среда, те люди на фронте, к которым мы приезжали и от которых уезжали и рядом с которыми — иногда долго, иногда коротко — жили.

Однако была у нас и среда своя собственная, профессиональная, журналистская. Совместные фронтовые поездки сводили людей из разных редакций, создавали ощущение общей судьбы и общих потерь.

Уже к концу сорок второго года только у нас, в «Красной звезде», погибло или пропало без вести больше десяти корреспондентов. Половину из них я близко знал — Бориса Лапина, Захара Хацревина, Евгения Петрова, Мишу Бернштейна, Леню Вилкомира...

Сохранившаяся у меня в копии корреспонденция, отправленная в Америку через несколько дней после возвращения из Вязьмы, называлась «Наша профессия». Приведу тот отрывок из нее, где выражено мое тогдашнее отношение и к самой профессии военного корреспондента, и к моим товарищам по работе:

«...Молодой человек, который сегодня хочет стать писателем, должен пройти через войну. Только тогда он будет жить как писатель.

Я полюбил профессию военного журналиста и когда-нибудь после войны напишу пьесу о своих друзьях — военных корреспондентах.

Может быть, когда-нибудь я напишу о том, как мне пришлось на протяжении одного дня дважды дарить свою книжку стихов моему другу Долматовскому, потому что когда я утром под Сталинградом подарил ему книжку и он, положив ее в карман шинели, пошел в одну сторону, а я в другую, то через час после этого его ранило и несколькими осколками разорвало шинель, а одним почти пополам перерезало лежавшую у него в кармане книжку. Вечером он сидел напротив меня, как палку, положив перед собой на стул забинтованную ногу, и я надписывал ему второй экземпляр книжки.

Может быть, когда-нибудь я напишу о смешном — о том, как один из моих друзей ночью в степи под Сталинградом попал в автомобильную катастрофу; на его машину налетел грузовик, везший арбузы на передовые позиции. От удара он потерял сознание и очнулся от того, что его поливали чем-то липким. Когда он открыл глаза, то увидел, что над ним на корточках сидит шофер грузовика, раскалывая один за другим арбузы, и выжимает их на его лицо, чтобы привести в чувство. Ничего другого в безводной степи он не мог придумать.

Может быть, я напишу о том, как мой друг фотокорреспондент Миша Бернштейн, улетая из Ленинграда и желая, чтобы к их «дугласу» поближе держались сопровождающие истребители, обещал их снимать в воздухе, и они, буквально вцепившись в хвост «дугласу», всю дорогу не отходили от него. И напишу о том, как этот

веселый толстый человек дрался под Харьковом и погиб там в бою как рядовой солдат.

Напишу и о том, как корреспондент «Известий» Евгений Кригер, человек самого мирного вида, какой только можно себе представить, в начале войны вечно забывал свою винтовку, потому что она ему мешала; вешал ее на какой-нибудь сучок и, лишь когда машина выезжала из леса, вспоминал, что винтовка осталась висеть там. Напишу о том, как впоследствии из Лозовой, из Сталинграда, с Кавказа, отовсюду он писал военные корреспонденции, удивлявшие знанием солдатской души и солдатского дела...»

Пьесы о военных корреспондентах я не написал, но мы порой сами не замечаем, как что-то давно задуманное и, казалось бы, забытое исподволь пробивает себе дорогу в твоей работе. Так это случилось и со мной, когда в послевоенных повестях «Из записок Лопатина» главным действующим лицом не сразу, а постепенно и даже несколько неожиданно для меня все-таки стал военный корреспондент.

Если самое важное во время войны — поездки на фронт — сохранилось в памяти далеко не полностью, то куски жизни, связанные с Москвою, запомнились и вовсе плохо. Эта жизнь в Москве всегда была чем-то промежуточным между поездками, такой и осталась в сознании. И что из этих «между поездками» было раньше, и что позже, иногда путается в памяти.

С благодарностью думаю о покойной матери и о покойном отце, сохранивших у себя мои письма того времени. Порой только эти письма и помогают мне сейчас разобраться, что и когда было.

В том же письме, отрывок из которого я приводил, я писал своим старикам об этом московском «между» оставшейся позади поездкой на Западный фронт и предстоявшей мне новой поездкой на юг.

«...Через несколько дней поеду на две-три недели под Харьков. Может кое-что перемениться, а может быть, поеду на меньший срок... Отъезд мой задерживает то, что я не совсем отписался за южную поездку. Мне нужно сделать еще две статьи, и тогда я смогу уехать... Дневники, которые я веду, подвигаются пока слабо, но завтра

думаю закончить второй их том, охватывающий собой зимнее наступление 1941 года и кончающийся сорок вторым. Вместе с тем, что уже написано, это составит в общей сложности восемьсот с лишним страниц на машинке...

...Мне дали чин подполковника. Сегодня ночью подвезут снимки, сделанные на юге, и вы увидите меня в усах и офицерском обмундировании.

В квартире хорошо, тепло... Впервые в жизни думаю о том, что есть у меня наконец свой угол... Несколько дней у меня жил Женя Долматовский. Ему после окружения вернули старые ордена и дали один новый, так что он ходит весь в орденах и с нашивками за три ранения. В общем, так много переменилось, что иногда думаешь, что года три назад никто из нас и не представил бы, как все это выйдет с нами...

Вчера привезли мне книжный шкаф. Стоит он пока еще пустой, даже грустно: столько раз я собирал, собирал книги, и вот сейчас опять ничего нет. Остается только наложить в него папок с бумагами и черновиками, которых, пожалуй, на полшкафа наберется. И все же загляну в стенной шкаф, где они пока лежат, и подумаю: боже мой, сколько я все-таки нацарапал, особенно теперь, когда ...только диктую, все получается так быстро, но нельзя сказать, чтобы очень хорошо...

Сейчас у меня чувство усталости от писания бесконечных очерков. А между тем за последние поездки я собрал массу материалов, которые ни в какие очерки не влезают. Сейчас потянуло на то, чтобы написать новую пьесу или скорей всего повесть, которая могла бы быть напечатана с продолжениями в газете. Надеюсь, что после возвращения из-под Харькова я получу двухмесячный отпуск и мне удастся осуществить этот план...»

В связи с этим письмом несколько слов о житейском, о быте. В военное время он занимал в моей жизни не так много места, но все же, как, наверно, и у других людей, какое-то место занимал. Я с чувством неловкости прочел в тогдашнем письме слова насчет своего угла, который у меня наконец есть, и чуть было не соблазнился их опустить, как не идущие к военному времени. Но поколебался и решил оставить, объяснив.

Дело в том, что, приехав в Москву в тридцать первом году, я до осени сорок второго года действительно

не имел собственного угла. Жил на чужой площади, снимал комнаты, кочевал из одной в другую. Во время войны жил и на казарменном положении в «Красной звезде», и в номере гостиницы «Москва». И вдруг совершенно неожиданно для меня в октябре сорок второго, когда после возвращения из Сталинграда я окончательно отписался за поездку и, получив от Ортенберга вольную на трое суток, закатился на все это время с ночевками куда-то к товарищам, это кончилось тем, что я получил квартиру.

Когда я объявился в редакции, Ортенберг свирепо накинулся на меня:

— Где ты был? С собаками его не найдешь!

Свирепость редактора оказалась напускной, но я не сразу это понял. Выяснилось, что меня срочно разыскивал Щербаков, и, когда в течение первых суток я так и не был обнаружен, он стал сердиться. Как же это так: военнослужащего, корреспондента «Красной звезды» в военное время не могут разыскать в городе Москве!

Ортенберг объяснил, что дал мне отпуск на трое суток.

— Ну ладно, отпуск,— сказал Щербаков.— Но раз он понадобился, найти-то его можно? Разыскать, послать к нему на квартиру...

Тут-то Ортенберг и объяснил, что никакой квартиры у меня нет и что, когда я бываю в Москве, то чаще всего живу в «Красной звезде». А поскольку я отпущен, то где меня искать, неизвестно.

Сердито велев Ортенбергу продолжать розыски, Щербаков одновременно с этим приказал выдать мне ордер на квартиру.

— Чтобы в дальнейшем ничего подобного не повторилось,— усмехаясь, объяснил Ортенберг, рассказывая мне эту историю.

Так я в разгар войны получил двухкомнатную квартиру на Ленинградском шоссе в новом доме с похожими на казанское мыло кружевными каменными балконами.

Вещей у меня в этой квартире в первое время вообще никаких не было; все, что было раньше — а были главным образом книги,— сгорело от зажигалки во время июльских бомбежек сорок первого года в той комнате на верхнем этаже, под самой крышей, которую я снял как раз перед войной. Осталось только два чемодана: один с рукописями, который увезли в эвакуацию

родители, а второй — с предметами первой необходимости. Его я в начале войны, перейдя на службу в «Красную звезду», закинул в редакцию на всякий пожарный случай — в данном случае действительно оказавшийся пожарным.

Недостаток вещей восполнялся количеством ночлежников. Кто только из моих фронтовых товарищей не ночевал у меня на квартире в ту осень, зиму и весну сорок второго и сорок третьего года. И когда я бывал в Москве, и когда меня не бывало.

Две комнаты, кухня, газовая колонка в ванной! А главное, наш дом, чуть ли не единственный достроенный и заселенный уже во время войны, исправно топили. Можно было и помыться и погреться, что в тогдашнем быту считалось великим благом.

Происходило, конечно, и первоначальное накопление кое-какой мебели. В марте сорок третьего года, оказывается, появился даже книжный шкаф, особо отмеченный в письме к родителям!

Под Харьков, к тому времени вновь занятый немцами, я вопреки высказанным в письме предположениям не поехал. Очевидно, редактор первоначально ориентировался на другой оборот событий, а теперь не стал посылать на это направление новых корреспондентов в дополнение к тем, кто уже там был. Вместо этого снова отправили меня на Южный фронт. Чем это было вызвано, уж не помню. Скорей всего предполагались какие-то не осуществившиеся потом наши наступательные действия.

В дневниках об этой поездке всего несколько строчек.

...Снова вылетел на юг с Халипом. Ничего особенного в эту поездку не произошло. Был у своего старого сталинградского знакомца Утвенко, там заболел какой-то особенно зверской гнойной ангиной и пролежал в жару две недели, сначала в медсанбате, потом в санчасти штаба фронта. В середине апреля вернулся в Москву...

Что остается добавить к этому теперь? Прилетев на Южный фронт и застав там затишье, я сначала хотел поехать к танкистам, в бригаду майора Овчарова, в ко-

торой уже был раньше, во время боев между Ростовом и Таганрогом, и писал о ее действиях.

Командир бригады до войны был филологом. Меня заинтересовала эта судьба: из филологов — в командиры танковой бригады. Тогда, в первый раз, поговорить с Овчаровым о нем самом мне не удалось, не позволила обстановка, и я хотел сделать это теперь. Однако, как выяснилось, бригаду за это время передислоцировали, и я поехал не к танкистам, а еще раз к Утвенко, который после Сталинграда успел стать из полковника генералом.

На его участке в районе Матвеева кургана сколько-нибудь существенных событий пока что не происходило.

Перелистывая сводки Информбюро, я нашел в них несколько упоминаний о тех днях и тех местах:

«Западнее Ростова-на-Дону отряд пехоты противника пытался боем разведать наши позиции», «Западнее Ростова-на-Дону советские артиллеристы и минометчики разрушили 8 вражеских дзотов», «Западнее Ростова-на-Дону противник пытался навести мост и переправиться через водный рубеж», «Западнее Ростова-на-Дону немцы пытаются бомбить наши коммуникации». Вот и все, что можно прочесть в сводках об этих днях затишья.

Для очистки нашей корреспондентской совести мы с Халипом побывали на передовой и походили там по окопам переднего края. Оказавшаяся после этого в блокноте подробная запись разговора с одним старым солдатом очень пригодилась мне впоследствии.

Вспоминаю тот, порою преувеличенный интерес, который был тогда у нас, военных корреспондентов, к отличившимся в боях старым солдатам, особенно к тем из них, кто воевал с немцами уже вторую войну. За этим интересом стояли довольно сложные чувства. Хотя к тому времени немецкая военная машина дала уже две страшные для нее трещины — под Москвой и под Сталинградом — и ход войны решительно изменился в нашу пользу, все равно это не могло выбить из нашей памяти и поражений сорок первого года, и поражений лета сорок второго года. Сохранялось и сознание огромности территории, все еще остававшейся под пятой у немцев.

Сейчас в сочинениях о войне уже давно не употребляются некоторые из ненаучных житейских терминов, бывших у нас на фронте в широком обиходе и в сорок

третьем, и в сорок четвертом, и в сорок пятом годах. Но, думаю, никто из бывших тогда на фронте не станет спорить со мной, что наряду со словами «стоять насмерть» в нашем лексиконе того времени во фронтовой среде иногда упоминалось в прошедшем времени и такое самокритическое слово, как «драп». Употреблялось и слово «трагедия». И не только в разговорах, а и в печати. Так и писали в газете: «Киевская трагедия». И за этими словами стояла не только горечь воспоминаний, но и вера в свои силы, то духовное здоровье, которое позволяет людям называть своими именами даже самое тяжелое из всего случившегося в их жизни.

Говоря об этом, я говорю не просто о собственных чувствах, а о куда более важной вещи: о свойственной людям нашей армии здоровой самокритической оценке очень многого из случившегося с нами в сорок первом — сорок втором годах, того, что в мае сорок пятого, после победы, сам Сталин назвал «моментами отчаянного положения».

Людям, все дальше и дальше гнавшим обратно на запад немцев, было свойственно задавать себе самим трезвые вопросы: как же все-таки это вышло, что мы сначала отступали до Москвы, а потом до Сталинграда?

Так же, как и многие люди войны, задавал себе эти вопросы и я — корреспондент. И думаю, что далеко не всегда находил тогда на них верные ответы. Напрашивались сравнения между первой и второй мировыми войнами. Как же так, почему тогда, в первую мировую, на второй год боев, к концу 1915 года, немцы заняли всего-навсего лишь территорию царства Польского и часть Прибалтики, а в эту войну на второй год дошли до Волги? В чем дело? В чем причина?

Среди объяснений, помнится, одним из самых простых и удобных было: видимо, перед той мировой войной к ней лучше были подготовлены солдаты и унтер-офицеры, а может быть, и офицеры. Отступили ведь тогда перед немцами за первые пятнадцать-шестнадцать месяцев войны только до Риги и Барановичей, а не до Волги!

Короче говоря, мне была присуща тогда некоторая идеализация боевых качеств русской армии в первую мировую войну.

Не знаю, как другие, а я, сравнивая наши неудачи и немецкие успехи на Восточном фронте в период той и этой войн, с удивляющей меня теперь легкостью забы-

вал и о громадной разнице в соотношении сил, и о грозно выросшей быстроте реализации временных преимуществ, которые дала нападающему техника времен этой войны по сравнению с техникой времен той.

Я забывал о том, что в первые дни первой мировой войны из двинутых на нее ста двенадцати германских дивизий в Восточной Пруссии против России было развернуто только шестнадцать. Забывал, что на протяжении всей первой мировой войны против русских армий на Восточном фронте, даже в дни наибольших немецких успехов, действовало максимум около трети всех сил и средств германской армии, а ее главные силы всегда оставались на западе. То есть все было как раз наоборот, чем в эту войну.

Что до Австро-Венгрии, основные силы которой воевали в ту войну против России, то ведь и в эту — две трети австрийцев находилось в составе германских войск на Восточном фронте, вся венгерская армия тоже была на Восточном фронте, были на нем и словацкие дивизии, и хорватские легионы. Словом, почти все, что в ту войну бросила против России Австро-Венгрия, в эту войну бросил против нас Гитлер в дополнение к собственно германским войскам.

А для полноты картины следует добавить сюда еще и румынскую и итальянскую армии, воевавшие в ту первую мировую войну против немцев, а в эту против нас.

Короче говоря, вторая мировая война столкнула Советский Союз с неизмеримо более сильным противником, чем тот, с которым столкнулась царская Россия. И если хоть на минуту представить себе, что тогда на Западном фронте вместо жесточайших битв на Марне, под Верденом, на Сомме шла бы «странная война» и немцы могли бы все, что у них тогда воевало и легло в землю там, на западе, бросить против России, то, не сбрасывая со счетов ни доблести русских солдат, ни храбрости большей части фронтового русского офицерства, все-таки, сравнивая обе войны, трудно себе представить, чтобы оставшаяся уже вскоре после начала войны почти без снарядов царская Россия смогла бы одна выстоять перед немцами, имевшими развязанные руки на западе.

Так я думаю об этом сейчас, задним числом, хорошо сознавая всю поверхностность некоторых моих исторических сравнений тогда, весной сорок третьего года. И однако, мой тогдашний интерес к старым солдатам,

воевавшим вторую мировую войну, был все же понятен. И перечитывая в блокнотах записи того времени, я вижу, что эти старые солдаты в своих сравнениях двух войн были ближе к истине, чем я сам.

Сделав это отступление, приведу наиболее существенную запись в блокноте, привезенную из моей второй поездки на Южный фронт,— беседу с Захаром Филипповичем Канюковым, гвардии сержантом, 1896 года рождения.

«...Родом из-под Тихвина. Нас у отца много было. По праздникам люди гуляют, потому что у них костюмишки есть, а ты сидишь на печке и плачешь. Потом пойдешь в люди, костюмчик за пять рублей справишь и соблюдаешь его.

Третью войну воюю, но только войны тогда были послабже. В ту германскую войну воевал между Двинском и Ригой. За боевое отличие награжден: угнал вагон с материалами у немцев. Мы, отставшие десять человек — он под уклон стоял,— подъемник выбили и к своим поехали, шибче, чем с паровозом. Нас обстреливали, но вагон так бежал до самой станции, что воздух в груди захватывало.

В гражданскую воевал на Медвежке и в Мурманске.

Перед этой войной дом купили. Жена умерла. Потом немцы дом сожгли.

Взяли в истребительный батальон. Был два раза в бою. Потом, наши годы еще на передовую не брали, меня в госпиталь санитаром отправили. Из госпиталя — в строительный батальон. Из батальона — на пополнение дивизии под Новочеркасск. Попал в пулеметную роту сперва пулеметчиком, потом связистом.

А Звезда вот за что. Был я во время боя связным у командира батальона. Деревню взяли и заняли к утру оборону. Только обживаемся, а немец пошел в контратаку. Ну я с донесением при сильном огне, а надо было пройти метров семьсот. Ходули у меня отказывают, а так еще не стар годами. Первоначально пошел от комбата к командиру полка, к Епанчину, доложил как полагается и с приказанием пошел обратно. Завязался совсем сильный бой. Его авиация — сорок аэропланов — по нас шпарила.

Меня здорово обидел проклятый фриц: у меня на спине мешок, а в нем табачок и белья пара — поджег,

чувствую, дымлюсь на спине. Так мне даже смешно и удивительно, думаю: что я, танк, что ли?! Обрезал я лямки, а котелок, прямо спасу нет, дрыгается за спиной, весь его прострелили, от пуль дрыгается. Противогаз — в нем хлеб был — мешал мне, под пузо лез. А тут на вершок поднимешься — убьют. Обрезал я его. Погода была сырая, весь в грязи, мокрый, в полушубке, в валенках.

В ту войну разве это аэропланы? Тогда нас в штаб дивизии, помню, пригнали, летит в небе аэроплан, высоко, с воробья! Ну рассыпаемся, и все! А теперь неясно, для чего и рассыпаться, кругом бомбит! Ползу, а немец сильно бьет, кругом пули землю копают. Так сильно к земле прислоняюсь, как к жёнке в первый год ночью не прижимался. Приляжешь, замрешь, видишь, он к тебе уже на этом месте приспособился. И сразу вперед, туда, куда он пока не пристрелялся.

Четыре раза в тот день с донесениями туда и четыре раза назад ползал. Ровная местность. Немец на горе, а полк в окружении.

Приполз я в батальон с устным приказанием, передать, что мы остаемся в обороне, на прежнем месте. И опять оттуда пополз к командиру полка с донесением, что справа движется на нас какая-то сила. Командир полка в окопе был. Похлопал по плечу.

— На тебе, папаша, за храбрость, выпей! Закуси немецкой курицей и ползи с моим приказанием обратно. И, чур, возвращайся.

А приказание батальону было — держаться до особого распоряжения. Я опять пополз, все время на животе. Место — как стол, нельзя голову поднять. Третий раз не дополз я до овражка, как раз угадал он снарядом в трех бойцов, а меня ударило и перекинуло в другую яму, оглушило. В ушах пищит, глаза залепило песком и снегом. Лежу и соображаю, куда ж теперь ползти. Потом по убитым бойцам сообразил. Когда я полз в батальон, они впереди меня были, значит, туда и ползти.

Принес приказание в батальон. Командир батальона велел пулемет станковый к крайней хате поставить. Я пополз туда, а тут вдруг немецкий танк. Я в него с пятнадцати шагов бросил гранату. Танк остановился, и из него немцы побежали. Я вернулся к командиру батальона. По дороге встретил раненого, донес его. Устал как собака, а комбат мне говорит:

— Есть тебе еще задание, папаша. Ползи обратно в полк, свяжись, связи нет.

Я пополз. Ночь ясная. Вижу, связь, провод. Потом человека вижу. Он один. Говорю ему — дай закурить, а он чего-то как загогочет не по-нашему. Значит, немец. Застрелил я его.

Дополз назад к командиру полка и не нахожу его, пустой окоп. Оказывается, он ближе к передовой переместился. Вертаюсь обратно, слышу голос командира полка. Тут он мне приказал опять ползти в мой батальон, сказать комбату, чтобы со своим батальоном откатывался назад. Пополз. Спросил, в чем дело. Я передал приказание, и мы стали отползать все вместе.

Вернулся я в полк. Мы пропустили в середину обоз и стали отходить, вырываться. Мы вправо, влево, в цепь и ударили на немцев. Немцы от нас отступили, и мы вышли к своим после того, как два дня держались не отходя.

Служил в ту войну в 239-м Константиноградском полку. Солдат был как верблюд: противогаз, бутылочка, дрова. Дрова, чтобы дым пускать против газа. Ножницы для перерезания проволоки и мат для перелаза, мотыга, лопатка и все остальное, что и сейчас. В дальнем походе не раз пот с лица сойдет. Если за что наказание, то сортиры чистили или под ружье с сорока восьмью фунтами кирпича стояли.

Этой зимой тяжелые бои были. Смерть-салопница! И усталости хватало. Все-таки годы не так молодые. И размяться, погреться нельзя было, все ползком. Ночью холодно, морось ледяная шла, а днем под солнцем опять таяло, мокро. Чувствуешь, тело застывает, начинаешь немые ноги двигать немножко. А мины в бурьяне рвутся. Легче, что так: хотя и близко, а не видно. Только осколки слышно шлепаются, как овцы по грязи идут.

Когда Епанчин мне награду давал, поцеловал меня перед строем всего полка. Прочитали, кто награждается, давали и сразу привинчивали. Полк кричал «ура», и мы снова встали в строй.

Гитлер что говорил солдатам: вот возьмем Россию, вы, как жандармы, с плетями, а русский народ на вас работать будет!

Чтоб немца разбить, надо нам побольше гордости натуры, крепости, дружелюбия, согласия. Я хочу из войны выйти так, чтоб мне, старику, был почет и уважение.

И то сказать, года мои уже такие, что и жить не так чтоб долго, при лучшем настроении — два десятка жить! Главное, чтоб зря не пропасть, сперва доказать, а потом помереть. И похоронят, так в братской могиле! И памятник поставят, приходить будут. А то что же, за околицей в деревне похоронят, семьи нет, никто и не узнает, кто схоронен...

Я хочу доказать, что старики не хуже молодых. Мы и храбрость имеем, и хитрость, и подходчивость. Только одна беда — ходули иногда подводят. Я когда в бой иду, у меня волнения нет. Я располагаю так: чему быть, того не миновать. Я располагаю так: хоть трясись, хоть пой, хоть плачь, а уже от пули не уйдешь, коли вышла она тебе. Два века не жить, один век нам всем равно даден. Раз напал враг на нас, надо что-то с ним делать...»

На этом обрывается запись во фронтовом блокноте, но не кончается история Захара Филипповича Канюкова. Один из тех, кого мы любили тогда называть в своих очерках бывалыми солдатами, он был человеком опытным, находчивым, глубоко уверенным в правильности своих суждений о войне и жизни. Его облик, и внешний, и внутренний, запал в душу, но я не стал писать о нем очередную фронтовую корреспонденцию, оставил заметки в блокноте про запас — на будущее.

Это будущее оказалось близким. В конце весны того года, сев за повесть о Сталинграде, я, изменив всего одну букву в фамилии, вывел в ней старого солдата Конюкова. В данном случае натура была такая, которой оставалось только поближе держаться, додумывая не характер человека, а лишь обстоятельства, в которых он действует.

Вскоре после войны, когда на сцене МХАТа была поставлена инсценировка моей книги «Дни и ночи», один из самых замечательных русских актеров тех лет, Дмитрий Николаевич Орлов, играя Конюкова, с какой-то неимоверной актерской прозорливостью вернулся к первоисточнику не только в духовном облике, но даже в непостижимо угаданной внешности. И эта роль стала для меня самой большой радостью в спектакле.

В 1963 году, в том самом, до которого Захар Филиппович Канюков надеялся дожить «при лучшем настроении», я получил коротенькое письмо из-под Тихвина, без

всяких подробностей, просто с просьбой прислать на память книжку «Дни и ночи» и с подписью «Канюков».

Я послал книжку, далеко не уверенный, что ее попросил прислать тот самый Канюков. До этого не раз бывало и так, что книжки просили прислать просто-напросто однофамильцы вымышленных героев.

Но через полгода я получил еще одно письмо, на этот раз не оставлявшее сомнений:

«...Пишет вам это письмо Канюков Захар Филиппович. Вашу книгу, которую вы послали мне на память, жители нашей местности читали, передавали из рук в руки и затеряли. Обращаюсь к вам с просьбой: если есть возможность, то вышлите, пожалуйста, мне еще один экземпляр. Прошу вас, ответьте, живы ли остались Анечка, Сабуров, где они сейчас, если живы. Напишите, жив ли Епанчин, командир полка. Я живу сейчас в совхозе Андреевском Тихвинского района Ленинградской области. Первое время после войны пас скот колхозный, потом работал ночным сторожем, иначе других работ не мог выполнять. Я остался без руки. В настоящее время не работаю, живу на пенсии... Выполняю различные общественные поручения парторганизации совхоза...»

Я послал вторую книжку, на этот раз уже зная, что это именно тот самый Канюков. Совпадали не только его собственные имя, отчество и фамилия, но и записанная в блокноте фамилия командира полка Епанчина, о котором говорил мне тогда, в сорок третьем году, Канюков. А упоминание об Ане и Сабурове — вымышленных героях моей повести, и вопрос, живы ли они остались, меня не смутили. Знать их Канюков не мог, но, с долей читательской наивности восприняв мою книжку как достоверное во всех случаях повествование, поинтересовался дальнейшей судьбой этих неизвестных ему людей наравне с судьбой вполне реального человека — командира полка Александра Дмитриевича Епанчина, ныне Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта запаса, человека, которого не было в повести, но у которого в полку он служил и о котором когда-то рассказывал мне.

В те же апрельские дни у меня произошла неожиданная встреча с сорок первым годом. К Утвенко приехал по какому-то делу один из офицеров службы тыла, полковник, не то из тыла корпуса, не то из тыла армии,

сейчас уже не помню. Было это поздно вечером, почти ночью. Утвенко оторвался от только что начатого ужина, коротко переговорил с полковником по делам и, пригласив его поужинать, представил нас друг другу. Фамилия мне ничего не сказала, но лицо этого человека я вспомнил мгновенно и сразу. Не только лицо, но и все, что было связано с воспоминанием об этом лице.

Воспоминание было тяжкое, связанное в жизни этого человека с одним из тех, самых страшных для каждого из нас моментов, когда мы у всех на глазах струсили и сами знаем, что именно так оно и было.

Свидетелей таких моментов в своей жизни мы не любим потом встречать. А тут, как на грех, Александр Иванович Утвенко вдруг вспомнил о нашем разговоре накануне, когда он, рассказывая мне о своем начале войны, расспрашивал меня о моем, и, обращаясь к полковнику, вдруг спросил:

— Вот Симонов вчера мне рассказывал, что был в июле сорок первого под Чаусами, когда там была самая каша. Вы тоже вроде мне говорили, что были там. Не встречались?

Не знаю, что говорил раньше этот человек Александру Ивановичу и про ту кашу под Чаусами, и про себя там, в этой каше, но, увидев по его лицу, что он меня помнит так же, как я помню его, я с инстинктивной быстротой, раньше, чем он успел ответить, сказал:

— Нет, по-моему, мы не виделись,— на всякий случай избавляя его этим и от лжи, и от нелегкой для него правды, если б он решился ее вспомнить.

Он поспешил подтвердить:

— Нет, не виделись,— и до конца ужина просидел хмурый и неразговорчивый, видимо тяготясь желанием поскорей уйти.

Воспоминания — нелегкая вещь. И через плохое в них все равно не перепрыгнешь, сколько бы потом ни сделал хорошего.

На следующий день я заболел, свалился с температурой сорок с гнойной ангиной. Утвенко оставил меня у себя в санчасти. И несколько раз по вечерам, закончив все дела, навещал меня. Боевых действий не было, но он принимал пополнение, проводил учения, много работал, и я ценил, что он вырывает для меня время.

Нет худа без добра. Говорить мне ангина мешала, а слушать нет. В эти вечера Утвенко много рассказывал

о себе. Записывать я ничего не записывал — меня ломала температура, но об услышанном не раз вспоминал, и когда писал рассказ «Зрелость», главным героем которого был похожий на Утвенко полковник Проценко, и когда этот же человек стал командиром одной из сталинградских дивизий в книге «Дни и ночи».

Кстати, один из наших разговоров начался с того, что гнойная ангина — хреновая штука и что он, Утвенко, это хорошо знает по себе, потому что брать Новочеркасск ему пришлось как раз, когда он болел ангиной. Эта история про больного ангиной командира дивизии, которому все равно — вынь да положь — надо брать город, и легла потом в основу моего напечатанного в «Красной звезде» рассказа.

Когда мне немножко полегчало, я перебрался машиной в штаб фронта с намерением лететь в Москву, но в дороге прибавил простуды и целую неделю добивал еще свою треклятую ангину в санчасти штаба фронта.

Рассказывая о Евгении Петрове, я уже упоминал, как лечивший меня врач Николай Алексеевич Лещ отдал мне сохраненный им листок с медицинским заключением о причинах смерти Е. П. Петрова.

Тогда же доктор Лещ рассказал запомнившуюся мне историю, связанную с именем покойного Сергея Семеновича Бирюзова, впоследствии маршала, а тогда начальника штаба Южного фронта.

Бирюзов был болен, ему надо было дать успокаивающее, обезболивающее средство. Тот врач, на долю которого это выпало, дал генералу лекарство и только потом вдруг обнаружил, что по нелепой оплошности дал, оказывается, совершенно другое лекарство, и притом в дозе, правильной для обезболивающего средства, а для этого чрезмерной и даже опасной для жизни.

Врач немедля принял меры и заявил начальству о происшедшем.

Больному было плохо и делалось все хуже, несмотря на срочные меры. Помогут ли они, было неизвестно. Врача арестовали. Оплошность носила такой характер, что ему грозил суд.

Бирюзов пришел в себя. Принятые меры в соединении с природным здоровьем спасли его. А врач сидел под следствием. Придя в сознание, Бирюзов приказал освободить врача из-под стражи и привести к себе. Поговорив с ним и услышав объяснения, как все это вы-

шло, Бирюзов поверил ему и приказал закрыть дело. А врача оставили на том же месте, где он служил.

Бирюзову пробовали возражать, но он был не из тех, кого легко переспорить; поверив, он настоял на своем, не дал сломать человеческую судьбу.

И во время войны и после нее, когда я видел Бирюзова, я, глядя на него, молчаливо вспоминал историю с ним и с врачом.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Долежав свое в санчасти фронта, я полетел в Москву.

В дневниках нет записей о многих куда более существенных днях, а об этом дне прилета в Москву есть.

...Бывает же так, что запоминается бледный, ничем не примечательный день. Так запомнился мне и этот день в Москве. В редакции знали, что я должен на днях вернуться, но когда именно, я сообщить не успел.

С аэродрома попутчики закинули меня в редакцию. Она к этому времени уже снова была на прежнем месте, на Малой Дмитровке, во дворе.

Зашел в редакцию. Никого. Воскресенье. Только вахтеры. Зашел в один из пустых кабинетов и стал звонить домой. Дома у меня жил один из моих довоенных друзей, военный корреспондент, недавно переженившийся и поэтому бездомный. Позвонил домой — молчат. То ли нет дома, то ли он уехал на фронт, а его жена съехала. Подождал, позвонил еще раз, опять не ответили.

Позвонил домой другому товарищу — он на фронте. Третьему — никто не ответил, тоже, наверное, на фронте. Четвертому — подошла его тетка, сказала: «На фронте».

Перебрал в уме всех, кому можно было бы позвонить. Оказалось, что некому: одни на фронте, другие в эвакуации, у остальных не знаю домашних телефонов — встречался за последние годы только на фронтах или в редакции, не приходило в голову записывать.

Пошел в кабинет редактора расспросить секретаря, когда завтра с утра будет редактор. Секретаря в «предбаннике» не оказалось, а в кабинете сидел сам редактор — парадный, в новенькой генеральской форме, при орденах и в особенно хорошо начищенных сапогах. Сидел и что-то проглядывал за столом.

Поздоровались, обнялись. Он был рад, что я вернулся,

но, судя по всему, именно в этот вечер ему было не до меня.

— Что ты собираешься делать? — спросил он.

Я сказал, что не могу дозвониться домой, посижу пока в редакции. И предложил ему посидеть вместе, закусить. У меня было кое-что с собой.

Он сказал, что рад бы, но сейчас должен идти в театр, в филиал Большого, на какую-то оперу или балет.

— Заехал сюда только бумаги проглядеть, нет ли чего срочного. Мне уже надо ехать. А ты сиди. Если хочешь, можешь лечь поспать здесь на диване.

Он показал, где у него в кабинете спрятаны подушка и одеяло, и уехал. А я остался сидеть один.

Вышел во двор редакции. Моросит мокрый снег. Вернулся.

Так и просидел часов до одиннадцати вечера, пока наконец не ответил мой домашний телефон. Было ощущение какой-то пустоты и собственной ненужности здесь, в Москве, чувство, что нет такого человека, которому ты был бы сейчас необходим. А ведь когда летел и была непогода, и летчик по дороге колебался, не сесть ли заночевать, не долетая до Москвы, я буквально задрожал, боясь, что заночуем и я из-за этого не попаду в Москву именно сегодня...

Прочитав сейчас эту запись в дневнике, мне захотелось рассказать о той женщине, которая, как только я осенью сорок второго года получил квартиру, поселилась у меня и вела мое хозяйство, в ту пору холостяцкое. Это она и ответила мне в тот вечер в одиннадцать часов по телефону, и сказала, что ходила к соседям, слушала вместе с ними радио, но колонка стоит нагретая. Приеду, можно сразу помыться. Думала, что я вернусь еще позавчера, уже третий вечер греет колонку.

Покойная Мария Акимовна взялась у меня хозяйничать, когда ей было сорок лет. Возраст, по моим тогдашним понятиям, уже пожилой. Она была родом из Херсона и называла себя приютской, оставшись сиротой, воспитывалась до революции в приюте. Какие-то родичи у нее были, но тогда, во время войны, она о них почти не вспоминала. Между ними и ею лежала какая-то обида, может быть, потому, что они в молодости не приютили ее и она, оставшись старой девой, всю жизнь прожила потом, как она сама говорила, «в людях».

Хмурая, некрасивая, с поврежденной в детстве ключицей — одно плечо ниже другого,— она по первому впечатлению казалась людям недоброй. Однако на самом деле была человеком золотой души и бескорыстно отдавала свои заботы всем, кто нуждался в ее доброте и помощи. При этом, однако, о каждом из этих людей она имела собственное суждение, вполне определенное, непоколебимое и в большинстве случаев справедливое. И суждением этим имела привычку делиться со мною. К женщинам бывала строга, но при этом внимательно приглядывалась к ним, как мне несколько раз казалось, мысленно прикидывая: на ком бы мне стоило жениться, если к тому пойдет дело, и на ком жениться никак нельзя и не надо. Мужчины у нее делились на штатских и на военных. Штатские, по военному времени, у меня в доме бывали редко, и, если это были люди нестарые, Мария Акимовна обычно после их ухода говорила что-нибудь неодобрительное: «Чего это он опять пришел-то? Чего ему в Москве надо? Ехал бы на войну»,— или что-нибудь другое в том же духе.

Всех одетых в военную форму она уважала за одно это и бывала озабочена, чтобы всех хоть чем-нибудь да накормить, сколько бы их и в каком бы часу дня и ночи ни заявилось в дом.

Она любила, чтобы они мылись и чтобы ночевали, хотя и то и другое доставляло ей много забот. Она любила чистоту и огорчалась, если двум гостям приходилось вытираться одним и тем же полотенцем и спать на одной и той же простыне. Полотенец и простынь у нас в хозяйстве было мало, и поэтому она только и делала, что стирала их.

Спешить она не любила, на часы не глядела и за временем вообще не наблюдала. Но когда бы ни явился в дом кто-нибудь из моих товарищей, одетых в военную форму, она с одинаковой готовностью начинала сразу собирать на стол.

Любила она их всех, но больше всех любила Алексея Александровича Суркова, за глаза называя его Алешей, и, когда его долго не бывало, скучала о нем и спрашивала меня: «Где же Алеша-то? Что-то его давно нету».

Когда я объяснял ей, что Сурков уехал на фронт, все равно оставалась недовольна: «Вы-то вот здесь, а он все там, пора б и ему...»

Во время своих приездов в Москву я обычно много

и быстро работал. Кончив одно, спешил сразу начать другое. Исходя из этого, Мария Акимовна составила собственное представление, как следует работать людям нашей профессии. Когда в мое отсутствие у меня прожил около двух месяцев один мой товарищ, писавший все это время по заказу политуправления военный киносценарий, Мария Акимовна, потом рассказывая мне о нем, была очень недовольна его работой:

«Спрашиваю его, как приехал: чего это вы делаете, Борис Романович? Говорит: сценарий пишу. Потом через месяц спрашиваю. Опять говорит: сценарий пишу. Уже перед тем, как вы приехали, спрашиваю: а теперь чего вы делаете, Борис Романович? А он все то же, про свой сценарий. Разве это дело? Столько времени все одно и то же писать. Разве это работа...»

Друзей моих она кормила чем могла и пускала ночевать и в мое отсутствие. Иногда пускала и тех, кого не знала, если у них была моя записка. Обычно так выходило в тех случаях, когда я оставался на фронте, а кто-то с фронта ехал в командировку или по вызову в Москву, не знал, где остановиться, и я давал ему на всякий случай записку к Марии Акимовне. Харчи, если было много народу, она делила справедливо, поровну. Но при этом всегда оставляла мне одному на утро тарелку супа и рюмку водки из какой-то своей вечной бутылки, которую она зажимала от всех, в том числе и от меня.

Истребить эту тарелку супа и рюмку водки накануне, с вечера, никому, в том числе и мне, не удавалось. Это был НЗ, который она железно оставляла мне на утро, как она выражалась, «для поправки», и объясняла: «Как же вы с утра работать будете, если горячего не похлебаете?»

Одинокая и бездетная, она в ту военную пору с поистине материнским бескорыстием поровну делила свою душу и свои заботы между всеми одетыми в военную форму людьми, надолго и ненадолго появлявшимися в моем доме.

И я вспоминаю сейчас о ней не только потому, что это часть моей собственной памяти о войне, но и часть общей памяти многих, теперь уже немолодых людей, до сих пор с благодарностью вспоминающих Марию Акимовну...

Вернувшись в середине апреля в Москву, я пробыл в ней не больше недели. Судя по одному, попавшему

мне сейчас на глаза документу того времени, после второй неудачной поездки на Южный фронт, из которой я привез всего-навсего один рассказ, редактор, раньше чем отправить в обещанный отпуск, решил все-таки сгонять меня накоротке еще в одну фронтовую командировку. Соотнося это намерение с характером редактора, думаю, что поездка предполагалась не в назидание, а для моей же пользы: наверное, он считал нужным, чтобы я перед длительным отпуском привез с фронта какой-нибудь оперативный материал. При наших дружеских отношениях, которых он, кстати, ни от кого не скрывал, редактор щепетильно соблюдал принцип: «Дружба — дружбой, а служба — службой». Отсюда скорей всего и возникла идея поездки, почему-то потом отпавшая.

После трех с половиной месяцев сокрушительных для немцев неудач на юге, собравшись с силами и нанеся нам контрудар под Харьковом, они выдохлись и были остановлены на той линии фронта, которая без изменений продержалась до новых летних сражений. Нечеловеческое напряжение этой зимы постепенно затихало. И наконец, в двадцатых числах апреля везде, кроме Северо-Кавказского фронта, наступило почти трехмесячное, самое длинное и глубокое за всю войну затишье, как бы перерубившее ее на две половины: первую и вторую.

Ортенберг дал мне отпуск, и у меня в дневниках есть запись, как именно это произошло.

...Я задумал написать повесть о Сталинграде, и Ортенберг отпустил меня в Алма-Ату.

— На сколько? — спросил я.

— Впредь до телеграммы,— сказал он.— Пока будет тихо, не трону. Пиши сколько влезет. Начнется шум, немедленно вылетай или приезжай, дам телеграмму...

В письме, отправленном в те же дни родителям, я писал, что собираюсь сесть в Алма-Ате за поэму о Сталинграде и что мне, наверное, удастся пробыть там месяц-полтора.

Не знаю, как объяснить это разноречие: с одной стороны, собирался писать повесть о Сталинграде, с другой стороны,— поэму тоже о Сталинграде. Скорее всего собирался делать и то и другое одновременно. Месяц-полтора отпуска по тому времени был такой большой срок, что казалось, все успеешь сделать.

Видимо, перед отъездом из Москвы я сам себя убеждал, что, хотя со времени окончания событий в Сталинграде прошло меньше трех месяцев, писать об этом повесть уже можно и пора! Свидетельством того, как я хотел тогда утвердиться в этой своей уверенности, служит сохранившаяся у меня стенограмма беседы с корреспондентом какой-то американской газеты, какой, не знаю, на копии стенограммы этого не написано. Хотя в беседе речь шла главным образом о «Русских людях», которых в то время ставили в Нью-Йорке, но думал я не столько о них, сколько о будущей работе.

«Вопрос. Считается непреложной истиной, что произведения, отражающие события истории, можно создавать только после того, как событие это уже отошло в прошлое.

Ответ. Возможно, конечно, что через десять лет я напишу об этом лучше, чем в «Русских людях», но у меня была необходимость писать именно сейчас, когда вопрос, который я ставлю, является вопросом дня, когда пьеса может повлиять на людей, которые ее сегодня посмотрят, а завтра пойдут на фронт. Для меня это интереснее и важней, чем если бы пьеса произвела впечатление на людей, для которых война будет уже в прошлом. Конечно, потом легче разобраться в последствиях войны, но когда находишься в гуще событий, то понимаешь их смысл лучше, чем когда находишься вдали от них. Я говорю не об общем философском смысле, а о конкретном смысле происходящего и о правде его.

Вопрос. Вы надеетесь, что благодаря вашей пьесе ваши американские друзья лучше узнают природу русского человека?

Ответ. Иностранными писателями и философами всегда бесконечно много говорилось о русской душе и об особенностях русского человека. Конечно, мне хотелось бы, чтобы американский зритель познакомился с особенностями русского человека. Но что до меня, то мне кажется, что все эти особенности сейчас сводятся к одной, свойственной пока на этой войне только русскому человеку: что он дерется не на жизнь, а на смерть. И я рад тому, что эта достойная подражания особенность будет перед глазами у американского зрителя.

Вопрос. Над чем вы сейчас работаете?

Ответ. Думаю написать повесть. Это будет моя первая крупная проза, и я отношусь к ней с некоторой ро-

бостью. Это будет повесть о штатском человеке, пришедшем в начале войны в армию, ставшем за войну заядлым воякой, но в глубине души продолжающем считать себя штатским человеком, ибо военным человеком он стал незаметно для самого себя».

Таким, судя по этому интервью, виделся мне перед началом работы главный герой повести «Дни и ночи» и так я пытался сформулировать тогда свое отношение к проблеме дистанции между тем, о чем ты пишешь, и тем, когда ты это пишешь.

Лежит на этом интервью и печать времени в более широком смысле. Это был конец апреля, впереди маячило третье лето войны, и я, наверное, как и всякий другой на моем месте, воспользовался возможностью еще раз напомнить американским читателям газеты, что мы ждем открытия второго фронта хотя бы на это, третье, лето!

С такими настроениями и мыслями я уезжал в Алма-Ату, где Столпер продолжал снимать «Жди меня», а Пудовкин, по слухам, не то заканчивал, не то уже закончил работу над фильмом «Русские люди».

Были у меня и личные причины поехать в отпуск именно в Алма-Ату, а не в какое-нибудь другое место. Я не хочу ни здесь, ни в дальнейшем касаться этих причин. Все сколько-нибудь существенное, связанное с моей личной, в узком смысле этого слова, жизнью в те военные годы, сказано в тех из моих стихов этого времени и первых послевоенных лет, которые впоследствии соединились в цикл «С тобой и без тебя», в наиболее полном виде напечатанный в моей книге «Тридцать шестой — семьдесят первый». Желающих прочесть отсылаю к этой книге стихов, потому что ни дополнять их чем бы то ни было, ни комментировать их у меня давно уже нет ни причин, ни желания.

Приехав в Алма-Ату, я сразу засел за повесть «Дни и ночи» и сидел и писал ее с утра до вечера, запершись, почти никого не видя и страшно спеша, не зная, сколько времени мне отпустит на эту работу притихшая, но все равно стоявшая за плечами война.

Только изредка, вряд ли чаще, чем раз в неделю, я отрывался и заходил на эвакуированную в Алма-Ату московскую киностудию.

Весна в Алма-Ате стояла довольно холодная. В не-

топленных, промерзших за зиму павильонах похудевший от систематического недоедания, как и все, кто был здесь, в тылу, Сергей Михайлович Эйзенштейн снимал своего «Ивана Грозного».

Все фильмы снимались тогда в тяжелейших условиях бедности, нехватки буквально всего необходимого для съемок.

Но для «Ивана Грозного» были созданы все-таки сравнительно лучшие по тому времени условия.

Мне не приходила тогда в голову мысль, что Сталин мог интересоваться фигурой Ивана Грозного и искать в ней себе исторических параллелей и исторического самооправдания за некоторые из событий недавних, предвоенных лет. Мне, тогдашнему, приехавшему с фронта человеку, по правде говоря, просто-напросто казалось странным, зачем и для чего во время войны снимается эта картина.

Все остальные кинематографисты тоже много работали, снимали главным образом военные картины и находили в этой работе, которую практически можно было делать, конечно, только здесь, в тылу, нравственное оправдание тому, что они не на фронте.

Большинство писателей было на фронте, и третья часть их — больше трехсот человек — к тому времени уже погибла. Оказавшиеся в эвакуации чаще всего чувствовали себя виноватыми. Иногда без вины виноватыми. Некоторые говорили, что хотят уехать на фронт, некоторые действительно уезжали. И в этом был нравственный климат времени воевавшей не на жизнь, а на смерть страны.

Чем дальше длилось затишье на фронте, тем больше росло ощущение тревоги перед надвигающимся летом. Об этом мало говорили, но я чувствовал, что другие люди, так же как и я, думают о возможности нового летнего наступления немцев и в душе боятся его. Боятся, помня два первых страшных летних немецких наступления в два первых года войны. И вместе с тем от непривычности такого длинного затишья порой против всех доводов рассудка начинало казаться, что оно никогда не кончится.

* * *

О моем возвращении из Алма-Аты в Москву есть коротенькая запись в дневнике.

...В середине июня получил телеграмму: «Возвращайся». Вернулся в Москву, ожидая, что последует немедленный выезд куда-нибудь на фронт. Но оказалось, что телеграмма была дана без какой-нибудь особенной причины. Просто Ортенберг решил, что меня слишком долго нет в Москве, вдруг рассердился и послал телеграмму. Я приехал и спросил, что делать.

— Ничего не делай. Продолжай, сиди пиши.

— Так чего же ты меня вызвал?

— А так, чтобы не говорили, что ты слишком долго в отпуску. Сиди здесь и пиши...

Я приехал в Москву накануне второй годовщины войны. К этой дате в парке культуры и отдыха была открыта выставка трофейной немецкой техники.

Халип сделал в день открытия один из лучших своих, полный внутреннего драматизма снимок: перед огромным, задранным к небу стволом захваченного нами немецкого дальнобойного орудия приехавшие на экскурсию из госпиталя бойцы в госпитальных халатах, на костылях.

На меня выставка тоже произвела сильное впечатление, и я написал о ней и в стихах, и в прозе, отдав и то и другое в «Красную звезду». Стихи — «Танк на выставке трофеев» — понравились больше и были напечатаны. Проза понравилась меньше и осталась в столе.

Но мне самому эта проза, наоборот, нравится больше стихов, и я приведу здесь две страницы из нее — те мысли о войне, которые приходили в голову накануне Курской дуги.

«...Того, кто видел дороги, по которым отступала немецкая армия под Москвой, того, кто видел поля сражений под Сталинградом, не удивит количество представленных на выставке трофеев.

Выставка эта — не склад разбитой немецкой техники, это только ее номенклатура. Но номенклатура такая подробная и точная, что она дает представление о всей мощи обрушившегося на нас удара, о всей продуманности его, о всей силе немецкой техники, о ее организации и взаимодействии. Когда проходишь по выставке, то думаешь о том, как хорошо (больше того — отлично) была налажена эта военная машина. Вот пикирующие бомбардировщики, обрушившиеся на нашу пехоту и

стремившиеся прижать ее к земле. Вот танки и самоходные пушки, которые прорывались через нашу придавленную к земле пехоту. Вот транспортеры и мотоциклы, на которых стремительно двигалась вливавшаяся в пробитую танками брешь немецкая пехота. Вот орудия, при помощи которых немцы штурмовали окруженные и обойденные танками города. Вот прозванный на фронте «рамой» за свой странный, похожий на букву П хвост двухфюзеляжный немецкий корректировщик «фокке-вульф», который корректировал огонь этой артиллерии.

Вся эта вместе взятая могучая военная машина предназначена для одного — для движения вперед и рассчитана на одно — на победу. Об этой машине нельзя говорить только как о прошлом, о ней нужно говорить сразу как о прошлом, как о настоящем и как о будущем. На этих трех этапах она встречает разное противодействие себе. Сначала ей учились сопротивляться, потом ее учились (и научились) бить, теперь ее предстоит разбить. Между словами «бить» и «разбить» есть большая разница. Это далеко не одно и то же. Немцы тоже нас били, и иногда били жестоко, но им не удалось и никогда не удастся нас разбить. Мы их били, нам предстоит их разбить во что бы то ни стало, и мы это сделаем. Выставка говорит о прошлом, но она прежде всего глядит в будущее.

Эти танки, разбитые и сожженные, эти пушки, искалеченные и захваченные целиком, эти самолеты, подбитые в воздухе и взятые на аэродромах, отнюдь не сняты с вооружения немецкой армии.

И если приятно вспоминать о том, что подбито и сожжено, то, может быть, менее приятно, но гораздо более важно помнить о том, что еще не подбито и не сожжено. И именно об этом прежде всего напоминает выставка.

Когда мы с радостью и гордостью вспоминаем о силе ударов нанесенных нами немецкой армии и ее технике, то для того, чтобы правильно судить и правильно готовиться к победному, но суровому будущему, нужно помнить еще одно обстоятельство — нужно помнить о силе ударов, которые в свое время немцы наносили нам, и о том, как мы сумели перенести их, как мы сумели оправиться после них.

Нет никакой нужды проводить прямые параллели. Немцы одно, а мы другое. Мы сильнее их духом, мы

сильнее их верой в победу, мы вообще сильнее их. Но следует помнить, что немецкая армия тоже сильная армия, что она тоже умеет оправляться от ударов, что она тоже стремится склонить военное счастье на свою сторону и делает для этого все возможное.

И потому все эти бесконечные типы танков, пушек, самолетов — все, что сосредоточено сейчас в парке культуры и отдыха,— это напоминание не о том, что нам угрожало, а прежде всего предупреждение о том, что немцы собираются угрожать нам впредь.

На выставке толпятся ребята. Они ходят вокруг самолетов, вокруг машин и с особенным удовольствием останавливаются не около целых, а около тех, которые избиты, продырявлены нашими снарядами. «Ух, как долбануло! — с восторгом говорят они.— Ишь как раздраконили!» Как свойственно детям, они думают прежде всего о том, что видят, уже о поверженном. Но мы не дети, мы должны думать больше о предстоящем, чем о минувшем, мы должны думать о том, чтобы детям, которые сейчас стоят вокруг этих разбитых танков, не угрожали больше другие, такие же, еще не разбитые.

Разбить то, что показано на выставке, было трудно, и слава тем, кто это сделал. Но самое главное — окончательная победа — еще впереди. И именно об этом, прежде всего об этом нам напоминает выставка...»

О моих настроениях того времени говорит и письмо, отправленное родителям через две недели после приезда в Москву:

«...Подлечиться и отдохнуть в Алма-Ате мне особенно не удалось... Я там все время работал. Написал около десятка стихотворений, а главное, написал две трети романа о Сталинграде, который сейчас вот сижу и доканчиваю. Написано у меня около пятисот страниц, осталось еще около двухсот, после чего из этого абсолютного черновика мне предстоит сделать более или менее окончательный текст романа. Это главное.

...По приезде в Москву получил две медали — за Сталинград и Одессу.

А теперь о вашем приезде. Безусловно, то, что все кругом едут, а вы не едете, кажется вам обидным и несправедливым, и даже, пожалуй, непонятным. Но я не могу не сказать вам о той злости, раздражении и удив-

лении, которые вызывает у меня нынешнее массовое паломничество в Москву. В самом разгаре тяжелейшая война. Она отнюдь еще не кончилась. Никакого договора о том, чтобы немцы не бомбили Москву, с ними не подписано и не будет подписано, и вообще война, при нашей безусловной окончательной победе, чревата еще тяжелейшими испытаниями. Я абсолютно не понимаю, зачем реэвакуация в Москву семей проводится в таких размерах. В этом, на мой взгляд, много легкомыслия. Конечно, воля ваша, и если вы твердо решите и не послушаете меня, то я сделаю так, чтобы вы приехали и остались в Москве. Но взываю к вашему чувству благоразумия. Во всяком случае, до зимы или до поздней осени этого ни в коем случае нельзя делать, ни к чему. Мне так же, как и вам, очень хочется повидаться с вами...

Никаких особых сборов вам проводить не надо. Следует взять с собой только то, что нужно, когда отправляешься в трехнедельную поездку.

Не нужно ничего рвать и ломать с работой, нужно просто поехать в отпуск, а там дальше видно будет.

...Не откладывая в долгий ящик, по получении этого письма и вложенных в него пропусков садитесь в поезд и приезжайте... Не смущайтесь трудностями пути, отсюда я отправлю вас в обратную дорогу как смогу лучше.

...Сейчас, когда наконец возможность увидеться так близка и реальна, я особенно остро почувствовал, как соскучился. Но только приезжайте скорей. В связи с работой над романом у меня сейчас такое время, что я, очевидно, при всех обстоятельствах числа до 20 июля буду безвыездно в Москве...»

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Мне казалось, что затишье еще продлится и я успею и дописать роман, и увидеться со своими стариками. Но вышло по-другому. Затишье кончилось раньше, чем они успели выехать в Москву; пришлось телеграфировать им на Урал, чтобы задержались, что я уехал на фронт.

О том, как все в один день перевернулось, есть запись в дневнике.

...Пятого июля я весь день писал, завалив телефон подушками. Кончил главу. Поздно вечером пришли поужинать несколько друзей. Вдруг в час ночи позвонил телефон.

— Соединяю с редактором!

Редактор сказал без предисловий:

— Выезжай на Центральный фронт.

— Когда?

— Сейчас. Машина подготовлена, через два часа придет за тобой. Халип будет в машине. Твоя командировка у шофера.

— А куда там являться?

— Поезжай, минуя штаб фронта, прямо в 13-ю армию, к Пухову. Долго не задерживайся. Посмотришь первые события и возвращайся. Сдашь корреспонденции и поедешь опять.

— А что происходит?

— Как «что происходит»? Сегодня утром немцы перешли в наступление по всему Центральному и Воронежскому фронтам, по всей Курской дуге. Поезжай.

Слова редактора произвели на меня впечатление вновь начавшейся войны. В этом не было логики, но чувство было именно такое.

Через два часа я выехал с Халипом, и, сделав 450 километров, мы к вечеру уже были на командном пункте у командующего 13-й армией генерала Пухова в маленькой деревеньке в районе Малоархангельск — Поныри — Ольховатка, где немцы наносили свой основной удар с севера.

Поговорив ночью с Пуховым, уже перед рассветом поехали в 75-ю Сталинградскую дивизию генерала Горишного, которая вступила в бой вчера утром: была введена из второго эшелона после того, как стоявшая перед ней дивизия была оттеснена и разбита во время первого натиска немцев...

Вот и вся запись об этих днях, оставшаяся в дневнике. Я, очевидно, ничего не успевал передиктовывать из блокнотов. Но сами блокноты частично сохранились.

...Пухов. Николай Павлович. Сорок семь лет. Крупный, тяжелый, лысый, неправдоподобно спокойный. Первую мировую войну закончил прапорщиком. Гражданскую войну — начальником штаба дивизии. Эту войну

начал командиром дивизии. Потом прямо с дивизии в командующие армией. Командует ею с января сорок второго.

Встретился со мной после ужина с солдатами-разведчиками, взявшими в ночь с 4-го на 5-е в плен немца сапера, рассказавшего о предстоящем наступлении.

Ужинал с разведчиками после их награждения. Рассказывал мне о них:

«4-го в 23.30 группа разведчиков взяла сапера, разминировавшего минные поля перед наступлением. Наткнулись на девятнадцать саперов, шестнадцать убили ножами и гранатами, двое убежали, одного взяли.

Учитывая ситуацию, то, что немцы разминируют свои заграждения, стали допрашивать сапера уже по дороге. Он на ломаном русском языке сказал, что в 3 часа начало наступления. Узнав об этом, я во втором часу ночи доложил Рокоссовскому.

У меня уже давно по нескольким немецким рубежам была запланирована на случай наступления немцев артиллерийская контрподготовка — тысяча стволов. Сигнал «лев» — по одному сектору, сигнал «барс» — по другому, сигнал «солнце» — бьют все стволы.

Командующий фронтом разрешил начать артиллерийскую контрподготовку до предполагаемого удара немцев. Конечно, риск большой, если бы сведения не оправдались. Но не принять мер — еще больший риск.

Дали команду и обрушили весь огонь на сосредоточившегося перед наступлением противника. Когда он после нашего артиллерийского удара все-таки начал стрелять, то, по нашим расчетам, из его артиллерийских полков била только половина. И в атаку они пошли вместо трех в пять тридцать...»

...В 75-й гвардейской Сталинградской дивизии генерала Горишного.

«Мы на данную минуту за эти дни 126 танков уничтожили, и это, учтите, только моя пехота и моя артиллерия. Я хлеб у танкистов отбивать не хочу, свой хлеб ем. Тут ко мне одна танковая бригада пришла в критическую минуту. Является командир, говорит: «Явился в ваше распоряжение». А у него танки большею частью легкие, Т-70, а тут на нас больше 200 немецких танков идет. Так я отказался от его помощи, сказал ему: «Сиди пока, зачем зря губить бригаду. Обойдемся сами. Мы

же все-таки государственные люди, одна легкая бригада уже и так погибла».

...По краю оврага, в склон которого врыт наш наблюдательный пункт, бьет немецкая артиллерия. «Целым дивизионом лупит. Ну-ка вызови начальника артиллерии, чтобы засек мне этот дивизион».

«Вот эти низинки впереди мы уже назвали оврагами смерти. Вчера немцы выдвинулись вперед по этим оврагам, залегли и ждут своих танков. А мы их танки задержали огнем, и их пехота лежит и ждет. А мы тем временем подвезли бригаду «катюш» и накрыли сплошняком все эти овраги».

Генералу дают трубку, и он говорит в нее начальнику артиллерии:

«Слушай, Далакашвили, что же ты, в самом деле, допускаешь, что меня немец на командном пункте 150-миллиметровыми снарядами беспокоит?»

Положив трубку, замечает мне о своем начальнике артиллерии:

«Ох хороший человек, и смелый, и исполнительный. Только одно нехорошо: грузинская деликатность к людям его подводит. Деликатный, боится человека обидеть, боится на слово не поверить. А у нас ведь деликатность не очень понимают».

Бой заметно разгорается. Артиллерия бьет и справа и слева. Горишный показывает мне по карте.

«Днем не будем трогать эту лощинку, пусть лезут в нее. Самый удобный подход к нам — по ней. Чем больше за день наползут, тем лучше. Не будем пока трогать ее. Будем ее беречь. А вечером жахнем по ней из «катюш».

Вы знаете, вчера под вечер немцы до того густо на нас пикировали, что один сбросил бомбу на другого. Тот рассыпался буквально в порошок, а сопровождавший истребитель от взрывной волны перевернулся в воздухе и врезался в землю».

Ему докладывают, что убили командира батальона. Спрашивает, вывезли ли тело.

«Ну что ж, памятник поставим».

«Только временный, товарищ генерал, фанерный, другого не поставишь».

«Ничего. Будем иметь возможность, и мраморный поставим. А пока обозначим хоть этим, чтобы было известно: погиб здесь в бою с немцами хороший человек».

Вдруг вспоминает о потерях первого дня:

«Я понес потери до 2000 человек и потерял 48 танков. Люди, я вам просто скажу, умирали за пушками, но, в свою очередь, 50 немецких танков набили».

Приходит ординарец, приносит котелок молока. Сам надоил где-то тут в кустах от брошенной коровы. Пьем молоко. Мимо командного пункта несут на носилках раненого капитана.

Сверху, из корпуса, сообщают, что через наш участок идет 200 наших самолетов бомбить немцев. И в самом деле скоро они появляются над нашими головами. Все небо над нами в разрывах немецких зениток. Немцы начинают бить заранее, еще над нашими позициями, и чтобы пораньше встретить огнем наши самолеты, и чтобы заставить их спутать, где истинный передний край, и отбомбиться по своим.

Вслед за нашим налетом — немецкий. Первый был в пять утра. Второй — в девять. Этот — третий.

Начинается танковая атака. Немецкая артиллерия опять бьет по нашему оврагу.

По донесениям, в поле нашего собственного зрения и вне его на участок дивизии идет 250 танков.

Горишный говорит:

«Вчера бились с 31-й панцирной. Считаю, что в основном вывели ее вчера из строя. Интересно, с кем сейчас имеем дело».

Потом звонит командиру полка:

«Борисов, у тебя сейчас наступает веселая минута, имеешь возможность отличиться».

Потом звонит в другой полк:

«Слуцкий, как у вас дела? Отлично?.. Что отлично? Подождите давать себе оценку, докладывайте обстановку».

Через час этот же Слуцкий доносит, что перед его участком сожжено и подбито 28 танков.

Опять идут «юнкерсы». Один сбили. Он падает дымясь. Летчик выбросился, его ветром несет вперед, в самую кашу боя. Над головами идут наши «бостоны». Немцы сбили один зенитным огнем, очевидно, прямое попадание. Никто не выпрыгнул. Самолет камнем пошел вниз.

Пока, по донесениям, за сегодня сожжено и подбито 58 танков, а еще не вечер. Танковая атака заглохла. Долгая пауза. Только бьет со всех сторон артиллерия.

В 4 часа немцы снова нас бомбят. В 4.30 мы их бомбим.

В 5 — снова они. А в 6 часов они сбрасывают 12 парашютистов над самой линией фронта. Ветром их относит за передний край, туда, к немцам, обратно. Что все это значит, неизвестно.

Исходя из этой дневной попытки немцев сбросить парашютистов, ночью можно ожидать диверсионного десанта. Отдан приказ готовиться к этому.

Новое донесение, что 30 танков наступает на наш правый фланг.

Стоит сплошной грохот. Немцы уже второй раз прочесывают с воздуха передний край, пытаясь подавить нашу противотанковую оборону. На правом фланге нервничают, просят поддержать огнем тяжелых «катюш». Но Горишный отказывает: «Подождем с этим». Поворачивается ко мне и говорит: «Уже не первый, но, видимо, не последний день боев. Приходится заниматься бухгалтерией. Что стоит дорого, что подешевле».

Звонит в корпус. Просит поддержать его с воздуха. Через двадцать минут в ту сторону идут наши штурмовики. И почти одновременно немцы начинают бомбежку нашего командного пункта. Взрывы все ближе и ближе, почти ничего не слышно.

Телефонист во весь голос, но спокойно кричит в телефон по слогам: «Од-ну ми-ну-ту, не слы-шу»,— даже не добавляет при этом, что бомбят, само собой подразумевается.

Новые доклады о подбитых и сожженных танках.

«Кажется, на сегодня обстановка несколько разряжается,— говорит Горишный.— Почему? А ты разве сам нюхом не чувствуешь?» Молчу. Я, откровенно говоря, этого еще не чувствую. Особенно сейчас, натерпевшись страху во время бомбежки.

С левого фланга доносят, что подбито еще 14 немецких танков.

Над головами снова проходят в сторону немцев «бостоны». Начинает чуть-чуть темнеть. Поскорее бы ночь!

По дневным подсчетам выходит, если свести воедино разные донесения, что всего уничтожили 120 немецких танков.

Горишный крутит головой: «Много! Это двойная бухгалтерия. Надо разделить ее пополам. По бою чувствую,

что шестьдесят, безусловно, набили. Может быть, семьдесят, а больше навряд ли».

Все заметнее темнеет, все заметнее затихает бой.

Горишный пьет из котелка остатки молока, молчит. Потом вдруг говорит:

«Еще в затишье, когда мы только сюда прибыли, немцы узнали, бросили листовки. Среди всего прочего написали: «Германскому командованию известно, что на Центральный фронт прибыли сталинградские головорезы. Скоро встретимся с вами!» Ну что ж, встретились».

Говорит эту фразу задумчиво, без вызова, просто как о факте, который неизбежно должен был свершиться. Потом вдруг вспоминает:

«Между прочим, нашей дивизии выпала такая судьба, что мы в Сталинграде самый последний выстрел дали в районе завода «Баррикады»...»

Ему приносят сводки, но он держит их в руках, не читая, и, кажется, думает уже не о сегодняшнем, а о завтрашнем дне. Потом устало говорит мне:

«Ночи такие короткие, а заснуть сразу не могу. А днем потом иногда так спать хочется, что только кофеин выручает...»

Эта запись в блокноте, наиболее связная, дает некоторое представление о том первом дне, когда я попал в дивизию Горишного и пробыл там с утра до вечера на наблюдательном пункте.

Записи, сделанные в следующие дни боев на Курской дуге, разбросаны по разным блокнотам. В один из этих дней, сейчас уже не помню в какой, мы с Халипом рано утром уехали из дивизии Горишного в другое место, под Поныри, где в тот день особенно ожесточились бои. Были там на участке, где воевали 307-я стрелковая дивизия генерала Еншина и танковая бригада полковника Петрушина.

Подробностей этого дня не помню. Помню только, что весь день одно громоздилось на другое и несколько раз казалось, что вряд ли останемся целы.

И еще хорошо зрительно помню тогдашний вид Понырей, за которые шел бой: разбитые станционные здания, торчавшую, как палец, уцелевшую водокачку.

Ночью снова вернулись в дивизию Горишного и еще два или три дня были в ней.

В блокнотах все перемешалось. Дневные записи на наблюдательном пункте у Горишного и ночные, когда я ходил в полки и батальоны и записывал разные солдатские впечатления о событиях дня.

Халип ночами спал на НП, ночью ему делать было нечего — снимать нельзя. Зато днем рисковал намного больше меня, стараясь снять побольше «тигров» и «фердинандов», подбитых и сожженных на переднем крае.

Сделанные мною ночью в полках записи при всей их разрозненности и отрывочности все-таки дают известное представление о том напряжении, в котором изо дня в день находились люди.

...Стась, Петр Сергеевич, сибиряк; до армии — слесарь, пэтээровец. «Перед боем меня приняли в партию. Я, конечно, поклялся оправдать. Окопы были неважные, мелковатые. У меня с собой большая лопата. Не бросал ее никогда. Она бронебойщику необходима. Хорошо, что нас до этого танками обкатывали. Начал бить по первому танку только метров с двухсот. Танк средний. С первого выстрела его остановил, со второго — поджег. Когда немцы выскочили, их наши автоматчики срезали. А «тигры» от других танков отличаются здорово. Я по ним бил и сбоку, и сзади — не пробивается! Подбил, правда, еще бронемашину, на ходу в нее не попал, а когда остановилась, зажег...»

Солдатские шутки о «катюшах». В момент расчехления: «катюша сняла штаны и дает!» Во время залпа: «катюша уши продувает немцам, а то заложило небось!»

...Сулейманов, Кзыл-Ордынской области, 24-го года рождения. В бою первый раз. «Думал, танка страшно. Нет, не так страшно. Наша отступал, за ним немецкая танка, двадцать танка. Со мной второй номер старик был, старичок. Он раненый был, в госпиталь ушел. Я один с бронебойка остался, воевал ничего». И вдруг, когда мы закуриваем, у него в руках оказывается открытка, написанная по-казахски. Говорит по-детски: «Есть письмо от мамы».

...Федор Андреевич Моджонок, из Приморья, дальневосточник. Девятнадцать лет. Отличный стрелок, первый номер бронебойки. 7-го сбил «юнкерс». «Они в пике пошли, один за другим. Мы стреляли, не попали. Они стали выходить в пике, один ко мне боком оказался.

Я выстрелил — и попал. Как раз очко — на двадцать первом патроне. И он кувырнулся с трехсот метров».

...Саидов, узбек из Чарджоу. Санинструктор. В боях впервые. «Когда наши отступили, я перевязывал раненого. Потом увидел пушку. Около нее только один старший лейтенант. Я подошел к нему. Мы подожгли с ним танк. Старшего лейтенанта ранило. Он пополз в землянку. Я продолжал стрелять из орудия. Я раньше пять месяцев учился в училище. А в санинструкторы потом попал, потому что до армии фельдшером был. Четвертым снарядом попал в танк. Потом снаряды — все! Старший лейтенант не дополз до землянки. Я его дотащил до землянки, перевязал. Подождал немножко, посидел. Потом какие-то бойцы подошли, и мы с ними пушку вытащили. Все это — и пушка, и старший лейтенант,— все это было не нашей части, какой-то другой...»

...Петр Никитович Плотников, из Алтайского края. Старший лейтенант. Командир 120-миллиметровой минометной батареи. «Под сильной бомбежкой выбыло из строя четыре миномета, но надо было стрелять, и я тут же приказал сделать замену частей, из четырех разбитых минометов собрал два целых там же, на месте. Заняло это полтора часа. Потом из них опять били...» Хотя и старший лейтенант, но совсем мальчик, только девятнадцать лет. Еще молодым человеком, 29-летним, когда-нибудь вспомнит о том, что было целых десять лет тому назад...

...Сержант Петр Михайлович Попов. Уралец, из Златоуста. 14-го года рождения. Командир орудия в противотанковой полковой батарее. «Левей зашел танк «тигр» и ударил в нас, попал прямо в заряжающего Кузнецова. На куски. А наводчику Чеботареву оторвало ногу. Он только попросил меня: «Петя, отомсти»,— и все, и умер. Одну станину перебило, а меня только подбросило в воздух и в бок контузило. Орудие уже не было силы повернуть, потому что остальной расчет ушел за снарядами. Я оттащил от станины мертвого, подобрал четыре снаряда и ими бил. Подносчик Кожулин принес в эту

минуту снаряды. Я его опять послал за снарядами и остался один. Тут пошли в новую атаку средние танки. Снаряды были не бронебойные. Бить в башню бесполезно. Я бил в гусеницы. С подбитого танка соскочили и пошли вперед автоматчики. Я заряжал. В это время сбоку под колеса орудия попал снаряд и совсем добил орудие. Я снял прицел, взял автомат и пошел к своим. Потом, в конце боя, мы еще стреляли из 76-миллиметровой пушки, мне незнакомой, кем-то брошенной. А две пушки в нашей батарее были с первых минут, с самого начала выбиты...»

...Солдаты говорят между собой про приказ из дивизии, что ждать сегодня ночью парашютистов. Гадают, будут они или не будут, эти парашютисты...

...Предлагаю комбату, который сказал про себя, что он москвич, взять от него записку в Москву, говорю, что через несколько дней буду там. Отказывается. «Я сам могу написать в Москву, но не хочу».— «Почему?» — «Там у меня родные жены, а ее сегодня убило». Молчит, ничего не добавляет про жену. Кто она была? Связистка? Медсестра? Санитарка? И до этого про гибель жены не сказал ни слова, перечислял только отличившихся в бою своих солдат...

...Пришел маленький почтальон, интеллигентного вида человек в очках. «Почтальон, а почтальон, письмеца нету?» — «На его, держи».— «Спасибо! А то до завтрашнего вечера чересчур долго ждать». Шутят без горечи, но за шуткой все равно мысль: доживешь ли?

...Замполит дивизии Илья Архипович Власенко, с которым вместе пришли в полк, спрашивает командира полка: «Ну как воюешь, Юра?» — «Хорошо».— «Ну ладно. Покрывай старый грех».— «Да что же грех, товарищ полковник? Грех уже покрыт».— «Как же так покрыт?» — «А так. Мне сообщили из второго батальона, что этот цыган туда вернулся».— «Не врешь?» — «Ей-богу».— «Ну и где же он? Где этот цыган? Ты его сам видел?» — «Нет, пока не видел. Верю докладу».— «А ты на него все же своими глазами посмотри и еще раз мне доложи. Вот тогда и я поверю. Тогда и грех снимется,— говорит Власенко и, обращаясь ко мне, объясняет: — За все последнее время единственный в полку дезертир в его втором батальоне. Вот это и есть грех. А теперь уверяет, что и он вернулся. Может быть, и правда...»

...Командир полка Маковецкий ночью пошел на передовую показать, где нужно ставить дополнительные минные поля. Вдруг навстречу идет человек. «Стой! Кто идет?» Тот: «Хальт!» А сам руки вверх. Оказался фриц. Этого пленного, взятого командиром полка, вместо штаба повели прямо в санчасть, он был раненый. Повел его туда, в санчасть, по своей инициативе адъютант командира полка. Вернулся на командный пункт без пленного. «Где пленный? — спрашивает Маковецкий.— Голову сниму! Где он?» Лейтенант побежал обратно в санчасть. Там сидит очередь раненых, ждут перевязки, и между ними немец. Все так устали после боя, так мучаются со своими ранами, что никто даже не замечает, что между ними сидит этот немец...

Вот и все записи, сделанные в блокнотах в те короткие июльские ночи в полках и батальонах дивизии Горишного.

С тех пор как я напечатал их в журнале, из всех солдат пока откликнулся только тот девятнадцатилетний дальневосточник, который рассказывал мне, как он сбил из своей бронебойки «юнкерс»:

«Константин Михайлович, прошу прощения, что пишу Вам это маленькое письмо, но вынужден. Пионеры и школьники разыскивают участников войны, и я попал в такое неловкое положение: ко мне приезжает делегация школьников расспрашивать о войне, я рассказал им о битве на Курской дуге, и вдруг один мальчик задает мне вопрос — а Вы Симонова видели? Я ответил — нет. Тогда подает мне журнал «Дружба народов» № 5, открывает стр. 53 и читает строки, написанные Вами обо мне, где я сбил немецкий самолет с ПТРа в районе Поныpей. Я начал вспоминать, и мне пришла в голову мысль, что, помнится, к нам в траншею зашел офицер с полевой сумкой и начал расспрашивать о боевом сражении дня. Дети спрашивают, как он был одет, какого роста и много других вопросов. Я рассказал, что Вы в то время были капитан или ст. лейтенант — не помню, с полевой сумкой офицера, среднего роста, смуглый.

Несколько слов о себе: войну закончил за Берлином в войсках Рокоссовского, трижды ранен и один раз контужен, имею два ордена Отечественной войны и многие медали. Демобилизовался в 1947 году, вернулся в род-

ное село Приморского края, работаю в сельском хозяйстве, семья уже выросла, и мы остались вдвоем со своей супругой, здоровье нормальное, в декабре 74-го года отметил свое пятидесятилетие со дня рождения. Многое пришлось вспомнить. Между прочим, я на другой день подбил танк и самоходную мину, ее тогда впервые немец применил в районе Понырей. Мой второй номер Семеньков Владимир Сергеевич тоже остался жив, мы с ним ведем переписку.

С уважением к Вам Модженок Федор Андреевич, житель Дальнего Востока, Приморского края, Шкотовского р-на, с. Петровка».

Я был рад получить это письмо. Записи в блокнотах велись тогда по ночам, наспех, и можно сказать — на ощупь. И, разбирая потом свои закорючки, я часто думал, что люди могут не найтись не только потому, что погибли, но и потому, что я неточно записал или неточно потом прочел свои тогдашние записи имен и фамилий.

Оказывается, в данном случае я спутал в фамилии солдата всего одну букву: записал на слух — Моджонок вместо Модженок. А он понизил меня из подполковников в капитаны. Не мудрено и то и другое — траншея, ночь и всего несколько минут мимолетного разговора...

Записи, сделанные тогда в полках, главным образом, как я уже говорил, по ночам, перемежаются с записями, сделанными на наблюдательном пункте командира дивизии, днем.

...«Как у тебя, Маковецкий?» — «Ничего, хорошо».— «Первое слово отбросим. Остается «хорошо». А теперь доказывай: что же именно у тебя хорошо? И сколько вы пехоты положили?» — «До двух рот».— «Мало. Я требую от тебя, чтобы вся их пехота, которая зашла в балку, из нее не вышла. Ни вперед, ни назад. Подготовь минометный огонь всех средств по обратному выходу из балки и жди, когда они покажутся, когда пойдут назад».

Но пехота немцев из оврага пока не выходит, ждет. Там же, в овраге, укрылось и около тридцати танков. Доносят, что в 12.30 авиация зажгла пять из них.

С авиационного наблюдательного пункта доносят, что

наша авиация пошла тремя группами: одна бьет по пехоте, вторая по танкам, третья пошла вглубь.

Адъютант объясняет кому-то по телефону: «Это говорит сынок хозяина».

Начальник оперативного отделения вернулся из полка Маковецкого. «Ну как там Маковецкий?» — спрашивает Горишный. «Как всегда, невозмутим».

«Хвалю 86-й гвардейский минометный,— с удовольствием говорит Горишный.— В воздухе над ним висит шестьдесят самолетов, а они выезжают на открытую огневую и лупят. Будь любезен! Храбрецы!»

Видно, как бьют тяжелые эрэсы. «Вот это я понимаю, подарочки пошли,— говорит Горишный,— красивая песня!»

Горишный берет бинокль и рассматривает что-то впереди. Потом передает мне. «Видите вон ту высоту перед нами? Пока вы у танкистов были, он туда до черта самолетов бросил. Сейчас высота ни наша, ни их. Да и что там от высоты осталось? Ни травы, ничего».

Доносят, что на левом фланге немцы сосредоточиваются для танковой атаки. «Говорят, что хороший кусок хлеба идет — целых сто танков. Ну, видимо, приврали наблюдатели, значит, считай, семьдесят...» После этого он передает несколько команд артиллеристам. «Сейчас, когда они пойдут, я сотворю там немцам одну петрушку».

Майор Слуцкий с левого фланга через два часа после начала немецкой танковой атаки доносит, что она отбита. «Да,— удовлетворенно говорит Горишный.— Сегодня имеет место хорошее взаимодействие пехоты, танков и авиации. А почему? А потому, что вчера весь вечер заранее производили пристрелку рубежей. Что меня радует сегодня — отсутствие обоюдных жалоб родов войск».

В самый разгар событий Власенко звонит по телефону в тыл дивизии и требует от кого-то: «Организуйте хлорирование воды».

Начинают подводиться итоги сегодняшнего дня. Уничтожено 63 танка и до полка немецкой пехоты.

«Прокурор, а прокурор,— поддразнивает Горишный появившегося на НП прокурора дивизии.— Я вчера вечером видел, как ты шел, и сразу почувствовал: ты вчера свои сто граммов выпил. И обрадовался».— «Почему обрадовались?» — «А потому обрадовался, что раз

уж прокурор свои сто граммов выпил, значит, у нас, безусловно, все по закону, значит, у него все до последнего бойцы по всей дивизии свои положенные сто граммов выпили. Так это или не так? — Горишный обращается к появившемуся под вечер на НП заму по тылу: — Проверь по полкам, как с харчами и с водкой. Имей в виду, пока от тебя не узнаю, хотя бы глядя на ночь, что бойцы водку выпили и горячим закусили, свой чемодан не расстегну. А выпить сто граммов сегодня что-то самому охота».

Напряжение к вечеру спадает. День заканчивается шутками, в которых сразу все — и удовлетворение, и усталость...

Я не нашел этой записи в блокнотах, но очень хорошо помню то утро, когда немцы прекратили наступление на участке 75-й гвардейской. Мы сидели на наблюдательном пункте и ждали, что вот-вот снова начнется. Ждали час, потом еще час... Потом Горишный вдруг сказал фразу, которая в первую секунду показалась мне странной:

«Боюсь, не пойдут они сегодня на меня».

Я не понял и переспросил. И он спокойно, как маленькому, стал объяснять мне, что его дивизию сегодня поддерживает восемь артиллерийских полков и чем больше он перебьет наступающих немцев, тем ему легче будет потом, когда самому придется наступать на них. И я запомнил то утро и эту фразу, потому что она была связана с внезапным и острым ощущением, что немцы уже ничего не смогут с нами сделать.

У меня, как и у многих других переживших сначала страшное для нас лето сорок первого года, потом почти такое же страшное лето сорок второго, оставался еще какой-то осадок удивления, что вот мы, те самые, которых так давили и гнали перед собой немцы, вдруг начали их побеждать. Теперь этот осадок наконец исчез. И то, что немцы не могут ничего с нами сделать, и то, что мы бьем их, наконец в порядке вещей.

Убедившись, что на участке 75-й гвардейской дивизии наступление немцев не то прекратилось, не то прервалось, я в соответствии с полученным перед отъездом приказанием редактора решил возвращаться в Москву, отписываться. Но перед этим мы с Халипом решили еще

раз заехать в район Поныpей, побывать во второй раз в танковой бригаде Петрушина, стоявшей там в обороне. Мне хотелось добрать там еще материала для очерка о танкистах, и я это сделал; в часы относительного затишья записал со слов командира танка Т-34 Алексея Ерохина рассказ о его первой встрече здесь, под Понырями, с новыми немецкими тяжелыми танками и самоходками.

...Ерохин Алексей, 23 года, круглый сирота, воспитывался в детдоме. Командир танка. Доволен тем, что приспособился жечь «фердинанды», которые в первый день боя казались неуязвимыми.

«...В первый день немецкого наступления, уже ближе к вечеру, мы занимали исходные позиции для контратаки. Я шел в головной походной заставе, ведущей машиной. Била артиллерия, но немецких танков не было видно. Поставил танк в кустах и залез в окоп к пехоте расспросить, что они наблюдают. Обижаться не приходится — пехота видит лучше нас. У нас щель в броне, а у нее весь мир перед глазами. Только начали говорить, слышу, слева, где оставил танк, сильный треск, как от выстрела, и взметнулась полоса пыли. И еще раз. Пока бежал к танку, слышу, третий удар, опять пыль по земле, а сзади нас в стенку станции врезался снаряд. Теперь уже понял, что это бьет немец, а пыль оттого, что снаряд идет из танка прямой наводкой по самой низкой траектории и от силы его полета взлетает над землей пыль.

Вскочил в танк, мы развернулись. В это время четвертый снаряд ударил близко от нас в кусты. Встав в башне, я сразу увидел и наши танки, подходившие сзади, и впереди показавшуюся из-за гребня холма немецкую машину. Танк не танк, но здоровая коробка! И чувствуется по тому, как снаряды летят, бьет подходяще!

Прикинули с башнером, со Степаненко, дистанцию — 1400 метров, бить можно!

Дал первый выстрел и сразу попал немцу в лоб. Но, чувствую, бесполезно. Не задымил и не остановился, а только стал потихоньку пятиться за холм.

Второй снаряд я промазал, а третий опять влепил в лоб. И снова без результата. Тогда я сманеврировал по кустам, вышел ему немного вбок и стал гвоздить сна-

ряд за снарядом. Он, пятясь, поворачивался, и мои снаряды попадали в него все под лучшим углом. На шестом снаряде он, правда, не вспыхнул, но от него пошел легкий дым.

Я воюю третий год и уже заимел привычку, если в танк попал, не успокаиваться, бить еще, пока факел не будет.

Пока немец скрылся за гребнем, я вогнал в него еще пять снарядов. Но только через несколько минут после этого увидели за гребнем столб дыма...

Мы передали об этом назад по радио, что путь пока свободен...»

Пропущу несколько страниц о дальнейших подробностях этого боя, в результате которого отползшая за гребень и загоревшаяся там «здоровая коробка» — немецкое самоходное орудие «фердинанд» оказалось на ничейной земле перед нашим передним краем. Перейду сразу к концу рассказа Ерохина:

«...К ночи все затихло. Перекурив в ладошку, мы с башнером решили поглядеть на это немецкое чудо. У меня был особый интерес. Еще одной ихней машине я в дальнейшем бою, с короткой дистанции, все-таки почувствовал, что пробил борт! А про первую держал в сомнении. Мне казалось, что не пробил я ей броню. Так чего ж она загорелась? Почему? Я это хотел непременно узнать перед завтрашним боем.

Мы добрались уже глубокой ночью, и, представьте себе, что оказалось: не пробил я ее своими снарядами, ни одним! А все же она сгорела. В броню в самой середке, выше ходовой части, врезались прямо рядышком четыре моих снаряда, сделали язвы в кулак, но броню не пробили.

Стали разбираться, влезли внутрь через задний люк и вроде поняли — против того места, куда я бил, изнутри закреплены дополнительные баки с горючим. И когда я ударил несколько раз по одному месту, то, наверно, от силы ударов, от детонации, начался пожар.

Потому сначала и показался только слабый дым — корпус плотный, пробивного отверстия нет, дым сперва только просачивался, а потом уж факел!

Мы со Степаненко ощупали всю броню кругом и убе-

дились, что в лоб ее не возьмешь, а в борт с близкой дистанции можно, а если попасть в это место, где баки, то можно зажечь и с дальней...

У нас, между прочим, в первый день это начальству не понравилось, когда мы стали звать новые немецкие машины «тиграми» и «пантерами» — вроде сами на себя страх наводим! Сделали замечание. Зачем это: «тигры» и «пантеры»! Называйте их по маркам: Т-5, Т-6, «фердинанд».

Но когда потом стали их жечь, то разговора про названия уже не было. «Тигр» так «тигр»! Даже складней рассказывать, что «пантеру» или «тигра» уничтожил — как будто не на фронте, а в Африке...»

Перечитывая рассказ Ерохина о его первой встрече с «фердинандом» и заново, теперь уже издалека, вглядываясь в те переломные дни, хочу напомнить, какие большие надежды связывало немецкое командование с этим первым массовым применением новых машин.

«Мои солдаты! Теперь наконец у вас лучшие танки, чем у русских! — писал Гитлер в обращении к солдатам накануне битвы на Курской дуге.— Могучий удар, который настигнет сегодняшним утром советские армии, должен потрясти их до основания. И вы должны знать, что от исхода этой битвы может зависеть все».

В исторических сочинениях о Курской дуге перечислено все, в чем просчитались и что недооценили Гитлер и его генералы, приступая к своей операции «Цитадель».

С писательской точки зрения хочу заметить, что вдобавок ко всему прочему Гитлер недооценил еще и личность Ерохина, который после тягчайшего во многих отношениях, в том числе и в психологическом, первого боя пополз с риском для жизни на ничейную землю выяснять, почему же все-таки загорелся так и не пробитый его снарядами «фердинанд» и как быть с этими «фердинандами» завтра — куда, в какое место лучше их бить?

И пополз не один, а вдвоем со своим башнером Степаненко, личность которого Гитлер тоже недооценил.

В тот день, когда я говорил с Ерохиным, немцы здесь уже не наступали, но вели частый беспокоящий артиллерийский огонь по нашим коммуникациям, подходившим к Понырям. Сюда, в бригаду, мы благополучно про-

скочили, а о том, чем кончился этот последний день нашей поездки, есть запись в дневнике.

...Мы провели у танкистов целый день, а ночью, около 12-ти, выехали обратно. Днем выбраться оттуда было нельзя. Сначала пошли пешком, потом сели в стоявший в укрытии «виллис», на котором сюда приехали. Я сел с водителем, а Халип и офицер связи, который должен был показать нам дорогу, сзади. Из укрытия выехали сначала в поле, а потом дорога пошла через довольно густой лес.

Когда, по моим расчетам, мы были уже в 3—4 километрах от переднего края, я велел водителю зажечь фары. Дорога была вдребезги разбита, кругом деревья, и я боялся, что мы свернем себе шею. Водитель зажег фары, и мы на большой скорости поехали через лес. Вдруг раздался тяжелый взрыв. Где-то сзади и так близко от нас, что я ощутил спиной толчок воздуха. И сейчас же второй разрыв, впереди нас, довольно далеко.

Водитель продолжал гнать машину, не гася фар, когда третий тяжелый снаряд разорвался совсем рядом. Над нами с визгом прошли осколки. Водитель затормозил и выключил фары. Но еще прежде, чем он затормозил, сидевший сзади меня Халип от удара воздухом вылетел из машины и упал на землю. Мы помогли ему вскарабкаться обратно в машину, и водитель поехал медленно в полной темноте, которая после света фар казалась совершенно непроницаемой.

Разорвался еще один снаряд, тоже довольно близко. Я приказал водителю включить фары и гнать вперед, подумав в эту секунду, что если нас засекли по свету, то теперь, независимо от того, будем мы светить или нет, начнут класть снаряды кругом. Выбираться со светом будет и быстрее, и менее рискованно.

Мы погнали машину вперед с полным светом и, очевидно, были правы: еще несколько снарядов легло позади.

Минут через сорок мы добрались до редакции армейской газеты, где оставалась наше «эмка». Офицер связи простился с нами и уехал.

В редакции все уже спали, кроме редактора, очень расстроенного какими-то своими служебными неприятностями. Он был рад нам, вытащил разведенного спирта и сковороду холодной картошки. Когда мы сели ужинать,

выяснилось, что Халип есть не может: его слегка контузило и теперь подташнивало.

Редактор рассказывал о местных журналистских обидах и расспрашивал меня, кто где находится, кто что делает и кого из газетчиков я встречал в последнее время в Москве. Расспросы продолжались часа полтора, пока наш редакционный водитель спросонок заправлял машину и укладывал в нее запасные канистры и корреспондентский скарб.

Когда мы выехали, уже светало. Я решил во что бы то ни стало добраться в этот же день до Москвы. Приходилось делать петлю: сначала выезжать из Курской дуги на восток, потом через Ливны к северу, затем выбираться на шоссе Орел — Тула. Ехали по выбитым дорогам, долго, безостановочно. Только два раза останавливались на минуту-на две по житейским причинам и один раз на десять минут, чтобы перекусить. И все-таки к вечеру были в Москве.

Вся поездка, начиная с отъезда из бригады Петрушина, казалась чем-то сплошным, вначале были лес и разрывы снарядов, а в конце — Ленинградское шоссе и на всякий случай натопленная Марией Акимовной колонка, ужин у себя дома, чистое белье...

Спрашивается, почему в дневнике оказалась только одна эта запись, связанная с теми днями? Наверное, потому, что все остальное, записанное в блокнотах, все, что видел и слышал, я собирался вложить в написанные по горячим следам корреспонденции. А эту запись о себе и о нашем возвращении для памяти сделал, зная заранее, что в корреспонденции ей не место.

Я уже говорил о той мгновенности переходов из горячего в холодное и обратно, с которыми была связана наша корреспондентская работа. Казалось бы, привыкли, но, судя по записи в дневнике, все равно резкость этих контрастов продолжала порой удивлять нас самих.

Из поездки на Курскую дугу я привез материал для четырех корреспонденций. Главная из них, связанная с пребыванием в 75-й гвардейской дивизии, в «Красной звезде» не появилась. Материала было так много, что корреспонденция все растягивалась и, когда я наконец дописал ее, составила чуть не восемь подвалов. События тем временем стремительно развивались, и в разгар нашего контрнаступления печатать подвал за подвалом о первых днях боев в редакции не захотели и были по-своему правы.

Я напечатал эту вещь позже в журнале, придав ей характер полуочерка-полурассказа и заменив подлинные фамилии вымышленными.

Другие три корреспонденции, сразу же написанные, были сразу же и напечатаны в «Красной звезде»: две из них были о танкистах, дравшихся под Понырями, а третья — «Немец с «фердинанда» — родилась из моего разговора с одним из взятых в плен немецких танкистов.

Сейчас, когда я перечел записи, сделанные на Курской дуге в моих фронтовых блокнотах, я обратил внимание на то, как много наших солдат, с которыми я тогда разговаривал, оказались совсем молодыми, девятнадцатилетними.

Немецкому танкисту, с которым я разговаривал там, на Курской дуге, тоже, как и им, было девятнадцать...

...Адольф Мейер, деревня Эйструп, Ганновер. 19 лет исполнилось в апреле, призван в октябре 42-го года. 28 июня 43-го года прибыл в Россию из Франции, из Руана. В его роте 70 человек такого же возраста, как он, тридцать процентов состава. А семьдесят — старые солдаты, почти все после госпиталей. Он водитель самоходной пушки «фердинанд». Передняя броня — 200 мм, боковая — 80 мм, новейший тип самоходной пушки; вышла из строя после двух попаданий в гусеницу. У них броню не пробило, но он видел, как ее пробивают у других. Перед боями им говорили, что их броня непробиваема и что потерь быть не может.

— Значит, вам лгали?

— Значит, лгали.

До войны он учился на слесаря, но хотел стать моряком. Отец — ремесленник, корзинщик. Младшие братья в школе.

— Надеюсь, что ваши братья уже не попадут на войну.

— Я тоже, когда учился в школе, не думал, что попаду. А попал. Я хотел, чтобы война кончилась раньше, чем призовут мой возраст. Отец и дядя рассказывали мне о прошлой войне, и я не стремился попасть на эту.

— Ну а раньше, когда вы взяли Париж?

— Тогда мы все боялись не поспеть на войну.

В школе состоял в организации гитлеровской молодежи. Изучали карту, компас, ориентацию на местности, стрельбу из мелкокалиберной винтовки. До фронта о России не имел никакого представления.

— До отступления под Москвой я верил в победу.

Потом сомневался. Но здесь, увидав, какая у нас техника, я вновь подумал, что все пойдет хорошо! И когда нам в первый раз подбили гусеницу, еще верил, что все будет хорошо.

— А когда вы узнали о Паулюсе, что вы подумали?

— Подумал, что, значит, 6-я армия уничтожена.

— А ведь вам говорили, что вы непобедимы. И вдруг Паулюс?

— Всякое бывает. А потом нам сказали, что в этом виноваты итальянцы, которые бежали.

— А в вашем поражении в Тунисе тоже виноваты итальянцы?

— Да, они сами должны были защищать Тунис.

— Вы знаете, на сколько вы отступили этой зимой?

— На двести километров.

— Нет, от Сталинграда на шестьсот.

— Я думал, что на двести. У нас раньше рисовали в газетах карты, а теперь перестали.

— Как вы думаете, почему?

— Перестали, потому что отступали.

В марте он был в отпуске и видел родных.

— Мать и отец мечтали только о том, чтобы я попал на войну ненадолго.

— Видели вы на работе в Германии русских?

— Да, видел. Они спят в лагере, только приходят работать к крестьянам.

Его больше всего беспокоят бомбежки Германии. Он боится, что его родители не выдержат этих налетов.

— Россия нужна эсэсовцам, рассчитывающим получить здесь землю и стать крестьянами. А у меня нет охоты умереть за то, что эсэсовцы получат здесь земли. Из моей деревни уже сорок убитых и больше ста раненых...

И напоследок еще одна запись из того же привезенного с Курской дуги блокнота, сделанная у наших танкистов под Понырями.

...Николай Васильевич Петрушин, командир бригады, 39 лет. Со Смоленщины. Начал войну 4 июля 1941 года за Владимиром-Волынским. 25 июня на станции Сарны у жены оторвало руку и ногу. Сын, пяти лет, потерян. Мать — в оккупации у немцев, в Ярцеве. Брат — директор семилетки, лейтенант, был ранен, полтора года нет сведений. Жена брата повешена...

Не буду комментировать. Просто, через тридцать лет вспоминая о войне, захотелось столкнуть еще раз эти привезенные с Курской дуги записи, как они столкнулись тогда в блокноте и, конечно, не только в блокноте, а и в моем тогдашнем сознании...

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Конец июля, август и начало сентября прошли у меня в поездках в армии Центрального и Брянского фронтов. Сначала в 13-ю армию Пухова, наступавшую к этому времени южнее Орла на Кромы, потом в соседнюю с ней 70-ю армию генерала Галанина, потом, уже на излете наступления, снова в 13-ю.

С точки зрения корреспондентской работы, эти поездки оказались малоплодотворными — две или три вещи, написанные для «Красной звезды», и примерно столько же для американского телеграфного агентства.

Скудость урожая объяснялась тем, что именно тогда я разрывался между выполнением своих корреспондентских обязанностей и работой над последними главами повести «Дни и ночи».

Продолжалось наступление, и попросить еще месяц, чтобы дописать эти главы, после того как я май и июнь уже пробыл в отпуске, не позволяла совесть. А в то же время самым главным для меня было все-таки закончить повесть. Предполагалось, что она будет печататься с продолжениями в «Красной звезде». Но дело было не только в этом. Мне казалось, что я говорю в ней нечто более важное и нужное, чем это удавалось сделать в своих очередных фронтовых корреспонденциях.

Не знаю, как у других, а у меня мысль, что можешь поехать и не вернуться, запихнутая по возможности куда-то подальше, в глубину сознания, так или иначе все-таки присутствовала. И именно в эти поездки она стала неотвязней, чем когда-нибудь. Наверное, как это свойственно нашему брату, я придавал своей незаконченной повести больше значения, чем она имела. И опасение вдруг так и не закончить ее из-за какой-нибудь несчастной случайности там, на фронте, обострило чувство самосохранения. Говоря о таких вещах, нужно говорить правду, и, оглядываясь сейчас назад, на то время, я просто-напросто знаю, что все это сказывалось на моих тогдашних корреспон-

денциях. Постыдной трусости, помнится, не проявлял — от этого удерживали самолюбие и погоны на плечах, но осторожничал, старался свести к минимуму моменты личного риска, связанные с корреспондентской работой, что, конечно, отражалось на ее качестве. Реже рискуешь — меньше видишь, хуже пишешь.

Приведу записи, оставшиеся в дневниках и во фронтовых блокнотах от всех этих трех поездок.

...Снова у Пухова, теперь под Кромами. Услышал о нем интересную подробность: в мае, во время затишья, когда пришло много подарков из тыла, Пухов придумал свой способ раздачи. Вызвал из разных частей девушек — связисток, медсестер, санитарок — и поручил им прямо в окопах раздать все эти подарки бывалым солдатам, причем прежде всего — старших возрастов. Во время этих раздач было много трогательного. Пухову хотелось заронить искорку женской теплоты в сердца усталых от войны людей.

Пригласил меня позавтракать вместе с ним. Сидим в избе и наспех что-то жуем. Своей крепко скроенной фигурой, широким грубоватым лицом, большим лбом и умными внимательными глазами и всей своей повадкой в разговоре Пухов напоминает мне старого русского офицера, из тех когда-то воевавших на Кавказе и ходивших в туркестанские походы, о ком много — иногда очень хорошо, а иногда и плохо — писалось в русской литературе.

Спрашиваю его о ближайших перспективах и надеждах на успех. Усмехается и, в свою очередь, спрашивает меня:

— Вы мне, помнится, в прошлый раз сказали, что пишете роман о Сталинграде?

— Пишу.

— Как он у вас получится? Будет ли иметь успех? Кажется, военный человек, уже третий год на войне, а все еще задаете генералам наивные вопросы.

— А я люблю иногда задавать наивные вопросы.

— А мы не любим давать на них ответы. Потому что наивные вопросы — это самые трудные вопросы.

Дальше разговор не особенно клеится. Пухову предстоят спешные дела, а мне нужно ехать в дивизию, которая должна брать Кромы. Пухов смотрит на меня и говорит неожиданно сердито:

— Нет, вы мне все-таки объясните, почему вот вы, писатели, пишете о ком угодно, кроме пехотинца. О танкистах пишете, о летчиках пишете, о саперах пишете, хоть они и жалуются на вас, что не пишете, но все-таки пишете. А вот о пехотинцах почему-то совсем не пишете.

Возражаю ему, что я, например, как раз больше всего писал о действиях пехотных частей.

— О действиях,— сердито иронизирует Пухов.— Я не о действиях частей вам говорю, а о пехотинце. Вот он ползет по грязи, идет по пыли, стынет, мокнет, переносит такие трудности, о которых никто другой не знает. Почему вы о нем не пишете? Раз вы сейчас опять приехали, вот и найдите такого человека. Вернетесь в Москву, возьмите и напишите.

Перед уходом задаю ему несколько вопросов о нем самом.

В ту войну ранен в плечо и в руку. Отравлен газами под Икскюльском. Не видел семьи с начала войны. Никуда за всю войну не выезжал с фронта, даже орден Суворова прислали сюда, наградили здесь, на месте...

...В дивизии под Кромами. Два дня подряд говорю с солдатами, разыскиваю, иногда с трудом, таких, которые начали этим летом воевать с самого начала, с 5—6 июля, и с тех пор весь месяц в боях. Спрашиваю подолгу, обо всем, во всех подробностях, даже несущественных. Хочу как можно точней представить себе один день пехотинца — с утра до ночи...

...После взятия Кром едем вместе с Халипом назад, в штаб армии. Колесим по пыльным проселочным дорогам, мимо печально стоящих несжатых полей. В балке искалеченные немецкие орудия, горы пустых плетенок из-под снарядов и штабель нерасстрелянных. Трупы убитых сначала почти неприметны в густой ржи. Проселками, а иногда, сокращая дорогу, не по-крестьянски — прямиком через поля — идут по домам жители, которых немцы при отступлении угоняли из деревень вместе с собой, выселяли из прифронтовой зоны.

Останавливаем машину. По тропке, промятой через рожь, идет женщина, с ней пятеро детей. Не только она, но и дети сгибаются под тяжестью узлов. Все нагружены без-

мерно тяжело, еле идут. Женщина останавливается, снимает с плеч два связанных между собой мешка, а скорее вылезает из-под них, так они велики. Устало отерев лоб, садится на один из мешков. Все дети тоже освобождаются от своей поклажи и садятся рядом с ней. Шестого ребенка я в первую минуту не разглядел: он, грудной, на руках у женщины.

Спрашиваю, издалека ли.

— Тридцать верст прошли.

— А еще сколько идти?

— Еще верст сорок,— говорит женщина и начинает плакать. Ее лицо кажется сейчас лицом старухи, хотя на руках у нее грудной ребенок.

Спрашиваю у нее, где муж.

— Пропал. Зимой забрали немцы гати настилать. Надорвался на работе и пропал.

Спрашиваю про детей, все ли ее.

— Все мои.— И она поочередно называет мне имена детей. Старшему 10 лет, младшему 8 месяцев.

— Тридцать верст прошли, а уже сил нет. А бросить не могу,— показывает женщина на мешки и на убогие, залатанные тючки с вещами.— Небось немец пожег там все у нас, в деревне во всем нужда будет. Нельзя бросить. А еще сорок верст идти.

Молчу. Нас в «эмке» четверо, и ехать нам в другую сторону. А если бы даже сделать крюк, все равно женщину с шестью детьми и со всеми мешками в «эмку» не возьмешь. А раз не могу подвезти, то и говорить нечего.

— Ну пошли, что ли,— говорит женщина и опять подлезает плечом под мешки, которые, когда она встает, оказываются почти в рост с нею.

Дети тоже молчаливо, серьезно, как носильщики или грузчики, поднимают свои мешки и мешочки, даже предпоследний, трехлетний, тоже поднимает с земли, как большой, переваливает через плечо узелок.

Они уходят по промятой во ржи тропке, а я бессмысленно и беспомощно гляжу им вслед. Кажется, и без того уже ненавидишь фашистов так, что дальше некуда, а все-таки вдруг поверх всего добавляется еще какая-то капля...

Перечел сейчас эту запись и вдруг зацепился в памяти за что-то еще. Долго вспоминал и наконец нашел то, за что зацепилась память,— страничку из своего послевоенного

блокнота, датированного 11 марта 1962 года и незримо связанную для меня не внешней, а внутренней, глубинной связью с той женщиной, бредущей по Орловщинне с шестью своими детьми от пропашего без вести мужа. Вот она, эта страничка:

«Сегодня выступал в солдатском клубе. После вечера сидели с офицерами. Один из них, капитан, командир батареи, вспоминал о своей юности.

Отца в сорок первом году убили на фронте. Вспоминал о том, как перед самой войной недостроили хату, как отец, уходя на войну, сказал: «Вы уж без меня достроите». В первый год войны летом достроили хату. А потом была немецкая оккупация. А потом, когда немцы уходили, они сожгли деревню. И он вспоминал, как одиннадцатилетним мальчиком вместе с матерью и соседками сидел в овраге недалеко от деревни. Из оврага была видна деревня и было видно, как отступавшие немцы жгут хату за хатой. И женщины, глядя на это зрелище, молились богу и крестились. Это была благодарность за то, что сами остались целы, что их миновала смерть, а о домах уже не думали.

Потом рассказал о том, как пухли с голоду после войны, в сорок шестом году, и как пятнадцатилетним парнишкой ушел из дома, потому что было голодно, в ремесленное училище. Окончил его. Потом работал на заводе формовщиком, кончал по вечерам восьмой, девятый, десятый классы. А когда кончил десятый, пошел в артиллерийское училище и стал офицером.

Мать совсем недавно, только в прошлом году, вышла во второй раз замуж. Ей пятьдесят. Ее новый муж — пенсионер, хороший человек, шестьдесят два года. Капитан говорит о своей матери, что рад за нее, что она вышла замуж.

— Неудобно про мать так говорить, но уж раз мужской разговор, на откровенность, то скажу. Ведь ей же всего тридцать лет было, когда отца убили. Сколько лет я при ней прожил, и потом приезжал, и она все эти годы без мужика жила. Сколько ж она, бедная, настрадалась! Но жила по-честному. Болела, переживала. Просто болела оттого, что одна, но никого не знала, не встречала. И так вот двадцать лет прошло, с тридцати до пятидесяти. Конечно, рад теперь за нее. Хотя и не такое счастье, какое могло у нее быть когда-то, но все же счастье...

Когда ехали обратно, к нам в машину подсадили до города старшину, старослужащего, в армии уже семна-

дцатый год. И он вдруг завел со мной разговор о пропавших без вести.

— А вот как будет с пропавшими без вести? Когда же это решится?

Ехавший рядом со мной майор спросил его:

— А что тебя так волнует?

— А как же не волноваться? Мать уже, считайте, больше чем двадцать лет замужем за без вести пропавшим. И никакого ей определения нет, ничего не сказано, что умер, что она вдова. Без вести пропавший и без вести пропавший. Когда же это решится? Я вот был мальцом, а сейчас уже взрослый человек, уже и собственные дети есть, а все еще, так вот, отец-то ни в тех, ни в этих! Как же это можно, чтоб столько лет ничего не решалось? Что это за без вести пропавшие через двадцать лет после того, как пропали? Почему это нерешенным остается? — говорил он с волнением и горечью...»

Возвращаюсь к своим записям 1943 года.

...Радостные муки поисков — спутники большого наступления. Всю эту поездку ничего не можем найти сразу, все находим с великим трудом и с опозданием не потому, что нам дают неверную информацию, а потому, что, пока едем, эта информация опаздывает, штабы и войска беспрерывно перемещаются вперед. Нет ничего канительнее, чем отыскивать в находящейся в движении армии какую-то часть, если тебе нужна именно она, а не какая-нибудь другая.

Штаб корпуса, оказывается, за последние два дня переезжал три раза, и, когда я наконец нахожу его в маленькой, наполовину сожженной минувшей ночью немцами деревушке, штаб уже почти весь снова на колесах. Попади я сюда на час позже, вновь не застал бы его.

Прошу у начальника оперативного отделения штаба корпуса дать мне проводника, чтобы поскорей добраться до дивизии. Крестик на моей карте, рано утром поставленный в штабе армии, не внушает доверия. Наверное, там, где у меня стоит этот крестик, сейчас уже нет штаба дивизии.

Пообещав дать проводника и приказав по телефону, чтобы он явился, начальник оперативного отделения вдруг спрашивает меня:

— Вам ничего не говорит моя фамилия — Хорунжий?

Стараюсь вспомнить. Фамилия Хорунжий мне чем-то памятна, но чем, вспомнить не могу.

— Фамилия, по-моему, знакома,— неуверенно говорю я. Разве сообразишь, где же я видел этого высокого чернявого подполковника.

А подполковник улыбается, и по его улыбке видно, что он не верит, что я вспомнил его фамилию.

— А встречались мы с вами вот где — на Рыбачьем полуострове. Вы были у меня там, на хребте Муста-Тунтури, на командном пункте, и приход ваш был отмечен двумя обстоятельствами: сначала мой КП накрыли минометным огнем, а потом мы с вами ели форель, пойманную моими разведчиками в горном озере. Теперь вспомнили?

И я действительно вспоминаю и этот КП в скалах Муста-Тунтури, и этого подполковника Хорунжего, который был тогда капитаном и ходил в здоровенном, как у возчика, полушубке и сбитой набекрень ушанке. Баренцево море, Рыбачий полуостров, холод, ветер, зима сорок первого, зуб на зуб не попадает — и вот теперь сорок третий год, конец лета, жара, несжатые поля, наступление на Центральном фронте и тот же самый человек, только в пыльной выгоревшей гимнастерке и подполковничьих погонах.

— Вот вам проводник,— показывает Хорунжий на подошедшего сержанта.— До свидания. Между прочим, было бы интересно встретиться где-нибудь еще. Бог троицу любит...

...Снова у Горишного. Приехал к нему уже под вечер. Наступление продолжается, и через час, глядя на ночь, он должен сменить командный пункт.

Сказал, что буду эти дни у него, и дал ему поглядеть то, что написал о его дивизии в период обороны. Хотя, наверное, ему было некогда, Василий Акимович все-таки заинтересовался, сел на раскладной стул и стал читать внимательно, морща лоб. Когда прочел, сказал:

— Ну что ж, печатайте.— И сделал только одно замечание: — Зря вы меня во время боя по полкам там гоняете, теперь не сорок первый год. При той обстановке, которая была, незачем мне было по полкам ездить.

Я возразил, что помню, как он ездил. Он не согласился.

— А если даже и было, то зачем об этом писать? Ни к чему эти поездки, когда надо и не надо. Мы от этого уже отошли. У нас связь теперь достаточно хорошо работает.

И он, забыв о рукописи, начал говорить про связь: при

хорошей связи звонить по телефону надо пореже, удерживать себя от лишних звонков, чтобы не отрывать и не нервировать командиров.

Ведь как получается? Первый раз скажешь ему спокойно. Второй раз уже нервно, а третий — с матом. Я иногда им сам потом шутя советую: когда тебя зря ругаю, отвечай — я контуженый, плохо слышу! Устали люди за время наступления. До того устали... Везут тяжелораненых по ухабам, по кочкам, а они, несмотря на боль, спят. Иногда в медсанбате его на стол положат, а он все еще спит. Один раз встречаю повозочных, едут, а на повозках никто не шевелится. «Вы что, мертвых везете?» — «Нет, спят они».

Вообще война другая пошла. Раньше, вспоминаю, бывало, в начале, идет верзила, легко раненный, по сути, почти здоровый, и в ответ на вопрос поет панихиду: «Нас всех разбили, один я остался...» А теперь встречаю: идет из боя грязный, оборванный, два раза раненный, потому что после первого ранения из строя не вышел. «Я,— говорит,— с-под высотки иду, наши ее теперь уже беспременно взяли: я под самой под ей лежал...»

...По дороге в Москву ночуем в деревне, где раньше был штаб армии; на окраине вместо штаба теперь разместился армейский полевой госпиталь.

Утром уже собираемся ехать, когда заходит доктор и просит полчаса поговорить с ранеными, почитать им стихи, они скучают.

День с утра теплый. Тяжелораненых вынесли из хат и положили в тени деревьев. На госпитальных матрацах лежит человек пятнадцать — раненые офицеры. Большинство артиллеристы, ранены в первые дни июльских боев. Почему не отправили их дальше, не знаю, может быть, в армии свои расчеты, придерживают их здесь, чтобы после выздоровления не ушли в другие части.

Читаю стихи, потом разговор. Двое — москвичи, начинают расспрашивать о Москве. Один, красивый и совсем еще молодой, особенно подробно расспрашивает про театры. Проявляет при этом профессиональную осведомленность. Спрашиваю его, кем был до войны. Улыбается.

— Вы угадали. Артистом. Окончил перед войной театральную школу при театре Вахтангова. Теперь старший лейтенант, артиллерист.

Протянув соседу жестянку с табаком, просит его свернуть цигарку. Вторую руку так и не показывает из-под

одеяла, видимо, она покалечена. Объясняет, что его ранили, когда пробирался на наблюдательный пункт, чтобы корректировать огонь своей батареи, что его подвел командир взвода — не вовремя поднялся над землей, их заметили немцы и засыпали минами.

— Меня ранило в руку, а его в живот. Рядом никого не было, я его долго тащил. Приходилось одной рукой. Тащил, пока он не умер. Тогда я встал и пошел. У меня еще были силы идти, а перебитую руку, чтобы не мешала, засунул за ремень. Так и дошел. Сейчас сам удивляюсь, а тогда сгоряча почти не чувствовал боли.

Расспрашивает, как идут дела на фронте. Потом смеется.

— Мы тут все артиллеристы, все еще бредим своими орудиями. Иногда по ночам можно у нас в палате услышать артиллерийские команды.— Он кивает на соседа.— Сегодня капитан меня разбудил. Во сне ругался на какого-то Волкова, требовал, чтобы перенес огонь левее.

— А у меня и Волкова никакого не было в дивизионе,— говорит капитан.

— В дивизионе не было, а во сне был! Возвращаетесь в Москву?

— Да.

— Увидите кого-нибудь из нашего театра, передайте привет!

Бывший артист закуривает свернутую ему капитаном цигарку и молчит. Видимо, загрустил от мыслей о театре. Потом спрашивает меня:

— Как отсюда поедете? Через станцию Поныри?

— Очевидно, через Поныри.

— Там, за станцией, на горке стоят сожженные «тигры» и «фердинанды». Так те два, что левей, у самой дороги, это работа моей батареи. Поедете мимо, посмотрите.

Чувствую, ему очень хочется, чтобы я посмотрел его работу. Обещаю посмотреть.

Подъезжаем к Понырям. Сожженные на скате высотки немецкие танки видны издалека. Слева от дороги стоит самоходное орудие «фердинанд». Огромная машина, тяжеловесно и неуклюже склепанная из огромных массивных плит. В борту отверстие от бронебойного снаряда. Кто знает, может, это и есть тот самый «фердинанд», о котором говорил артиллерист?..

...Последняя поездка связана с особым ощущением уже выдыхающегося наступления. Начатое с полновесными силами, оно доходит до тех последних рубежей, до которых может дойти именно с этими силами. Введение новых сил, новых дивизий, а то и армий намечено на более позднее время. А главное, предполагается, что они начнут действовать после нашего выхода на рубеж, который уже уставшим и исчерпавшим свои силы частям еще предстоит занять последним напряжением воли. И только с него, с этого рубежа, потом начнут действовать свежие части. Эти последние дни я и застал.

В полках оставалось по 100, по 150 активных штыков. Потери дивизии в 30—40 человек за день сказываются на ее боеспособности, на дальнейшей возможности наступать. Даже такие потери, в другое время считавшиеся в масштабах дивизии незначительными, теперь составляли заметный процент от оставшихся в строю. Уже наступил период, когда начали вычерпывать всякий день людей из вторых эшелонов, из всяческих учреждений, команд, хозяйственных частей, обозов, и все же второй эшелон продолжает казаться непропорционально разбухшим по сравнению с численностью тех, кто после месяца боев остался в полках, батальонах, короче говоря, на передовой.

Казалось, что каждый день перед людьми ставятся непосильные задачи. Приехав, я поначалу поддался этому чувству. Но командир дивизии уже влез в эту привычку ежедневно двигаться. Он только подальше вперед выносил свои наблюдательные и командные пункты, как бы физически подпирая собственным присутствием свои, по количеству штыков только на треть существующие части. И, несмотря ни на что, они двигались, выгадывая еще и еще какие-то километры, до того места, с которого после паузы начнется новый прыжок.

Только глубоко войдя в войну во всех ее подробностях, побывав в разных обстоятельствах и у разных людей перед наступлением, в его разгар и в конце его, начинаешь понемногу избавляться от очень трудного чувства. Война связана с беспорядком, с упущениями. Сплошь и рядом с невозможностью сделать все так, как намечено, с поправками, которые все время вносят в план бой, смерть и страх смерти. И хотя план, в общем, выполняется, все время кажется, что он не выполняется, ибо, беря войну во всем ее огромном масштабе, нельзя не видеть того, как миллион неточностей, несообразностей, непредви-

денных обстоятельств сопутствует даже самому точному выполнению плана.

И человеку, который видит все, что не получается у нас, и не видит того, что происходит у противника, противник начинает казаться сильней и умней, чем он есть. Начинаешь относиться к его действиям с большим пиететом, чем они того заслуживают. И только люди, находящиеся в той неразрывной связи с противником, которую создает война, постепенно привыкают к тому, что противник часто не знает самых простых вещей, что у него еще больше неточностей, просчетов и невыполненных приказаний, чем у тебя. Что ему приказывают контратаковать, а он не может оторвать от земли солдат. Что он думает, что ты сильнее и будто у тебя больше людей, чем есть на самом деле, и он отступает, и ты наступаешь, хотя тебе каждый день кажется, что ты делаешь это из самых последних сил.

Эта разница в ощущении была как-то особенно наглядна для меня сейчас, когда я сравнивал это нынешнее выдыхающееся наступление с тем наступлением под Москвой зимой, в феврале и в марте 42-го года. Оно тоже останавливалось тогда. Но останавливалось по-другому. Многим казалось тогда, что немцы отступают там, где они сами пришли к решению, что им придется отступить. Зато уж там, где они решили во что бы то ни стало удержаться, там с ними трудно что-нибудь сделать. У многих было еще состояние новичков в наступлении. Многих еще подсознательно угнетали сидевшие в памяти воспоминания обо всем пройденном до этого пути отступления.

Эти воспоминания сидели в мозгу и мешали. Иногда очень мешали. Причем не мешали решительно подняться в атаку или пойти на смерть. Мешали в другом. Мешали проявить ту находчивость в решениях, с которой так хорошо орудуют наши офицеры сейчас, в 43-м, в этом наступлении, ту дерзость, основанную на самоощущении людей, у которых уже образуется привычка побеждать...

В годы войны я не читал сочинений Клаузевица. После войны прочел.

И нашел у него удивительно образное определение всех тех трудностей и осложнений, с которыми связан каждый шаг войны.

Заимствовав терминологию из области механики, Клаузевиц называет это сцепление трудностей трением и говорит о нем в выражениях, близких по своему харак-

теру к некоторым рассуждениям Льва Толстого на страницах «Войны и мира»:

«Все на войне очень просто, но самое простое и является трудным. Накопляясь, эти трудности вызывают такое трение, о котором человек, не видавший войны, не может иметь правильного понятия... Трение — это единственное понятие, которое, в общем, отличает действительную войну от войны бумажной. Военная машина — армия и все, что к ней относится — в основе своей чрезвычайно проста, а потому кажется, что ею легко управлять. Но вспомним, что ни одна из частей ее не является монолитной, что все составлено из индивидуумов, каждый из которых воздействует своим трением на все другие. Теоретически все звучит превосходно: командир батальона отвечает за выполнение данного приказа, и так как батальон спаян воедино дисциплиной, а командир — человек испытанного усердия, то вал должен вращаться на железной оси с незначительным трением. В действительности же это не так, и война вскрывает все ложное и преувеличенное, что содержится в таком представлении».

Так определял сто пятьдесят лет назад Клаузевиц разницы между войной «действительной» и «бумажной».

Между двумя поездками на фронт, к которым относятся мои предыдущие записи, в «Красной звезде» неожиданно, во всяком случае для нас, военных корреспондентов, сменился редактор. Я был в тот день в Москве и, хотя прошло много лет, хорошо помню, как я узнал об этом.

Я сидел и дописывал последние главы «Дней и ночей», когда вдруг поздним утром мне позвонил Ортенберг и сказал, чтобы я сейчас же приехал к нему в редакцию. Я приехал и увидел, что он как-то странно не занят никаким делом. Просто ходит взад и вперед по кабинету в генеральской форме, а не в той синей редакционной спецовке, которую обычно надевал поверх формы, когда работал.

— Вызвал тебя проститься,— сказал он.— Уезжаю на фронт. Сегодня сдам дела новому редактору и уеду.

— Что случилось? — спросил я.

— Ничего особенного,— сказал Ортенберг и объяснил, что его вызвал к себе Щербаков и, напомнив ему, как он несколько раз во время предыдущих столкновений заявлял, что в любую минуту готов уехать на любую должность

в действующую армию, сказал, что его желание теперь может быть удовлетворено. Редактором «Красной звезды» назначен генерал Таленский, а он, Ортенберг, сможет отправиться в действующую армию.

После этого Щербаков спросил его, на какую должность он хотел бы оказаться назначенным.

Ортенберг назвал должность замполита дивизии.

Щербаков возразил, что на эту должность генералов не назначают. А Ортенберг не без юмора ответил что-то вроде того, что не его вина, если он, работая в «Красной звезде», успел стать генералом.

Дело кончилось тем, что Ортенберг был послан на фронт начальником политотдела армии.

Он рассказывал мне все это довольно веселым тоном. Я, конечно, понимал, что ему было до зарезу жаль расставаться с «Красной звездой», но понимал и другое: он не из тех, кто бросается словами. В свое время он говорил про готовность ехать в действующую армию, подчеркивая этим, что за кресло редактора «Красной звезды» не держится, и теперь скорбеть о случившемся считал ниже своего достоинства.

Я было заговорил: как же так — газета без него, а он без газеты? Но он сразу же пресек:

— Речь не обо мне. Я уже не здесь, не в газете. А о тебе. Теперь тебе будет, наверное, легче, чем при мне, того, что требовал я, могут и не потребовать. Но я бы не хотел, чтобы ты испортился, стал работать хуже.

Он сказал это с той дружеской резкостью, на которую не обижаются, и, подойдя к письменному столу, открыл один, потом другой ящик и захлопнул их.

Только тут я заметил, что, кроме нескольких, одна на другой, папок посреди стола, ни на столе, ни на редакторской конторке уже ничего не было. Хоть шаром покати.

Мы обнялись и простились, чтобы увидеться в следующий раз только весной 44-го года.

Вернувшись еще из одной поездки на Центральный фронт, я наконец дописал повесть. Сначала ее заглавие было «Шестьдесят дней», но теперь, поставив точку, я назвал ее «Дни и ночи», так же, как почти год назад по совету Ортенберга назвал одну из своих сталинградских корреспонденций.

Конечно, я сознавал, что дописать до точки еще не значит кончить, но каждому из пишущих знакомо это чувство: хотя впереди еще прорва работы, а все же точка

на первом черновике — как гора с плеч! Особенно в первые дни.

Именно в эти первые дни, только что дописав повесть, я поехал на Брянский фронт в 3-ю армию генерала Горбатова.

Обычно я ездил на фронт вдвоем с фотокорреспондентом. Как правило, корреспондентам «Красной звезды» было положено ездить только в те части, которые находились в обороне или в наступлении, но так или иначе в данный момент воевали. Исключения из этого правила — поездки в переформировывавшиеся, отдыхавшие или занимавшиеся боевой подготовкой части,— конечно, бывали, но редко. Не было в заводе и того, чтобы кто-то приглашал корреспондента приехать туда или сюда. Редакция сама выбирала, куда его послать. Иногда с учетом, а чаще без учета собственных желаний.

На этот раз все было наоборот. Новый редактор «Красной звезды» Николай Александрович Таленский, уже знавший, что я дописал свою повесть, которую предполагалось печатать в газете с продолжениями, пригласил меня и спросил, не хочу ли я съездить недели на две на Брянский фронт, в сосредоточившуюся после освобождения Орла во втором эшелоне фронта армию Горбатова. Поездка эта предпринимается по предложению политотдела армии, цель ее — собрать воспоминания участников битвы за Орел. В бригаде, которая поедет, будут писатели старшего поколения, а повезет их в армию присланный сюда за ними с двумя машинами — легковой и автобусом — работник армейской газеты товарищ Трегуб. Так вот, не поеду ли от «Красной звезды» и я?

Хорошо помню, что первое приказание, которое я услышал от нового редактора «Красной звезды», было дано им именно в такой форме.

Генерал-майор Николай Александрович Таленский был генштабист и военный историк, человек превосходно образованный и начитанный. К нашему брату — литераторам, работавшим в «Красной звезде» в должности военных корреспондентов,— он относился прежде всего как к писателям и был с нами неизменно обходителен, порой по военному времени даже чересчур. Но при всех своих немалых достоинствах как редактор газеты он обладал одним капитальным недостатком — будучи профессиональным военным, не был профессиональным га-

зетчиком, тем редактором по призванию, каким был Ортенберг. И если бы не сложившийся в редакции очень сильный коллектив и не заместитель редактора, газетчик до мозга костей Александр Яковлевич Карпов, перемена не замедлила бы сказаться на уровне газеты. К счастью, этого не произошло, хотя постепенно все же стало заметно, что газета ведется с несколько меньшей остротой и оперативностью, чем раньше.

Правда, работать в ней стало полегче, особенно писателям. И не знаю, как другие, а я не всегда выдерживал характер и порой пользовался теми писательскими льготами, которые теперь, при Таленском, чаще, чем раньше, выпадали на мою долю.

Через день или два мы выехали по дороге на Орел и Карачев.

В «эмке» ехал старейший в писательской бригаде Александр Серафимович Серафимович, а в автобусе все остальные: в их числе Константин Федин, Всеволод Иванов и Борис Пастернак.

Надо отдать должное закоперщику этой поездки Семену Трегубу, который до войны работал в литературном отделе «Комсомолки», потом «Правды», а на войне стал армейским журналистом. Потом, после войны, мне пришлось жестоко спорить с ним, как с литературным критиком, взяв под защиту от его несправедливых, на мой взгляд, обвинений послевоенные стихи Маргариты Алигер. Тем более хочется сказать здесь, что тогда, во время войны, он сделал доброе для нашей литературы дело, задумав и организовав эту писательскую поездку на фронт. Ее литературная отдача даже превзошла первоначальные ожидания — в газетах и журналах появилось несколько очерков наших прозаиков старшего поколения о том, что они увидели, услышали и почувствовали, находясь в частях 3-й армии, только что перед этим освободившей один из первых больших русских городов — Орел. А Борис Пастернак вдобавок к очеркам, которые он тоже написал, привез из поездки несколько лучших своих стихотворений военной поры.

В моих дневниках поездка эта не оставила следа. Не помню ее подробностей и жалею об этом не только потому, что она впервые свела меня с таким своеобычным, суровым и откровенным человеком, как генерал Горбатов, но и потому, что моими попутчиками были незаурядные люди, относившиеся к этой, первой для большинства из них

поездке в действующую армию с большим душевным подъемом и внутренним волнением.

Но я, к сожалению, не оказался тогда приглядчивым, чувствуя себя не совсем в своей тарелке среди хорошо знавших друг друга и духовно близких друг к другу людей совсем иного поколения. Была и другая причина. Как это ни глупо звучит сейчас, тогда по молодости лет я чуть-чуть снисходительно относился к уже пожилым людям, для которых в армии было внове многое из того, что мне было привычно. Мне казалось, что я в этой поездке не при деле и мне лучше бы поехать вместо нее в другую, обычную для меня командировку, одному или вдвоем с фотокорреспондентом.

И все-таки помню до сих пор два моих тогдашних ощущения, связанных с двумя совсем разными людьми: Серафимовичем и Пастернаком.

Серафимович был одним из самых безотказных военных корреспондентов эпохи гражданской войны. Ему уже тогда было далеко за пятьдесят, он был старше Горького. А теперь, в 1943 году, уже перешагнув за восемьдесят, он все-таки вызвался ехать. Меня поразила в нем не только сама эта готовность, а все его поведение во время поездки — его неприхотливость, его неутомимость, его упорное нежелание, чтобы хоть в чем-то, хоть как-то считались с его возрастом или напоминали о нем. На все вопросы, как он себя чувствует, удобно ему или неудобно, он неизменно отвечал одним коротким словом «великолепно», произнося его как-то даже торжествующе, с благородным стариковским вызовом и годам и здоровью. Если же его спрашивали, не надо ли нам остановиться, не надо ли ему отдохнуть, он так же неизменно и с таким же внутренним торжеством отвечал: «Ни под каким видом!» И действительно ни под каким видом не соглашался на то, чтобы хоть что-нибудь менялось из внимания к его возрасту и состоянию здоровья, в общем-то оставлявшему желать лучшего. В этом уже очень старом человеке была удивительная товарищеская жилка. Поездка давалась ему с трудом, но он с таким упорством старался не дать заметить этого, что в конце концов заставил не замечать.

Пастернак поразил меня тогда какой-то детской удивленностью перед всем новым и незнакомым, с чем он встречался. Он благодарно радовался всему смелому и чистому в людях, как может радоваться человек долгожданному подтверждению лучших из своих надежд.

Вернувшись из этой поездки, я дописал наконец тот рассказ о рядовом пехотинце, которого требовал от меня Николай Павлович Пухов. Писал я его долго, как ни один свой рассказ, и все чего-то не хватало, хотя материала, казалось, набрано сверх головы! А тут, в эту поездку, вдруг один злой, обиженный солдатский разговор про нехватку табаку все поставил на свое место, и рассказ был дописан в первый же день приезда в Москву.

Кроме заметок для рассказа «Пехотинцы», я привез из этой поездки одно сильно задевшее мои чувства письмо, о котором речь пойдет дальше, и одну подробную запись в блокноте — разговор с Афанасием Матвеевичем Свириным, замполитом 308-й стрелковой дивизии, которой командовал генерал Гуртьев, один из героев Сталинграда, убитый при взятии Орла.

Я не раз перечитывал эту запись много лет спустя, работая над романами о войне. То, как мне рассказывал тогда замполит дивизии о своем погибшем командире, кажется мне характерным для отношений, складывавшихся на войне между людьми в этих двух должностях в тех случаях, когда один из них был настоящим командиром, а другой — настоящим комиссаром; не в должностном, а во внутреннем значении этого слова.

«...Леонтий Николаевич Гуртьев, 52 года. Сухой, худощавый, чрезмерно скромный, молчаливый. Выступать не любил и говорить не умел, хотя был культурным человеком, особенно с военной стороны. Спокойный и выдержанный, был смел и лично, и в своих решениях. Коли сказал — так уж будет настаивать!

Приехал на фронт из Сибири в сентябре 42-го года. Независимо от обстановки не представлял себе отступления и не держал его в мыслях. Когда у завода «Баррикады» командир батальона просил у него разрешения отойти, сказал ему: «Не могу разрешить этого ни тебе, ни себе». Скромный и честный. Вы знаете, как иногда на фронте бывает? Доложит сосед командующему: мол, мои впереди, соседи — сзади. А это неправда! Говорю ему: «Леонтий Николаевич, пойдите к командующему, опровергните».— «Зачем? Раз правда на моей стороне, что ж докладывать? Все равно все так и есть, как есть на самом деле».

Если ему указано, где иметь командный пункт, можете

быть уверены: при всех обстоятельствах будет точно именно там, не отойдет ни на шаг. Люди уважали его за скромность, за честность и за доброжелательность. Хорошо знал командующего, но не напомнил ему, пока тот не вспомнил об этом сам.

Переправлялся в Сталинград первым. С людьми говорил на «вы». Ругался редко. Не пил. Перед Орлом оказалась под рукой бутылка портвейна. «Выпьем, товарищ генерал».— «Нет, что ты, сейчас пить. Вот Орел возьмем — разопьем». Так и не распили.

Занимался будничной работой, мелочами. Любил мелочи. На стрельбище все обязательно посмотрит, винтовки проверит, стволы...

29 лет отбарабанил в армии. Не любил журналистов, разговоров, ужинов. Любил военное дело. Был действительно солдат. Любил строевую подтянутость, порядок. Ходил много и быстро, не догонишь. Ремень всегда затянут так, что палец не просунешь.

Спать... По чести говоря, не знаю, когда он спал. В кармане всегда устав: вынет, проверит, сошлется. Спал прямо у рабочего стола в блиндаже. И телефонная трубка всегда у уха. Наверх никогда и ничего не доносил, пока сам десять раз не проверит. Много лазил по передовой. НП дивизии всегда держал впереди НП полков. А возвращаясь оттуда, подталкивал вперед командиров полков. Когда были в окружении, так и не перенес НП ни на шаг. «Мы отойдем — и полки отойдут!»

В бою всегда бывал одет по всей генеральской форме. Командир полка докладывает: «Не могу поднять полк на переправу». Выслушал это от него и говорит мне: «Ну что ж, пойдем с тобой поднимать полк, раз командир поднять не может». Поднял и переправил. Донес командир полка, что на него движется 102 танка. Гуртьев меня спрашивает: «Как по-твоему, правда или врет?» — «Думаю, врет».— «Я тоже так думаю». Оказалось, 14 танков.

Уверен. Спокоен. Нетороплив. Умел настоять, но не жестко. Людей ругать не любил. Но когда был сердит, умел пристыдить. И переживали это больше, чем если б он их ругал. Был простой человек, но не простак. Уважал в подчиненном человека. Видя в человеке хорошую черту, любил предавать ее гласности.

Однажды в дождливый день во время переформировки беседовал с командирами полков. В это время вошел поправившийся после ранения лейтенант, доложился. Гурть-

ев смотрит на него и говорит: «Товарищи командиры, какой сегодня дождь! До вокзала три версты! А как он явился? Выглаженный, сапоги до блеска. Вот таких вы должны готовить офицеров».

Никогда не повышал голоса.

Когда хотел оттенить награду, сам ее привинчивал и давал понять, что хорошо помнит, за что именно дана награда. Поощрял отличившихся солдат, ставил их в пример другим. Поднимал роль ефрейтора, объяснял, что это такое — ефрейтор, какая это фигура на войне.

Не любил сам ходить к начальству и не любил, когда оно подолгу у него сидело. Всю жизнь бы прожить с таким командиром!

В Сталинграде, бывало, голодали, говорил мне: «Эх, Свирин, после войны поеду я директором совхоза, а ты ко мне давай начальником политотдела».

3 августа, за три часа до его смерти, в 12 дня, я с ним расстался. А в 3 часа его убили. Привез его мертвого на «виллисе». Ноги у него болтались. Мы решили его похоронить только в Орле. Я сам обмывал и одевал его в новый китель и гроб нес вместе с другими, его главными помощниками. Хотел уж проводить до самого конца. На могиле, на Садовой улице, дали залп из винтовок и орудий. Девушки-санитарки принесли цветов...»

Такой сохранилась в моем блокноте эта печальная запись, где сквозь рассказ о жизни и смерти другого хорошего человека проступает нравственный облик самого рассказчика.

Письмо, о котором я упомянул, привезенное мною оттуда, из 3-й армии, тоже было связано с гибелью человека, которого любили окружающие. Уже не помню сейчас, когда погиб адресат этого письма, может быть, перед самым моим приездом — люди на войне, случается, гибнут и тогда, когда армия стоит во втором эшелоне,— но скорей всего раньше, во время боев. Во всяком случае, память о гибели комбата, помнится, старшего лейтенанта по званию, была еще свежа у его товарищей. И письмо, которое в день моего приезда пришло к мертвому от его жены, решившей тем временем переменить мужа и извещавшей об этом покойника, вызвало у тех, кто его прочел, такое возмущение, что они передали мне этот исписанный с двух сторон тетрадочный листок для ответа от их общего имени.

Я обещал, но уехал, не успев этого сделать, и выполнил свое обещание лишь двумя месяцами позже, написав под впечатлением всей этой истории стихотворение «Открытое письмо женщине из города Вичуга», получившее довольно широкую известность на фронте, наверно, потому, что оно в какой-то мере отвечало на те трудные вопросы времени, которые, чем дольше тянулась война и чем мучительней удлинялись разлуки, делались все трудней и трудней.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

В октябре в очередную фронтовую поездку я отправился на этот раз втроем, вместе с Ильей Григорьевичем Эренбургом и фотокорреспондентом «Красной звезды» Сашей Капустянским. Первоначально предполагалось, что мы поедем на левый фланг Центрального фронта, выходивший на Киевское направление. Потом, не помню, редакция ли нас перекантовала или мы сами изменили маршрут, но в моих дневниковых записях речь идет о поездке в войска Центрального фронта, действовавшие не на Киевском, а на Гомельском направлении.

...Ночь. Ищем с Эренбургом штаб генерала Батова, с которым Эренбург знаком еще с Испании, когда Батов был военным советником в Интернациональной бригаде Мате Залки — генерала Лукача. Когда Лукача убили, они сидели в одной машине. Лукач был убит, а его комиссар Густав Реглер и Батов ранены.

Там, в Испании, псевдоним у Батова был — Фриц. Это имя странно звучит сейчас, когда с легкой руки Эренбурга на всех фронтах так называют вообще всех немцев.

Где-то впереди идут бои под Гомелем. Ночь черная, хоть выколи глаз. Все деревни и поселки вокруг сожжены.

Мы на своем «виллисе» заплутались. Ползаем в грязи в той пустой зоне, которая возникает при наступлении между фронтовыми и армейскими штабами: одни уже где-то сзади, а другие еще впереди. Пустыня. Только изредка попадается какая-нибудь более или менее целая деревушка, которую немцы не успели до конца сжечь из-за внезапности нашего удара.

Въезжаем в одну из них. Слякоть и дождь. Эренбург сидит на переднем сиденье нашего открытого «виллиса» в своей штатской шубе, в шапке, с палкой и трубкой. Я и Капустянский — сзади, обложенные вещевыми мешками и оружием. Въехав в деревню, резко тормозим оттого, что вдруг что-то сверху наискось цепляется за наше ветровое стекло и, шатнувшись в сторону, остается торчать над головами. Пятимся и направляем фары. Это немец в мундире, в штанах и ботинках, повешенный на низкой, поставленной посреди улицы на двух стойках перекладине.

Вряд ли забуду эту ночь, этот задетый ветровым стеклом, раскачивающийся над головами труп.

Сначала думаем, что это самосуд. Но потом, добравшись до штаба армии, узнаем, что немец повешен по приговору трибунала. Оказывается, после того как наши войска вошли в эту «зону выжженной земли», неделю назад, был издан приказ: когда захватят кого-нибудь из состава специально образованных немцами брандкоманд, поджигающих деревни, опознавать их при помощи жителей и в присутствии жителей судить в той самой деревне, в сожжении которой они участвовали. Тот, кого мы увидели, был одним из первых осужденных и повешенных.

...Выспавшись в отведенной нам избе, завтракали с Батовым. Маленький, но складно сбитый генерал, мускулистый, крепкий, с крепким, еще молодым лицом и густой шапкой курчавящихся волос.

Несмотря на долго уже продолжавшееся наступление, он не произвел на меня впечатления усталого или невыспавшегося человека. Был вежлив и сдержанно неговорлив. И только когда они с Эренбургом заговорили о прежнем испанском псевдониме генерала и его странном нынешнем звучании, Батов рассмеялся и стал вспоминать подробности своей военной жизни в Испании.

Я уже встречал за войну довольно много людей, воевавших в Испании. Об Испании они вспоминали по-разному: одни романтичнее, как о чем-то незабываемом и не похожем ни на что другое и продолжавшем жить в их душе незаживающей раной; другие, как Батов, вспоминали скупее, сдержанней, вспоминали как о трудном военном опыте, и за их словами сквозило профессиональное сожаление, что они тогда не имели под руками всего того, что имеют сейчас, и сами не были такими, какими стали сейчас. За сдер-

жанными внешне словами Батова чувствовалось внутреннее страстное желание перевоевать там, в прошлом, все по-другому, чувствовалось не высказанное вслух: мне бы туда, под Мадрид или под Уэску, такую армию, которая у меня сейчас, точно такую, ни больше ни меньше, не было бы тогда того, что было, не видать бы фашистам Мадрида как своих ушей...

Вот и вся дневниковая запись о той нашей встрече с Батовым.

Когда речь зашла об Испании, Батов рассказал об обстоятельствах гибели Мате Залки. Может быть, потому, что я сам спросил его об этом. Тогда я не записал рассказанного Батовым, но много лет спустя, когда мы делали с Романом Карменом фильм «Гренада, Гренада, Гренада моя...» и брали киноинтервью у наших добровольцев в Испании, Батов снова рассказал о гибели Мате Залки, на этот раз перед объективом киноаппарата, и пленка полностью сохранила его рассказ. Мне было бы жаль не исправить своего упущения военного времени и не привести этот рассказ здесь:

«...На рекогносцировку выехало три машины. Рядом с водителем нашей первой машины Эмилио, очень хорошим товарищем, испанским коммунистом, сидел политкомиссар 12-й Интербригады Густав Реглер, а на заднем сиденье — Мате Залка и я. Мы обогнули выступ скалы и вышли на прямую со скоростью сорок-пятьдесят километров. Дорога была прекрасная, но просматривалась со стороны Уэски.

Внезапно — сильный разрыв у правого переднего колеса! Машина дала ненормальный крен. Тяжело раненный Реглер крикнул, а Мате Залка сказал мне голосом, который помню до сих пор: «Фрицинька!» — приподнял с колена левую руку и снова опустил ее. Машину бросило влево, к парапету над обрывом. Шофер, раненный в руку и в голову, теряя сознание, круто вывернул вправо, и мы ударили в придорожный столб. Реглер вылетел от удара в кювет, а Мате Залка всем телом навалился на меня. Я тронул его висок — сплошная кровь. И одновременно почувствовал, что поднимаюсь ногами куда-то вверх и вылетаю из машины. Сильно ударился о бетон дороги и, должно быть, на какое-то время потерял сознание.

Я вскочил и увидел бегущего ко мне по кювету с сумкой санитара. «Премьере — генерал Лукач! Сначала — Лукача!» — крикнул я ему и повернулся к Мате Залке. Мате ле-

жал на левом боку, полувывалившись из машины. Голова его касалась дороги, и все было залито кровью... Помню, я почему-то подумал: неужели у человека может быть столько крови? Я ведь в десяти шагах, а кровь течет по бетону ко мне. Санитар подбежал к машине, а я посмотрел на себя и вижу, что у меня фонтаном бьет кровь. Оказывается, это моя кровь тянулась по следу, когда я отошел от машины. После этого ничего не помню. Рухнул и потерял сознание.

Очнулся в госпитале. На хирургическом столе — забинтованная большим-большим клубком ваты и бинтов голова Мате Залки. И вижу, что он еще жив, что у него еще ходит кадык. Потом вижу, начальник санитарной службы нашей бригады Хейльбрун, он тоже уже здесь, в госпитале. Говорю ему: консилиум генералу Лукачу! Мне все еще казалось, что что-то можно сделать. Хейльбрун подходит ко мне и говорит: «Колонель Фриц, вы посмотрите на свой китель, на свои волосы. Мозг и кровь Мате Залки впитались в ваш китель. Консилиум тут ни при чем». И я опять лишился сознания от потери крови.

После извлечения двух осколков и перевязки ко мне подошла медсестра, испанка лет тридцати, и с ней маленький мальчик. Уже потом я узнал, что это жена капитана республиканской армии. Она о чем-то говорила с врачом, а я, лежа на носилках, опять потерял сознание. Когда очнулся, смотрю, рядом со мной другие носилки, на них эта медсестра. Я потом не видел ничего похожего. Это, знаете, такое переливание крови, буквой Т: стеклянный наконечник в вену к ней — стеклянный наконечник в вену ко мне, между ними резиновый шланг и груша; груша вбирает кровь у нее и перекачивает ее в меня. Живу на белом свете — мне уже скоро семьдесят — с этой испанской кровью...»

Так спустя тридцать лет рассказывал мне о гибели Мате Залки его бывший военный советник Павел Иванович Батов, один из советских участников и — хочется добавить — один из рыцарей гражданской войны в Испании.

Читая эту запись, перенесенную с пленки на бумагу, и мысленно сравнивая ее с тем немногим, что сохранилось в моей собственной памяти с 1943 года, когда я впервые услышал рассказ Батова, я в который раз с горечью думаю: как много за эти годы и мною, и другими людьми моей профессии упущено, не запомнено, не записано...

Возвращаюсь к дневниковым записям.

...Освобожденное на рассвете село. День с утра серый, какой-то особенно серый. Село серое. Две трети домов сожжено. В сожженных домах торчат из земли печки, тоже какие-то серые, обмазанные вымокшей под дождем глиной. Люди отчаянно плохо одеты. За речкой на серой грязной луговине пестрые, рыжие, черно-белые пятна — расстрелянное немцами из пулемета стадо. Народу мало. Многие не вернулись из леса. Немцы, уходя, вместе со стадом расстреляли на луговине трех мальчиков-пастушонков. Мать одного из них в кругу обступивших ее и нас людей как-то по-особенному ужасающе подробно рассказывает, как именно все это вышло. А сын ее, которого она притащила на себе оттуда, с луговины, лежит тут же, рядом, у печки. Голова у него, наверное, изуродована и накрыта сейчас вымазанным в грязи черным пиджачком. Женщина выглядит такой старой, что ее можно принять за бабушку убитого мальчика.

Она рассказывает подробно и быстро, и глаза у нее такие, как будто она вот сейчас все это расскажет до конца и мы что-то сделаем, что-то выправим. А потом, договорив, смотрит на нас с удивлением, как будто впервые нас увидела. Молча поворачивается и идет к своей стоящей среди пустыни печке. Печка топится. В котелке что-то варится. А рядом лежит ее сын с накрытой черным пиджачком головой...

...Другая, тоже сожженная деревня, Уть. Другая женщина рассказывает о своем соседе, 95-летнем старике Кирилле Матвеевиче Кривенкове: «Я ему говорю: «Пойдем со мной в лес, а то они тебе хату запалят».— «А я их вилами, коли придут! Потом нехай палят». У него уже было при немцах такое дело. Пришли к нему выпившие полицаи, гонялись за малыми ребятами. Он взял дрючок — двух по головам, а третьего по спине. Они убежали. Но преследовать его потом не стали, наверное, стыдно было признаться, что такой старик отлупил их. Только корову у него за это забрали.

Когда немцы зажигали деревню, люди побежали в топь. Немцы подошли к его хате, а он вышел со двора с вилами. Навстречу ему немец с соломой — поджигать. Он его ударил в живот вилами. Другие немцы его схватили. Он минут пятнадцать кричал: «Ратуйте!» Они ломали ему руки и сломали в костях, а потом застрелили его из нагана в ухо. И дом спалили...»

Моя следующая дневниковая запись, несмотря на ее несколько юмористический тон, в сущности, как мне сейчас кажется, не столько о мимоходом попавших мне на карандаш странностях чьей-то любви, сколько о куда более серьезном — о той лишней чарке, из-за которой на войне, случалось, зазря гибли.

Впоследствии я написал об этом одну жестокую и, как мне кажется, бескомпромиссную главу в романе «Солдатами не рождаются», в которой идет речь о гибели людей.

В дневниковой записи этой бескомпромиссности не хватает, может быть, оттого, что нам свойственно задним числом юмористически относиться к происшествиям, после которых все, слава богу, остались живы-здоровы. Случись тогда все по-другому, наверно, был бы другим и тон моей записи.

...С Эренбургом мы ездили порознь: он в одни части, я в другие. Он в этот день оставался в частях Батова, а я поехал рядом, к соседям, в одну из дивизий, захвативших плацдарм и воевавших на той, западной, стороне реки Сож.

К полковнику, командиру дивизии, мы с Капустянским приехали утром, часов в одиннадцать. Штаб дивизии размещался километрах в четырех от реки, оттуда доносилась довольно громкая артиллерийская стрельба.

Когда мы приехали и слезли у ворот хаты, где должен был находиться полковник, выяснилось, что полковника в хате нету. Он только что вернулся с переправы и лег спать. Но спал не в хате, а в разбитой тут же во дворе под деревом палатке. Октябрь, холодно. Я подумал, что привычка полковника спать в такую погоду в палатке, наверное, свидетельствует о его спартанском нраве.

Через пять минут он вышел из палатки, одной рукой застегивая крючок на вороте кителя, а другой вытирая заспанное лицо. Это был плотный, коренастый человек с круглым веселым лицом.

Поздоровавшись со мной и с Капустянским, он спросил о цели приезда, сказал, что уже слыхал, что мы с Эренбургом находимся здесь, на Центральном фронте, и предложил позавтракать. Мы было отказались, так как уже завтракали, да и не хотели терять времени, но это не помогло, и завтракать он нас все-таки заставил. На столе появились водка и закуска. Полковник был гостеприимен по отношению ко мне, но еще больше по отношению к Капустянскому.

Только потом выяснилось, что он поначалу принимал Капустянского за Эренбурга. Его при этом не смутили ни относительная юность Капустянского, ни его фотоаппарат, которым он за это время несколько раз щелкнул нас. Видимо, полковник считал, что это в порядке вещей, и ему не хотелось расстаться с приятной мыслью, что он принимает у себя Эренбурга.

После того как мы выпили по первой рюмке, в хату зашла женщина в форме военфельдшера, такая же невысокая и коренастая, как полковник. На вид ей было лет тридцать, и во внешности ее не было ничего, что могло бы привлечь к ней внимание. Нескладно сложенная, нескладно, как-то мешковато одетая в военную форму, с большим некрасивым лицом и хриплым, простуженным голосом. Полковник при ее появлении привстал и, показав нам на нее рукой, сказал:

— А вот Нина, позвольте представить. Это моя племянница.

Рекомендация была настолько непривычной, что в первую секунду у меня даже мелькнула мысль: может, это и вправду его племянница?

«Племянница», сев с нами, выпила одну рюмку водки, сидела скромно и тихо, почти ничего не говорила. А я смотрел на нее и думал: всем ли он так ее рекомендует — племянницей — или сказал это по наитию, вдруг? И что привлекло этого, судя по тому, что я о нем слышал, когда ехал в дивизию, боевого, лихого человека, крепкого и не старого, именно к ней? К этой «племяннице». Спрашивал себя и не находил ответа.

А полковник тем временем разошелся, хлопнул вторую рюмку и вдруг — неожиданно для нас — захмелел, может быть, из-за бессонной ночи на переправе, после которой поднялся, едва успев лечь. Во всяком случае, по моим понятиям, было выпито не столько, чтобы захмелеть. Я ощущал в себе лишь некую приподнятость духа, когда грядущие опасности представляются меньшими, чем обычно, но при этом не утрачиваешь трезвого соображения, что опасно и что нет.

Однако нашему хозяину уже было море по колено.

— Я вам все расскажу,— говорил он,— и все покажу. Вот вчера через Сож перелез. Покажу, и где я перелез, и как перелез — по штурмовому мостику. А потом пойдем в роты или к артиллеристам. Противотанковые пушки у меня уже на том берегу. Посмотрим мои пушки. Только вчера

переправился через Сож, но зацепился. Перешел и зацепился. Командные пункты батальонов у меня на том берегу. Но я туда скоро и командиров полков вытолкну. Все там будут. Все вам покажу...

Он говорил как человек, к которому явились гости на только что полученный дачный участок: «Вот здесь у меня будет сад, а тут огород. А тут мы елочки посадим. А тут у меня будет клубника!» Полковник хотел нам показать все, что ему приходило на память, а заодно, наверное, свою храбрость.

Мне стало не по себе. В таких случаях уже ничего не поделаешь, надо не отставать, ходить, ползать, перебегать; и вдобавок, отдышавшись от всего этого, надо успевать делать вид, что тебе интересно всюду, куда бы тебя ни повели, хотя душа у тебя уже давно в пятках.

Перед новой рюмкой «племянница», стараясь сделать это понезаметней для нас, дернула полковника за рукав. Но он посмотрел на нее своими веселыми черными глазами, подмигнул и, хлопнув крепкой рукой по ее объемистой спине, сказал:

— Это посошок на дорожку!

Мы выпили посошок на дорожку и вышли во двор.

Полковник показал на «виллис»:

— Мой «виллис».

— Мы на своем поедем,— сказал я.

— Нет, ваш здесь поставьте. Вы же на нем из Москвы ехали?

— Из Москвы.

— Еще разобьют его там, на переправе, а вам обратно ехать. Вы уж его поберегите. Пусть лучше, если что, мой разобьют.

Полковник говорил о нашей машине так заботливо, словно его беспокоила только ее, а отнюдь не наша сохранность.

Мы сели в «виллис». Впереди водитель и полковник. Сзади — мы с Капустянским и автоматчик.

В ту секунду, когда водитель нажимал на стартер, из дома выскочила «племянница» в наспех натянутой, незастегнутой, колом сидевшей на ней шинели, пилотке и с санитарной сумкой через плечо. Выскочила и бросилась к «виллису».

— А ты куда? — сердито сказал ей полковник. Но, не выдержав мгновенной суровости, тут же весело подмигнул.

— Я вас не пущу туда одного, товарищ полковник,— твердо сказала «племянница».

— То есть как — не пустишь? — подмигнул полковник, на этот раз не ей, а мне: смотри, мол, какая — пускать меня не хочет!

— Я вас без себя не пущу, товарищ полковник. Я обязана с вами.

— Поехали,— сказал полковник водителю.

Но водитель, возможно, не без тайного умысла снова и снова безуспешно нажимал на стартер.

— Не можешь ехать, так я с Николаем поеду! Слезай с машины,— сказал водителю полковник.

— Сейчас заведется, товарищ полковник,— сказал водитель.

— Потеснитесь,— сказала «племянница», занося одну ногу в «виллис» и довольно решительно подпихивая Капустянского боком.— Я с вами рядом сяду.

— Где же ты сядешь? Тесно им с тобой.

— Тогда я на крыле поеду,— сказала «племянница».

— Ну ладно, садись,— сказал полковник.

Мы двинулись и вскоре были на берегу Сожа.

Сейчас, записывая все это, я смеюсь. Но в тот момент мне было совсем невесело. Сож здесь неширокий, шагов сто — сто двадцать от берега до берега, но это быстрая и довольно глубокая река. Саперы ниже по течению ставили ряжи, строили мост. Пока что через реку был перекинут только штурмовой мостик — узкий, с двумя веревками вместо перил по бокам. Посредине реки, когда по этому штурмовому мостику шли люди, он уходил под воду, и они оказывались в воде по щиколотку и даже по колено.

Плацдарм на том берегу, как нам еще по дороге сказал полковник, пока был совсем небольшой, шириной около трех километров, а глубиной метров восемьсот — тысячу.

Когда мы подъехали и вышли на берег, с того берега, с плацдарма, перебрасывали тяжелораненых. Солдаты тащили их на шинелях и на середине реки иногда поневоле зачерпывали в эти шинели воду, потому что мостик под тяжестью двух несших и третьего, лежавшего на шинели, прогибался так, что вода оказывалась выше колен.

Как только мы слезли с «виллиса», полковник, как я убедился, никогда не забывавший о сохранности материальной части, сразу же сказал водителю:

— Давай гони отсюда скорей, стань с ним подальше. А то разобьют тебя к черту. Сейчас он бить начнет,— и ког-

да «виллис» отъехал, подмигнул нам с Капустянским.

«Он» не замедлил выполнить предсказание и действительно начал бить. Мины стали рваться на берегу, сперва левее нас, потом правей. Переправа раненых приостановилась, а полковник, не двигаясь с места, стоял рядом с нами.

У меня было нелепое одновременное чувство стыда и страха. Кругом люди благоразумные залегли, за исключением саперов, продолжавших ниже по течению ставить ряжи. На мостике движение прекратилось. Мины, попадавшие в воду, поднимали фонтаны. Мне хотелось лечь, но полковник продолжал стоять.

Не знаю, сколько б мы так простояли, если б не «племянница».

— Товарищ полковник,— сказала она.— Пойдемте на КП полка. Вы здесь не можете быть.

— Почему это я не могу здесь быть? — сказал полковник. И снова подмигнул нам.— Я наблюдаю за переправой. Почему это я здесь не могу быть?

— Вам здесь не положено стоять, товарищ полковник,— сказала «племянница».

— Много ты понимаешь,— сказал полковник.— Боишься, так поезжай домой. Иди к «виллису», возьми его. Поезжай на нем домой. Только скажи, чтоб он обратно сюда приехал.

— Никуда я не поеду,— сказала «племянница».— Вам здесь не положено быть, товарищ полковник. Идите на КП полка.

— Ну хорошо. Пойдем,— вдруг миролюбиво сказал полковник, но пошел не назад, на КП полка, а вперед, к штурмовому мостику.

Мы пошли за ним. Но «племянница» забежала вперед.

— Вы же всю ночь до утра там были, товарищ полковник. Зачем вы опять идете? Вам там не положено быть,— упорно повторяла она.

Но полковник шел, нисколько не сердясь на нее, в прекрасном настроении.

Так мы перешли через штурмовой мостик: полковник, «племянница», я, Капустянский и автоматчик.

Землянка командира батальона на том берегу была не ахти какая, крытая даже не бревнами, а просто досками, присыпанными сверху землей. Но все же как-никак это была яма в земле, и притом вырытая на обратном от противника скате. Мы немножко посидели здесь с полковни-

ком, который стал рассказывать мне разные подробности о вчерашнем бое, а Капустянский тем временем снял двух отличившихся автоматчиков, кусок берега и переправляемое на плоту орудие. Словом сделал все, что полагается в таких случаях фотокорреспонденту.

Командира батальона в землянке не было. Он ушел в одну из рот. Полковник рассказал мне все, что собирался, и, согревшись, забеспокоился своим бездействием.

— Поищем командира батальона,— сказал он мне и подмигнул.— Может быть, это только разговор, что он в роте. А сам взял да на тот берег во второй эшелон ушел.

Сидевший в землянке политрук запротестовал против этого обидного для комбата предположения.

— Все равно пойдем посмотрим,— сказал полковник.

— Что ж, пойдем,— сказал я.

Мне не хотелось вылезать из землянки, но я почувствовал себя беззащитным перед сокрушительной энергией этого человека и уже понял, что все равно в такой день, как сегодня, он поведет нас всюду, куда ему войдет в голову.

Едва мы вылезли из землянки, как замолкшая при политруке «племянница» стала вновь долбить свое:

— Товарищ полковник, вам не положено. Останьтесь, не идите...

И я, глядя на эту женщину, подумал: «А нет ли в том, как она уговаривает его не идти дальше, чувства собственного страха, собственного нежелания идти по обязанности военфельдшера туда же, куда идет он?»

И сразу же отбросил эту мысль. Было в ней что-то такое, не позволявшее так думать. Она была так занята мыслями о том, что его могут убить, что, наверное, у нее не оставалось сил думать о себе.

Через полчаса мы благополучно добрались до роты. Там была короткая передышка в землянке командира роты у опушки леса. Дальше, собственно говоря, идти уже было некуда, и, наверно, тем и кончилось бы, но командир батальона, оказавшийся не на том берегу, а именно в этой своей роте, решил проявить фронтовое гостеприимство, предложил нам жареной картошки и отвинтил крышку фляги.

— Картошечки поедим,— подмигнул мне полковник.

Картошки ни он, ни мы с Капустянским не ели, все трое были сыты, но понемногу из фляги пришлось выпить.

Я полчаса проговорил с командиром батальона, чувст-

вуя, как недоволен полковник этой задержкой. Его беспокойная натура требовала дальнейших действий.

— А что у вас еще тут поблизости есть? — вдруг спросил он комбата.

Комбат стал объяснять, что левее расположена такая-то его рота, правее — такая-то.

— Нет, что ты мне про это толкуешь,— сказал полковник.— Что у тебя такого есть, чтоб писателям показать? Вот приехали к нам товарищ Симонов и вот еще товарищ.— Он недоверчиво посмотрел на Капустянского, словно тот не хотел сделать ему удовольствия и оказаться Эренбургом, и спросил меня: — Артиллерию мою не видели? — я молчал, ждал, что будет дальше.— Пушки противотанковые когда-нибудь видели? — Я сказал, что пушки противотанковые видел.— А на позиции их видели? — спросил он и, не дожидаясь ответа, сказал: — Я вам их на позиции покажу.

Командир батальона пытался возразить, говорил, что пушки отсюда в полукилометре, по дороге лес вырублен, открытое место, немцы его обстреливают. В крайнем случае, если необходимо попасть на батарею, надо вернуться обратно на берег и другим путем, по лощинке, добраться до артиллеристов.

— А мы так пойдем,— сказал полковник и, подмигнув мне, повернулся к командиру батальона.— А ты, если боишься, не ходи. Ты мне там не понадобишься. У тебя свои дела есть, ты тут и сиди!

После этого командир батальона замолчал и пошел вместе с нами.

Сначала все было тихо, но потом как раз там, где начиналась вырубка, на открытом месте, немцы, как и предупреждал командир батальона, начали обстрел. Пришлось несколько раз залечь.

Пока мы шли, «племянница» несколько раз забегала вперед. Мне казалось, что она старается прикрыть собой полковника. И хотя при минометном или артиллерийском обстреле никто не может сказать заранее, с какой стороны надо прикрыть человека, сзади или спереди, но даже у хорошо знающих это остается инстинктивное чувство, что ты прикрываешь своим телом человека, когда идешь впереди него. Так она и старалась поступать.

После того как мы несколько раз прилегли и дошли примерно до середины открытого участка, впереди густо разорвались мины. Полковник, с которого, как мне показа-

лось, соскочил хмель, пошел дальше, ускоряя шаги. Но «племянница» ухватила его за полу шинели и закричала:

— Товарищ полковник! Не ходите! Вы не имеете права!

До этого полковник велел нам, как он выразился, рассредоточиться, и мы шли шагах в десяти друг от друга, но, когда она вдруг остановила его за полу шинели, я невольно наскочил на них. Она не заметила или не подумала об этом, и я вдруг услышал, как она сказала:

— Не ходи, родимый, не ходи, убьют тебя!

А потом, уже заметив меня, опять крикливо и громко:

— Товарищ полковник! Не ходите!

Полковник резко вырвал у нее полу шинели и быстро пошел вперед.

Еще через несколько минут мы благополучно добрались до артиллеристов, посидели у них, вернулись другой дорогой к берегу, посмотрели, как работают саперы, переправились обратно через Сож и еще несколько часов пробыли в районе переправы, уже на том берегу.

Полковник, согнав остатки хмеля, показывал уже не бессмысленное удальство, а истинную деятельность, торопил с переправой артиллерии, проверял, как оборудованы и чем накрыты землянки саперов, следил за тем, как перебирается на тот берег штаб полка. В общем, под конец все вошло в свою колею. Это были обыкновенные вечерние рабочие часы обыкновенного фронтового дня.

До штаба дивизии мы добрались уже в темноте, наскоро простились и, не заходя в хату полковника, пересев на свой «виллис», уехали.

Я ехал и думал на обратном пути, что же творится в душе у этой «племянницы», у этой женщины, видимо, уже не раз рисковавшей жизнью, сопровождая своего безудержного полковника. Она была некрасива, а у него где-то была семья, жена и дети, и он не скрывал этого, упомянул при ней в начале завтрака. Вряд ли она рассчитывала на продолжение отношений. Наверное, с концом войны для нее кончилась и личная жизнь.

Думая обо всем этом, я наконец дошел до простой и, должно быть, верной мысли. Она просто-напросто любила этого человека, не заглядывая в будущее, зная, что нехороша собой, не так уж молода и что он не бросит ради нее семью. А в нем, должно быть, жило чувство какого-то удивления перед ней, перед ее готовностью к самопожертвова-

нию; и вместе с тем, наверно, уже давняя привычка, что именно она, а не кто-то другой рядом с ним.

Таким запомнился мне этот день, в котором, в сущности, было куда больше драматического, чем смешного...

Мимо того дня на Соже, о котором шла речь, я, конечно, не мог пройти как писатель. С таким на фронте нечасто сводит жизнь, отсюда и подробность моей дневниковой записи. Но, как корреспонденту «Красной звезды», мне этот день, разумеется, не дал и не мог дать нужного для газеты материала. И мы с Капустянским на следующий день переправились через Сож еще раз на другом участке, на другой плацдарм.

В результате в «Красной звезде» появилась моя корреспонденция «На реке Сож», срочно написанная и переданная по военному проводу и не отличавшаяся другими достоинствами, кроме оперативности.

Но среди дневниковых записей я нашел несколько страничек, связанных с тем осенним днем на этом втором плацдарме за Сожем. Его удерживали и готовились за ночь расширить.

...Лес густой — порой ничего не видно в двадцати шагах — и насквозь вымочен осенними дождями. Грязь. Сапоги увязают по колено. Дождь такой, что солдаты, пока едят, прикрывают котелки с супом, чтоб не долило дождевой водой.

Когда осенью, в грязь, большое стадо скота проходит по полю, земля изрыта следами копыт. Если мысленно увеличить эти следы раз в десять, то примерно так все это выглядит на западном берегу Сожа, изрытом воронками от мин. Разорвись все это не за двое суток, а одновременно, не осталось бы ничего живого.

Почти столько же воронок и по всему лесу. А среди них окопы и окопчики, грязные, мокрые, по щиколотку наполненные водой, но все равно тянущие к себе своим спасающим от смерти, неприглядным уютом.

Дело к обеду. Сидим в блиндаже командира полка втроем — я, он и полковник, командир поддерживающего его артиллерийского полка. Блиндаж врыт вкось в песчаный холм у подножия сосен, сверху прикрыт двумя рядами бревен. Тяжелый снаряд пробьет, а мина, пожалуй, нет. Сырой песчаный пол застлан непросохшими еловыми ветками.

Обед, который должны принести в термосах с того берега, опаздывает. Снаряды падают вокруг переправы. Отсюда слышны разрывы. Запасливый артиллерист наливает из трофейной фляги водку в кружки.

— Для возбуждения аппетита! — и добавляет, что глазомер у него артиллерийский.— Налил ровно по норме, по сто граммов.

Аппетита нет, но хорошо согреться среди сырости, от которой не попадает зуб на зуб.

Командиры полков все время вместе, с самого начала наступления. И, судя по разговору, дружат. Пушки артиллериста пока еще на том берегу, бьют по немцам оттуда, но сам он с первых часов переправы здесь, вместе с пехотой.

— Когда леса — это в общем-то хорошо,— говорит пехотинец.— Это немцы не любят лесов, а моя пехота очень даже их любит. В лесу малым числом и смелостью можно много сделать, особенно ночью.

Артиллерист возражает, говорит, что в этом единственном случае вполне согласен с немцами — тоже не любит лесов.

— Ничего в них не видно. Не видно, куда стреляешь, не видно, как поражаешь цель. Бьешь по квадратам — никакого удовольствия! Вроде поразил цель, а не видно!

Двое солдат приносят термос.

— Извините, товарищ подполковник, подзадержались из-за него,— кивает один из солдат на другого.

— Чего это ты задержался?

— Поцарапало ногу маленько. На самом мостике, на переправе.

— Поди перевяжись.

— Я индивидуальным пакетом уже перевязал.

— Все равно иди, иди,— повторяет подполковник. Солдат уходит.

— Чуть в воду не упал,— говорит про него, когда он ушел, оставшийся в землянке ординарец.— Думал, утопим сегодня ваш суп, товарищ подполковник.

— Что за суп?

— Щи.

— Щи — это хорошо.

После обеда у командира полка собираются пришедшие на совещание командиры батальонов. Дождь перестает, и мы выбираемся на свежий воздух, устраиваемся на разостланных плащ-палатках.

Командир полка ставит ночную задачу — выйти на

опушку леса поближе к деревне, которую завтра надо занять. Уточняют с артиллеристом рубежи, по которым ночью будет бить артполк.

Пока идет совещание, высоко над головой проходит несколько немецких мин. Рвутся далеко, и никто, кроме меня, на них не реагирует.

Снова начинается дождь. Командиры расходятся по своим батальонам. Мы с подполковником тоже идем — поговорить с людьми. Дождь бесконечный. Даже когда он стихает, ветер сыплет с листвы и хвои капли за воротник.

В окопах главные темы разговоров, что долго не везут табака и хоть бы солнышко проглянуло, подсушило. Когда закуриваем, выясняется, что у меня табак сильно отсырел; когда сворачивают цигарки, все-таки тянется! А у меня в трубке почти не тянется.

— Все бы ничего,— говорит солдат,— только табак мокнет. Куда не положишь, мокнет. У меня кисет резиновый был, так я его в Десне утопил. Пошил самоделку — промокает.

В который раз, снова и снова думаю над одним из главных вопросов войны. Уже третий год люди живут в крайнем напряжении. И, как ни странно, помогают быт, житейские привычки. Если все время помнить и думать только о войне — человек не выдержал бы на ней не только года, а и двух недель. И писать войну, беря в ней только опасность и только геройство,— значит писать ее неверно. Среди военных будней много героизма, но и в самом героизме много будничного.

Незадолго до темноты опять под дождем вернулись к переправе. Пользуясь перерывом между немецкими артиллерийскими налетами, переносят через реку раненых за день. Несут на плащ-палатках, накрутив на руки их углы. По краям мостика между редкими стояками протянут телефонный провод.

Трудно представить себе здесь, между тем и этим берегом, одинаково изрытым минами, под этим сплошным дождем, что все-таки когда-то наступит мир и все эти промокшие, иззябшие люди будут в такую вот осень сидеть при свете, по своим теплым комнатам. Те, которые останутся живы. Но другого пути туда, в эти комнаты, все равно нет, чем вот этот мокрый штурмовой мостик, а в другом случае взамен его что-то другое — такое же трудное...

Недавно мне пришло письмо из Сумской области.

«...Увидел вас на экране телевизора. Время идет, дети

растут, а мы стареем. В 1943 году, в октябре месяце, вы были у нас на плацдарме за рекой Сож, в 1203-м стрелковом полку. А Илья Эренбург был в то время в 44-й гвардейской стрелковой дивизии.

Были очень упорные бои; немцы закопали танки в лесу и сильно сопротивлялись. Бой был очень кровопролитный, переправу беспрерывно бомбили немцы. Мы переживали за ваш благополучный отъезд, вернее, пешеходное возвращение на левый берег реки Сож.

Вы с нами фотографировались. Вернее, фотокорреспондент вас с нами фотографировал и обещал нам фото.

Командир полка подполковник Щербаков вскорости погиб в бою на моих руках...

Если у вас сохранилась эта фотография, то каким путем ее можно увидеть? Чтобы она была у меня. Я инвалид войны второй группы, награжден пятью боевыми орденами.

Поздравляю вас с праздником Дня Победы. С. П. Голуб».

У Капустянского, как и у других фотокорреспондентов, многие военные негативы и по сю пору, через тридцать лет, все еще не разобраны. Он искал эту фотографию, где снял меня вместе с офицерами, но не нашел. Зато нашел другие: штурмовой мостик через Сож, несколько офицеров на том берегу на плацдарме. И по-моему, среди них оба командира полков.

Стал рыться во фронтовых блокнотах. На одном из листков среди других записей — фамилии «Подполковник Щербаков Григорий Федорович, 1203-й стрелковый полк. Командир артиллерийского полка подполковник Гроховский.

Судьбы артиллериста не знаю, а пехотинец, подполковник Щербаков, оказывается, после того, как мы с ним виделись за Сожем, «вскорости погиб в бою», как сказано в этом, одном из многих писем, все еще, словно осколки, долетающих оттуда, с войны, убивая тех, кто в моей памяти оставался живым.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

В конце октября я вернулся из поездки на Центральный фронт, переименованный, пока мы ездили, в Белорусский. Больше месяца, до следующего отъезда из Москвы, про-

шло у меня в совместной работе со Всеволодом Илларионовичем Пудовкиным над сценарием впоследствии так и не поставленного им фильма, который сначала должен был называться «Москва», а потом — «На старой Смоленской дороге».

Весной этого, 1943 года Пудовкин закончил снимать в Алма-Ате «Русских людей». Хотя в основу была положена моя пьеса, но к созданию фильма я не имел никакого отношения. Пудовкин сам написал сценарий, и я, приехав в Алма-Ату, увидел картину лишь на просмотре, когда она была уже готова.

Фильм произвел на меня тогда сильное впечатление. Особенно поразило то, чего не было в театре и что вторглось в фильм вместе в Пудовкиным — режиссером и актером. Потому что Пудовкин играл в этом фильме одну из главных ролей — роль немецкого генерала. Новую, написанную им самим для себя и лишь отчасти напоминавшую о том персонаже пьесы, от которого оттолкнулся Пудовкин

Мне и по сей день кажется, что никто еще у нас в кино не сыграл с такой значительностью генерала фашистского вермахта — человека сильной индивидуальности, врага крупного, жестокого и опасного. Именно таким написал его Пудовкин и таким сыграл его тогда, в 1943 году, когда многие объективные и субъективные причины толкали даже серьезных художников на изображение врага если не окарикатуренного, то, во всяком случае, примитивизированного.

Наверно, я лучше Пудовкина знал тогда, чем была эта война, ее быт, ее неповторимые подробности. Но Пудовкин всем своим человеческим опытом глубже, чем я, почувствовал внутреннюю суть врага и меру сконцентрированной в нем опасности. Именно таким уверенно и точно сыграл он в фильме немецкого генерала.

Вторым, что поразило меня в фильме, был сделанный в нем Пудовкиным бой, переходивший в рукопашную схватку между нашими и немцами, настолько яростно-напряженную, что при всех ее земных реалистических подробностях она одновременно воспринималась и как символ общего нечеловеческого напряжения борьбы.

По поводу написанного и созданного им образа немецкого генерала Пудовкин не счел нужным объясняться со мной. Тут он был вполне уверен в себе. Но его, видимо, тревожило, как я, человек, приехавший с фронта, отнесусь к этому эпизоду боя.

Во всяком случае, едва я раскрыл рот, чтобы заговорить, как он остановил меня:

— Подождите, я сначала хочу вам объяснить.— И потащил меня за руку из маленькой просмотровой в павильон, тоже маленький и убогий.— Вот где мы снимали этот бой,— сказал Пудовкин и стал объяснять, что на студии нет ровно ничего, чтобы снимать сцену боя. Ни обмундирования, ни оружия, ни снаряжения, ни просто людей, хотя бы нескольких сот человек.— Вот здесь мы это делали,— объяснял Пудовкин.— Вот тут, в этом углу. А эти полпавильона были заняты другой декорацией, а этот угол — третьей. А теперь говорите правду, что вы думаете об этом куске?

Его волновало, не помешает ли мне ограниченность средств и пространства почувствовать тот внутренний крупный масштаб сцены, которого он добился. Разгляжу ли я большую правду его искусства за теми мелкими издержками в правдоподобии, которые он сам сознавал. Оттого, наверное, словно бы оправдываясь, он и потащил меня в этот убогий павильон.

Я сказал то, что думал: что, идя на просмотр, я совсем иначе представлял себе этот кусок, но сила, с которой он сделан, покорила меня.

Он был рад, что я понял его. И не счел нужным скрывать своей радости.

Осенью сорок третьего года я увидел в Москве афиши с незнакомым названием: «Во имя Родины».

На фотографиях были знакомые лица Жарова, Крючкова, Пастуховой, Жизневой, Грибкова, игравших у Пудовкина в фильме «Русские люди», а название почему-то другое.

Вскоре меня вызвали в МК к Щербакову как предполагаемого автора сценария о защите Москвы в 1941 году. Вопрос о том, кто будет ставить фильм, как я понял, оставался пока открытым.

Я с охотой взялся за эту работу и сказал, что буду очень рад, если картину согласится ставить Пудовкин.

Щербаков, к моему удивлению, промолчал. Тогда я сказал о своих впечатлениях от «Русских людей», поставленных Пудовкиным, и попутно заметил, как меня огорчило, что у картины другое название.

— Напрасно огорчаетесь,— сказал Щербаков.— Картине дано другое название в ваших же интересах. Картина неудачная. Мы ее все-таки выпустили, но изменили назва-

ние, чтобы не компрометировать хорошую пьесу «Русские люди».

Я растерялся, но все-таки сказал, что, по-моему, наоборот, Пудовкин в своем фильме многое сделал сильнее, чем в моей пьесе.

— Напрасно вам это показалось,— сказал Щербаков.— Никто не отрицает таланта Пудовкина, но эта картина у него не вышла. Ни размаха, ни широты, ни массовых сцен, ни русской природы — не чувствуется масштаба. Удивляюсь, как вам это понравилось. А еще больше удивляюсь, почему он так снял: все в какой-то тесноте, одно на другое, одно на другое...

Я стал рассказывать Щербакову, в каких условиях снималась картина, почему в ней не могло быть ни массовых сцен, ни той широты, о которой он говорил. Я, как умел, защищал Пудовкина, и Щербаков слушал меня внимательно и, как мне казалось, доброжелательно. Однако, когда я закончил, он повторил то, с чего начал:

— Неудачная картина...

И добавил, что о постановщике будущего фильма о Москве еще есть время подумать.

Я объяснил ему, что мне с самого начала надо знать, для какого режиссера я пишу сценарий, и я верю, что Пудовкин сделает эту картину лучше, чем кто-нибудь другой.

— Ну смотрите,— сказал Щербаков,— чтобы потом не пенять на себя. В данном случае не могу вам приказывать, но предупредить должен.

Он попрощался со мной не столько сердито, сколько огорченно, и я ушел.

Я знал от своих товарищей по работе, что Щербаков бывал крут, и даже очень, но мне ни разу не пришлось испытать этого на себе, и меня тем более встревожило, что он так и не внял ни одному из моих доводов, когда я говорил о Пудовкине. И почему он закончил разговор предупреждением: пеняйте потом на себя?

Лишь много позже, уже после смерти Щербакова, я понял, что тогда, в сорок третьем году, он, оставив за мною право делать будущий фильм о Москве с Пудовкиным, взял на себя немалую по тому времени ответственность.

После войны М. Н. Кедров поставил на сцене МХАТа инсценировку моих «Дней и ночей». Постановка с успехом шла уже несколько месяцев, как вдруг спектакль был временно снят.

Оказалось, что на нем побывал И. В. Сталин и спек-

такль ему не понравился: на сцене не хватает размаха, широты, масштабов Сталинградской битвы...

Надо ли говорить, с какой серьезностью мы отнеслись тогда к замечаниям Сталина. Желая спасти спектакль, мы несколько суток сидели над инсценировкой, думая, как же внести в нее требуемые масштабы. Но этим требованиям сопротивлялся сам материал «Дней и ночей», история клочка земли, трех домов, горстки людей, через которую было задумано, как в капле воды, показать целое — всю битву. Как мы ни бились, так ничего и не придумали. Спектакль не был восстановлен.

Именно тогда я и вспомнил свой разговор с Щербаковым о фильме «Русские люди». Те же самые требования и даже те же самые слова — широта, размах, масштабы... Очевидно, все это и тогда шло непосредственно от Сталина, но Щербаков не счел нужным или возможным сказать мне об этом.

Ради объективности добавлю: насколько я знаю, и пьесе «Русские люди», и повести «Дни и ночи» премии были присуждены по инициативе Сталина, читавшего и то и другое. Но, очевидно, при чтении у него создалось одно ощущение, а когда он смотрел эти вещи, материализованные на экране или на сцене, у него возникало то требование широты, огромности общих масштабов, которое погубило спектакль МХАТа и определило судьбу пудовкинского фильма.

Да, видимо, тогда, в сорок третьем году, Щербаков, не наложив прямого запрета на мою будущую работу с Пудовкиным над фильмом о Москве, сделал максимум того, что он мог сделать.

Когда Пудовкин приехал из Алма-Аты в Москву, мы встретились. Он уже знал, что его фильм не понравился, и был огорчен этим. Не посыпая соли на раны и не пересказывая разговора с Щербаковым, я предложил Пудовкину делать вместе фильм о Москве и, когда он в принципе согласился, дал ему перед отъездом на фронт свои дневниковые записи 1941 года.

Мне казалось, что некоторые эпизоды, рассказанные там, пригодятся нам при работе над сценарием. Будущий фильм мне самому представлялся сюжетным, с несколькими героями и любовной историей.

Но разговор с Пудовкиным, прочитавшим мои дневниковые записи, пока я ездил на Центральный фронт, вышел совсем неожиданным.

— Я буду ставить ваши дневники,— сказал он с порога.

— Как?

— А вот так... Никаких сюжетов, ваши дневники — они и будут сюжетом. Там, где чего-то будет не хватать, придумаем, добавим, но в том же ключе. И чтобы именно военный корреспондент связал между собой всех других людей.

Не буду пытаться через столько лет восстанавливать наш тогдашний диалог с Пудовкиным. Но смысл сказанного им я помню достаточно хорошо. Это было неожиданно для меня. А неожиданное сильнее запоминается.

Пудовкин говорил, что у него нет желания делать картину, полную условностей, что он не хочет ломать голову над тем, как связывать в сценарии людей, которых не связывала между собой война и которых можно соединить, только придумывая искусственные в условиях войны встречи. Его интересует не ход сюжета, а ход войны, не личные драмы, а драма войны. Его интересует не история чьей-то любви друг к другу, а история сражения за Москву. А так как ему хочется при этом, чтобы в фильме были и люди, сражающиеся на переднем крае, и люди, руководящие сражением, нужны и окопы и Москва, то все это как раз и естественнее всего связать при помощи человека, который сегодня может встречаться с одними, а завтра с другими, сегодня быть здесь, а завтра там, то есть военного корреспондента.

А кроме того, он считает, что битва за Москву началась еще в начале войны, далеко от Москвы, и, чтобы показать это, он тоже видит достаточно материала в моих дневниках.

Духовный натиск Пудовкина был таким сильным, что я согласился. И мы в тот же день сели работать над сценарием.

Работали у меня дома каждый день с утра и до изнеможения. Уже не помню, кто из нас двоих записывал черновой текст сценария. Помнится, Пудовкин, но может быть, и поочередно.

Наконец сценарий был дописан. Я уезжал из Москвы, а сценарий стали читать все, кому это полагалось.

Забегая вперед, скажу, что конец был невеселым. Идея Пудовкина — сделать сценарий по дневникам военного корреспондента,— сначала показавшаяся неожиданной

мне самому, показалась еще более неожиданной тем, кто читал сценарий.

Ничего обидного нам сказано не было. Просто мы сделали не то, чего от нас ждали. В сценарии увидели рассказ о военном корреспонденте, а не о битве за Москву, и в таком качестве сочли нецелесообразным снимать его; а Пудовкину предложили работать над историческим фильмом об адмирале Нахимове...

Но все это произошло позже, после моего возвращения в Москву, а пока что, очень довольный тем, что мы с Пудовкиным успели закончить сценарий, я ехал из Москвы в Харьков. Очередная редакционная командировка на этот раз была не на фронт, а на судебный процесс, начинавшийся в Харькове над тремя немцами и одним русским, занимавшимся умерщвлением людей при помощи специально оборудованной автомашины. По-немецки она называлась «фергазунгсваген», или, покороче, обиходней, «газваген» — газовый вагон. А русское ее название — душегубка — мы привезли уже с харьковского процесса.

Когда в январе сорок третьего года на Северном Кавказе я впервые услышал о какой-то немецкой машине смерти, это страшное в своей народной меткости название — душегубка — еще не доходило до моих ушей.

Процесс предстоял над мелкими сошками гитлеровской машины уничтожения. Главный обвиняемый, офицер военной контрразведки германской армии, был всего-навсего капитаном, остальные двое немцев — в еще меньших чинах. И русский тоже был не бургомистром и не начальником полиции, а всего-навсего шофером душегубки.

Однако процесс этот был первый за войну. За этими мелкими сошками стояла созданная для массовых убийств государственная машина смерти, масштабов действия которой мы тогда еще не знали. На процесс, чтобы писать о нем, поехали такие известные всей стране люди, как Илья Эренбург и Алексей Толстой, одновременно являвшийся заместителем председателя Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию фашистских злодеяний. Поехало на процесс и большинство сидевших в Москве иностранных корреспондентов.

К нестерпимо медленно, по нынешним нашим понятиям, ползшему до Харькова поезду был прицеплен мягкий пассажирский вагон для всех, кто ехал на процесс.

Сразу же за Тулой пошла земля, где побывали немцы, и так тянулась до самого Харькова — сожженные города, разбитые вдребезги станции, взорванные водокачки, остовы сброшенных с путей горелых вагонов, вывихнутые столбы, перекрученные взрывами рельсы, трубы взорванных заводов, трубы сгоревших домов.

Всего этого я повидал предостаточно и раньше, но сейчас все это шло подряд, без перерыва, все время, пока мы ехали и пока подолгу стояли на станциях и полустанках. Было такое чувство, словно на долгом пути до Харькова все это вышло по обе стороны дороги на бесконечный мрачный парад необозримого горя и разорения. Я ехал мимо всего этого, а где-то на дне души отстаивалась тяжелая злоба на немцев. Отстаивалась, как тогда казалось, навеки, до смертного часа. Потом, уже в Харькове, Толстой в первое же утро, когда мы очутились вместе в гостинице, вспомнив эту дорогу, сказал, что чувствует себя после нее прогнанным сквозь строй, битым не до крови, а до мяса и костей, и мрачно, грубо выругался. И я понял, что не только я, а и другие ехали, испытывая то же самое, что я.

С харьковского процесса я отправил несколько корреспонденций в «Красную звезду».

Было такое чувство, что мы ухватились за самый кончик чего-то безмерно страшного, остававшегося где-то там, за захлопнутой еще для нас дверью. Тянем за этот кончик, но больше пока вытащить не можем! Уже после этого в мою память вошло и то, что я увидел своими глазами — Майданек и Освенцим,— и то, о чем слышал и читал — тома Нюрнбергского процесса, десятки книг, тысячи и тысячи метров пленки, снятой операторами почти во всех местах главных массовых убийств — в России, на Украине, в Белоруссии, в Прибалтике, в Польше. Печи, рвы, черепа, кости, панихиды, эксгумации...

Но тогда в Харькове был только этот куцый кончик всего раскрытого потом: не Гитлер и не Гиммлер, и не Кальтенбруннер, а какой-то капитан Вильгельм Лангхельд, у которого на совести были не миллионы, а всего несколько тысяч жизней, и какой-то унтер-штурмфюрер СС Ганс Риц, который не помнил в точности, сколько по его приказу убито людей в Таганроге — не то двести, не то триста. Старался добросовестно отвечать на вопросы и все-таки не помнил — двести или триста. И шутка кого-то еще не пойманного, сказанная одному из пойманных над трупами в овраге: «Вот лежат пассажиры вчерашней газовой камеры».

И морщины на лбу, и недоуменно растопыренные пальцы человека, честно силящегося вспомнить, кто именно был им убит: «Нет, я не помню всех этих русских имен». И уважение к находившейся в их руках газовой технике: «Я считал, что эта казнь гуманная». И поголовный расстрел четырехсот пятидесяти душевнобольных, и крик оттуда, из толпы расстреливаемых: «Сумасшедшие, что вы делаете!»

Обо всем этом я потом так много раз слышал и читал, и все это столько раз повторялось в моей памяти, что мне вдруг кажется, что я у кого-то взял эту фразу: «Сумасшедшие, что вы делаете!», хотя она написана мною самим в лежащем сейчас передо мной моем собственном блокноте.

Потом, в сорок четвертом и в сорок пятом годах, мы сделали столько страшных открытий, что иногда тупели от ужасающей привычности невероятного.

А тогда в Харькове был первый процесс, и то, что я слышал на нем, я слышал в первый раз. То есть, точней говоря, я, конечно, и до харьковского процесса много раз слышал от тех, кого не успели убить, о том, как и кого на их глазах убили.

Но на процессе в Харькове я впервые услышал о том, *как это делалось*, о *тех, кто это делал*, из уст трех немцев и одного русского. Его в зале суда в недавно освобожденном от оккупации Харькове ненавидели еще бесповоротней, чем этих трех немцев, хорошо зная, что без таких, как этот четвертый, такие, как эти трое,— в чужой стране, как без рук!

И все-таки тем новым для меня, что я почувствовал там, на процессе, была не ненависть — я испытывал ее и раньше,— а ошеломленность оттого, что я впервые слышал не о ком-то: «они убили, они сожгли, они замучили», а от первого лица, про самого себя, вслух: «я убил», «я застрелил», «я затолкнул их и запер в кузове», «я нажал на педаль газа». И в этом «я», «я», «я», повторявшемся день за днем в зале суда, при всей реальности было что-то неправдоподобное даже после всего, что я видел на войне.

Корреспонденций с процесса я писал с трудом, никак не мог выразить того, что чувствовал, не мог найти слов, и вообще не хотелось ни говорить, ни писать ни корреспонденций, ни дневников — ничего.

В конце концов я взял себя в руки и, насильственно отвлекаясь от всего, что видел и слышал, строфу за строфой стал писать по ночам стихи, «Открытое письмо», не имев-

шее никакого отношения к происходившему в те дни в Харькове.

Когда кончился процесс и всех четырех осужденных приговорили к повешению, мы с Алексеем Николаевичем Толстым пошли на площадь, где происходила публичная казнь. Колебаний — идти или не идти — не было. Ходили каждый день на процесс, слышали и видели все, что там говорилось и делалось, пошли и в этот день, чтобы увидеть все до конца.

Старший из немцев, капитан, там, на процессе, без утайки, однажды решившись, каким-то деревянным, неживым, но твердым голосом рубивший все до конца, и здесь твердо, деревянно, как уже неживой, шагнул навстречу смерти в открытый кузов въехавшего под виселицу грузовика, который должен был потом отъехать. Другим немцам было очень страшно, но они до последней секунды силились держать себя в руках. Шофер душегубки Буланов от ужаса падал на землю, вываливаясь из рук державших его людей, и был повешен, как бесформенный мешок с дерьмом.

Толпа на площади, пока шла казнь, сосредоточенно молчала. Я ни тогда, ни потом не раскаивался, что пришел туда, на площадь. После всего, что я услышал на процессе, следовало увидеть и это. По правде сказать, тогда мне даже казалось, что не пойти туда и не увидеть всего до конца было бы какой-то душевной трусостью. Говорю только о себе и о собственных чувствах, потому что такие вещи каждый решает сам для себя.

Ни из какой самой тяжелой фронтовой поездки я еще не возвращался в Москву с таким камнем на душе, как тогда из Харькова. И чего со мной никогда не бывало, несколько дней не мог взяться за работу, хотя мою повесть о Сталинграде за это время прочли в редакции «Красной звезды» и мне было сказано — срочно готовить ее первые куски для набора...

Сорок четвертый

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Поездка на харьковский процесс оказалась последней поездкой 1943 года. Примерно до середины февраля я сидел в Москве, в лихорадочной спешке правил свою сталинградскую повесть и готовил ее к печати кусками в «Красной звезде» и целиком в журнале «Знамя».

Одновременно с этим мне пришлось за две недели написать вместе со Столпером на материале еще только сдававшейся в печать повести сценарий для будущего фильма «Дни и ночи».

Спешка была вынужденной. Сценариев, написанных хотя бы с минимальным знанием войны, не хватало. А война продолжалась, и фильмы о ней, причем поставленные как можно быстрее, были нужны до зарезу. И я считал себя не вправе отказаться от этой работы и тех неправдоподобно коротких сроков, которые на нее давали. Все натурные съемки предполагалось вести прямо на месте, в развалинах Сталинграда, и чтобы снять последние ноябрьские эпизоды фильма, режиссеру и оператору нужно было успеть захватить хотя бы кончик зимы.

В «Знамени» редактором повести, на мое счастье, оказалась Вера Васильевна Смирнова, человек требова-

тельный и умевший добиваться своего. К некоторым из ее советов, отчасти из-за упрямства, отчасти из-за спешки не выполненных мною в журнальном варианте повести, я впоследствии не раз с благодарностью возвращался, издавая «Дни и ночи» отдельной книгой.

Как всегда, я почти ничего не писал в дневнике о своей московской сидячей работе, поэтому, чтобы дать представление и о ней, и о моих настроениях того времени, воспользуюсь сохранившимися у меня копиями писем. Свою повесть я тогда еще называл романом:

«...Сейчас идет самая горячка: сдаю частями в набор роман... После того как развяжусь с романом, т. е. в начале февраля, должно быть, поеду на фронт на месяц или что-нибудь в этом роде... Не сердись за короткое письмо...»

Это из письма к матери.

Почти одновременно с этим я писал на фронт своим друзьям, с которыми вместе был в Сталинграде, Ортенбергу и Коротееву.

«...Все еще продолжаю возиться с романом. Казалось бы, давно должен был кончить, но, когда стал читать уже выправленное после машинки, выяснилось, что еще много сырого, и стал править заново. Думаю через три-четыре дня все-таки кончить его совсем. Параллельно закончил сценарий о Москве вместе с Пудовкиным. Сценарий, по-моему, получился интересный, сделан он не как история войны, а скорей как дневник ее. Главным материалом послужили мои собственные дневники того полугодия. В Комитете кинематографии по причине неожиданности и непохожести этого на все сценарии, сдаваемые туда до сих пор, пока что отказались его ставить... Столпер, который делал картины «Парень из нашего города» и «Жди меня», будет ставить картину о Сталинграде. Так же, как и в романе, в картине одним из двух главных действующих лиц будет девушка, образ которой у меня явилась мысль написать еще тогда, когда мы с тобой переплывали через Волгу и говорили с твоей землячкой Викторией... До такой степени устал от писания романа, что, как говорится, котелок просто-напросто не варит. Думаю проредактировать, на что уйдет еще недели две-три, и потом поехать на фронт. Вот тогда-то у нас с тобой, очевидно, и состоится свидание, чего от всей души желаю».

Это из письма Ортенбергу.

«...То, что ты читал в «Красной звезде», есть как раз отрывки романа о Сталинграде. Их, кажется, будет всего

десять, но они дают о романе только приблизительное представление... Не сомневаюсь, что, как водится, те, кто был в Сталинграде и видел все своими глазами, будут меня поругивать: один за одно, другой за другое, третий — за перепутанную улицу, четвертый за то, что его дивизия переправлялась не так, как у меня написано, и не 13-го, а 15-го или наоборот. Словом, я отчетливо представляю себе, как все это будет. Но, в общем, мне кажется, что написал я вещь правдивую в той мере, в какой это возможно вообще в военное время, когда еще борьба не кончилась и долг художника состоит в том, чтобы каждое его произведение было прежде всего агитационным, а потом уже аналитическим. Интересно мне, что ты скажешь об этом романе, когда прочтешь его. Между прочим, тебе любопытно будет его почитать еще и вот почему: когда мы ездили, ты своими страдающими глазами человека, который слишком хорошо знал этот город раньше, навел меня на одну мысль: комиссаром того батальона, в котором происходит все действие, я сделал бывшего секретаря Сталинградского горкома комсомола. Вот, стало быть, как: ничего в хозяйстве не пропадает, как в «Ревизоре», «давай веревочку, и веревочка пригодится»... Что кончил роман, конечно, хорошо. В остальном жизнь моя идет средне... Очень скверно себя чувствую. Врач приказал лечь на две недели в санаторий, прежде чем заниматься чем бы то ни было. Сейчас еще совершенно не ясны планы, куда ехать, но знаю, что недели через две-три непременно куда-нибудь выеду...»

Это из письма В. И. Коротееву, работавшему к тому времени нашим корреспондентом на одном из Украинских фронтов.

О том же самом писал я на фронт и Александру Ивановичу Утвенко, известившему меня коротким письмом о происшедшей с ним перемене: «Я работаю в другом месте, должность такая, как у Миссана». С учетом иносказаний, к которым приходилось прибегать из-за военной цензуры, это значило, что он командует корпусом в составе другой армии.

«...Не сомневаюсь, что мы еще с тобой доживем до того дня, когда должность у тебя будет такая же, как у Крейзера...— писал я ему, мысленно проча его где-нибудь в будущем в командармы.— В последнее время я работал над романом о войне, главным образом на материале Сталинграда. Должен тебе сказать, что в этом романе хотя

и нет прямых фотографий, но в значительной степени участвуешь и ты, и некоторые люди из твоей части как прообразы героев романа. Думаю, со временем тебе будет интересно это прочитать. На фронт я, наверно, поеду, кончив роман, примерно через месяц. Хочу попасть к тебе. Поэтому прошу сообщить мне в том виде, в каком это можно сделать по почте, работаешь ли ты теперь севернее, чем раньше, или южнее. И если севернее, то на одного хозяина севернее или через одного. Словом, я уверен, что ты найдешь способ это мне сообщить, не нарушая военной тайны...»

Приведу несколько строк из ответного письма Утвенко, в терминологии которых присутствует воздух времени.

«В самый разгар боя получил от тебя письмо. Работаю в распоряжении того самого товарища, квартира которого была в том городе, куда возил тебя мой Вася. Не привык говорить о себе, но тебе, как другу, скажу: гвардейцы воюют хорошо. Ехать ко мне так: сначала доедешь к тому товарищу, о котором я сказал выше, а он покажет тебе мою хату...»

Хату Утвенко мне искать не пришлось. Мы встретились с ним в подмосковном военном санатории «Архангельское»; его послали подлечиться, воспользовавшись паузой на том участке фронта, где воевал его корпус. Шесть ранений, которые Утвенко успел получить к тому времени на войне, давали себя знать.

Незадолго перед сдачей в печать последних глав романа у меня произошел не совсем обычный разговор на литературные темы, о котором хочу упомянуть.

В тот вечер у меня дома ужинал командующий Третьей армией Александр Васильевич Горбатов, на несколько дней по служебным делам приехавший в Москву. Было довольно поздно, уже поужинали и пили чай, когда раздался решительный стук. Я открыл дверь. Передо мной стоял пожилой человек, одетый по-домашнему в желтую байковую с голубыми отворотами зимнюю пижамную куртку и с портфелем под мышкой. Лицо его было мне знакомо, но домашность одеяния в первую секунду помешала узнать его.

— Как, принимаешь гостей? — сказал он, протягивая мне увесистую руку, тонким, теноровым, никак не шедшим к его крупной, грузной фигуре голосом.

Уже пожимая его руку, я все еще никак не мог сообразить, кто это. И, только скользнув глазами вниз, увидев

ниже пижамной куртки генеральский лампас, вдруг сообразил, что это бывший командующий Сталинградским фронтом Андрей Иванович Еременко, о котором я слышал, что он в ожидании назначения находится сейчас в Москве и живет в том же доме, что и я.

— Пришел к тебе как спецу своего дела, хочу спросить совета,— сказал Еременко и покосился на приоткрытую дверь в столовую.— Кто у тебя там?

Я сказал кто.

— Ну тогда ничего,— сказал Еременко и прошел вместе со мною в комнату, продолжая держать портфель под мышкой и заметно прихрамывая — на нем были войлочные домашние туфли,— видимо, продолжала болеть раненая нога.

Он поздоровался с поднявшимся навстречу Горбатовым, и я пригласил Еременко к столу, выпить чаю.

Минут пятнадцать прошло в чаепитии и разговорах о фронтовых делах. Генералы говорили друг с другом, а я, подливая чай, не столько слушал их, сколько думал о загадочных для меня словах Еременко: в каком смысле и по какой части я для него спец и о чем он собирается со мной советоваться? Никаких здравых объяснений в голову не приходило.

Выпив два стакана чаю, Еременко неторопливо вытащил из кармана очешник, надел очки и, потянувшись за портфелем, положил его к себе на колени.

— Написал о Сталинграде поэму,— сказал он.— Хочу, чтобы послушал и посоветовал, как быть, кому отдавать печатать.

Я оторопел. Ждал чего угодно, но только не того, чтобы этот человек, командовавший Сталинградским фронтом, человек, которого я до этого видел там, в Сталинграде, у входа в подземелье командного пункта, вдруг через год с лишним придет ко мне домой читать поэму о Сталинграде, который обороняли его войска.

По своей натуре я склонен верить в чудеса, в те счастливые «а вдруг», которые очень редко, но все же происходят в жизни. «А вдруг это и в самом деле поэма?» — думал я, глядя, как Еременко вынимает из портфеля какую-то папку и не спеша, даже с некоторой торжественностью открывает ее.

Но когда он уже открыл ее и перевернул один за другим несколько листов, наверное, решая, с чего начать чтение, я краем глаза увидел, что это не черновая

рукопись и не машинопись, а что-то каллиграфически выведенное черной тушью с красными буквицами. Должно быть, переписанная набело каким-нибудь писарем, великим артистом своего дела, поэма напоминала внешним видом старые рукописные книги. Меня всегда пугал вид слишком красиво перебеленных сочинений. Испугал и тогда. А Еременко выбрал страницу, с которой решил начать, и, поправив очки, стал читать.

Читал он медленно и выразительно, с тем внутренним чувством ритма, который обличал в нем человека, давно и, наверное, страстно приверженного к громкому чтению стихов.

Прочитав первую страницу, прежде чем перелистнуть ее и перейти к следующей, он сделал большую паузу и внимательно посмотрел на меня. Хотел увидеть, какое это произвело на меня впечатление.

Так повторялось еще несколько раз, иногда при перевертывании, а иногда и посреди страницы, после окончания строфы, которая ему самому особенно нравилась.

Я был в трудном положении и старался подольше ничего не выразить на своем лице, чтобы не помешать ему прочесть столько, сколько захочется. Меня сковывало уважение к этому человеку, и чем дальше, с чем большим внутренним удовлетворением он читал, тем больше меня тревожил проклятый вопрос: что же я ему скажу, когда он в конце концов спросит меня, как мне это понравилось?

В том, что я слушал, не было тех явных погрешностей в ритме и в рифмах, которые отличают совсем уж неумелые стихи. И размер, и рифмы, и строфика были тщательно соблюдены. Однако вся поэма была вполне очевидным и вполне сознательным подражанием пушкинской «Полтаве», а верней, тому ее месту, где речь идет о Полтавском бое. Подражание было старательным и торжественным, никакого даже самого малейшего намека на что-то свое собственное, ни малейшей крупицы хоть чего-нибудь, выходящего за пределы подражания, в том, что я слушал, не было. Это и предстояло в конце концов сказать сидевшему передо мною и читавшему мне свои стихи человеку, сумевшему остановить немцев в Сталинграде, но неспособному написать в стихах о том, что он сделал в жизни.

Редко когда-либо раньше необходимость рубить правду-матку была для меня так тягостна, как в тот вечер.

— Ну как? Что скажешь? — спросил Еременко, дочитав главу, в которой рассказывалось о пожаре Сталинграда и о первых боях за него. Вложив между страницами футляр для очков, он, кажется, хотел читать дальше, но перед этим желал убедиться в том впечатлении, которое произвело уже прочитанное.

Я было начал издалека, стал обходительно объяснять разницу между поэзией собственной и стихами, написанными в подражание хотя бы и самым прекрасным образцам. Но из моих подготовительных маневров ничего не вышло. Еременко остановил меня с солдатской прямотой:

— Ты мне всего этого не говори. Это мне уже говорили и до тебя, что у меня на Пушкина похоже. Ну и слава богу, если похоже. Ты мне свое мнение скажи: хорошо это, по-твоему, или плохо?

— Плохо, Андрей Иванович,— выдавил я из себя.

— И печатать этого, по-твоему, нельзя?

— По-моему, нельзя, тем более вам.

Еременко ничего не ответил. Молча вынул заложенный в рукопись очешник, снял очки, положил их в очешник, а очешник в карман, бережно сровнял высунувшиеся во время чтения из рукописи листы, застегнул папку, положил ее в портфель, застегнул портфель, положил рядом с собой на пустой стул, где он лежал до чтения, и наконец после долгого молчания сказал:

— Еще стакан чаю налей.

Судя по его мрачному лицу, он, наверное, сразу бы встал и ушел, но остался все-таки выпить этот стакан, потому что здесь присутствовало третье лицо — Горбатов; не захотел при нем сразу же уйти, показав меру своего огорчения и обиды. Пил чай и переживал услышанное. А я сидел и переживал сказанное.

Допив чай, он встал, попрощался с Горбатовым, хмуро сунул мне руку и, прихрамывая, пошел из комнаты, не обращая больше на меня внимания, словно бы я и не провожал его до дверей.

— Да, ваше дело тоже жестокое,— сказал Александр Васильевич Горбатов, когда я, проводив Еременко, вернулся в комнату.

И я не почувствовал в его словах осуждения. Он просто по-военному кратко оценил этот, имевший место в его присутствии факт из чужой и далекой от войны сферы деятельности.

В Архангельском, куда я попал в феврале, я впервые за войну абсолютно ничего не делал — не диктовал, не писал, не правил, только лечился, послушно исполняя предписания врачей, нашедших у меня острое нервное переутомление или что-то в этом роде. Странно сейчас писать это о себе, тогда двадцативосьмилетнем, но я никогда за всю свою, уже довольно длинную теперь жизнь не уставал так, как тогда.

Исполнение обязанностей военного корреспондента плюс повесть и два сценария плюс стихи плюс попытки хоть как-то продолжать вести дневники довели меня к той зиме до ручки. У летчиков есть выражение «вылетался». Очевидно, в ту зиму со мной случилось что-то похожее.

Как я уже упоминал, в Архангельском меня ждала встреча с Утвенко. Мне очень нравился этот человек с его великолепным умением разговаривать с солдатами, с его добродушным украинским говорком и лукавой внешней простоватостью, за которой неожиданно для не знавших его прятались острый ум, сильная воля и самолюбивый характер. Он читал в «Красной звезде» мой рассказ «Зрелость» и при встрече со свойственным ему добродушным тщеславием упрекнул меня в том, что я переменил в рассказе его фамилию. И тут же, рассмеявшись, добавил:

— Ничего, в моем корпусе все равно все меня узнали, а другие — бис с ними...

Со своим круглым румяным лицом и короткою стрижкою, с непослушным белесым хохолком на лбу, он по-прежнему выглядел моложе своих лет, особенно без генеральской формы. И хотя я хорошо знал всю его военную дорогу, пройденную от майора до генерал-лейтенанта, от командира полка до командира корпуса, с несколькими выходами из окружения, тяжелыми ранениями и многими упоминаниями в приказах Ставки, все-таки, когда здесь, в санатории, по коридору навстречу мне шел высокий, по-мальчишески коротко стриженный тридцатилетний на вид человек, трудно было поверить, что перед тобой прошедший огонь, воду и медные трубы командир гвардейского корпуса.

По утрам я обычно заходил за ним на второй этаж, в его палату, чтобы вместе идти на лечебные процедуры. Он плохо себя чувствовал, одна рука у него почти совсем не действовала, но природная живость и энергия

прямо-таки распирали его. Он радовался тому, что в этом лыжном костюме, в тапочках его никто не принимал за генерала, и, выйдя на верхнюю площадку главной лестницы, почти всякий раз, воровато оглянувшись, нет ли кого-нибудь поблизости, садился на широкие перила и со свистом съезжал вниз. Это настолько вошло у него в привычку, что однажды, собираясь съездить в Москву, надев по этому случаю полную генеральскую форму, но абсолютно забыв об этом, он — не успел я ахнуть,— как всегда, со свистом съехал по перилам, к полному удивлению как раз в эту минуту поднимавшихся вверх по лестнице трех полковников. Нечасто бывает, чтобы в человеке, прошедшем через три года такой войны, как эта, сохранялось такое искреннее мальчишество.

Там же, в Архангельском, судьба вновь свела меня и подружила с Иваном Ефимовичем Петровым. Герой Одессы и Севастополя, а после этого командующий Приморской группой войск, Северо-Кавказским фронтом и Отдельной Приморской армией, Петров к тому времени, когда я встретил его в Архангельском, был снят и с понижением в звании отозван в Москву в распоряжение Ставки. «Доподлинные причины замены его так и остались неизвестными... его заменили перед самым началом большой операции, когда Отдельная Приморская армия, по существу, уже была подготовлена к ней. Воспользоваться плодами своего труда И. Е. Петрову так и не пришлось, а операция прошла успешно»,— писал впоследствии в своих мемуарах С. М. Штеменко об этом трудном периоде жизни Петрова.

Сам Иван Ефимович ни тогда, в 1944 году в Архангельском, и никогда потом, за все годы нашей дружбы с ним, ни единым словом не касался этой темы.

Когда мы прощались — я уезжал из Архангельского, а Иван Ефимович еще оставался,— он сказал мне с той старомодной обязательностью, которая была присуща стилю его разговора, как-то удивительно естественно сочетаясь с мимоходными добродушными солдатскими матюгами: «Когда определятся мои новые обязанности и я приступлю к ним, сочту своим долгом сообщить вам, где нахожусь, и надеюсь, что мы вновь встретимся».

Я тоже надеялся на это, но встретились мы на фронте только в следующем, 1945 году...

Весной 1944 года на юге шли крупные наступательные операции, впоследствии названные в истории войны

Проскуровско-Черновицкой и Уманьско-Ботошанской, и редакция «Красной звезды» отправила меня в командировку на юг, из которой я вернулся только в начале мая.

Во время этого весеннего наступления Первый и Второй Украинские фронты в жестоких боях прошли по невообразимым хлябям от 80 до 400 километров, освободили значительную часть правобережной Украины, северные районы Молдавии, почти всю Буковину, вышли к предгорьям Карпат и, впервые за войну перейдя нашу государственную границу, форсировали Прут и вступили в северную Румынию.

Та весенняя фронтовая поездка 1944 года сложилась у меня как бы из трех отдельных поездок, каждый раз на другое направление.

Первая поездка — на левый фланг Первого Украинского фронта, больше всего связанная с такими местами, как Волочиск, Проскуров, Каменец-Подольск, к сожалению, не оставила никаких следов в моих записях. Среди пропавших у меня при разных обстоятельствах фронтовых блокнотов были и те, что я вел в начале этой поездки. И в данном случае я хорошо помню, как именно они пропали. Уже в мае, когда я возвращался в Москву самолетом, он из-за какой-то неисправности сел, не долетев до Москвы, помнится, в Калуге. Ждать, пока его отремонтируют, у меня не было ни времени, ни терпения; я добрался с аэродрома до станции и уговорил там взять меня на паровоз, шедший с товарным составом до Московской окружной дороги. Во время связанной с этим беготни я оставил у кого-то на станции полупустой вещевой мешок, в котором, на нынешний взгляд, не было ничего особенного: немного харчей, старый ватник и прохудившиеся сапоги, взамен которых незадолго до этого один гостеприимный командир дивизии приказал мне выдать новые, кирзовые, а эти предполагалось починить в Москве. В паровоз я залез только с полевой сумкой и планшетом, хватился, что нет вещевого мешка, только когда мы тронулись, и — делать нечего — махнул на него рукой. И лишь в Москве, дома, вспомнил, что сунул в мешок несколько блокнотов, не влезших в полевую сумку. Как раз те первые, что вел в первые недели. Те, что вел позже, были в сумке.

Не буду преувеличивать своего тогдашнего горя; было,

конечно, досадно, но казалось, что все на памяти, все восстановимо! Да вот только восстановить все это, как потом выяснилось, не хватило ни времени, ни характера.

Я долго рылся в своем архиве, надеясь найти хоть что-нибудь связанное с этой поездкой, и в конце концов все-таки наткнулся на один привезенный из нее довольно любопытный документ — выдержку из опроса взятого в плен некоего Ф. О., заведующего складом машин восточного министерства Германии, который, по его заявлению, «остался для перехода на сторону русских».

Вот этот документ:

«...Нахожусь полгода на Украине, узнал и полюбил украинский народ. Я родился под созвездием Близнецов и уже по рождению моему неплохо относился к людям. Два моих брата погибли на фронте. Нас всегда обманывали насчет Украины и русских. В Германии я все потерял. На Украине я занимался исправлением того, что было разрушено войной. Два моих сына погибли на войне. От моей дочери у меня нет больше писем. В Германии я ничего не имею. Я честный, порядочный человек. Я могу и хочу принести вам пользу — я и моя вторая молодая жена, которая уже почти свободно говорит по-русски. Учтите — она тоже родилась под созвездием Близнецов. Дайте нам два-три месяца, мы вам докажем нашу преданность. До войны я был представителем берлинской фабрики обоев. По природе своей — я эстет, любитель красоты. Мое призвание — создавать уют, комфорт, делать жизнь человечества приятной и красивой. Уже по одному этому я способен только творить добро и насаждать красоту и не способен ни на что нечестное и некрасивое. Я никогда не был согласен с Гитлером — уже хотя бы из-за евреев. Я христианин, я католик. Каждый еврей может быть обращен в христианство, он такой же человек, как и я.

Недавно я получил сообщение, что моя квартира в Берлине уничтожена. Мне был предложен отпуск для оформления денежной компенсации, но я не поехал, мне нечего там искать. Недавно погиб под бомбами мой брат и четверо его детей, остались жена и двое детей — лучше бы и они погибли вместе с отцом. Удар за ударом настигает Германию. Фюрер безумен — иначе нельзя объяснить его поведение. И Геринг с его длинным языком,— ведь что он обещал немцам? Немецкий народ —

несчастный, обманутый, затравленный, бедный народ. Я мог бы отлично уехать отсюда заранее, но я этого не сделал, я твердо решил остаться со своей женой здесь. Ведь я не идиот. Что нам сказали о России? — что здесь нет личной собственности, нет денег, нет платы за работу. Все ложь. Еще хуже, чем в ту мировую войну, мы опустошили здесь землю. Но все отмщается на земле...»

На допросе Ф. О. несколько раз прослезился и с дрожью в голосе не переставал клясться в любви к Украине и России.

После проверки его документов выяснилось, что все его заверения — ложь. Он застрял случайно, задержавшись с эвакуацией своего склада и никак не ожидая, что русские так близко. Задержанная вместе с Ф. О. «вторая жена» оказалась не женой, а русской девушкой из Запорожья, работавшей у немцев и пытавшейся бежать в Германию. На допросе она притворялась немкой, говорящей на ломаном русском языке. После разоблачения она заговорила чисто по-русски.

Не берусь комментировать монолог этого ужасно перетрусившего, но, быть может, от природы незлого и лично не совершившего никаких злодеяний человека. Поэтому, собственно говоря, я и ограничиваюсь только его инициалами.

Но невольно думаешь — кого только не посылало фашистское государство на нашу захваченную им многострадальную землю, высокомерно считая, что любое ничтожество способно представлять здесь расу господ, управляющую славянским быдлом.

Если не считать этого листка, отпечатанного кем-то на спотыкающейся штабной машинке, от всей этой поездки на бумаге ровно ничего не осталось.

Осталась лишь собственная память, то, что в ней крепче всего засело,— Волочиск и Проскуров, маленькие, разоренные, залитые весенней грязью городки с двойными следами боев — и сорок первого года, и последних, недавних. Узкая дорога под Каменец-Подольском, до самого города забитая взорванной и изуродованной, брошенной немецкой техникой, и другие дороги Украины, по которым на чем и как только не приходилось передвигаться в ту неслыханную по распутице весну!

В памяти остались не столько бои, сколько адский

труд войны: труд, пот, изнеможение; не столько грохот орудий, сколько утопающие в грязи солдаты, в обнимку километрами несущие из тылов к артиллерийским позициям тяжелые снаряды, потому что все, абсолютно все застряло!

Фронтовые блокноты тех недель пропали, нет за это время и дневниковых записей. Но передо мной лежит копия корреспонденции в Америку, отправленной мною уже позже, в апреле, когда я добрался до средств связи. Эта корреспонденция была предназначена именно для американского читателя, и кое-что в ней было особенно подробно разжевано для людей, никак не представляющих себе, что такое война на Восточном фронте. И быть может, в этой разжеванности, в стремлении объяснить самые простые вещи сейчас, спустя тридцать лет, есть некая дополнительная ценность для понимания обстоятельств того времени. Во всяком случае, мне самому так кажется, и я позволю себе целиком привести здесь свою адресованную американцам корреспонденцию тех дней:

«...На этот раз вашему корреспонденту придется начинать свою телеграмму с объяснения. События, о которых будет идти речь в этой и последующих статьях, происходили иногда несколько дней, а иногда месяц тому назад. Однако я не мог вам телеграфировать оттуда, где я был. Единственная причина тому — дороги. С них и начну.

Я утверждаю, что человек, не видевший этих дорог здесь, на юге, этой весной, не может понять до конца, что это такое. Представьте себе старое шоссе, сложенное из пригнанных друг к другу огромных булыжников, застигнутое где-то в самой середине ремонта, когда рабочие выворотили все эти камни один за другим из грунта и так и оставили тут же на месте, не успев ни убрать их, ни переложить. Это первое.

Второе. Представьте себе, что сверху на эти вывороченные камни налито полметра жидкой грязи, которой некуда стекать, потому что по обеим сторонам шоссе на одном с ним уровне стоит еще более глубокая грязь.

Третье. Представьте себе, что, если, ползя по такому шоссе на вездеходе, осатанев от вылезания, толкания машины, подкладывания под буксующие колеса бревен,

соломы, чего попало, вы вдруг бы захотели, плюнув на попытку проехать по такой дороге, выбраться на целину и двинуться по полю, то вас остановило бы от этого неосторожного намерения следующее зрелище: в пятнадцати метрах от дороги прямо из грязи торчит башня танка, не танк, а именно башня, потому что при ближайшем рассмотрении вы выясняете, что танк цел и не поврежден, он просто затонул в грязи. Добавлю к этому, что когда я наконец пришел, повторяю, пришел, а не приехал, к знакомому еще с Халхин-Гола генералу, до которого я добирался, то он в ответ на мои ругательства по поводу дорог, распутицы и необходимости бросить машину и идти пешком только рассмеялся и ответил, что я просто-напросто следую его собственному примеру: чтоб не отставать от своих передовых частей, он сам, бросив машину, последние двое суток тоже идет пешком.

И наконец, последнее, как это ни странно звучит, отрадное для глаз обстоятельство, связанное с отвратительным состоянием дорог: все они загромождены следами немецкого отступления. Мое воображение уже давно трудно удивить подобными вещами, и все-таки, попав сюда, я день за днем поражаюсь количеству брошенных немцами машин всех марок и систем — и боевых, и транспортных. Тут и пресловутые «тигры», и «пантеры», и сожженные и целые, и танки более старых типов, и самоходные пушки, и огромные бронетранспортеры, и маленькие транспортеры с одним ведущим колесом, похожие на мотоциклы, и огромные тупоносые, краденные во Франции грузовики «рено», и бесконечные «мерседесы», и «опели», штабные машины, рации, походные кухни, зенитные установки, дезинфекционные камеры — словом, все, что придумали и что использовали немцы в своих былых стремительных наступлениях. И что сейчас, разбитое, сожженное и просто-напросто брошенное, застряло в грязи этих дорог.

Местами посреди всего этого почти невозможно проехать. У мостов и на обрывах валяются сброшенные вниз с дороги горы разбитого железа, бывшего когда-то машинами. Их пришлось сталкивать с дороги в обе стороны, чтобы пройти и проехать, потому что местами они стояли, застряв на дорогах, в три и в четыре ряда.

На одной из этих дорог, вблизи от границы, я испытал мстительное чувство. По ней в сорок первом году отступала одна из наших легких танковых дивизий.

Немцы замкнули ее тогда в кольцо, бросили на нее свою авиацию и тяжелые танки, и эта дивизия, которую мы не успели перевооружить к началу войны и которая целиком состояла из устарелых легких танков, целиком погибла на этой дороге.

Тогда, в сорок первом году, убрав с дорог все свои разбитые и сожженные машины, немцы оставили наши погибшие танки для обозрения на самом виду и даже местами для большего эффекта стащили эти маленькие исковерканные зеленые машины поближе друг к другу и целыми вереницами поставили их на самых заметных местах — на холмах и на поворотах дорог. Так они и простояли там до нынешней весны. И вот теперь, когда проезжаешь мимо всего этого и видишь тут же, поблизости от этих маленьких зеленых машин, заржавевших от трехлетних снегов и дождей, всю ту разбитую и брошенную немецкую технику, о которой я сказал, трудно не поддаться мстительному чувству!

Не знаю, может быть, тогда, в сорок первом году, никто не клялся здесь, над могилами наших погибших танкистов, отомстить за них. Наши солдаты вообще не расположены к клятвам и громким словам. Но я убежден, что молчаливые обещания свести счеты с немцами многие люди тогда, в сорок первом году, себе давали. И сейчас эти обещания выполняются здесь, на моих глазах. И даже не по библейскому закону — око за око и зуб за зуб,— а в более сокрушительной пропорции.

Маленькая подробность. Между шоссе и деревней, наполовину утонув в грязи, стоит гигантский немецкий транспортер, предназначенный для перевозки особо тяжелых, многотонных грузов. На транспортере сидит деревенский мальчишка лет десяти, выглядящий на этой машине букашкой. Держа в руках гаечный ключ, он с задумчивым видом рассматривает что-то в машине. «А вот и механик появился,— заметив это, без улыбки говорит шофер, с которым мы, медленно буксуя, проползаем по шоссе мимо мальчишки.— Уже занимается восстановительной работой».

Конечно, в этой маленькой подробности нет ничего особенного. Но я еду мимо этого мальчишки и невольно думаю: сколько же тысяч громыхающих немецких машин пронеслось за эти почти три года мимо этого ребенка из пограничной деревни! Сколько немецких танков проскрежетало мимо него! Сколько самолетов проныло у него

над головой!.. И вот он сидит с гаечным ключом на отныне беспомощной и не страшной огромной машине и думает: какую бы гайку ему отвинтить с нее на предмет использования для стрельбы из рогатки? Очевидно, так, потому что мальчишки в этом возрасте — вредители по призванию.

Все, что я написал вам о дорогах, конечно, лишь отрывочные наблюдения. И это не главное, о чем я хотел вам сказать. Главное — человек, идущий сейчас вперед по этим дорогам. Пехотинец, русский солдат.

Как бы ни приходилось мокнуть, дрогнуть и чертыхаться на дорогах нашему брату — военному корреспонденту, все его жалобы на то, что ему чаще приходится тащить машину на себе, чем ехать на ней, в конце концов, просто смешны перед лицом того, что делает сейчас самый обыкновенный рядовой пехотинец, один из миллионов, идущих по этим дорогам, иногда совершая именно в тех условиях, которые я вам уже описал, переходы по сорок километров в сутки. На шее у него автомат, за спиной полная выкладка. Он несет на себе все, что требуется солдату в пути. Человек проходит там, где не проходит машина, и в дополнение к тому, что он и без того нес на себе, несет на себе и то, что должно было бы ехать. Он идет в условиях, приближающихся к условиям жизни пещерного человека, порой по нескольку суток забывая о том, что такое огонь. Шинель уже месяц не высыхает на нем до конца. И он постоянно чувствует на плечах ее сырость. Во время марша ему часами негде сесть отдохнуть — кругом такая грязь, что в ней можно только тонуть по колено. Он иногда по суткам не видит горячей пищи, ибо порой вслед за ним не могут пройти не только машины, но и лошади с кухней. У него нет табаку, потому что табак тоже где-то застрял. На него каждые сутки в конденсированном виде сваливается такое количество испытаний, которые другому человеку не выпадут за всю его жизнь.

И конечно,— я до сих пор не упоминал об этом,— кроме того и прежде всего, он ежедневно и ожесточенно воюет, подвергая себя смертельной опасности.

Такова жизнь солдата в этом нашем весеннем наступлении.

Думаю, что любой из нас, предложи ему перенести все эти испытания в одиночку, ответил бы, что это не-

возможно, и не только ответил бы, но и действительно не смог бы ни физически, ни психологически всего этого вынести. Однако это выносят у нас сейчас миллионы людей, и выносят именно потому, что их миллионы. Чувство огромности и всеобщности испытаний вселяет в души самых разных людей небывалую до этого и неистребимую коллективную силу, которая может появиться у целого народа только на такой огромной настоящей войне, которая уже давно не похожа ни на батальные картины живописцев, ни на героические кинофильмы, ни даже на то, что мы пишем о ней, как бы мы ни старались написать всю правду.

Возвращаясь к тому, с чего я начал, позвольте считать все рассказанное мною достаточным объяснением того, почему эта корреспонденция, как, может быть, и последующие, как говорится, задержана доставкой по телеграфу...»

Перечитывая эту когда-то отправленную в Америку корреспонденцию, заново вижу перед собой десятилетнего украинского мальчишку, сидящего с гаечным ключом на многотонном немецком грузовике, и мысль по неожиданной ассоциации возвращается назад, не в сорок четвертый, а еще дальше, в сорок второй год:

«...Описав свои впечатления от поездки с профессором Брандтом по расположенным вблизи ставки фюрера украинским колхозам, рейхслейтер Борман перевел затем разговор на украинское население. Глядя на украинских детей, подчеркнул он, трудно предположить, что впоследствии их лица примут плоские, славянские черты. Дети, как и большинство людей восточнобалтийского типа, светловолосы и голубоглазы; кроме того, они толстощекие и круглотелые, так что выглядят поистине мило... Кроме того, подчеркнул рейхслейтер Борман, когда ездишь по тем местам, встречаешь мало мужчин, но неимоверно много детей.

Это обилие детей, продолжал он, может нам в будущем дорого обойтись. Ведь этим обилием отличается раса, которая воспитана в гораздо более суровых привычках, чем наш собственный народ. Здесь нигде не видно людей в очках, у большинства отличные зубы, питание у них хорошее, и похоже, что все они, от мала до велика, обладают отличным здоровьем.

Если... этот народ будет размножаться еще быстрее, чем ныне, то это не только бьет по нашим интересам, но может даже привести к тому, что этническое давление русских, или так называемых украинцев, через сравнительно короткое время станет опасным. Значит, нам было бы выгодно добиться такого положения, при котором эти русские, или так называемые украинцы, не размножались бы столь быстро. Мы ведь собираемся через какое-то время заселить всю эту бывшую русскую землю немцами...»

Дата этой стенограммы, одной из так называемых «гитлерс тышгешпрехе» — застольных бесед Гитлера — 22 июля 1942 года. Место записи — Винница, ставка германского верховного командования на территории целиком оккупированной Украины. Настроение всех присутствующих прекрасное; дела на фронте идут как нельзя лучше: уже взят Новочеркасск, с часу на час ждут доклада о падении Ростова-на-Дону...

Украинского мальчишку, сидевшего на немецком грузовике, я видел где-то в двадцатых числах марта 1944 года, как раз в дни освобождения той самой Винницы, где в июле 1942-го велась эта «застольная беседа».

Тогда, когда я видел мальчика, ему было десять. Тогда, когда о нем думал Борман,— восемь.

В соответствии с цифровыми выкладками Гитлера, высказанными в другой его застольной беседе, к 1974 году, к тому времени, когда мальчику, останься он жив, стукнуло бы сорок, «на всей этой бывшей русской земле» уже должно было бы расселиться по меньшей мере 64 миллиона «представителей германской расы».

А мальчик сидел себе с гаечным ключом в руках на брошенном отступавшими немцами грузовике...

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Добравшись до Каменец-Подольска, я поехал оттуда на север, к Тарнополю. Тарнополь интересовал меня и других корреспондентов и потому, что это был сравнительно крупный город, один из областных центров Западной Украины, и о взятии его необходимо было написать в газету и потому, что уличные бои в нем носили особенно упорный характер, своей крайней ожесточенностью напоминая Сталинград.

С Тарнополем старались покончить как можно скорее. Он был окружен, и фронт продвинулся дальше, на запад; но немецкое командование все еще, судя по захваченным документам и радиоперехватам, или не оставляло надежды прорваться к Тарнополю и выручить его гарнизон, или обманывало его обещаниями, побуждая драться до последнего солдата.

Во всяком случае, несколько ожесточенных попыток прорваться на выручку Тарнополя уже было. Не исключалось, что они могут повториться. Поэтому со взятием города спешили.

В Тарнополе и под Тарнополем я пробыл около двух недель и послал оттуда в «Красную звезду» несколько корреспонденций. В них были повторены многие подробности, сохранившиеся в моих дневниковых записях.

Этих записей две. Первая из них относится к разгару боев за Тарнополь.

...На столбе вполне тыловая на вид дощечка: «Тарнополь — 3 километра». Но, еще не доехав до города, попадаем под бомбежку и лежим в кювете. Центр города занят немцами, а две трети нами, и они бомбят окраины.

Как и все города, о которых при ближайшем рассмотрении можно сказать, что они дотла разрушены, Тарнополь издали выглядит еще целым: видны дома, костелы, очертания зданий... Словом, пока не проедешь по улицам, город кажется городом.

Въезжаем. Справа и слева стоят дома, которые и можно и нельзя назвать домами. Мы не бомбили Тарнополь, и в нем нет кварталов, снесенных до основания тяжелыми бомбами и заваленных битым кирпичом. Но почти каждый дом, как ни расхоже это сравнение, можно сравнить с решетом. В домах пробоины, малые и большие, от снарядов всех калибров, начиная от тридцатисеми- и кончая двухсоттремямиллиметровыми. На улицах валяются искалеченные машины и убитые люди, а воронок столько, что, когда мы скачем по ним на «виллисе», начинает казаться, что это не езда, а китайский бильярд, в котором ты вместе со своей машиной играешь роль шарика, закатывающегося то в одну, то в другую лузу.

В городе идут уличные бои, немцы бомбят окраины, но мы уже восстановили одну колею железной дороги,

идущую через станцию Тарнополь. Все кругом дымится от разрывов, а через еще не взятый город с одного участка фронта на другой по рокаде проскакивают товарные поезда.

Дым над домами стоит сплошной стеной. И вдруг из этого дыма с какой-то крыши взлетает стайка голубей.

В конце улицы две наши самоходки со стуком прямой наводкой бьют в стену дома.

В штабе дивизии план города, на котором перенумерованы кварталы. Взятые нами дома обведены красным карандашом, оставшиеся у немцев — синим. Некоторые обведены дважды — по синему красным. Это те, которые взяты сегодня утром.

Командир дивизии полковник Кучеренко говорит, что, по его сведениям, в городе обороняются остатки охранной дивизии СС, остатки пехотной дивизии и офицерский штрафной батальон.

Спрашиваю: «Как дерутся немцы?»

Смотрит на меня, как на человека, задавшего дурацкий вопрос, и отвечает со злым одобрением:

— Здорово сопротивляются, сволочи!

Перед началом артподготовки, после которой будет новая атака, идем на наблюдательный пункт. Узкий высокий трехэтажный дом. Артиллерист майор, совсем еще молодой, безусый юноша с тремя орденами, сидит перед стереотрубой в плетеном кресле, как на даче. На кушетке вышитые подушки. На стене распятие.

Перелезаем с третьего этажа на чердак. Отсюда очень хорошо видно. Показывает мне пальцем на несколько зданий, где засели немцы.

Артиллерия уже начала работать, и над домами все время взлетают обломки и веером падают вниз. До ближайшего дома, занятого немцами, по прямой метров полтораста, может быть, двести. На нескольких крышах какие-то красные пятна. Не сразу понимаю и спрашиваю, что такое. Оказывается, парашюты. Немцы сбрасывают на них боеприпасы, но многие попадают к нам. А многие так и застревают на крышах, и мы не даем их достать. Днем и ночью держим эти крыши под огнем.

Спрашиваю: остались ли в городе жители?

Говорят — да.

Спускаюсь. Переходим улицу и идем сто метров назад. В полуразрушенном доме женщина стирает в тазу

белье. На кушетке сидит мальчик и грызет корку хлеба, макая ее в блюдце с сахарным песком. Наверное, чей-то солдатский паек. Тут же рядом сидит какой-то дряхлый старик. Женщину зовут Магдалина Задорайко. Мужа убило неделю назад снарядом в соседней комнате, в их комнате, а эта, куда она перешла, чужая. Мужа звали Дмитрий. Он работал на железной дороге. Сына зовут Любомир. Ему два с половиной года.

Спрашиваю старика: это ваш внук?

Старик отвечает, что нет, чужой. Старик не из этой семьи, его дом разбомбило, сыновья убиты. Самому 84 года. Идти больше некуда, и он пришел к соседям и вот сидит у них.

Дрожат стекла от бомбежки. Несколько близких разрывов. Женщина прижимает к себе ребенка и идет в подвал.

Мы выходим. Стоим под стеной и смотрим. Самолеты улетают.

Женщина почти сразу же вылезает из подвала, говорит, что там сыро, ребенок простудится.

Наш артналет кончился. Теперь только все стучат и стучат по домам и развалинам самоходки. Стук их пушек ни с чем не спутаешь. Осталось взять самые тяжелые для штурма здания, древние, с глубокими подземельями — тюрьму, Доминиканский монастырь, офицерскую школу, замок.

...За сегодня взято всего два дома. Звонит командарм Черняховский. По лицу командира дивизии видно, что он получает разнос.

— Есть... есть... Будет сделано.

Кладет трубку. Снова берет. Вызывает к себе командиров полков. Ставит задачу. Пока ждет их, ругательски ругает Тарнополь за крепость и толщину стен, за глубокие подвалы, из которых никак не выбьешь немцев, за узкие кривые улицы в центре, где и самоходкам-то не развернуться, чтобы бить прямой наводкой. Говорит про командующего беззлобно:

— Конечно, ругается. А меня самого уже тошнит от этого города. Восьмой день чикаемся и не можем забрать последние три квартала.

Сегодня опять взяли только два дома, точней — полтора. Про один сообщили, что взят, а потом оказалось, что немцы продолжают вести из него огонь.

Командир дивизии в ярости звонит командиру пол-

ка: зачем наврал? Тот упорствует, что дом взят и в доме находится его командир батальона.

— Соедини меня с ним!

В конце концов командира дивизии соединяют с командиром батальона, который действительно сидит в подвале этого дома. Элемент вранья присутствует. Но началось оно непреднамеренно. Командир батальона действительно ворвался в первый этаж дома и даже протянул туда связь. А потом оказалось, что на втором и третьем этажах немцы. И их все еще не могут выбить оттуда.

Сначала считали, что вот-вот, с минуты на минуту выбьют, и не стали уточнять первоначальное донесение. Из-за этого погибло несколько солдат, сунувшихся в открытую по улице мимо дома, который, по донесению, считался занятым, и попавших под немецкий огонь.

Командир дивизии багровеет от гнева, кричит в телефон:

— Не терплю лжи! Есть у тебя совесть? Если через час не приведешь положение в соответствие с донесением, отстраню!

Бросив трубку, молчит, колеблется. Видимо, очень не хочется уточнять обстановку. Уже донес наверх, что занято два дома, а на поверку — один. Потом вздыхает, берет трубку и все-таки доносит наверх действительное положение и долго, покорно слушает по телефону неприятности. Слушает, закрыв глаза от усталости.

Между прочим, только сегодня узнал, что адъютант Кучеренко, молодой лейтенант, с которым мы всюду ходили в эти дни, его собственный сын. Если бы не случайно услышанный разговор, я бы, наверное, так и не узнал об этом. Ни от отца, ни от сына. И не понял бы по их отношениям. Быть может, это и мелочь, но, пожалуй, важная...

На этом кончается первая дневниковая запись в Тарнополе. В дни боев за него, сидя там, я неожиданно для себя вдруг, в один присест написал один из своих, наиболее точных, на мой собственный взгляд, рассказов военного времени «Перед атакой».

Вышло это так. После нескольких дней, проведенных в Тарнополе, я поехал в части, воевавшие западнее Тарнополя, на так называемом внешнем обводе окружения.

Еще по горячим следам, в сорок пятом году, в послесловии, где объяснялась история некоторых моих рассказов, я писал об этом так:

«...В эти дни, как говорится, на повестке дня здесь не стояло взятие крупных населенных пунктов. Шло обыденное, ежедневное продвижение.

Сначала, с точки зрения журналиста, мне это показалось неинтересным и захотелось вернуться в Тарнополь. Однако вечером я попал в штаб стрелкового батальона, когда его командир отдавал приказание на ночную атаку неведомого мне населенного пункта Загребля.

Среди получавших задание офицеров был младший лейтенант — командир взвода автоматчиков, поразивший меня какой-то особенной сосредоточенной серьезностью, с которой он выслушивал приказания, переспрашивал, уточнял. На вид ему было уже за тридцать. Он казался хмурым, пожалуй, даже угрюмым человеком. Оживление на его лице появлялось лишь тогда, когда он расспрашивал о необходимых ему мельчайших подробностях, и за этим чувствовалось, что взятие деревни Загребля сейчас для него задача всей жизни.

После того как командир батальона отдал все необходимые для боя приказания, я отошел с младшим лейтенантом в сторону и проговорил с ним те относительно свободные пятнадцать минут, которые у него оставались. Разговор не обманул моих ожиданий. У младшего лейтенанта были своеобразные и очень твердые взгляды на жизнь. Он говорил о предстоящем бое просто и точно. Так говорят о неизбежном.

Через пятнадцать минут мы расстались. На другой день я вернулся в Тарнополь и больше никогда не видел этого человека. Но он продолжал стоять у меня перед глазами, и мне захотелось с точностью представить себе, что он делал, вернувшись от комбата, как говорил с солдатами, как ждал назначенного часа и как, дождавшись его, пошел в атаку на деревню Загребля, никогда не упомянутую в сводках Информбюро.

Обо всем этом я и написал рассказ «Перед атакой»...

В один из последних дней боев за Тарнополь в бравшей его 60-й армии произошли перемены. Командующего, генерала Черняховского, вызвали для получения нового

назначения в Москву, и он сдал армию генералу Курочкину.

Мне довелось быть в штабе армии на ужине, где присутствовали и новый командующий Павел Алексеевич Курочкин, и бывший командующий Черняховский, прощавшийся в этот вечер со своими сослуживцами.

К тому времени у меня уже сложились первые впечатления об Иване Даниловиче Черняховском. В Тарнополе еще до встречи с ним я ощутил некоторые черты характера этого человека, слушая, как разговаривают с ним по телефону его подчиненные, как они реагируют на его приказания и выговоры, и на его одобрительные оценки, не слишком частые и потому высоко ценимые. Судя по телефонным переговорам, Черняховский хвалил сдержанно, требовал сполна, а выговаривал строго и холодно, не повышая голоса.

Чем дольше шла война, тем большая точность требовалась и, как правило, соблюдалась в донесениях наверх. Это соответствовало общим переменам. Но в армии Черняховского я почувствовал это особенно остро. Здесь, донося наверх, особенно опасались неточностей и преувеличений, и за этим чувствовалось, что никакой приблизительности там, наверху, не прощают. И не только чувствовалось; об этом в моем присутствии несколько раз говорилось. Приводили примеры язвительных разносов, сделанных Черняховским за неточные доклады. И вспоминали даже какой-то случай, когда, дважды переспросив по телефону одного из своих подчиненных, действительно ли он видел своими собственными глазами то, о чем доносит, и дважды получив утвердительный ответ, Черняховский вслед за этим прибыл лично, и, взяв с собой провинившегося, поехал с ним туда, где он якобы был, а на самом деле не был, и, понизив в должности и оставив его там, на месте, язвительно сказал, что отныне дает ему возможность действительно, а не на словах видеть бой собственными глазами.

Не помню уже, о каком времени и о ком именно шла речь, но, как видно, случай этот людям запомнился.

Оценка начальника подчиненными — обычно одна из самых близких к истине, разумеется, если она дана искренне.

Мне не хотелось бы употреблять слово «боялись». Боятся — в прямом значении этого слова — обычно все-таки людей несправедливых. Но я видел, что поднять

трубку и доложить Черняховскому о не до конца выполненной задаче не так просто. Трубку поднимали, тяжело вздохнув перед этим, и ныряли навстречу опасности, набрав побольше воздуха. А в общем-то, уважали его за строгость, и за хладнокровие, и за военные способности, о которых свидетельствовал путь, пройденный армией. Гордость им была частью собственной гордости за то, что сами сделали под его командованием. Но в данном случае в 60-й армии в этой гордости был и некий свой, особенный оттенок — здесь гордились еще и молодостью Черняховского, тем, что он самый молодой из всех командармов.

Помню, как в нескольких разговорах сквозило именно это. И когда я сам увидел в Тарнополе Черняховского, как-то сразу и отрадно бросилась мне в глаза его явная, здоровая, красивая, мужественная молодость.

В тот день он приехал в свои дивизии, добивавшие немцев непосредственно в Тарнополе, недовольный тем, как медленно идет дело. Мера его недовольства сквозила в его холодных язвительных вопросах. Было очевидно, что обещания поправить дело не удовлетворяют его. Обстановка накалилась, и я ждал, что он начнет разносить подчиненных. Но услышал совершенно другое.

— Судя по вашим неуверенным докладам и поспешным обещаниям,— сказал Черняховский,— вы, очевидно, надеетесь, что, выслушав вас, я доложу во фронт, что, как командующий армией, я не в силах заставить вас взять эти несколько последних кварталов? И что мне придется сидеть здесь и брать их при вас вместо вас? Так вот этого как раз и не будет. У вас есть все необходимое, чтобы покончить с этими кварталами. И вы вполне способны это сделать. Вы сами, на своем месте, а не я на вашем.

Добавив к сказанному какое-то критическое замечание, помнится, об использовании в уличных боях самоходок, Черняховский сухо пожелал успеха и уехал.

Пересказывая слова Черняховского, я, как и во всех других случаях, когда не имею под руками тогдашних записей, разумеется, не могу ручаться за точность каждого слова. Но смысл и характер сказанного помню.

Помню и впечатление, которое произвело на меня тогда умение Черняховского пристыдить, не унижая, потребовать от человека не только выполнения приказа, но и необходимой для этого веры в себя.

В тот вечер, когда Черняховский прощался со своими сослуживцами, мне довелось сидеть за товарищеским ужином рядом с ним. В прощании были и оттенок грусти, и оттенок торжества. Черняховский прощался с товарищами, с большинством из которых воевал без малого два года, с Воронежа. Но было известно, что он не просто переводился куда-то в другую армию, а шел, как уже прослышали, на повышение. За этим фактом стояло не только признание способностей Черняховского, но и, косвенно, признание доблести армии, которой он командовал. Вряд ли придет в голову выдвинуть командующим фронтом того, чья армия воевала ни шатко ни валко. В назначении Черняховского для многих из присутствующих был оттенок личного торжества. И это чувствовалось в атмосфере прощального ужина.

Что касается расставания и связанных с ним чувств — здесь же за столом сидел новый командарм, и уважение к нему как к заслуженному, немало сделавшему на войне человеку мешало присутствующим слишком задерживаться на воспоминаниях о прошлом.

Наверное, будущее казалось в тот вечер Черняховскому далеко не простым, наверное, и в прошлом было с чем-то жаль расставаться, и все же при всей его сдержанности нельзя было не заметить, как он счастлив.

В тот вечер Черняховский много говорил со мной. Расспрашивал о жизни писателей, из чего состоит наша работа и как сочетается в ней настоящее и придуманное. Он читал в «Правде» и помнил мою пьесу «Русские люди». И особенно подробно расспрашивал про нее: знал ли я на самом деле людей, которых вывел в пьесе, где, на каких фронтах их видел и не странно ли мне, когда одного и того же человека, которого я видел на фронте, потом играют в моей пьесе совсем разные и не похожие и на него, и друг на друга артисты?

Его интересовала в тот вечер моя профессия и, кроме того, кажется, еще и моя молодость. Спустя тридцать лет самому странно вспоминать об этом, но в тот вечер у меня действительно было чувство, что этого самого молодого нашего командарма чем-то интересовал самый молодой из писателей, которых он читал.

— И выходит, что вам действительно всего-навсего двадцать девять лет? — спросил он в конце разговора, хотя весь разговор и начался именно с этого вопроса — сколько мне лет.

Я улыбнулся этому вторичному вопросу и уточнил, что мне двадцать восемь с половиной, двадцати девяти пока нет.

— Это хорошо,— сказал он.— Может, и война кончится, а вам все еще тридцати не будет. Совсем молодой.

Я ответил, что он тоже кончит войну еще совсем молодым...

До 18 февраля, дня смертельного ранения под Кенигсбергом, ему оставалось жить всего-навсего десять месяцев.

Последние несколько зданий Тарнополя, в которых сопротивлялись немцы, были взяты уже после отъезда Черняховского. Об этом осталась дневниковая запись.

...Сегодня утром все кончилось. Немногие оставшиеся в живых немцы все-таки сдались. Последние сутки в их руках было всего три здания.

Из разговоров с пленными выясняю, что их поддерживали всеми способами в состоянии истерического ожидания спасения. Причем не спасения вообще, а спасения сегодня к вечеру, потом это «сегодня к вечеру» переходило на завтра — «завтра к утру». Им сообщали, какое количество танков к ним прорывается и когда придут эти танки. И если в какие-то дни эта ложь заключала в себе часть правды и у немцев были реальные возможности спасения гарнизона Тарнополя при удачных действиях их основных сил, то последние дни все обещания были уже абсолютной ложью.

Между прочим, вся история тарнопольского обмана ассоциируется у меня с более широким представлением о системе фашистского обмана немецкой армии, да и в целом народа. Маленький тарнопольский обман и всенародный обман — явления одного порядка.

Ходим по огромным темным подземным галереям Доминиканского монастыря. Сыро. Мрачно. Гнетущий запах трупов, гниющего тела.

Заходим в похожую на тоннель метро длинную подземную галерею. Узкий проход. С двух сторон в три этажа нары. На них вповалку раненые. В других подвалах они тоже есть, но здесь их больше — несколько сот человек. Со сводов на шинели капает какая-то черная жидкость. К нарам прилеплено несколько свечек. Иду вдоль нар, все время тычась плечами в ноги. Бли-

жайшая свечка от нашего хождения гаснет. Шарю в темноте руками и хватаюсь за холодную мертвую ногу.

Мертвые лежат между живыми. Там же, как и в других подвалах, в которых уже был, задаю раненым несколько вопросов. Отвечают, что уже трое суток нет ни еды, ни медицинской помощи. Только водой в последний раз обносили с вечера. В других подвалах мне этого не говорили. Даже как-то не верится в это. Переспрашиваю еще раз. Повторяют то же самое. Не понимаю, как такое могло быть: забыли, что ли, про эту галерею? Или отчаяние дошло до такой степени, что плюнули на все на свете — и на себя, и на других?

Встречаю ксендза-поляка, который во время осады прятался тут в подвалах, а сейчас обходит умирающих. Проходим с ним по одной из галерей. Показывает мне на железную дверь, говорит, что там помещение, куда складывали безнадежных. Влезаю в комнату. Свечу фонарем. Весь пол завален мертвецами. Уже поворачиваюсь, чтобы выйти, как вдруг из угла подвала хрип: «Вассер... вассер...»

Сейчас, оглядываясь на войну, хочу дополнительно сказать, что оборона окруженного нами Тарнополя была первой в цепи тех отчаянных оборон, которые потом вели немцы, оставаясь в окружении в Познани, в Бреслау, в Кенигсберге...

В двадцать шестую годовщину победы Г. К. Жуков в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды» Василием Песковым, сказав о резком падении к концу войны общего уровня стратегического искусства в немецкой армии, счел нужным добавить к этому: «Если же говорить вообще о нашем противнике в минувшей войне, то я не могу присоединиться к тем, кто считает оперативно-стратегическое и тактическое искусство германских вооруженных сил неполноценным. Мы имели дело с сильным противником».

Сводки Совинформбюро за март и апрель 1944 года, лежащие сейчас передо мной,— одна из многих документальных иллюстраций к сказанному. Тарнополь на протяжении пяти недель упоминается в сводках десять раз.

9 марта. «Наши войска ворвались в город Тарнополь, где завязали уличные бои».

10 марта. «Наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали вести уличные бои в городе Тарнополе».

11 марта. «Наши войска, преодолевая сопротивление и контратаки противника, продолжали вести уличные бои в городе Тарнополе».

23 марта. «Войска 1-го Украинского фронта возобновили наступление на участке Тарнополь — Проскуров».

24 марта. «Северо-западнее города Тарнополя наши войска с боями продвигались вперед».

26 марта. «Наши войска окружили гарнизон противника в городе Тарнополе».

4 апреля. «Наши войска, блокирующие город Тарнополь, вели успешные бои по уничтожению окруженного гарнизона противника и овладели большей частью города».

7 апреля. «Юго-западнее города Тарнополя наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника, стремившихся пробиться на помощь к окруженной группировке».

15 апреля. «Войска 1-го Украинского фронта после упорных уличных боев полностью овладели областным центром Украины городом Тарнополем. Окруженный в Тарнополе гарнизон немцев из остатков четырех пехотных дивизий и ряда отдельных частей, общей численностью в шестнадцать тысяч человек, полностью уничтожен, за исключением 2400 немецких солдат и офицеров, которые сдались в плен».

И наконец, в сводке за 21 апреля в последний раз упомянут Тарнополь и приведен в связи с ним документ, который стоит процитировать:

«В Тарнополе взят в плен немецкий подполковник Генрих Кайенбург — адъютант начальника Тарнопольского гарнизона генерал-майора Нейдорфа. Пленный подполковник заявил: «Генерал Нейдорф прибыл в Тарнополь в середине марта и сменил бывшего коменданта крепости генерала Киттеля. Нейдорф получил от Гитлера категорический приказ удержать город любой ценой. Из окруженного русскими войсками Тарнополя мы неоднократно посылали Гитлеру радиограммы, в которых настойчиво просили прислать подкрепление. В одной радиограмме Нейдорф сообщил о тяжелых потерях, понесенных в боях, и охарактеризовал положение не-

мецкого гарнизона как совершенно безнадежное. В ответной радиограмме Гитлер снова потребовал, не считаясь ни с чем, удерживать Тарнополь и сражаться до последнего солдата. В то же время он заверил Нейдорфа, что на помощь идут крупные силы танков. Через несколько дней Гитлер наградил Нейдорфа... 15 апреля Нейдорф был убит. В тот же день остатки гарнизона сложили оружие. В боях за Тарнополь убито много тысяч немецких солдат и офицеров. Вина за их гибель целиком и полностью падает на Гитлера. Он нас подло обманул».

Добавлю к приведенным из сводок Информбюро цитатам, что именно там, в Тарнополе, несмотря на всю свою тогдашнюю нелюбовь к немцам, я, пожалуй, впервые ощутил человеческий трагизм их положения...

Остается сказать об одном, сравнительно недавно полученном письме, связанном с Тарнополем.

В моих тарнопольских корреспонденциях военного времени имя и фамилия Николая Пантелеймоновича Кучеренко, в дивизии которого я был, не упоминались. В «Красной звезде» указывалось только звание и первая буква фамилии — «полковник К.». Но угадать, о ком шла речь в этих корреспонденциях, его сослуживцам, видимо, было нетрудно. Свидетельством этому оказалось письмо, полученное мною от полковника в отставке В. П. Грузенберга.

«...После Вашего отъезда из Тарнополя я был назначен в дивизию полковника Кучеренко, в которой и продолжал службу до дня гибели т. Кучеренко и его сына. Полковник Кучеренко и его сын были убиты одним снарядом на наблюдательном пункте дивизии, и по желанию т. Кучеренко, высказанному за неделю до смерти, их тела были похоронены на родине, в г. Полтаве.

В этом году мне довелось быть в Полтаве, где на Центральной площади похоронены Кучеренко — отец и сын. Вспомнив о Вашей корреспонденции, я подумал, что, возможно, Вам будет интересно знать о судьбе людей, которых Вы упоминали...»

К письму была приложена фотография надгробной плиты на могиле полковника Кучеренко и его сына:

«Командир дивизии Герой Советского Союза гвардии полковник Николай Пантелеймонович Кучеренко и

его адъютант, родной сын ст. лейтенант Кучеренко Николай Николаевич погибли за Родину 30.III 1945 г.».

Там, в Тарнополе, как это водится на войне, полковник Кучеренко по ходу дела чаще слышал от своего командарма Черняховского выговоры, чем похвалы. Но все-таки именно он со своей дивизией взял тогда последние кварталы Тарнополя и вместе с сыном встретил смерть через год, уже в центре Европы, всего за тридцать девять дней до конца войны.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Из Тарнополя в штаб фронта, в Славуту, я, помнится, вернулся самолетом, связным У-2. Написав это, вспомнил, как в начале поездки, в марте, тоже летел на У-2 в ту же самую Славуту, но тогда не из Тарнополя, а из Киева. С тем первым полетом связана довольно смешная история.

Летчик из эскадрильи связи, с которым я тогда, в марте, должен был лететь, почему-то в тот момент оказался не на аэродроме, а в Киеве, и мы ехали на аэродром вместе. Дело было уже днем, и мы перед полетом на скорую руку пообедали, выпив по полтораста граммов водки. Летчик был дюжий малый, и эта норма, которую он, кстати сказать, сам определил, по тем временам опасений мне не внушала. Они возникли уже в полете, когда мы, судя по часам, давно должны были приземлиться в Славуте, но все не приземлялись, а как-то странно и резко меняли курс.

Дальше началось нечто и вовсе мне непонятное. Летчик несколько раз закладывал крутые виражи над самой землей, словно желая что-то увидеть, разворачивался и летел дальше. И только на третий или четвертый раз я уловил в его действиях некую последовательность, отнюдь меня не успокоившую. Оказывается, свои виражи с разглядыванием он делал как раз над перекрестками дорог, и я в конце концов понял, что он, потеряв ориентировку по карте, а может, и вообще забыв взять ее с собой, ориентируется теперь по надписям на дорожных указателях!

Не хочу брать грех на душу, утверждая это, но все же вряд ли тут были повинны только те сто пятьдесят граммов, которые выпил летчик наравне со мной.

Летал я к тому времени на У-2 уже много раз, бывало всякое, но такого, как ориентировка с воздуха по дорожным указателям, поставленным для наземных войск, испытывать на своей шкуре еще не приходилось.

В конце концов мы на последних каплях бензина приземлились на какой-то площадке невдалеке от Славуты. Не на той, где надо, но все же поблизости. Несмотря на прохладную погоду, летчик вылез из самолета мокрый от напряжения. Весь хмель с него соскочил, да и говорить на эту тему было уже поздно: он побежал в дежурку, а я, пока совсем не стемнело,— добывать в батальоне аэродромного обслуживания какую-нибудь полуторку, чтобы добраться до места.

Теперь, в апреле, мы долетели из Тарнополя в Славуту без приключений, и я, написав и послав в «Красную звезду» еще один материал, связанный с Тарнополем, пошел к члену Военного совета Первого Украинского фронта Константину Васильевичу Крайнюкову.

После почти полутора месяцев наступления войска фронта закреплялись на захваченных рубежах. Наступало затишье. Только в предгорьях Карпат, в районе Городенки, еще продолжались бои с немцами, пытавшимися контрнаступать.

Я намеревался поехать в действовавшую в этом районе 38-ю армию генерала Москаленко, а оттуда через освобожденную еще в последних числах марта Северную Буковину переехать в полосу действий соседа слева — Второго Украинского фронта, занявшего к тому времени северные уезды Румынии. Очень хотелось побывать в войсках, впервые за войну перешедших государственную границу и вступивших на неприятельскую территорию; и сделать это сразу, за одну поездку, без того, чтобы зигзагом возвращаться сначала в штаб Первого Украинского фронта, потом переезжать из него в штаб Второго и заново начинать путь оттуда.

Я, не лукавя, объяснил это и попросил машину. Крайнюков был известен добрым отношением к нашему брату — военному корреспонденту, но в данном случае я сомневался в успехе. Когда нам давали машины, их давали на время и, конечно, только в полосе действия собственного фронта, без заездов на соседние.

Может быть, мне помогло как раз то, что я не слукавил. Крайнюков позвонил по телефону и приказал дать машину.

Он был печален и неразговорчив, переживал смерть бывшего командующего Первым Украинским фронтом генерала Ватутина. Он был вместе с Ватутиным, когда 29 февраля при объезде войск они нарвались на отряд бандеровцев и Ватутин был тяжело ранен в перестрелке. Трагедия эта пришла к своему концу после полутора месяцев операций и упорных попыток спасти жизнь Ватутина. Он только что умер в госпитале в Киеве.

Очевидно, под впечатлением случившегося Крайнюков, прощаясь со мной, хмуро сказал, чтобы я и ехавшие со мной вместе Капустянский и корреспондент «Правды» Курганов были поосторожней в дороге. А утром, когда мы собрались ехать, оказалось, что на выделенном нам вездеходе «додж-3/4», кроме водителя, по распоряжению Крайнюкова сидит еще и автоматчик.

Не буду долго говорить о наших дорожных страхах в ту поездку. Такие вещи каждый вспоминает по-своему. Что касается меня, признаюсь, что, когда мы во время поездки находились не в войсках, а в дороге, особенно на безлюдных ее перегонах, на душе у меня скребло. Добавлю, что и тогда и потом известные основания к беспокойству были. В армейских тылах, на дорогах и ночлегах, погибало от рук бандеровцев немало офицеров и солдат, оказавшихся вне расположения воинских частей. Незадолго до нашей поездки в этих местах был застрелен бандеровцами один из лучших корреспондентов «Красной звезды», капитан Петр Олендер. А несколькими месяцами позже по дороге на Львов был убит в перестрелке — тоже с бандеровцами — фотокорреспондент «Известий» Павел Трошкин, мой спутник в первые месяцы войны.

По стечению обстоятельств машина, которую нам дали, была одной из тех, на которых 29 февраля ехала охрана Ватутина и Крайнюкова, и водитель был тот же самый, что и тогда.

Ему, как это часто бывает с людьми, задним числом казалось, что все могло бы выйти как-то по-другому, что не надо было командующему вылезать из машины и отстреливаться, а надо было проскочить под огнем. В об-

щем, у водителя все это было на памяти, и он, возвращаясь к своему рассказу, заставлял нас снова и снова думать об этом. А тем самым, хочешь не хочешь, и о самих себе.

Забегая вперед, скажу, что — если не считать одного глупого случая, когда у нас пытались угнать машину и пришлось ее возвращать почти что силой оружия — вся остальная поездка прошла спокойно. Воспоминания о прошлом не влияли на поведение водителя в настоящем; он оказался человеком невозмутимо спокойным. И приданный нам автоматчик тоже. Мы с Капустянским и Кургановым по внешности, видимо, тоже не праздновали труса. А что у меня скребло на душе, все-таки надо признаться. Иначе воспоминания были бы неполными. Прежде всего для меня самого.

В 38-й армии я впервые после «Красной звезды» встретился с Ортенбергом. За семь месяцев работы начальником политотдела армии он уже освоился с новым для него кругом обязанностей и успел внести в него хорошо знакомые мне по редакции черты своей беспокойной натуры. Проявлял и к месту, а порой, наверное, и не к месту свою личную храбрость, тормошил подчиненных, неожиданно среди ночи выезжал на передовую — в полки и батальоны — и звонил снизу наверх замполитам дивизий, вызывал их туда, где сам находился.

Некоторые из этих его беспокойных черт я замечал в Мехлисе, с которого Ортенберг, как он сам откровенно признавался, старался брать пример в своем поведении на фронте.

Однако при внешнем сходстве в некоторых повадках люди они с Мехлисом были в душевном смысле совершенно разные. Один внешне колючий и даже крутой, но, в сущности, добрый, а другой насквозь, до самой глубины души холодно и принципиально беспощадный.

Не обошлось, конечно,— да при характере Ортенберга и не могло обойтись — без совместной поездки в части армии. Куда именно мы тогда ездили, уже не помню. Шли бои, но, очевидно, там, куда мы ездили, в тот день или два ничего особо существенного не произошло. Или, как полушутя любили говорить о себе военные корреспонденты, «никаких боевых эпизодов с нами не было».

В одном из блокнотов у меня сохранились стихи, написанные там, в 38-й армии:

...То где-то смерть взмахнет крылом,
То близко хлопнет пушка...
А в блиндаже со мной вдвоем
Живет в часах кукушка.
Она кукует каждый час —
В погоду, в непогоду —
И прибавляет каждый раз
Нам всем еще по году.
До полночи щедра она —
Двенадцать лет отвалит
И вдруг напомнит, что — война,
Что это все — едва ли!
Тринадцать — и часы не бьют,
И птицы не пророчат.
Год жизни, так и быть, дают,
Дай бог, чтоб не короче...

Где и когда «смерть взмахнет крылом» на войне, действительно, не напророчит никакая кукушка. Через несколько месяцев после моей вполне благополучной поездки в 38-ю Ортенберг прислал мне письмо:

«...Давно я тебе не писал, а ты — столько же. После твоего отъезда из Городенки налетели немцы и превратили город в пепел. Я так был рад, что ты своевременно уехал, ты ведь знаешь, как мне и радостно было с тобой путешествовать, и как тяжело было. Я всегда боялся одного: а вдруг тебя ухлопают, а меня нет, как я вернусь без тебя! Слава богу, все кончилось хорошо...»

В этом письме проявила себя еще одна благородная черточка характера моего бывшего редактора — думать на войне о безопасности своих спутников больше, чем о собственной. Я знал это не только по себе. Не раз слышал и от других.

Находясь тогда в 38-й армии, я побывал у ее командарма Кирилла Семеновича Москаленко. О предыдущей нашей встрече с ним севернее Сталинграда я уже упоминал. Москаленко внешне нисколько не переменился, был такой же худой, поджарый, подвижный, быстрый, но внутренняя перемена чувствовалась. В чем она состояла, не так просто сформулировать, может быть, больше всего в самоощущении огромности расстояния, пройденного за полтора года оттуда, от Сталинграда, до этих предгорий Карпат.

Потом, после войны, я никогда уже больше не испы-

тывал того ощущения расстояний, которое было у нас во время войны. Расстояния были тогда совсем иными. Почти каждый километр их был туго, до отказа набит войной. И именно это и делало их тогда такими огромными и заставляло людей оглядываться в свое недавнее прошлое, порой даже удивляясь самим себе.

Жизненный опыт, добытый годами войны, чем-то очень существенно отличается от всякого другого жизненного опыта. Понятие «повзрослеть» мы обращаем обычно к детству и юности; предполагается, что именно там человек может за год, за два настолько перемениться, что о нем говорят «повзрослел», имея в виду духовную сторону этого понятия. На войне, однако, с ее бесчеловечно, жестоко спрессованным временем вполне уже зрелые по возрасту люди взрослеют не только за год, но и за месяц, и даже за один бой.

Размышляя сейчас на эту тему, я стараюсь добраться до более точной формулировки своих тогдашних ощущений от новых встреч с уже знакомыми мне людьми после того, как я не видел их — кого с лета сорок третьего, кого с осени сорок второго. И пусть так не принято говорить о вполне взрослых и без того людях, но почти все они казались мне духовно повзрослевшими за эти год-полтора.

С дальнейшей поездкой — в Черновицы и северные уезды Румынии — связаны некоторые сохранившиеся у меня записи. Первая из них — о Черновицах, где значительную, если не большую, часть населения до войны составляли евреи.

...Я увидел сожженное здание городской синагоги и подумал, что, пожалуй, никто не расскажет мне с большей осведомленностью о судьбе еврейского населения, чем раввин этой черновицкой синагоги, если только он жив. Оказалось, что жив.

Через полчаса еврейский юноша, студент, записавшийся после нашего вступления в город в милицию, вел меня на квартиру к раввину. Кажется, он был удивлен, зачем мне понадобился черновицкий раввин, но вопросов не задавал.

В одном из бедных кварталов города мы поднялись по узкой темной лестнице на третий этаж и постучали. Нас встретил синагогальный служка — курчавый, гром-

ко и быстро разговаривавший, средних лет мужчина. Он привел меня во вторую комнату, где за столом над большой, в кожаном переплете книгой сидел старый человек с седой бородой и с седыми, выбивавшимися из-под черной шапочки волосами. У него были темное сморщенное лицо и затерявшиеся среди морщин неожиданно голубые детские глаза. Он был похож на средневекового алхимика, не хватало только реторт и тиглей.

Я объяснил цель прихода. Подняв на меня свои голубые глаза, старик сказал:

— Вы же воюете, и у вас, наверное, мало времени. Да?

Я сказал, что времени у меня действительно не так много, но я все равно хочу, чтобы он подробно рассказал мне о судьбе еврейского населения здесь, в Черновицах.

— Я могу рассказывать о страданиях моего народа за эти тридцать три месяца тоже тридцать три месяца. Потому что каждая минута приносила столько страданий, что о ней тоже надо рассказывать хотя бы минуту. Но я не буду, я знаю, что вы все-таки торопитесь,— сказал раввин.

У него был очень тихий и очень усталый голос очень старого человека. Он рассказал, как двадцать пятого июня 1941 года сюда, в Черновицы, пришли немцы и румыны, после этого три дня в городе было тихо. Все ждали, что будет. Потом началась регистрация евреев. А через две недели, в понедельник, евреев по спискам начали вызывать в гестапо.

Я спросил, как составлялись списки, кого вызывали.

— Их вызывали всегда по понедельникам, которые с тех пор стали в Черновицах черными днями. Вызывали по три, по пять тысяч человек. Десятую часть расстреливали, остальных отпускали.

— А кого расстреливали? — спросил я.

— Расстреливали самых молодых и здоровых.

— Немцы?

— Да, их расстреливали немцы.

Я спросил раввина, много ли было таких понедельников.

— Много, десять.

— А что было потом? — спросил я.

— Потом был этот квартал, куда вы сейчас ко мне пришли. Здесь было гетто. Четыре улицы и переулки,

и не такие уж большие дома, и не так уж много их. В один понедельник никого не вызывали в гестапо, но по городу был расклеен приказ румынского губернатора, чтобы к следующему утру под страхом смерти все евреи уже находились в гетто, в этом квартале. Евреев в городе было тогда втрое больше, чем сейчас, восемьдесят тысяч. Вы видите эту мою квартиру, в ней еще одна такая же комната и передняя. Здесь у меня в квартире жило сто двенадцать человек. Все собранные в гетто жили на улицах и во дворах, на крышах и в коридорах, в чуланах, на лестницах. Восемьдесят тысяч человек в одном маленьком квартале.

Я спросил, что было потом. Он ответил, что потом евреев из этого гетто в Черновицах начали выселять в Транснистрию. Давали им полчаса на сборы и отправляли в товарных поездах в Транснистрию.

Я спросил, сколько же всего было отправлено отсюда туда. Он сказал, что около пятидесяти тысяч. Я спросил, многие ли из них теперь вернулись. Он сказал, что пока немного — всего несколько человек.

— А где были вы сами?

— Я был здесь, в городе. Меня спрятали, и я жил в подвале.

— Все тридцать три месяца?

— Да. На второй день после того, как в город вошли немцы, за мной пришли из гестапо, но я уже был спрятан.— Он поднял свою голову девяностолетнего старика и спросил меня: — Вы, наверно, думаете, что мне очень много лет? Да, мне сейчас сто лет. Но тридцать три месяца назад мне было пятьдесят два года. Могу вам показать фотографию.

Он вытащил из стола бумажник и вынул из нее небольшую фотографию. На ней еще нестарый, полный, улыбающийся человек стоял рядом с женщиной и двумя детьми.

— А где они сейчас?

Он молча положил фотографию в бумажник, а бумажник обратно в стол, и мне показалось по его лицу, что лучше было не задавать этого вопроса.

Когда я шел от раввина, меня провожал до машины синагогальный служка. Он молчал на протяжении двух часов, пока я говорил с раввином, а сейчас вознаграждал себя за это молчание. Он шел рядом со мной, размахивая руками и крича. На лицо его, которое сначала

показалось мне добродушным и даже смешным, сейчас было страшно смотреть. Он одновременно и кричал и плакал. Кричал о том, как умирали от голода дети, от голода и болезней, косивших их в этой тесноте, в этом восьмидесятитысячном гетто, состоявшем из нескольких десятков домов. Кричал и плакал все время, пока мы шли до машины.

И когда уже мы сели и поехали, он все еще не мог остановиться и продолжал кричать то же самое, что кричал мне, каким-то людям, которые толпились до этого около нашей машины...

Дальнейшие записи в блокнотах связаны с поездкой по занятым нами северным уездам Румынии. Большинство записей нет смысла приводить: слишком много подробностей, интересовавших меня тогда, но вряд ли нужных кому-нибудь сейчас. Они связаны главным образом с порядками, которые были установлены в этих северных уездах Румынии после того, как в заявлении Наркоминдела было сказано, что Советское правительство «не преследует цели приобретения какой-либо части румынской территории или изменения существующего общественного строя Румынии...».

В одном из блокнотов длинный разговор с деканом адвокатуры Василиу Лувинеску, примаром румынского города Дорохой.

В другом подробная запись разговора на ту же тему с нашим военным комендантом другого румынского города — Серет.

Записи обоих разговоров свидетельствуют, что заявление нашего Народного комиссариата иностранных дел пунктуально соблюдалось в этих занятых нами уездах. Я интересовался этим вопросом во всех подробностях, спрашивал и переспрашивал, особенно румынского примара. Но все ответы подтверждали одно и то же — наши войска, вступив на территорию Румынии, никоим образом не вмешивались ни во внутренние румынские порядки, ни в тогдашнее румынское законодательство. Видимо, уже тогда предполагалось оставить все эти будущие перемены на долю и усмотрение самих румын.

А насколько щепетильные проблемы возникали в первые недели после перехода нашими войсками первой иностранной границы, мне все-таки хочется напомнить,

приведя лишь один из многих ответов господина Василиу Лувинеску:

«...В связи с жилищным вопросом возникает ряд осложнений, которые мне приходится решать на свою ответственность. Когда вы проходили по коридору, то, очевидно, видели там довольно много просителей, ожидающих приема. Все они по одному вопросу. Это бывшие владельцы домов, евреи, у которых по законам, изданным Антонеску после его прихода к власти, были отняты домовладения, ибо по основному, принятому тогда закону еврей не мог являться владельцем земельной собственности и домов. Согласно декларации господина Молотова все законы, действующие на румынской территории для румынских граждан, остаются неприкосновенными. И хотя я лично в последние годы пронемецкой политики был единственным адвокатом в городе, бравшим на себя защиту дел евреев, но в данном случае я не могу по своей инициативе отменять законы, даже если они, как этот, например, лично мне не нравятся. Ибо тогда на территории разных уездов появятся самые разные законы: в Дорохое — одни, в Ботошани — другие, в Пашкани — третьи. И это приведет к такой путанице, в которой потом нелегко будет разобраться.

Я надеюсь, что Румыния после окончания войны вернется к более демократическим временам и введенные под давлением немцев расовые ограничения будут уничтожены. Однако сделать это сейчас не в моей власти...»

Так отвечал мне тогда, в апреле сорок четвертого года, «шестидесятилетний, седой, но энергичный» — так написано о нем у меня в блокноте — примар города Дорохой господин Лувинеску. И было это всего за четыре месяца до нашего прорыва от Ясс к Бухаресту, падения режима Антонеску и выхода Румынии из войны.

Я был в 1941 году в осажденной Одессе и весной 1944-го, вспоминая то тяжелое для нас время, заинтересовался вопросом: что собирался делать румынский фюрер и его сподвижники с так называемой Транснистрией, то есть изрядным куском нашей территории между Днестром и Бугом. Вся эта территория была заранее

обещана Гитлером Антонеску как наградные за участие в войне.

В моем блокноте, посвященном этой проблеме, переписаны в выдержках многочисленные «ордонансы», изданные за два с половиной года в Транснистрии ее первым и последним губернатором Алексяну. Выписок много. Губернатор любил «ордонансы» и выпускал их по одному в неделю.

Кроме цитат из «ордонансов», я выписал некоторые любопытные места из букваря, который был, как это засвидетельствовано на его последней странице, «напечатан заботами господина профессора Г. Алексяну, первого губернатора «Транснистрии» в дни славного царствования его величества короля Михая Первого при вожде Румынского государства господине маршале Ионе Антонеску».

По этому букварю, на каждом развороте которого был с одной стороны напечатан румынский текст, с другой — русский, было приказано учить детей во всех школах Транснистрии.

Все это, конечно,— и само слово «Транснистрия», и этот букварь, и мои выписки из него,— далекое прошлое. Но некоторые из этих выписок, признаюсь, не только смешивших, но и бесивших меня тогда, во время войны, все-таки приведу. Во-первых, история есть история, а это тоже частица ее. А во-вторых, хотя я принадлежу к числу людей, своими глазами видевших в Берлине, как Кейтель подписывал акт о безоговорочной капитуляции германской армии, мне вспоминается и многое другое, предшествовавшее этому. И мне хочется мысленно восстановить для себя те чувства, которые испытывали жители Транснистрии, ну, скажем, в конце лета 1942 года, когда немцы, а вместе с ними, добавлю, и румыны, были на Волге и на Кавказе. Что творилось тогда на душе у людей, чьи дети читали букварь, изданный «в дни славного царствования его величества короля Михая Первого»?

Так что все-таки несколько цитат из этого букваря:

«Транснистрия — румынская земля между Днестром и Бугом...

Красоты и богатства этой земли были заманчивы для русских. Их цари напали на нее и заняли ее не по праву.

Теперь Транснистрия свободна...»

Это все из вступления к букварю. А в конце его был помещен рассказ для детей, который я не поленился тогда выписать с сохранением орфографии составителей:

«Любовь к родному народу.

Это случилось в то время, когда Румыны вели борьбу против большевиков.

Федя был пастушком. В школе он узнал, как надо любить свою родину и румынский народ.

Вражеские шпионы иногда спускались на парашутах на нашу землю. Они хотели собрать сведения о румынском войске и причинить вред стране.

Однажды три русских парашутиста снизились недалеко от леса и Феди. Они говорили с Федей по-румынски и назвали себя румынами. Притворились, что заблудились. Не знают, где находится оружейный склад, куда им надо попасть.

Федя сразу догадался, что это шпионы.

Он согласился указать им, где находится оружейный склад. Но вместо этого достойный пастушок провел их прямо на жандармский пост.

За этот подвиг Федя был похвален и награжден орденом».

Да, странно сейчас представить себе задним числом, что нынешних сорокалетних уроженцев Одесской или Винницкой областей, а в далеком прошлом малолетних жителей Транснистрии пытались учить когда-то по этому букварю, «напечатанному заботами господина профессора Г. Алексяну, первого губернатора...».

Впрочем, как свидетельствуют другие записи в моих блокнотах, временные «транснистрианцы» даже и в те тяжелые для них времена не теряли своего украинского юмора и по поводу одного из «ордонансов», в котором требовалось сдать от каждой овцы столько шерсти, сколько она за весь год не могла дать по законам природы, сочинили такую частушку:

Антонеска дал приказ:
Стриги вивцев в третий раз.
Вивцы блеют: холодно!
Антонеске все равно!

Есть в этих же блокнотах и другие записи, короткие, дорожные.

...В румынской деревне ощущение обычной нормаль-

ной жизни. Из городов какая-то часть румынского населения, напуганная пропагандой, ушла вместе с войсками. А здесь, в деревнях, эта пропаганда не имела никакого успеха. Подряд в нескольких деревнях спрашиваю, много ли жителей ушло вместе с румынской армией, и всякий раз получаю ответ — никто не ушел. Это похоже на правду. В деревнях нет пустующих домов, всюду живут люди. Едешь по проселочной дороге, а по обеим сторонам ее на узких полосках земли — люди, волы, лошади. Бородатые старики, повесив через плечо лукошко, широким ровным медленным шагом двигаясь по распаханному полю, сеют пшеницу.

Недалеко от Фельтичени в маленькой румынской деревне на здании сельской примарии висит доска в траурной рамке. На доске список из тридцати семи фамилий. Ниже последней фамилии осталось еще много места, список еще не закрыт. На доске фамилии погибших на русском фронте румынских солдат и унтер-офицеров. Когда-то, до сорок первого года, они были просто крестьянами этой небольшой деревни, в которой нет и полутора сотен дворов. Тридцать семь убитых на такую деревню — это значит, что почти во всякой хате оплакивают или своего покойника, или кого-нибудь из родственников. А есть еще и раненые и калеки. Мимо меня по деревенской улице проходит один из них с культей вместо ноги, тяжело наваливаясь на костыли. А вдобавок ко всему, наверно, и на эту деревню причитается еще сколько-то пропавших без вести и оказавшихся в плену. Этот сельский недописанный некролог вызывает у меня чувство если не скорби, то, во всяком случае, глубокой человеческой досады. Что им-то было нужно в предгорьях Кавказа или в донских степях? Этим крестьянам, которые идут сейчас мимо меня, занятые своими делами, и тем, другим, запихнутым в солдатскую форму, которые погибли и сгнили где-то в полях России. И теперь от них остались только эти фамилии на доске в траурной рамке.

...Разговариваю с жителями, среди которых, как я догадываюсь, немало бывших солдат, бежавших при отступлении из армии и осевших здесь, в своих деревнях. Это видно по их похожим одна на другую, одновременно запущенным, но еще не успевшим как следует отрасти бородам. Чувствую по разговорам — наверно, это все-таки правда,— что здесь, как, должно быть, и

в других деревнях Румынии, среди простого народа война с нами была всегда непопулярна.

Конечно, не следует преувеличивать. В период своих наибольших успехов, накануне сталинградской катастрофы, немцы делились с румынами частью награбленного. Да и сами румынские солдаты занимались в оккупированных районах России бессистемным грабежом, в Румынию шли с фронта посылки — самые разные, от дорогих до грошовых; я уже несколько раз нападал на их следы, на разные предметы советского производства. Чаще всего почему-то на патефоны и патефонные пластинки.

И, однако, при всем том, если бы румыны в состоянии были выбирать сами, они бы выбрали мир. И чем дольше я здесь, тем меньше в этом сомневаюсь. Разговоры с людьми подтверждают, что планы так называемой великой Румынии все-таки никогда не имели всенародного хождения. А после катастрофы под Сталинградом война стала окончательно непопулярной.

...Разговариваю с только что взятым в плен румынским сержантом. В плену он всего час. После нашего очень сильного огневого налета, как он утверждает, он остался единственным живым в своем взводе и, бросив автомат, подняв руки, пошел к нашим окопам. Во время разговора со мной он все еще остается в состоянии только что пережитого ужаса. Во всяком случае, как мне кажется, он не успел еще подумать, что следует и чего не следует говорить, оказавшись в плену, и все его ответы кажутся мне непосредственными и правдивыми.

Сам он по профессии столяр, родом из Ботошан, города, уже скоро месяц занятого нами. Интересуюсь его отношением к немцам и к собственным офицерам. О своих офицерах он говорит с какой-то равнодушной безысходностью: пошел в армию, потому что приказали, стал воевать, потому что приказали. Делал всегда все, что ему приказывал командир его взвода сублокотинент Ион Миронеску, и перешел к нам через пять минут после того, как этот Миронеску был убит рядом с ним.

О своих офицерах говорит равнодушно, а о немцах с очень правдоподобным раздражением, и в интонациях голоса чувствуется, что раздражение это против немцев уже давнее и привычное.

В разговоре выясняю одно неожиданное обстоятель-

ство. Спрашиваю пленного: знает ли он, что в прошлую войну румыны воевали против немцев на стороне России? Отвечает, что нет, не знает об этом, что в школе ему об этом не говорили.

Спрашиваю: знает ли он вообще, что была война 1914—1918 годов? Говорит, что знает, потому что его отец был убит на этой войне.

Судя по этим ответам, надо думать, что прогерманская политика начала проводиться в Румынии, и в частности в румынских школах, давно, еще до прихода к власти Антонеску. Иначе как-то трудно объяснить тот факт, что румынский солдат, отец которого был убит в прошлую войну немцами, оказывается, не знает, на чьей стороне в прошлую войну воевали румыны и кем был убит его отец...

Сличение разных записей в блокнотах подсказывает мне, что разговор с пленным румынским сержантом происходил после одного из тех маленьких боев, которые продолжаются и в дни затишья и чаще всего связаны с микроскопическими улучшениями позиций. Берут какую-нибудь высотку или отстригают несколько сот метров какого-нибудь выдавшегося в нашу сторону аппендикса, на котором сидит рота или взвод противника.

Что-то подобное, помнится, было в первое утро нашего приезда в стрелковую дивизию генерала Козыря, стоявшую между городами Фельтичени и Пашкани, на плацдарме, захваченном нами к тому времени за рекой Молдовой. В дивизии этой я пробыл два или три дня. Заметных боевых событий там не происходило. Впрочем, как и у соседей справа и слева. Но меня глубоко заинтересовала фигура самого командира дивизии, человека высоких душевных качеств, своеобразного обаяния и, как мне показалось, большого природного ума.

Много лет спустя, вспоминая этого человека, его взгляды на жизнь, повадки, манеру разговора с подчиненными, я написал одного из действующих лиц своего романа «Живые и мертвые» — генерала Кузьмича. Но тогда, весной сорок четвертого, я, разумеется, об этом не думал, просто сделал довольно длинную дневниковую запись о генерал-майоре Максиме Евсеевиче Козыре, пятидесяти шести лет от роду. Запись эта — в какой-то мере его портрет, а верней, автопортрет.

С доступной мне при моей скорописи точностью я воспроизвел главным образом то, что говорил он сам о себе. Вот эта тогдашняя запись:

«...Родился я в деревне Богатое Екатеринославской губернии. Отец там столяром был, потом уехал в Донбасс. Судьба моя была ретивая, но я люблю ей ходить наперерез. На военной службе с десятого года. В четырнадцатом году, перед войной, летом, на международных стрелковых состязаниях в Кишиневе взял четвертое место по стрельбе стоя. Ездил туда на стрельбы вместе со своим штабс-ротмистром графом Зражевским. В четырнадцатом году воевал тут недалеко, на Карпатах. За ту войну взамен четырех солдатских «Георгиев» золотой крест дали с бантом и тем самым в подпрапорщики произвели. А по должности был фельдфебель пулеметной команды 134-го Феодосийского полка. В гражданскую войну был выбран командиром 414-го Аткарского полка. А потом был командующим Первой повстанческой армией. За гражданскую войну два ордена Красного Знамени получил и имею документ один хороший: семнадцатого мая девятнадцатого года на станции Волноваха получил телеграмму от Владимира Ильича Ленина. Тогда я получил первый орден, и желтый кожаный костюм в подарок мне привез Затонский. Я был как раз ранен в тот день в правую ногу и лежал.

Потом, в мирное время, большей частью командовал полком. В начале войны стоял в Брест-Литовске. Семья моя в Брест-Литовске погибла. И начполита, и начштаба семьи. Две бомбы — прямо в дом, где жили, ночью. Как были, раздетые. Привезли одни клочья. Похоронили их потом в Кобрине. Н-да. Я не пошел смотреть. Цветы, говорят, на могилы носили. Не пошел почему? На меня подействовало. Начштаба, как увидел, что с семьей его, застрелился. Так что, в общем, у меня из семьи осталась одна теща, старушка. Пишет мне, между прочим.

Под Брест-Литовском собрались мы все генерал-майоры, голосовали, как в гражданскую войну. Был выбран я временным командующим 4-й армией и остатки ее выводил из окружения. Вывел.

Под Москвой командовал Особой группой морской пехоты. Приехал в Москву зимой в сорок первом году. Она пустая, снежная. Ехал через Химки в морскую брига-

ду и вспомнил, как с женой, бывало, танцевал здесь в морском вокзале. Командиром бригады был назначен прямо перед шестым декабря и пошел в наступление. Моряки воюют — красотища!

Потом был ранен под Старой Руссой, тяжело. Вернулся обратно на фронт. Стоял под Новгородом. Второй раз был тяжело ранен под Новгородом. Это — в седьмой, пока в последний. Три раза в мировую, два раза в гражданскую, два раза в эту.

Дивизия моя сейчас Сумско-Киевская Богдана Хмельницкого, Красного Знамени и Суворова второй степени. Этой дивизией начал командовать после взятия Киева по маршруту: Васильков, Фастов, Белая Церковь, Гайсин. Шел через реки — Горный Тикич, Соб, Буг, Днестр, Прут, Серет, Молдова.

Прут мне преподнес большие неприятности. Хотя я его по старой армии еще знал, но он оказался глубже. Не высох, а напротив.

Как водные преграды мы форсировали, спрашиваешь? Кто на чем. Кто на плотах, кто на плетнях, кто на заборах. А главное — на сообразительности офицерского и рядового состава.

Надо отдать должное, мой саперный батальон здорово втыкал. Разведка дорог у них отличная. Вот вы ко мне приехали, видели, наверное, по всей дороге надписи на домах, на заборах, на столбах: Беринский. Беринский — это мой командир саперного батальона. Указывает, значит, своей фамилией, что дорога разведана. Майор Беринский. В глаза его мало кто знает, а фамилия по всей армии знаменитая.

Они против меня тут укрепрайон выставили, бетон. Но врут, не все у них бетон, много и ложных точек! Я сам старый крепак, сидел в укрепрайоне, меня не проведешь. Я вот приказал подтащить самоходные пушки, завтра с утра попробуем. Подведем близко и бить будем неожиданно. Из каких побегут или зашевелятся, значит, там сидят. А где тишина будет, значит, там ложные. Мы все выясним, какие у них настоящие, какие фальшивые.

Начинаются телефонные разговоры.

— Что, они еще пушек себе требуют? Им и так уже дано больше, чем по закону божьему положено!

Ему докладывают, что пришли последние две пушки, которые отстали чуть не на четыреста километров. Он

очень радуется, что к нему наконец пришли эти пушки, и все время приговаривает:

— Н-да, теперь я богат. Теперь я король. Теперь у меня все.

Это свое «н-да» он приговаривает почти все время.

Начинается разговор по телефону о лошади, которую артдивизион угнал у какого-то госпиталя.

— Замахорили уже лошадку? Отдать надоть, отдать. Ну не гнедую, не гнедую, отдайте соловую, лишь бы по счету была!

Говорит о боях:

— Что дважды два — четыре, этому человека научить легко. А научить его, чтобы он пошел и сознательно умер,— это другое.

Отзывается о каком-то из своих командиров:

— Начал излишне признавать свои умственные способности. Ну я его одернул, конечно.

Разговаривает по телефону с командиром полка:

— Вас много, а я один. В этом и есть вся история нашего искусства.

Устраивает нагоняй капитану, который явился к нему, раньше срока удрав из медсанбата. Тот оправдывается.

— Надоели мне медсанбаты! Уже в пятый раз медсанбат. Теперь мне этот медсанбат как тюрьма.

— А где осколок? — спрашивает Козырь.

— Как где?

— Осколок, говорю, где? Вынули или в ноге?

— В ноге.

— А ты вот поезжай в медсанбат, пусть они тебе разрежут, вынут, и с документом вместе представь мне осколок, а то не поверю.

— Так если резать, это же на пять месяцев,— стоит на своем капитан.— У меня тело хорошее, оно у меня быстро заживет. Зачем его резать?

Возникает разговор об адъютантах.

— У каждого своя страсть. Я вот, видите, адъютантов не держу. У меня адъютант не денщик и не холуй. У меня уж если адъютант, то офицер и помощник мой. У всякого человека своя блажь. Не люблю адъютантов-холуев. Был у меня адъютант Хмарский, старший лейтенант. Действительно адъютант!

Козырь рассказывает о том, как погиб этот Хмарский, и, хотя до этого почти спокойно рассказывает о ги-

бели семьи, здесь у него навертываются слезы на глаза, и он вытирает их рукой.

— А теперь у меня в ординарцах, вот видите, мальчик, Ванюша. Такой культурный мальчик, даже языки знает. И вообще умненький.

Ванюша — маленький остроносый черноглазый мальчик, на вид лет двенадцати. Действительно, очень умный, бойкий, с детской непосредственностью влюбленный, очевидно, и в Козыря, и в войну, и в солдатскую дисциплину.

Козырь снова вспоминает о переправе через Прут.

— Через Прут наша дивизия перешла раньше отступавших румын.

В пятьдесят шесть лет еще нет ни одного седого волоса, но его мучают старые ранения, и он с раздражением говорит об этом:

— Двух ребер у меня нет. Как на машине еду, так ничего, а как на лошадь сяду — прямо скандал! И сплю — мучаюсь сидя. Два ранения в спину мешают лежа спать. У меня два пристрастия в жизни — война и сельское хозяйство. Я, командуя полком, кончил вечерний агрономический институт. После войны мне в армии неинтересно быть. Я после войны хочу заняться по-стариковски сельским хозяйством. Н-да!..»

На этом обрывается моя дневниковая запись о генерале Козыре.

Работая в Подольском архиве, я выяснил его дальнейшую судьбу на войне. Уже перед самым концом войны, под Брно, будучи заместителем командира стрелкового корпуса, он ночью заскочил на «виллисе» на ничейную землю и, попав под немецкий огонь, был убит. Заняться по-стариковски сельским хозяйством после войны не пришлось... Не довелось и узнать, что давно оплаканные жена и четырнадцатилетний сын не погибли, а были угнаны в Германию на подневольную работу, батраками, и в сорок пятом году возвратились на Родину.

Так вышло, что страницы своих записей о Козыре я прочел по радио и почти сразу же получил несколько писем от сослуживцев генерала, дорисовавших облик этого самобытного военного человека.

«...Козырь Максим Евсеевич был командиром нашей

232 Сумско-Киевской стрелковой дивизии, я же служил в ней в то время командиром батареи артполка. Козыря знал я и лично. Одно время моя батарея представляла что-то вроде подручной батареи при комдиве, хотя это и не было принято. Но генерал любил, чтобы замеченная лично им на поле боя цель сразу же была поражена, и сердился при любой задержке с вызовом огня. Этот скромнейший, самоотверженный, не щадящий себя человек производил на меня глубокое впечатление...» — писал мне из Казани Павел Петрович Лебедев.

«...В этой дивизии я был командиром разведроты и начальником штаба 794 полка. С Козырем приходилось встречаться часто и видеть его при самых разных обстоятельствах, съесть с ним, можно сказать, не один пуд соли. Должен признать, что все написанное Вами о нашем генерале — правда. То, что он говорил Вам, часто говорил и нам.

В своем дневнике Вы упоминаете о Беринском — командире саперного батальона. Ставлю Вас в известность: он здравствует и по сей день, проживает во Львове, преподает в институте...» — писал из Новосибирска Евгений Дмитриевич Головин.

Прислал письмо и Иосиф Цалевич Беринский, тот самый, чей саперный батальон, по словам Козыря, «здорово втыкал».

«...Я бывший командир саперного батальона, дивизионный инженер этой дивизии — Беринский. К нам в 232-ю стрелковую дивизию М. Е. Козырь прибыл в октябре 1943 года на должность заместителя командира. В это время части дивизии были уже на Лютежском плацдарме севернее Киева. Тогда-то я и познакомился с М. Е. Козырем, переправляя его через Днепр. Там, на Лютежском плацдарме, мы впервые познакомились и с его храбростью. Он дошел до передовых позиций, лег за пулемет и вел огонь по противнику. Да и в дальнейшем большинство времени был в полках на передовой линии. Вел себя храбро и, может быть, даже рискованно. Ходил всегда в плаще и красной генеральской фуражке. За успешные боевые действия и умелое командование М. Е. Козырю было присвоено звание Героя Советского Союза...»

Мне остается добавить несколько неизвестных мне раньше подробностей, почерпнутых из писем и из статьи Л. Яруцкого в газете «Социалистический Донбасс»,

названной автором «Генерал Кузьмич — генерал Козырь».

Оказывается, до службы в царской армии Козырь работал на шахте в Юзовке коногоном. В первую мировую войну потерял на фронте трех братьев, в гражданскую — четвертого. Орден Красного Знамени получил одним из первых — за номером 71. В первую мировую был в боях фельдфебелем пулеметной команды в Румынии, в районе Пашканы, как раз там, где я через тридцать лет встретил его командиром дивизии. Убит не на ничейной земле, а в схватке с немцами, заскочив на «виллисе» в еще занятую ими деревню. Похоронен на Ольшанском кладбище в Праге.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Во второй половине мая я вновь, неожиданно для себя, попал почти в те же самые места — сначала в Бельцы, а потом в Северную Румынию, в ее Ботошанский уезд. Вызвали в политуправление и послали в войска прочесть несколько лекций на общественные и литературные темы.

На Втором Украинском фронте стояло глубокое затишье. Войска начинали готовиться к будущей Ясско-Кишиневской операции. То есть была как раз такая пора, когда, пользуясь затишьем, в действующую армию посылали особенно много лекторов, чтецов и актеров, чтобы заполнить время, остающееся от занятий и учений, да и просто чтоб людям перед боями было жить повеселее. Соображение правильное — во время долгого затишья, за которым все равно неотвратимо последуют бои, люди не могут не думать об этом. Жить между воспоминаниями о прошлом и ожиданием будущего не так-то легко. Одних затишье затягивает, а другие устают от него и начинают томиться.

Лектор из меня был, очевидно, неважный, где и какие лекции я читал, не помню, но вот ощущение нарастающей томительности затишья, тоже важное для понимания войны, из этой поездки я увез. Оно запомнилось больше всего другого.

Военных действий не происходило, фронтовой блокнот пустовал. От всей поездки осталась всего-навсего одна стихотворная запись:

Жара. Дорога вдоль полей
Идет ленивой полосою,
И кроны пыльных тополей
Шумят усталою листвою.
Сухою пылью, как мукой,
Засыпан жаркий белый камень,
Сирень, задетая рукой,
Сорит на землю лепестками...

Как мне сейчас кажется, томительность затишья присутствует и в этих строчках незаконченного стихотворения.

Во время этой поездки я впервые за войну встретился с Борисом Полевым, редкостная оперативность которого, часто связанная с готовностью идти на риск, вызывала у меня не только уважение, но, случалось, и зависть. Ортенберг, гордившийся оперативностью корреспондентов «Красной звезды», редко ставил им в пример других газетчиков. Но Полевого ставил. И не раз. И даже, по слухам, когда-то пытался перетянуть его к нам в «Красную звезду».

Немножко позже, чем с Полевым, я встретился там же, под Бельцами, с Романом Карменом, который как военный корреспондент еще до этой войны побывал в Испании и в Китае. Он с его беспокойным характером томился затишьем, ругался, хотел ехать куда-нибудь в другое место, но его связывало то, что он был здесь начальником фронтовой киногруппы.

С ним мы дружили уже давно; и, желая отметить нашу неожиданную встречу, он вместе с другими ребятами из киногруппы затащил меня к себе на верхотуру какого-то сельского дома, где они жили, жаркую, похожую на голубятню. И накормил ужином, который почему-то запомнился. Может быть, потому, что другого, похожего, никогда не было. Пили из большой глиняной баклаги красное сухое деревенское вино и ели жареных голубей.

Запомнилось все — и забытый за время войны вкус деревенского вина, и незнакомый вкус голубей. Война такая длинная и разная, что иногда на ней запоминаются и такие вот маленькие житейские радости.

Из встреч с людьми военными за эту поездку и в памяти и отчасти в записях осталась только одна — с Сергеем Ильичом Горшковым, с которым до этого я виделся весной сорок третьего на реке Миус.

Командовавший тогда на Миусе донским казачьим корпусом генерал-лейтенант Алексей Гордеевич Селиванов в разгар войны тяжело заболел туберкулезом, и ему на смену пришел Горшков.

В первый же вечер, когда я встретился с ним в Румынии, я спросил его о судьбе медсестры Малышки.

— Нет ее здесь,— сказал Горшков.— Отправил ее учиться на врача. Таких, как она, надо беречь. Хотим сохранить жизнь, пусть учится.— И задумчиво добавил: — Год все-таки прошел, многое меняется за год.

Он был прав — за год действительно многое изменилось. И казаки стояли уже не под Таганрогом, а под Яссами, и сам он командовал уже не дивизией, а корпусом, и его, не выдуманная мной когда-то в рассказе, а настоящая фамилия не раз упоминалась в приказах, и на кителе прибавилось несколько орденов.

Но зато его былая, какая-то особенно привлекательная легкость в походке и подвижность исчезли. Тяжело раненный в недавних боях, он передвигался, опираясь на костыли.

Была жаркая румынская весна. Кругом шелестели сады. На штабных картах роились странные, чужие названия городов и деревень. И Таганрог, и Матвеев курган, и бои на Миусе были чем-то далеким и, казалось, бесконечно давно минувшим...

После той встречи в затишье под Яссами судьба так больше и не сводила меня с «сыном Аксиньи Ивановны». Знал, что конно-механизированная группа генерала Горшкова потом особенно отличалась во время Ясско-Кишиневской операции, в боях за Западную Румынию и Трансильванию; знал, что он награжден за это орденом Кутузова первой степени и произведен в генерал-лейтенанты, а самого его больше так и не видел.

И лишь недавно вдруг получил от него письмо, в котором он напомнил, как мы жили тогда, весной сорок четвертого, в Румынии вдвоем с ним в его маленькой беленой чистенькой комнатушке и как я с сомнением посматривал на его костыли — должно быть, не верил его надеждам, что он и после такого тяжелого ранения снова еще поведет в бой свой 5-й гвардейский казачий корпус.

По правде говоря, мне тогда действительно не верилось в это, уж очень трудно давалась ему ходьба на костылях, даже по комнате.

А потом все-таки вышло именно так, как он надеялся. Воля человеческая все-таки удивительная сила, и кажется иногда, что даже не только моральная, но и материальная, физическая.

Я вернулся в Москву в конце мая или в самых первых числах июня, и 7 июня 1944 года — в день, когда мы узнали о состоявшейся накануне высадке союзников в Нормандии,— сидел у себя дома.

Случилось так, что за два или за три дня до этого заместитель редактора «Красной звезды» Александр Яковлевич Карпов вызвал меня, осведомился, как мои дела — я, помнится, сидел тогда над версткой книги «Дни и ночи», выходившей отдельным изданием,— и в разговоре с глазу на глаз сказал, чтобы я побыстрей закруглялся. В ближайшее время начнутся интересные события и мне предстоит поездка.

Совпадение по времени этого редакционного разговора с событиями, начавшимися в Нормандии, навело меня на мысль — уж не собирается ли редакция послать меня к союзникам? Один раз, в сорок втором году, такая поездка уже проектировалась.

Придя в редакцию, я спросил Карпова, что он имел в виду, говоря мне о готовности номер один. Угадав мои мысли, Карпов рассмеялся и сказал, что готовность номер один сохраняется, но направление предвидится совершенно другое.

Те три дня, что я еще пробыл в Москве, везде и всюду по всякому поводу возникали разговоры об открывшемся наконец втором фронте.

Разумеется, и о высадке союзников в сорок втором году в Северной Африке, и потом о высадках на Сицилии, в Италии — обо всем этом немало говорили в нашем кругу военных корреспондентов, обсуждали подробности, радовались успехам. Все так! И, однако, говоря по совести, все, что происходило там, на Западе, до высадки в Нормандии, мы упрямо и, в общем-то, справедливо отказывались считать настоящим вторым фронтом.

То, что произошло сейчас в Нормандии, мы ждали и в отчаянные для нас дни сорок второго года, и тревожной весной сорок третьего, накануне летнего наступления немцев. Ни с какими другими словами за все предыдущие годы не было связано для нас столько обманутых ожиданий, сколько с этими — второй фронт.

Тем с большей отчетливостью помню свое восприятие высадки в Нормандии; наконец-то второй фронт открылся всерьез, не на жизнь, а на смерть! Во всяком случае, для меня лично эти дни памятны как счастливые.

11 июня, на пятый день после высадки союзников, в «Правде» были опубликованы данные Народного комиссариата внешней торговли о военных поставках США, Великобритании и Канады Советскому Союзу.

Одни цифры выглядели в наших глазах более внушительно, другие менее, но я в данном случае хочу сказать не о цифрах, а о нашей психологии в тот момент.

Опубликовать все это в нашей печати до открытия настоящего второго фронта было бы просто-напросто психологически невозможно.

Это было бы воспринято как попытка замены одного другим: второго фронта — цифрами поставок.

После высадки союзников в Нормандии все это воспринималось уже по-другому, как нечто дополнительное к самому главному — к вступлению в бой.

Публикацию в «Правде» я читал уже в Ленинграде. 10 июня началась наша первая летняя операция на Карельском перешейке. И я уехал туда. Эту перспективу и имел в виду Карпов, говоря мне несколькими днями раньше о готовности номер один.

Я ехал в Ленинград на «виллисе» сутки, с ночевкой в Новгороде, и более печальную дорогу, чем эта, наверно, трудно было себе представить даже тогда, во время войны.

В эту короткую по времени поездку я снова, как в прошлом году по дороге в Харьков, с особенной остротой ощутил масштабы бедствий, которые мы перенесли. Всего в двадцати с чем-то километрах от памятника Пушкину — почему-то в голову приходила именно эта точка отсчета — мы проехали то самое близкое к Москве место на Ленинградском шоссе, до которого в декабре сорок первого года дорвались два немецких танка.

И у самых окраин Ленинграда по обеим сторонам прыгавшего по выбоинам «виллиса» тянулась земля, на которой, долго ли, коротко ли, были немцы. И хотя схожее чувство угнетенности от вида разоренной земли бывало знакомо мне и раньше, но здесь оно было каким-то особенно невыносимым. И Ленинград, в который мы наконец приехали, тоже не оборвал этого накопившегося в душе за дорогу чувства.

Да, немцы не вошли в него, потому что мы им не дали этого сделать, но они целые годы в упор пахали его бомбами и снарядами. Пахали насквозь, вдоль и поперек, и обычной на войне железной смертью, и необычной, даже на войне,— голодной. И следы всего этого были видны и сейчас. С фасадов это было как-то еще не так очевидно, а во дворах!.. Никогда не забуду чувства тоски, с которым я ходил по обезлюдевшим, полумертвым колодцам тогдашних ленинградских дворов.

Я не был в Ленинграде с весны сорок первого года. И этот город, где я родился, где до войны жила вся моя родня, где я когда-то писал свои первые стихи, очень точно отпечатался в моей памяти именно как город той последней предвоенной весны, казавшейся теперь издали, через три года, чем-то неправдоподобным.

Для тех, кто защищал город, пережил в нем блокаду — по законам относительности,— нынешний, летний Ленинград сорок четвертого года казался необыкновенно изменившимся по сравнению с тем, каким он был два года и даже всего год назад. Они в разговорах радостно обращали внимание на все, что уже удалось сделать, на все залатанные пробоины, на все вставленные стекла и все заасфальтированные пятна воронок, на все, что возвращало город к нормальной жизни. И я понимал это и радовался вместе с ними. Но эта радость все равно была щемящей, похожей на чувство, которое испытываешь, когда выживший после смертельной болезни человек, которого ты помнишь совершенно здоровым, на твоих глазах, радостно улыбаясь, шажок за шажком сам доходит от кровати до стула.

Мне говорили о том, как много людей за последнее время вернулось в город, а у меня все равно щемило сердце от его малолюдства.

Все это мои нынешние воспоминания о тогдашних чувствах. Тогда, в те дни, мне не приходило в голову записывать ничего, кроме непосредственно необходимого для корреспонденций в «Красную звезду».

Я попал на Карельский перешеек к концу второго дня наступления и пробыл там до взятия Выборга, на одиннадцатые сутки боев. Горящий, оставленный финнами Выборг был взят. В сороковом году, во время финской войны, на все это понадобилось три месяца боев с тяжелейшими жертвами, а теперь всего одиннадцать

суток со сравнительно небольшими потерями с нашей стороны.

Надо отдать должное финнам — они не переменились, остались такими же стойкими солдатами, какими были. Просто мы научились воевать. Там, где раньше по месяцу бились лбами о железную линию обороны, теперь протыкали ее одним страшным по силе ударом в каком-то одном месте и, проткнув, по профессиональному выражению военных, быстро сматывали ее направо и налево. И снова таким же ударом протыкали следующую линию и снова сматывали...

Так выглядит все это вместе взятое, все эти одиннадцать суток боев на Карельском перешейке, когда оглядываешься на них сейчас. А тогда все состояло из бесчисленных ежедневных, ежечасных подробностей, которые тоже ежечасно записывались в блокноты с тем, чтобы потом перекочевать в наспех написанные и наспех переданные то по телефону, то по телеграфу корреспонденции.

Корреспонденции эти лежат сейчас передо мной. Большая часть блокнотов — тоже.

Чтобы дать почувствовать воздух того времени, приведу некоторые записи из блокнотов, не ручаясь за их последовательность. Блокноты исписаны вдоль и поперек, дат нет, и спустя столько лет я не всегда могу вспомнить, к какому дню боев относится та или иная запись.

...Шоссе пересекает уже взятую первую полосу финской обороны. Укрепления построены давно, и это мешает их рассматривать. За три года доты заросли кустарником. Ветви оплетают бетон, делают его невидимым. Колья с колючей проволокой похожи на обрубленные стволы молодняка. Слева от Приморского шоссе гребешки окопов сливаются по цвету с бурыми дюнами. Колючая проволока двух типов: натянутая на колья и по-немецки накрученная на рогатки. Все минировано. Окопы глубокие, в рост. Окопы с карманами — убежищами. Над убежищами перекрытия из двух-трех накатов бревен.

Артиллерию средних калибров было приказано к началу наступления подтащить на прямую наводку как можно ближе к переднему краю финнов. И ее подтащили

на 120, на 100 и даже на 70 метров. Пришлось сделать настилы через трясину и тащить пушки полтора километра на руках по этим настилам. Белые ночи мешали, но помогал туман, висел над болотами почти каждую ночь до рассвета.

Кроме пушек, тоже на руках и тоже по ночам, подтащили полтора боекомплекта. Пушки под носом у финнов закатывали в заранее приготовленные блиндажи. Рядом с блиндажами делали ячейки с перекрытиями для людей и ниши для снарядов, тоже с перекрытиями. На работу ушло семь суток. Все это было так близко от финнов, что они стреляли на малейший шум, на разговор, на кашель.

После того как ударила артиллерия большой мощности и подняла впереди все дыбом, малые калибры выкатили из блиндажей и со ста метров ударили из них по проволочным заграждениям и минным полям, проделывая проходы.

...Следы работы артиллерии. Лес, которого нет. Срезан на высоте полутора-двух метров и — лежащий — похож на огромную скошенную траву. От первой до второй полосы где двадцать, где двадцать пять километров. Озера, узкие лесные дефиле...

...Вторая полоса. Недавно взятая деревня Кивеннаппа. Не та ли это самая деревня с киркой, про которую Долматовский (кажется, он) во время финской войны написал частушку:

Прощай, мама,
Прощай, папа,
Здравствуй, кирка
Кивеннаппа!

Тогда эти места долго не могли взять. Сейчас взяли почти с ходу.

...Наблюдательный пункт полка рядом с разбитым дотом. Высота господствующая; с нее видно еще три. На них, кроме укреплений полевого типа, семь больших дотов. Говорят, что эта линия срочно достраивалась вплоть до самых последних дней. Хорошо видно все кругом. Серые, не заросшие еще кустарником колпаки недавно построенных дотов, разветвленные, далеко тянущиеся траншеи. По ним бьет сейчас наша артиллерия, и в бинокль видно, как среди разрывов мечутся люди.

Маневрирование большими массами артиллерии, со-

средоточение тяжелых артиллерийских полков прорыва то на одном, то на другом участке удваивает и утраивает силу ударов. А наша противотанковая артиллерия чаще всего играет во время этих боев роль штурмовой.

Командир дивизии говорит:

— Сперва прорвал здесь линию всего одним батальоном. Потом расширил прорыв полком. Потом двинул в эту дыру еще полк, потом — всю дивизию. За шестнадцать часов непрерывного боя занял весь этот район. А теперь сматываем: мы — вправо, сосед — влево. Что взяли, еще сами не знаем. Знаем, что до полутораста орудий и много пулеметов. Некоторые даже в ящиках, нераспакованные.

...Поселок Мурило. Слева от нас — пролив Бьёрке, справа — озеро Кипиноен-Ярви. Впереди — Койвисто и Выборг. Линия Маннергейма на этом участке прорвана и уже осталась у нас позади, примерно в трех километрах.

Финские позиции после штурма выглядят страшно. Доты разбиты и разрушены не все, но прямые попадания есть по каждому. Вся земля в воронках. Колючая проволока спутана с проводами связи и закатана в клубки. Порваны кругом все провода связи, даже глубоко зарытые в землю. Там, где были блиндажи, месиво из бревен, земли и досок.

Осматриваем укрепления. Гранитные надолбы. За ними глубокий, искусно эскарпированный овраг. За ним на высотах в скошенном снарядами лесу мелкие бетонированные точки и большие бетонные доты старой линии Маннергейма. Одни восстановлены после той войны, другие нет, но сами эти громады вывороченного из земли тогда, при их подрыве, бетона тоже входили в систему обороны, были кругом обведены проволокой и заминированы. Мин много. На наших глазах взрывается трактор. Некоторые мелкие доты совсем заподлицо с землей. Пулеметы на жестких установках с постоянными секторами обстрела, которые, пока все эти доты держались, обеспечивали многослойную систему пулеметного огня.

Захвачены 210-миллиметровые орудия; их захватили, когда они двигались к фронту. Очевидно, финны тащили их для дополнительной установки в больших дотах.

В некоторых дотах все новенькое. Возьмешься за дверь — даже лак прилипает. Разбита финская кавалерийская бригада. Кавалерийская только по названию:

на самом деле — самокатчики. Велосипеды валяются целыми сотнями и, конечно, уже используются нашими бойцами.

...Мимо нас тащат артполк, чтобы огнем помочь протолкнуть вперед пехоту. До Выборга, если считать напрямую, отсюда всего 27 километров. По нас лупит тяжелая батарея финнов с Койвисто.

— Подавить! — командует начальник артиллерии.— Накрыть шкалой, чтобы ни одна сволочь там из-под бетона не вылезла!

Телефонные разговоры.

— Слушай, я — «Бор», слушай, я — «Бор»! Как, лучше или хуже слышишь меня? Я думаю, нам нельзя откладывать дела. Вам дается два часа на то, чтобы все артиллеристы заняли новые энпэ и смешали там впереди все с землей, а пехота поднялась и пошла!

Командир дивизии дает задание офицеру-разведчику точно определить по переднему краю, где залегла наша пехота и какая там дистанция до противника. Напутствует:

— Поймите, что от вас зависит не только точность обстрела, но и жизнь бойцов!

...По шоссе проходит полк самоходок.

Один из штабных офицеров наносит на карту финские батареи на острове Бьёрке для обработки их авиацией. Он сейчас пойдет к авиаторам.

— Только не фанерные им пометьте, а настоящие, настоящие! — говорит артиллерист.

Полковник Герасимов, командующий артиллерией, говорит, что второй раз берет эту линию.

— И финны не те, и мы не те. А доты по-прежнему — трудный кусок. Их не всякий тяжелый возьмет. Надо выбрать дистанцию, дальность, угол падения, знать окружность колпака...

...Бой идет непрерывно уже третьи сутки, и люди в полках спали за эти трое суток сегодня впервые.

Из окна маленького бревенчатого домика, где мы сидим, хорошо виден скалистый темный берег. На нем то и дело вспышки выстрелов финской тяжелой артиллерии. Потом наши разрывы, и снова их вспышки. Глушат их, но еще не заглушили.

Один из офицеров говорит, что финны не привыкли воевать летом. Начинается спор про финнов — те они или не те, какие были тогда. Один говорит, что совсем не те,

что были, другой — тоже участник финской войны — говорит, что те же самые, ничуть не хуже воюют, все дело не в них, а в нас. Наверно, правильно.

Около шоссе роют могилы. Попался под руки огромный рулон толстой финской, наверно, оберточной бумаги. Завертывают мертвых бойцов в эту финскую бумагу и кладут в братскую могилу.

...Генерал Лященко Николай Григорьевич вспоминает, как воевал под Гатчиной. Говорит про финнов, что вояки они, как были, так и есть храбрые. Но в этих боях выяснилось, что они исключительно чувствительны к обходам. Как проткнул, вышел им в тыл — теряются!

Не спит третьи сутки, как и все. Говорит, что все-таки требуется часок поспать, и посмеивается над своим огромным ростом.

— Разве это для меня кровать? — показывает на стоящую в домике узкую финскую койку.— Найдите мне какую-нибудь получше, я же теперь — мэр этого населенного пункта! Или, в крайнем случае, хоть табуретку под ноги приставьте!

Он подписывает донесение и так тяжело опирает на карандаш свою огромную усталую руку, что карандаш скрипит.

...Приходит моряк, офицер связи, докладывает о взаимодействии. Корабли тралят мины, идут к Койвисто и с минуты на минуту уже начнут обстрел побережья в тылу у финнов...

Еще один блокнот заполнен показаниями пленных финнов, офицеров и солдат, с которыми я несколько раз на протяжении этих дней разговаривал. У каждого свои оттенки в ответах на мои вопросы и в то же время общее для всех чувство растерянности. Что когда-нибудь все это на Карельском перешейке начнется, знали и жили в напряженном ожидании этого и в то же время не представляли себе, что все это произойдет так стремительно. Ждали чего-то похожего на сороковой год и, успокаивая себя, мерили теми, прежними мерками. Отсюда отразившаяся в ответах на мои вопросы общая для всех и с каждым днем все большая ошеломленность происходящим.

Первые четыре или пять дней моей корреспондент-

ской работы на Карельском перешейке со мною вместе, в одном «виллисе», ездил Александр Борисович Столпер, с моей помощью добившийся для этого редакционной командировки от «Красной звезды» и оказавшийся прекрасным фронтовым спутником. Он уже было уехал с киногруппой в Сталинград снимать среди сталинградских развалин «Дни и ночи», но, оставив всех остальных работать там, вернулся в Москву и потребовал от меня, чтобы я помог ему съездить куда-нибудь на фронт. Заявил, что он не может, не чувствует себя вправе снимать военную картину, хотя бы несколько дней перед этим не подышав воздухом фронта, не представив себе, что же все-таки это такое — ощущение человека, побывавшего под огнем.

Я сначала пробовал отшутиться и говорил ему, что у меня бывали поездки — и довольно длинные,— когда я так ни разу и не попадал под огонь. Взять хотя бы последнюю — на Второй Украинский фронт, ездил две недели, а под огнем не был. Но Столпер уперся и стоял на своем: пока не съезжу на фронт, не могу снимать картину!

Когда начались события на Карельском перешейке, его уже поджимали сроки работы, и он со своей, не без труда добытой командировкой от «Красной звезды» смог пробыть на Карельском перешейке, как я уже сказал, только четыре или пять первых дней.

Но в соответствии с заранее выраженным собственным желанием под огнем ему за эти четыре-пять дней побывать все-таки удалось. И несколько раз. Да и вообще там, на Карельском перешейке, было на что посмотреть, особенно человеку, впервые попавшему во фронтовую обстановку. Картины развороченной нашей артиллерией второй полосы финнов, до которой успел добраться Столпер, местами по масштабам разрушения были прямо-таки апокалипсическими.

Столпер уехал в Сталинград снимать картину, а я, довезя его обратно до Ленинграда и передав оттуда по телефону корреспонденцию под названием «Вторая полоса», вернулся на Карельский перешеек.

Братья корреспонденты после отъезда Столпера подтрунивали надо мной. Столпер был человеком штатским, знаков различия не носил, фигура у него была мощная, вид представительный, да еще вдобавок его сопровождал молодой подполковник — я. Словом, во время нашей

поездки Столпера два или три раза принимали не то за какого-то наркома, который торопится лично убедиться в результатах действия наших сверхмощных калибров, не то за какого-то академика по бетону, а меня считали сопровождающим его офицером для поручений, и соответственно этому и обращались с нами обоими. Кстати сказать, думаю, что эта тогдашняя поездка на фронт помогла Столперу сделать через много лет фильм «Живые и мертвые» — на мой взгляд, лучший из всех сделанных когда бы то ни было и кем бы то ни было по моим вещам.

В день взятия Выборга недалеко от него я встретил Всеволода Вишневского, в кустарничке около шоссе, у полевой рации. Уже не помню, что это была за рация, батальонная или полковая, и по какому поводу ее развернули около самого шоссе. Да и заметил я ее именно из-за Вишневского. Среди сгрудившихся вокруг рации связистов и офицеров в полевом обмундировании и пилотках выделялись синий морской китель и морская фуражка Вишневского. Он коротко сунул мне руку и, сидя на корточках, продолжал неотрывно записывать радиопереговоры в лежащий на колене толстый блокнот. Левую руку он держал возле уха, чтобы лучше слышать. Наверно, уже давала себя знать та тяжелая гипертония, которая вскоре после войны свела в могилу этого казавшегося здоровяком неугомонного человека.

Во время перерыва в радиосвязи случившийся здесь же наш общий товарищ фотокорреспондент «Правды» Яша Рюмкин оттащил Вишневского от рации и со словами: «Когда еще и где вас вместе снимешь! Имейте совесть»,— щелкнул нас с Вишневским рядом на пустынном в это мгновенье повороте шоссе.

Вопреки предсказанию Рюмкина нас с Вишневским потом еще много раз снимали вместе. Снимал и Рюмкин. Но это все были уже писательские заседания, где мы то и дело оказывались через одного или рядом. Тот случайный снимок на Выборгском шоссе, по правде говоря, куда дороже.

Вишневский вернулся к своей, вновь заработавшей рации, а я, проехав по шоссе, свернул на объезд и, оставив машину, прошел еще чуть дальше, где саперы делали другой, более основательный объезд вместо этого, временного. За эти десять дней я много раз сталкивался с результатами работы саперов, а с самими саперами так

ни разу толком и не удалось поговорить. Попросив разрешения у саперного капитана отвлечь двоих из его солдат от работы, я начал разговор с ними прямо тут же, стоя, положив блокнот на планшетку.

Проговорили мы всего две или три минуты. Выемку, через которую саперы делали улучшенный объезд, накрыли артиллерийским огнем финны. Налет был короткий, всего несколько снарядов, но какой-то очень уж неожиданный и поэтому убойный. Когда, перележав его, я поднялся на ноги, в выемке лежали убитые и раненые. Прямым попаданием разнесло в щепы грузовик с саперным имуществом, стоявший в самой выемке.

Один из двух саперов, с которыми я разговаривал, лежал в нескольких шагах убитый, и при этом так убитый, что лучше не глядеть в ту сторону, где он лежал. Второй, легший на землю рядом со мной, вместе со мной поднялся и стоял бледный, не отходя от меня, может быть, ожидая, не буду ли я спрашивать у него и дальше. Но спрашивать дальше у меня не хватило духу, и я пошел обратно к своему оставленному на первом объезде «виллису».

Через час или полтора после этого я был уже на улицах взятого Выборга. Он горел. Недалеко от въезда в город на углу большой улицы полыхал писчебумажный магазин. Не то в него попал снаряд, не то его рванули минами сами финны, но в памяти явственно остались расшвырянные по улице взрывом кипы бумаги и картонные папки.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

По сей день не могу простить себе, что тогда, в сорок четвертом году, вернувшись с Карельского перешейка, не поехал сразу же снова на фронт, как только началось наше наступление в Белоруссии. Оглядываясь сейчас на войну, на все ее четыре года, хорошо понимаю, как много оказалось пропущенного мною. Но по отношению к Белорусской операции осталось особенно острое чувство недовольства собой. Может быть, еще и потому, что операция началась под Оршей, Могилевом, Бобруйском, Борисовом, как раз в тех, на всю жизнь памятных местах, где для меня начиналась война.

До сих пор не понимаю себя — как мог именно тогда,

в разгар событий, просидеть целый месяц в Москве над пьесой?

Внешне вроде бы все было по закону: после нескольких поездок на фронт и десятка корреспонденций в газете сел за еще одну военную пьесу, которая, как тогда считалось, до зарезу нужна была театрам. И все-таки до сих пор стыдно, что пробыл это время в Москве. А когда много лет спустя писал в романе о нашем наступлении на Могилев, которого так и не видел своими глазами, сколько раз думал — пропади она пропадом, эта тогдашняя пьеса!

За пьесой «Так и будет» я сидел каждый день с утра до вечера, торопился быстрей ее кончить и в двадцатых числах июля, сдав пьесу в театр, на следующий день уехал на Первый Белорусский фронт. Попал на него, помнится, на третий день после взятия Люблина и поехал в войска 69-й армии генерала Колпакчи, которая выходила к Висле южнее Варшавы и захватила один из первых плацдармов на западном берегу реки.

Пробыл я там недолго, два или три дня, побывал за Вислой на плацдарме и, собрав материал для первой корреспонденции, вернулся в Люблин. Думал, написав корреспонденцию, сразу же переправить ее оттуда в Москву, а самому вернуться на Вислу.

Однако на деле вышло по-другому. Зайдя вместе с другими корреспондентами к коменданту Люблина, я услышал, что в нескольких километрах от города есть какой-то секретный лагерь смерти, и первые собранные о нем сведения носят почти неправдоподобный характер.

Хочу исправить здесь ошибку, которую сделал в одной из своих послевоенных книжек, написав там, что попал в лагерь на следующий день после освобождения Люблина. На самом деле это было на следующий день после того, как я вернулся в Люблин из 69-й армии.

Мы поехали в лагерь прямо от коменданта. «Секретный лагерь смерти» оказался тем самым Майданеком, где эсэсовцы уничтожили, по максимальным подсчетам, больше двух, а по минимальным — больше миллиона людей и об ужасах которого с тех пор написаны тысячи статей и сотни книг.

Первой статьей об этом лагере оказалась моя. То, что я увидел и услышал там в первые же часы своего пребывания, выбило у меня из памяти все, что в ней было до этого. Материал, собранный во время поездки на Вислу,

так и остался неиспользованным для корреспонденции. Я забыл все остальное и несколько дней просидел в Майданеке, по еще не остывшим следам узнавая страшные подробности лагерного быта, разговаривая с оставшимися в живых бывшими заключенными и с пойманными охранниками, и добросовестно, так что к вечеру не слушалась рука, как протоколист, записывал все, что услышал и увидел.

Я увидел своими глазами газовые камеры, печи крематория с остатками недожженных трупов, сарай с обувью, оставшейся после убитых, виселицы, банки с кристаллами газа «циклон», канцелярии, заваленные паспортами сожженных в печах людей; работал по двадцать часов в сутки и постепенно за неделю привык, отупел. Но в первый день мне казалось, что я схожу с ума.

Как я уже сказал, о Майданеке с тех пор написано так много, что мне не хочется цитировать ни других, ни себя. Моя статья о Майданеке «Лагерь уничтожения» была длинным и подробным отчетом обо всем увиденном и печаталась в «Красной звезде» несколько дней подряд. Не хочу повторять того, что стало общеизвестным. Приведу лишь несколько страничек моих первоначальных блокнотных записей. Просто для того, чтобы прочитавшие их почувствовали, как, впервые вплотную вдруг столкнувшись со всем этим, можно было действительно рехнуться! Рука водила карандашом по бумаге, а ум все еще отказывался верить в реальность того, что записываю.

...Фернихтунгслагер — лагерь уничтожения...

Официально назывался — Люблинский концентрационный лагерь войск СС...

На первоначальной карте строительства было написано: «Лагерь Дахау № 2». Потом это название исчезло...

Первые две тысячи евреев из люблинского гетто пригнаны на строительство лагеря осенью сорок первого года...

Декабрь 41-го. Прибыло 700 поляков из Люблинского замка и 400 польских крестьян, не сдавших немцам налогов...

Апрель 42-го. Транспорт 12 тысяч человек из Словакии — евреи и политзаключенные.

Летом 42-го. Еще 18 тысяч из Словакии и Чехии.

Июль 42-го. 1500 поляков, обвиненных в партизанских действиях.

Август 42-го. Большая партия политзаключенных из Германии.

Декабрь 42-го. Из Освенцима, под Краковом, привезено несколько тысяч евреев и греков.

17 января 43-го. 1900 поляков, из них 400 женщин из Варшавы.

2 февраля 43-го. 950 поляков из Львова.

4 февраля 43-го. 4 тысячи поляков и украинцев из Тарнополя.

Май 43-го. Прибыло 60 тысяч из варшавского гетто.

Лето и осень 43-го. Транспорты, каждый не меньше тысячи человек, интервал — два-три дня, из германских лагерей — Заксенхаузен, Дахау, Флёссенбург, Бухенвальд...

...Канцелярия лагеря. Пол завален документами убитых всех национальностей. Выписываю документы, найденные за десять минут,— время заметил по часам.

Паспорт — Дусевич Софья Яковлевна. Село Константиновка Киевской области, украинка, 1917 г. р.

Документ со штампом «Республик Франсез» — Эжен Дюраме, француз, металлист, родился в Гавре 22.IX. 1888.

Рало Жунич, мусульманского вероисповедания, свидетельство выдано в 1937 году народной школой Баня-Лука.

Какой-то китайский документ с фотографией и иероглифами, которых не могу прочесть.

Хорватский паспорт — Етеранович, родился в Загребе, получил паспорт 2 января 41-го года.

Якоб Боргардт — родился в Роттердаме 10 ноября 1918 года.

Эдуард Альфред Сака — родился в Милане, Виа Плимо, дом № 29, в 1914 году, рост 175, телосложение плотное, особых примет нет.

Саваранти — грек с острова Крит, удостоверение № 8544.

Паспорт — Фердинанд Лотманн, инженер из Берлина, родился 19 августа 1872 года.

Рабочая книжка со штампом «Генерал-губернемент» выдана Зигмунду Ремаку, поляк, рабочий, родился 20 марта 1924 года, Краков.

Все это — за десять минут. На полу одной комнаты — бумажный могильный холм всей Европы.

...Бараки охраны. Аккуратные палисадники, кресла и скамейки, сбитые из березовых жердей.

Зольдатенхейм — небольшой барак, публичный дом для охраны. Женщины только из заключенных. При обнаружении беременности уничтожались.

...Дезинфекционная камера, в которой газовали «циклоном». Пол, потолок, стены — бетон. Квадратная, 6 на 6 метров, 2 метра в высоту. Стальная герметическая дверь, единственная. Кроме нее, три отверстия: два для труб, одно — глазок. В глазке толстое стекло, забранное стальной решеткой. Соседняя малая бетонная камера, из нее через глазок видна внутренность первой. На полу камеры круглые, герметически закупоренные банки с надписью «циклон», под ней «Для специального использования в восточных областях».

Голых людей ставили в большой камере вплотную друг к другу — в среднем 250 человек. Заперев за ними стальную дверь, обмазывали ее края глиной — для герметики. Через выходившие в камеру трубы команда в противогазах засыпала из коробок «циклон». После засыпки «циклона» и герметизации труб дежурный эсэсовец в глазок наблюдал за действием.

Разные показания о времени удушения — от двух до десяти минут.

Глазок — на уровне лиц стоящих в камере людей. Камера набивалась так, что мертвые не падали, продолжали стоять.

...Крематорий. Посреди пустого поля высокая четырехугольная каменная труба. К ней примыкает длинный низкий кирпичный прямоугольник. Рядом остатки второго кирпичного здания. Его немцы успели поджечь.

Трупный запах, запах горелого мяса — все вместе. Полусожженные остатки одежды последней партии погибших. В стену соседнего помещения вмазано несколько труб. Говорят, что, когда основная газовая камера не успевала справляться, часть людей газовали прямо здесь, около крематория. Третий отсек. Весь пол завален полуистлевшими скелетами, черепами, костями. Месиво костей с обрывками полусгоревшего мяса.

Крематорий сложен из кирпича высокой огнеупорности — из динаса. Пять больших топок. Герметические чугунные двери. В топках истлевшие позвонки и пепел. Перед печами полусгоревшие во время пожара скелеты. Против трех топок — скелеты мужчин и женщин, про-

тив двух — скелеты детей, лет 10—12. В каждую топку закладывали по шесть трупов. Если шестой не влезал, команда крематория обрубала не влезавшую часть тела.

Расчетная скорость — 45 минут на сожжение партии трупов — за счет повышения температуры была доведена до 25 минут. Крематорий работал, как доменная печь, без остановки, сжигал в среднем 1400 трупов в сутки.

...Барак с обувью. Длина 70 шагов, ширина 40, набит обувью мертвых. Обувь до потолка. Под ее тяжестью вывалилась даже часть стены. Не знаю, сколько ее, может быть, миллион, может быть, больше. Самое страшное — десятки тысяч пар детской обуви. Сандалии, туфельки, ботиночки с десятилетних, с годовалых...

...Режим лагерей. Мучили бессонницей, до десяти вечера не пускали после работы в бараки. Если кто-то умер на работе и его не сразу нашли, пока ищут, все остальные ждут на морозе, иногда до часу ночи. Утром поднимали на мороз в четыре утра и держали до семи, до выхода на работу. Пока стоят, десяток умирает.

...С осени 42-го года военнопленных не допускали к работам. Получая уменьшенный паек, умирали еще быстрей заключенных. На утреннюю поверку выносили из бараков и мертвых. Многих проводили через лагерь прямо в крематорий.

...Вырывание золотых зубов по дороге в крематорий.

...Из кузова автомобиля текла кровь.

...На огородах кровавая капуста и картошка, ничего не пропадает.

...В бараке портативная виселица с блоком.

...Он бил заключенных и вырывал у них золотые зубы. Это на очной ставке показали поляки. Вырывал и зубы с дуплами в поисках бриллиантов.

Теодор Шолен.

...Имела бешенство матки. Била женщин хлыстом по соскам и половым органам, через пять минут на полу лужа крови. Получила Железный крест.

Лагер.

Последние две записи относятся персонально к двум эсэсовцам-охранникам, которых успели поймать и с которыми я говорил там, в лагере. Фамилию мужчины я записал, фамилию женщины-надзирательницы, очевидно, нет. Если только стоящее у меня в блокноте слово «Лагер», написанное с большой буквы, не ее, наспех записанная тогда фамилия. Может быть, и так...

Даже теперь не могу набраться хладнокровия, разбирая эти записи в блокнотах. Привожу только часть их, дающую представление о том целом, которое называлось — Майданек. Когда я писал о нем в сорок четвертом году в «Красную звезду», я считал, что факты сильнее эмоций, и, составляя свой мрачный отчет, стремился к наивозможно большей точности.

Однако в одном случае меня обманули свидетельства очевидцев, и я рассказал с их слов о гибели в Майданеке бывшего премьер-министра Франции Леона Блюма. Впоследствии оказалось, что это неправда. Леон Блюм никогда не был в Майданеке и не погиб, а успел еще раз после войны побывать премьер-министром Франции.

В 1964 году я упомянул в печати об этой своей, двадцатилетней давности ошибке с мнимой смертью Леона Блюма и получил неожиданный отклик — письмо из Берлина с приложенной к нему фотокопией какого-то документа...

Хочу привести здесь и то и другое в переводе на русский язык, без всяких ненужных в данном случае примечаний:

Берлин, 19 марта 1964 г.

Уважаемый товарищ Симонов!

В номере 10 газеты «Новое время» я прочел Ваше «опровержение» присутствия Леона Блюма в Майданеке. Я не знаю, известно ли Вам о том, что Леон Блюм действительно был нацистами заключен временно в концентрационный лагерь, а именно в Бухенвальд. Там, кроме собственно концентрационного лагеря, имелось несколько каменных бараков для так называемых почетных заключенных. Там сидели, между прочим, Рудольф Бретшейд и его супруга (он был легко ранен во время бомбардировки в августе 1944 года, а затем в Шплиттерграбене расстрелян эсэсовцами), принцесса Мафалда Гессенская (она также была казнена) и Леон Блюм. Он был не то в конце 1944, не то в начале 1945 года отпущен — точной даты установить до сих пор не удалось.

Среди документов эсэсовцев мы нашли (я также был пленником в Бухенвальде и участвовал в нелегальной партийной группе) прилагаемое письмо, которое посы-

лаю Вам в фотокопии. Письмо это характерно для манеры держать себя людей, подобных Блюму, и, возможно, представит и для Вас интерес.

С социалистическим приветом
профессор Стефан Хейманн.

10.VII.1944 г.

Глубокоуважаемый господин Оберштурмфюрер!

Я вынужден был отложить на несколько дней свой визит к зубному врачу, так как у меня начался новый приступ фурункулов и экземы, от которых я очень измучился. Но сейчас это будет абсолютно необходимо. Я был бы Вам очень благодарен, если бы Вы соизволили уведомить зубного врача, и я позволяю себе напомнить Вам о том, как бы полезно было, если бы Иоахим смог бы сопровождать нас в качестве переводчика.

Прошу Вас, господин Оберштурмфюрер, принять уверения в моих искренних приветах —

Леон Блюм.

Дата письма настоящего Леона Блюма почти совпадает с тем временем, когда я записывал в Майданеке рассказ о мнимом Леоне Блюме. До сих пор не знаю, почему там, в Майданеке, какому-то старику понадобилось рассказывать о себе, что он Леон Блюм. Может быть, он надеялся таким образом привлечь к себе внимание и хоть временно спастись. А может быть, простонапросто сошел с ума. В Майданеке сходили с ума многие. Этот эпизод характерен для атмосферы Майданека, и мне хочется в первозданном виде привести здесь запись, которую я сделал тогда в блокноте со слов людей, видевших не Леона Блюма, а просто-напросто какого-то другого, глубоко несчастного старика.

...Это было на складе строительных материалов. Знакомые евреи говорят: «Знаете, кто это ходит? Это Леон Блюм». Смотрю на него. Старый, сгорбленный, носит доски, ногти сорваны с пальцев.

— Вы Блюм?

— Да.

— Как вы сюда попали?

— Вместе со всеми.

— А почему вы не спаслись?

— Я решил разделить судьбу своего народа.

Он был уже очень слаб. Прибыл с партией французов, имел звезду желто-красную с буквой Ф в центре и номер под звездой. Страшно изможденный, сгорбленный. Доски тяжелые, вырываются из рук, пальцы все в крови.

Я ему отдал свою еду и сказал, чтобы он спрятал. чтобы мне не попало самому, но он тотчас зашел за доски и жадно, дрожа, ел. Одет был в арестантскую одежду, все на нем висело. Было это в апреле 1943 года. Он был совершенно седой, с лысиной, видной даже из-под тюремной шапки. Плакал. На вид лет семьдесят. Правая рука висела как бы парализованная, он брал доски, перегибаясь на одну сторону. Перенося доски, он два раза при мне падал, но его поднимали. Дня три я его не видел, а через неделю, когда спросил о нем у того же еврея, он говорит: «Там, где и я скоро буду». Где? Он показал пальцем на небо...

Запись, которую я сейчас привел, говорит еще об одной страшной стороне Майданека. Ужас его заключался не только в виселицах, смертях на проволоке под током высокого напряжения, не только в газовых камерах и крематориях, а в самой безвыходности существования попадавших туда людей. Заведомая обреченность, голодный и страшный быт многих доводили до такого бескрайнего отчаяния, когда смерть начинала казаться избавлением.

Об этом страшном быте лагеря мне тогда, в конце июля — начале августа 1944 года, рассказывал там же на месте, в бараке, отведенном под лагерный лазарет, советский военврач Сурен Барутчев.

Жена его получила в 1943 году похоронную. «Ваш муж майор медицинской службы Сурен Константинович Барутчев погиб смертью храбрых и похоронен в селе Морозовка...»

Но Барутчев на самом деле не погиб и не был похоронен, а попал в плен к немцам и был отправлен сначала в Оршу, потом в Майданек.

Там в нечеловеческих условиях он все-таки старался помогать попадавшим в лагерный лазарет заключенным и некоторым из них спас жизнь.

Рассказы этого уже немолодого человека, который в

свои сорок пять лет и сам выглядел так, что краше в гроб кладут, о повседневных ужасах лагерного быта произвели на меня такое сильное впечатление, что я посоветовал ему при первой возможности самому написать об этом. И он написал. После освобождения из лагеря ему дали отпуск по болезни, и он, попав в Москву, использовал отпуск, чтобы продиктовать воспоминания.

В этом со свойственными ей бескорыстием и отзывчивостью помогла ему старейшая у нас в «Красной звезде» стенографистка, ныне покойная Муза Николаевна Кузько.

Сделав эту работу, которую он считал своим долгом, Барутчев уехал на фронт и довоевал войну тем же, кем начинал,— военврачом. Три года назад я с чувством глубокого уважения к нему прочел отрывки из этих воспоминаний Барутчева, опубликованные в восьмой книге альманаха «Прометей». Даже спустя столько лет читать это все равно страшно. Трудно представить себе, что все это действительно происходило в той реально существующей на географической карте точке, которая называется Майданек и находится неподалеку от Люблина.

Добавлю, что это было трудно представить себе и тогда, во время войны. Хочу рассказать как свидетель: вскоре после освобождения лагеря несколько тысяч немецких солдат-фронтовиков, взятых нами в плен в боях под Люблином, были по приказу нашего командования проведены через весь Майданек, через все его объекты. Цель была одна — дать им возможность самим убедиться в том, что здесь делали эсэсовцы. Присутствуя при этом и видя лица солдат, я понял, что они до этого не представляли себе, что *такое* может быть. Во всяком случае, могу сказать это о большинстве солдат.

И тем не менее все это было...

Двенадцатого августа в «Красной звезде» была напечатана моя последняя, третья, корреспонденция о Майданеке. Помнится, на той же неделе в ВОКСе состоялась встреча нескольких писателей-фронтовиков с аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами. Вступительное слово на этой встрече поручили сделать мне.

Аудитория была далеко не простая, в ней были люди, относившиеся к нам вполне сочувственно, и люди, настроенные весьма критически. А кроме того, все они по ряду причин ездили на фронт гораздо реже, чем от них требовали редакции и чем бы им хотелось самим, во всяком случае, большинству из них.

Мы, как их коллеги по профессии, находились в куда более благоприятном положении, и они, конечно, сердились и иронизировали по этому поводу. Все это вместе взятое делало разговор довольно острым и сложным. Я волновался и написал свое вступительное слово заранее.

Судя по лежащему передо мной сейчас тексту этого вступительного слова, мне было поручено рассказать главным образом о тех писателях-прозаиках, которые во время войны стали военными корреспондентами центральных газет. Об их работе на газетную полосу...

Но все-таки я был еще и поэтом, и в конце выступления меня прорвало, я заговорил о стихах Ольги Берггольц, Леонида Первомайского и Аркадия Кулешова — «поэтов, перенесших на своих плечах всю тяжесть войны и поэтому никогда не унижающих себя до лжи».

И закончил Твардовским:

«...Мне бы хотелось назвать, на мой личный взгляд, пожалуй, самое серьезное и интересное произведение, созданное за время войны,— большую поэму Александра Твардовского «Василий Теркин». Это поэма о солдате, о его жизни, о его военных буднях, о его радостях и печалях. Я думаю, что люди, которые провоевали эту войну, которым приходилось бывать в окопах с солдатами, не хуже своих будущих потомков знают, что такое правда о войне и что такое неправда о ней. Поэма Твардовского, помимо того, что это хорошие, чистые, превосходные стихи, это прежде всего большая человеческая неприкрашенная правда о войне. Это вещь, которая останется надолго. Я убежден в этом именно потому, что она — правда о войне. А правда, написанная о войне, останется жить, когда бы она ни была написана, сейчас или через пятнадцать лет. В то время как ложь, написанная о войне, умрет, тоже независимо от того, когда она написана, сейчас или через столетие...»

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Двадцатого августа я вылетел на Второй Украинский фронт, начавший Ясско-Кишиневскую операцию. К нашей досаде, летели два дня. Уже не помню, то ли не было погоды, то ли не давали дальнейшего вылета по недостатку светлого времени, но где-то в дороге сидели и ночевали. А потом, когда добрались до фронта, догоняли ушедшие вперед войска на добытой — тоже не сразу, а с потерей целого дня — машине.

Сохранившиеся дневниковые записи начинаются с Фокшан, с того момента, когда догнали войска.

...Дорога от Ясс через Тыргу-Фрумос на Фокшаны — пыльная, разбитая и хотя широкая, но местами проехать трудно. То тут, то там петляем на «виллисе» между разбитых немецких машин, повозок, раздавленных лошадей, трупов. Судя по этим следам, танкисты не только расстреливали, но и просто давили немецкие колонны. Особенно много всего навалено перед Фокшанами. Здесь узкая равнина, с двух сторон горы. Это называется Фокшанские ворота, и немцы пытались здесь задержаться. Перед Фокшанами, справа от дороги, высокий памятник из серого гранита румынским солдатам и офицерам, погибшим в первую мировую войну. Гранитный постамент, на нем старые полевые орудия.

Открываем скрипучие кованые двери, спускаемся внутрь. Холодно. На стенах выбиты тысячи фамилий, в нишах каски и винтовки устарелого образца. Снимаем фуражки. Эти не виноваты в том, что делала их страна в нынешнюю войну.

Въезжаем в Фокшаны и наконец нагоняем танкистов. Войдя в прорыв, они двигались почти безостановочно. Фокшаны взяты несколько часов назад. Горят окраины, догорают машины на улицах. А про наши передовые части говорят, что они уже прорвались сейчас до Рымникула — не то сорок, не то пятьдесят километров отсюда. По дороге в несколько рядов идут наши машины и танки, грузовики с автоматчиками, зенитные установки, артиллерия, цистерны, санитарные летучки, опять танки. Такого грохота и такой пыли еще никогда в жизни не слышал и не видел. Пыль стоит сплошной

дымной стеной. Чтобы не врезаться в кого-нибудь, зажигаем фары...

...Останавливаемся переночевать в деревне Голенашки. Старик румын угощает нас в своей хате брынзой, мамалыгой и вином. Как только рассвело, едем дальше.

Не доезжая до Рымникула, слева от дороги на путях стоит длинный состав. Вагоны, цистерны и платформы с новенькими танками. Шоферам нужны цистерны, фотокорреспондентам — танки. Подъезжаем и только в пятидесяти метрах видим, что танки сделаны из досок и фанеры и хорошо закамуфлированы. Должно быть, немцы гнали эти макеты куда-то на фронт, чтобы наша авиация била по ложным целям. В цистернах бензин. Машины одна за другой свертывают с дороги. На цистерне наш старшина; двое солдат-румын помогают ему черпать из цистерны бензин ведром на длинной веревке. Из-за ведер все это вдруг похоже на водопой.

Опять едем по шоссе между обломками немецких машин и обозов и въезжаем в Рымникул. Городок такой чистенький и беленький, что не потемнел даже от сегодняшней пыли. Танкисты ворвались в него так быстро, что немцы не успели ничего наковырять. Думали застать здесь командира танкового корпуса, но снова не застали. Говорят, что он проскочил дальше, в сторону Бузеу. Там под городом идет бой.

Выезжаем из Рымникула и вдруг — как палкой по голове. Такое чувство, что я опять попал в Майданек. У дороги стоят такие же серо-зеленые, как там, бараки за колючей проволокой. Не так много, как там, но точно такие же, по тому же немецкому стандарту. Выясняем, что здесь был немецкий лагерь для наших военнопленных.

Чем дальше едем, тем слышнее впереди артиллерийская стрельба. Шоссе опять забито сотнями немецких машин. Есть сожженные, есть разбитые, но чаще исправные. Много легковых машин и штабных автобусов — наверно, здесь был перехвачен штаб немецкой дивизии, а может, и корпуса. Все это было меньше часа назад. Некоторые машины еще полыхают вовсю. А немецкая бензиновозка целехонька, и шоферы качают из нее бензин в запасные бачки — на всякий случай; баки машин залиты по пробку еще там, у эшелона.

Странный, нелепый, даже непонятный в первую секунду крик гусей из накрытой брезентом брошенной не-

мецкой машины. Открываем брезент. Нелепо и страшно. В машине немец, наверно, какой-нибудь обозник или повар, мертвый, убитый осколком сквозь брезент. По мертвому телу взад-вперед мечутся ошалевшие гуси и поросята.

Обгоняем несколько танков и подъезжаем к реке. На дороге такая пыль, что снова едем с зажженными фарами. У всех на лицах такой толстый черный слой пыли, что на них можно писать пальцем, как на запылившемся рояле.

Прорывающиеся немцы дерутся отчаянно, и мы тоже их бьем беспощадно. Перед рекой Бузеу опять кровавая каша. Наши танки раздавили перед мостом немецкую колонну и проскочили на мост, не дав взорвать его. Сейчас на той стороне, за мостом, рвется брошенная немецкая колонна грузовиков с боеприпасами. Какая-то немецкая зенитка выскочила с той стороны на прямую наводку, несколькими снарядами зажгла колонну своих брошенных машин с боеприпасами, и теперь впереди сплошная стена взрывов и огня.

Часть танков идет вдоль реки, ищет переправу, потому что мост временно непроезжий. Едем вслед за ними. Надеемся найти где-нибудь здесь командира корпуса — кто-то сказал, что он еще на этой стороне реки. Начинаем его искать в толкучке у переправы, но не находим. В городе еще бой, но говорят, что генерал перебрался через реку и сейчас там, в Бузеу. Переправляемся через три рукава сильно пересохшей реки. Такая жара, что хоть слезай с машины и ложись в воду. Жаль, что нет времени. Лучше всего «студебеккерам» — они идут через рукава, как амфибии. Наши зисовские трехтонки тоже перелезают. У нас выходит похуже, но в конце концов тоже перебираемся. Останавливаемся на том берегу в рощице перед самым Бузеу. Бой за город идет уже несколько часов.

Отсюда, от Бузеу, две магистрали — и на Плоешти и на Бухарест. Неудивительно, что немцы дерутся до последнего.

...Бузеу. У городка странный вид, как будто на одних улицах есть война, а на других нет. На одних улицах жители глядят из ворот, из подъездов и кто-то даже открыл витрину магазина. А на других улицах еще

автоматная трескотня, окровавленный булыжник, на нем убитые, а рядом брошенные пушки. Проскакиваем через город на южную окраину, куда уже перебрался командир танкового корпуса. В разных местах города в домах и подвалах еще идут стычки с немцами. Но большая часть танков, прорвавшихся через город, уже оседлала за его окраинами и дорогу на Бухарест, и дорогу на Плоешти.

Застаем командира корпуса генерала Савельева во дворе у предпоследнего дома на выезде из города. На случай неожиданностей вокруг стоят несколько броневиков и танков. Сзади то слабей, то сильней, но беспрерывно идет автоматная трескотня. Спрашиваем генерала про Бузеу и про эту трескотню, но он не хочет разговаривать об этом, Бузеу ему неинтересен, он считет, что все это уже позади. Озабочен предстоящим движением вперед, на Плоешти, захватом аэродрома, который здесь, недалеко от Бузеу, и, говорят, большой. А самое главное — заправкой танков горючим. Предстоит бросок на Плоешти; до начала его, на подготовку — считанные часы, а танки только выходят из боя и начинают заправляться.

Впрочем, несмотря на спешку, в штабе у танкистов все делается довольно спокойно, без суеты. Именно здесь, на этой остановке, больше, чем где-нибудь по дороге, чувствую стремительность движения армии. В том, что штаб корпуса сразу же вслед за танками проскочил вперед, через еще не очищенный город, главное не смелость, хотя есть и она, а военная необходимость: быть со своими танками и не отрываться от них. Штаб весь на колесах, может сняться за какие-нибудь десять минут.

Из дома во двор вытащено несколько столов, за ними работают оперативники. Такое чувство, что всем инстинктивно не хочется заходить куда-нибудь под крышу: под крышу — это надолго. А хотят ненадолго. Остановились — и дальше. И в этом ощущение быстроты движения. В двадцати шагах у забора лежат трупы убитых здесь же, во дворе, немецких автоматчиков. Командир мотострелкового полка полковник Осадчий докладывает генералу о мерах, которые он принимает для окончательного очищения Бузеу от немцев.

Во двор заходят и заезжают для докладов генералу. Подполковник с щегольски закрученными черными уса-

ми докладывает, что его танки захватили на аэродроме под Бузеу тридцать шесть немецких самолетов, часть разбили огнем, пока захватывали аэродром, а часть цела.

— Те самые,— вдруг подмигивает подполковник.

— Какие те самые?

— А что вчера и позавчера нас по дороге сюда тревожили. Пленные показывают, что те самые.

Подполковник захватил там, на аэродроме, около трехсот пленных немцев и, проскочив через аэродром на железную дорогу, отбил эшелон, в котором две тысячи человек, угнанных немцами из Бессарабии. Немцы забрали их на окопные работы, а сейчас, должно быть, хотели угнать еще дальше, в Трансильванию.

Из докладов проясняется общая картина боев за Бузеу. Немцы старались удержать узел, чтобы протащить через него свои прорывающиеся на запад колонны. Но, смяв и артиллерийские и танковые заслоны немцев, наши танки дорвались до самых колонн, иногда на марше... А в общем, в Бузеу и вокруг него, по первым подсчетам, убито от трех до четырех тысяч немцев. То, что происходит сегодня здесь, часть общей картины. После Ясского прорыва наши войска спускаются вниз по карте Румынии, по основным дорогам, идущим с севера на юг и юго-запад. Немцы, сбитые с этих дорог и зажатые между ними, видят свое спасение в том, чтобы добраться до отрогов Карпат и через горы, через Трансильванию уйти в Венгрию. И чем мы дальше прорываемся, тем больше таких перекрестных боев: мы вниз — на юг, а немцы — поперек нашему движению — на запад. Тут и начинаются их трагедии, одна из которых только что разыгралась в Бузеу.

Там, где на таких перекрестках немцы оказываются сильней, они сметают все живое. Особенно достается обозам. Там, где немцев перехватывают, начинается их беспощадное уничтожение.

Немецкие колонны не так слабы, иногда имеют по пять, по десять и по пятнадцать танков. Среди них «тигры» и «пантеры». Кроме того, тянут с собой остатки артиллерии. Больше всего у них уцелело зениток, из которых они бьют по танкам.

Сегодня вокруг Бузеу дрались против наших танков два полка зенитной артиллерии и наделали нам довольно много бед. Пока разговариваем об этом, в штаб приводят командира той самой немецкой зенитной дивизии,

полки которой только что дрались здесь. Его взяли в плен пятнадцать минут назад здесь же, в Бузеу, на аэродроме, куда он сел на своем «аисте».

Немолодой человек, запыхавшийся от быстрой ходьбы, полковничий погон пришит прямо на заправленную в бриджи рубашку. Растерян, но держится с солдатским достоинством. Ганс Симон, в армии с 1914 года, командир отдельной зенитной дивизии. Выясняется, что прилетел уточнить обстановку. Не имел связи с двумя своими зенитными полками и беспокоился о них. Не предполагал, что мы уже успели форсировать реку. Расстроенный вид человека, несправедливо попавшего в нелепую историю.

Понять его можно: самому прилететь в плен — история и правда нелепая. И все же она лишь частное следствие того безвыходного общего положения, в которое мы поставили здесь немцев.

Вспоминаю по контрасту первые дни войны и того, первого на моей памяти, пленного немецкого летчика, который, когда его сбили под Могилевом, пошел по лесам на восток, к Смоленску, потому что в соответствии с известным ему планом немецкая армия уже должна была находиться в Смоленске. Времена меняются...

Через много лет после победы один читатель-фронтовик прислал мне письмо, в котором, вспоминая всю войну от начала до конца, удивительно кратко и точно сформулировал происходившие на ней перемены:

«Дух отступающей армии и дух наступающей армии — большая разница. Оба этих духа пришлось испытать на себе».

Немцам тоже пришлось испытать на себе и то и другое. Только в обратном порядке.

...Перед выступлением на Плоешти командиры штаба наскоро едят, пристроившись как придется, некоторые на плоских, как стол, капотах «виллисов». В городе снова вспыхивает сильная автоматная стрельба. Слышно, как бьет пушка недалеко отсюда, в самом городе. Генерал не обращает внимания, ест. Но я, не удержавшись, все-таки спрашиваю. Он нехотя отрывается от еды и объясняет мне, что в центре города в старинной

башне засели немцы. И он недавно, когда ему об этом доложили, приказал зря не терять людей, а подогнать к башне самоходку и разбить башню. Вот она и бьет.

Через пятнадцать минут стрельба кончается. Небо уже потемнело. Сзади, там, где била самоходка, пожар. Зарево — узкое, желтое — торчит в небе, как палец. Танки уже пошли к Плоешти. Штабные «виллисы» и бронетранспортеры один за другим выезжают со двора. Штаб трогается. Прощаемся и от Бузеу поворачиваем на Бухарест. Хочу догнать штаб 5-го мехкорпуса генерала Волкова. Вчера мне сказали, что это тот самый Волков, с которым я когда-то встречался под Керчью. Хочется посмотреть, какой он теперь.

Догоняем корпус в небольшой румынской деревне. Отсюда всего тридцать километров до узловой станции Урзичени — последнего крупного населенного пункта, за которым уже сам Бухарест. Танкисты спешат и, поставив свои «виллисы» на обочине дороги, отдают приказания прямо с машин. Еще пять минут, и я не застал бы их.

Подсаживаюсь в машину к генералу Волкову. Действительно, он тот самый Михаил Васильевич Волков, которого я несколько раз видел на Керченском полуострове, когда он командовал там горнострелковой дивизией. Хорошо запомнил его еще и потому, что во время вдруг вспыхнувшей паники он тогда расставил всех, кто ему попался под руку, в том числе и меня, в цепь — останавливать бегущих. Напоминаю. Он усмехается, снимает фуражку, долго устало ерошит пыльную голову и после молчания, когда я уже думаю, что он так ничего и не ответит мне, одним грубым, но уничтожающе точным словом определяет все то, с чем связана в нашей общей памяти весна сорок второго года на Керченском полуострове. И больше ничего не добавляет, считая вопрос исчерпанным.

Заниматься воспоминаниями ему и в самом деле некогда. Завтра, а может быть, и сегодня его корпус должен войти в Бухарест...

Через несколько минут оказываюсь свидетелем разговора Волкова с первым представителем румынского генерального штаба, появившимся на этой дороге в наших войсках.

В Бухаресте уже несколько дней как объявили, что румыны больше не воюют против нас и, наоборот, на-

чинают воевать против немцев, но где, что к чему, разобраться еще трудно. Во всяком случае, этот румынский старший лейтенант — пока первый, кто официально явился к танкистам. Судя по зеленому берету, он из горнострелковых войск; довольно молодой и хорошо говорит по-русски. Оказывается, с Волковым он говорит уже второй раз. Его отправили сюда, вперед, два румынских генерала — представители генштаба, а сами остались ждать в какой-то деревне около Урзичени. Наши посадили в бронетранспортер вместе с румыном своего представителя — штабного офицера, чтобы доехать до этих генералов, но по дороге туда попали под огонь. С востока на запад через шоссе прорывалась очередная немецкая колонна. Волков, оказывается, потому и остановился здесь, на шоссе, что дал приказ разгромить эту колонну впереди и ждал теперь донесений. А румынский старший лейтенант подошел к нему, потому что беспокоился за своих генералов.

И как раз в эту минуту пришло донесение, что немцы — четыре танка и несколько сот автоматчиков, сопровождавшие большой обоз,— не то уничтожены, не то разогнаны. Скорее всего и то и другое сразу.

Волков двигается дальше, и мы с ним. Вскоре натыкаемся на уже привычные за эти дни следы разбитой немецкой колонны. На шоссе трупы, раздавленные повозки. В поле, с одной стороны и с другой стороны шоссе, по два немецких танка. Наверное, шли в голове и в хвосте колонны. На ходу, да еще в такой пыли не разглядишь, но, кажется, они не сожжены, а просто подбиты и брошены.

Доезжаем до станции Урзичени. Волков проскакивает сразу дальше в город, а мы сходим с «виллисов» и идем по станционным путям вместе с полковником, которому приказано навести порядок на станции. Фамилия у полковника веселая — Шалунов. На станции, на путях, стоит несколько составов; паровозы под парами, а все пути вокруг станции, все платформы забиты тысячами румынских солдат. Почти все с оружием. Как нам объясняют, это части 3-й румынской армии, штаб которой был здесь рядом, в городе Урзичени. Толстый железнодорожник в форменной тужурке и фуражке подбегает к полковнику Шалунову докладывать. По его докладу — пути целы, а эшелоны готовы к движению. Эшелон цистерн оказывается не с нефтью, а с подсол-

нечным маслом, так что из него не заправишься, как под Рымникулом.

Четыре эшелона с румынскими солдатами прибыли сюда из Браилова. В одном эшелоне вперемежку наши военнопленные, взятые еще в начале войны и угнанные сюда на окопные работы, и бессарабцы. Командующий эшелоном румынский полковник подходит к Шалунову и растерянно спрашивает, что ему теперь делать. Шалунов говорит, чтобы всех наших военнопленных немедленно передали нам.

Одетые в румынскую форму, но безоружные бессарабцы, очевидно из трудовых батальонов, один за другим подходят и спрашивают нас по-русски, что им делать. Хотят, чтобы их взяли к нам в армию. Шалунов сперва колеблется, не знает, что им сказать, а потом говорит, чтобы двигались назад, на Бузеу, там наши корпусные тылы, там и займутся их судьбой.

По приказанию Шалунова лейтенант, командир роты автоматчиков, берет на себя обязанности коменданта станции и сразу же начинает действовать — назначает посты охраны. Подбегает запаренный телеграфист и через переводчика говорит: со станции, в двадцати километрах отсюда, передают, что к Урзичени движется двухтысячная колонна немцев. И телеграфист и переводчик растеряны, но Шалунов относится к их сообщению спокойно. Быстро пишет и отправляет на «виллисе» донесение генералу и продолжает заниматься своими делами.

Едем в город. Застаем Волкова в небольшом доме на привокзальной площади. Он ведет переговоры с представителями румынского командования дивизионным генералом Стоянеску и бригадным генералом Дима. Это те самые генералы, о которых я уже слышал. Они не стали ждать нас в той деревне, где уславливались, приехали сюда, в город.

Увидеть происходящее в этой маленькой комнатке живописцу, наверно, было бы даже интереснее, чем писателю. Румынские генералы прибыли на двух сверкающих никелем и лаком «бьюиках»; Волков — на запыленном «виллисе». Румынские генералы — как новенькие, щеголеватые, лица почти без загара; Волков — по горло в пыльном комбинезоне, не видно ни погон, ни орденов, загорелый, как кирпич. Наверно, и раньше был загорелый, но эти четыреста километров, ко-

торые только что проделал сюда, добавили кирпичного цвета.

Разговор с румынскими генералами вежливый, но твердый. Волков дает румынам для охраны несколько боевых машин и отправляет их для дальнейших переговоров в штаб армии. Заявляет им, что ему приказано воевать с немцами, а на политические переговоры с румынами он не уполномочен. Ставит румынским генералам только одно практическое требование: пусть помогут навести порядок на дороге, разгрузить от забившего ее румынского военного транспорта, повозок и солдат. Чтобы, кроме немцев, если они еще нам встретятся, до Бухареста не было никаких других помех на дороге.

Румыны уезжают с нашей охраной. Волков приказывает командиру танкового полка обеспечить разгром подходящей с востока колонны немцев, не допустив их до станции. Выпивает один за другим пять стаканов ледяной воды и едет дальше, к Бухаресту...

...Последняя ночь перед вступлением в Бухарест. Штаб корпуса остановился в деревне, около самого шоссе. Ночь теплая, танкисты не заходят в дома, спят около своих машин в рощице. Считается, что за сегодняшний день уже перебили или забрали в плен все бродившие здесь немецкие группы. Но на всякий случай танки стоят вкруговую, охраняя штаб. Кукуруза такая высокая, что еле видны их башни.

Час ночи. Волков пригласил меня к себе в палатку. Сидим вместе с ним и его начальником штаба за сбитым на скорую руку столом и не торопясь, по-московски пьем чай. Волкова клонит ко сну, но он перемогает себя. Через полчаса надо ехать к командарму — получать последние указания перед вступлением в Бухарест.

Узнав от меня, что я и другие корреспонденты постараемся сразу после вступления в Бухарест добраться до Москвы, пишет коротенькую записку, чтобы переслал там, в Москве, его жене.

Волков едет к командарму, а мы — в разведывательный батальон, остановившийся в трех километрах от городской черты.

...Немного поспав, встаем рано утром. Половина шестого. Тепло и туманно. Дорога серая, деревья пыльные. Солдаты трут броню транспортеров и бронемашин тряп-

ками и стеблями кукурузы, стараются оттереть получше. Один из водителей после этой протирки умывается. Старик крестьянин льет ему на руки и на голову воду из такого же, как у нас на Украине, глечика, старуха стоит рядом и держит в руках черный шлем танкиста так осторожно, словно он чугунный горшок — может упасть и разбиться. Машины уже вытянулись вдоль шоссе. Крестьяне тоже стоят вдоль шоссе, смотрят на танкистов.

Командир разведбата капитан Плотников на четыре года моложе меня. Когда началось наступление, ему было еще двадцать четыре. Двадцать пять стукнуло в пути. Уралец, спокойный. За двенадцать дней боев, по его подсчетам, батальон уничтожил две тысячи немцев и взял больше трех тысяч пленных. Обо всем этом и вообще о боях ночью, когда мы приехали, он рассказывал спокойно. А сейчас волнуется, ходит по шоссе вдоль колонны — все ли в ажуре? Как-никак, а в столицу иностранного государства приходится вступать первый раз в жизни. Может, не в последний, но пока в первый.

Наконец свисток и команда — по машинам. Трогаемся вместе со всеми. Последние деревенские плетни, кукуруза, подсолнухи в сажень высотой. И сразу предместье. Канареечные бензоколонки, вывески лавок и парикмахерских. Слесарная мастерская. Хозяин выскакивает на шум машин с примусом в руках.

Первый бухарестский желтый трамвай. Поворот. Машина замедляет ход. И сразу вокруг толпа. Бросают в машины букеты цветов. На первом бронетранспортере, поймав букет, крепят его к переднему щиту. Крики: «Ура! Камрад! Товарищи! Здравствуйте...» Еще один поворот, впереди длинная и широкая улица. Вот мы и в Бухаресте...

На этом заканчиваются мои записи военного времени, связанные с той поездкой. Большая часть их так или иначе вошла в мои корреспонденции. Почти дословно вошла и запись, касавшаяся командира разведывательного батальона капитана Плотникова. О дальнейшей его судьбе я долго ничего не знал, пока вдруг не получил письмо:

«...Почти двадцать лет назад, в сентябре 1944 г., на окраине гор. Бухареста вы были в 14 гв. разведыва-

тельном батальоне, которым командовал я, Плотников Д. П., в то время капитан. Прошу извинить, что отнимаю у вас время, но мне хочется коротко сообщить вам или, верней, дать ответ на ваши слова — «все-таки как-никак, а в столицу иностранного государства ему приходится вступать в первый раз в жизни. Далеко не в последний, но пока в первый».

Да, все это сбылось. За участие в освобождении Румынии батальон получил наименование гвардейского, а мне было присвоено звание майора. Батальон участвовал в боях севернее Будапешта, тем самым содействовал его взятию. Батальон первым из войск Третьего Украинского фронта в районе Кесэг перешел австро-венгерскую границу и был отмечен в приказе Верховного Главнокомандующего № 316 от 28 марта 1945 года. Батальон участвовал в уличных боях в столице Австрии г. Вена. За бои на территории Венгрии и Австрии батальон был награжден орденом Кутузова II ст. А в 4 часа утра 10 мая батальон с юга вошел в столицу Чехословакии г. Прага, а 11 мая в нас. пункте Брежнице (30 км. вост. Пльзень) встретился с союзными тогда американскими войсками.

Потом — на восток. Батальон пересек хребет Большого Хингана и первым из наземных войск вслед за воздушным десантом вошел в столицу Маньчжурии г. Мукден и получил название Мукденского. Более шестисот правительственных наград украсило грудь разведчиков батальона. Мне, как бывшему к-ру батальона, приятно вспомнить боевых товарищей и пройденный боевой путь...»

С командиром корпуса Михаилом Васильевичем Волковым мне не довелось больше ни видеться, ни состоять в переписке.

Дальнейший путь его корпуса очевиден из письма командира разведбата — путь тот же самый: сначала — до Праги, потом — до Мукдена.

Если же заглянуть назад, в то, что было до Бухареста, то это — окружение немцев под Корсунь-Шевченковом, бои за освобождение Смоленщины, Сталинградская битва...

И наконец, в личном деле генерал-лейтенанта танковых войск Волкова есть любопытная запись, свидетельствующая о том, что когда-то под Керчью именно его 77-я горнострелковая дивизия сначала прикрывала

выход из-под удара 47-й армии, а потом прикрывала переправу всех частей и неорганизованных толп с Керченского полуострова — на Таманский. И именно за эти действия полковнику Волкову было присвоено звание генерал-майора. Факт примечательный, особенно на фоне той суровой директивы Ставки, которою за провал Керченской операции и Мехлис, и Козлов, и некоторые другие в те же самые дни были сняты с должностей и понижены в званиях. Еще одно свидетельство того, что даже в самых невыгодных и драматических обстоятельствах разные люди воюют по-разному.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

В день вступления наших войск в Бухарест редакции московских газет проявили завидную оперативность. Двигаясь вместе с танкистами по улицам города на своем «виллисе», мы вдруг увидели на одной из площадей толпу народа вокруг какого-то грузовика. На грузовике стояло несколько человек: они бросали в толпу пачки газет, которые, надо сказать, жадно расхватывались.

Мы подъехали поближе и увидели знакомые лица тех, кто стоял на грузовике и разбрасывал газеты. Среди них — одного из самых близких моих товарищей по «Красной звезде», Александра Кривицкого.

Все происходившее в этот день в Бухаресте было событием такого крупного политического значения, что московские редакции решили в дополнение к своим корреспондентам, двигавшимся с войсками Второго и Третьего Украинских фронтов, послать еще несколько человек прямым самолетом из Москвы в Бухарест. Получили для этого бомбардировщик «бостон» и, кроме корреспондентов, загрузили в него рано утром свежие московские газеты за 31 августа 1944 года. Эти газеты и разбрасывали на одной из бухарестских площадей.

Задача прилетевших была за несколько часов собрать в Бухаресте первый, самый неотложный оперативный материал и этим же самолетом к ночи вернуться в Москву, чтобы материал успел попасть в завтрашний номер.

Мне, да и не только мне тоже захотелось воспользоваться этим неожиданным для нас обратным рейсом

в Москву. Так что бомбардировщик шел обратно с изрядной перегрузкой. Не в смысле веса — бомбы тяжелее корреспондентов,— а в смысле тесноты. Чрево самолета не было рассчитано на такое количество пассажиров, и мы весь обратный путь летели, буквально сидя друг у друга на голове.

В ту же ночь, приехав с аэродрома в редакцию, я продиктовал машинистке первую корреспонденцию об этих двенадцати сутках, начав ее не с начала, а с конца. С того, как капитан Плотников со своим разведывательным батальоном вступал в Бухарест.

Утром 1 сентября первая корреспонденция уже появилась в газете, вслед за ней 3 и 5 сентября были напечатаны остальные, а через неделю я снова полетел в Бухарест. Мои дальнейшие планы зависели от того, как сложатся обстоятельства. И это предстояло выяснять не в Москве, а на месте. Дело в том, что после возвращения в Москву я решил во что бы то ни стало попасть к югославским партизанам. Хотел увидеть своими глазами людей, чье мужество у нас в армии ставили очень высоко.

Я поначалу надеялся сразу же здесь, в Москве, в редакции, получить «добро» и адрес того места, откуда меня могут перебросить в Югославию. Однако все оказалось не так просто, как я думал. Идею в редакции одобрили и неофициальное «добро» дали, а как и через кого добираться к югославам, предоставили самому выяснять на месте. Ясно было одно, что нужно лететь на один из двух фронтов, приближавшихся к границам Югославии,— на Второй или на Третий Украинский.

Получив в редакции обычную командировку в действующую армию, я вылетел 13 сентября и вернулся в Москву только через два месяца, побывав за это время в Румынии, Болгарии, Югославии и Италии.

Поездка эта оставила следы в газетных корреспонденциях и рассказах, составивших впоследствии книгу «Югославская тетрадь», в моих дневниковых записях, нерегулярных, но порой довольно подробных, и во фронтовых блокнотах. Многое, однако, так и осталось не записанным. В этих случаях, восстанавливая последовательность событий, мне придется рассчитывать только на память.

Улетая из Москвы, я уже знал, что наши войска четыре дня назад вступили в Болгарию, что никаких воен-

ных действий между нами и болгарами не происходит, старое правительство свергнуто, новое объявило войну немцам, а народ радостно встречает наши войска.

Надо ли говорить, что, хотя корреспонденты «Красной звезды» на Третьем Украинском фронте уже были в Болгарии, мне все равно хотелось побывать там. И я, еще раз обдумав все в дороге — а время для этого было, летели мы до Бухареста опять целых два дня,— решил, что если в самом Бухаресте сразу не выяснится, каким образом можно попасть в Югославию, то я сначала поеду в Болгарию. А там видно будет; может, как раз оттуда и удастся перебраться к югославским партизанам. Это подсказывал взгляд на географическую карту.

В день прилета в Бухаресте ничего выяснить не удалось, а на следующий, 16 сентября, стало известно, что наши войска еще накануне вступили в Софию. И я решил немедля ехать туда. С этого и начинается первая из моих дневниковых записей.

...Удалось достать для поездки в Болгарию через наших офицеров-автомобилистов крошечный «мерседес» с водителем. Поехали в Софию двумя машинами. На одной я и Евгений Кригер, а на другой, точно такой же, полковник и лейтенант из автомобильного управления. Выехали 17-го часа в четыре дня на Джурджу, с тем чтобы переправиться там через Дунай на тот берег — в Русе.

Дорога между Бухарестом и Джурджей прекрасная, сплошная аллея, окаймленная вековыми тополями. В дороге встретили возвращавшегося с первым материалом кинооператора Кричевского, рассказавшего нам об обстановке в Софии и предупредившего, что с бензином в Болгарии неблагополучно. Выезжая из пределов благословенной в нефтяном отношении Румынии, решили запастись бензином, но это оказалось не так-то просто, пришлось поканителиться, пока залили все баки и банки.

Поужинали на маленьком суденышке, стоявшем в затоне на Дунае. Суденышко это было базой старморнача — так грозно, по-флотски именовался затащивший нас к себе младший лейтенант.

За ужином он познакомил нас с болгарским поручиком. Поручик — офицер военного времени, до войны человек гражданский, после тяжелого ранения был в от-

пуске в Русе. Когда мы заняли Румынию и, выйдя на Дунай, стояли здесь, еще не переправляясь в Болгарию, поручик каким-то образом перебрался через Дунай сюда. Он, судя по его словам, был антифашистски настроен, очевидно, имел причины бежать к нам, но оказался в несколько странном положении — не то гостя, не то пленника на этом пароходике старморнача и, волнуясь за свою дальнейшую судьбу, просил нашего автомобильного полковника передать военному министру в Софии его письмо, где объяснял мотивы своего перехода границы и просил, чтобы его вновь зачислили, как он писал, «в революционную теперь армию Болгарии».

Это был невысокий, интеллигентного вида человек с тонкими черными усиками. Он был все еще нездоров после ранения, волнуясь, все время стискивал пальцы, говорил только по-болгарски, и я убедился, что при напряженном внимании все же способен понимать большую часть того, что говорит этот первый встреченный мною в жизни болгарин. После ужина старморнач стал уговаривать нас переночевать у него на судне, а переправляться в Русе завтра с утра. И мы зря не послушались и вернулись к парому. Он только что ушел на тот берег, с которым не было телефонной связи, и, сколько мы ни ждали, обратно не пришел. Пришлось спать в машинах.

Утром, когда с болгарской стороны пришел первый паром, переправа заняла минут сорок. Русе живописно спускается к самому берегу Дуная. На окраине города развалины старинной турецкой крепости.

Переправившись, мы позавтракали в городской ресторации — высокие потолки, большие окна, деревянные столы. На стойке банки, бутылки, на стенах доморощенные картинки с шуточными надписями о пользе пьянства. Увидев на окне ресторации маринованный чеснок в больших стеклянных банках, я попросил себе этой приправы, и не ошибся. Правда, Женя Кригер потом в машине жался от меня подальше в сторону.

Как водится у корреспондентов, поспорив перед дорогой, какая из них кратчайшая и лучшая, поехали по длиннейшей и худшей. Решив по пути побывать в Плевне, свернули куда-то не туда и несколько десятков километров ехали по колдобинам. Успев привыкнуть к «виллисам», я стал бояться, как бы не развалились на части наши малолитражки. Развалиться они не развалились,

но гвоздей набрали. Пришлось вылезать и качать колеса.

Во время остановки вокруг нас собралась гурьба деревенских ребятишек, потом двое куда-то убежали, а через десять минут на дороге появился старик, несший в каждой руке по большому арбузу. Подойдя к нам, он безмолвно положил арбузы на землю, поклонился, жестом пригласил отведать их и скромно отошел в сторону, чтобы не мешать нашей трапезе.

В Плевну добрались к середине дня. Город примерно с Рязань или с Калугу, довольно красивый и весь увешанный болгарскими и советскими флагами. На улицах было без числа народу; по виду людей казалось, что все они собираются сделать что-то особенное, чрезвычайно важное, но пока еще не делают этого.

Что-нибудь понять было трудно. Как только мы останавливались, машину обступала толпа, и на каждый вопрос отвечало сразу десять человек, объясняя все хором и так подробно, что мы вообще перестали что-нибудь понимать. Потом к нам подъехала машина с двумя огромными буквами ОФ — Отечественный фронт — на стекле. Из машины выскочили три вооруженных болгарских партизана и сказали, что они сами повезут нас по городу и покажут все, что нужно. Старший из них был командиром Плевненского городского партизанского отряда.

Миновав городской парк, где стояли памятник Александру II и памятник Скобелеву, мы подъехали к собору, построенному в память героев Плевненской битвы.

Пройдя через окружавший собор чистенький скверик, вошли внутрь. И, еще не поняв, в чем дело, почувствовали что-то непривычное. Все остальное было похоже на обычную церковь, но в каждом из приделов стояли странные сооружения, нечто вроде стеклянных гробов, на три четверти засыпанных черепами и костями. Это были кости и черепа солдат, погибших при осаде Плевны. Со стен спускались старые знамена — русские, болгарские и румынские.

Мы стояли в молчании, пока нам не предложили расписаться в книге посетителей. Перед тем как расписываться, я перелистал ее. Кого только тут не было! Начиная от нашего полпреда Лаврищева и кончая Петром Струве.

После этого мы обошли собор кругом. В стены его

снаружи были вделаны огромные мраморные доски с перечислением участвовавших в осаде Плевны русских полков, с фамилиями погибших при этом офицеров и уже без фамилий, просто с числом погибших в каждом полку солдат.

В одну из стен была вделана такая же мраморная мемориальная доска с перечислением участвовавших в осаде Плевны румынских частей.

За годы войны у нас сложилось такое отношение к румынам, из-за которого, глядя на эту мемориальную доску, было странно думать, что тогда румыны воевали вместе с нами против турок, за освобождение болгар.

Когда мы тронулись из Плевны, представитель Комитета Отечественного фронта и его партизаны решили проводить нас. С ревом обогнав нас, они понеслись в сторону Софии с сумасшедшей скоростью, которую так любят люди, впервые получившие в свое распоряжение машину и еще раз радостно наслаждающиеся самим процессом езды. Остановившись километров через двадцать, они дождались нас, пожали руки, и мы поехали дальше одни...

...От Плевны до Софии дорога хорошая, но то ли виной бензин, которым мы заправились в Джурдже, то ли слабенькие моторы — лихо скатываясь по спускам, мы еле тянемся на подъемах.

Затемнения нет, едем с фарами. По сторонам от дороги уютно светятся огни. На каком-то из подъемов засыпаю и просыпаюсь только при остановке машины. Оказывается, мы стоим в маленьком горном селении. Моих спутников прельстили ярко светившиеся около самой дороги окна, и они остановились в надежде, что это какой-нибудь деревенский кабачок. Я промерз и вылез из машины, не снимая бурки. С тех пор как я вполне прозаически и уже в довольно потрепанном виде купил ее полтора года назад в Тбилиси, она мне в дорогах за все: и за одеяло, и за подушку, и за плащ-палатку, и за вторую шинель. Сам давно уже привык к ней, но здесь, в болгарской деревне, она вдруг производит неизгладимое впечатление на мальчишек, которые, несмотря на поздний час, так и шастают вокруг меня!

Предполагаемый кабачок оказывается мелочной деревенской лавочкой. Стол, две скамейки, грубый деревянный прилавок; на прилавке и за ним на полках, на виду весь наличный товар: ремни, подтяжки, десятка

два катушек, несколько носовых платков, суповая миска и разная мелочь — предметы крестьянского обихода.

Наш расторопный автомобильный полковник, пока я просыпался, уже оказался внутри лавочки и утверждает, что нам здесь что-то сообразят. Глядя на содержимое лавки, не очень представляю себе, чем нас могут накормить тут, но потом вспоминаю, что это как-никак частное предприятие, и перестаю удивляться.

Со двора притаскивают два стола, сдвигают их вместе, приставляют к ним скамейки. В этом участвуют все, кто оказался тут к нашему приходу. А народу довольно много. Судя по всему, лавчонка служит чем-то вроде деревенского клуба, куда по вечерам собираются поговорить.

Полковник напирает на то, чтобы нам дали яичницу. Он не знает, как это по-болгарски, а болгары не знают, как это по-русски. Однако после наглядных телодвижений хозяева начинают кивать головами, значит, яичница будет. Но через двадцать минут нам приносят и ставят на стол две бутылки болгарской сливовицы и шипящую жареную колбасу. Яичница так и не появляется.

Полковник, настроившись на яичницу, начинает выяснять, почему же ему кивали, обещали яичницу, а теперь не дают. И тут оказывается, что не мы первые попадаем впросак — когда болгары утвердительно кивают, тем кивком, который у других наций означает — да, у болгар это значит — нет. И наоборот, когда представители других наций поводят головами слева направо в отрицательном смысле, у болгар это имеет утвердительный смысл — да. Все без обмана: яичницы нет, потому что ее нам и не обещали. Беремся за жареную домашнюю колбасу, похожую на украинскую, только раза в три острей.

Хозяева лавочки ведут себя сдержанно и заботливо, беспокоятся только об одном — чтобы мы хорошо поели и выпили. Но через несколько минут в лавке появляется среднего роста старик с черными волосами и с большими, совершенно седыми усами. Он садится с нами и, не забывая подставлять рюмку, говорит одну за другой длинные речи. Мы не без труда понимаем, когда болгары говорят нам медленно и раздельно, да и то не все подряд. А старик говорит очень быстро и с такой горячностью, что мы не понимаем почти ни слова, но, чтобы не обидеть его, киваем.

И только потом, задним числом мне приходит в голову, что, наверно, этот старый болгарин как раз потому и горячился, что воспринимал наши утвердительные кивки не как знак согласия с его речами, а наоборот!

Круг мыслей старика, очевидно, довольно обширен, в его речи то и дело мелькают наиболее понятные для нас слова: Сталин, Рузвельт, Черчилль и разные географические названия, начиная от Сталинграда и Тобрука и кончая Плевной и Царьградом. Как я постепенно начинаю понимать, он произносит перед нами одну за другой целый ряд проникновенных политических речей, общий смысл которых, судя по всему, клонится в нашу пользу.

Активность старика чем дальше, тем больше беспокоит и сердит хозяев лавочки. Их главная забота — чтобы мы спокойно поели, а старик как раз этого и не дает делать. Не довольствуясь речами, он то и дело берет то одного, то другого из нас за портупею и трясет, стремясь что-то особенно важное объяснить каждому из нас отдельно.

Просидев в лавчонке около часа, вынимаем деньги, чтобы расплатиться, но хозяева категорически не желают их брать, сначала что-то наперебой говорят, а потом начинают кричать на нас с такой же горячностью, как старик. И мы понимаем, что, если не хотим нанести обиды, должны немедленно спрятать деньги.

Поблагодарив и сев в машины, уезжаем в темноту от этого дома с его двумя желтыми добрыми окошками. Заснув, просыпаюсь при въезде в Софию. Открываю глаза и вижу перед собой полосатую будку контрольного поста, а за нею освещенные круглыми фонарями улицы незатемненного города. Эта минута запоминается. Странно увидеть и незатемненный город, и фонари, и идущие навстречу машины с ярко горящими фарами...

...Часа два ночи. Вторая машина отстала, и мы стоим у софийской заставы, ожидая ее. Въезд в город и улица, насколько она видна отсюда,— все цело. Непривычное освещение кажется праздничным, и я еще не представляю себе, какой увижу Софию завтра, наутро. Ждем вторую машину полчаса и, не дождавшись, оставляем у караульного записку, что мы поехали в гостиницу «Болгария», которую назвал нам при встрече Кричевский.

По-настоящему город я увидел только утром, но уже

сейчас, ночью, чем ближе к центру, тем больше начинают бросаться в глаза разрушенные, обвалившиеся дома по обеим сторонам улицы.

Наконец по освещенному, но пустынному городу добираемся до гостиницы «Болгария». У нее странный вид. Фасад цел, а внутри холод и неуют. Ни портье, ни дежурных — никого. На диване у конторки спит болгарский унтер-офицер; мы расталкиваем его, и он, проснувшись, втолковывает нам на болгарском языке, что он здесь сейчас один, а гостиница разрушена, в ней нет ни воды, ни стекол в окнах, ни номеров.

Оставив Кригера и шофера в гостинице, сворачиваю за угол, в какой-то переулочек, заваленный после бомбежки кирпичами, добираюсь до здания бывшего русского посольства. Нахожу там несколько наших офицеров, которые поначалу делают таинственный вид и на мои вопросы — кто же они,— отвечают уклончиво. Судя по этому, понимаю, что попал как раз туда, куда мне нужно. Так оно и оказывается. В этом доме стоит сейчас штаб генерал-полковника Бирюзова — начальника штаба Третьего Украинского фронта, который теперь в Софии представляет и нашу армию, и наше правительство. Меня приводят к адъютанту Бирюзова, но, как выясняется, Бирюзов только что, ночью, вернулся из какой-то длинной поездки и моется. Мне объясняют, где находится начальник политуправления Третьего Украинского фронта генерал Аношин, и советуют явиться к нему. Возвращаюсь в гостиницу, беру машину и вместе с Кригером еду к Аношину.

После блужданий по незнакомому городу нахожу нужную улицу и особняк. Подождав, пока Аношин освободится, объясняю ему цель приезда, говорю, что меня интересует все, что связано с Софией, а кроме того — и это главное,— мне надо выяснить, есть ли возможность добраться отсюда, с территории Болгарии, в югославские партизанские части, действующие в пограничных районах Сербии.

Вспоминая рассказы Кричевского, спрашиваю, с кем сейчас здесь, в Болгарии, можно и с кем нельзя иметь дело. Можно ли, в частности, иметь дело с министром пропаганды, с которым уже виделись наши корреспонденты два дня назад?

Четвертый час ночи. Аношин устало слушает меня, насчет югославов пропускает мимо ушей, насчет министра пропаганды говорит, что, раз можно было встречаться

другим корреспондентам, стало быть, можно и нам, и, вызвав адъютанта, говорит ему то, что считает главным — чтобы нас пристроили в гостиницу. Потом устало и привычно говорит мне:

— Ну-с, у меня все.

Иду с адъютантом. Через пятнадцать минут он проделывает все, что положено, чтобы устроить нас в гостиницу, и в пятом часу мы снова добираемся до «Болгарии» и получаем номер на третьем этаже. В вестибюле по-прежнему сидит болгарский унтер-офицер, на площадке второго этажа — часовой, козыряющий нам и с грохотом щелкающий каблуками. На третьем этаже валяется вырванная взрывной волной дверца лифта, за ней зияет разбитая шахта. Где-то в конце коридор переходит в небытие. Стена обвалилась, и можно при желании прыгать с третьего этажа на землю.

В номере, куда мы заходим, свет горит, уборная не работает, в умывальнике идет горячая вода, стекла все до одного выбиты, раздуваемые ветром голубые занавески летают, как знамена.

Беспокоимся о своих отставших товарищах, но полковник с лейтенантом через десять минут являются к нам в номер, и мы, смертельно усталые, заваливаемся по двое на диване и на кровати и засыпаем как убитые, несмотря на свистящий в номере ветер.

Просыпаемся через три часа. Утро хорошее. Полковник и лейтенант удаляются по своим автомобильным делам, а мы с Кригером спускаемся вниз, в кафе, в надежде подхарчиться и встретить кого-нибудь из братьев-корреспондентов. В полупустом кафе меня окликает корреспондент «Фронтовой иллюстрации» Анатолий Григорьев и знакомит с военным корреспондентом ТАСС майором Суховым, худощавым, причесанным на пробор молодым человеком примерно моих лет.

За завтраком выясняется, что Константин Николаевич Сухов знает мои стихи и — что гораздо важнее — хорошо знает болгарский язык; работал в свое время пресс-атташе в нашем полпредстве и, как он шутя говорит, готов в дальнейшем быть здесь, в Болгарии, моим ангелом-хранителем. Так оно в дальнейшем, к моему удовольствию, и выходит, и мы потом еще не один день проводим вместе с этим сдержанным, умным и хорошо знающим Болгарию человеком.

Первый день проходит стремительно и незаметно.

Знакомимся с несколькими болгарскими журналистами, редакторами левых газет, потом едем в штаб одного из болгарских партизанских отрядов.

Отряд размещается в большом дворе школьного здания. Человек двести мужчин и девушек, почти все молодые, двадцати-двадцатидвухлетние, одетые кто во что, но все с ног до головы вооруженные. Чего только у них нет! И винтовки всех образцов, и немецкие автоматы, и пистолеты — у кого по одному, у кого по два,— и пулеметные ленты, и гранаты всех систем.

Не видел первых вооруженных рабочих отрядов в первые дни гражданской войны в Испании, но мне почему-то кажется, что эти молодые болгары похожи на них.

Командир обращается к партизанам с краткой речью, и отряд, довольно быстро построившись, печатая шаг, выходит на улицу — сегодня предстоит смотр партизанской бригады, в которую он входит.

Побывав в отряде, едем осматривать Софию. Днем ее улицы производят куда более тяжелое впечатление, чем ночью. После того как болгарское царское правительство объявило англичанам и американцам так называемую «принципиальную» войну, стремясь при этом внушить недовольному населению, что это объявление войны — только вынужденный немцами идеологический жест, англичане и американцы поспешили предпринять несколько бомбардировок Софии. Из них три весьма жестоких, во время которых жизнь в городе была парализована, а многие улицы превращены в руины. Другие улицы, в особенности узкие переулки, так завалены кирпичом, что по ним нет проезда, есть только протоптанные пешеходные по кирпичу тропинки; люди пробираются по развалинам вверх и вниз, с холма на холм.

Между тем общие контуры города, его широкие главные улицы и, несмотря ни на что, веселая зелень напоминают о том, каким красивым он был до этих бомбардировок.

Надо ли говорить, что на англичан и на американцев, которых сейчас, после вступления наших войск в Софию, нахлынуло сюда довольно много, болгары смотрят без особой симпатии.

Наши военные власти, очевидно не желая создавать прецедент, не очень-то пускают сюда наших журналистов, их сейчас в Софии всего пять-шесть. Но на них приходится, по крайней мере, тридцать английских и американских. Некоторые прилетели из Италии, некоторые из Румынии,

остальные главным образом из Турции. Почти весь английский и американский дипломатический корпус, находившийся в Турции, тоже срочно перекочевал сюда. Сколько среди корреспондентов действительно корреспондентов и сколько людей совершенно других профессий, не мне судить, но думаю, что последние преобладают.

К середине дня, узнав, что здесь, на софийских аэродромах, сидят наши летчики из воздушной армии генерала Судец, вспоминаю, что одной из истребительных дивизий этой армии командует мой старый друг Борис Смирнов, и еду на центральный софийский аэродром со странным для нашего слуха названием: Враждебна.

Когда-то при свидании Борис говорил мне, что его истребительная дивизия обычно садится на аэродромах или площадках поближе к нашим передовым частям, и мне кажется, что, судя по обстановке, он может находиться сейчас где-нибудь здесь, около Софии.

Приезжаю на аэродром. Он близко от города, прямо у окраины. Наш авиационный полковник, которого застаю в одном из аэродромных зданий, на вопрос о Смирнове молча подходит к окну и показывает пальцем на виднеющееся вдали здание.

— Вот видите там этот дом с колбасой.— На палке под крышей дома действительно мотается метеорологическая колбаса.— Вот там, где эта колбаса, там и Смирнов.

Через две минуты оказываюсь там, но выясняется, что это штаб одного из полков Смирнова, а сам Смирнов сейчас на другом софийском аэродроме, к западу от города, по дороге на Пирот, на так называемом Летиште Божуриште. Летиште — по-болгарски «аэродром», а летак — летчик. Связываюсь со Смирновым по телефону, но, когда приезжаю в штаб дивизии, Смирнов оказывается на летном поле. Иду туда. Радостно обнимаемся. Борис почти не переменился, только к шести прежним орденам за Испанию, Монголию и эту войну, пока мы не виделись, прибавилось еще два. А так все тот же, что и был. Несмотря на свой туберкулез, по-прежнему держится здорово, только немножко похудел.

Начинаю расспрашивать, что они тут делают. Оказывается, он сидит на этом аэродроме вместе с болгарской авиагруппой, которая находится в оперативной связи с ним как с командиром дивизии и действует вместе с его ребятами. Спрашиваю, каковы болгарские лет-

чики. Борис хвалит их, говорит, что летчики хорошие, и со своей всегдашней спокойной обстоятельностью объясняет, что это не удивительно: почти у каждого из болгарских летчиков семь-восемь лет стажа и тысячи часов налета. Болгарская авиация не понесла за эту войну никаких потерь и целиком состоит сейчас из кадровых летчиков. А что до машин, то, как и вся болгарская армия, болгарская авиация снабжена немецкой материальной частью. У бомбардировщиков на вооружении «Юнкерсы-88 и 87», а у истребителей — «Мессершмитты-109».

— Не последнего, конечно, выпуска «мессершмитты»,— усмехается Борис,— но все же машины неплохие.

— И куда же вы летаете сейчас из Софии? — спрашиваю у него.

— Мы... Как куда? В Грецию летаем, в Югославию летаем.

Выясняется, что его и болгарские истребители в последние дни занимаются штурмовкой прорывающихся на север и северо-запад — из Греции через Югославию — немецких колонн...

...Судя по моим первым здесь, в Софии, впечатлениям и разговорам, обстановка на фронте довольно сложная и запутанная. До самого выхода Болгарии из войны в Македонии и во Фракии был сосредоточен болгарский экспедиционный корпус, который не только находился там вперемежку с немецкими частями, но и действовал вместе с ними. Теперь, после объявления Болгарией войны Германии, в этих районах происходят ожесточенные стычки между болгарами и немцами. В болгарских газетах фигурируют сводки военного командования, где описываются различные боевые эпизоды, но на самом деле обстановка в первые дни складывалась и пока еще продолжает складываться не в пользу болгар, которые стараются вывести свои части, оказавшиеся среди немецких. К моменту объявления войны Германии эти болгарские части в Македонии и Фракии оказались, с оперативной точки зрения, в очень невыгодном положении.

Кстати, обстановка сложная не только в военном отношении, но и в политическом. В ней не так-то просто разобраться. Во-первых, несмотря на предельно дру-

жественное отношение болгарского населения к нам и на сформированное в Софии левое правительство, перемирие ни с американцами и англичанами, ни с нами все еще не заключено. И хотя никаких военных действий между нами и болгарами не было и не предвидится, формально Болгария все еще находится в состоянии войны с нами.

Во-вторых, в период союза Болгарии с немцами немцы отторгли от Югославии присоединенный к ней по Версальскому миру Царибродский округ, служивший вечным яблоком раздора между Болгарией и Сербией, а также отдали болгарскому царю югославскую Македонию и греческую Северную Фракию.

Таким образом, войска болгарского экспедиционного корпуса, которые сейчас, отступая, сражаются с немцами, во-первых, находились на югославской территории, во-вторых, на территории, которую болгары считали своей, а югославы своей, и, в-третьих, на территории греческой Македонии, которую в Болгарии считали Македонией, а в Греции — Грецией. Так все это запутано и пока еще не распутано...

...Борис Смирнов знакомит нас со своим начальником штаба, тоже, как и он, полковником и тоже Борисом, и мы, накоротке поговорив и взяв со Смирнова слово, что он приедет к нам с Кригером в гостиницу «Болгария» попозже вечером, уезжаем обратно в Софию.

...Идем обедать вместе с министром пропаганды Димо Казасовым, еще утром передавшим нам с Кригером это приглашение. Обед происходит в нашей же гостинице. Ресторан на втором этаже разбит при бомбардировке, и мы обедаем в подвале, в примыкающей к бару комнате, обставленной в национальном духе. Стол с пестрой скатертью, деревянные скамейки, накрытые ткаными паласами, на стенах крестьянская керамика и сосуды из высушенных тыкв.

Димо Казасов всей своей внешностью ужасно напоминает мне кого-то. Настолько, что мне хочется сказать ему, что мы где-то уже виделись. И только через несколько минут я вспоминаю где. В детстве. Потому что он, как две капли воды, похож на старого москвича, друга моих родителей, Владимира Павловича Алексеева. Точно такой же типично профессорский вид, начинаю-

щая полегоньку лысеть голова, усы, маленькая бородка, мягкий голос и мягкие движения.

Первое блюдо за обедом — традиционное болгарское: помидоры, огурцы, капуста, красный и зеленый перец, вообще всяческая зелень. Потом суп, похожий на наше кавказское хаши — много баранины и столько же чеснока. Пьем странный напиток, налитый в бутылки с этикетками «Русская водка», но нисколько ее не напоминающий.

Министр очень любезен, держится просто и приветливо, и по той округлости, с которой он говорит, мне кажется, что он, наверно, записной оратор. Даже если он произносит всего три-четыре слова, они тоже кажутся речью, очень коротенькой и очень правильно построенной.

Обед длится недолго, около часа. Сидящий с нами за обедом Сухов говорит, что если я задержусь здесь, то мне стоит съездить на юг Болгарии, посмотреть знаменитый Рильский монастырь. Министр сразу же выражает свое удовольствие по поводу этого проекта, говорит несколько слов о значении Рильского монастыря в истории Болгарии и вообще высказывается в том смысле, что чем я дольше здесь побуду, тем лучше.

Все хорошо, но мне не терпится все-таки выяснить, есть ли возможность сейчас или позже перебраться отсюда, из Софии, к югославским партизанам. Решаю про себя, что, если такая возможность маячит, останусь пока тут, а если нет, то правильней будет завтра же утром ехать обратно в Бухарест и оттуда в штаб Второго Украинского фронта, выяснять эти возможности там.

Иду из гостиницы в резиденцию генерал-полковника Бирюзова, собираюсь попросить, чтобы он меня принял, но вдруг выясняю, что в этом же доме находится член Военного совета фронта генерал-майор Лайок, с которым мы знакомы еще со времен Сталинграда. К уже знакомому по войне человеку идти со своими корреспондентскими вопросами проще, чем к незнакомому, и я иду к Лайоку.

Узнав, о чем речь, он досадливо хлопает по столу рукой — жалеет, что я не попал к нему сегодня с утра. Оказывается, вчера вечером сюда из Югославии добрался комиссар 13-го югославского партизанского корпуса и всего несколько часов назад уехал обратно вместе

с посланным туда для связи нашим подполковником Зайцевым.

— Зашли бы утром, застали бы здесь. Могли бы прямо с ним и добраться туда,— говорит Лайок. И, увидев, как я расстроен, человеколюбиво утешает, что дня через два Зайцев должен вернуться, выяснив перспективы прямой связи с партизанами, и тогда он, Лайок, поможет мне попасть туда к ним.

Сухов, которому я, вернувшись в гостиницу, рассказываю об этом, советует мне использовать свободные два дня для поездки на юг Болгарии. За двое суток мы успеем доехать до Рильского монастыря и вернуться, а по дороге увидим много интересного.

...Сидим за чашкой кофе с несколькими болгарскими журналистами и с пожилым профессором, который стал сейчас председателем Общества болгаро-советской дружбы. В былые, трудные времена работой этого общества руководил философ Тодор Павлов, коммунист, один из трех нынешних новых регентов при наследнике царского престола.

Болгары говорят, что здесь хорошо знают некоторые мои стихи военных лет, и предлагают организовать в большом, сохранившемся после бомбежек софийском кинотеатре мой литературный утренник. Не найдя в этом ничего предосудительного, в принципе соглашаюсь; договариваемся, что утренник можно будет назначить через неделю — на следующее воскресенье. Рассчитываю, что у меня два дня займет поездка на юг Болгарии, потом три-четыре дня уйдет на то, чтобы по первому разу связаться с партизанами, вернуться в Софию и передать по телеграфу первый материал. Если все будет хорошо, то к следующему воскресенью, очевидно, вернусь. На том и договариваемся. У меня берут книжку с моими стихами — хотят кое-что перевести из нее к воскресенью на болгарский язык.

И за обедом и за кофе ко мне несколько раз подходит не то метрдотель, не то директор ресторана Бартенев — русский эмигрант. Маленького роста, брюнет, довольно плотный, с обрюзгшим актерским лицом и черными волосами, кажется, крашеными. На первый взгляд, ему лет пятьдесят, на второй, более внимательный, шестьдесят. Говорит о себе как об артисте. В лучшие времена иногда содержал кабаре и был там главным исполнителем ролей и песенок. В худшие времена переходил

на роль метрдотеля. По его словам, объехал всю Европу, снимался в кино в эпизодических ролях русских эмигрантов, кончал какой-то институт гримеров в Париже. Словом, жизнь была бурной, и он охотно рассказывает обо всем, за исключением одного пункта — причин отъезда из России. К нам относится предупредительно, говорит много и быстро, расспрашивает о Москве и особенно об артисте Театра сатиры Поле, с которым они где-то вместе играли до революции. Все никак не может отцепиться от воспоминаний о Поле.

— Как там Поль?

Объясняю, что с Полем все в порядке, живет хорошо, играет в театре.

— Передайте ему привет, он меня помнит!

И через десять минут, словно забыв, что уже спрашивал, снова всплескивает руками:

— Ах! Как там Поль? Интересно, как там Поль?

Как видно, ему очень дорога эта оставшаяся у него живая ниточка связи тогдашней России с нынешней.

Допив кофе, поднимаемся в номер, где уже сидит Борис Смирнов со своим начальником штаба Борисом Калошиным и еще одним летчиком. Номер маленький — тахта, кровать, одно кресло, а нас семеро. Стелю на полу бурку, ставлю на нее несколько добытых в ресторане бутылок белого вина и единственный стакан. Высыпаем на газеты яблоки и виноград и сидим всю ночь, читая стихи и вспоминая всякое разное, начиная с Халхин-Гола.

Во время чтения, в паузах, Женя Кригер дурачится и поддразнивает Бориса, который любит мои стихи, небрежными репликами:

— Н-да, в общем, неплохо. Можно бы поярче, но для дилетанта не худо! А вам что, действительно нравится?

Среди ночи у меня возникает идея: у Бориса в дивизии есть связные У-2; не согласится ли он на одном из них перекинуть меня по дружбе на какую-нибудь подходящую для посадок точку в районе действий югославских партизан, которые, по его же собственным словам, оперируют — рукой подать отсюда?

Но Борис — вино вином, стихи стихами, а служба службой — железно, наотрез отказывает.

Смирнов со своими ребятами уезжает в пять утра, а в десять, немного поспав и выпив по чашке черного кофе, с сожалением прощаюсь с Женей Кригером. Несмотря на мои уговоры, он решает вернуться в Бухарест, где остались

машина «Известий» и его напарник по командировке фотокорреспондент Гурарий. Автомобильный полковник и лейтенант уезжают вместе с Кригером.

Едва успеваю помахать им рукой, как к гостинице подъезжают две машины из болгарского военного министерства, малолитражные «штееры», которые здесь, в Болгарии, основной тип военной штабной машины. На один садимся я и Сухов, на другой — фотокорреспондент Анатолий Григорьев и редактор новой болгарской военной газеты.

Наш шофер, болгарский унтер-офицер, худощавый парень, имеет какой-то особенно лихой и подтянутый, я бы сказал, юнкерский вид. Это сходство подчеркивается лихо сдвинутой набекрень фуражкой старого русского офицерского образца, с кокардой и маленьким козырьком. Скинув при нашем появлении шинель, шофер остается в одной выцветшей гимнастерке, и едва мы садимся в машину, как он с места набирает скорость.

Видел я всяких шоферов, но таких отчаянных, как в Болгарии, пока не видал. За Софией начинается горный район, дорога беспрерывно петляет, а наш шофер не уменьшает скорости, и на поворотах кажется, что мы без пересадки полетим в преисподнюю.

Даже при моем, в общем-то, спокойном характере я б, наверно, придержал эту езду. Но мы так мало спали в последние ночи, что после нескольких крутых поворотов меня укачивает и бросает в сон. И я через силу выдираюсь из него, только когда Костя Сухов, питающий, как и многие добрые люди, заблуждение, что поэты обязательно должны любить красоты природы, толкает меня локтем в бок и говорит:

— Константин Михалыч, посмотрите, как красиво!

Продрав глаза, я слышу скрип тормозов; мы в очередной раз выворачиваем по самой бровке, и действительно в этот момент то слева, то справа видна какая-то особенно красивая гора или ущелье.

— Да, да,— говорю я,— очень, очень красиво.— И снова засыпаю.

...Приезжаем в горную летнюю резиденцию болгарских царей. В свое время сюда после английских и американских бомбардировок уехали правительство и дипломатический корпус. Дипломаты и до сих пор живут здесь. Шведы, швейцарцы, японцы, испанцы, какое-то южноамериканское посольство — вот, кажется, и все, что сейчас представлено здесь, в Болгарии.

Узкая, поднимающаяся в гору лощина с двух сторон ограничена горами и окаймлена густым, несмотря на уже начавшуюся осень, темно-зеленым парком. Среди зелени прячутся полудеревянные-полукаменные дома с деревянной резьбой, напоминающие наши старые подмосковные дачи с затеями.

Мимо нас ковыляют по дорожке два тихих аккуратных маленьких японца. Идут, держа друг друга под руку. И мне почему-то вдруг кажется странным присутствие здесь, в Болгарии, японского посольства. Да и вообще в этом тихом месте есть что-то странное для меня, хотя не могу точно выразить, что именно.

Перекусив в ресторанчике, едем назад, до поворота на другую дорогу, которая ведет на юг, к городку Кочериново, за которым будет еще один поворот — к Рильскому монастырю.

Кочериново — городок, напоминающий большую кубанскую станицу. Хатки стоят вперемежку с полугородского и городского типа домиками; кое-где бросаются в глаза двухэтажные здания.

Вылезаем на центральной площади, и нас сразу окружают любопытствующие; выясняется, что мы первые русские, попавшие после вступления нашей армии в Болгарию сюда, в Кочериново. Идем к начальнику местного гарнизона, чтобы узнать поточней дорогу к Рильскому монастырю. Сухов года три назад ездил туда, но хочет проверить свою память.

Нас встречает пожилой черноволосый человек, одетый в похожую на матросский бушлат черную куртку, с револьвером на ремне. Рекомендуется представителем местного Отечественного фронта. Поднимаемся вместе с ним к начальнику гарнизона, командиру стоящего здесь, в Кочеринове, пехотного полка. Несколько минут сидим и ждем. Замечаю лежащие на письменном столе добротные короткие ножи с широкими лезвиями и черными длинными ручками, в которые врезаны металлические пластинки с надписью «Вера и верность».

По своему мальчишескому неравнодушию к ножам хвалю их — «Какие хорошие ножи!» — втайне надеясь, что представитель Отечественного фронта угадает мое затаенное желание. Однако он не угадывает и, объятый гражданским пафасом, говорит, что, наоборот, это не хорошие, а очень плохие ножи, что это ножи фашистской юношеской организации, которую насаждало фашистское болгар-

ское правительство и изготовляло для них вот эти, отобранные теперь ножи, на которых написано: «Вера и верность». И понравившаяся мне надпись как раз и есть самая зловредная, она — лозунг этой фашистской юношеской организации, теперь, конечно, распущенной!

Через несколько минут нас проводят в кабинет командира полка. Довольно толстый пожилой полковник с нависающим на воротник, обрюзгшим лицом встречает нас приветливо, но меня в первую секунду удивляет, почему хотя он до нашего прихода сидел здесь же, в этой комнате, он весь какой-то запыхавшийся. Только потом понимаю: пока мы ждали там, за стеной, он натягивал тут свой мундир, а до этого сидел запросто, без него. Тугой ворот мундира едва сходится у него на шее, а на груди висит большой крест, кажется, высшая офицерская военная награда за ту мировую войну.

Кроме него, в кабинете еще один офицер, тоже немолодой, сильно полысевший сорокалетний капитан, адъютант полка. Полковник поздравляет нас с приездом в Кочериново и одобряет намерение посетить Рильский монастырь; говорит, что он сам там давно не был и с удовольствием нас проводит туда, а пока можно пройтись по Кочеринову, посмотреть город.

«Пока» оказывается роковым. Пока мы ходим по приветливому Кочеринову, останавливаемся, разговариваем с окружающими нас то на одном, то на другом углу людьми, для нас готовят обед, и мы кончаем осмотр города тем, что садимся в городской школе, в столовой, за длинный стол, за которым собирается человек тридцать. Несколько почтенных городских стариков, несколько представителей Отечественного фронта, директор школы, полковник, капитан и молодые партизаны, даже здесь, за столом, не расстающиеся со своим оружием.

Нас поят местным красным сухим вином, кормят салатом, супом, вторым, и все это так от души, что приходится лишь переставлять дырки на ремне. Заспешить и подняться или признаться в том, что мы недавно уже один раз пообедали, невозможно.

После нескольких тостов, один из которых — за Россию и за Болгарию, и за их вечную дружбу,— произнес с торжественной строгостью самый старый из городских стариков, мы с Суховым — я по-русски, он по-болгарски — тоже от души говорим ответное слово, встаем и отправляемся в Рильский монастырь.

Заночевать в Кочеринове отказываемся, потому что дело к вечеру, ночевать надо в Рильском монастыре, иначе не попадем завтра обратно в Софию. А надо быть там заранее, до того, как вернется наш офицер, поехавший к югославам. Прошляпить такую возможность во второй раз будет совсем уже непростительно.

Ехать уже недалеко, километров двадцать пять, через две деревни, а потом по так называемому Рильскому ущелью до самого монастыря. Садимся в машины, мы в свои, полковник в свою.

Невольно обращаю внимание на то, что ни полковник, ни капитан, оба не имеют щеголеватого офицерского вида, оба немолодые офицеры, видимо претерпевшие на своем веку длинную гарнизонную нерадостную жизнь. Оба, как видно, люди служивые, небогатые, мундиры на обоих потертые, даже, я бы сказал, слегка поношенные. Лысый капитан, адъютант полка, несмотря на свои сорок лет, все еще капитан. И у меня, когда я гляжу на этих двух людей, вдруг возникают ассоциации с купринским «Поединком», со старой русской офицерской гарнизонной лямкой.

Кто-то уже успел мне сказать, что полк всего несколько дней назад пришел сюда, в Кочериново, пробился с арьергардными боями из Фракии, где стоял гарнизоном и где после всех происшедших с болгарами пертурбаций на него напали немцы. Но, хотя я уже знаю это, все равно, глядя на полковника и капитана, почему-то думаю об их длинной гарнизонной жизни, а не об этих последних днях...

На этом обрываются мои дневниковые записи, сделанные в Москве сразу после возвращения из поездки на Балканы и в Италию. На то, чтобы записать в дневник все, от начала до конца, не хватило тогда времени. Сначала захлестнула работа над книгой «Югославская тетрадь», а потом надвинулись новые командировки на фронт. Все дальнейшее, связанное с этой поездкой, придется восстанавливать по памяти и по черновым записям в блокнотах, правда, порою подробным.

Та дневниковая запись, которую я привел, вызывает у меня сейчас двойственное чувство. Конечно, она далека от достаточно серьезного анализа всех происходивших тогда в Болгарии событий и все же дорога мне и живыми подробностями того времени, которые — не будь ее —

ушли бы из памяти, и непосредственностью того радостного чувства, которое мы испытали при первой встрече с Болгарией. Несмотря на очевидные для меня сейчас наивные нотки в тогдашних заметках, по правде говоря, я хорошо понимаю себя тогдашнего. Позади было три с лишним года войны, и на всем протяжении их там много кровавого и трудного, что внезапное ощущение страны и народа, открывших нам навстречу свои объятья — хочу выразиться именно так, не ища других слов, потому что именно так оно и было,— принесло огромное внутреннее облегчение, оттеснив все другое. Несколько дней нами владело ощущение кончившейся войны среди войны, все еще продолжавшейся.

Последним пунктом нашей поездки на юг был Рильский монастырь. В истории Болгарии он не только место традиционного религиозного паломничества, но и одна из крепостей национального духа. Рильский монастырь с его тысячелетней историей был оплотом духовного сопротивления турецкому владычеству. И, наверное, поэтому при всем моем атеизме та радость, с которой монахи встретили нас, первых советских офицеров, появившихся в стенах монастыря, взяла меня за живое.

Вдобавок ко всему была еще тронувшая душу подробность. Один из монахов, из-за своей длинной бороды казавшийся мне совсем старым человеком, стал допытываться у меня, не знаю ли я, какое первоначальное, довоенное образование получил маршал Федор Иванович Толбухин. Не кончал ли он до военного училища Казанской духовной семинарии?

Я сначала никак не мог понять, почему это так волнует моего собеседника, но он объяснил, что в молодости был в России и кончал духовную семинарию в Казани. И в этой духовной семинарии вместе с ним учился Федор Толбухин, и по годам рождения маршала все совпадает. Они с маршалом тоже ровесники, как с этим Федором Толбухиным, отчества которого он, к сожалению, за давностью лет не помнит. Так вот, не тот ли это самый Толбухин стал теперь маршалом?

— Был он тогда семинарист дюжий, бравый и не хотел после окончания семинарии идти в духовное сословие.

Чтобы не огорчать монаха, я отвечал ему, что, конечно, все может быть, чего не бывает в жизни, кем только в свое время не становились потом семинаристы!

Но монах, не удовлетворившись моим уклончивым

ответом, вдруг исчез посреди обеда, за которым сидел рядом со мной, и, вернувшись из своей кельи, стал показывать мне наклеенную по-старинному на твердый картон с серебряными вензелями фотографического заведения карточку, на которой были сняты там, в Казани, перед выпуском человек двадцать семинаристов.

— Вот это я, а вот это Федор Толбухин,— показал он мне сначала на совершенно неузнаваемого себя, а потом рядом с собой на какого-то молодого худенького семинариста и стал спрашивать, не похож ли этот семинарист по виду на маршала Толбухина.

Вспомнив облик Федора Ивановича Толбухина, которого мне доводилось видеть на Южном фронте, его широкоплечую, плотную, мешковатую фигуру, его полное доброе и умное лицо уже далеко не молодого человека, я еле удержался от улыбки. Между ним и этим тощеньким семинаристом на стародавнем казанском снимке вряд ли было и могло быть что-нибудь общее. Но сказать этого я не сказал. Не желая огорчать монаха, уклончиво ответил, что трудно говорить о сходстве, когда столько лет прошло.

— Да, сколько лет прошло,— как эхо отозвался монах.— В самом деле, сколько лет...

И я понял по выражению его лица, что независимо от моих ответов он все равно будет разузнавать про маршала, не тот ли это казанский Федор Толбухин.

Обед в монастыре был постный и почти без горячительных напитков — только вначале по рюмочке какой-то особенной, ореховой горчивки за здравие советского воинства,— но такой долгий и сытный, особенно после двух, уже предшествовавших ему за этот день обедов, что я еле добрался до отведенной мне кельи в монастырской гостинице.

Нары в келье были с высокими закраинами, и я, сев и утонув в двойном пуховике, перенести через эту закраину ноги уже не мог. Так и заснул, подтащив себе под спину две мягкие монастырские подушки, сидя и не сняв сапог. Нисколько не хмельной, но совершенно обессилевший от заключительного монастырского постного обеда.

На следующее утро, осмотрев монастырь и побродив вокруг него по удивительно красивым местам, мы поехали обратно.

По дороге в Софию остановились в большом болгарском селе. Представителем новой власти в нем был рослый, средних лет болгарин, по виду похожий на рабочего человека. Он жал нам руки своею большой и сильной рукой так,

что пальцы трещали, но лицо у него было худое, измученное, а низ лица и шея в каких-то странных круглых черных метках, похожих на прижженные ляписом бородавки.

Когда мы поехали дальше, я сказал Сухову про эти странные бородавки.

— А это следы от электродов,— сказал Сухов,— пока ты там отвлекся, я спросил его. Он при царе в тюрьме сидел до самого девятого сентября. Когда в охранке пытали, прижигали электродами. Наверно, не только лицо и шею...

Если говорить правду, в общем-то, в сорок четвертом году все мои представления о болгарских коммунистах были связаны только с героическим обликом Димитрова на Лейпцигском процессе. Почти ничего другого я не знал.

Но Костя Сухов много знал и тогда. И, должно быть, заметив мои излишние восторги и ощутив меру стоявшего за ними незнания, на обратном пути в Софию прочел мне дружескую лекцию.

Смысл ее сводился к тому, что, не будь многолетней работы болгарских коммунистов, еще неизвестно, как складывалась бы сейчас политическая обстановка в Болгарии, несмотря на все связанные с Россией исторические воспоминания, Плевну, Шипку и памятники царю-освободителю...

Словом, он заставил меня задуматься, и я до самой Софии ехал и думал обо всем этом.

После всего, что увидел в Болгарии, было дико и невозможно даже мысленно представить себе: а вдруг все это могло выйти иначе? Вдруг при другом обороте событий после перехода нашими войсками болгарской границы здесь стреляли бы пушки, лилась кровь, лежали убитые болгарские солдаты? Вдруг немцам действительно удалось бы сделать то, чего они так давно хотели, удалось бы, хоть на несколько дней, хоть на день, втравить болгарскую армию в военные действия против нас?

Я ехал в Софию и думал об этом одновременно и как о чем-то совершенно невозможном, и как о чем-то очень страшном.

Вспоминая это свое тогдашнее чувство, думаю, что хотя оно с такой остротой охватило меня только в Болгарии, но, должно быть, накапливалось раньше, еще с первых весенних поездок в северные уезды Румынии, и особенно с дней августовского наступления от Ясс на Бухарест.

К румынам я с начала войны испытывал чувства сложные и неласковые. Когда-то, в августе сорок первого, пи-

сал из осажденной Одессы о двух одетых в военную форму румынских крестьянах — подносчиках снарядов на немецкой батарее, которые, попав к нам в плен, просили разрешения ударить из орудий по немцам.

Но я хорошо помнил, как другие румыны вошли в оставленную нами Одессу. Помнил и Керченский полуостров весны сорок второго года, где мы тогда оказались побежденными, а немцы вместе с румынами — победителями.

И все-таки в пути от Ясс до Бухареста у меня все нарастало ощущение нелепости того, что сыновья тех самых стариков, которые кладут нас спать на сенник в своей убогой хате и кормят утром крестьянской мамалыгой, гниют, убитые нами, где-то там, в давно оставшейся позади приволжской степи, под Сталинградом.

Эти уже накопившиеся к тому времени ощущения, наверно, были как бы подпочвою тех мыслей, что владели мною всю дорогу до Софии.

Мы приехали в Софию глубокой ночью, и утром я еще спал, когда за мной явился офицер из штаба Бирюзова с приказанием немедля доставить меня к генерал-полковнику. Я обрадовался, вообразив, что Бирюзову сказали о намерении корреспондента «Красной звезды» попасть к югославским партизанам и он сегодня пораньше с утра вызывает меня по этому поводу. Но оказалось, что причина срочного вызова к Бирюзову совершенно другая и крайне для меня неприятная.

Когда я открыл дверь, ходивший по кабинету Бирюзов резко повернулся ко мне. Его умное длинное лицо было в этот момент сердитым. Он был зол и не считал нужным скрывать это. Закрыв за собой дверь, я проговорил все, что полагалось в таких случаях — что корреспондент «Красной звезды» подполковник Симонов по его приказанию явился,— и с вдруг возникшей тревогой ждал, что будет дальше.

Руки мне Бирюзов не подал, но и по стойке «смирно» не поставил. Сел за стол и показал, чтоб садился напротив него. Обращался ко мне не по званию, а «товарищ Симонов», но говорил накаленно.

Оказывается, наши болгарские товарищи из Общества болгаро-советской дружбы, пока я ездил в Рильский монастырь, не помню уж, не то расклеили афишу о моем воскресном литературном утреннике, не то напечатали билеты, и это дошло до Бирюзова.

Он жестко спросил: кто мне давал разрешение на устройство публичной встречи? Я стал было объяснять, как и почему все это вышло, что предложил это не я, а мне и что, по-моему, все это может оказаться хорошим и полезным делом, но Бирюзов прервал меня, еще раз жестко повторив вопрос: кто разрешил мне эту встречу?

Пришлось ответить, что никто не разрешал.

— Так вот, я запрещаю ее вам,— сказал Бирюзов.— Ее не будет. Ясно?

Я сказал, что ясно, но как же теперь отменить ее? И, не удержавшись, спросил:

— А почему, собственно, ее нужно отменять?

— А вам это все еще непонятно? — с иронией сказал Бирюзов.

Я ответил, что нет, мне это непонятно.

— Ну хорошо, раз так, придется вам это разъяснить! — сказал Бирюзов.

Не могу, а поэтому и не буду пробовать дословно восстанавливать все, что он мне сказал. Но смысл сказанного помню.

Он начал с того, что мои ссылки на болгарских товарищей, с которыми я договаривался, неуместны, потому что мы еще и до сих пор находимся в состоянии войны с Болгарией и пока что силою обстоятельств, к сожалению, вынуждены, обращаясь к болгарам, употреблять не слово «товарищи», а слово «господа». В Софии сидят представители союзных, так же, как и мы, все еще находящихся в состоянии войны с Болгарией государств, их корреспонденты и их разведчики. Если я всего этого не понял и не заметил, это не делает мне чести. В этих условиях утренник дружбы, устраиваемый в Софии подполковником Советской Армии, пока неуместен и может дать повод для враждебных нам инсинуаций. А возможно, уже и дал. В другое время и в другом месте, если б позволила служба, он и сам бы, возможно, пришел послушать «Жди меня», но не сейчас и не здесь. А сейчас и здесь публичная встреча им запрещена.

— А как же теперь быть? — спросил я.— Как теперь это объяснить?

— А это уж ваше дело. Заявите, что вы больны.

Он встал, явно не считая нужным дальше говорить со мной на эту тему. Я тоже встал, но вместо того, чтобы попросить разрешения идти, сказал, что объявлять себя больным не могу и не буду! Вожжа попала под

хвост; притворяться я не умел, и объявлять себя больным казалось стыдным.

Мой ответ взорвал Бирюзова, и раньше злого на меня, но до сих пор сдерживавшего гнев. Он сказал, что раз так, то отмену встречи объяснит и без меня. А мне он приказывает в 24 часа покинуть Болгарию, чтобы тут и духу моего не было! И холодно добавил:

— Идите.

Я повернулся через левое плечо и вышел.

Через двадцать четыре часа, вытуренный Бирюзовым из Болгарии, я, добравшись на чьей-то попутной машине, был в Бухаресте.

Встряска была основательная; став к тому времени довольно известным писателем, я, по совести говоря, был изрядно разбалован добрым, а подчас и слишком добрым отношением к себе фронтового и армейского начальства. Но хоть я и злился на Бирюзова, но все-таки понимал, что прав он, а не я. А кроме того, этот давший мне выволочку генерал чем-то понравился мне. Наверно, будь я кадровым военным, предпочел бы служить под началом у такого вот человека, у которого да — это да, а нет — это нет.

Во всяком случае, лет через шесть после этого, когда шла война в Корее и туда вызвался ехать военным корреспондентом от «Литературной газеты» Александр Чаковский, я вспомнил о находившемся на Дальнем Востоке Сергее Семеновиче Бирюзове. Чаковский уже был в пути, а мне, как редактору, хотелось, чтобы нашему военному корреспонденту помогли там, на Дальнем Востоке, поскорее попасть в самую гущу событий, в Корею. И я позвонил Бирюзову. Начал с того, что напомнил о нашей встрече в Софии, и попросил, приняв военного корреспондента «Литературной газеты», по возможности сделать так, чтобы он через двадцать четыре часа оказался за пределами Советского Союза.

— Хорошо,— сказал Бирюзов. Было слышно, как он усмехнулся по телефону.— Раз так, сделаю.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Разговор с Бирюзовым исключал возможность обратиться к нему с просьбой о переброске в Югославию; по дороге в Бухарест я с досадой подумал об этом. Но вышло так, что, едва приехав в Бухарест, я наткнулся на

знающих людей, подсказавших мне правильный путь: если я, не теряя времени, отправлюсь отсюда в юго-западную Румынию, в город Крайову, то, наверно, найду там именно тех наших товарищей, которые мне нужны, чтобы попасть в Югославию.

Встретив в Бухаресте Евгения Кригера и уговорив его ехать вместе, я через сутки добрался до Крайовы, довольно большого и красивого провинциального города, меньше чем в ста километрах от югославской границы, если брать по прямой.

Не помню уж, на чьем «виллисе» мы добрались туда, но свои колеса у нас были, и это нам вскоре очень пригодилось.

У военного коменданта Крайовы, человека радушного и к тому же любителя стихов, мы, предъявив документы, выяснили, что какие-то представители нашей военной миссии в Югославии действительно находятся здесь, в Крайове, и получили адрес, по которому можно было их найти.

На одной из тихих зеленых улочек на окраине Крайовы мы остановились у особнячка с автоматчиком у ограды и, вызвав через него дежурного, после некоторых препирательств проникли внутрь.

Нас провели к подполковнику, оказавшемуся человеком неразговорчивым — не то по характеру, не то по долгу службы. Когда я изложил ему цель приезда и прямо спросил, есть ли возможность полететь отсюда к югославским партизанам, он ответил уклончиво, что сейчас здесь нет того, кто мог бы такой вопрос решить, но если я приеду сюда еще раз через несколько дней, то, возможно, найдется перед кем его поставить. А пока, раз нас интересует Югославия, недалеко отсюда, в районе Турну-Северин, наши войска переправились через Дунай на югославскую территорию и продвигаются там с боями. Раз наши командировочные предписания при нас, мы можем ехать туда; на это особых разрешений не требуется.

Мы с Кригером послушались и, не мешкая, поехали в Турну-Северин.

К сожалению, от этой поездки у меня осталось лишь несколько строчек во фронтовом блокноте.

...При переправе через Дунай на югославскую территорию познакомились с ехавшим в наши части для связи полковником Любодрагом Джуричем — первым офице-

ром-югославом, которого я увидел, и членом нашей военной миссии в Югославии полковником Д. Н. Парамошкиным.

Наши части вели бои, углубившись на югославскую территорию. Мы с Кригером провели на плацдарме полтора дня, переночевали и вернулись в Крайову...

Вот и все, что записано. Но кое-что к этому хочется добавить.

На плацдарме в районе Кладова шли ожесточенные бои с контратаковавшими немцами. В наших частях мы побывали, но обстановка складывалась так, что перспектива соединения с действовавшими в тылу у немцев югославами здесь, на этом участке, пока отодвигалась. Во всяком случае, в ближайшие дни этого не предвиделось.

Добиваться той цели, которую я перед собой поставил, очевидно, предстояло где-то в другом месте.

Возвращаясь в Крайову, я вез в кармане кожанки сувенир, имевший для меня значение доброй приметы. В первый день, проведенный на югославской земле, я обменялся с полковником Любодрагом Джуричем — отдал ему свой кисет, а от него получил маленький самодельный партизанский деревянный портсигар с искусно вырезанным на крышке гербом народной Югославии. В этом портсигаре я до конца войны возил махорку, которой уже давно набивал трубку взамен трубочного табака.

Кстати, и после войны, когда трубочный табак появился, я перешел на него не сразу. После махорки он еще долго казался слишком слабым.

В Крайову мы вернулись на ночь глядя и с запиской от коменданта, написанной по-румынски переводчиком, явились на ночлег в какой-то провинциальный мелкобуржуазный дом.

Хозяева были приветливо безмолвны. Они говорили только по-румынски, а мы только по-русски. Утром нас напоили кофе, а потом, как мы поняли по жестам, хотели у нас выяснить: как насчет обеда? Кригер вытащил из кармана имевшиеся у него румынские леи и постарался объяснить жестами, что хорошо бы сходить на базар, купить чего-нибудь на эти леи; чего купят, тем и пообедаем! Хозяева поняли, леи взяли и жестами дали понять, что с обедом все будет в порядке. Наверное, так бы оно и вышло, не прояви я неуместную инициативу.

На стоявшем в столовой серванте я заметил среди другой посуды большое продолговатое фаянсовое блюдо с нарисованной на нем рыбой. И мне захотелось селедки. Самонадеянно решив, что сумею объяснить желаемое, я снял с серванта блюдо, показал хозяевам нарисованную на нем рыбу, а чтобы уточнить, что речь идет о селедке, взял из солонки щепотку соли и посыпал ею изображение рыбы. Хозяева смотрели на меня с недоумением, но потом, кажется, поняли и, улыбаясь, закивали.

Гордый своей находчивостью, я сказал Кригеру, что, вот увидишь, все будет в порядке, будем есть на обед селедку, и отправился в тот же самый особняк с автоматчиком у ворот, на дальнюю улочку Крайовы.

В особняке мне посоветовали зайти еще раз вечером. Того, кто предположительно мог решить интересовавший меня вопрос, все еще не было на месте.

Побродив по Крайове, я к обеду вернулся на место нашего постоя, предвкушая встречу с селедкой. Однако не тут-то было. С леями Кригера наши хозяева распорядились добросовестно, накупили и наготовили самых разных закусок, за исключением селедки, после них накормили нас супом, а потом хозяйка торжественно внесла и поставила на стол то самое блюдо с нарисованной рыбой, при помощи которого я объяснялся насчет селедки.

На блюде поверх нарисованного лежал очень большой настоящий карп, жареный, во всю длину, от головы до хвоста, густо посыпанный солью. Оказывается, меня поняли слишком буквально. Кригер чуть не задохся от смеха. Хозяйка стояла и с интересом смотрела на меня — как я примусь за это странное русское блюдо? И только когда я, взяв с серванта плоскую лопаточку для пирожных, стал чайной ложкой сгребать на нее соль, целой горой лежавшую на карпе, все всё поняли и смеялись уже все вместе.

Вечером я еще раз пошел в тот же особняк и с тем же результатом. Ответили, что говорить пока не с кем, и посоветовали зайти утром. Кригер махнул рукой и на рассвете уехал в штаб Второго Украинского фронта выполнять какое-то задание редакции «Известий». Уже после его отъезда я еще раз зашел в особняк и застал в нем того, кто, оказывается, и был мне нужен,— начальника нашей миссии при Главном штабе Народно-освободительной армии Югославии генерал-лейтенанта Корнеева.

Николай Васильевич Корнеев принял меня и выслушал

мою просьбу: посодействовать в переброске к югославам, желательно куда-нибудь подальше, вглубь, и, если возможно, в такие места, где я мог бы увидеть маршала Тито и взять у него интервью для «Красной звезды». Попав наконец к человеку, от которого явно многое зависело, я поспешил выдвинуть ту программу максимум, о которой и не заикался до этого, говоря с его подчиненными.

Дослушав до конца, Корнеев сказал, что все это вместе взятое — дело не только военное, но и политическое, что ответственность за переброску меня самолетом в Югославию к партизанам он на себя не берет, но помочь мне готов. У него есть связь с Москвой, и, если я сформулирую письменно все, что сказал ему, он передаст туда этот запрос шифровкой. Причем, учитывая характер запроса, рекомендует послать его на имя Молотова. А потом сидеть и ждать здесь ответа. А если сидеть и ждать я не хочу, то рекомендует мне побывать еще раз в наших войсках, действующих на территории Югославии. Но только не в районе Кладова, а южней, где они уже вступили в связь и взаимодействие с югославскими войсками. Для этого следует поехать из Крайовы в Калафат, там перебраться через Дунай с румынской территории на болгарскую, в Видин, а оттуда через болгарскую границу ехать в Югославию, в район Неготина, уже занятого нашими войсками. А через несколько дней, когда я вернусь оттуда, у него, наверное, уже будет для меня тот или иной ответ из Москвы.

Примерно таким был этот важный для меня разговор. Я написал текст запроса, простился с Корнеевым, тут же при мне вызвавшим к себе шифровальщика, сел на «виллис» и, проехав за один день по территории трех государств — Румынии, Болгарии и Югославии,— к вечеру добрался до Неготина, в район действий наступавшей там 57-й армии Третьего Украинского фронта, которой командовал генерал-лейтенант Гаген.

Во фронтовом блокноте осталось несколько записей об этой поездке.

...Город Неготин. На площади памятник погибшим с датами 1912—1918 — сначала Балканская, а потом первая мировая война. На верху памятника неумирающий бронзовый орел, а рядом с ним только что поставленные гранитные пирамидки над могилой наших погибших тан-

кистов. Надпись: «Капитан Вергеревский Александр Иванович 1920 года рождения, гвардии старшина Шор Василий Васильевич 1909 года рождения — за освобождение Неготина».

У немцев здесь воюет 1-я горная дивизия генерал-лейтенанта Штеттнера. Вспоминаю по созвучию — Штеттнер и Шернер. Где только не воевали немецкие горноегерские части — от Крита до Мурманска! Там, под Мурманском, и в Норвегии с теми, которыми командовал когда-то Шернер, уже покончено. А здесь этот Штеттнер еще дерется с нами.

Вдруг выясняю, что Нижне-Днепровская 113-я дивизия, в которой сейчас нахожусь,— бывшая ополченческая Фрунзенского района. От Москвы — сюда, на Дунай, в Неготин! Командир дивизии полковник Мухамедьяров говорит про встречи с жителями:

— У нас здесь, в Югославии, появилась новая деталь формы — венки на машинах и цветы на фуражках!

...Еду по узкой горной дороге на Салаш. Ночной марш двух дивизий. Рассвет. Крестьяне, идущие навстречу машинам, закрывают глаза волам. В долинах поля — кукуруза и тыквы. В ущелье целое конское побоище. Здесь наши артиллеристы застигли немецкую конную артиллерию. Десятки убитых лошадей и на дороге, и у дороги, и под откосом, и в русле узкой горной речки.

Разговоры с югославами.

Начальник штаба 25-й партизанской дивизии майор Драгослав Петрович, из бывших офицеров старой югославской армии, рассказывает, что у них в дивизии есть наш русский врач. Говорит про себя, что до войны был кавалеристом, кончил военную академию в Белграде. Отец его сейчас в лагере за то, что сын в партизанах.

Рассказ партизанского командира, который когда-то, в начале войны, пошел служить в отряды к Драже Михайловичу — бывшему начальнику штаба югославской королевской армии. Тогда считал, что Михайлович против немцев, а потом понял, что Михайлович с немцами. Понял, когда увидел, как Михайлович мирным путем получает оружие от немцев.

...Село Ябуковац. Разговариваю с жителями. О четниках Михайловича вспоминают с ненавистью, говорят, что звали их «коляши» — за то, что они колют, убивают людей ножами. В местном сельском управлении застаю разговор о похоронах недавно погибших. Решают закопать

всех там, где они лежат, и отметить эти места — до тех пор, пока не приготовят настоящую братскую могилу на площади. А в воскресенье при стечении народа перенесут останки туда, в эту братскую могилу.

Проходят старики в лаптях, домотканых армяках, спущенных с одного плеча.

Миха Суботич, старик крестьянин, играет на трубе, созывая крестьян на первый митинг.

Сельская церковь, обокраденный немцами сельский алтарь. Священник в разодранной ризе. К церкви везут гроб на арбе. Против лица покойника в гробу сделано окошко. Впереди гроба идет брат мертвого с крестом и цветами. Хоронят Лазаря Баретича. Спрашиваю, как его убили. Отвечают: он увидел, что остался в его доме всего один немец, и хотел отнять у него автомат, а немец его убил.

За первым гробом несут второй.

— А этого почему убили?

— Жили у него. Ушли — убили.

— Зачем?

В ответ только выразительное пожатие плечами и одно слово — немцы!

Бедная церковь, бедный, жалкий колокольный звон...

За те три дня, что я пробыл в частях 57-й армии, впечатлений — и достаточно сильных — было немало. Возвращаясь в Крайову, я думал сесть и написать корреспонденцию о боях в районе Неготина и о первых встречах с югославами. Но все вышло совсем по-другому, чем я предполагал.

Явившись в Крайове прямо к генералу Корнееву и застав его на месте, к своей радости, услышал, что ответ от Молотова получен и то, о чем я просил, разрешено.

На мой вопрос, когда же теперь можно будет лететь, генерал ответил как-то неопределенно — мол, завтра будет видней.

Прикидывая в уме, как бы мне при всех обстоятельствах успеть написать до отлета свою корреспонденцию про Неготин, я стал спрашивать, во сколько именно часов мне надо явиться завтра.

Но Корнеев как-то загадочно повторил, что насчет завтра там будет видно, а пока что мы сейчас поедем с ним тут в одно место... Он возьмет меня с собой.

Я поинтересовался куда. И услышал в ответ: когда приедем, тогда и увидишь!

Через пятнадцать минут мы сели в машину и едва успели влезть, как уже вылезли у какого-то другого тихого особнячка. Внутри его нас встретили люди в югославской военной форме. Форму эту я уже видел и на переправе через Дунай, и под Неготином, но не сразу понял, что здесь, в особняке, это были не майоры и не полковники, а генералы. Наверное, помешал понять это их слишком молодой для генералов вид.

Мы с Корнеевым и еще с двумя офицерами нашей миссии зашли в небольшую комнату, посредине которой стоял скромно накрытый стол. А еще через минуту, прежде чем я успел разобраться в обстановке, в комнату вошел маршал Тито.

Если сейчас заглянуть в послевоенные мемуары и в военно-исторические описания Белградской операции, там можно найти и упоминание о тогдашнем пребывании маршала Тито в Крайове, и о его переговорах в октябре 1944 года с генерал-полковником Бирюзовым и с представителями болгарского командования о координации действий во время предстоящих операций.

Но тогда все это было еще военной тайной и о том, что после свидания в Москве со Сталиным временным местом пребывания Тито была избрана Крайова, очевидно, было известно только узкому кругу людей — тем, кому было положено сие знать.

Встреча с Тито в Крайове оказалась для меня абсолютно неожиданной, а возможность взять у него интервью для «Красной звезды» неправдоподобно реальной.

Как выяснилось уже за столом, в этот день Тито был вручен здесь, в Крайове, от имени Советского правительства орден Суворова первой степени, и теперь, вечером, за ужином, по этому поводу все выпили по рюмке водки.

Тут же за столом меня познакомили с сидевшим рядом со мной генералом Кочей Поповичем, в будущем начальником Генерального штаба и Государственным секретарем Югославии, а в то время командующим югославскими войсками в Южной Сербии. Вскоре выяснилось, что именно туда завтра ночью мне предстоит лететь вместе с ним.

Предварительно перемолвившись с югославами, мне сказал об этом Корнеев. И я сразу же подумал, что раз так, то получить интервью у маршала Тито, если он согласится его дать, надо или сегодня, или, в крайнем

случае, завтра, чтобы я успел и приготовить текст и отправить его в «Красную звезду» до своего отлета.

Об этом я и заговорил, воспользовавшись первой удобной минутой.

Тито согласился и, назначив встречу завтра утром, вскоре ушел к себе работать. Посидев еще минут двадцать вместе с другими югославскими товарищами, мы тоже уехали.

Утром следующего дня я приехал за интервью. Оно заняло час или полтора. Потом днем, работая над ним для газеты, я включил в него не только полученные мною ответы, но и кое-что из услышанного за столом накануне вечером.

На работу оставались считанные часы. Надо было написать, перепечатать, привезти интервью, чтоб его показали маршалу, внести, если понадобится, поправки, отдать связистам для передачи в Москву и успеть к наступлению темноты на аэродром, на самолет, улетавший в Южную Сербию.

Не буду приводить здесь этого напечатанного несколько дней спустя интервью, в котором со слов маршала Тито были рассказаны факты его биографии, тогда большинству читателей нашей «Красной звезды» еще неизвестные, а сейчас хорошо всем знакомые.

В конце разговора с маршалом мне пришлось задать ему еще один вопрос, не упомянутый в интервью, деликатный, но необходимый:

— Скажите мне, где я брал у вас это интервью?

Тито усмехнулся.

— Очевидно, там, где вы будете завтра утром.

Уже не помню сейчас, кто из югославских товарищей помог написать первые, самые затруднительные для меня абзацы интервью, рассказав мне заранее, как может выглядеть тот пейзаж Южной Сербии, которого я еще не видел.

Одиннадцатого октября, когда я уже несколько дней на самом деле находился в Южной Сербии, а в «Красной звезде» было напечатано интервью, этот заочно написанный мною пейзаж выглядел в нем так:

«По понятным причинам я не назову точно географического пункта, где это происходило. Кругом был обычный пейзаж гор, покрытых начинающим желтеть лесом, ютящиеся на клочках чистой земли кукурузные поля и темные крыши низких крестьянских домиков. В одном из этих

домиков я и застал маршала, расположившегося на короткий привал...»

Интервью было перепечатано, согласовано и оставлено генералу Корнееву для передачи в Москву. Теперь оставалось только лететь туда, где я его брал.

Волновал остававшийся невыясненным вопрос: как, собственно говоря, мы будем приземляться там, в Южной Сербии,— на самолете или на парашютах? Как назло, никто ничего на эту тему не говорил, а спрашивать из самолюбия не хотелось.

С парашютом я никогда в жизни не прыгал, даже с парашютной вышки. Когда в сороковом году, после освобождения нашими войсками Северной Буковины, мы летели с Евгением Долматовским обратно в Киев на самолете Р-5, это был первый и единственный случай в жизни, столкнувший меня с проблемой парашюта. Р-5 считался тогда боевым самолетом, и по инструкциям мирного времени посадка в него без парашюта не допускалась. На аэродроме в Черновицах на нас с Долматовским надели парашюты и долго объясняли, в какой момент и как именно в случае чего надо дергать кольцо и что предпринимать, если оно не сразу выдернется.

После того как мы внимательно выслушали все это, нас кое-как втиснули вдвоем в заднюю кабину Р-5. Но когда мы в Киеве со своими парашютами, уже на земле, стали вдвоем вылезать из этой кабины, то вылезание с застреваниями заняло минут десять.

Таков был мой единственный, комический, но и тревожный опыт обращения с парашютом.

Короче говоря, у меня полегчало на душе, когда уже в полутьме на аэродроме я не обнаружил никаких следов парашютов. Их не было ни около самолета, ни в самом самолете, когда мы залезли туда вместе с Кочей Поповичем и полковником Парамошкиным, встреченным мною впервые при переправе через Дунай, а теперь тоже летевшим в Южную Сербию.

Самолет загрузили людьми и ящиками с боеприпасами, и мы уже в темноте оторвались и стали набирать высоту...

Прежде чем привести записи из фронтового блокнота, довольно подробные, но все-таки разрозненные, хочу сделать маленькое вступление, чтобы читатель ясней пред-

ставил себе и географию, и ход событий в тех местах, где я оказался.

Прокупле, вблизи которого на маленькую партизанскую площадку нам предстояло сесть,— городок в гористом районе Южной Сербии, километрах в сорока пяти к западу от самого большого ее города — Ниша.

Лесковац — тоже небольшой городок, стоящий километров на семьдесят южней Ниша, на том основном, ведущем через Южную Сербию шоссе, по которому как раз тогда, в первой половине октября немцы пытались прорваться с юга на север, из Греции на Белград.

Именно этого и старались не допустить наступавшие с запада югославы и двигавшиеся им навстречу с востока болгары, на помощь которым подходили наши войска.

Первое соединение болгарских и югославских войск произошло в Лесковаце, на этом шоссе.

Потом, уже после соединения, немцы еще раз пытались прорваться, а кончилось все это взятием города Ниша, в котором участвовали и югославские, и болгарские, и наши войска.

После его взятия с дальнейшими попытками немцев прорваться к Белграду через Ниш было покончено.

Так вкратце выглядели события на этом участке фронта.

Перейду к записям.

...В самолете хотя и со страхом в душе, а все же заснул! А когда проснулся, мы уже делали круги, снижались.

Ночь была лунная. То там, то тут виднелись внизу в горах вспышки фальшивых, выложенных немцами и четниками костров, и от этого вдруг возникло неожиданное ощущение легкости и воровского задора.

Попрыгав на кочках, вылезаем из «дугласа». Встречающие начинают быстро выносить и оттаскивать в сторону грузы. Как выясняется, сигнальные огни на аэродроме, которые мы видели сверху,— просто большие жестяные чайники; внутрь налит керосин, а через носики протащены фитили.

Едем с Кочей Поповичем и полковником Парамошкиным к месту расположения главного штаба Сербии на пока что единственном имеющемся здесь у партизан «джипе».

Слезаем с полковником в той деревне, где квартирует

наша миссия: три человека, в том числе радист и шифровальщик. Теперь прибавляемся еще мы двое.

Беленая хата, сеновал. В хате для спанья тоже сено — высоко наваленное и накрытое полотнищами грузовых парашютов. Харчи для миссии, как выясняется, готовит русская женщина, с семилетним ребенком невесть как попавшая сюда из Бобруйска уже во время войны.

Утром едем из нашей деревни в другую, в ту, где штаб Кочи, на лошадях. Навстречу попадается глава английской миссии майор Хенникер, долговязый, в рубашке с закатанными рукавами, в фуражке и верхом на очень тощей лошади. Видимо, англичан тут не балуют лошадьми.

Обстановка штаба: большой радиоприемник, аккумуляторы, электричество, телефон, узкая койка. Коча здесь и работает и живет. Две карты — Европы и Югославии.

При нас неожиданно приносят известие о том, что немцы взяли город Власотинцы. Это недалеко отсюда. Доносятся отдаленные звуки артиллерийской стрельбы. Пока продолжается разговор, слышно, как где-то вблизи отбомбились немцы.

Большинство работающих в штабе, несмотря на жару, одеты в шерстяные английские рубашки и шерстяные зеленые джемперы. Начальник оперативного отдела штаба — любезный седой человек с несколько излишней восточной вежливостью. Оказывается, когда-то был в штабе Михайловича, а потом порвал с ним, ушел к партизанам.

Портреты Тито, Сталина и Рузвельта на фоне национальных флагов. Рядом на стене неизменный архангел Михаил с мечом, фотография охоты на бегемотов в Африке и кто-то из предков бывшего хозяина дома. А точней, только его лицо, просунутое сквозь фанеру с нарисованной на ней полной гусарской формой.

Рассматриваем в отделе кадров только что полученные, кстати сказать, сделанные по заказу югославов на нашем Монетном дворе ордена. Орден Народного Героя и Партизанской звезды I и II степеней. Ордена показывает нам подполковник Нома, очень больной, много лет просидевший в тюрьме человек с живым, острым, д'артаньяновским лицом. Угощает нас южноафриканскими сигаретами с забавной надписью «20 для вас и 4 для ваших друзей». Тут же рядом, в этой же комнате, беспрерывно строчит на машинке машинистка в зеленой английской форме, бриджах и сапогах.

Вечером к нам в деревню с визитом приезжает майор

Хенникер, с ним второй английский майор из Интеллидженс сервис и не то сербский американец, не то американский серб Прибычевич, который находится у партизан уже давно и недавно нашумел в американских газетах и журналах своей статьей «Двадцать четыре часа в фашистском плену».

Это соответствует действительности. Во время одного из немецких наступлений он действительно на сутки попал в плен к немцам.

С англичанами заходит разговор о Гринвуде и о его романе «Мистер Бантинг в дни войны и дни мира». Я говорю несколько, очевидно, не совсем вежливых слов относительно того, что хотя роман и хорош, но мне, когда я читал его, казалось, что он написан человеком, желавшим доказать читателям, что бомбежка городов с воздуха есть главное и чуть ли не единственное испытание для участвующих в войне людей.

На ночь глядя идем вдоль деревни. В нескольких местах горят костры, вокруг них крестьяне, главным образом женщины. Все сидят или стоят; и почти у каждой в руках веретено; сучат шерсть и коноплю. Рядом с красивой девушкой сидит слепой партизан в черных очках, с выжженными глазами. Он только недавно вернулся — был отбит из плена и пришел в свою деревню.

Вверху, над головой, постоянное движение немецких транспортных самолетов. Все время что-нибудь гудит. Это немцы эвакуируют свои части из Греции по воздуху. Когда гудение раздается особенно близко, кто-нибудь из сидящих прикрывает костер железным кругом, на котором пекут хлеб.

У костров поют песни, по большей части грустные, заунывные. Но некоторые из песен поются в более живом темпе. Самая популярная песня партизан «Мы молодое войско Титово». Первую строфу этой песни можно вольно перевести примерно так:

Через реки, через села и дубравы
Наступают партизанские бригады.
Против швабов, против воронов кровавых,
Мы идем, не зная страха и пощады...

Партизанские песни в большинстве простые, наивные и прозрачные по содержанию. Во многих упоминаются Россия, Сталин, Молотов. А одна почему-то целиком посвящена Тимошенко...



«...был конец апреля, впереди маячило третье лето войны... я уезжал в Алма-Ату, где Столпер продолжал снимать «Жди меня», а Пудовкин... заканчивал работу над фильмом «Русские люди»...» (стр. 253).

Справа — А. Столпер.



«Много лет спустя, вспоминая этого человека... я написал одного из действующих лиц своего романа «Живые и мертвые» — генерала Кузьмича» (стр. 368).

Офицеры 232-й Сумско-Киевской стрелковой дивизии. Третий слева сидит командир дивизии М. Е. Козырь.



«На процесс, чтобы писать о нем, поехали... Илья Эренбург и Алексей Толстой... Было такое чувство, что мы ухватились за самый кончик чего-то безмерно страшного...» (стр. 320).



«Борис почти не переменился, только к шести прежним орденам за Испанию, Монголию и эту войну... прибавилось еще два» (стр. 421). За столом первый слева сидит Б. А. Смирнов. Халхин-Гол, 1939 год.



«Двенадцатого августа... была напечатана моя последняя, третья, корреспонденция о Майданеке. Помнится, на той же неделе в ВОКСе состоялась встреча нескольких писателей-фронтовиков с... иностранными корреспондентами» (стр. 396).
Выступает В. В. Вишневский.



«Хочу догнать штаб 5-го мехкорпуса генерала Волкова. Вчера мне сказали, что это тот самый Волков, с которым я когда-то встречался под Керчью. Хочется посмотреть, какой он теперь» (стр. 404).
М. В. Волков.



«Командир разведбата капитан Плотников... волнуется... Как-никак, а в столицу иностранного государства приходится вступать первый раз в жизни...» (стр. 408).
Д. П. Плотников. Послевоенный снимок.



«Наши части вели бои, углубившись на югославскую территорию. Мы с Кригером провели на плацдарме полтора дня...» (стр. 438).

«...худенький долговязый партизанский доктор вымахал в здоровенного средних лет мужчину...» (стр. 484).
С л е в а — Юрий Бернард.



«...Гречко — хозяин,— сказал он.— Скупо тратит, осторожно действует, бережет людей» (стр. 515).
А. А. Гречко.



«С командармом Кириллом Семеновичем Москаленко мне предстояло встретиться уже в четвертый раз... встречался и с членом Военного совета армии Алексеем Алексеевичем Епишевым» (стр. 489, 490).
Слева направо—А. А. Епишев, К. С. Москаленко, К. В. Крайнюков.

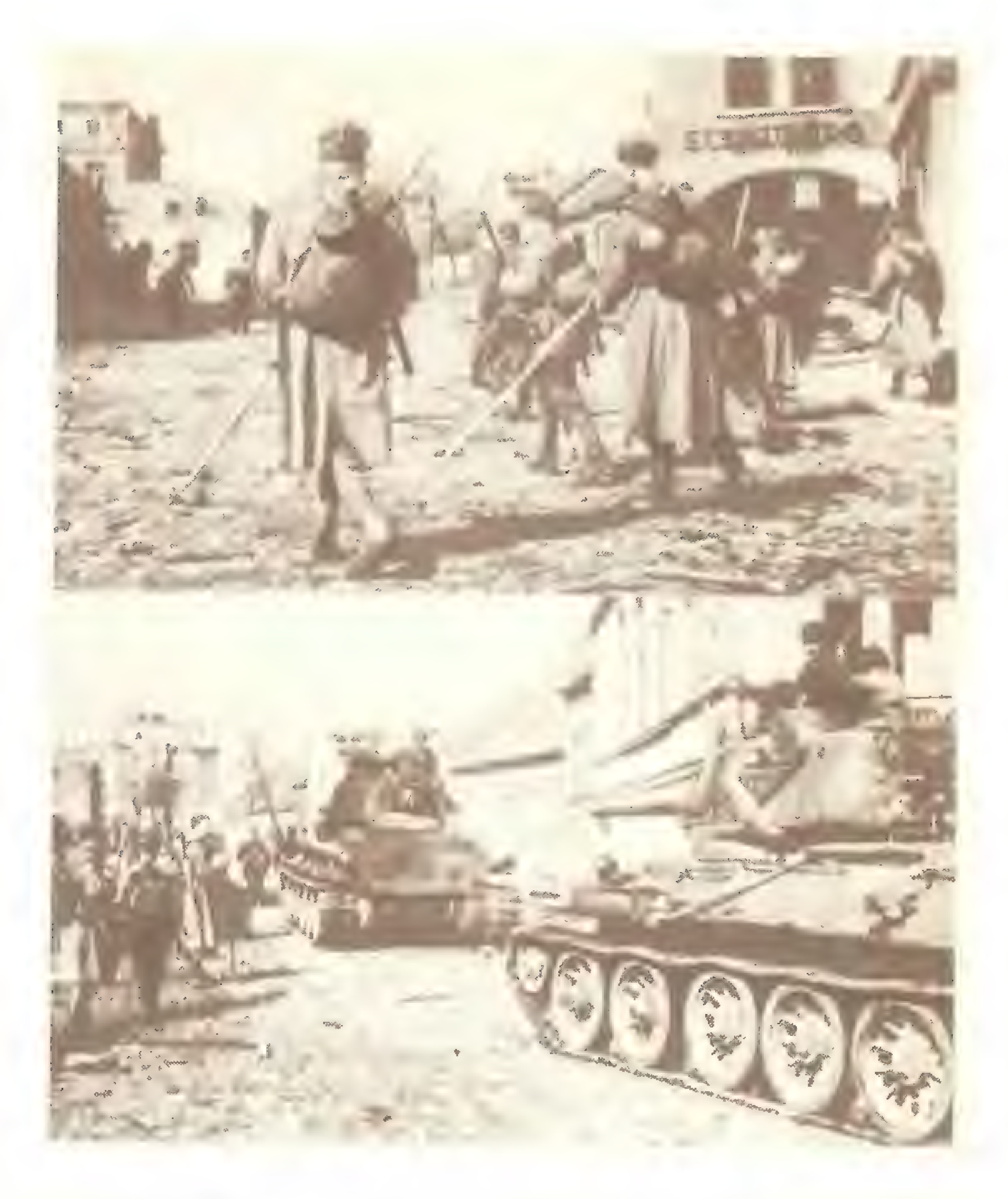
«— В добрый час,— говорит Мельников и, застегнув на все пуговицы свое кожаное пальто, нахлобучив папаху, выходит» (стр. 585).



«Бондарев был почти такой же, каким я его видел на Курской дуге в сорок третьем году, с печальными глазами и устало сбитой на затылок тогда — фуражкой» (стр. 532).
Второй справа — генерал-лейтенант А. Л. Бондарев.



«...воевавшим на территории Чехословакии Четвертым Украинским фронтом командовал генерал армии Иван Ефимович Петров...» (стр. 482).



«...попадаем на окраину Зорау... Саперы идут, щупая мостовые впереди танков. За их спиной грохочут танки... Видим стоящих около дороги Петрова и Мехлиса... Их задержало скопление машин...» (стр. 589, 592).





«Лицо было обветренное, красноватое, но от этого на нем только ярче выделялись голубые упрямые глаза» (стр. 488).
Генерал Людвик Свобода.



«...ни на что, ни на одну минуту не отвлекающийся и неспособный отвлечься от своего единственного дела — войны,— таким сохранился в моей памяти Конев ранней весны сорок пятого года» (стр. 579).

«Рыбалко сидел на бампере «виллиса», упираясь спиной в радиатор, и смотрел на свои проходящие танки» (стр. 691).



«На этот раз задание редакции... было одно-единственное, но категорическое: во что бы то ни стало первыми оказаться там, где произойдет первое соединение наших войск с американцами... Встреча эта, как теперь всем известно, состоялась 25 апреля на берегу Эльбы, недалеко от городка Торгау» (стр. 682, 683).

Встреча с американцами.

Слева направо — Г. В. Бакланов, К. Ходжес, А. С. Жадов.

«...и рейхстаг взят, и имперская канцелярия захвачена... и ничего больше, чем взятый нами Берлин, взять уже нельзя...» (стр. 698).



«Прилетели английский главный маршал авиации Теддер и командующий американской авиацией дальнего действия генерал Спаатс» (стр. 701).

Темпельгоф. Почетный караул.



«...опустился еще один «дуглас», из него вылезли немцы... Первым шел Кейтель в длинном плаще... подчеркнуто не глядя по сторонам, крупным, размашистым шагом» (стр. 702).

«...капитуляция, первоначально намеченная на два часа дня, начинается только вечером...» (стр. 702).

«Смотрю на Жукова, на его красивое, сильное, тяжелое лицо и вспоминаю встречи с ним во время боев с японцами на Халхин-Голе... Могло ли мне тогда хотя бы на минуту прийти в голову, что в следующий раз я увижу его в Берлине, принимающим капитуляцию германской армии...» (стр. 703, 704).

...Утро. Через деревню проходят партизаны. Большинство в рыжих крестьянских армяках. У каждого где-нибудь звездочка, чаще всего на пилотке. Звездочки из самого разного материала, начиная от красной клеенки и кончая жестью, выкрашенной красной краской.

Полковник говорит, что партизаны вообще неравнодушны к звездам. Смеется, что первые захваченные ими у немцев грузовики были после этого украшены звездами, по меньшей мере, в таком же количестве, как государственный флаг Соединенных Штатов.

Сегодня, вернувшись из штаба, знакомимся с Лозичем, бывшим военным атташе Югославии в СССР, одним из авторов известного письма Симича и Лозича, заявлявших в нем о своем переходе на сторону Тито.

Крестьяне, хозяева хаты, в которой живет здесь Лозич, вытаскивают во двор маленький столик и несколько низеньких табуреток, сиденья которых вырезаны как полукружья. Появляется жбанчик ракии, хорошей, виноградной. Мы пьем по сербскому обыкновению из очень маленьких рюмочек и закусываем эту виноградную ракию тоже виноградом.

Потом вдруг появляются две девушки, дочки хозяина. До этого они были во дворе и возились по хозяйству, в будничном платье, а теперь появляются в праздничном. В длинных расшитых юбках, рубашках, с подборами, в платках, вообще в полном параде. Причина всего этого — фотоаппарат, висящий на поясе у полковника. Выясняется, что обе девушки — невесты на выданье. Ничего не поделаешь, приходится снимать. Полковник подряд, старательно, по нескольку раз снимает их окаменевшие лица...

...Рассказ Кочи Поповича о том, как он обменивал пленных. Нужно было во что бы то ни стало выручить попавшего в руки к немцам крупного партизанского работника. Взамен его отдавали немцам их полковника, захваченного партизанами.

Когда Коча с белым флагом вышел к немцам, немцы решили, что он пришел капитулировать. «А,— говорят,— пришли?» — «Пришли»,— говорю и с удовольствием смотрю на себя. А на мне немецкий парабеллум, немецкая фляга, немецкий походный фонарь. Оглядел себя, подождал, пока они меня оглядят, и с особенным удовольствием протягиваю им ноту об обмене».

Вдруг возникает совершенно неожиданный разговор

о Маяковском, которого Коча, оказывается, встречал в Париже, и об Эльзе Триоле...

...Сегодня утром, пока все еще спят, беру лошадь и еду вдоль деревни. За деревней зеленое кладбище с простыми каменными крестами. Много крестов без надписей, а на некоторых надписи вроде следующей: «Михаилу Петровичу, живело 27 годин, умре яко ратник удебер (декабрь) 1913». Это еще Балканская война. На другом кресте: «Петру Живковичу, живело 31 годи, умре яко ратник 1914». Это уже первая мировая.

Отдельно пять одинаковых памятников, на каждом портрет и надпись. Все погибли в один день. 17.VI. 42 года — Богуслав Константинович, Борислав Андреевич, Велемир Иванович, Владимир Чекич, Александр Чекич. На последнем памятнике приписка: «Был ковачем, жил 32 года».

На крестах венки из цветов, гроздь винограда, засохшие абрикосы. Все выглядит очень мирно, но на всех памятниках одна и та же дата. Что это за трагическое число было для них для всех — 17.VI.42?

За деревней каменная часовня с окнами, узкими, длинными, больше похожими на бойницы. Рядом в поле ребятишки пасут позванивающих колокольчиками овец и поют что-то бесконечное. Девочка постарше — строгая маленькая женщина — останавливает мальчишку, который хотел срезать с дерева кусок коры. Я издали не слышу, но вижу, как она жестами объясняет ему, как это нехорошо.

В конце прогулки, с другой стороны деревни, застаю в поле партизан на строевых занятиях. Это автоматчики. Диски вынуты из автоматов и мирно, как картошка, и в то же время грузно, как мины, сложены в кучу под грушевым деревом.

Партизаны старательно маршируют. Завидя меня, подофицер командует с дополнительной энергией. Поодаль, в стороне, другой подофицер учит двvх отстающих...

...Едем с Кочей Поповичем в Прокупле. Заходит разговор о кино. Хвалит «Петра Первого» и в особенности «Депутата Балтики». Спрашиваю про один из наших военных фильмов, как ему понравился. Отвечает: «Лимонад».

— Как это по-вашему, на русском языке, лимонад — в том смысле, в каком я вам говорю?

Не совсем понимая, что он имеет в виду, ищу слово:

— Розовая вода, что ли?

— Да, розовая вода, вот именно. Другим не скажу, а вам скажу, это совсем, совсем плохо!

На станции Прокупле, через которую едем, несколько сожженных партизанами немецких составов и три обгоревших танка. В составах несколько уцелевших вагонов. На них надписи: «Живело Красная Армия!»

Через Прокупле маршируют новобранцы. Останавливаемся в расположившейся на отдых партизанской части. Все здороваются за руку первыми. Где-то вблизи играет баян. У многих на шапках звезды — не приклеены и не приколоты, а терпеливо вышиты белым и красным бисером.

Выезжаем на дорогу, ведущую в сторону Ниша. Обгоняем партизанские части на марше. Вьючные лошади кажутся нагруженными до предела, но все так толково уложено и пригнано, что и мулы и лошади идут свободно. На некоторых поверх всего другого приторочены еще на вьюках чаны для варки пищи.

Штаб 11-й бригады.

Коча пишет приказ о более активных действиях на Нишском направлении.

Неожиданно вижу среди партизан человека в штатском. Оказывается, это всего месяц назад перешедший к ним капитан старой югославской армии. Раньше он не участвовал ни в каких делах — ни в хороших, ни в дурных, ни за, ни против немцев. А сейчас пришел к партизанам. Но партизаны весьма щепетильны к тем, кто пришел к ним только недавно, когда уже стало ясно, на чьей стороне победа. Они держат себя с ним довольно сдержанно, даже настороженно. Большой, толстый, печальный человек в сугубо штатском костюме.

Еще один офицер старой югославской армии, тоже сравнительно недавно пришедший к партизанам, уже произведен в майоры и работает преподавателем в дивизионной школе. Он в серой шинели и в старом, еще хорошем кителе. Жалуется в разговоре полушутя-полусерьезно на то, что все время идет покрет: «Все покрет, покрет (покрет — поход)! Некогда приклонить голову, а главное — некогда учить людей!»

Штаб 24-й партизанской дивизии в ожидании наступления стоит ближе всех к Нишу. С окраины деревни видны

кусочек уходящей к Нишу дороги и полузакрытый холмами, белеющий в котловине Ниш.

Командир дивизии майор Миля Чулович докладывает Коче о подготовке к предстоящему наступлению. Узнаю, что здесь, в дивизии, работают наша медсестра Лиза Кирьянова и хирург Синодов. Вскоре они приходят. Спрашивают про Москву. Спрашиваю их, как им тут. Жалуются только на разбросанность фронта и отсутствие машин. Раненых по двое-трое суток везут на телегах, а иногда тащат на руках. Попадают на операции уже в тяжелом состоянии.

Недавно организовали здесь первое переливание крови — двенадцатилетнему мальчику из соседней деревни, которому осколком бомбы оторвало ногу.

На обратном пути встречаем девушку-бойца из 1-й Пролетарской бригады, которой когда-то командовал Коча. Он встречается с ней очень радостно, целуется, но, когда через пятнадцать минут после этого я спрашиваю, как зовут девушку, он очень долго вспоминает и так и не может вспомнить. В свое оправдание говорит, что его звали тогда не так, как сейчас, а Пера. Это была его подпольная кличка. И ходил он тогда в крестьянском платье и с большими усами. Смеясь, показывает, какие у него огромные были тогда усы.

Коча родился в Белграде, учился во Франции, кончил в 1932 году Сорбонну. Потом вернулся в Сербию. В 1937—1939 годах — Испания. После Испании попал в лагеря во Франции. Затем нелегальная жизнь в Париже. Из Парижа сначала в Германию под видом отправляющегося на работу иностранного рабочего, а потом подпольными каналами обратно к себе, в Югославию.

В Прокупле получено известие, что немцы, успевшие прорваться мимо болгар, идут сюда, к городу.

Возвращаемся в штаб. К ночи приходит Лозич, сообщает о том, что немцы прорвались в нашем направлении и заняли — забыл, не записал, какой пункт. Длинное ночное обсуждение обстановки. Отправка шифровок. Следующий день проходит в действительно все приближающейся артиллерийской стрельбе. Продолжаются шифрованные переговоры по радио. За горами вспыхивают артиллерийские зарницы.

Спится все равно хорошо. Сквозь шелк пахнет сеном, а под головой мягкие пучки конопли. Парашюты идут здесь за все — и за мешки, и главным образом за про-

стыни. Сегодня говорили об этом, и кто-то пошутил, что хорошо бы послать радиограмму полковнику Соколову, который занимается авиационными делами: «Просим срочно сбросить еще восемь парашютов, безразлично с чем, а то уже вторую неделю не меняем постельное белье!»

Кажется, все-таки в связи с изменением обстановки предполагается покрет — переход штаба куда-то, не то на, не то через знаменитую партизанскую гору, которая называется «Велика планида Радан».

Сегодня майор Хенникер, очевидно, в предвидении покрета передал один из своих двух «виллисов» в наше пользование. Отказываться не приходится, но почему вдруг такая благодать, не понимаем. Полковник, я так и не понял, то ли серьезно, то ли шутя, говорит, что, наверно, Хенникер прослышал, что предполагается покрет через горы, поэтому и отдал один «виллис» нам — в случае поспешного передвижения по неподходящим дорогам авось партизаны помогут русским протащить их «виллис». И будет неудобно не протащить заодно и второй, английский. Лучше уж отдать один, чем рисковать обоими!

На капоте подаренного нам англичанами «виллиса» опознавательные круги, такие же, как и на английских самолетах, чтобы не бомбила своя, английская авиация...

...Покрет пока откладывается. И вообще скорей всего его не будет. Обстановка меняется в лучшую сторону.

Вечер. Радист Костя не отрываясь смотрит на девушку, вырезанную из американского журнала, и стучит на своем аппарате. А перед ним на стенке улыбается с последней страницы обложки, очевидно, известная в Америке, но совершенно неизвестная ни нам, ни ему кинозвезда по фамилии Юлия Бишоп.

Полковник рассказывает вывезенный из Крайовы смешной анекдот о двух верблюдах, которых, еще начиная с Волги, ведут два бойца, догоняя какую-то свою дивизию, которая на самом деле уже давно в Прибалтике. Спрашивают у них:

— И давно вы идете?

— С тысяча девятьсот сорок второго года.

— И как же вы сюда, до Крайовы, дошли?

— Да так вот и дошли.

— Ну а что же вы едите?

— А ничего, харчимся! Грошей много, и водка есть. Здесь, в Румынии, верблюдов никто не видел; четыре

плащ-палатки вместе сшили, закрываем ими верблюдов, берем по двадцать лей с носа и показываем!

Поистине классическая плутовская история, фольклор войны.

Обхожу вечером наше село Злата. С другой стороны, с речки, оно похоже на кавказский аул. Ограды из плоских камней, сплошные, без окон, стены домов.

Уже возвращаюсь к себе в хату по деревенской улице, и вдруг гудок, даже вздрагиваю. В затормозившем «виллисе» сидит Коча. Не вылезая из «виллиса», говорит, что у него сзади в машине есть одно место для меня.

— Едем!

Объясняет, что получено донесение: его бригада соединилась с болгарами около Лесковаца, перерезав с двух сторон немцам шоссе...

...Село Лебань. Штаб 47-й партизанской дивизии. Выясняется, что впереди, дальше по направлению к Лесковацу, дорога заминирована. Но так как тот партизанский отряд, который ее раньше минировал, сейчас отсюда ушел, никто не знает, где именно точно заложены мины.

Едем глухой ночью. В каждой деревне по очереди спрашиваем — где мины? Дважды объезжаем вброд заминированные мостики. Вода, правда, неглубокая, можно проехать. Пустырь. Дальше никаких строений, и спрашивать некого. Партизан-проводник беспокоится, что именно здесь, на этом отрезке, могут быть мины, и самоотверженно предлагает идти на тридцать шагов впереди машины, чтобы мы ехали за ним. Коча не соглашается, велит ему сесть на капот машины и внимательно глядеть вперед. Потом слезаем и идем два километра пешком по обочине и теперь видим своими глазами, что дорога в нескольких местах действительно полна мин, кое-как закопанных. «Виллис» едет за нами, перекосясь набок, объезжает по обочине. Снова садимся в него и последние три километра проскакиваем довольно быстро.

При самом въезде в город натыкаемся на болгарскую пушку — дулом вперед, к нам. Озябшие болгарские солдаты. Рядом крытая машина, из-под брезента слышится усталый храп. Пятью шагами дальше брошенный немецкий танк.

Находим штаб 15-й партизанской бригады, соединившейся в Лесковаце с болгарами. Комиссар дивизии Саво Кесарь и командир бригады капитан Станимир Динчич. Коча ревниво выясняет, кто первый вошел в Лесковац —

его бойцы или болгары? Комиссар дивизии честно отвечает, что болгары вошли в город часа на полтора раньше.

— А как вели себя болгары? — снова спрашивает Коча.

— Добре, добре,— отвечает комиссар дивизии.

Коча отдает первые распоряжения. Одновременно просматривает донесения.

Немцы отходят по дороге на Ниш. Болгары вошли в Лесковац частями 12-й болгарской дивизии. Немцев в Лесковаце было около двух тысяч и около тысячи четников и недичевцев. Коча вдруг смеется: партизанский писарь перестарался и на одном из документов римскими цифрами написал номер бригады, приставив впереди еще лишний крест и лишнюю палочку. Вместо XV получилась невесть какая — XIXV.

Ночь. Выхожу на улицу. Патрули. Югославы в пилотках со звездами, болгары в рыжеватого сукна шинелях и фуражках. Фуражки делают их одновременно и похожими на наших, и непохожими. Уже отвыкли видеть на солдатах фуражки, привыкли к пилоткам. Ночь довольно светлая.

Коча ждет встречи с болгарским полковником, командиром дивизии. Волнуется, потому что до этого были препирательства — кому к кому ехать. Отправил своего адъютанта встретить болгарина. Стащил с себя портупею и верхнюю куртку, в которой ехал, ходит и разминается. Потом садится к столу. Сейчас, когда снял куртку, кажется совсем худощавым и мальчишески стройным. Пробует на животе ремень и затягивает его туже, еще на одну дырку. Я улыбаюсь. Заметив, тоже улыбается.

— Ничего не поделаешь, партизанский струг (живот) не то что у тебя!

Уже зная, что я, если есть возможность, люблю поесть досыта, не забывает подшучивать над этим.

Наконец приезжает командир болгарской дивизии, дивизионер, как в таких случаях у болгар принято называть полковника, находящегося на генеральской должности командира дивизии. Вместе с ним его заместитель, бывший партизан. Неожиданное пожатие загрубелой руки.

Болгарский полковник, коренастый, седой, в полевой форме, с полевыми погонами, кадровый военный с ног до головы, а при встрече с Кочей волнуется. У него даже чуть-чуть дрожат руки.

Раскладывают крупномасштабную карту, уточняют

по ней, кто где. Судя по карте, Ниш, на который предстоит наступать и тем и другим, кажется, довольно большой город. Вдруг соображаю, что, наверно, это первое соединение югославов и болгар. Здесь-то уж во всяком случае. И я, по случайности, первый советский офицер, который присутствует при такой встрече. Понимаю это, когда вдруг болгарский полковник, заспорив по какому-то пункту с Кочей, поворачивается ко мне, ища взглядом не то сочувствия, не то помощи. Отхожу от них подальше, чтобы не отсвечивать...

...Утром идем по Лесковацу. Он вдребезги разбит американцами, бомбившими это шоссе, а заодно и город. Старуха, глядя на нас, говорит: «Сладкие мои». Другая старуха, показывая на разрушения, почти сердито: «Почему раньше не пришли?»

Едем дальше, во Власотинцы. Ведут пленных, среди них двух фольксдойче. Один из них, не смущаясь, просится в охрану к Коче.

Наш боец добирается из госпиталя в Молдавии в свою часть, в Болгарию. Заплутался. Сюда подвезли на машине болгары, а тут наших войск нет. Югославы, увидев русского, с ходу дали ему автомат. Просится воевать.

Коча едет к Нишу, хочет сам уточнить обстановку в том секторе, где действуют болгарские войска. Объезжаем минированную дорогу и даем большого кругаля проселками. На переправе через Молдову болгарские войска. Есть и машины, но, кроме них, такой табор повозок, крытых фур, людей, что мне вдруг кажется: все это могло быть и войной 1877 года. Зрительного различия почти никакого.

Болгарская конная артиллерия. Артиллеристы почему-то приветствуют нас особенно ретиво. Очередь к полевой кухне. Очередь общая. Среди солдат офицеры и даже один генерал со своими котелками. И за этой подробностью вдруг ощущение того, как после прихода к власти Отечественного фронта все переворачивается сейчас, на ходу, в болгарской армии. Складно или нескладно, но на глазах у всех переворачивается!

Обгоняем колонну болгарских транспортных машин (несколько с прицепленными пушками), броневики. Коча внимательно смотрит, и мне кажется, что он где-то в душе расстроен этим количеством болгарской техники. Наверно, задним числом вспоминает все, чего у него не было под руками за годы партизанской войны.

Город Пирот. Вывеска: «Стефан Джурич». Кафе «Сталинград».

Проходит женщина с двумя гранатами-«лимонками» на поясе поверх деревенской расшитой юбки.

Коча встречается с болгарским генералом Благой Ивановым. Генерал новоиспеченный, партизанский. При встрече крепко обнимаются с Кочей. Оказывается, знают друг друга с Испании. Благой Иванов, так же как и Коча, воевал там.

Болгарские солдаты то козыряют, то по обычаю Народного фронта поднимают сжатый кулак.

Выезжаем опять на нишскую дорогу. Обычная дорога немецкого отступления. Сожженные машины, разбитые броневики, неубранные трупы. Навстречу пустые болгарские грузовики, идущие за боеприпасами.

Болгарские солдаты на привале рассыпались по полю и рвут виноград. На холмике при дороге стоит болгарский поручик и доедает гроздь. Коча меняется в лице и кричит с машины:

— Господин офицер! Нехорошо! Это частные поля!

Поручик, от растерянности так и не выпустив грозди из руки, начинает кричать на своих солдат.

Коча говорит мне, что в партизанской армии было только три меры наказания: замечание, напоминание и расстрел. Расстреливали, например, за малейшее мародерство. А наряды не практиковались, потому что караул (стража) был у партизан самым почетным делом. Назначением в караул оказывалось доверие.

Неожиданный разговор о женщинах. Выясняется, что у Кочи есть жена. Она в партизанах, но где-то совсем в другом месте.

— Я ее почти никогда не видел. Сначала испанская война, потом эта...

Заговариваю о детях. Отвечает:

— А мы нелегальцы, у нас детей не бывает.

Повсюду, и в Болгарии и в Сербии, в деревнях огненно-красная паприка на белых стенах домов...

...Переезжаем через реку. За рекой знакомая картина. Наскоро отрытые щели, воронки от мин, тянутся раненые. На склоне тела убитых, накрытые с головой рыжими болгарскими шинелями.

Штаб полка болгарской танковой дивизии. Небольшой карьер на склоне горы. Командир полка объясняет, что танки пробовали форсировать Молдову здесь, поблизости,

но не вышло. Сейчас движутся на север, ища переправы, чтобы зайти западнее Ниша, отрезая немцев. Карабкаемся через виноградники на артиллерийский наблюдательный пункт. С наблюдательного пункта видна деревня, в которой засели немцы, прикрывающие дорогу на Ниш. Там ложатся разрывы болгарских орудий, довольно кучно. Немецкая артиллерия тоже бьет. В бинокль на гребне одного из дальних холмов видны движущиеся через немецкие разрывы цепи.

— По-моему, это моя бригада,— говорит Коча. Прикидывает по карте и повторяет: — Моя. Выходит к Нишу с запада.

Ночью возвращаемся в Лесковац. Приезжают два майора из штаба, привозят сведения, что часть немцев пытается прорваться из Ниша на Прокупле. Деревня, где мы были с Кочей в штабе 24-й дивизии, сейчас занята немцами, но туда обходным путем уже движутся болгарские танки. Идет бой. Майор из штаба докладывает Коче, что в 24-й дивизии на исходе английская амуниция (боеприпасы). Коча взбешен, говорит, что это старая история. Англичане сбрасывают боеприпасы к своему оружию в обрез, чтобы держать партизан в зависимости от себя. А последнее время и вовсе ничего не сбрасывают. Коча зло говорит, что это прекрасный случай для того, чтобы объяснить отсутствие необходимости в дальнейшем пребывании майора Хенникера при главном штабе Сербии.

Один из приехавших, смеясь, говорит, что в ту ночь, когда мы ехали в Лесковац, наш «виллис» прошел на расстоянии спички от мины. Обнаружили это, добираясь сюда верхом, потому что наш след был, оказывается, вообще единственным следом машины на этой дороге.

Уже ночью наконец в первый раз за день едим в Лесковаце в подвале полуразбитого дома суп, сваренный только из двух составных частей — из свинины и красного перца пополам. Перец целыми головками.

Иван, наш русский автоматчик из охраны, рассказывает мне историю школьного учителя по имени Виктор, который вместе с ним бежал из немецкого плена в партизаны. Рассказывает, как он погиб в первом же бою; шел в атаку во весь рост и на ходу стрелял из ручного пулемета. Пуля попала прямо в сердце. Его похоронили в новом английском обмундировании, завернув в плащ-палатку. А четники потом вынули его, раздели догола и снова присыпали камнями и землей.

Коча встречается с заместителем командира корпуса подполковником с такими необычайно пышными усами, что все зовут его Бырка, что значит — усач, а не по имени и фамилии, которых многие не знают. На самом деле Бырку зовут Живоин Николич, у него не только огромные усы, но и огромная энергия. Тип нашего талантливого тылового работника, способного все организовать и обеспечить. Впрочем, до этой своей должности заместителя по тылу он был одним из самых популярных командиров дивизий.

Вместе с ним начальник инженерного отдела верховного штаба полковник Смирнов, или, как его здесь все зовут, Сережа, старый русский эмигрант, высокий сумрачный человек в очках, со значком партизана сорок первого года.

Ночуем в Лесковаце в бывшем здании немецкой комендатуры. В сенях желтый фанерный ящик «дойче фельдпост», на нем наклеена карта рейха, распределенная по номерам полевой почты: 7-А — Краков, 5-Б — Кенигсберг, 9-А — Катовицы, 11-Б — Кельн, 12-А — Вена, 1 — Берлин, 5-А — Данциг.

На стене в комнате картина: базар; мусульмане, сербы, солдаты. Коча говорит про картину: «Боснийские мотивы». Спрашиваю, как участвовали в партизанском движении мусульмане.

— Вначале мало, а потом хорошо. В общем, хорошо.

Не спится. Вспоминаю поездку в болгарскую дивизию. Да, все именно так, как бывает, когда впервые вступают в бой. Гордость, неумеренный оптимизм, в голосе звон натянутой струны, на картах все получается совершенно замечательно. Это усугубляется еще и тем, что много молодых офицеров получило неожиданные повышения, а многие, считавшиеся при прежнем болгарском правительстве неблагонадежными, вдруг вернулись в армию, долго пробыв кто в запасе, кто в отставке. Держатся сугубо по-военному, но иногда такое чувство, что смотрит на тебя и хочет отвести тебя в сторону и спросить: ну, как дела, товарищ?

Чтобы заснуть, пробую читать по-сербски книгу генерала на пенсии Павловича «Битва на Колубари». Утром сижу, смотрю приложенную к книге карту-километровку. Коча смотрит через плечо и вдруг показывает пальцем:

— А это как раз район моих первых действий. Вот этот мост мы тогда впятером впервые взорвали. О, я здесь

все, все знаю,— тычет он пальцем в предместье Белграда.

Побрившись, выходит из дома подышать воздухом, без кителя, в одной рубашке, и через несколько минут, смеясь, возвращается, начинает надевать китель. Продолжая смеяться, рассказывает, что на него только что там, у входа, наскочил наш капитан, авиатор, который не привык «к аскетству», жалуется, что его не кормят, и страшно машет руками.

— Надо поскорей стать генералом,— говорит Коча, все еще смеясь и застегивая китель,— а то еще, как это вы говорите, дадут по морде.

Снова выходит и возвращается вместе с нашим капитаном — штурмовиком, который прибыл сюда вместе с радистом наводить, куда потребуется, нашу авиацию. Капитан хороший парень и так нравится Коче, что он против своего обыкновения даже выпивает за завтраком с капитаном маленькую рюмочку за освобождение Риги, а главное, за то, что, по сведениям летчика, наши начали наступление в Восточной Пруссии.

Небывалый случай — сегодня Коча два раза за день притронулся к спиртному. Перед отъездом из Лесковаца встречаемся с полковником из нашей миссии, которому уже давно причитается получить югославский орден, а Коча все не вручает, хотя ордена в штабе уже получены. Оказывается, Коча еще никогда в жизни орденов не вручал, но знает, что это по возможности надо делать в торжественной обстановке. А торжественной обстановки все нет и нет! Но сегодня здесь, в Лесковаце, Коча все-таки вручает орден нашему полковнику. И в этот торжественный момент подполковник Мома неизвестно откуда вдруг достает бутылку московской особой, и все пьют. Коча тоже, не без содрогания, опрокидывает за один раз всю стопку, до дна. Должно быть, это первый раз в жизни, так же как и вручение ордена...

...Ниш взят. Едем к нему. Махорка кончилась, и я, кажется, начинаю все-таки привыкать к сигаретам. Но докурив их до конца, забываю во рту. Сегодня даже обжегся.

Пейзаж Сербии спокойный, прозрачный. Когда по деревне идут старики и старухи, встречные целуют им руку.

Полукруглая черепица на крышах напоминает бесконечное количество распиленных пополам цветочных горшков.

Едем в Ниш. На остановках деревенские девушки несколько раз меняют на нашей машине венки из цветов.

Подбор цветов какой-то удивительный, то очень яркий, то, наоборот, нежно-блеклый, переходящий от фиолетового к синему.

В деревнях дарят полотенца. Выходят на дорогу и поят ракией. В одной деревне заставляют меня, как русского, выпить три рюмочки подряд на том основании, что есть русская поговорка: бог троицу любит. И откуда только они успели это узнать!

Въезжаем в Ниш почти в темноте. Город поковырян боем. А в общем, цел. Находим штаб 13-го югославского корпуса. Он на главной площади, в доме, где вчера еще жили недичевцы. Когда-то недичевцы и усташи насмешливо звали партизан трехметковичами, что значит — трехпатронники. Называли и за отсутствие боеприпасов, и за их экономию.

Только легли спать, как вдруг выстрел где-то у нас в коридоре.

— Что это?

— Грешка!

Грешка — слово широкое; его говорят и по крупным и по мелким поводам. Все, что вышло не так, в любом масштабе, все грешка.

Потом начинается уже нешуточная стрельба во всем городе. Сначала думаю, что это по случаю освобождения Ниша, но, оказывается, нет. Причина еще более важная. Прошел слух о капитуляции Германии. Уж не отзвук ли это того разговора с капитаном-летчиком, что наши наступают в Восточной Пруссии? Скорей всего так.

За утренней трапезой вместе с Кочей сидит старичок генерал старой сербской армии, командир дивизии еще в ту, первую мировую войну. На пенсии с 1929 года. Но, оказывается, сам пришел из Белграда к партизанам, и уже давно. Сильно согнутый в спине, но еще не дряхлый. Ему выдали новую генеральскую форму с тремя нашивками на рукаве. Но звезд к нашивкам еще не дали, а красные петлицы он сам не решается носить. Уже давно кочует при штабе Сербии, и все относятся к нему очень предупредительно.

В два часа приезжают командующий 2-й болгарской армией генерал Кирилл Станчев, его заместитель полковник Былгаранов и генерал Благой Иванов, которого я уже встречал. Оказывается, он сейчас командует всеми партизанскими силами Болгарии.

Кирилл Станчев — майор старой болгарской армии,

уволенный в запас за политику, а сейчас призванный и произведенный в генералы. А Былгаранов, оказывается, во время фашистского правительства Филова был в Югославии и воевал там в партизанских частях.

На площади собралось много народа. Митинг с участием жителей и солдат — партизан и болгар. Речи с балкона на втором этаже. Первым говорит Коча, потом комиссар 13-го корпуса, потом Станчев...

После митинга хожу по городу. Захожу в здание театра. В нем пусто. Партизан, охраняющий театр, очень серьезно объясняет мне, что пока не хватает артистов, потому что еще не все они перешли на сторону партии.

Бедно одетый старик ходит по Нишу с кошелкой; в ней плетенка с ракией, два стаканчика и накрытый салфеткой хлеб. Как только видит кого-то из наших бойцов или сержантов, останавливается, ставит кошелку на землю, вынимает два стаканчика, хлеб, наливает в стаканчики ракию и пьет с тем, кого остановил. Потом ищет следующего. Бродя по Нишу, видел его уже несколько раз. В последний раз мне показалось, что ему уже недолго осталось делать свое благородное дело.

На главной улице у витрины люди. Прямо к стеклу кусочками клейкой бумаги от марок приклеен квадратный лист бумаги, а к нему — фотография девочки в национальном костюме лет двенадцати и под ней надпись: «На святого Стефана в 1942 году застрелили меня немцы на Губани, как партизанку. Отомстите за меня, другари, до полной (крайней) победы, прошу вас». И подпись: Другарица Елена...

На этом обрываются в блокноте мои записи, связанные с Южной Сербией. И они, и многое другое, не записанное в блокнотах, но оставшееся в памяти, нашли потом место в книжке «Югославская тетрадь».

Один из вошедших в нее рассказов — «Кафе «Сталинград» — я написал под впечатлением встречи Кочи Поповича с Благой Ивановым, двух бывших «испанцев». В записной книжке об этом коротко, но сама встреча двух интербригадовцев — югослава и болгарина, вместе начинавших когда-то эту войну с фашизмом в Испании и встретившихся здесь, под Нишем, который они вместе освобождали, казалась мне чем-то необыкновенно и принципиально важным. Казалось тогда. И кажется до сих пор.

В моих заметках почти ничего не сказано о том, каким был город Ниш, словно я тогда и не видел города, видел в нем только людей. Так оно, пожалуй, и было.

Через двадцать семь лет, осенью семьдесят первого года, я снова побывал в Нише, сильно разросшемся, большом современном городе. И только теперь впервые увидел его старинные крепостные стены и знаменитую историческую Белую башню, памятник Стефану Синеличу и его бойцам, погибшим в борьбе с турками в 1809 году. В стены этой башни замурованы турками черепа сербов, убитых во время сражения и после него, во время казни. А в ящике хранится череп самого Стефана Синелича.

Приезжавший сюда Ламартин оставил надпись: «Кто может остаться спокойным при виде этого памятника!» А я при всем своем интересе к истории так и проглядел тогда в Нише и эти крепостные стены, и эту башню... Интересно, как много замечаешь на войне и как много не замечаешь, проходишь мимо, словно его и нет...

После взятия Ниша я добрался машиной до Софии и вылетел оттуда в Крайову. По моим представлениям, там по-прежнему еще находилась миссия генерала Корнеева. Побывав в Южной Сербии, я хотел попасть теперь в другие районы партизанских действий. Особенно много я слышал рассказов о Черногории и черногорцах, и больше всего хотелось полететь туда.

До Крайовы я добрался, но нашей миссии там уже не оказалось, она перебралась на югославскую территорию, в город Врщац, поближе к Белграду.

На следующий день я полетел из Крайовы во Врщац на самолете, перевозившем туда еще задержавшихся в Крайове работников миссии.

Летя во Врщац, я натерпелся страха. Мы попали в такую неимоверную грозу, в самый ее центр, что наш самолет весь трещал, у него буквально выворачивало позвонки. Ни до, ни после меня никогда не травило в воздухе, а тут сплоховал.

Миссию нашу во Врщаце я застал, но в Белграде в эти дни добивали немцев, и я, достав машину, поехал туда.

Перед этим на аэродроме во Врщаце, встретив товарищей, занимавшихся нашими транспортными воздушными перебросками, я попросил их подумать: нельзя ли, когда я вернусь из Белграда, при первом удобном случае пере-

бросить меня на одну из партизанских площадок в западной части Югославии? И уехал в Белград, держа в памяти этот план.

Когда я добрался до Белграда, он был освобожден, только в закоулках еще дочищали последних немцев, а бои шли уже в пригороде Земун на той стороне реки Сава. Я побывал в Земуне, застав шедшие к концу уличные бои. А когда они кончились, вернулся в Белград.

Записи в блокнотах о Белграде и Земуне очень короткие — лишь зацепки для памяти.

...Белград. Утро. Старый югославский генерал в старой королевской форме, в каскетке едет на телеге, сидя на ворохе вещей.

...Перед мостом через Саву, совсем близко от него, среди дня-деньского кто-то зажег свечу на могиле нашего бойца.

...Земун. Командир 73-й гвардейской Сталинградской дивизии, ворвавшейся в Земун, генерал Козак объясняет мне ситуацию вчерашнего боя. Мост через Саву, ведущий из Белграда в Земун, удалось захватить целым. Показывает мне по карте, где вчера наступали его полки. Вот здесь — 211-й Бассаргинский, вот здесь — 214-й Вораповский. Вспоминает, как под Белградом крестьяне, чуть не тысяча человек, вышли встречать наших солдат. В руках ракия в плетеных бутылках. А дорога разбита так, что не проехать, особенно в самом селе. Крестьяне поставили на землю плетенки и всю ночь протаскивали через свое село машину за машиной, повозку за повозкой — шестьсот машин за ночь,— пока не перетащили все до последней.

Говорит о крестьянах с восторгом. Я уже слышал, что ему присвоено звание Народного Героя Югославии, и сейчас говорю ему об этом:

— Я много слышал о вас!

Отвечает спокойно:

— А я сам больше слышал тут о себе, чем сделал на самом деле.

...Ночь. Концерт дивизионных артистов. Некрасивая девушка в красноармейской форме поет по бумажке песню «Ночь над Белградом». В зале вперемешку сидят красноармейцы, партизаны и сербские священники. Песня из картины «Ночь над Белградом», которую зимой сорок

второго снимали у нас в Средней Азии, в Ташкенте. Сейчас странно, что уже тогда, в далекой эвакуации, кто-то думал о Белграде и снимал о нем эту картину...

...В Белграде все еще хоронят. Последними хоронят немцев. Потом начинают хоронить лошадей...

Некоторые строчки этих заметок стали потом рассказами: «Свеча», «Ночь под Белградом». А единственная подробная запись легла в основу рассказа «Старшина Ерещенко», который верней назвать былью.

Приведу без изменений то, что я записал тогда со слов Ерещенко Николая Ефимовича, старшины, 1924 года рождения, из села Семеновка, о им лично пережитых событиях в один из дней уличных боев за Белград:

«...Когда нам приказали приступить брать этот дом, мы вдвоем с Абдуллаевым первые перебежали к нему через улицу. Но обоих ранило в ноги, его сильно, меня легко. Он идти уже не мог, я стащил его в подвал. Ранение выше колена. Я снял два брючных ремня с него и себя, перетянул ему ляжку и говорю:

— Не кричи, тише, здесь немцы. Убьют.

Засветил фонарик, было восемь утра, и пошел наверх. Вижу, проблескивает свет — дверь на двор. У двери пулемет, направленный прямо в закрытые ворота, и два немца — спиной. Увидел их и сховался. Тут у меня мечта: если я их не убью, то они меня убьют. Взял пистолет и убил их обоих с расстояния метров пять и обратно пошел в подвал.

Абдуллаев просит пить.

— А откуда я тебе возьму? Подожди, полежи, сейчас найду выход из дому и достану тебе воды.

Пошел искать другой выход. Наверно, это был завод — узкоколейка уходила в подвал, а ступеньки куда-то в комнату. Зашел в комнату. Чисто, пусто. Коридор поворачивает направо, а налево еще две комнаты. Зашел в них. Слышу, кто-то идет по коридору. Скрылся за стенку, держа автомат. Подходит женщина, говорит: «Здесь немцы». Нестарая женщина, уборщица.

— А где немцы?

— Сейчас проведу.

Пошли с ней по коридору. Она довела до конца, показывает — там.

Огороженные камнями, лежат внизу на мостовой три

немца. Старуха показала и ушла. Я бросил гранату в окно. Взорвал пулемет и двух немцев, а третий или уполз, или его утащили. Стал выходить из комнаты. В это время по лестнице со второго этажа бросили в коридор гранату, но она мне не повредила — я стал за угол. Только в коридоре все дымом заволокло.

Я вернулся по коридору и открыл крючок на запертых воротах. Когда открыл их, вижу, через улицу наши, старший лейтенант Киселев. Кричу им:

— Дайте мне подмогу! Я один остался, а кругом немцы!

Ко мне перебежали пулеметчик, второй номер, и боец. Но бойца ранило. Добежал и лег. Только они успели перебежать, больше никто.

Мы пошли по коридору в те комнаты, откуда было видно, как немцы обстреливают улицу. Видим, напротив, на третьем этаже, приподняты железные занавеси и оттуда бьет ручной пулемет. Мы дали две короткие очереди, и он замолчал. Но тут же немцы к нам через другое окно бросили снизу, с улицы, гранату.

В комнате стояли нары с тюфяками. Граната разорвалась в тюфяках, но пулеметчика ранило в плечо. Я перетянул его бинтом поверху, не снимая рубашки, и спустился снова к Абдуллаеву.

Абдуллаев просит:

— Воды мне!

— Сейчас. Берись за мои плечи!

Он обнял меня, но не мог удержаться, упал.

— Я,— говорит,— погибаю!

Я бегу наверх, беру тюфяк и иду опять вниз за Абдуллаевым. Говорю пулеметчику: там человек пропадает. Вынесли его наверх на тюфяке. Сейчас, говорим, принесем тебе воды!

Пошли осматривать комнаты. Всюду тишина. Дошли до последнего окна, но тут из дома напротив по нас пулемет! Мы скрылись за стенку. Я выдернул кольцо и кинул гранату туда, через улицы, но она разорвалась под домом. Я — вторую! Она влетела к ним в окно, и мы больше ничего оттуда не слыхали. Теперь мы прошли мимо своего окна свободно и вошли в кухню. Там варилась фасоль, грелся чай и было ведро воды.

Я говорю товарищу: «Смотри кругом, пока я напьюсь воды и налью фляжку!» После меня он тоже попил, и мы вернулись к Абдуллаеву, дали ему наконец воды.

Стало смеркаться. На улице слышен гул мотора. Смотрим, подошла немецкая самоходка и стала под нашими окнами. А гранат противотанковых нет. Я говорю пулеметчику: сейчас я побегу, гранаты возьму. А самоходка подошла как раз под самые наши окна и начала стрелять вдоль по улице.

Я вернулся во двор, к воротам, и кричу через улицы нашим: «Дайте мне гранату!» А наши с той стороны перебежать не могут — немцы ведут вдоль по улице пулеметный обстрел. Тогда я кричу нашим: «Ладно, бросайте так!» Они с той стороны кричат: «Лови!» Сперва запал завернули в бумажку и бросили, но три метра не докинули. Я по-пластунски подполз, взял и обратно отполз. Потом кинули мне гранату, я поймал и бросился обратно по коридору в ту комнату, под которой стояла на улице немецкая самоходка. Вложил запал, дернул кольцо и бросил противотанковую гранату под переднюю гусеницу. И лег к стене под окно.

Через три секунды получился взрыв. Я сразу поднялся к окну. Два немца выскочили с самоходной пушки. Я выстрелил, одного убил, а другой заполз за пушку. Пушка встала. Я оставил бойца наблюдать, а сам вернулся вниз, дал двум раненым воды и пошел к воротам.

Через улицу все еще бьет пулемет, но уже в темноте. Стрельнет и молчит. С той стороны к нам перебежали санитар Трушин и три бойца. Мы стали выносить раненых. Абдуллаева положили на матрас, привязали к матрасу веревку, один перебежал на ту сторону и потом оттуда потянул матрас — быстро, волоком — через улицу!

Вообще мы часто таскали вот так, веревкой, и боеприпасы и завтраки...»

Вот и весь рассказ Николая Ефимовича Ерещенко, дословно записанный в блокноте.

Несколько лет назад, случайно узнав, что он жив-здоров и успел стать до конца войны Героем Советского Союза, я написал ему письмо и получил ответное, которое хочу привести:

«...Получил ваше письмо, которому был очень рад. Да, вы правы, что прошло уже много время с того момента, когда мы с вами виделись. Этот день для меня очень памятный и тем, что это был день освобождения югослав-

ской столицы от немецких захватчиков, а еще и тем, что мне в этот день исполнилось тогда двадцать лет.

Мною вам был вкратце тогда рассказан боевой эпизод городского боя на четвертый день. Но первые дни в городе Белграде были не менее жаркими. Сейчас уже трудно вспомнить все подробно, но бои были тяжелые, и днем и ночью.

Коротко о себе. Живу в городе Кировограде, работаю директором автобазы. Семья моя — жена Антонина, две дочери, Ольга и Татьяна. Оля работает и учится в Политехническом институте. Жена также работает бухгалтером, и все время мы трудимся после войны.

Ерещенко Н. Е.».

Помню, как я колебался тогда в Белграде. Как корреспондент, я обязан был сначала засесть на несколько дней, написать обо всем, что успел увидеть, а потом уж, переправив материал в редакцию, продолжать поездку. Можно было сделать и по-другому — сразу полететь в Москву, отписаться там и вернуться сюда. Но я не мог заставить себя сделать ни того, ни другого. Было жалко терять время, запираться здесь, в Белграде, в комнате, сидеть и писать. И в Москву лететь не хотелось. Хотелось увидеть что-то еще и только потом, набив себя всем виденным до отказа, вернуться и отписаться за все сразу.

Так после всех колебаний я и поступил. Уехал из Белграда во Врщац и явился там на аэродром, не оставляя надежды, что меня отправят с ближайшей оказией в Черногорию, а если не туда, куда-нибудь еще, в Хорватию или Словению.

На этот раз на аэродроме во Врщаце я встретился с человеком, о котором до этого знал только понаслышке,— с начальником нашей авиационной базы в Южной Италии, в Бари, полковником Соколовым, который находился на аэродроме во Врщаце, выполняя специальное задание командования.

Не знаю, правда ли не предвиделось тех оказий, которые я имел в виду, или нашим авиаторам в те дни было почему-то не с руки отправлять меня туда, куда я просился, но Степан Васильевич Соколов сразу и решительно сказал, что таких возможностей пока нет. Но, пожалуй, если генерал Корнеев не будет против, можно полететь в другое, тоже, наверное, интересное для меня место. И при-

том сегодня же ночью. И, еще не сказав, куда именно, поинтересовался, какие у меня при себе документы: давайте поглядим их.

Я вынул из кармана гимнастерки и положил перед ним служебное удостоверение «Красной звезды», свидетельствовавшее о моем звании и должности, и мое предписание: «Направляется в действующую армию...»

Соколов посмотрел и вздохнул:

— Маловато. Надо бы паспорт.

Я удивился:

— Какой же у меня, у военнослужащего, паспорт?

— А вот такой,— вытащив из кармана свой заграничный паспорт, сказал Соколов.— Полетим-то с вами в Италию!

Когда я услышал это «полетим», мне, несмотря на предыдущее «маловато», показалось, что Соколов в душе готов взять меня с собой и сейчас, задним числом, только прикидывает сложности, с которыми это может быть связано.

Я не совсем уверенно напомнил, что первоначальное разрешение на полет к югославам было получено от Молотова и что, наверное, можно считать, что оно действительно и для полета на нашу воздушную базу в Бари...

Соколов ничего не ответил. Еще раз посмотрел мои документы и, окинув взглядом меня самого, добродушно усмехнулся.

— Вид у вас, в общем, более или менее подходящий, заурядно строевой. Colonel как colonel! О'кэй!

При моих слабых позициях в английском я все же знал что colonel — это полковник, а я всего-навсего подполковник, но Соколов объяснил, что англичане и американцы слово «подполковник», обращаясь друг к другу, не употребляют. Подполковник, полковник — у них все равно: colonel!

Сказав мне напоследок для ободрения, чтобы я выкинул из головы, какие у меня документы — те или не те, раз полетим, то это будет уже не моя, а его, Соколова, забота. «Даст бог, не только до Бари, а и до Неаполя и Рима вас довезу!» — Соколов ушел то ли связываться с Корнеевым, то ли заниматься своими предотлетными делами.

— Советую поспать! Полет ночной! — были его последние слова.

Стихи, которые я спустя несколько лет написал об этом

полете, так и назывались «Ночной полет» и начинались со строчек:

Мы летели над Словенией
Через фронт, наперекрест,
Над ночным передвижением
Немцев, шедших на Триест...

Все в ту ночь именно так и было, хотя сам я почти до конца полета ничего не видел. Над горами Югославии стоял очень высокий облачный фронт, и мы, поднимаясь над ним, все набирали и набирали высоту. О том, что мы можем пойти на такой высоте, когда станет трудно дышать, я заранее не думал. Если что и тревожило — мысль о немецких зенитках. И поначалу, когда мы поднимались все выше и выше, это меня, наоборот, успокаивало.

Что на самом юге Италии, в городе Бари, существует наша авиационная база, с которой наши летают в Югославию, в разные ее точки, по разным заданиям, а кроме того, вывозят оттуда в Италию, в госпитали, тяжело раненных партизан, я знал уже давно. Побывать там было интересно само по себе, а возможность вдобавок оказаться еще в Неаполе и в Риме тогда, в 1944 году, казалась мне совершенно несбыточной и в первую минуту просто-напросто ошеломила меня. Ведь это был еще даже не сорок пятый, а всего только сорок четвертый год!

Напомнив об этом, приведу сохранившиеся у меня в блокноте записи.

...Последние километры над тихой водой Адриатического моря. Все приближаются очертания берега. Слева ожерелье береговых огней, под ногами огоньки аэродрома. Садимся на освещенное поле. Вылезаем. После полета на высоте пяти с половиной тысяч метров воздух по-летнему жаркий.

Соколов велит мне сразу же из самолета быстро идти во встречающий нас, подогнанный к самому самолету штабной «шевролет» военного образца. Уже из «шевролета» вижу, как он разговаривает с каким-то подъехавшим к самолету на таком же «шевролете» английским офицером. Смеются и дружески хлопают друг друга по плечам.

Соколов садится в машину. Едем несколько километров. Приезжаем в дом, стоящий за оградой в саду. Здесь

живут наши. Называется это «Вилла ди Веллина»: Мне говорят, что здесь останавливался маршал Тито после того, как наши летчики вывезли его из Дрварского ущелья. Пьем по чашке кофе и сразу ложимся спать; все устали. Думал, что просплю долго, а проснулся через три часа. Комната маленькая, белая, а окно голубое: снизу, с койки, в него видно только небо.

Открываю окно. Во дворике виллы растут пальмы и апельсиновые деревья. Первый раз в жизни вижу апельсины прямо на ветках. И совсем желтые и желто-зеленые. За низкой каменной оградой вдали спокойная, голубая полоса моря. Одеваюсь и выхожу во двор. Все еще спят.

Увидев меня, из дома вслед за мной выходит югослав в форме, но без знаков различия. Знакомимся, довольно понятно говорит по-русски. Его зовут Антон. После госпиталя занимается тут, на вилле, хозяйством, повар. Говорит, что пойдет сейчас в город. Оказывается, Соколов ночью, когда прилетели, сказал ему, чтобы купил омаров — хочет угостить меня.

Идем по шоссе до Бари, в его портовую часть. Сначала идем через новую часть города. Накатанный асфальт, свистящий шелест шин. Новые, многооконные, большие, но, несмотря на размеры, легкие здания. По таким улицам хочется быстро проехать. Потом, ближе к рыбному рынку, старая часть города. Узкие, мощенные камнем улицы. Дома не такие высокие, а кажутся высокими из-за того, что улицы очень узкие. Здесь, наоборот, хорошо, что идем пешком — хочется все время останавливаться.

Дома крепкие, стены толстые, двери часто стеклянные — одновременно и дверь и окно, за которыми тесная и полутемная комната. Внутри у открытых дверей, почти на улице, кто-то жарит и варит на маленьких таганках; кто-то за деревянным столом без скатерти доедает завтрак. А в глубине на кроватях еще спят.

Среди домов высокая, уходящая далеко в небо базилика. Поднимаюсь по истертым ступеням, захожу внутрь. Полумрак и пустота. Антон знает итальянский, говорит, что его знают почти все далматинцы. Прошу его узнать, когда построена эта базилика. Привратник говорит, что в одиннадцатом веке. Ощущение древности этих улиц. У нас все оставшееся от одиннадцатого века наперечет, по пальцам! А здесь в каком-то городе, на какой-то улице какая-то, кажется, мало кому известная базилика.

Обыкновенная церковь, одна из многих. Одиннадцатого века — и никого это не удивляет!

Проходим мимо крепости. Не такая старая, но тоже пятнадцатого века, сложена из тяжелых замшелых плит. А на верхушке башни приборы английской военной метеостанции.

Мулы уличных торговцев. Седла с высокими деревянными закраинами, инкрустированные перламутром и медью. Если глядеть спереди или сзади, по форме похожи на наши старинные женские кокошники.

Рыбный рынок — каменный, внутри оцинкованные стойки. Две огромные лошади, впряженные в громыхающую по плитам телегу; на ней ящики с живой рыбой. К телеге кидаются розничные торговцы, хватают, накрывают грудью и руками ящики, отталкивают чьи-то другие руки, шумят, кричат. Мне кажется, что дело сейчас дойдет до драки, но ничего подобного! Никто ни с кем не поссорился, никто никого не ударил. Всю рыбу разобрали кто куда, и вся она уже на цинковых стойках. Все опять тихо и мирно.

Антон обходит стойку за стойкой и говорит мне, что омаров на рынке нет, «пойдем к морю, может, купим у рыбаков».

Выходим к морю. У берега рыбаки в закатанных по колено штанах ловят между камнями крабов. На пляже стол с навесом и скамейками. Продают только что пойманных устриц и морских ежей. Устрицы дорогие, их берут мало, а морские ежи — дешевая еда. Итальянцы приходят сюда целыми семействами, покупают этих ежей, похожих на каштаны, режут пополам, поливают их соком кусочки хлеба, выскребают из скорлупы все остальное и запивают принесенным с собой вином.

Море тихое. О войне напоминают только мачты потопленных во время последнего немецкого налета кораблей — торчат из воды.

Купив омаров, возвращаемся. По улице мимо нас со страшным ревом лупит вереница «виллисов». На первом американский летчик и местная невеста в фате и подвенечном платье. «Виллисы» гудят непрерывно, словно зацепившись этими гудками один за другой...

...Едем с Соколовым в Неаполь и Рим. Все-таки не удерживаюсь и спрашиваю его насчет документов. Машет рукой, говорит:

— Ничего, обойдемся моими. У вас ничего не спросят.

Только бы андерсовцы, увидев нашу форму, где-нибудь не задрались, не вышло бы из-за них скандала. Тогда хуже. Но бояться таких вещей мы тут не приучены. Поживем — увидим.

Из дальнейшего разговора выясняется, что польский корпус Андерса, сформированный у нас, но не захотевший сражаться на нашем фронте, воевал здесь, в Италии, между Неаполем и Римом, понес очень большие потери под Кассино. Андерсовцы тут злые на всех сразу, в том числе и на англичан, потому что англичане сунули их под Кассино, в самое пекло, где потяжелее, и их там легло очень много.

— Поживем — увидим,— повторяет Соколов. С тем и едем.

В Неаполе осматриваем крепость у моря. После осмотра разговариваем с проводником.

— Как, вы русские? А я думал, вы поляки. Нет, постойте. Если вы русские, то где же у вас серп и молот? Считает, что у нас где-то должны быть обязательно пришпилены серп и молот.

Ночуем в английской военной гостинице, в комнате вдвоем с Соколовым. Соколов еще спит, а я просыпаюсь и автоматически вскакиваю с постели от чьего-то присутствия. И действительно, в комнате английский солдат. У него на каталке чайник и кружки. Налил из чайника две большие кружки коричневого густого чая с молоком, поставил на тумбочки около меня, проснувшегося, и Соколова, спящего, и, не сказав ни слова, развернул свою каталку и ушел. Чай, как выясняется, крепкий и вкусный.

Хотя и война, но дороги в Италии хорошие. Едем от Неаполя до Рима почти без объездов. Иногда на шоссе как на шахматной доске: в серый асфальт вкладками темные пятна там, где были воронки.

Соколов говорит, что до войны итальянские дорожные рабочие славились по всей Европе не только мастерством, но и тем, что им можно было при этом мало платить. Хотя немцы, когда отступали, взорвали на шоссе почти все мосты, но этого едешь и не замечаешь. Все мосты восстановлены. И только когда вдруг перед мостом резко сворачиваем в сторону, понимаем, что мост новый и к нему сделан заново поворот шоссе. А остатки взорванного моста то слева, то справа.

Ливень. Проехав Капую, попадаем на шоссе в воду — вышла из берегов горная речка и катит через шоссе.

Мотор заглох. Стоим посреди воды, и вылезти некуда.

Навстречу, тоже через воду, едет грузовик с американцами. Разворачивают свой «студебеккер», подцепляют нас на буксир и вытаскивают. Отцепив на сухом месте, откозыряв, разворачиваются и едут дальше.

Вообще, к чести наших союзников, взаимопомощь на дорогах тут поставлена на ять.

Кругом следы боев. Все слева и справа от дороги разбомблено или разбито. Много воронок, много предупредительных знаков там, где еще не разминировано, по бокам от шоссе.

Подъезжаем к тому, что было городом Кассино. По местности сразу понятно, почему здесь были такие сильные бои. И слева, и справа от дороги горы. Все как на замке. А дорога упирается прямо в Кассино, как в скважину, в которой надо повернуть ключ. Только уже въехав в Кассино, в развалины, видим, что дорога там сворачивает влево, в объезд города.

Зона разрушения начинается еще километров за шесть, за семь до города. Воронки от бомб перекрывают одна другую. Иногда дома разбиты так, что остались только белые каменные брызги среди травы.

Колючая проволока, уже заржавевшая, вывернутые из земли потроха блиндажей. Надписи: «Не сходить с дороги», «Опасно». В самом городе не разберешь, где были прежде улицы. Он еще не расчищен.

Среди всей мертвечины вдруг около дороги старый довоенный деревянный столб с желтой дощечкой и указателем: «Отель». Вылезаем около него и ходим среди развалин. Да, здесь, ничего не скажешь, были бои, и очень жестокие. Это не просто бомбежка. Это такое мелкое крошево из камня, которое получается, когда день за днем, неделю за неделей лупит по одному и тому же месту артиллерия.

Среди развалин к нам подходят три польских солдата-андерсовца. Стоим, ждем, что будет. Может быть, идут с намерением устроить с нами потасовку? Оказывается, нет. Подошли, чтобы спросить про Польшу. Рассказываю о том, что видел. О боях за Вислой, на плацдармах южнее Варшавы. Они, в свою очередь, рассказывают о боях за Кассино, говорят о том, что я уже слышал от Соколова, что их польские части понесли особенно тяжелые потери. Сейчас они стоят здесь поблизости в резерве и отдыхают.

Двое родом из Люблина. Один из них, узнав, что я

был в Люблине, расспрашивает про город, сильно ли пострадал, какие улицы целы, какие разрушены. Улиц не помню, но, в общем, успокаиваю его, что город более или менее цел.

Спрашивает, где сейчас правительство, в Люблине? Отвечаю, что, кажется, да. Говорит после этого, что ему хочется в Польшу, чтобы там, в Польше, воевать с немцами. Второй кивает.

Садимся в машину, отдаем честь. Поляки тоже. Стоят, смотрят вслед.

Дальше по дороге на Рим тоже многое разрушено, но не так сильно, как в Кассино. А сам Рим цел и ничем не напоминает о войне. На улицах шумная южная толпа и очень много велосипедов. Машин тоже много, но, наверно, все-таки не хватает бензина. Очень много военных. Каких только нет! Американцы, англичане, канадцы, австралийцы, новозеландцы, южноафриканцы, французы, поляки, чехи, бородатые индусы. Эти видны сразу, а всех остальных различаем главным образом по нашивкам на рукавах.

В палаццо «Венеция», где раньше с балкона выступал с речами Муссолини, устроена выставка шедевров, привезенных из всей освобожденной части Италии. Картин немного, всего пятьдесят, по одной-две на залу, но самые лучшие и самые знаменитые: Рафаэль, Боттичелли, Рубенс, Гольбейн, Ван-Дейк, Тициан, Караваджо. Залы полны американскими, английскими, канадскими и всякими другими солдатами, приехавшими в отпуск с фронта.

Вечером идем в оперный театр на оперу «Лючия ди Ламермур». Знаю о ней только, что ее у Толстого слушали Анна Каренина и Вронский. Не знаю, почему поставили именно ее. Может быть, из-за англичан и американцев, из-за того, что ее сюжет из шотландской жизни.

На сцене скалы Шотландии и актеры-мужчины в клетчатых шотландских юбках. А когда в антракте зажигается свет, вижу, как из соседней ложи выходят два офицера в шотландских юбках, таких же, как на сцене...

...Из Рима едем в Неаполь, обратно, другой дорогой, вдоль побережья. Тут тоже были большие бои. Городки поблизости от дороги разрушены или полуразрушены. Незадолго до Неаполя спускает камера, а у нас нет насоса. Встаем у обочины. Несколько итальянцев завтракают на траве около мотоцикла, переоборудованного в крошечный грузовичок. Итальянцев, взрослых и детей,— десять.

И все они, как видно, едут на этом грузовичке, да еще с корзинами и чемоданами. Непонятно как, но факт.

Итальянцы не только дают нам насос, но и помогают качать колесо. Выясняется, что это семья рабочего консервного завода, которую везет обратно в Неаполь их родственник, механик, владелец и конструктор этого мотоцикла-грузовика.

Поняв, что мы советские, спрашивают про Сталинград — правда ли, что он уже весь заново выстроен и теперь опять самый красивый город в России? Чувствуется, что верят в наши неограниченные возможности. Спрашивают про «катюшу» — правда ли, что Красная Армия не применяла на полную мощь это страшное оружие на своей территории, а теперь, когда будет наступать по Германии, применит эту «катюшу» на полную силу? Женщина, у которой муж дорожный рабочий, спрашивает, можно ли будет после войны поехать в Россию строить дороги.

Потом, когда разговорились, спрашивают, как в России относятся к итальянцам из-за того, что они воевали против нас, вместе с немцами. Волнуются, что мы ответим. Успокаиваются. Требуют, чтобы мы доели с ними их завтрак. Когда отказываемся, говорим, что уже позавтракали, требуют, чтобы выпили по глотку вина — у них с собой большая плетеная бутылка. Чувствуем, что это принципиально важно, и пьем. Когда трогаемся, машут вслед руками.

Под самым Неаполем колесо еще раз подводит. Около дороги роща, у въезда в рощу шлагбаум, у шлагбаума американский солдат. Оказывается, нам повезло. Как раз в этой роще какая-то американская ремонтная часть. Часовой вызывает лейтенанта. Приходит большой неразговорчивый человек, из рукавов далеко вылезают огромные рабочие руки. Рассматривает колесо, потом, сам сев за руль нашей машины, везет нас через рощу на полянку — там стоит его ремонтная летучка.

Лейтенанту помогают несколько итальянских мальчишек. Он командует ими. С нашей машины снимают колесо, ставят на него другую резину. У мальчишек что-то не клеится, лейтенант сам привычно и ловко помогает им. Через пятнадцать минут все готово. Лейтенант говорит «о'кэй»; ничего другого он за все время и не говорил. Мы, поблагодарив его, едем — все в порядке.

...Возвращаемся в Бари. Вечером перед обратным

вылетом идем в кино. Сегодня первый день демонстрируется «Диктатор» Чаплина. Давка такая, что только наша советская военная форма позволяет нам кое-как протиснуться в зал.

Зал неистовствует, смеется над Гитлером и Муссолини. Особенно над Муссолини. Это ближе и потому смешнее. В тех местах, где он появляется, зал стонет от хохота.

Мне картина тоже нравится, но не смешит меня почти нигде. Смотрю и никак не могу отделаться от мысли, что где-то там еще живет и действует живой, настоящий Гитлер. У нас эту картину, наверно, не смогли бы смотреть — слишком много страшного на памяти...

К этим тогдашним записям добавлю, что для Степана Васильевича Соколова поездка в Рим не была туристской прогулкой. Он встречался там с представителями нашего командования при Главном союзном командовании в Италии. Короче говоря, у него были свои служебные дела, в которые он меня не посвящал.

Сначала предполагалось, что я полечу из Бари прямо в Москву. Туда надо было лететь одному из находившихся в то время в Бари наших авиаторов, полковнику Щелкунову. Полет предполагался беспосадочный, прямо до Москвы. По тому времени рейс достаточно длинный. Но самолет был для этого оборудован дополнительными, облегченного типа, стоявшими прямо в фюзеляже брезентовыми баками для горючего, а кроме того, в него ничего не предполагалось грузить. Должны были лететь только экипаж и мы двое с полковником.

Однако погоды, как назло, несколько ночей не было. Один раз, если только меня не подводит память, мы все-таки вылетели, но вернулись, не смогли пробиться через очень высокий грозовой фронт. Потом опять не было погоды, не обещали ее по дальнейшей трассе, давали только до Белграда. В конце концов мы полетели не в Москву, а в Белград и приземлились там не то на десятые, не то на одиннадцатые сутки после нашего вылета в Италию.

На обратном пути погода была хорошая, шли на гораздо меньшей высоте, чем когда летели туда, в Италию. Нехватки кислорода не испытывали, зато видели под собой звездочки зенитных разрывов. Хорошо запомнил их, потому что много раз за войну видел их над собой, вверху и лишь этот единственный раз — под собой, внизу.

Вернувшись в Белград, я седьмого ноября был там на приеме, который маршал Тито устраивал в только что освобожденной от фашистов столице Югославии по случаю двадцать седьмой годовщины Октябрьской революции. И вдруг под конец этого вечера за столом югославские партизанские генералы запели старую красноармейскую песню двадцатых годов, напомнившую мне детство, военный городок, пехотное училище в Рязани и тогдашних краскомов — сослуживцев отца по этому училищу.

Эй, комроты!
Даешь пулеметы!
Даешь батареи,
Чтоб было веселее!

В Белграде пели эту песню так же, как пели тогда, в двадцатые годы, в Рязани,— озорно, лихо, с присвистом. И между моими детскими воспоминаниями и этой вдруг зазвучавшей в Белграде песней была какая-то очень важная для меня связь времен.

Утром я день отлета из Белграда — лететь предстояло во второй половине дня — я поехал на хорошо знакомую всем, кто бывал в Белграде, гору Авала — высокий и удивительно красивый, поросший лесом холм километрах в десяти от центра города. На этой горе, на самой вершине, стоял тогда и стоит сейчас памятник югославского скульптора Мештровича над могилой Неизвестного солдата, не вернувшегося с той, первой мировой войны.

Я впервые был на этой горе в дни освобождения Белграда, видел следы обстрела, щербины, выбитые осколками наших снарядов в черном мраморе памятника. И знал, правда из вторых уст, некоторые подробности боя. На Авале находился немецкий наблюдательный пункт. Сначала наши били по нему из пушек, а потом, узнав, что странного вида постройка на самой вершине горы — памятник Неизвестному солдату, прекратили обстрел и, забравшись на гору, уничтожили засевших там немцев гранатами и автоматным огнем.

Я задумал написать рассказ о могиле Неизвестного солдата и перед этим хотел еще раз побывать там.

Я не умею писать пейзажи, да обычно мне и не приходит это в голову. Но бывали в жизни, в том числе и на войне, исключения, когда какое-то внутреннее значение пейзажа поражало меня, и тогда он уже навсегда западал в память.

Так было и тогда, с горой Авала. То, что именно наверху этой горы, с которой на все четыре стороны света — на юг, север, восток и запад — открываются лежащие кругом нее сербские земли, что именно в этой точке находится могила Неизвестного сербского солдата прошлой мировой войны, было связано для меня с мыслями не только о прошлом, но и о будущем, о том, какой же будет в нашем сознании память об этой второй мировой, еще не довоеванной войне.

С того дня прошло очень много лет. И вот в 1971 году, тоже осенью, я снова поднялся на Авалу.

Я, конечно, помнил о трагедии, которая произошла здесь в 1964 году, когда наши ветераны боев за Белград, летевшие на двадцатилетие со дня его освобождения, погибли при катастрофе самолета, врезавшегося в склон Авалы всего на несколько сот метров ниже могилы Неизвестного солдата.

Я помнил это, и все-таки, когда увидел врезанную в склон горы каменную плиту со скорбным списком, начинавшимся с имен маршала Бирюзова и генерала Жданова, командовавшего тем самым мехкорпусом, который первым прорвался к Белграду, когда я увидел в этот осенний будничный день цветы у подножия плиты и стоявших перед ней без шапок людей, у меня стиснуло горло.

Умом я понимал, что это всего-навсего случайность, катастрофа, и все-таки, может, оттого, что это была именно Авала с ее могилой Неизвестного солдата, казалось, что смерть настигла этих людей откуда-то оттуда, из прошлого. Тогда, в боях, не коснулась, прошла мимо — под ногами, над головами, на метр справа, на сантиметр слева... А тут, когда они летели на двадцатилетие Победы, все-таки дождалась и настигла.

И в Сербии, и в Хорватии, и в Македонии, и в Черногории, где бы я ни был в эту поездку, осенью семьдесят первого года, на столичных площадях и на сельских улицах, на въездах и при выездах из городов и деревень, на перекрестках дорог и на поворотах горных серпентин — везде я видел памятники погибшим в годы войны с фашизмом.

Памятники были самые разные — иногда плиты, иногда обелиски, иногда скульптуры.

А общим было одно — везде стояли даты смерти: сорок второй, сорок третий, сорок четвертый... И почти везде — даты рождения, объяснявшие, что погибшим

было еще так мало лет! Всего восемнадцать, двадцать, двадцать один...

И когда в городе Опатии в курортном парке я вдруг увидел памятник человеку, которому, судя по датам, когда он погиб, было под восемьдесят, я долго смотрел на медную табличку, прежде чем понял, что этот человек не погиб в бою, а умер своей смертью, и что он не партизан, а ученый-садовод, заложивший когда-то этот парк, где теперь стоит ему памятник.

Так непривычно было увидеть в послевоенной Югославии памятник человеку, умершему в своей постели...

И это чувство непривычности сближало меня с югославами, мою память о войне — с их памятью, мое прошлое — с их прошлым.

Не знаю, достаточно ли внятно объяснил я это свое чувство, но, не сказав о нем, не могу проститься с Белградом осени сорок четвертого года...

До Москвы из Белграда тогда, в сорок четвертом, я добирался сначала тремя самолетами, с пересадками и ожиданиями погоды. А потом, от Брянска, поездом.

Прямо с дороги явившись в «Красную звезду», я стал докладывать заместителю редактора Александру Яковлевичу Карпову о том, где был и что делал.

Мой рассказ о полете в Италию Карпов выслушал с удивлением и впервые в жизни наорал на меня, имея к тому все основания.

— Мы его, понимаешь, две недели искали, рассылали по военному проводу запросы, а он был в Италии! Да кто тебе разрешил? Ты хоть там, на месте, у кого-нибудь «добро» получил?

Пришлось сказать правду: не получал.

— Будет тебе теперь на орехи! Так достанется, что света не взвидишь! Да ты хоть понимаешь, что наделал? — кипятился Карпов.

Я молчал. Понимал, что выволочка справедливая, но что сделано, то сделано.

Замолчал и Карпов. Долго ходил по кабинету и думал. Потом остановился передо мной.

— Сколько тебе нужно времени написать о том, что видел в Италии? Четырех часов хватит?

Я сказал, что хватит.

— Бери машинистку, запирайся и диктуй, не уходя из редакции.

Я заперся с машинисткой и, надиктовав за четыре

часа не больно-то складный очерк «По дорогам Италии», принес его Карпову.

Карпов прочел, отправил в набор с пометкой «срочно». И только после этого впервые усмехнулся.

— Вот, отправил в набор на свою голову. Пусть все увидят, что эта твоя Италия уже лежит у нас в набранном виде, прежде чем ты растреплешься о своей авантюре и с тебя начнут требовать устных и письменных объяснений, как и почему. Раз собираемся печатать в газете, авось никому не придет в голову, что такая поездка могла быть ни с кем не согласованной.

Надежда оправдалась. Очерк появился в газете. Правда, не сразу; но объяснений — как и почему я оказался в Италии,— ни устных, ни письменных, с меня так никто и не спросил. Спасибо покойному Александру Яковлевичу и за его газетную хватку, и за его товарищескую выручку! Задним числом хорошо понимаю, что, публикуя этот очерк, он рисковал больше, чем я.

Вслед за итальянским очерком были опубликованы с продолжениями мои записки о пребывании у партизан Южной Сербии, а потом «Красная звезда» и «Правда» напечатали несколько моих югославских рассказов, которые все вместе составили книжку «Югославская тетрадь».

Работая над ней, я как-то даже незаметно для себя перешагнул из сорок четвертого года в сорок пятый...

Сорок пятый

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

После поездки в Югославию мне хотелось в следующий раз поехать и написать об уже начавшемся к тому времени освобождении другой славянской страны — Чехословакии.

В ту пору воевавшим на территории Чехословакии Четвертым Украинским фронтом командовал генерал армии Иван Ефимович Петров, о котором уже не раз шла речь в моем дневнике. Изредка, пользуясь оказиями, мы переписывались с ним и как раз в конце работы над своей югославской книжкой в январе 1945 года я получил коротенькое письмо от Ивана Ефимовича, где было несколько добрых слов о моих уже напечатанных к тому времени в «Красной звезде» югославских записках и предложение, если будет возможность, приехать на Четвертый Украинский. «Думаю, вам, как писателю, у нас будет тоже интересно. Если приедете, не раскаетесь!»

Письмо Петрова тоже подтолкнуло меня попроситься именно в эту, а не в другую редакционную командировку. У нас, в «Красной звезде», охотно согласились на это, и, скажу сразу, как писатель, я действительно не раскаялся в своем решении, хотя, как военный корреспондент,

поехав на другие, главные и более успешно действовавшие в тот период фронты, я увидел бы куда больший размах событий и, наверно, больше бы сделал для своей газеты.

Писатель к концу войны начал подавлять во мне журналиста: я все меньше писал в газету корреспонденций и все больше полуочерков, полурассказов, все чаще я рассматривал свои записи в блокнотах не как материал для завтрашней корреспонденции, а как заготовки для чего-то, что напишу когда-нибудь потом. Внутри меня, соседствуя и все чаще противореча друг другу, боролись два видения войны — условно говоря, корреспондентское и писательское. И последнее к концу войны брало верх, порой в ущерб моим прямым корреспондентским обязанностям. Все чаще хотелось иметь время подумать над тем, что видел. Превращение увиденного и записанного в очередную корреспонденцию, которую надо срочно, тут же, написать и срочно, любыми способами доставить в редакцию, давалось все труднее...

Тогда я старался не признаваться в этом даже себе. Но теперь мне стало ясно, что состояние духа, в котором я оказался на распутье журналистских и писательских дорог, очень многое объясняет в моих записях, сделанных в последний год войны.

Передо мной лежат: блокнот с надписью: «Черновые записи 1945 года»; блокнот с надписью: «Партизаны — 1945-й»; блокнот с надписью: «Освенцим» и пачка сколотых листков с пометкой: «Сорок пятый, Закарпатье».

Может быть, были и другие блокноты? Помнится, были. Но сохранились только эти. И это все, что осталось у меня от первых полутора месяцев поездки на Четвертый Украинский фронт, с конца января до десятого марта.

Смотрю на эти листки блокнотов, в которых тогда мне было все ясно, а сейчас многое неясно, и понимаю, что не имею права вводить в заблуждение читателя. Воспоминания, которые возникают у меня сейчас, когда я заново разбираю все это строчка за строчкой, слишком приблизительны. И я могу сделать только одно — попробовать очень коротко восстановить, чем же я занимался тогда и что видел.

Приехав с командировкой «Красной звезды» в Новы-Тарг, где стоял штаб Четвертого Украинского фронта, я вскоре перебрался в 38-ю армию, которая вела в это время бои в Южной Польше под Бяла-Бельской. Был

в частях армии, видел эти бои, но подробностей ни блокноты, ни память не сохранили.

После этого я поехал в село Кремпахи, где размещался тогда штаб партизанского движения Четвертого Украинского фронта, и около двух недель записывал там рассказы участников Словацкого восстания; они легли в основу двух моих очерков, напечатанных в «Красной звезде» и вошедших потом в книгу «Письма из Чехословакии».

В блокнотах осталась запись удивительной истории доктора Юлия Бернарда, уже после поражения восстания спасшего целый партизанский госпиталь с тяжелоранеными. Остался короткий кусочек его допартизанской биографии: «...Родился в семье аптекаря-еврея. С приходом немцев всю их семью сожгли в Майданеке. А он с братом бежал и в октябре, когда в Татры пришла партизанская бригада Величко, командир бригады узнал от жителей, что в горах скрываются два врача-еврея. Он позвал их, и они с радостью пошли в партизаны...»

Осталось и описание того, как выглядел тогда Юлий Бернард: «...Высокий, черный, чуть курчавый, худой, несильный физически человек. Синие, умные, внимательные, почему-то чуть-чуть раскосые глаза. Маленькие руки с тонкими пальцами. Ему двадцать два года, узкоплечий, все на нем болтается, как на вешалке...»

Вскоре после войны я написал и напечатал в «Правде» документальный рассказ о его подвиге: «В Высоких Татрах», а еще через полтора десятка лет встретил его и не узнал — худенький долговязый партизанский доктор вымахал в здоровенного средних лет мужчину и стал директором издательства Венгерской академии наук. Только одни глаза были прежними — синими и чуть-чуть раскосыми...

Осталось в блокнотах и несколько отрывочных, для памяти, записей о наших ребятах-парашютистах, пришедших на помощь словакам. Наверно, я собирался тогда написать и о них, но почему-то не написал, а жаль! Среди записей есть одна, очень коротенькая, но много говорящая о душевном состоянии этих людей, только что вернувшихся с задания, во время которого они бессчетно рисковали жизнью:

«Я о себе уже четыре приказа на ордена знаю! Вот бы их получить. А там можно и опять выбрасываться, хоть на крыши в Берлине... Что же нам еще делать, надо

снова прыгать... А потом что делать? Ну а потом в Китае на год работы хватит. А потом — неизвестно...»

Тогда, в сорок пятом году, я, конечно, знал, а сейчас не помню, с чьих слов сделана запись. Но в ней чувствуется дух времени, готовность солдат революции до конца выполнить свой интернациональный долг всюду, где это от них потребуется...

После Кремпахов была поездка в Закарпатскую Украину. Поехать туда мне особенно настоятельно советовал член Военного совета Четвертого Украинского фронта Л. З. Мехлис.

Встречи с крестьянами, с учителями, с православными священниками, подвергавшимися преследованиям во время оккупации, разговоры о будущем присоединении Закарпатья к Советскому Союзу... Ездил по Закарпатью, потому что хотел написать обо всем этом, но в блокнотах остались лишь короткие записи с пометками: «важно», «не забыть»...

После Закарпатья был в Освенциме. В этом блокноте всего несколько страниц, которые и сейчас, спустя столько лет, страшно перечитывать и не хочется приводить здесь, после того, как я, опираясь на гораздо более подробные записи, уже рассказал о Майданеке — этом страшном двойнике Освенцима.

Не считая материалов, легших потом в основу моих газетных очерков, в блокнотах сохранилось немногое. Даже о таком существенном для меня событии, как поездка в Чехословацкий корпус,— в блокноте всего три строки: «В промежуток между двумя фразами наступления ездил на несколько дней в Словакию в Чехословацкий корпус генерала Свободы, который в то время вел бои в районе Липтовский Микулаш».

Кстати, начало этой фразы сбило меня с толку, и при публикации дневника в журнале я отнес свою поездку к середине марта, а не к первым его числам, когда она была на самом деле. Слова насчет «промежутка между двумя фазами» я по ошибке отнес к семидневной паузе в ходе наступления на Моравска Остраву, тогда как на самом деле речь шла совсем о другом промежутке,— когда после перерыва в своих наступательных действиях на территории Польши и Чехословакии Четвертый Украинский фронт готовился к прорыву на Моравско-Остравском направлении.

Я был в корпусе у Свободы пятого-шестого марта и

вернулся в штаб фронта впритык перед началом событий.

На это упущение памяти мне указал в своем письме полковник в отставке Алексей Алексеевич Шипов, состоявший тогда постоянным корреспондентом нашей «Красной звезды» при корпусе Свободы.

В своем письме он напомнил и о том, как именно родилась та моя статья «Генерал Свобода», которую, как только она появилась в «Красной звезде», сразу же передали по радио на чешском и словацком языках:

«Именно потому что я был постоянным корреспондентом при корпусе и близко знал чехословацких товарищей, я смог правильно ответить тогда на твой вопрос:

— Как думаешь, о чем же мне писать? (На фронте не было в те дни «больших дел».)

— Напиши о генерале Свободе.

И я объяснил тебе, почему так важно о нем написать. И именно тебе, потому что твое имя было уже известно...»

В корпус генерала Свободы, который вел наступательные бои в горных районах Словакии, на левом фланге Четвертого Украинского фронта, мне пришлось ехать довольно длинной, кружной дорогой.

К сожалению, как я уже сказал, и после этой поездки, в которой судьба свела меня с будущим президентом Чехословакии, у меня не сохранилось никаких дневниковых записей. Но мне хочется, чтобы след этой встречи все же остался в книге. Поэтому я сделаю еще одно исключение из правила и приведу здесь выписку не из дневника, а из своей корреспонденции «Генерал Свобода», посланной по телеграфу с фронта.

«...Невдалеке слышалась канонада, но было уже поздно, стемнело, и мне думалось, что если генерал Свобода был весь день на наблюдательном пункте, то он, наверное, уже вернулся...

— Генерала нет,— сказали мне.

— А где же он?

— Как «где»? На наблюдательном пункте.

— Когда он вернется?

— Наверное, поздно. Он всегда возвращается поздно.

После долгой дороги я решил заночевать в помещении штаба корпуса и, заснув как убитый, проснулся только утром в девять. Наспех одевшись, я тотчас же отправился к генералу.

— Он на наблюдательном пункте.

— Давно он уехал?

— Давно, в пять утра. Он всегда уезжает очень рано.

Уперев оба фланга в заваленные многометровым снегом скалы, немцы упорно удерживали в своих руках единственную, шедшую по ущелью дорогу. Даже на шоссе метель свирепствовала так, что на ровном месте приходилось откапывать машину лопатами.

Мы свернули с шоссе и поехали лесной бревенчатой дорогой, как где-нибудь на Северо-Западном фронте в сорок втором или сорок третьем году. Однако даже и эта бревенчатая кладка не спасала от метели. На открытом участке длиной метров в пятьсот дорогу так замело, что мне с провожатым пришлось бросить «виллис» и идти до ближайшей деревни пешком, а там седлать лошадей и верхом ехать на наблюдательный пункт к генералу. Смотреть навстречу метели было почти невозможно, приходилось закрывать руками глаза и отдаваться на волю лошади, которая под снегом нащупывала дорогу. Наконец мы добрались до деревни, где прямо посреди улицы стояли тяжелые полковые минометы, с визгом палившие по немцам через крыши домов.

Свернув в поднимавшуюся на холм улицу, мы добрались до наблюдательного пункта генерала. В избе на лавках сидело несколько офицеров, а на табуретке у стола, на котором была разложена большая карта, сидел сам генерал Свобода. Я знал, что сегодняшний день был тяжелым днем, что немцы беспрерывно контратаковали и как раз сегодня корпусу удалось продвинуться только на то расстояние, которое, как бы щедро ни было оно полито кровью, все равно не отмечается в сводках Информбюро.

— Неважно сегодня воюем,— сказал генерал.

Это были первые слова, которые он сказал мне после «здравствуйте», и повторил:

— Неважно воюем. Контратакуют, отбиваем. Но сами продвинулись только на несколько сот метров. А когда начинаем измерять на метры, это плохо, даже когда это временно.

За пять минут до этого генерал послал с каким-то поручением одного из своих офицеров. Тот вернулся, запорошенный снегом, и, громко щелкнув каблуками, как это принято в чехословацкой армии, доложил о своем прибытии.

— Ну как, видно? — спросил его генерал.

— Так точно, можно наблюдать.

— Ну что ж, пойдемте на наблюдательный пункт,—

обратился ко мне генерал.— Посмотрите своими глазами. Я посылал проверить, видно ли. Говорят, видно.

Мы вышли из хаты, перешли двор, прошли через большой сарай и по высокой лестнице-стремянке стали подниматься на сеновал. Генерал легко взошел по этой отвесной лестнице своей почти юношеской, несмотря на пятьдесят лет, походкой. В крыше сеновала были прорезаны два отверстия с поставленными в них трубами. Пейзаж — покрытые снегом холмы, резко пересекающиеся узкими лощинами. Ближайшие холмы были захвачены вчера и сегодня. Дальние принадлежали немцам. Оттуда, из черневшего по гребням холмов леса, из окопов, которые даже простым глазом были видны, как тонкие черные зигзаги, немцы сегодня весь день переходили в контратаки. В данную минуту последняя по счету контратака отбита, и, наоборот, готовился к атаке Чехословацкий батальон, накапливавшийся на исходных позициях.

Метель вдруг затихла, и с наблюдательного пункта были хорошо видны черные фигуры чехословацких пехотинцев. Они поднимались вперед, на холм, откуда должны были пойти в атаку.

Сзади, из деревни, бухали тяжелые минометы. Было видно, как на немецких позициях ложатся мины, поднимая серо-белые столбы дыма и снега. Немцы не оставались в долгу. Их мины ложились неподалеку от дороги, по которой двигался шедший к передовой батальон. Генерал слегка морщился при слишком близких разрывах. Обзор был очень хорош. Изба, выбранная в качестве наблюдательного пункта, стояла на самом краю деревни, а ее дворовые постройки выходили на гребень холма.

...Обратно в штаб корпуса мы выехали под вечер. Снег валил крупными хлопьями, и мы ехали на санях. Генерал сидел в санях, опираясь на толстую, окованную медью палку местного изделия. На голове у него была высокая папаха, из-под нее выбивались седые волосы. Лицо было обветренное, красноватое, но от этого на нем только ярче выделялись голубые упрямые глаза.

По лесной дороге навстречу ему шли солдаты, ехали повозки со снарядами, двигались обозники. И, видя, как встречают его все эти люди, было нетрудно понять, как он популярен у себя в корпусе...»

Приходится ограничиться этими выписками. Больше никаких подробностей об этих днях, проведенных в Чехословацком корпусе, в корреспонденции, напечатанной

в «Красной звезде», нет. Все остальное в ней — биография генерала Свободы и боевая история корпуса.

Написав эту корреспонденцию и отправив ее в «Красную звезду», я уже не имел времени на дневниковые записи — на Четвертом Украинском фронте началось новое наступление...

Передо мной лежит толстая папка, триста скрепленных дыроколом листов со старой машинописью,— подробно передиктованные тогда же, в сорок пятом году, там же, на Четвертом Украинском фронте, записные книжки за три недели этого наступления, с десятого марта до первых чисел апреля.

Несколько слов о той обстановке, которая сложилась на Четвертом Украинском фронте накануне его наступления на Моравска Остраву. В данном случае мне хочется дать этот комментарий не по ходу дела, а с самого начала.

На севере сосед справа — Первый Украинский фронт — во время предыдущих боев, захватив Силезский бассейн, далеко продвинулся вперед, и его левофланговая 60-я армия генерала Курочкина, развернувшись лицом к югу, балконом, как выражаются военные, нависла над немецкими частями, стоявшими против Четвертого Украинского фронта, лицом на восток.

На юге, на стыке с левым соседом — Вторым Украинским фронтом,— действовала входившая в Четвертый Украинский фронт 18-я армия генерала Гастиловича; вместе с Чехословацким корпусом генерала Свободы она вела бои с немцами в горных районах Словакии.

В центре, перед главными силами фронта — 1-й гвардейской армией генерала Гречко и 38-й армией генерала Москаленко,— лежал укрепленный район, прикрывавший Моравска Остраву — город и крупнейший промышленный каменноугольный район Чехословакии, один из последних, еще сохранившихся в руках у немцев. Взятие Моравска Остравы открыло бы нам ворота в глубь Моравии и Чехии, и притом с кратчайшего направления.

На первом этапе наступления главный удар предстояло наносить 38-й армии. Мне этого тогда, разумеется, не сказали, но я понял это и без слов, когда Иван Ефимович Петров, к которому я явился, посоветовал мне, не откладывая в долгий ящик, ехать в 38-ю.

В этой армии меня ждали встречи с людьми, уже знакомыми по моей работе военного корреспондента.

С командармом Кириллом Семеновичем Москаленко

мне предстояло встретиться уже в четвертый раз, после Сталинграда, предгорий Карпат и Южной Польши. Во время двух своих предыдущих поездок в 38-ю я встречался и с членом Военного совета армии Алексеем Алексеевичем Епишевым. А начальником политотдела 38-й по-прежнему оставался бывший редактор «Красной звезды» Давид Иосифович Ортенберг.

Вот, пожалуй, и все, о чем надо сказать, прежде чем перейти к тексту моей записной книжки за 10 марта 1945 года:

...Поднялись в шесть утра, еще в полной темноте. Начало артиллерийской подготовки было назначено на семь сорок пять. Это стало известно только вчера ночью. Но ощущение предстоящего наступления было в воздухе еще позавчера, когда мы ехали из Новы-Тарга сюда, в Пщину. Оно чувствовалось во всем — и в чудовищном ночном движении по дорогам, и в огромных количествах ящиков со снарядами, выложенных на грунт в лесах по сторонам от дороги.

Вчера днем я пришел к Москаленко с надеждой хотя бы примерно узнать, что предстоит, каков общий замысел операции. Хотелось побольше знать заранее, чтобы впоследствии правильнее понимать все происходящее. Но, к моему огорчению, вместо этого Москаленко целый час очень мило говорил со мной о литературе, сперва о Некрасове и Кольцове, потом о Новикове-Прибое и о «Порт-Артуре» Степанова. Обо всем этом я с удовольствием бы поговорил с ним в другой раз, но вчера меня интересовала предстоящая операция, и как раз о ней и не было сказано ни единого слова.

После того как мы около часа проговорили о литературе, к Москаленко в дверь заглянул сначала один, потом другой человек... Наконец сообразив, что задерживаю командарма своим присутствием, я откланялся и ушел, попросив разрешения быть завтра вместе с ним на его наблюдательном пункте.

Сегодня утром, когда я ехал туда, у меня было только общее представление о том, что удар будет наноситься в направлении Моравска Остравы и что при успешном развитии наступления в прорыв собираются вводить мехкорпус, стало быть, оно рассчитано на большую глубину. Ничего сверх этого я не знал.

Рассвета еще не чувствовалось, стоял ночной туман. Весь горизонт был затянут снежной пеленой, потихоньку

сыпал мелкий снег. Все это мне очень не нравилось, оставалось надеяться на то, что попозже погода разгуляется.

Мы с Васей Коротеевым и фотокорреспондентом ТАСС Максом Альпертом поехали на своем «виллисе» вслед за несколькими машинами командующего армией. Но, когда по расчету времени уже подъезжали к передовой, шедшая перед нами машина вдруг остановилась. Мы сначала подумали, что остановилась вся колонна, и терпеливо ждали, но потом выяснилось, что это просто-напросто сломался «виллис», который шел перед нами. Объехав его и потеряв несколько минут, мы попали в только что тронувшуюся с места колонну танков и, осторожно обгоняя ее, изрядно отстали. Хотя на дороге не было ни пробок, ни встречного движения.

На этой и на других дорогах, подходивших к участку наступления, на каждую машину были выданы пропуска, по которым можно было двигаться только в одну сторону. Справа у обочины стояли еще не тронувшиеся с места длинные колонны мехкорпуса. Танки, бронетранспортеры со счетверенными пулеметами, броневики, машины с мотопехотой.

Сначала мы ехали правильно, но потом немножко промахнулись — какой-то офицер в полушубке на развилке у объезда неправильно объяснил нам дорогу. Мы свернули куда-то не туда, попали на пустое снежное поле, развернулись на нем и, объехав какие-то непонятные загородки, все-таки наконец выбрались обратно на шоссе. Потом уже, часа через два, когда мы были на наблюдательном пункте, ко мне подошел Коротеев и, смеясь, стал трясти мне руку.

— Поздравляю!

Я спросил: по какому поводу поздравление? И узнал от него, что загородки, о назначении которых мы не догадались, окаймляли минное поле, через которое мы — дуракам счастье! — благополучно проехали.

Наблюдательный пункт армии размещался на фольварке. Это был большой каменный четырехугольник, состоявший из нескольких пристроенных друг к другу домов и сараев, а впереди этого четырехугольника, метрах в пятидесяти, стоял еще один двухэтажный дом с огромным чердаком, наверное служившим для сушки сена. На этом чердаке было много закоулков и слуховых окон, и во всех этих закоулках стояли стереотрубы и сидели наблюдатели, главным образом артиллерийские.

Метель все усиливалась. На горизонте не было видно ничего, кроме сплошной серо-белой пелены. Артподготовка началась точно в семь сорок пять. Стоявшие недалеко от фольварка «катюши» перекрывали своими залпами все остальное, но даже и без этих залпов рев артиллерии был все равно оглушительный. Все вокруг гремело и тряслось, но сквозь метель были видны только вспышки выстрелов ближайших батарей.

В такую метель ни о каком наблюдении за целями говорить не приходилось. Огонь велся вслепую, по заранее намеченным координатам. Даже залпы других дивизионов «катюш», стоявших не у фольварка, а подальше, только громыхали, а полет их снарядов был не виден за метелью, летевшей навстречу почти параллельно земле.

Приехавший вместе с Мехлисом на наблюдательный пункт Петров, забравшись наверх, на чердак, приказал выломать кусок крыши и некоторое время наблюдал, высунувшись наружу. Но, как ни смотри, все равно ничего не было видно, и он, махнув рукой, сказал:

— Пошли на воздух!

Я спустился с чердака вместе с Альпертом, который тоже лазил туда снимать, и мы несколько минут простояли внизу, ничего не видя. Потом Петров ушел к Москаленко, а мы с Мехлисом еще полчаса ходили молча взад и вперед вдоль какого-то длинного каменного сарая.

Артподготовка кончилась. Теперь слышались только все более отдаленный огонь артиллерийского сопровождения и изредка немецкие разрывы. Снаряды падали где-то справа, впереди фольварка.

Что немцы огрызались, было неприятно. Значит, не вся их артиллерия на переднем крае была подавлена при артподготовке. Намерзшись, мы пошли внутрь фольварка, к Москаленко.

В большом затоптанном пустом зале толклись адъютанты и водители. В зал выходило несколько дверей. В одной комнате сидели разведчики, в другой — офицеры оперативного отдела, в третьей, жарко натопленной, сидели Москаленко с Епишевым и Петровым.

Когда мы вошли туда, Петров и Москаленко обсуждали погоду. Петров говорил, что, пожалуй, на первое время такая погода — это даже неплохо для пехоты! Что если пехота дружно пойдет и сразу прорвет оборону, то такая погода даже хороша — будет меньше потерь. Но

если метель затянется надолго, то погода обернется потом против нас.

Москаленко беспрерывно вызывал к телефону то одного, то другого из своих подчиненных. Никаких донесений с поля боя о продвижении пехоты, кроме первого, что она уже пошла, естественно, еще не могло быть. Слишком рано! Поэтому главное внимание было обращено на артиллерию.

Москаленко требовал от своего командующего артиллерией:

— Гоните своих вперед. Чем хотите, но гоните. Гоните, гоните их вслед за пехотой, чтобы никакой неожиданности для пехоты потом не было. Чтобы она все время опиралась на свою артиллерию. Терроризируйте противника в глубине, в глубь, глубь, в глубине его бейте! Бейте ему связь, бейте по развилкам дорог. Терроризируйте его, как он терроризировал нас в сорок первом году: он еще сам далеко, а снаряды уже рвутся где-то в нашем расположении, и нам уже не по себе!

На этом этапе боя командарма, видимо, больше всего волновал вопрос, чтобы его артиллерия, окончив артподготовку, не почила на лаврах, чтобы та ее часть, которой назначено было двигаться, немедля двигалась бы вперед. Сейчас же снималась с позиций и следовала за наступающей пехотой.

Хотя в комнате было изрядно натоплено, Москаленко мерз. Сидел у телефона в бекеше внакидку и в заправленных в бурки ватных стеганых штанах.

Я спросил Мехлиса, где находится сейчас Чехословацкая танковая бригада. Он сказал, что она в армии у Гречко, и добавил любопытную подробность: когда Гречко показывал командиру Чехословацкой бригады по карте участок, на котором ему предстояло наступать, у того загорелись глаза, и он вдруг сказал, что наизусть знает все эти места с детства. Сам родом отсюда и в детстве пешком обошел их!

Я подошел к окну, чтоб было посветлее, и, пристроившись на лавке, положив к себе на колени блокнот, старался записывать все самое примечательное в телефонных переговорах Москаленко.

— Я сейчас вас не о противнике спрашиваю! При двухстах орудиях на километр фронта о противнике не спрашивают и не докладывают. Вы доложите, куда, до какого рубежа дошли ваши части.

И после этого с некоторым поддразниванием:

— Вот вы отстали, а Бондарев уже прошел первую линию!

У вас есть связь с частями? Нет, вы мне скажите откровенно, есть или нет? Ну вот, я же чувствую по вашему докладу, что у вас нет связи с частями. Ах, вон оно что. Гоните всех вперед? Это верно, гнать всех вперед нужно, но и связи не теряйте. Офицеров своих вперед пошлите, адъютанта своего пошлите, оставьте при себе одного-двух человек, остальных всех пошлите вперед, чтобы у вас была обеспечена связь.

— Что? Ждете, когда вам дадут заявки командиры батальонов? Заявки — это до войны на учениях было, а у вас сейчас пехота идет, а артиллеристы отстрелялись — пьют и закусывают. Заставьте их работать и немедля!

— Доложите, какие у вас сведения с переднего края. Что?! От раненых? Это же позор нам с вами — получать сведения от раненых! Доложите мне точно, где сейчас ваши части.

— Ах, вот что, в движении... А Красная Армия вообще вся в движении после Сталинграда! Извольте узнать и через двадцать минут доложить мне, где ваши части.

— Да что вы там с зенитками, с финтифлюшками возитесь! Тяжелую артиллерию пускайте в дело. Эрэсами их бейте!

В этот момент Петров, почти все время молчавший, вдруг подает реплику, постукивая пальцем по карте в том месте, по которому, по его мнению, надо ударить артиллерией.

— Там у них на развилке дорог, наверно, как раз сейчас бардак! И обозные, и все прочее. Немцам некуда больше сейчас сунуться, кроме этой развилки.

Еще когда мы были на наблюдательном пункте, Петров сказал, что вечером вымылся в бане, надел чистое белье и долго ночью сидел один и пил чай. Мехлис в ответ пошутил, что Петров все это делал в соответствии с русскими солдатскими обычаями.

Немного погодя Петров сказал, что ночью и под утро три раза выходил и смотрел погоду. И я подумал, что он, наверно, всю ночь перед наступлением не ложился спать.

Москаленко приказывает кому-то по телефону:

— Поезжайте к командиру 127-го полка. Он воюет по-допотопному, несовременно... Помогите ему наладить

связь и организовать огонь сверху, не ожидая заявок от батальонов.

Все новые и новые звонки. На этот раз первый из звонков, кажется, начальнику штаба армии.

— Пошлите двух толковых офицеров толкать 52-й корпус, и пусть там не поддаются на уговоры командира и начальника штаба. Пусть будут тактично, но твердо настаивать на решительном движении. Пусть не вмешиваются в командование, но дадут понять, что при всяком уклонении и задержках будут непосредственно доносить сюда. Да пошлите потверже офицеров, чтобы не размякли и не стали докладывать заодно...

В комнату входит комендант штаба — высокий майор с опухшим лицом. Москаленко вдруг вскидывается на него:

— Отчего от вас пахнет?

— Сто грамм выпил.

— А почему выпили?

— Так ведь положено...

— Это солдату положено, а вам не положено. Наглец вы этакий! Вы еще свой хлеб не заработали, вам его еще до вечера надо заработать, а вы с утра водку пьете.

Комендант, оказывается, вызван затем, чтобы ехать вслед за войсками подобрать место для нового наблюдательного пункта. Он выходит исполнять приказание, и после его ухода Мехлис мельком говорит мне, что артиллеристам, например, вообще запрещено пить до вечера свою суточную норму. Как в сочельник не едят до вечерней звезды, так вот и они не пьют! Утром выдают по сто граммов только пехоте.

— Ну что же, судя по некоторым признакам, дело идет благоприятно для нас,— говорит Москаленко после еще нескольких разговоров по телефону, после того, как ему доносят, что саперы начали расчищать от завалов и мин проходы для танков. Но благодушного настроения у Москаленко хватает ненадолго. При докладе по телефону достается командиру корпуса.

— Что это вы, Жуков, как мальчик говорите: «Правый фланг у меня еще не остановился»? А разве он должен у вас останавливаться? Ему надо сегодня еще двадцать четыре километра пропереть.

Петров вставляет сердито реплику:

— А уже полдня прошло! — и смотрит на часы.

Москаленко продолжает говорить по телефону и,

очевидно, в ответ на объяснения командира корпуса добавляет наставительно, но уже мягче:

— Тогда учитесь правильно излагать свои мысли. Ни в коем случае не давать возможности залегать пехоте! Там, где не могут прямо перед собой подавить огонь, пусть разворачиваются в стороны. А вы вводите новые силы. Помните, что успех боя зависит сейчас от своевременного ввода в бой вторых эшелонов!

Уже минут десять, как Петров, взяв одну из телефонных трубок и приложив ее к уху, слушает молча, с сосредоточенным лицом, и наконец, положив ее, говорит с раздражением:

— Ну, какая же...— Петров употребляет довольно крепкое выражение,— начальник отдела кадров БТМВ! Сейчас, во время боя, звонит начальнику штаба мехкорпуса, десять минут подряд звонит ему и требует шесть «студебеккеров», чтобы перевезли из Ужгорода какое-то там имущество его отдела. Это во время боя! Начальство все вперед уехало, так он до ВЧ добрался...

Сердито вздохнув, Петров вызывает к телефону начальника оперативного отдела штаба фронта и приказывает:

— Немедленно вызовите его к себе и посадите на трое суток под арест с отсидкой в комендантском управлении за то, что во время сражения отрывает от работы занятых делом людей! Он пусть трое суток посидит, подумает, а машин, которые требовал, не давать! Запрещаю...

Москаленко вдруг замечает через окно почему-то оказавшиеся во дворе фольварка пушки и вызывает к себе командира. Через минуту вбегает командир батареи, рапортует четко, но с несколько излишней громкостью.

— Почему вы здесь? — спрашивает Москаленко.

— Мы были здесь на огневых...

— Где на огневых?

— В двухстах пятидесяти метрах отсюда.

— А почему вы здесь?

— Мы сейчас переходим на новые позиции.

— Я спрашиваю, почему вы здесь?

— Мы... сейчас мы... уже идем. Остановились только на три минуты.

Москаленко говорит спокойно, не повышая голоса:

— Вам сейчас не на три минуты, а даже на одну минуту нельзя задерживаться, вас пехота ждет! Идите!

Он снова берется за телефон, слушает чей-то доклад и, оторвавшись от телефона, говорит:

— Просят немедленно прекратить огонь по Голосовицам. Говорят, что уже захватили их! — Потом добавляет с улыбкой: — Тут уж сведения точные, тут они быстро докладывают, когда знают, что по ним могут огонь открыть.

И снова говорит в телефонную трубку:

— Уточните продвижение своих частей, чтобы через каждые десять минут знать перемены в обстановке. И сами меняйте свое КП, переезжайте вперед, в Голосовицы, раз захватили их.

Иду в комнату, где сидят разведчики. Появилась первая ласточка, первый немец. Немец стоит посреди комнаты. Он в белых штанах поверх форменных, в шинели поверх белых штанов и в белой маскировочной куртке поверх шинели. Кроме того, на ногах у него галоши. Он находится на той грани испуга, когда начинает казаться, что этот человек совершенно спокоен.

Он две недели назад переведен из пекарни. Оказывается, что, по солдатским слухам, был перебежчик с русской стороны, командование ожидало, что русские начнут наступление, поэтому из их роты на переднем крае было оставлено только два отделения, остальные ушли назад. Он сам был в составе одного их двух этих отделений, залез во время артподготовки в подвал и был вытащен оттуда русскими солдатами.

Сам по себе пленный не представляет интереса, но сведения, полученные от этого бывшего пекаря, важные и невеселые.

Возвращаюсь от разведчиков.

Перед Москаленко стоит только что приехавший с передовой офицер связи. Присутствие многочисленного начальства взволновало его, и он заплетается и путается.

— Не мельтешитесь и не волнуйтесь,— спокойно говорит ему Москаленко.— Не путайте запад и восток. Докладывайте нормально.

После того как офицер заканчивает доклад, Петров обращается к нему:

— Вы на чем, майор, на «виллисе»?

— Да.

— Так вот, снова садитесь на свой «виллис» и поезжайте прямо по дороге до передних порядков пехоты. В общем, доезжайте докуда сумеете доехать. Не ищите по дороге никаких штабов, а просто догоните пехоту. Оп-

ределите, где она сейчас. И немедля возвращайтесь назад. Все дело в быстроте вашего доклада!

Майор уходит.

По телефону докладывают, что танки уперлись в болото и сейчас им придется возвращаться на дорогу и разминировать проход прямо на дороге. Докладывают, что немцы подорвали мост, переброшенный через выемку железной дороги, и у нас там сейчас образовалась большая пробка — стоят и артиллерия и танки.

А пока все это докладывают одно за другим, невдалеке от нас, невидимые, где-то должно быть за шкафом, медленно тикают часы-ходики, отсчитывая время.

Москаленко с усмешкой говорит по телефону:

— Вы докладывайте точнее. Проходят через рощу или только еще подходят к роще? А то мы как раз хотели вам помочь, дать по этой роще огонь двух полков эрэсов... Значит, действительно не подходят, а проходят через рощу? Ну, тогда хорошо.

Инженер докладывает, что материал для восстановления взорванного немцами моста уже подготовлен и его везут сейчас туда, к выемке.

— Володин, не будьте таким нерасторопным, как прошлый раз,— обращается Петров к инженеру.— Я вами в прошлый раз был крайне недоволен. Сегодняшний день я вас снова проверю, способны ли вы поддержать порядок на дорогах.

Москаленко приказывает по телефону, чтобы дивизион стодвадцатидвухмиллиметровых орудий ударил по Фриштадту.

— Бейте по центру. Ориентир — в самом центре — башня или колокольня. Выпустите сто — сто пятьдесят снарядов.

Он кладет трубку и заговаривает с Петровым о вводе мехкорпуса. Заговаривает уже не в первый раз, чувствуется, что ему хочется ввести. Петров уклоняется, замечает:

— Здесь-то все более или менее ясно, но нам надо еще выяснить положение у Боровецкого леса, как дела там. Тогда можно будет пустить и мехкорпус.

Новый телефонный звонок.

— Это уже старо,— говорит Москаленко.— Не может быть, чтобы у вас все осталось как было. Не верю, что пехота залегла, вы просто не имеете с ней связи.

— Сообщайте, немедленно сообщайте, где у вас кто на-

ходится. И за отставание от событий, и за преждевременно радужные сведения мы будем платить жизнями. Вы должны точно знать, где сопротивление, чтобы заранее подавить его.

Телефонный разговор с командиром дивизии Пархоменко:

— Почему вы развернули два полка, когда вам приказано было развернуть всего один полк, а второй полк, не развертываясь, должен был пройти через прорванный участок? Зачем прорывать два раза в двух разных местах — смотрите, какая вам дана сила и как неверно вы ее используете!

Во всех своих разговорах по телефону Москаленко ни разу не матерится, почти не кричит, а когда ругает, так главным образом упрекает и взывает к порядочности.

— Да вы просто непорядочный человек,— негодует он,— вы просто мне лжете!

Петров почти все время сидит молча, изредка связывается по телефону с армией Гречко, где, кажется, примерно такая же картина наступления, как и здесь. В происходящее здесь, у Москаленко, он почти не вмешивается, только иногда, время от времени вставляет несколько слов по ходу телефонных разговоров командарма с его подчиненными.

У меня такое ощущение, что стиль работы Петрова — предоставление возможно большей инициативы командармам. Он вносит поправки деликатно, видимо, никак не желая давить своим присутствием на действия Москаленко.

— Надо вводить мехкорпус, а то опаздываем,— говорит Москаленко.

Петров на этот раз молчит, ничего не отвечает, как будто этих слов не было. Он, видимо, не согласен с предложением Москаленко, но внешне ничем это не выражает, просто молчит. И Москаленко уже не возвращается к сказанному.

Ездивший снимать танки Альперт рассказывает, как наблюдал там, впереди, следующую психологически интересную картину.

Стрелковый батальон гуськом, по одному шел по узкой снежной тропинке на исходные позиции перед атакой. Один из солдат остановился в какой-то низинке и стал возиться со своим вещевым мешком. Это был уже немолодой человек, лет сорока пяти. Он долго возился с мешком, все время оглядываясь на проходивших мимо. Не заметив

его или не обратив внимания, мимо прошел командир батальона, опираясь на палку. Отставший солдат продолжал стоять со своим мешком. Прошло еще десять, двадцать, сто человек, а он все стоял в этой низинке в нерешительности — остаться или идти? И вот, уже пропустив самого последнего, когда тот отошел от него шагов на пятьдесят, он вдруг решительно вскинул мешок на плечи и заторопился, побежал вслед за ушедшими вперед.

Тем временем выясняется, что впереди натолкнулись на непреодоленную немецкую оборону и залегли. До сих пор, по крайней мере, мне так казалось, все шло более или менее по плану. Сейчас наступил момент, когда в план начинают вносить первые коррективы, сделанные под давлением обстоятельств.

Москаленко вновь говорит с тем же командиром дивизии, с Пархоменко:

— Чего вы в лоб лезете? Вам же было приказано идти в затылок за Матусевичем и, пройдя, разворачиваться резко на юг. На вас же сейчас десять минут подряд триста стволов работало! Скажите, откуда вы в прошлый раз говорили со мной? Так. А сейчас? Так. Хорошо! Тогда что же вы волнуетесь? Ах, вам не видно! Так и противнику ведь тоже не видно. Пурга одна и та же. Одна на всех!

Через какое-то время еще один разговор с Пархоменко:

— Ну зачем же вы наступаете в лоб? Мы же на этом участке не делали прорыва, просто поддержали вас сильным артналетом — вдруг получится, подавим! А раз не подавили, значит, надо маневрировать, обходить этот участок. Вам не видно? Чего же вам не видно? Пехоты вам не видно? А ее вообще редко видно.

Сразу вслед за этим сердитый разговор с начальником штаба одного из корпусов:

— Кто залег? Где залег? Это вы, начальник штаба, залегли и не делаете того, что от вас требуется. Не хотите понять, что люди могут умереть из-за таких дураков, как мы с вами, если мы и дальше будем с вами так действовать. Они прибыли сражаться за родину, а умрут из-за дураков! Вы, Потапов, всегда преувеличиваете силы противника, а вот танкисты из головного батальона докладывают, что пехота идет мимо них. А вы считаете, что там еще нет пехоты?

Является новый офицер связи. Этот докладывает тихо, точно, аккуратно.

Выслушав его, Москаленко снова берет трубку.

— Так и доложите, что не знаете, и попросите у меня срок, за который вы все узнаете, и не лгите! Я же вас не буду ругать, раз вы действительно не знаете. Но вы должны узнать и доложить, как оно есть на самом деле, и помните, что за ложь мы всегда дорого расплачиваемся!

Петров вставляет реплику:

— Видимо, пехота продолжает непрерывно идти, а штабы, как обычно, путают и вводят нас в заблуждение.

Приходит донесение — с одного из направлений докладывают, что дороги так сильно заметены, что колесные машины не идут. Петров вновь посылает офицера связи искать не командиров, не штаб, а прямо вперед, по дороге, так далеко, насколько сможет, узнать реальную обстановку. Видимо, это заведено у него — посылать офицеров прямо вперед, докуда доберутся, чтобы увидели своими глазами, конкретно, как дела, нигде не задерживаясь на пути и минуя штабы.

Тем временем Москалев снова раз за разом упорно в каждом телефонном разговоре нажимает на своих подчиненных, требуя от них правдивости докладов.

Снова телефонный разговор о пехоте:

— Нельзя идти вперед на трупах, надо идти вперед на уме и на огне. Прикройтесь одним батальоном, а остальными силами обходите.

Эти несколько разговоров Москаленко подряд с одним и тем же командиром дивизии кажутся мне очень характерными для нынешнего периода войны. Когда я был в сорок втором году под Сталинградом во время сентябрьского наступления, и у Москаленко, и на командных пунктах у других командиров, не помню таких разговоров с нажимом на огонь, технику.

Сейчас считают, что пехота может по-настоящему успешно продвинуться через укрепленную полосу только тогда, когда противник в основном подавлен артиллерийским огнем. А в те времена зачастую и подавить было нечем, немного постреляв, шли напролом. Теперь для всех разговоров характерна эта забота о пехоте. О том, чтобы любыми средствами подавить огневую мощь противника.

Москаленко за это утро несколько раз повторял по телефону, что от пехоты нельзя требовать, чтобы она шла, не использовав перед этим до конца все огневые средства для подавления противника.

Новый офицер связи. На нем шинель до такой степени

мокрая, что, видимо, метель постепенно превращается в дождь. Москаленко снова и снова, возвращаясь все к той же теме, звонит по телефонам, напирает на то, чтобы шли вперед не правее или левее участка прорыва, а входили бы именно в пробитые ворота и лишь потом загибали, сминая оборону противника.

— А слева у вас никакого успеха и не может быть,— говорит он в телефон,— потому что слева вы и не прорывали. Надо огибать и выходить им в тыл...

Звуки нашего огня уходят все дальше. Лишь изредка слышатся разрывы немецких снарядов. По телефону доносят, что в Малых Голосовицах подорвалось четыре наших танка.

Жуткая мокрая пурга все усиливается и усиливается.

Петров впервые за все время говорит с нескрываемым раздражением, до этого он выглядел спокойным:

— Прохвосты прогнозчики!

Звонок от Гречко. Гречко докладывает Петрову, что его части вышли на Вислу.

У Москаленко с левого фланга докладывают, что немцы мешают продвижению.

— Где они зацепились?

— Вдоль шоссе.

— Надо их раздолбить артиллерией там, на шоссе, к чертовой матери, а то они наделают вам еще больше неприятностей.

Петров приказывает позвонить в корпус, в который он намерен выехать.

— Пусть поставят на перекрестках дорог маяков.

Через полчаса, наскоро перекусив, уезжаем от Москаленко. На первом «виллисе» Петров, на втором Мехлис. Петров берет меня в свой «виллис». «Виллис» открытый, даже без тента. Я сижу сзади, между автоматчиком и постоянным спутником Петрова, толстым сорокалетним лейтенантом Кучеренко.

Через несколько километров мы наталкиваемся на первую пробку. Кучеренко и автоматчик соскакивают с машины и бегут растаскивать пробку. Она образовалась из-за того, что на дороге в два ряда остановились машины мехкорпуса. Все оставшееся пространство загромоздил пытавшийся их объехать понтонный батальон.

Петров сердится и приказывает позвать понтонера. Но раньше него появляется начальник инженерного отдела армии. Выясняется, что понтоны сдвинуты не по его рас-

поряжению, а по распоряжению начальника инженерной службы фронта.

Петров приказывает, чтобы тому от имени командующего фронтом объявили выговор. А когда появляется командир понтонного батальона и начинает доказывать, что он двинул свои понтоны по такому-то, полученному от такого-то приказанию, Петров сдерживается, не срывает гнев на этом майоре, а лишь резко приказывает ему немедленно убрать к чертовой матери свои понтоны с дороги в ближайшую деревню.

Чувствую, как, несмотря на все свое раздражение, Петров все-таки стремится разобраться и не орать попусту на человека, который в данном случае не виноват. Положительное отличие от тех больших начальников, которые любят накричать, не разобравшись, на первого попавшегося под руку.

Метель лепит навстречу, прямо в глаза. Она абсолютно мокрая, почти дождь. Дороги начинают раскисать буквально на глазах. Мы минуем еще одну пробку, наконец застреваем. На дороге в четыре ряда стоят танки, машины, повозки. Встречного движения нет, все это идет только в одну сторону, на запад, но все равно сплошь загромоздило всю дорогу.

Петров слезает с «виллиса», достает суковатую палку с загнутой ручкой и, опираясь на нее, идет по шоссе. Пробка такая, что кажется, она вовеки не сдвинется с места. Лица у всех мокрые, шинели промокли насквозь. Все мерзнут от этого пронизывающего до костей дождя со снегом.

И все-таки какой-то солдат, уставший до такой степени, что ему все равно, стоит среди всей этой суеты на дороге, прислонившись спиной к борту грузовика, и спит. Ревут и гудят машины, задевают плечами проходящие мимо люди, а он стоит и спит!

Проходим примерно с километр пешком в поисках командира корпуса. Приближаемся к железной дороге под аккомпанемент немецкого артиллерийского огня. Разрывы отсюда километрах в двух — двух с половиной, так что, видимо, наши на этом участке с утра продвинулись совсем мало. Линия немецкой обороны шла здесь вдоль железнодорожной насыпи.

На этом участке фронта двухколейная железная дорога проходит в огромной выемке, глубина которой местами двенадцать и даже пятнадцать метров. Через эту огромную

выемку и был перекинут взорванный сейчас немцами мост.

Справа от дороги стоит подорвавшийся на немецком фугасе танк. Рядом с ним лейтенант в черном комбинезоне, с усталыми глазами. Петров подходит к нему.

— Товарищ командующий,— говорит лейтенант,— это мой танк.

— Ну!

— Я командир разведгруппы, вот взорвался мой танк не дойдя.

— Так на кого же вы обижаетесь?

— На саперов обижаюсь.

— Почему?

— Не разминировали как следует, вот машина и взорвалась. Только слегка пощупали в некоторых местах, а здесь фугас лежал. Вот и подорвались... Водитель у меня убит, ноги ему оторвало.

— А вы чего тут стоите? Раз вы командир разведгруппы, двигайтесь со своей разведгруппой в обход. Другие у вас машины какие?

— Есть еще бронетранспортеры.

— Ну вот, и двигайтесь на них. Сворачивайте с дороги, бронетранспортеры здесь должны пройти...

Кто-то вмешивается в разговор:

— Танки тоже здесь прошли, уже двенадцать танков прошло.

— Поезжайте, поезжайте вперед,— повторяет Петров.

— Товарищ командующий, надо акт составить.

— Какой там еще акт?

— Акт о том, что подорвался танк.

— Ничего, отправляйтесь! С актом успеется,— говорит Петров.

Вдоль дороги аллея, деревья огромные. Сейчас их пилят для того, чтобы сделать из них деревянные клетки и заложить ими железнодорожную выемку.

Петров спрашивает:

— Когда сделаете?

— За ночь.

— Когда точно?

— К пяти утра.

— Точно?

— Точно.

Останавливаемся у самой выемки. Я смотрю на эту гигантскую выемку глубиной в пятнадцать и шириной в тридцать — тридцать пять метров, с удивлением думаю:

«Как же люди сделают все то, что они обещают сделать здесь, за одну ночь?»

К Петрову подходят два полковника из мехкорпуса.

— Ну а вы что? — говорит им Петров.— Ваши же танки стоят! Давайте сюда ваших людей, чтобы помогли поскорее мост восстановить. А кто здесь есть из инженеров?

— Есть начальник инженерной службы.

— Вот его-то мне и нужно,— говорит Петров.

Подходит усатый полковник.

— Это по вашему приказанию пустили сюда понтоны?

— По моему.

— Вот странно,— говорит Петров.— Старый военный, а даете такие дурацкие распоряжения. Вы бы подумали раньше, чем приказывать. Вы думали или нет? Еще танки не прошли, артиллерия не прошла, а вы понтоны посылаете, загромождаете дорогу. Ну?

Полковник стоит весь красный и молчит.

— Надо думать,— говорит Петров.— Скорее стройте мост.— И после того как выругал полковника, на прощание все-таки подает ему руку.

Выясняется, что штаб корпуса мы проехали, он находится в деревне в четырех километрах позади. А сам командир корпуса, бросив машину, пошел пешком через выемку вперед, в свои наступающие части.

— Ну, там мы его и вовсе не найдем,— говорит Петров.— Пойдем назад, в штаб корпуса.

Приказывает, чтобы дали двух красноармейцев сопровождать нас туда.

— Вот теперь все ясно,— говорит Петров.— Танки встали, и артиллерия встала из-за этого моста.

Он подзывает кого-то и отдает приказание, чтобы, не дожидаясь восстановления моста, артиллерия перекантовывалась на другую сторону; говорит, что танки там не пройдут, слишком тяжелы, а «студебеккеры» с пушками на прицепе могут и благополучно пройти.

— Да, теперь все ясно,— повторяет Петров, шагая обратно по шоссе.— Танки встали, артиллерия встала, и в массе своей, пока мост не восстановим, до утра не пройдут. И в этом одна из главных причин задержки наступления. А штабы нам морочат голову по телефону: «Продвинулись, продвинулись».

Мы доходим до своего «виллиса», разворачиваемся и через все еще не растащенную до конца пробку возвращаемся назад.

Навстречу,загромождая дорогу, идет артиллерия. На первом перекрестке Петров спрашивает:

— Где здесь офицер, регулирующий движение?

Подбегает маленький полковник, рапортует.

— Почему пускаете по этой дороге артиллерию, когда дорога уже и так загромождена до отказа? — спрашивает Петров полковника.

Полковник в ответ докладывает, что это артиллерийский полк, идущий прямо на огневые позиции.

— Раз прямо на огневые, так пусть быстро сворачивает с этой дороги на другую, чтобы не стоял здесь до утра. А эту дорогу разгрузите от колесного транспорта, от повозок, от конной артиллерии. И всем, кто может пройти другими дорогами, без моста, не стоять здесь! Немедленно сворачивайте их с этой дороги, им тут делать нечего.

Когда-то в начале войны, когда предпринималась какая-нибудь наступательная операция, помню, как все, сверху донизу, выезжали вперед, в части.

Грешным делом, и сегодня сначала, когда мы поехали с Петровым, я подумал: неужели это просто рецидив былой всеобщей привычки первых лет войны, часто приводившей к потере управления войсками?

Но, когда мы побывали у этой железнодорожной выемки и отъехали, я подумал, что Петров, наверно, прав, что только одно штабное ощущение войны, ощущение сверху все-таки не дает истинного представления о всей картине операции.

По донесениям снизу, которые приходят через ряд инстанций, все происходящее приобретает некую внешнюю закономерность, обоснованность и гладкость. Подлинные причины той или иной неудачи или задержки обрастают разными, все более подробными объяснениями. А между тем на этом участке наступления была только одна причина задержки — не было моста через единственную на этом участке дорогу. Из-за этого получилась пробка; из-за этого артиллерия и танки не перебрались на ту сторону железнодорожной выемки; из-за этого сразу же после первого, второго километра продвижения пехота осталась без поддержки артиллерии непосредственного сопровождения. А в условиях чудовищно плохой видимости огонь с закрытых позиций не мог достаточно действенно и своевременно помочь дальнейшему продвижению войск. В результате продвижение сходило на нет, постепенно угасало.

А причина, повторяю, в данном случае была одна, впол-

не реальная,— не было моста, и к постройке его своевременно и в должных масштабах не подготовились. Очевидно, не учли реальных размеров выемки. Для того чтобы исправить положение, теперь надо было в кратчайший срок построить мост. И то, что командующий фронтом увидел все это своими глазами, важно. Не только потому, что он узрел этот факт, узрел истину, но и потому, что собственное присутствие около этой выемки дало ему точное и ясное представление о том, что произошло. Это тоже важно! Потому что, когда начинаются неувязки и неудачи, чем их больше, тем туманнее становятся доклады о них. А собственное точное представление о происшедшем толкает на собственные, вполне определенные оценки и выводы.

Может быть, с военной точки зрения это рассуждение вышло у меня наивным, но мне все-таки кажется, что в сути своей оно правильное. Сейчас мне думается, что совмещение хорошо спланированной штабной работы, хорошо налаженной связи — с выездами, в том числе неожиданными, на фронт и личной проверкой всего происходящего там, впереди, глазами самого высшего начальника, что это хорошо и необходимо. Ощущение воздуха боя — один из факторов, который входит и в оценку положения, и в принимаемое решение.

На фронте говорят: я вижу успех, мне доносят об успехе. Но говорят и по-другому: я чувствую успех, почувствовал успех. Именно не наметился, а почувствовался!

Наконец мы добираемся до штаба корпуса. Полковник, начальник штаба, докладывает Петрову о положении. Петров связывается с Москаленко, говорит ему о пробке, о картине, которую застал у железнодорожной выемки, и добавляет:

— Для того чтобы реально поддержать пехоту, нам неминуемо придется сейчас убрать с дороги часть артиллерии и развернуть ее на огневых позициях пока что по эту сторону железнодорожной выемки.

Поговорив с Москаленко, Петров связывается по телефону с соседним корпусом, куда он собирается теперь ехать, и приказывает выслать маяка.

Доехав до маленького разбитого городишки, мы встречаем этого маяка — майора. Он подсаживается к нам четвертым на заднее сиденье «виллиса», и мы едем дальше.

На этот раз дорога идет через рубеж недавнего переднего края. Снегу за эти шесть-семь часов намело столько,

что и воронки, и трупы, и вообще все заметено снегом.

Навстречу идут раненые. В такую погоду особенно мокрые, измученные, с шинелями внакидку, сразу потерявшие вид солдат. Кстати сказать, как я уже успел заметить, раненые склонны к крайностям. Один говорит: мы взяли то-то и то-то, дали немцам жару. Другому, наоборот, все рисуется в мрачном свете, хотя бой был один и тот же. Это зависит, конечно, и от степени страдания. Но еще более от природного темперамента, который в трудные для человека минуты всегда проступает с особенной резкостью.

По дороге выясняется, что майор сам не знает ее до конца и что у каких-то домов, чтобы проводить нас к командиру корпуса, должен быть выставлен еще один маяк. Мы останавливаемся около этих домов. Маяка нет. Майор выскакивает из «виллиса» узнавать. Мы минут десять стоим и ждем. Дождь пополам со снегом все хлещет и хлещет. На подводе везут раненых, на передке, нахохлившись, сидит повозочный. И он и раненые мокры до того, что плащ-палатки, которыми они накрылись, из зеленых стали черными, такими черными, что эти люди кажутся мне похожими на угольщиков.

Съежившийся от непогоды солдатик идет навстречу машине. Он сгорбился, нахохлился, на плече у него ручной пулемет, в руке диск. Но, заметив генерала, он подтягивается, делает равнение направо и несколько шагов проходит мимо строевым шагом.

Петров окликает его:

— Какого года?

— Тысяча девятьсот двадцать шестого...

— Молодой, а службу знаешь,— говорит Петров.— Молодец!

— Разрешите идти?

— Иди.

В эту минуту появляется наш майор, и мы вновь едем куда-то дальше, сворачиваем еще один раз, потом другой. Останавливаемся снова у каких-то домов. Майор опять соскакивает с машины, чтобы узнать, где командир корпуса.

Как только он уходит, к нам подбегает молодой, хорошо сложенный старший лейтенант, одетый сугубо по форме, с обычным спутником офицеров связи — планшетом, перевязанным крест-накрест красной резинкой. Он обращается к Петрову и говорит, что выслан генералом сюда, навстречу, на дорогу.

— А где генерал? — спрашивает Петров, не дав ему договорить.

— Недалеко отсюда, два километра,— говорит лейтенант.

— Ехать туда можно?

— Ехать нельзя, товарищ командующий, там потери, обстреливают.

— Что же, что обстреливают? — говорит Петров.

— Имеется много убитых,— говорит лейтенант.— Если меня убьют, это ничего, а вам нельзя ехать туда, товарищ командующий!

— Ну ладно, это не ваше дело,— миролюбиво говорит Петров и делает жест, чтобы водитель трогался.

Но в эту секунду возникает перед машиной наш майор с каким-то еще офицером, и выясняется, что произошло недоразумение. Командир корпуса, к которому мы едем, генерал Шмыго, здесь, в соседнем доме, а лейтенант, выскочивший нам навстречу на дороге, послан от командира другого, горнострелкового корпуса генерала Жукова.

Входим в избу. В окне выбито два стекла, но топится печка; мы раздеваемся и греем у нее руки.

Шмыго, небольшого роста, коренастый человек в генеральской папахе и рыжей куртке из американского брезента мехом внутрь, почему-то кажется мне знакомым. То ли я его встречал раньше, то ли мне почему-то кажутся знакомыми все такие же, как я, картавые люди.

Он спокойно и деловито докладывает о положении на участке его корпуса. Петров сидит над картой и проверяет по ней доклад. Выясняется, что за первые восемь часов наступления продвижение корпуса небольшое — от двух с половиной до трех километров. Но, как выражается Шмыго, в последний час он почувствовал у себя на левом фланге намечающийся успех и предлагает ввести там часть своих вторых эшелонов, чтобы развить продвижение.

— Где крепче всего держатся немцы? — спрашивает Петров.

Шмыго показывает по карте где.

— Вот здесь у них сплошные траншеи. Траншеи, траншеи и траншеи. А здесь артиллерийские позиции.

Петров берет карандаш и неожиданно проводит по карте линию от показанных Шмыго участков немецкой обороны на север, к окраине того леса, о боях за который

все время шла речь на наблюдательном пункте у Москаленко.

— Ну вот,— уверенно говорит Петров,— теперь ясно, что основной рубеж проходит у них здесь, потом идет сюда, а отсюда выходит к опушке леса. Точно! — и спрашивает у Шмыго: — Сколько вы взяли пленных?

— Пока немного...

— А как ваше мнение,— спрашивает Петров,— вот этот рубеж, в который вы уперлись, здесь сосредоточены их резервы или это просто их вторая линия?

Шмыго колеблется.

— Думаю, что резервы,— говорит он, но в его голосе нет уверенности. Видимо, он еще не решается сделать тот неприятный и для него и для командующего фронтом вывод, что, в сущности, нами преодолена до конца только первая линия, на которой немцы держали меньшую часть войск. А вторая линия, на которую они успели до начала наступления отвести большую часть сил, хотя в какой-то мере и накрыта огнем во время нашей артподготовки, но не подавлена.

Выслушав Шмыго, Петров говорит несколько слов, из которых я понимаю, что он сам делает за командира корпуса этот неприятный вывод, договаривая до конца то, что Шмыго имел в виду, но не решился высказать.

Петров приказывает соединить его по телефону с командиром горнострелкового корпуса Жуковым. С вызовом что-то не получается. Лейтенант выходит выяснить, есть ли связь, и возвращается с известием, что где-то обрыв и нужно подождать, пока восстановят линию.

Мы ждем. Пробуем тем временем связаться кружным путем, через другие линии связи.

— Если связаться не удастся, пойдем туда пешком,— говорит Петров.

После предупреждения лейтенанта о том, что туда нельзя ехать на машине, много убитых, у меня нет особого желания идти туда. В душе я хочу, чтобы Петрову поскорее удалось связаться с Жуковым по телефону.

Мы ждем минут десять. Как я понимаю, Петрову тоже хочется соединиться с командиром горнострелкового корпуса по телефону, но, наверно, по другим причинам, чем мне. Его не устраивает хождение туда и обратно по этой распутице; оно отнимет слишком много времени, а ему еще нужно, по его плану, заехать засветло к танкистам, а после них к Гречко.

Наконец нас все-таки связывают с начальником штаба горнострелкового корпуса, и Петров передает ему несколько приказаний по телефону.

Мы одеваемся, снова влезаем во все промокшее — ничего, конечно, не высохло,— садимся на «виллис» и едем через городок Струмень на его окраину, где нас должен ожидать выставленный танкистами маяк. Долго крутимся там, но маяка не находим, и Петров, плюнув, едет дальше вдоль стоящей на дороге танковой колонны, рассчитывая впереди, в следующей деревне, найти ее начальника.

Из какой-то полуразрушенной хаты вылезает нам навстречу майор — командир мотострелкового батальона, судя по фамилии и по виду, азербайджанец.

Петров хочет поскорее связаться по рации с начальником штаба бригады. Майор поспешно говорит:

— Сейчас, так точно,— и быстро идет впереди машины вдоль бесконечной вереницы танков.

Мы довольно долго, медленно едем за ним, наконец куда-то сворачиваем. Петров спрашивает его на повороте:

— Так где же ваша рация?

— Там,— показывает он назад.— Там моя рация, в танке.

— Так куда же вы нас ведете?

— А я вас вел к начальнику штаба полка.

Оказывается, он от волнения все перепутал. Мы с трудом разворачиваемся и едем назад. И только уже у самой Струмени, почти вернувшись в нее, замечаем около полуразбитого сарая несколько «виллисов».

Выясняется, что командир бригады, он же начальник колонны, находится именно здесь.

В сарае стоят стол, три стула, и толпится вокруг них человек двадцать, если не больше. Начальник колонны — судя по его должности, наверно, полковник — еще совсем молод. Он в шлеме и в полушубке без погон. Выясняется, что он ждал нас на окраине Струмени, около костела, но мы проскочили мимо него.

— Я вам махал,— говорит он,— но вы не заметили.

— Не удивительно, что мы вас не заметили,— говорит Мехлис, показывая на его полушубок без погон.

— Только час назад надел полушубок, шинель вся вдрызг промокла.

Петров приказывает полковнику связаться с начальником штаба корпуса и передать ему, что командующий фронтом приказал свернуть всем танкам этой левой колон-

ны с дороги и встать на ночь неподалеку отсюда, в треугольнике между тремя деревнями.

— Пусть люди отдохнут и немного обсушатся по домам.

Поясняя свое приказание, Петров говорит, что сегодня, по всей вероятности, корпус не будет введен в дело и, стало быть, людям незачем мокнуть.

Полковник, услышав это, просит разрешения подвезти кухни и накормить людей горячей пищей. Он объясняет, что вчера им было запрещено тащить с собой вперед все лишнее, в том числе и кухни.

— Конечно, было запрещено,— говорит Петров.— А сейчас, раз есть возможность накормить людей горячим, надо накормить.

От танкистов едем к Гречко. На повороте задерживаемся еще у одной пробки. Несколько минут стоим впритирку к грузовику, в кузове которого бойцы едят из котелков.

— Все каша да каша? — улыбнувшись, спрашивает их Петров.

— Так точно! Все каша да каша,— отвечает кто-то из солдат.

Свернув через два или три километра после Струмени на проселочную дорогу, мы скачем по чудовищным кочкам, переваливаем через почти непроходимую канаву и наконец застреваем. Второй «виллис» проскакивает вперед и начинает на тросе вытягивать первый.

Я присоединяюсь к общим усилиям автоматчиков и адъютантов, начинаю пихать застрявший «виллис». «Виллис» выскакивает из ямы, и меня, как это обычно со мной бывает, с ног до головы заляпывает грязью. Чтобы хоть немного от нее очиститься, приходится отойти в сторону и, легши на снег, проползти по нему несколько шагов сперва на брюхе, потом на спине. За мной на снегу остается такая огромная грязная полоса, что показавший мне этот прием толстый Кучеренко хохочет до слез!

Выбираемся из колдобин и быстро проскакиваем полупустой промежуток, один из тех, что почти неизбежно остаются на стыке двух больших хозяйств, даже когда они, казалось бы, стоят плотно друг к другу.

Едем вдоль железнодорожной насыпи. Врытые в землю так, что дула почти лежат на уровне насыпи, стоят противотанковые орудия. Людей не видно. Недалеко от одной из пушек торчит из-под снега кусок плащ-палатки. Очевидно, люди сидят в ямках и, накрывшись плащ-палатками,

греются. Потом у самой дороги попадаются два окровавленных немецких трупа.

Наконец мы добираемся до разрушенного поселка с разбитой церковью и остатками железнодорожной будки. Там в точно назначенном месте нас ждут броневики и «виллис». Маяк от Гречко.

— Что, замерз, дожидаясь нас? — спрашивает Петров, называя по фамилии дожидавшегося нас здесь майора.

Я уже в который раз замечаю, что у командующего хорошая память на фамилии.

— Никак нет, не замерзли,— говорит майор.

Едем вслед за «виллисом» по шоссе вдоль железной дороги.

На путях неожиданно возникает синий спальный вагон с выбитыми стеклами. Он стоит одиноко и нелепо среди этого военного пейзажа. Слева лес, справа вдоль дороги изгородь свеженарубленных елок, воткнутых в землю для укрытия движения по дороге.

Въезжаем в лес, сворачиваем направо, потом еще раз направо. Мне начинает казаться на последних поворотах, что мы заехали в самую гущу леса. Наконец останавливаемся.

В лесу стоит несколько машин, поодаль пара пулеметов. Около одного из них разведен костер и греются солдаты. Пахнет вкусным смолистым дымом.

Оставив свои «виллисы» около других машин, мы идем еще шагов сто по лесу, и я, пока иду, недоумеваю, почему наблюдательный пункт Гречко расположен в такой глухомани.

Еще двадцать шагов, и я вижу между соснами несколько плоскокрыших деревянных домиков-скороспелок, похожих на те, что я когда-то видел на Мурманском направлении. За домиками начинается просвет.

Все правильно, это не глухомань никакая, а опушка леса, выходящая близко к противнику. Значит, я просто потерял ориентацию, пока мы несколько раз поворачивали в лесу!

Кроме домиков, за полсотни шагов от них успеваю заметить высокую свежевыстроенную наблюдательную вышку.

Петрова и Мехлиса встречает Гречко. Человек высокий, стройный, молодой или, во всяком случае, очень моложавый, со спокойным голосом и неторопливыми движениями.

Когда мы, уезжая от Москаленко, на скорую руку

перекусывали, Мехлис угощал Петрова яблоками, которые его адъютант возил с собой в чемоданчике. Вспомнив об этом еще по дороге сюда, к Гречко, Петров сказал, поворотясь с переднего сиденья к Кучеренко:

— Вот если бы Лев Захарович вместо яблок нас водкой догадался бы угостить, сейчас бы как раз, по такой мокроте чарочку водки...

Кучеренко там, на дороге, услышав это, только сочувственно хмыкнул.

Теперь, когда мы вошли в домик Гречко и сняли всю верхнюю одежду, которую можно было уже просто-напросто выжимать, Петров сказал:

— Интересно, угостят ли нас у товарища Гречко?

Гречко сказал, что через пятнадцать минут все будет, и позвонил по телефону: «Привезите покушать»,— не дав при этом никаких дополнительных объяснений, из чего я понял, что все распоряжения отданы заранее.

Пока мы сидели, отогревались, Гречко знакомил Петрова с обстановкой. Как я понял из их разговора, хотя Гречко сегодня действовал меньшими силами, но в полосе его армии наступление развертывалось несколько более удачно, чем у Москаленко. Войска вышли к Висле и, кажется, переправились через нее.

Накануне Гречко вел разведку боем. Во время этого боя была истреблена немецкая рота, взят в плен офицер, и немцы в результате подтянули на первую линию обороны больше войск, чем у них было раньше. Поэтому и артподготовка оказалась более действенной, и продвижение встретило меньше препятствий.

Говоря обо всем этом, Гречко счел нужным подчеркнуть, что он наступал небольшими силами и до сих пор нигде не вводил в бой вторых эшелонов.

Петров спросил его о потерях.

— В одной дивизии триста человек убитых и раненых, в другой — четыреста пятьдесят,— сказал Гречко.

— Да, надо было и на правом фланге провести разведку боем,— сказал Петров.— Это наша ошибка! — И еще раз повторил: — Ошибка!

Мне понравилось, что он не старался из соображений престижа скрыть в разговоре с подчиненным то, что у него как у командующего фронтом сегодня пока не все получается так, как хотелось бы, не все в течение дня делалось наилучшим образом.

Гречко дважды сдержанно упомянул о том, что у него

в резерве имеется несколько дивизий. И как я понял по одной из реплик Петрова, командарм подчеркнул это сознательно. Может быть, я ошибаюсь, но мне показалось, что он, в сущности, предлагал подумать о дальнейшем развитии успеха именно в полосе его армии.

И я отметил для себя показавшуюся мне совершенно очевидной, даже на первый взгляд, разницу в характерах двух командармов. Москаленко — напористый, горячий, увлекающийся... Гречко — спокойный, основательный, хозяйственный, скупой; в нем, как мне показалось, есть нечто прижимистое, не в плохом, конечно, а в чисто военном смысле.

Потом уже, ночью, прощаясь со мной, о разнице между этими двумя людьми мне сказал сам Петров.

— Гречко — хозяин,— сказал он.— Скупо тратит, осторожно действует, бережет людей. Москаленко — весь порыв, всегда торопится вперед. Но мне по душе его непосредственность, он очень непосредственный человек!

Мы сидели в домике у Гречко, когда туда зашел член Военного совета армии генерал Исаев. Мехлис познакомил нас.

В первую минуту мы с Исаевым не узнали друг друга, а потом оба вспомнили, что уже дважды встречались. Сначала в политотделе 14-й армии в Мурманске, а потом в 60-й армии под Тарнополем.

Ровно через пятнадцать минут действительно появился полный обед, с закуской и даже с дикой, как выяснилось, застреленной в этом же лесу козой.

Мехлис с абсолютно неожиданной для меня ловкостью взял бутылку водки, обил о стену сургуч и, стукнув ладонью по дну, выбил пробку.

— По вашему методу,— сказал он Петрову.

— Но с нововведением,— сказал Петров,— о стенку сургуч — это уж вы сами.

Когда на столе появился обед, Мехлис сказал, что для экспромта это великолепно.

— У Гречко экспромтов не бывает,— усмехнувшись, сказал Петров.

За обедом говорили о посторонних вещах. Кто-то из командиров принес в домик белку с перевязанной бинтом лапкой. И говорили об этой белке, о фазане, которого подстрелил командарм, о том, что к домику подходило близко сразу восемь коз, но, пока схватились их стрелять, они уже убежали.

Петров сидел в углу, и, хотя он принимал участие в общем разговоре, мне казалось, что он все время при этом думает о чем-то другом, своем. Так, наверно, и было на самом деле. Во всяком случае, сразу, как только мы кончили обедать, он соединился по телефону с начальником штаба фронта, чтобы передать в мехкорпус отмену своего приказания о рассредоточении танков. Приказал оставить их там, где стоят.

— Если здесь у вас наметится более очевидный успех,— сказал он Гречко,— может быть, будем вводить у вас.

Мы вышли из землянки. По-прежнему шел дождь со снегом, ветер дул еще свирепее, чем раньше. Гречко собирался проводить командующего до машины, но Петров воспрепятствовал этому.

— Нет, нет, Андрей Антонович, и так прекрасно дойдем. У вас много дел и без этого. Прошу оставаться, желаю вам всего доброго.

Мы сели в машину и, выехав из лесу, свернули на какую-то показавшуюся мне странной дорогу. Она была хорошая, ровная, с чуть заметными бортиками по сторонам. Тут же рядом с дорогой и на одном уровне с ней с одной стороны бежала колея железной дороги.

— А вы знаете, что это за дорога, по которой мы едем? — спросил Петров.

— Нет.

— Мы с вами едем по железнодорожному полотну. Тут, на этом участке, была трехпутная колея. Два пути мы использовали — рельсы посередине сняли, оставили только по краям, а между ними посыпали гравий. И получилась превосходная дорога! У Гречко другого выхода не было, и вот нашелся...

Как раз в тот момент, когда Петров договорил это, мы проехали под оставшимся от железной дороги семафором. Сидевший рядом со мной автоматчик, задрав голову, смотрел в небо, по которому ходил длинный луч прожектора. И вдруг сказал мне:

— Поглядите, какие красивые облака несутся.

И в самом деле, по темному небу в луче прожектора с удивительной быстротой проносились гонимые ветром низкие маленькие облака.

Мы заехали на несколько минут на квартиру к Петрову и выпили там по стакану чаю. Я в последний раз за день влез в «виллис» и поехал ночевать в политотдел 38-й,

в Пщину. Влез, не надевая ушанки, потом уже на ходу стал надевать ее. Она была мокрая, как лягушка. Такая мокрая, что, когда я стал выжимать ее, из нее полились струйки воды. Так и поехал без шапки, пригнувшись пониже за ветровым стеклом, все-таки лучше...

Лишь через много лет после войны, собирая материал для книги «Последнее лето», половина которой отведена рассказу о том, как армия готовилась к наступлению, я впервые понял масштабы подготовительной работы, которая ведется перед началом крупной операции.

О том, как готовятся наступления, мне, военному корреспонденту, никогда за всю войну писать не поручали, да по условиям военного времени и не могли поручать.

Мое дело было — вовремя попасть в армию к началу наступления и написать о нем после того, как оно начнется.

Словом, вышло так, что я ни разу не видел своими глазами (и поездка на Четвертый Украинский фронт не была в этом смысле исключением) тех предшествующих наступлению напряженнейших недель и дней, когда все фронтовые и армейские органы — и военные советы, и политотделы, и штабы, и тылы — делают все от них зависящее, чтобы заложить основы успеха, создать для него объективные условия.

А между тем эти, казалось бы, сухие слова «объективные условия» заключали в себе тогда очень многое; не только сосредоточение техники, боеприпасов, продовольствия, горючего, переправочных средств, не только проигрывание будущей операции на штабных картах, учебные стрельбы, пробные переправы, тренировку пехоты для броска за огневым валом; они заключали в себе и то, что в официальных документах мы называли политико-воспитательной работой: моральную подготовку людей, которым предстоит идти в огонь.

Последние месяцы войны, когда ее конечный результат был уже ясен для каждого солдата, люди, страстно желавшие победы, в то же время с особенной силой хотели увидеть ее своими глазами, дожить до нее в огне последних боев. Им так не хотелось умирать! Понять это нетрудно, и умалчивать об этом нет нужды. А в таких условиях моральная подготовка людей к предстоящему наступлению и к готовности вновь, в который уже раз за войну, пойти на

необходимые для достижения успеха жертвы была особенно нелегким, но и особенно необходимым делом.

Многое из того, о чем я сейчас упомянул, так и не попало в мое поле зрения военного корреспондента, и я не могу задним числом добавить в свои записные книжки 1945 года того, что пропустил, не успел или не сумел увидеть тогда. Но читающим их сейчас хочу с порога напомнить, что жестокая требовательность людей, управлявших ходом боя с наблюдательных и командных пунктов армии, опиралась на сознание, что в ходе подготовки к операции если не все, то, во всяком случае, большая часть объективных условий, необходимых для достижения победы, были созданы. И стало быть, теперь дело в субъективных усилиях всех тех подчиненных им генералов и офицеров, которые перед началом доложили и о своей готовности к действию, и о своей уверенности в успехе, и теперь в бою обязаны поступать так, чтобы слово не расходилось с делом.

Язык войны — жесткий язык. Перечитывая сейчас записанные мною тогда на командных и наблюдательных пунктах телефонные переговоры, я не стал смягчать задним числом ни их резкости, ни их жесткой требовательности. Такое смягчение нарушило бы правду той, ни с чем другим не сравнимой по своему нервному накалу атмосферы, в которой работали военные люди в период активных операций на фронте.

В разгар боев, когда за каждой оплошностью, за каждой упущенной минутой в конечном итоге всегда зримо и незримо присутствует ее цена — людские потери,— начальники вообще редко хвалят своих подчиненных. Гораздо чаще проверяют, требуют, нажимают. Одобряют — коротко, благодарят — скупо, требуют — постоянно.

А хвалят и награждают потом, когда все, что приказано было сделать, сделано, когда все это уже позади...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Записная книжка за 12 марта 1945 года.

...Утром, когда я был у Петрова, разрешившего заехать к нему познакомиться с обстановкой, мне показалось, что дело начинает идти на лад.

Сам Петров не говорил об этом, но это чувствовалось и по общему настроению, и по тону его голоса, когда он разговаривал при мне по телефону и настойчиво и припод-

нято спрашивал о разных пунктах: взят ли этот, взят ли тот?

После короткого разговора с Петровым мы с Альпертом сели на свой «виллис» и поехали в сторону фронта. Решили сначала заехать к Москаленко, а оттуда на его правый фланг — в 101-й корпус генерала Бондарева, где, судя по телефонным разговорам Петрова, сегодня намечался успех.

На этом фольварке, где десятого марта был наблюдательный пункт 38-й и было тогда полным-полно народу, сейчас сидели только два или три человека из оперативного отдела. Все начальство уехало вперед, в Павловицы, деревню, расположенную на территории, отбитой за эти два дня у немцев; там помещался теперь наблюдательный пункт 101-го корпуса.

До Павловиц мы добрались сравнительно быстро, застряв только в одной пробке. Грунт промерз недостаточно, но погода была приличная, пожалуй, градуса два мороза. В том месте, до которого мы в прошлый раз дошли с Петровым пешком и остановились, теперь через огромную железнодорожную выемку был переброшен мост, а поодаль от него по краям выемки были сделаны косые пологие съезды, и по ним настелена дублировавшая мост, спускавшаяся на дно выемки жердяная дорога. И этот мост, и эта жердяная дорога уже почти ликвидировали пробки.

Павловицы были сильно разбиты артиллерийским огнем, должно быть, и нашим, и немецким. Повсюду выбитые стекла, все улицы в воронках, стены домов, как шкура леопарда, испещрены черными пятнами от осколков.

К одной из таких испещренных осколками стен были прямо снаружи пристроены, очевидно, каким-то шутником большие дубовые стенные часы с гирями. Маятник исправно качался, а время было абсолютно точное.

Проходя мимо этих стенных часов, какой-то боец полез в карман, вынул свои часы и сверил их.

Посредине деревни наш «виллис» затерло в пробке. Мы оставили его и пошли пешком на южную окраину Павловиц. Там, сразу за окраиной, размещался штаб корпуса. Дом был грязный и полуразбитый снарядами, и в одном из его флигелей в уцелевшей небольшой угловой комнате был командный пункт Бондарева.

Самого Бондарева не было, но в комнате сидели его начальник артиллерии, Москаленко, Епишев, командую-

щий артиллерией фронта генерал-лейтенант Кариофили и приехавший сюда, очевидно прямиком из штаба фронта, раньше нас Петров.

— Ну и какие же там у немцев блиндажи? — спрашивал кого-то по телефону Москаленко в тот момент, когда я вошел.— Ах, вон как, даже с коврами? А немцев убитых много?

В это время Петров, продолжая начатый разговор, говорил Епишеву:

— Уверяю вас, что наши радисты и наши телефонисты порой лучше понимают серьезность обстановки, чем иные штабные офицеры. Во всяком случае, если не понимают, то чувствуют ее иногда безошибочно.

По настроению всех сидевших в комнате мне показалось, что дело продолжает идти на лад.

Москаленко снова и снова брал трубку, разговаривал с командирами корпусов и дивизий.

— Здравствуйте! Что же это вы ночью хорошо действовали, а днем погано? Почему? Дневного света боитесь?

— Надо огнем ломать сопротивление, а не кровью.

— А вы откуда со мной говорите? Из лесу? Все из того же? Очень плохо. Я считал, что уже вчера вас оттуда выгнал, а сегодня приходится еще раз выгонять. Немедленно вперед, в Гурны!

— Дайте побольше огня по дорогам, ведущим к немцам из Ратиборы! Немцы оттуда тащат войска!

— Вот сегодня, по крайней мере по стрельбе, бой чувствуется,— положив трубку, говорит Москаленко, обращаясь к окружающим.— А то вчера артподготовка кончилась и сразу настала гробовая тишина.

Ему звонят, и он снова берется за трубку, говорит со своим начальником штаба.

— А откуда движутся немецкие танки? Так. А где они утром были? Так. Ну, если они сейчас еще там, то будут здесь, перед нами, не раньше, чем завтра утром. Нацеливайте на них и сегодня и завтра с утра авиацию, чтобы по возможности разбомбили их на подходе.

Очевидно, промежуточный телефонист, не успев соединиться с Москаленко, говорит про него кому-то, что он куда-то пропал.

— Я не пропал! — весело кричит по телефону Москаленко.— И никуда не пропаду, пока война не кончится!

— Плохо воюете! Плохо воюете! Скажите своему Первому, что он последние дни командует вашим хозяйст-

вом, если будет так, как сегодня, распускать слюни. Уговаривает там, понимаете, своих командиров бригад,— недовольно отрывается Москаленко от телефона,— вместо того, чтобы им приказать! Я вот возьму да передам сейчас его 103-ю бригаду Бондареву!

По другому телефону разговаривает полковник — командующий артиллерией корпуса, совершенно охрипший за эти дни и вдобавок немножко шепелявящий оттого, что у него нет нескольких передних зубов.

— Я думаю, что сегодня пройдем еще не особенно далеко,— говорит Петров.— Так я думаю. Вот здесь они попробуют задержаться, на этом рубеже. Сегодня надо напирать здесь, где уже пошли, развивать успех. А назавтра все равно придется готовить удар еще и в другом месте.

Москаленко говорит по телефону, должно быть, со своим командующим артиллерией.

— То есть как это у вас залпов нет? А вы скажите вашим эрэсовцам, что мы здесь присутствуем — и я, и командующий фронтом,— у них сразу найдутся и залпы и все!

Как только он положил трубку, возникает разговор о возможности использования эрэсов для стрельбы прямой наводкой.

— Ну и что ж,— говорит Москаленко,— какие у нас основания больше цацкаться с ними, чем с другими видами вооружения? Их тоже нужно при случае на прямую наводку использовать. Особенно при артподготовке — скрытно подвезти дивизион, скрытно его поставить и ударить с короткой дистанции. Впечатление страшное!

Кто-то замечает, что эрэсами можно бить даже с меньшего расстояния, чем километр.

— С меньшего нет! Для этого у них слишком большое рассеивание.

— Это хорошо, что они там уразумели, что надо не пузом брать, а огнем,— говорит Петров, выслушав доклад только что пешком добравшегося с передовой офицера связи, и, назвав его по фамилии, спрашивает: — Ну как, за эти дни много сапог стоптали?

— Порядочно.

— А новых командующий армией не дает?

— Пока не дает.

— Ладно, приходите ко мне,— улыбаясь, говорит Петров.

Москаленко приказывает командиру находящейся на

марше артиллерийской бригады поскорее двигаться, чтобы не задержать идущих вслед танков.

— Если догонят, пропустите.

— Меня радует,— говорит Петров,— что за эти дни обозники стали подисциплинированнее. Их накачали перед боями, и они теперь сами без криков и напоминаний сворачивают с дороги.

— Танков боятся,— усмехается Москаленко.— Боятся, что раздавят и не заметят!

Заходит речь о том, чтобы очистить огнем какую-то рощу, в которой зацепились немцы. Епишев предлагает поставить на эту прочистку незанятую сейчас легкую зенитную артиллерию.

Москаленко соглашается и дает соответствующее приказание.

— Послушайте, Соколов,— говорит Епишев совсем потерявшему голос начальнику артиллерии корпуса,— если вы нам сегодня обеспечите на дорогах свободный проход танкистам, то я вам завтра же пришлю протезиста, чтобы срочно зубы отремонтировал.

— А я уже думал об этом,— говорит Соколов,— да боюсь, как бы мне после этого ремонта на целую неделю из строя не выбыть, пока привыкну.

— Да,— соглашается Епишев.— А все-таки как-никак после окончания операции придется. Вас, как я слышал, скоро с генералом будем поздравлять, надо, чтоб до этого с зубами порядок был. А то еще наклепают злые языки, скажут: узнали, что беззубый, и дали ему генерала по старости лет!

Москаленко доносят, что командир 42-й тяжелой танковой бригады ранен в ногу, причем тяжело.

— Храбрый был командир,— говорит Москаленко. И начинает звонить танкистам, начальнику штаба этой бригады.— Здравствуйте, Фарберов! Покажете себя хорошим командиром — останетесь на бригаде после операции. Только ведите себя, Фарберов, осторожнее, чем предыдущий командир. Переживаю за него! Пошлите начальника политотдела, чтобы узнал, куда его эвакуировали, и доложите. Мне сообщили, что у вас там пробка возникла. Почему? Подорвавшийся танк поперек дороги стал? Так сбросьте его с дороги, этот подорвавшийся танк! А не можете, так взорвите его толом на куски и растащите. Время дороже! — И, уже положив трубку, добавляет: — Ну, подорвется на минах несколько танков,

в конце концов оправдано, если этой ценой двести других протолкнем вперед. Скоро сумерки наступят, нам надо как можно скорее вырваться к Ястшембе. Тут дерзновение нужно и еще раз дерзновение!

Телефонистки на линии называют наблюдательные пункты «глазами». Про командиров, находящихся на наблюдательном, говорят, что «он на глазах». Шифр, кажется, первоначально родившийся без участия начальства, по собственной инициативе связистов.

Москаленко снова на телефоне.

— Терроризируйте его огнем в глубину и, самое главное, встречайте огнем его резервы на дорогах. Когда резервы противника получают хорошую пару снарядов под ноги еще на подходе, это сильнее их деморализует, чем когда они уже дойдут до передовой, и только после этого начнешь их обстреливать.

Откуда-то с передовой передают донесение Бондарева, что взята Кындра.

— Кындра взята? — переспрашивает Москаленко и, счастливо улыбнувшись, даже незаметно для себя слегка подмигивает.

Петров уезжает. Перед его отъездом происходит небольшая, но характерная, с психологической точки зрения, сценка. Является подполковник, начальник штаба бригады, которая сегодня вводилась в бой в составе бондаревского корпуса. Судя по последнему разговору, за командиром этой бригады числятся какие-то грехи, и вообще она на дурном счету.

— По сути, в бою еще не были,— говорит Петров, выслушав доклад подполковника.

— Никак нет,— отвечает тот,— но сто двадцать человек потерь уже имеем.

— Вот,— обращаясь к нему, говорит Москаленко,— в бригаде у вас безобразие, действуете до сих пор плохо, никуда не годно! О командире вашем имею сведения самого скверного свойства, он виноват, но и вы, наверное, тоже. Яблочко недалеко от яблоньки... Идите теперь в бой и деритесь как следует — это вам проверка! Если не выполните задачи дня, поставлю о вас вопрос перед командующим фронтом, и ваш командир бригады, так и передайте ему, пойдет командовать батальоном, а вы пойдете к нему начальником штаба.

— Разрешите идти? — спрашивает начальник штаба бригады.

Но Петров его задерживает, видимо считая, что человеку, так или иначе идущему прямо сейчас в бой, нужно сказать непосредственно перед этим какие-то другие слова. В то же время Петрову не хочется, чтобы сказанное им выглядело поправкой к тому, что перед этим сказал Москаленко.

— Вы слышали, что вам сказал командующий армией! — говорит Петров.— Так вот, все, что у вас было до того, все, что было плохо, все это сметется и забудется, если начнете хорошо действовать. Поймите, что ваши хорошие действия все это зачеркнут, так и передайте вашему командиру бригады. Желаю вам успеха!

Он подает начальнику штаба бригады руку, и тот выходит.

Через несколько минут Петров уезжает.

За всеми этими разговорами, связанными с непосредственными донесениями с поля боя, я все время чувствую у Москаленко стремление как можно скорее ввести в бой танкистов. Корпус уже третий день стоит на дорогах в полосе армии, забивая их, и пока что не только не помогает пехоте, а сильно мешает ей. В особенности тем, что в ряде случаев не дает возможности своевременно продвинуть вслед за пехотой артиллерию.

Мне кажется, сегодня, так же как и третьего дня, у командующего фронтом и командарма нет единого мнения о сроках использования мехкорпуса. По некоторым репликам Москаленко мне показалось, что он считал нужным двинуть этот мехкорпус сегодня еще с самого рассвета. А Петров, видимо, все еще берег его, хотя недавно приказал двинуть его по дорогам вперед и даже поставил перед танкистами частную задачу — занять вместе с пехотой несколько населенных пунктов, но, насколько я понимаю, решительного приказа о том, чтобы танкисты шли на прорыв, он все еще не дал.

Как мне представляется, сейчас вопрос сводится к выбору одного из двух решений: или с помощью мехкорпуса прорвать фронт там, где пехота его еще недопрорвала, или продолжать ждать, когда пехота окончательно прорвет фронт, и только тогда вводить мехкорпус в прорыв.

Кстати, за эти дни я уже несколько раз думал о психологии тех пехотных начальников, которых начинает раздражать долгое стояние танкистов в неподвижности за спиной у пехоты. В самом деле, наверное, психоло-

гически трудно наблюдать, как десятки стальных коробок стоят и ждут за спиной, боясь подорваться на минах или попасть под огонь артиллерии, в то время как не защищенные броней люди, пехотинцы идут вперед сквозь эти мины и сквозь этот артиллерийский огонь. Наверно, если не входить в общий замысел операции, это просто по-человечески может казаться обидным. И, пожалуй, нет ничего удивительного, что некоторые наши пехотные офицеры сгоряча выпаливают эту обиду, порой не желая сообразоваться ни с общими обстоятельствами, ни с дальнейшими задачами.

И все-таки, как ни трудно, со скрипом повертывается машина войны, за те два с половиной часа, что я провожу здесь, на КП, как будто начинает складываться ощущение назревающего успеха.

— Спасибо за гостеприимство,— поднимаясь со стула, говорит Москаленко.— В бою гостеприимство — это не стопка водки и не стакан чаю, а доклады о хороших действиях!

Но после этого прощания он все-таки остается еще здесь в корпусе. Снова берет трубку и говорит по телефону:

— Это хорошо, что лес занят! Противник, естественно, бежит, раз теперь ваша пехота у него в тылу оказалась.

Я решаю проехать к Бондареву, который находится сейчас где-то в одной из своих дивизий. Но как раз в это время Москаленко раз за разом звонит, разыскивая его, и никак не может найти ни в одной из дивизий. Очевидно, тот или добирается сейчас из одной в другую, или находится на обратном пути сюда.

Тогда я решаю пройти к находящемуся где-то неподалеку отсюда, в этой же деревне, командиру мехкорпуса генералу Д. Меня интересует вопрос, тот ли это самый Д., с которым я когда-то несколько раз встречался на Халхин-Голе. Там он командовал мотострелковой бригадой и, насколько я помню, по тем временам отличался спокойствием и смелостью. В общем, как говорится, был на хорошем счету.

Мы с Альпертом вошли в дом, где расположились танкисты, через большие сени, полные людей. За сенями шел коридор, а в конце его была маленькая комната. Я вошел со света, и она мне показалась совсем темной. Окна с выбитыми стеклами были заколочены для тепла

досками и заткнуты тряпками. Освещение составляли огарок свечи на столе да работавшая от аккумулятора крохотная лампочка под самым потолком.

Войдя, я сразу узнал Д. Это был именно тот, халхингольский Д. Он был одет в огромный американский рыжий кожаный комбинезон с меховым воротником и с «молниями» и своим горбоносым поджарым ястребиным лицом больше напоминал какого-нибудь золотоискателя или полярного исследователя, чем генерала. Рядом с ним сидел начальник политотдела, полковник, одетый в доходившие ему до половины груди меховые штаны. Под штанами были форменная гимнастерка, но штаны поверх погон были прихвачены подтяжками. Словом, налицо было то самое пресловутое нарушение формы одежды, которым при всяких обстоятельствах — и требующих этого, и не требующих — любят щегольнуть многие танкисты.

Тут же был и полковник, заместитель командующего бронетанковыми войсками фронта, которого я только что видел у Москаленко.

Не уверен, узнал ли Д. меня, но сделал вид, что узнал, и, пожав мне руку, сказал:

— Да, постарели вы, здорово постарели...

После традиционного возгласа — не то Миша, не то Гриша, принеси закусить! — мы с Д. начали вспоминать Халхин-Гол и халхингольцев. Он перечислил писателей, которые бывали у него там в бригаде, и стал спрашивать, что с кем.

Я ответил, что и Ставский, и Лапин, и Хацревин, и Розенфельд, все, кроме меня и Славина, убиты в эту войну.

Он горестно вздохнул, услышав о гибели Ставского, и разговор перешел с писателей на военных. Выяснилось, что все халхингольцы, о ком бы мы с ним ни вспоминали, одно из двух — или убиты, или дослужились на войне до больших должностей.

Перебирая знакомых мне халхингольцев, я вспомнил одного из них, который тоже дошел до больших должностей, но одно время спился и был снят за это.

— А что с ним сейчас? — спросил я.— Совсем о нем не слышно.

— Сейчас командующий БТ какой-то из армий на Прибалтийских фронтах.

Этим для меня было многое сказано. Как я успел за-

метить за время войны, если дожности командующих артиллерией и фронтов и армий были всегда очень важны и существенны и на них находились виднейшие артиллеристы, деятельные люди, игравшие самую непосредственную роль в любой операции, то должности командующих бронетанковыми войсками и во фронтах и в армиях по большей части оказывались местами, куда назначали тех из танковых командиров, которым по каким-либо причинам не считали возможным дать командные должности в танковых армиях, корпусах и бригадах.

У меня сложилось впечатление, что пребывание танкистов на этих должностях — нечто вроде почетной отставки. Может быть, этому способствует и то, что, насколько я могу судить сам, круг обязанностей этих людей недостаточно определен, расплывчат. А вдобавок к этому при современных действиях целыми танковыми корпусами и армиями, которые часто далеко отрываются от соответствующих штабов, руководство ими со стороны командующих бронетанковыми войсками армии или фронта часто оказывается номинальным.

Когда Д. в разговоре со мной упомянул об этом человеке, который одно время спился, мне вдруг показалось по его резкому отрывистому смеху, отрывистой речи и какой-то общей повышенной возбудимости, что он и сам сейчас, может быть, не совсем трезв.

Хотя главная масса танков продолжала торчать на дорогах, но все-таки командующий фронтом недавно поставил перед танкистами какую-то, пусть небольшую, частную задачу. А между тем командир корпуса и начальник политотдела сидели рядом в этой темной хате, никуда не двигаясь, и откровенно скучали.

Не знаю, чем была вызвана эта прострация Д. Может быть, как раз тем, что его танки уже третий день находились на исходном положении, торчали на всех дорогах и он пребывал в том состоянии затянувшегося ожидания, которое тяжелее всего переносить человеку. Это я мог понять.

Но в то же время, когда я смотрел на Д., мне казалось, что он сейчас чем-то похож на вылетавшегося летчика. Он вдруг брал телефон и выкрикивал в него какие-то отрывистые, резкие распоряжения, а после телефонных звонков с досадой говорил о себе: «Вот, приходится сидеть в штабе, все штаб да штаб, а мне надо

другое. Мне надо на большую дорогу с ножом выйти!» Очевидно, подразумевая под этим ввод корпуса в прорыв.

Но, хотя он и говорил о прорыве, у меня складывалось ощущение, что сейчас у него состояние какой-то бездеятельности. Мне казалось, что этот человек, наверно, может пройти в прорыв, может натворить там дел, но вот сейчас, в данную минуту, организовать бой, выполнить ту скромную частную задачу, которую перед ним пока поставили, проследить, чтобы, выполняя ее, танки двигались так, как нужно, что в этом будничном деле он не заинтересован.

В дальнейшем разговоре Д. стал хвалить командующего фронтом за то, что тот не пускает раньше времени его танки. Он радовался, что не находится в прямом подчинении у Москаленко, который, по его словам, их бы уже пустил!

И то, как он хвалил командующего фронтом, продолжавшего придерживать танки, мне в его устах не понравилось. Была в этом какая-то нота самозащиты, чувствовалось нежелание рисковать раньше, чем создастся такая обстановка, при которой большого риска не будет.

Мне просто по-человечески показалось, что, когда командующий фронтом бережет свой единственный танковый корпус и боится пустить его раньше времени, это одно. Но, когда о том же самом говорит командир этого корпуса после того, как его корпус восемь месяцев формировался и третий день стоял в бездействии на дорогах, в этом было что-то совсем другое...

Приехал офицер связи из той танковой бригады, которой сегодня была поставлена частная задача, и доложил Д., что мимо них проезжал командующий фронтом, который сказал: «Бой вести, но всеми силами в него не ввязываться».

— Вот видите, не ввязываться! — с торжеством сказал Д.— Не ввязываться! Я и сам видел, что всеми силами еще не нужно ввязываться!

Но сам он настоящей связи со своей вступившей в бой бригадой, насколько я понял, пока не имел, и о том, где находятся его же собственные танки, его пришел проинформировать офицер оперативного отдела стрелкового корпуса. Оказывается, мотопехота залегла под огнем, а танки стояли в колонне перед минным полем и из колонны стреляли.

Выслушав это, Д. никак не реагировал, как будто всего этого не было. Он то диковато смеялся, то часто и широко улыбался, и странная улыбка эта казалась мне минутами просто улыбкой нервнобольного человека. Может быть, это было не так, но мне казалось, что именно так.

Вскоре появился начальник штаба корпуса, одетый тоже в комбинезон, генерал с круглым лицом.

— Ну как? — спросил его полковник из АБТ фронта.

— Поспал.

— Я заходил, видел. Не стал тебя будить.

Протерев со сна глаза, начальник штаба корпуса стал с ходу ругать командарма, который разбудил его сейчас своим звонком, а до этого уже один раз грубо говорил с ним еще под Сталинградом.

— Я тоже ему сейчас в голос ответил,— с оттенком хвастовства сказал начальник штаба.— Он голос поднимает, и я голос подымаю. Хоть бы мне в третий раз на него не работать, а то еще сморожу про него то, что думаю...

В манере, с какой он все это говорил, было какое-то неумное мальчишеское бахвальство: «А ну, тронь меня, а ну, только тронь! А ну, попробуй...»

Принесли тарелку с кусками колбасы и вареного мяса, бутылку с мутной жидкостью и два стакана. Нам с Альпертом налили по полстакана этой мутной жидкости. Мы спросили, почему только нам.

— Мы только что завтракали,— сказал Д.

Когда он сказал это, я подумал, что был прав, предположив, что он уже успел выпить.

— Уже завтракали,— повторил Д.,— и больше не будем. Пейте одни.

Эти слова меня обрадовали. В общем-то, он был радушен, отнесся к нам, как говорится, с хорошей душой, и мне даже как-то неловко заносить на бумагу свои невеселые впечатления от того состояния, в котором я его застал. Но ничего не поделаешь...

Мы выпили по полстакана налитой нам мутной жидкости, которая оказалась скверным свекольным самогоном, и еще дожевывали мясо, когда вбежал адъютант и шепотом произнес:

— Генерал-полковник!

Бутылка с самогоном со сверхъестественной быстротой оказалась под столом. Вставая навстречу входяще-

му, все думали, что это будет Москаленко. Но вошел Мехлис.

Он начал с того, что посмотрел по карте обстановку, которую только что, за десять минут до этого, нанес офицер оперативного отдела стрелкового корпуса. При этом Д., объясняя Мехлису обстановку, как я успел заметить, начертил на карте красную дугу не в том месте, где собирался.

— Что это у вас так темно? — спросил Мехлис.

— Да вот окна забиты.

— Что же вы не постараетесь получше устроиться? — спросил Мехлис, светя на карту фонарем.

— А мы через некоторое время уйдем отсюда,— сказал Д.— Через час, через два уйдем.

— Куда? — спросил Мехлис.

— А вот,— Д. показал на карте село Гурны.— Мы уже туда людей на рекогносцировку послали, чтобы подготовили место.

Говоря так, он солгал. На самом деле никого он на рекогносцировку не посылал, а просто полчаса назад между ним и начальником штаба произошел следующий разговор.

— Через час снимемся отсюда и пойдем вот сюда, в Гурны,— ткнул Д. пальцем в карту.

— Как же вы хотите сюда, когда там еще немцы?

— Да нет там никаких немцев.

— Нет, там еще немцы.

— А что нам немцы, пойдем туда, и все!

— Когда пойдем? Когда бригады пойдут? — спросил начальник штаба.

— Бригады ночью пойдут. Мы будем уже там, а потом бригады подтянутся. Мы же с тобой не раз так делали.

— Конечно, можно и туда выехать,— сказал начальник штаба, немного рисуясь при этом.— Мы с тобой и под автоматным огнем бывали! Вот только как бы связь не потерять.

— Ничего, будет и связь.

— Да что связь, мы с тобой под автоматным огнем не раз бывали, это пустяки,— снова повторил начальник штаба.— Надо будет только рацию с собой тащить.

— Ничего, через час пойдем,— еще раз повторил Д.

Тем и кончился тогда их разговор о переходе на новое место. И мне показалось, что не только через час,

но и через два они никуда не уйдут отсюда, а пробудут здесь, по крайней мере, до утра.

Ознакомившись по карте с обстановкой, услышав о предстоящем переходе штаба на другое место и получив, как мне показалось, более чем приблизительное представление о том, что здесь на самом деле происходит, Мехлис стал спрашивать, как с горючим.

Из ответов Д. выяснилось, что горючего у танкистов всего на полторы заправки, а фронт перестал их снабжать.

— Почему? — спросил Мехлис.

— Не знаю.

— Вы стоите на месте, наверное, поэтому и перестал давать,— сказал Мехлис.

— В общем, нам горючего не дают,— сказал Д.— Я уже послал об этом шифровку командующему фронтом.

— Хорошо, я скажу, чтобы вам выдали горючее,— сказал Мехлис.

Он расстегнул планшет, из планшета вынул блокнот, в котором была масса записей, открыл чистую страницу, потом вынул из планшета аккуратную коробочку, в которой лежали аккуратно очиненные разноцветные карандаши, выбрал один из карандашей, сделал запись в блокноте и положил карандаш обратно в коробочку. Один конец карандаша не влезал, тогда он перевернул карандаш другим концом и положил так же, как лежали все остальные.

— Вот, передайте немедленно по рации,— вырвав из блокнота листок со своим приказанием, сказал Мехлис.— А теперь скажите мне, где Бондарев.

Начальник политотдела взялся проводить его.

Простившись с Д., договорившись, что увидимся с ним на новом месте, я пошел вслед за Мехлисом. Я подумал, что если Бондарев не вернулся на НП корпуса и по-прежнему находится где-то в дивизиях, то, когда Мехлис свяжется с ним и поедет к нему, можно будет поехать следом.

Начальник политотдела проводил Мехлиса до фольварка, где я был с утра. Сейчас там находился только командующий артиллерией, оставшийся здесь за всех, в том числе и за командира корпуса.

Мехлис вынул свою карту, и артиллерист нанес на нее обстановку.

— А вот здесь танковый батальон,— сказал Мехлис, показывая на красную дугу, нарисованную генералом Д.

— Нет у нас сведений, что здесь есть танки,— сказал артиллерист.

— А танкисты докладывают, что есть.

— Не знаю об этом,— сказал артиллерист.

Быстро вошел начальник штаба стрелкового корпуса генерал-майор Григорьев, полный, немножко запыхавшийся от быстрой ходьбы. В шапке-ушанке и в замызганной черной кожанке.

Отдышавшись, он повторил обстановку, уже доложенную артиллеристом.

Мехлис снова, показывая на карту, повторил, что передовой танковый батальон, по данным танкистов, находится вот здесь.

— Не может быть,— сказал Григорьев.— Нет у нас таких данных.

— То есть как это нет? Они же докладывают,— с доверием пунктуального человека к пунктуальности других людей сказал Мехлис.

— Разрешите вам доложить, товарищ генерал-полковник,— сказал Григорьев,— пока наша пехота там не будет и не доложит мне, что она там, я не могу вам докладывать, что этот пункт занят.

В комнату вошел Бондарев. Вид у него был усталый. Как выяснилось, он ходил в две свои дивизии, туда и обратно пешком.

Бондарев был почти такой же, каким я его видел на Курской дуге в сорок третьем году, с печальными глазами и устало сбитой на затылок тогда — фуражкой, а сейчас — папахой. Только еще немножко похудел и постарел с того времени.

Разговор сразу же зашел о докладе танкистов. Бондарев махнул рукой и сказал:

— Пока хоть одна мина будет лежать, никуда они не пройдут. А если болванка над головой свистнет, так такой крик на весь свет поднимут! Сколько я ни воюю, не помню никогда случая, чтобы танки в бой впереди меня шли. Всегда моя пехота впереди танков идет. Уж как хотите, а так! Точно так.

Помолчав, добавил:

— Не понимаю, что же это такое? Танки торчат на дорогах, где-то впереди столпились, стреляют по нем-

цам из колонны, по своему маршруту идут не в срок и не точно, а командир корпуса и начальник штаба сидят здесь, в хате, вместо того, чтобы протолкнуть свои танки своим авторитетом и приказом. Может, не мое это дело, но не понимаю я этого, вы меня уж извините.

— Тогда, может быть, мы вызовем командира корпуса сюда,— сказал Мехлис. И приказал позвать Д.

Пока его ждали, Бондарев, продолжая говорить о танкистах, вспомнил о двух своих разговорах с Петровым.

— Вчера, уже к вечеру, командующий фронтом сказал мне: если к ночи возьмете такие-то и такие-то деревни, то, очевидно, будем вводить мехкорпус на вашем направлении. Мы все эти деревни к ночи взяли, а под утро он мне позвонил: «Скажи мне, Бондарев, откровенно твое мнение. Пришло ли время сейчас вводить у тебя танки?» Конечно, мне было бы легче воевать, если бы в этот момент у меня были танки. Но я ему по совести ответил, что нет, по-моему, танки вводить у меня на участке еще не время. Они потом, конечно, будут помогать,— продолжал Бондарев,— но, пока они стоят на твоих коммуникациях, сколько же они крови перепортят! Иногда кажется, хоть бы их и вовсе не было! До тех пор, пока они тут с нами, до тех пор, как они своими танками в прорыв не пройдут, пока стоят на всех дорогах, артиллерия продвинуться не может, обозы застряли, пушки не протолкнешь, машины не протолкнешь — чистое бедствие.

Вскоре появился Д. и вместе с ним полковник из АБТ фронта.

Мехлис в довольно мягкой форме сказал им, что они должны сами проследить за тем, как двигаются и как вступают в бой их танки.

Полковник из АБТ фронта до этого, когда я его увидел у Д., показался мне по первому впечатлению человеком симпатичным и интеллигентным, с одной только возбуждавшей сомнение черточкой. Он по разным поводам как-то очень уж быстро вспоминал разные свои прежние храбрые поступки. А это, как я успел за войну заметить, довольно редко сочетается с прирожденной или твердо выработанной в себе храбростью.

По моим наблюдениям, люди, которые слишком часто вспоминают о своих, даже действительно храбрых поступках, делают это тогда, когда сами очень высоко

их ценят и тщательно помнят. Но истинно храбрые люди обычно не склонны не только переоценивать, но даже не склонны и особенно замечать собственные храбрые поступки, а уж тем более говорить о них по всякому поводу. Впрочем, конечно, всякое бывает!

Так вот, когда Мехлис сделал замечание насчет танков, полковник неожиданно преобразился и каким-то не своим, рыкающим голосом сказал, вернее, прокричал:

— Все будет сделано! Я лично проверю! Все будет в порядке! Я сейчас же пойду!

— Возьмите с собой начальника политотдела,— сказал Мехлис.— Он здесь?

— Здесь.

— Возьмите его с собой.

— Есть! Все будет сделано! Все будет в порядке! Протолкнем! — продолжал рыкать полковник.

И я подумал о нем, что, наверное, это один из тех людей, чей секрет успехов перед лицом начальства заключается в умении без паузы, сразу же громким, уверенным голосом выразить готовность сделать все, что угодно, даже и не делая этого впоследствии.

— Я вам советую просто по-товарищески,— неожиданно тихо после этого рыка сказал Бондарев, обращаясь к Д.,— поехать самому. Увидят своего генерала и пойдут вперед! Поезжайте, и все. Пропихните их, попросту говоря.

— Мы с вами об этом потом поговорим,— с нотой обиды сказал Д.

Но мне показалось, что он не поедет.

— А вы тоже поедете? — должно быть, подумав о том же, о чем и я, спросил Мехлис.

— Я тоже сейчас поеду проверить,— сказал Д.— Разрешите идти?

— Идите.

Он и полковник ушли, а Мехлис остался.

— Прямо Волховский фронт,— сказал Григорьев, показывая на карте синие пятна озер и синие штрихи болот.

— Да, болот здесь много,— сказал Мехлис.— Но только там, на Волховском, было тяжелее. Приходилось орудия ставить на деревянные платформы, чтобы не тонули.

— А я, когда вы были там членом Военного совета,

много донесений вам посылал,— сказал Григорьев.— Хотел сам туда попасть, но не пустили.

— А вы кем тогда были? — спросил Мехлис.

— Начальником штаба Архангельского военного округа.

— А...— сказал Мехлис.— Да, от вас оттуда много пришло народу.

— Старались все лучшее, что имели, для фронта отбирать. Одних олене-лыжных батальонов одиннадцать послали. Они не к вам попали?

— Нет, не к нам! Какие уж там, на Волховском, олене-лыжные батальоны. Их, наверное, на север послали, на Карельский.

— Две морские бригады к вам послали,— сказал Григорьев.— Прекрасные бригады.

Мехлис промолчал, и разговор зашел о потерях.

— Всего за три дня, считая сегодняшний, примерно тясячу двести пятьдесят •человек потеряли,— сказал Бондарев.— Из них человек триста убитыми...

— А немцев много убитых? — спросил Мехлис.

— Порядочно,— сказал Бондарев.— Наших порядочно лежит, и их много набито. Их, пожалуй, даже больше!

— Много,— сказал Григорьев и еще раз повторил: — Много! Я тут первые два дня командира дивизии заменял, шел почти с передовыми цепями, так что навидался немецких трупов. Вот тут, за этим лесом, их навалили очень много,— показал он по карте.

— Что, сами видели? — спросил Мехлис.

— Нет, этого я как раз не видел. Это мне докладывали сегодня.

— Да, много,— сказал Бондарев,— я сегодня сам видел.

— Сколько орудий захвачено? — спросил Мехлис.

— Вчера около пятнадцати, сегодня еще не знаю сколько,— ответил Бондарев.

— А в первый день ни одного,— сказал Мехлис.

— Да, в первый день не взяли. А вообще мы их не считаем,— сказал Бондарев.

— Напрасно,— заметил Мехлис.— По количеству захваченных орудий можно определить степень успеха прорыва. Прорвались ли на артиллерийские позиции? Успевает ли противник оттаскивать артиллерию или не успевает?

— Это верно,— сказал Бондарев,— но мы считать не привыкли. Вот в Яслинской операции в конце концов триста пятьдесят орудий насчитали трофейщики в пользу нашего корпуса. А мы по ходу дела сами не считали.

После этого Мехлис уехал на наблюдательный пункт к Москаленко, туда, где мы были позавчера, а я остался у Бондарева. Мне хотелось поговорить с ним.

Он меня сначала не узнал. Узнал только, когда я напомнил ему, где и когда мы с ним встречались. Было видно, как он устал. Еще раньше, при Мехлисе, как только вошел, сразу же сам попросил разрешения сесть.

Вошел его адъютант.

— Приготовьте что-нибудь покушать,— сказал Бондарев.

— Сейчас. Но вам уже вашу квартиру здесь поблизости оборудовали.

— Ну раз так, поедем туда, на квартиру,— сказал Бондарев, обращаясь ко мне.

— Нет, нет,— всполошился адъютанат.— Минуточку! Вы лучше минут через пятнадцать... Я пойду туда вперед.

— Зачем же вам идти, возьмите машину.

— Я и пешком дойду.

— Зачем же пешком? — повторил Бондарев.

— Там еще не все готово,— сказал адъютант.

— Ну вот, так бы и сказал,— засмеялся Бондарев.— Отправляйся проверь, а мы подождем.

Пока мы ждали, Бондарев связался с командиром одной из своих дивизий. Суть разговора сводилась к тому, что тот не решался смело идти вперед, боясь за свои фланги. Его соседи отстали, а его тыл простреливался немцами. Сначала Бондарев говорил с ним спокойно, но закончил раздраженно:

— Какое ваше дело, что у вас справа и слева? Я же не спрашиваю у своих соседей, таких же, как я: что у них там? Почему они в линейку со мной не равняются? Мне до этого нет дела, у меня свой участок. Двигайтесь, как вам приказано, и все! Выполняйте мой приказ. О том, какой будет дальнейшая ваша задача, не беспокойтесь. Вам дана задача на всю жизнь — наступать! Боится за свои фланги,— положив трубку и обращаясь ко мне, сказал Бондарев.— А у меня такая привычка, я лично никогда не смотрю ни влево, ни вправо. Учить соседей не мое дело. Как со снарядами? — обратился он к начальнику артиллерии.

— Снаряды поступают исправно.

— Ну что ж, значит, завтра воюем,— сказал Бондарев.— Ладно, пойдемте обедать.

«Виллис» стоял метров за сто, в проулке. Мы пересекли дорогу, прошли мимо деревенской площади по раскисшему снегу в грязи. Несколько бойцов укладывали трупы в вырытые на площади могилы. На трех могильных холмиках уже стояли деревянные пирамидки со звездами и надписанными дощечками, а несколько мертвецов, укрытых плащ-палатками, лежало около могил.

Хату, в которой поселился командир корпуса, еще заканчивали приводить в порядок. В одной из комнат домывались полы. Нас встретила молодая женщина с закатанными рукавами, она мыла пол. Это была жена Бондарева.

Мы прошли в следующую комнату, где все было уже чисто, и с полчаса разговаривали вдвоем на разные темы.

Разговор начался с воспоминаний о сегодняшних телефонных звонках, при которых я присутствовал.

Вызвав по телефону начальника штаба 70-й дивизии, Бондарев приказал ему позвать к телефону, чтобы лишний раз не связываться, находящегося там же, рядом, начальника штаба другой дивизии, не запомнил какой. Начальник штаба 70-й дивизии ответил, что придется долго ждать, сосед не так близко — метрах в восьмистах!

— Не восемьсот метров между вами и даже не восемьдесят,— сказал Бондарев.— А только восемь метров! Ну, словом, какое может быть расстояние между двумя домами? Сидите оба, каждый в своем подвале, и не знаете, что у вас рядом. Залезли в подвалы, по телефонам друг с другом связываетесь, а что штаб соседней дивизии в соседнем доме, не знаете! Да, черт его знает,— вспомнив об этом, сказал Бондарев,— все ж таки люди чувствуют приближение конца войны. Придешь, подтолкнешь такого вперед, выгонишь его из-под земли, а он, глядь, опять нашел себе хоть немножко более безопасное место. Не хотят люди умирать!

Я поддакнул, что да, конечно, к концу войны люди больше думают о смерти.

— Нет, я бы не сказал, что все время думают. В горячке об этом забываешь,— не согласился Бондарев.

— Все же в начале войны больше рисковали со-

бой,— сказал я, подумав о себе и о своем нынешнем собственном страхе смерти.

— Да нет, как сказать,— снова не согласился Бондарев.— Вот я в этом году батальон в атаку водил.— Он сказал это чрезвычайно просто, мимоходом.— А почему так вышло? Такая обстановка была. Нужна, конечно, осторожность, притом большая. Я хотя и рискую, но с осторожностью, с приглядкой, поэтому и проносило благополучно.

Он говорил все это с какой-то такой обыденной простотой, что в нем, несмотря на генерал-лейтенантское звание, и Золотую Звезду Героя, и три ряда орденских ленточек, чувствовался подо всем этим главный труженик войны — пехотинец.

Принесли обед, и мы около часу просидели за ним. Обед был вкусный, но Бондарев ничего не пил.

— Я в этом отношении стал похож на Москаленко,— сказал он.— Так, иногда немножко портвейну... А вообще почти ничего не пью. Как Москаленко-то «пьянствует», видели?

Я невольно улыбнулся, вспомнив случай, когда Москаленко, чтобы поддержать компанию, пил шампанское из маленькой рюмки, поставленной в чашку с горячей водой. У Москаленко больное горло, и горячая вода понадобилась для того, чтоб шампанское согрелось.

— Вы всю войну на фронте? — спросил у жены Бондарева Альперт, который до этого занимался съемками, но к обеду подошел.

— Нет, у меня был перерыв — год и четыре месяца.

«Наверное, рожала и кормила ребенка»,— подумал я про нее.

— А остальное время вместе? — спросил Альперт.

— Вместе,— сказал Бондарев.— Сама мне готовит, все делает сама.

— Да, женский глаз во всем чувствуется,— сказал Альперт.

— Это верно,— согласился Бондарев.— Она вслед за мной — сейчас не допускаю — раньше и на передовую ходила. Один раз поехала и нарвалась... По тому месту, где я был, такой огонь из минометов, что стою за стеной и думаю, вот-вот сейчас шлепнет. И уж ни о чем не думаю, только за нее волнуюсь. А тут возле самой хаты горох зеленый рос. Я говорю ей: «Рви горох и ешь!» Что

мне было еще сказать ей в ту минуту, чтобы отвлеклась хоть немного?

Жена его вела себя мило и скромно, и мне в эту минуту показалось, что хорошо, что вот она все время рядом с ним, с этим тружеником войны. И даже если бы была не жена, а просто женщина, которую он любит, все равно это было бы хорошо. Наверно, прибавляет ему душевных сил в тяжелые дни.

Мы вспомнили о прежнем командире одной из дивизий, который был у Бондарева еще на Курской дуге.

— Нет его сейчас,— сказал Бондарев,— лечиться отправили.— И показал себе на голову.

Я вспомнил этого командира дивизии, плотного, прочного, грубоватого, такого, каким я видел его на Курской дуге, и сказал, что он производил тогда впечатление выдержанного человека.

— Да, конечно, в моменты, когда поспокойнее было,— сказал Бондарев.— А в более рискованные уже не выдерживал — сердечные припадки. И плакал, и сам иногда не помнил, что говорил. Поставил о нем вопрос, чтобы его отпустили. А то и дивизию мог подвести, и себя тоже. Бывает, что иногда психика не выдерживает даже у таких, про которых никак и не подумаешь этого.

У Бондарева после обеда оставался все тот же усталый вид, и я заторопился и поднялся.

— Наверное, вы сейчас приляжете отдохнуть?

— Да нет. Устать-то устал, а отдохнуть пока не придется. Сейчас дневные донесения соберем, дам приказ о ночных действиях, пробку еще одну не расчистили, посмотрю ее. А там увидим, может быть, и в самом деле удастся отдохнуть. Спал сегодня мало,— сказал он в заключение.

Мы простились с Бондаревым и поехали в обратный путь.

На деревенской площади теперь лежал всего один завернутый в плащ-палатку мертвец. Остальные были уже похоронены.

На обратном пути в армию мы попали в пробку и уже в полной темноте долго из нее выбирались. Когда наконец выбрались, дорогу преградила подвода.

— Куда же ты едешь, черт!..— стал кричать какой-то офицер, ехавший перед нами на другом «виллисе».

Повозочный с сильным, по-моему, грузинским акцентом стал горячо возражать ему:

— Я по правилам еду, товарищ офицер, я как раз по правилам еду. Возил горячую пищу на передовую, обратно по правой стороне еду, так регулировщик указал. Как положено еду, точно, согласно правил движения. Вы напрасно, товарищ офицер...

Офицер перестал на него кричать, но в эту минуту навстречу подводе с левой стороны дороги вынырнула грузовая машина.

— Вот это безобразие! — возмутился повозочный.— Вот это возмутительный поступок! Почему едешь по левой стороне? Почему не держишь вправо? Почему тебя регулировщик сюда пропустил? Вы посмотрите, как он неверно едет, товарищ офицер.

Благополучно преодолев это последнее препятствие и окончательно вырвавшись из пробки, мы к ночи вернулись домой, как я теперь называю нашу комнату в политотделе армии...

Что добавить теперь к этой тогдашней записи?

Печатая ее сейчас, я не назвал фамилии командира мехкорпуса, у которого я был в тот день. В биографиях военных людей попадаются и тяжелые дни, и тяжелые полосы. И судьба привела меня к нему как раз в такое время. Но в жизни этого человека до той неудачной полосы, которая завершилась его снятием с должности командира корпуса, была большая и трудная война, на которой он немало сделал. Если бы я рассказывал всю его биографию — и со взлетами, и с падениями, и с плохим, и с хорошим,— я бы не постеснялся назвать его имя. Но связывать подлинную фамилию только с той встречей с ним, о которой идет речь в записках, я счел несправедливым.

Эпизод этот особенно сильно врезался мне в память по контрасту со многим виденным до этого. Я писал о танкистах в разные годы войны, с разных фронтов — с Западного, Южного, с Центрального, со Второго Украинского. Видел их и в дни неудач, и в дни их успехов, чем дальше шла война, все прочней преобладавших в нашей памяти. Да иначе и быть не могло. Иначе бы мы, отступавшие до Сталинграда, не воевали через два с половиной года после этого в центре Европы.

И однако, эпизод с Д., свидетелем которого я стал уже весной 45-го года, тоже реальная крупица истории,

напоминание о том, что война до своего последнего дня требует от людей полной отдачи сил и не прощает отступлений от этого правила.

В рассуждениях генерала Бондарева насчет того, что его пехота всегда шла впереди танков, при всей их искренности была, конечно, и ревность и гордость пехотного начальника прежде всего за свой род войск — пехоту, которая, как ни крути, а все же на этой войне была всему основой. Был в них и отзвук реального былого опыта, былой необходимости, поддерживают или не поддерживают тебя танки, все равно идти вперед — одной пехотой и любой ценой выполнять свою задачу. Ну и, наконец, был элемент — как бы это поточней сказать? — забывчивой избирательности, что ли. Были, конечно, и у генерала Бондарева случаи, когда танки шли впереди его пехоты. Не верится, что их так уж и не было! Но в том настроении, в котором он тогда находился, он вспоминал как раз не эти, а другие случаи, более памятные для него самого в ту минуту.

Наверное, следует прокомментировать и мою тогдашнюю тираду о должности командующих бронетанковыми войсками армий и фронтов. В ней, конечно, присутствует излишняя молодая категоричность. Сейчас, вспоминая войну, думаю: ну а скольких же людей, находившихся на этой должности, я практически видел за годы войны? Ну, семь, ну, восемь! Причем, по крайней мере, двое из них были люди волевые, энергичные, нашедшие себе на этой должности дело по плечу и никак не подходившие под мое тогдашнее скороспелое обобщение.

И все же в моих умозаключениях того времени есть и доля истины.

Да, так до конца войны и оставалась вредившая делу неопределенность круга прав и обязанностей командующего бронетанковыми войсками и в штабе фронта, и в штабе армии! Если командующий артиллерией наряду с начальником штаба армии всегда являлся как бы еще одной, правой рукой командарма, командующий АБТ, как правило, ею не был. И лишь в тех случаях, когда командующий фронтом или армией сам подчеркивал его роль, сам практически наделял его дополнительными правами и обязанностями и этот человек в силу своих личных качеств никому не переуступал полученных им прав, только тогда его деятельность соот-

ветствовала названию его должности: командующий бронетанковыми войсками.

Тут всякий раз слишком многое зависело не только от личности, но и от того значения, какое придавал командарм или командующий фронтом должности, на которой находилась эта личность. А раз так, то вполне естественно, что самые боевые, энергичные танковые командиры, как правило, не тянулись к этой должности, предпочитали ей командные посты в войсках.

А бывало, по той же причине, что люди опытные и заслуженные, но без командирской жилки, сами предпочитали эту многотрудную и хлопотливую, порой неблагодарную должность тем командным постам в танковых войсках, которые связаны с постоянной прямой, личной ответственностью, когда, как в старину говорилось, «или грудь в крестах, или голова в кустах».

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Записная книжка за 14 марта 1945 года.

...В двенадцать часов дня мы с Альпертом на его машине поехали в Силезию, в Гинденбург, кирпично-серый угрюмый город, к облику которого так кстати сегодняшний дождь и туман, что даже трудно себе представить, как он может выглядеть при солнце.

Хотя я уже один раз был в нем мимоездом, но только сейчас узнал, что Гинденбург еще в 1933 году был всего-навсего большой деревней, и, наверное, более, чем какой-нибудь другой город, целиком детище гитлеровского периода немецкой истории.

В этой области, где всегда жило много поляков, сейчас за них стараются сойти некоторые немцы. Даже зная всего несколько польских слов, они на всякий случай стремятся их использовать.

Разыскивая военную комендатуру, я остановился на углу улицы и подозвал к машине двух пожилых немцев.

— Комендант,— сказал я.

Они стали показывать руками — прямо! И произносить какие-то ломаные польско-русские слова. Что надо ехать прямо, я понял; понял и что потом надо сворачивать. Но куда?

— Унд вайтер — рехтс одер линкс?

— Вайтер? — переспросил немец.— Вайтер напра-

во,— он непременно желал употребить в разговоре хоть одно русское слово.

Город цел, и нельзя сказать, чтоб пуст, но малолюден.

Мы подъехали к комендатуре. Альперт пошел узнавать, где комендант, а я увидел стайку переходивших улицу людей в званиях от лейтенанта до полковника, одетых в чрезвычайно новенькие шинели, которые они, очевидно, только что начали осваивать. У них был тот глуповатый вид, который обычно приобретает штатский человек, всего несколько дней назад влезший в военную форму, но сам в душе считающий, что уже вполне освоился с нею.

Я подумал, что, наверное, это какие-нибудь наши инженеры или хозяйственники, только что прибывшие сюда из Москвы, и, сказав об этом вернувшемуся Альперту, как потом выяснилось, не ошибся. Мы вместе с ним зашли к заместителю коменданта и застали там еще одного подполковника в точно такой же шинели, какие я только что видел на улице.

Едва я познакомился с заместителем коменданта, как подполковник воскликнул:

— Константин Михайлович, вот странная встреча!

Я вперился в лицо этого маленького подполковника. Лицо мне было очень знакомо, но, где я встречал этого человека, я абсолютно не мог вспомнить.

— Не узнаете?

— Нет.

— А, хотя в этой форме, да еще тут меня, конечно, трудно узнать. Я Филиппов, директор Театра Революции.

— Слава богу, теперь узнал,— сказал я, продолжая соображать, когда я в последний раз его видел и где — в Москве или на фронте?

— Странная встреча,— сказал он.

— Странная,— согласился я.— Давно вы здесь?

— С первого числа. Мы входим в комиссию генерала Сабурова.

Я вспомнил генерала Сабурова, одного из партизанских командиров на Украине, с которым я встречался в сорок третьем в Харькове, и знал, что он теперь работает по линии госбезопасности. И, вспомнив, с некоторым удивлением посмотрел на Бориса Михайловича Филиппова — почему он, собственно, перешел из театра в это ведомство?

— Это тот Сабуров, который партизанил? — спросил я его.

— Нет,— сказал Филиппов.— Это генерал Сабуров — заместитель Вознесенского по Госплану, а мы в его группе.

— Значит, это ваши люди ходят по улице в таких же, как у вас, шинелях? — спросил я.

— Наши.

— Вот про них я сразу сообразил, кто они такие,— сказал я.— А вы что здесь делаете?

— А я вхожу в эту комиссию от Комитета по делам искусств. Вот «страдивариуса» сегодня нашли.

Он показал мне на лежавший на диване ящик. Ящик был открыт, и мне была продемонстрирована старая скрипка, которая, как выяснилось, уже порядочное время лежала на складе комендатуры и лишь теперь была извлечена оттуда. На скрипке стоял какой-то год первой половины XVIII века. Не знаю, был ли это «страдивариус», но возраст скрипки внушал уважение.

Рассказывая мне о своей работе здесь за эти две недели, когда ему с чем только не приходилось сталкиваться, от страшного до смешного, Филиппов вспомнил, как они встретили вчера недалеко от Гливице нашу полуторку, в которой рядом с водителем сидела довольно большая обезьяна. Когда они остановили полуторку и спросили водителя, зачем он возит с собой эту спокойно сидевшую рядом с ним обезьяну, он рассказал следующую историю.

Наши красноармейцы расположились в каком-то имении, где среди всего другого брошенного хозяйства оказалась эта обезьяна. Развлекаясь с ней, кто-то из солдат крикнул ей «хайль Гитлер!» — и в ответ, должно быть приученная к этому своим старым хозяином, обезьяна выкинула вперед и вверх лапу тем самым движением, с которым фашисты кричат «хайль!». Солдатам, наверно хлебнувшим в тот день сверх нормы, это не понравилось, и они стали кричать на обезьяну, что она фашист. Неизвестно, чем бы кончилось дело, но у водителя, как раз в это время проезжавшего мимо, что-то стряслось с его старой полуторкой, он остановился чинить ее и наткнулся на эту сцену. За пол-литра своей кровной, припасенной под сиденьем водки он выручил разагитированную фашистами обезьяну и взял ее к себе в кабину. Обезья-

не повезло. До войны этот водитель работал в каком-то из наших цирков дрессировщиком зверей.

Когда Филиппов спросил его, долго ли он собирается вот так возить с собой обезьяну, водитель ответил, что возить будет, и вот почему: если его старенькая машина опять станет ломаться и придется кого-нибудь останавливать, просить, чтоб помогли, то без обезьяны быстро не остановишь. А вот если увидят, что стоит у машины водитель, а в кабине у него сидит обезьяна, то, конечно, остановятся.

— Как вы, товарищ подполковник,— сказал он Филиппову.— Ведь вы тоже заинтересовались и остановились. А мне главное — остановить, а там уж и помогут.

Эта обезьянья история напомнила мне другую, которую я несколько дней тому назад услышал от Ортенберга. Я не остался в долгу и рассказал ее Филиппову.

В городе Вадовицы, заехав туда через несколько дней после прихода наших частей, Ортенберг застал на городской площади уже собранный в дорогу маленький бродячий цирк, в котором тоже была обезьяна, а кроме нее, лев, тигр и еще кто-то. Несколько бойцов стояли около клетки с обезьяной и развлекались тем, что щекотали ее прутиком через решетку, наслаждаясь быстротой ее реакции: тем, как она после этого мгновенно взвивалась вверх и повисала на параллельных брусьях.

Стоявшая тут же толстуха, содержательница зверинца, стала рассказывать Ортенбергу о своих несчастьях. Во-первых, русские так быстро наступали, что она со своим хотя и бродячим, но все-таки довольно громоздким звериным хозяйством не успела уехать из города и так сидела в нем под обстрелом все время, пока за город шел бой.

Кроме того, эта хозяйка зверинца, чешка по национальности, уверявшая Ортенберга, что у нее чешский, чуть ли не национальный зверинец, жаловалась на пропажу части своего имущества. Когда после передовых частей в город въехали наши обозники, у них посреди города сломалась повозка, и они, недолго думая, реквизировали у хозяйки зверинца повозку, в которой она возила второго тигра. Повозку они забрали целиком, вместе с клеткой. А что сделали с тигром, неизвестно. Должно быть, не решившись выпустить живым, убили.

Все остальное она, правда, сохранила, убедив наших солдат, что это не немецкий, а чешский зверинец, и тог-

да они оставили ее и зверинец в покое. Только увезли одного тигра вместе с повозкой!

Пока мы разговаривали с Филипповым, заместитель коменданта вызвал для нас переводчицу, одну из русских девушек, угнанную в Германию из Таганрога и работавшую здесь, в Гинденбурге, два с половиной года.

Я решил поехать с ней по заводам. Но перед этим мы запаслись запиской из комендатуры и заехали с Альпертом в городскую фотографию — ему нужно было достать фотобумагу.

В фотографии снимали только по письменному разрешению коменданта и тоже по разрешению коменданта выдавали бумагу и химикалии из еще сохранившихся запасов.

Для соблюдения порядка, кроме работавших в фотографии двух женщин-немок, там дежурил наш боец; пока мы объяснялись с немками, предъявляли им разрешение комендатуры и пока Альперт выбирал для себя бумагу, он беспрерывно включал стоявшую на антресолях радиолу и раз за разом ставил пластинку с «Интернационалом». Я так и не спросил его, с собой ли у него была эта пластинка или предусмотрительные немки сами принесли ее сюда, в фотографию. Когда я потом, уже вечером, шел в комендатуру, из-за закрытых дверей фотографии все еще доносились громкие звуки радиолы, продолжавшей играть «Интернационал».

Альперт получил свою фотобумагу, и мы поехали по заводам.

На одном из заводов производили мостовые фермы, на другом тоже мостовые конструкции. На третьем изготовляли небольшие паровозные котлы, а кроме них, тросы различного сечения и сетки для траления мин; в двух его цехах работа шла полным ходом. Работавшие на заводе мужчины были все уже пожилые — от пятидесяти пяти до шестидесяти пяти лет. Кроме них, работало несколько инвалидов, хромых, должно быть, после ранений на фронте. Но больше всего у станков стояло женщин, и молодых и немолодых.

Я спросил у переводчицы, которая сама работала на этом заводе, когда стали исчезать с завода немцы среднего возраста. Она ответила, что два с половиной года назад, когда она начала работать, мужчин уже было очень мало, и чем дальше, тем становилось все меньше и меньше. В последние полтора года мужчин призывного

возраста на заводе почти совсем не было, за исключением вернувшихся с войны и признанных негодными к военной службе. В последний год на завод стали приходить работать старики пенсионеры и пятнадцатилетние мальчики.

— А шестнадцатилетние? — спросил я.

— Шестнадцатилетних на завод не брали, они шли на военную подготовку.

Я услышал это и вспомнил снимок в каком-то из гитлеровских иллюстрированных изданий, попавшийся мне на глаза среди разного трофейного барахла. Под снимком была подпись: «Барабанщики нации». На огромной, очень широкой и бесконечно тянувшейся вверх лестнице стояло несколько сот мальчишек, очевидно членов гитлерюгенда, и било в барабаны. Они били остервенело, с решительно набыченными головами, с хмурыми физиономиями. Должно быть, их учили, что у них должны быть именно такие лица!

Рассмотрев их лица, я перелистал тогда книгу и посмотрел дату. Она была датирована 1934 годом — вторым годом прихода Гитлера к власти. И я еще раз, глядя на этот снимок, подумал тогда, что вот эти мальчишки, бьющие в барабаны, которым на этом снимке 1934 года было тринадцать, четырнадцать, пятнадцать лет, через семь лет после этого составили главные кадры вторгшейся к нам армии! По существу, именно они стали главной опорой гитлеровской Германии. И если мы будем показывать потом, с чего началась война, то надо начинать именно с этого! Если эти мальчишки уже тогда били в барабаны, их потом не перевоспитаешь ничем до смерти!

Вернувшись с заводов, я решил пойти поговорить в какую-нибудь немецкую семью. Заместитель коменданта, чтобы помочь мне в этом, вызвал к себе одного из здешних немцев, по фамилии Зауэр, с переводчиком. Через пятнадцать минут они оба пришли.

Переводчик-немец был старик вполне русского вида, в очках, похожий на пожилого банковского работника. Русским языком он владел не хуже меня, без малейшего акцента и, по его словам, будучи по профессии колбасником, прожил в России несколько десятков лет.

Второй из пришедших, Зауэр, был худой, высокого роста, сильно истощенный человек со впалыми щеками и горящим взглядом. Он показался мне похожим на какого-нибудь неудачника литератора, из тех, что год за

годом ходят по редакциям, мечтая добиться справедливости.

О Зауэре мне рассказали в комендатуре еще до его появления. В прошлом, по его словам, член немецкой компартии, одно время сидевший в лагерях, он сразу после нашего прихода в Гинденбург решил сам организовать тут новую германскую власть и за один день создал целую канцелярию чуть ли не с сотней чиновников и машинисток.

У коменданта были на этот счет совершенно другие воззрения. Он справедливо считал себя в тот момент единственной законной властью в городе, и вдруг возникшая другая власть в течение часа была им распущена.

Однако вопрос с самим Зауэром был неясен. Подтвердились данные о том, что он действительно был в компартии и действительно сидел одно время в концлагере и даже перед приходом наших частей не то встречался с какими-то нашими радистами, не то скрывал их...

Сейчас он один из тех людей, которые являются здесь, в городе, главными проводниками приказов нашей комендатуры. А в общем, во всей этой ситуации не так-то легко разобраться, как может показаться с первого взгляда. Отрицать наличие в Германии людей, ненавидевших гитлеровский режим и боровшихся с ним, значит, утверждать, что гитлеровский режим всецело и безоговорочно поддерживался всем населением Германии. Едва ли это будет верно. Не верить в то, что десятки тысяч немцев в годы пребывания Гитлера у власти сидели в концлагерях, значит, отрицать само существование этих концлагерей для немцев и гитлеровского террора, обращенного внутрь страны. Это тоже едва ли будет верно. А раз так, то такой вот Зауэр здесь, в Гинденбурге, а в другом городе другой Зауэр, быть может, и в самом деле извечный враг гитлеровского режима, работавший в антифашистском подполье?

Но, с другой стороны, та подпольная борьба, которая, безусловно, уже начинает вестись немцами на оккупированной нами территории, будет выражаться не только в диверсионных или террористических актах, а, конечно, и в более тонких формах, в том числе в приобретении защитной окраски. Это тем более очевидно, что национал-социалистическая партия до своего прихода к власти имела достаточный опыт подпольной и полупод-

польной работы, да и сама с самого начала носила характер дисциплинированной военной партии.

А если так, то и к такому Зауэру закономерно отнеслись с некоторым подозрением: а не представляет ли деятельность этого человека одну из форм борьбы с нами? Не могут ли быть всего-навсего уловкой те лозунги «Да здравствует революция!», «Да здравствует всемирный Интернационал!» и те красные флаги, которые вперемежку с белыми были вывешены здесь на окнах в день, когда вошли наши войска?

Сам я, в течение нескольких часов наглядевшись сегодня на Зауэра, еще затрудняюсь бесповоротно сказать, что представляет собой такой человек на самом деле. Если говорить о нем лично, то мне кажется, что он действительно ненавистник гитлеровского режима. А впрочем, бог его знает...

Когда он пришел, я объяснил ему через переводчика, что являюсь корреспондентом, что меня интересует объективная картина настроений здешних немцев и я прошу его подумать и указать мне семью не слишком богатую, но и не слишком бедную, людей, не причисляющих себя в прошлом к коммунистам, но и не состоявших в фашистской партии, и при этом по возможности такую семью, в которой сыновья на фронте, но кто-то из мужчин здесь, дома.

Зауэр долго думал, перебирая в памяти разные семьи, и наконец предложил мне на выбор три: семью доктора, семью рабочего и семью колбасника.

И я остановился на последней из трех.

Мы вошли в дом, к которому нас привел зашедший туда перед этим предупредить хозяев Зауэр, прошли через темный коридор и оказались в комнате, которая раньше, очевидно, была или комнатой работников, или одним из помещений самой колбасной. Это была большая темная комната с печкой и двумя кроватями, между которыми был вдвинут большой стол. Все имело вид крайней бедности и разорения. Не думаю, чтобы эта комната была постоянным местом жительства хозяина, тем более что весь сравнительно небольшой, но все-таки двухэтажный дом принадлежал ему и перешел по наследству от отца. Причина того, что он встретил нас именно здесь,— доморощенная защитная окраска. В то время как одни немцы вывешивали красные флаги, другие переселялись в комнаты своей прислуги. На кро-

вати за столом сидел классический пивной старый немец, именно такой, каким я себе представлял именно такого вот немца с детства, с седым гинденбурговским бобриком на голове, с седыми загнутыми вильгельмовскими усами, со свисавшим на усы красным, должно быть, от пьянства носом и вместе с тем с чем-то мужественным и солдатским во всей выправке, которая оставалась у него и после того, как он стал старым и толстым.

Когда мы вошли, он пил из большой белой кружки черный кофе, как мне показалось по выражению его лица, без сахара. Кроме хозяина дома, в комнате были старая толстая женщина, очевидно его жена, довольно неряшливая, в засаленном платье, и еще одна женщина — молодая, лет двадцати восьми, в черном платье с короткими рукавами и в ночных туфлях на босу ногу. Черноволосая, со скуластым, немножко монгольским лицом. Как потом выяснилось, это была жена одного из работников колбасного заведения.

Старик встал и откозырял по-нашему, всеми пятью сложенными пальцами. Мы сели, я угостил его сигарой и, закурив сам, попросил перевести старику, что меня интересует объективная картина жизни разных представителей немецкого населения, что меня не интересуют ни его имя, ни его фамилия, и что, если я буду писать, они нигде не будут указаны, и что я прошу его откровенно отвечать на мои вопросы, которые буду задавать не как представитель оккупационных военных властей, а просто как писатель и журналист.

Несмотря на это предупреждение, старик поначалу брыкался и старался выглядеть значительно левей самого себя. Он начал с того, что был всегда против Гитлера, интересовался всегда только своим производством и выписывал только свою колбасную газету.

Когда я задал ему один из своих первых вопросов — разве он в свое время не считал справедливым отмену версальских ограничений по Рейнскому бассейну и возвращение Германии Саарской области? — он поспешно ответил, что живет здесь, в Силезии, и интересовался только здешними, силезскими делами.

Но понемногу мне все-таки удалось втянуть его в разговор. Служил ли он в армии в первую мировую войну?

Оказывается, служил, был на западном фронте во

Франции фельдфебелем; в 1917 году был отравлен газами и получил Железный крест.

Он медленно и выразительно похлопал себя по загривку: дескать, вот как, горбом, достался мне этот крест.

После отравления газами он был уволен в запас. До 1919 года он торговал мясом. В 1919 году, когда умер его отец, в его владение перешли этот дом и колбасное заведение с пятью рабочими. Он, в сущности, был не только колбасником, но и торговцем мясом. Закупал мясо в деревнях, часть его перерабатывал на колбасу, а часть продавал в розницу в магазинчике при колбасной.

После этого я перешел к вопросам о более близком прошлом, к последним выборам в рейхстаг, к 1932 и 1933 годам.

Сначала старик только махал руками и повторял, что он против Гитлера. Ничего другого от него невозможно было добиться.

Тогда я попросил ему перевести, что вовсе не считаю фашистом каждого человека, который в свое время был в Германии за Гитлера. Что я допускаю, что Гитлер в определенный период своей деятельности в Германии принес ей ряд выгод — уничтожил безработицу, повысил уровень производства — и что, несмотря на все сделанное им в дальнейшем, я все-таки не считаю фашистами всех тех немцев, которые были им довольны в первый период его деятельности.

В ответ на это старик сказал, что если он и не был тогда против Гитлера, то оставался нейтральным по отношению к нему и не голосовал за национал-социалистскую партию. После дальнейших расспросов выяснилось, что при последнем голосовании в рейхстаг он голосовал за католическую партию центра.

— Я католик,— сказал он, перейдя на ломаный польский язык, на котором и до этого все время порывался заговорить, наверно, считая, что так я его пойму и без переводчика.— Католик,— повторил он и перекрестился.

И я поверил, что он действительно католик и скорей всего говорит правду, утверждая, что голосовал не за Гитлера, а за католическую партию центра.

— Ну ладно,— сказал я.— А когда Гитлер пришел к власти и выдвинул программу ревизии Версальского договора, как вы к этому отнеслись?

Он снова стал говорить, что он колбасник и живет здесь, в Силезии.

Тогда я еще раз повторил, что мне, как иностранцу, первые национальные требования, выдвинутые после прихода Гитлера к власти, связанные с изменением статута Рейнской области и возвращением Саара, казались тогда, в сущности, справедливыми. Когда я повторил все это во второй раз, это подействовало на старика, и он сказал, что да, он считал это справедливым и был доволен, когда это произошло.

Разволновавшись, он даже пошел дальше и сказал, что он приветствовал не только войну с Польшей, но и войну с Францией и был очень рад, когда Германия вернула себе Эльзас и Лотарингию.

— Но потом я уже не верил,— сказал он.

— Во что вы потом не верили?

— В то, что все и дальше будет хорошо.

— Почему?

— Я старый солдат!

Он несколько раз подряд повторил, что он старый солдат и именно поэтому не верил!

— Но почему же вы все-таки не верили? — спросил я.

Он помолчал, взял в руки кружку с водой и налил на стол небольшую лужицу.

— Вот Германия,— сказал он.— Она не может разлиться во весь стол. Слишком много было всего взято, говорю это как старый солдат!

Очевидно, ему нравилось говорить о себе, что он старый солдат, и казалось, что эти слова возбуждают мое сочувствие.

Я перешел от политики к его личным хозяйственным делам, к тем переменам, которые произошли в них в связи с приходом к власти Гитлера.

Судя по ответам старика, картина выглядела примерно так: Гитлер сразу же после прихода к власти стремился ликвидировать «ножницы» в ценах между сельскохозяйственными продуктами и промышленными товарами.

Одновременно с этим определенным образом регулировались продажные цены на мясо и мясные изделия, в результате прибыль при определенном и неизменном размере колбасного производства составляла

примерно около 25 процентов, без сколько-нибудь значительных колебаний.

Я спросил старика, сколько прибыли он получал раньше, до этого.

Он ответил, что около 30 процентов. За этим ответом почувствовалось его первое осязаемое недовольство Гитлером. Но, судя по дальнейшему разговору, я понял, что некоторое ухудшение в коммерческих делах понималось стариком как ухудшение только временное. И именно так трактовалось это и сверху. В этом-то и состояла сила агитации Гитлера.

Если он проводил некоторую уравнительную систему заработков, то утверждал, что это временно и что это нужно в целях наилучшей подготовки страны к реваншу.

Если он нормировал цены, то утверждал то же самое.

Если жизненный уровень при этом не повышался, а, наоборот, понижался, то выдвигался лозунг: «Пушки вместо масла». А за этим лозунгом стоял второй, не выраженный с такой прямотой публично, но достаточно крепко вколоченный в головы, что те самые «пушки вместо масла», о которых идет речь сейчас, принесут вам масло впоследствии!

Предлагалось не вообще терпеть, не вообще идти в лагеря трудовой повинности, не вообще трудиться на благо отечества, а делать все это ради подготовки к реваншу, который впоследствии должен обогатить всю немецкую нацию в целом!

И такой фашизм, каким я его теперь себе представляю, был в плане социальной демагогии гораздо более серьезным и опасным явлением, чем это в свое время казалось мне на университетской скамье.

Немцам перед всей той серией войн, которые они начали, было обещано, что после этих войн они будут богато жить.

До начала войн внутри страны их натравливали на еврейский капитал и вообще на евреев. Были отобраны еврейская промышленность, еврейская торговля, еврейские дома, еврейские сбережения. Причем какая-то толика этого, безусловно, перепала и так называемому простому народу.

Но, в сущности, по этой же самой системе было спланировано впоследствии обращаться вообще со всем завоеванным миром.

Фашизм не уничтожил капитализма внутри страны и, таким образом, не улучшил положение трудовой части народа за счет перераспределения богатств внутри нации. Но завоеванное за пределами страны было обещано распределить.

И какая бы большая доля в ходе этого завоевания ни попадала в карман господствующей верхушки, все равно изрядная доля, и это надо признать, потому что иначе не понять популярности гитлеровского фашизма в Германии, все-таки попадала в руки германской нации в целом.

Если, допустим, концерн «Шкода» попадал в руки концерна Геринга и трудовая часть населения Германии от этого не имела осязаемых преимуществ, то скот, хлеб, масло, сало, которые шли в Германию с Украины, ели, конечно, не только капиталисты, а земельные наделы в Польше получали не только помещики.

А в общем Гитлер пытался свести на нет социальные проблемы внутри страны, возмещая трудовым элементам немецкой нации за счет завоеванного и награбленного то, что они недополучили у себя дома. Гитлер добивался того, чтобы все лишения, связанные с подготовкой к войне, утвердились в сознании немцев как лишения временные. И чтобы проблемы избавления от этих лишений, проблемы улучшения жизни оказались для них связанными только и единственно с успешным исходом войны.

Именно так в гигантских масштабах целого государства все его население от поисков лучшей жизни при помощи решения внутренних социальных вопросов повертывалось к поискам лучшей жизни путем решения вопросов национальных и территориальных, притом самым агрессивным путем.

Допустим на минуту невозможное — Гитлер завоевал всю Европу и победил нас. Если бы это невозможное случилось, то за счет введения неорабовладельческого строя несколько десятков миллионов немцев независимо от их собственного положения внутри собственно немецкого государства были бы поставлены по отношению к сотням миллионов людей других национальностей в положение господ и, прямо или косвенно, рабовладельцев.

И эта идея осенью 1941 года казалась очень многим в Германии близкой к практическому осуществлению.

Все, что я до сих пор слышал и видел на войне, говорит мне о том, что гитлеровская пропаганда вся, от начала до конца, построена на эксплуатации всех самых грубых и темных инстинктов, живущих в человеческой душе. Во все эти уголки человеческой души, в которые можно было бить наверняка, Гитлер бил, и бил очень точно.

Безусловно, отнюдь не всякий немец был сторонником расовой теории. Но, чтобы разобраться в происшедшем, представим себе такую абстрактную ситуацию. Возьмем население какого-нибудь города и объявим, что все, кто живет на любой его улице в доме номер пять и в домах с номерами, кратными пяти, есть самые лучшие люди на свете, которым все позволено, которые должны господствовать и которым все остальные жители всех остальных домов должны подчиняться, отдав им все свое имущество или большую часть его.

Если мы назойливо будем повторять это людям, живущим в домах с номерами пять и кратными пяти, если мы будем повторять это им год, два, три года и при этом внедрять в них, что, если они поверят в эту теорию господства и поддержат ее,— им будет дана практическая возможность в конце концов подчинить себе всех людей, живущих во всех домах с другими номерами, то низменные человеческие инстинкты в конце концов могут возобладать. Под влиянием этой пропаганды господства жители домов под номерами пять и кратными пяти могут почувствовать себя вправе при помощи вооруженной силы подчинить себе людей, живущих в других домах, уже убежденно считая себя к этому времени высшими существами по отношению к ним.

Так в этой придуманной мною абстракции выглядит для меня история того, что произошло в Германии при Гитлере.

Этому способствовали и некоторые психологические причины. Вспоминая всю войну, все документы убитых немцев, которые я в разное время видел, я вспоминаю, что среди рядовых немецких солдат было очень большое количество сыновей крупных промышленников, торговцев, владельцев магазинов, больших предприятий и так далее и тому подобное. Как раз в этом отношении, если говорить о стране в целом, было установлено достаточно жесткое равенство, которое при этом,

безусловно, еще на двести процентов преувеличивалось пропагандой.

Эта усиленная пропаганда внешнего равенства, равенства прав и усилий внутри немецкого государства, била в одну точку. Гитлер хотел, чтобы германская нация ощущала себя единым целым и как целое отвечала за все, ею сделанное. Все это умещалось в несложной формуле: «Кем бы ты ни был, рабочим или капиталистом, ты равно несешь материальные потери, готовясь к войне, ты равно даешь на эту войну своих детей и равно теряешь их на ней. Ты равно рассчитываешь на благополучие после победоносного окончания этой войны и, как ее равный участник, равно будешь уничтожен в случае проигрыша».

Гитлер стремился к тому, чтобы германская нация в целом ощущала себя как высший и эксплуатирующий класс по отношению ко всем остальным нациям, с которыми она вела войну.

И в итоге первых лет войны германская нация в целом и оказалась до известной степени таким классом — эксплуататором по отношению к завоеванным и эксплуатируемым ею народам Европы.

Все это пришло мне в голову, пока мы разговаривали со старым немецким колбасником.

Расчувствовавшись, он одобрительно вспоминал о завоевании Эльзас-Лотарингии, но при этом твердо стоял на том, что, начиная с войны против России, он перестал одобрять внешнюю политику Гитлера.

После того как он несколько раз повторил это, я напомнил ему речь Гитлера, которую тот сказал при объявлении нам войны, утверждая, что эта война с Россией — вынужденная, превентивная война, и если бы он ее не начал сейчас, через несколько месяцев ее начала бы сама Россия.

Я спросил у старика, верил ли он этим словам Гитлера тогда.

Он сказал, что нет, не верил.

Я спросил почему.

Он снова стал повторять, что он старый солдат, и, как я его дальше ни спрашивал и так и эдак, он так и не смог мне объяснить, почему он не поверил тогда Гитлеру, что эта война с Россией превентивная.

Думаю, что он отчасти кривил душой, осторожничал. Но, помимо осторожности, когда он начинал вспоминать

прошлое, над ним довлел обратный ход мыслей. Он невольно говорил сейчас с позиций человека, который стал прямым свидетелем крайне неблагоприятного для Германии хода, казалось бы, столь удачно начатой ею войны. И сейчас ему искренне казалось, что эту войну не надо было и начинать.

Слушая его и пробуя себе представить, как смотрели на этот вопрос немцы не сейчас, а тогда, в сорок первом году, я подумал о двух крайних точках зрения.

Только немец, который абсолютно никогда не был одурманен Гитлером, немец, который не поддался ни на расовую теорию, ни на теорию государства господ, ни на теорию владычества над миром, тот немец, который сознательно не желал жить хорошо за счет установления рабовладельческого строя в остальной Европе, только такой немец мог сознательно и последовательно быть против начала войны с Россией так же точно, как и против начала всякой другой войны, затеянной Гитлером, а также против самого Гитлера и всего с ним связанного.

И вторая, крайняя точка зрения: немец, который сказал «а» и, пойдя за Гитлером, завоевал Чехословакию, завоевал Польшу, завоевал Францию, должен был сказать «б», сказать — фюрер делает правильно, когда он нападает на Россию. Он, разумеется, мог при этом считать, что фюрер напал на Россию слишком рано или слишком поздно, у него могла быть дрожь в коленках, могло быть сосание под ложечкой от перспективы, что его лично могут убить на этой войне. Но в принципе он должен был одобрить действия Гитлера. Не только потому, что Советская Россия прямей, чем все другие государства, утверждала воззрения на существование человечества, полярно противоположные воззрениям государства господ, но еще и потому, что, какова бы она ни была, само существование мощной и незавоеванной России рядом с завоеванной Европой означало для гитлеровской Германии то опасное положение, когда «а» сказано, а «б» еще нет.

Эти или приблизительно эти мысли бродили у меня в голове, когда я сидел в немецкой квартире и разговаривал с немецким стариком. И оттого ли, что я разговаривал с ним мягко, оттого ли, что я считал справедливым изменение статута Рейнской области и возвращение Германии Саара, оттого ли, что он в компа-

нии со мной выкурил целых три сигары, он становился все более откровенным и отвечал мне все с большей готовностью.

Откровенность его дошла до того, что он без всякого стеснения сказал мне, что конец сорок первого, весь сорок второй и большую часть сорок третьего года он в основном работал на украинском скоте, и при этом с некоторой укоризной добавил, что скот был мелкий. Я не понял и спросил, что это был за скот — овцы или свиньи? «Нет,— сказал он,— свиньи и овцы шли в Берлин, а у нас перерабатывалась говядина. Но это был мелкий скот. Крупный рогатый скот, но мелкий».

Наверно, если бы я стал его расспрашивать об этом в начале нашего разговора, то хоть клещами вытягивай, все равно он не признался бы мне, что работал на украинском скоте.

А я сидел напротив этого немца, смотрел на него, как до этого не раз смотрел на других, смотрел и не знал, что же с ним делать. Сейчас у меня это главное чувство. На каждого из немцев порознь я как-то, очевидно по свойствам своей души, смотрю без особой ненависти; смотрю, как человек на человека. Но как только я начинаю думать надо всем тем, что не только произошло, но что могло бы произойти в том случае, если бы им удалось нас победить, я снова и снова недоумеваю: что же с ними, в самом деле, делать? Как же с ними быть? Оставить их такими, какими они были при Гитлере, безусловно, нельзя. Так что же делать?

Вот я ходил сегодня по заводам, смотрел на старых немецких рабочих. Тощие, усталые, грустные шестидесятилетние люди. И уж они-то сами по себе, конечно, не возбуждают у меня чувства ненависти. Но как быть с мыслью, что эти же самые люди своим трудом помогали Гитлеру, хотевшему превратить нас в скотов?

Вздором было бы, конечно, считать, что сами немцы потеряли все человеческое. Вовсе нет. У них в абсолютной сохранности все нормальные человеческие чувства по отношению к своим, к немцам. И среди них, наверное, не больше садистов или прирожденных убийц, чем во всяком другом народе. И среди них достаточное количество добродушных, сентиментальных, мягких людей. Но все это проявляется по отношению к людям, то есть к немцам. И в этом-то и заключается самое страшное — они за годы войны мысленно поставили нас

вне пределов действия человеческих законов. Никто не назовет садистом или убийцей человека, который из восьми родившихся у суки щенят потопит шесть. Но в фашистской Германии попробовали перенести эту процедуру на нас, на человечество, расположенное за ее границами. И я думаю о том немце, который с нами, людьми других наций, поступал, как с этими щенками, и перетопил бы всех, кого считал нужным, если бы победил. А сейчас он лишен этой возможности. Почва фашизма выбита у него из-под ног, и он опять кажется мне вполне нормальным человеком. Но в то же время хочу и никак не могу отделаться от чувства: а вдруг, если бы он и сейчас мог, он бы и сейчас перетопил?

Вот и спрашивается, что же, в самом деле, делать с ними теперь?

К концу вечера, когда я стал прощаться, старик расчувствовался и пожалел, что не может угостить меня коньяком. Перед этим я расспрашивал его о сыновьях. Старший, не успевший окончить медицинский институт, был фельдшером на Восточном фронте. Его убили в июле 1944 года под Витебском. Младший, так же как и отец, по профессии колбасник, служил сейчас солдатом где-то на Рейне. Оба, раз в девять месяцев, приезжали в отпуск.

— Что же они рассказывали вам о войне? — спросил я.

Старик махнул рукой.

— Мой старший сын был такой же спокойный, как и вы, господин офицер. Он, когда приезжал в отпуск, все сидел, положив руку под щеку, вот так.— И старик показал, как сын подкладывал руку под щеку.— А когда я его просил, чтобы он рассказал мне, как там у них, он отвечал мне: «Отец, ты же сам солдат, зачем ты мне задаешь идиотские вопросы?»

Слева от старика на сундуке сидела его жена с седыми волосами, с обрюзгшим, но сохранившим следы красоты лицом и, сложив руки на животе, все время пристально, с тревогой смотрела на него. Она все время боялась, чтобы он не сказал чего-то такого, чего нельзя было говорить. И только постепенно мирный тон нашего разговора заставил ее лицо потерять свою первоначальную напряженность.

Но как бы мирно ни выглядел наш разговор, все-таки я почувствовал, как хозяева облегченно вздохнули,

когда я поднялся и, поблагодарив старика за откровенную беседу, сказал, что уже поздно и что я не хочу беспокоить его дальше, поговорим когда-нибудь еще в следующий раз.

Старик поднялся и, вновь пожалев, что не мог угостить меня коньяком, сказал, что в следующую нашу встречу все-таки как-нибудь найдет коньяк, и, прощаясь, на этот раз откозырял уже по-немецки — двумя пальцами!..

Перечитывая свои записи, я несколько раз испытывал желание задним числом вторгнуться в текст то одного, то другого своего тогдашнего рассуждения и сразу же сказать о тех переменах в моих чувствах к немцам, которые произошли за эти годы.

Соблазн был тем больше, что я представил себе, как эту книгу будут читать не только мои соотечественники, но и немцы. И среди них люди, которых я уже давно привык считать не только своими друзьями, но и соратниками по общему делу.

И все же я удержался от соблазна. Пусть все-таки останется зафиксированным то, что думал о Германии и о немцах тогда, в марте сорок пятого года, двадцатидевятилетний человек моего поколения.

Я позволил себе сказать «мое поколение», потому что, если исключить в общем-то редкую профессию писателя, во всем остальном я был вполне типичным представителем этого поколения: в первую и вторую пятилетки подростком и юношей работал на производстве, потом одновременно с работой занятия в вечернем вузе, потом первое военное крещение в далекой Монголии — японцы, потом, в сорок первом,— немцы; и три с половиной года на фронте.

На рубеже двадцатых-тридцатых годов многие комсомольцы носили у нас юнгштурмовскую форму, и я тоже помню ее на своих плечах. Она пришла из Германии Тельмана. На демонстрациях вместе с нашими революционными песнями — песни Эйслера: «Заводы, вставайте, шеренги смыкайте...» Тревога за то, что происходит в Германии, и вера, что фашизм все-таки не придет к власти. Потом песни Буша, «Болотные солдаты», восхищение храбростью немецких антифашистов в немецком подполье и на полях сражений в Испании. И надеж-

да, чем дальше, тем все больше слабевшая, что фашизм в Германии — это ненадолго, что его взорвут изнутри.

И наконец, война. Немцы под Москвой. Немцы под Сталинградом.

В декабре сорок первого я увидел первых повешенных немецкими солдатами крестьян, мужчин и женщин. А в начале сорок второго увидел керченский ров — первые на моей памяти тысячи расстрелянных немцами людей. В январе сорок третьего в первый раз услышал о том, что у немцев есть такие «газмашинен» — душегубки. В июле сорок четвертого побывал у еще не остывших печей Майданека. В феврале сорок пятого ходил по Освенциму.

А в марте разговаривал с немцами в оккупированном нами Гинденбурге и, пытаясь понять, как же все это вышло, и недоумевая, как же быть с немцами дальше, вел для памяти записи, которые сейчас, спустя много лет, местами кажутся мне жестокими и чрезмерными в своих обобщениях, порой чрезмерными до несправедливости. Но так это было тогда в моей душе и в моем сознании. И не только в моем. В этом-то все и дело. Все то страшное, что мы пережили на войне, все то страшное, что было сделано фашистской армией и фашистским государством на нашей земле, и не только на нашей, что мы видели своими собственными глазами, прочно вошло в сорок пятом году в наше сознание и имело тогда огромное влияние на наши взгляды на немцев и Германию.

И чтобы понять, какой путь пройден с тех пор от наших, а в данном случае от моих тогдашних взглядов, представлений и чувств до нынешних, надо вести отсчет именно оттуда, только тогда можно представить себе всю психологическую трудность в постепенном изменении этих взглядов и этих чувств, в которых — в данном случае, повторяю, говорю о себе — присутствовало и прямолинейное неумение расчленить для себя то сложное социальное понятие, которое стояло за словом «немец».

Все пережитое за войну мешало мне тогда сделать это. Да и сама война была еще не кончена, она еще продолжалась...

Думаю, что все это важно представить себе не только нам самим. Вот почему я удержался от соблазна исправ-

лений написанного тогда. Это слишком упростило бы проблему.

И отдельно о двух местах в моих записях.

Я не до конца, точней, не до самого конца верил тогда, в марте сорок пятого, Зауэру, считал логичным предполагать, что национал-социалистская партия уже начала и будет продолжать вести на оккупированной нами территории подпольную борьбу, включающую и такие формы, как мимикрия. А значит, все может быть!

Я не был пророком и не знал, что до полного разгрома фашистской Германии осталось всего пятьдесят пять дней. И что фашистское подполье, о котором я думал, так и не успеет возникнуть в сколько-нибудь широких масштабах.

Не знал я, да и не мог знать тогда и другого — масштабов той ожесточенной борьбы, которую бесстрашно вели против диктатуры топора внутри самой Германии немецкие антифашисты. Я не слышал тогда ни о героизме «Красной капеллы», ни о дерзкой деятельности группы Шульце Бойзен — Харнак, ни о многом другом, о чем мы впервые услышали несколькими годами позже.

Вспоминая сейчас Зауэра и думая о той огромной работе, которую впоследствии проделали такие, как он, люди, создавая новую, демократическую Германию на развалинах фашистской, я не хочу задним числом каяться в своем тогдашнем неполном доверии, но хочу наряду с этим сказать о том чувстве глубокого уважения и доверия, которое постепенно, с годами возникло у меня к ним. Именно с годами. Это и будет полной правдой.

Думаю еще над одной фразой в своих записях — о том, что мальчишек, бивших в 1934 году в барабаны, потом уже до смерти ничем не перевоспитаешь!

К счастью, я и тут не оказался пророком. Среди моих нынешних немецких друзей, людей моего поколения, есть не только сын эмигранта-антифашиста, в сорок четвертом году в форме советского лейтенанта шедший под немецкие пули с рупором в руках, спасая жизнь окруженных немецких солдат, но есть и сбитый в сорок третьем году под Ленинградом стрелок-радист с немецкого бомбардировщика, окончивший в плену антифашистскую школу и ставший в конце концов коммунистом,— один из тех самых мальчишек, которые били в 1934 году в барабаны....

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ

Записная книжка за 16 марта 1945 года.

...С утра работал, а около часа поехал на наблюдательный пункт к Москаленко. Сначала заехал на прежний наблюдательный пункт, с которого видел начало наступления, но оказалось, что Москаленко и Епишев сегодня с утра перебрались оттуда в Павловицы.

Вчера кинохроникеры, вернувшись из этих Павловиц, рассказывали, что их и бомбят и обстреливают — в общем, там чуть ли не ад кромешный. Но день на день не приходится, и сегодня, против моего ожидания, там оказалось тихо и спокойно. От времени до времени бухали немецкие снаряды, но разрывы были не ближе, чем за километр.

Наблюдательный пункт в небольшом, видимо, старинном помещичьем доме. Верней сказать, это сейчас уже не наблюдательный, а передовой командный пункт, потому что наблюдать отсюда ничего нельзя.

В доме, должно быть, жило несколько поколений охотников и лошадников. На стенах навешано огромное количество рогов: маленьких — диких коз и больших — оленьих. На тщательно выскобленных лобовых костях даты выстрелов. По большей части даты начала века, до первой мировой войны: 1909, 1910 и 1912-й.

В передней, где дежурят шоферы и ординарцы, развешано несколько старинных гравюр. Виды швейцарских озер, старинный зимний пейзаж маслом и в золоченой овальной раме большой портрет пастелью, наверно, жены или дочери какого-то из былых хозяев — молодой женщины с пышной прической и капризным выражением миловидного лица.

В кабинете, как и всюду, где на время устраивается Москаленко, жарко натоплено. По стенам висят старые дагерротипы, слегка подкрашенные и похожие на акварели. На них кровные скаковые лошади и наездники в немецких офицерских мундирах. Под дагерротипами стоят сначала имя лошади, потом ее порода, а потом уже, на третьем месте, имя, фамилия и чин наездника. На нескольких дагерротипах какой-то граф фон Рок. Рядом с дагерротипами акварель — дерби в Лондоне.

Москаленко пребывает в настроении человека, которого постигла неудача и который не скрывает от себя этого и, кажется, считает в душе дальнейшее наступ-

ление на прежнем направлении бесперспективным, но при этом не отчаивается и сохраняет присутствие духа. В таком настроении люди обычно, если позволяют обстоятельства, стараются говорить о чем-нибудь другом, не относящемся к тому делу, которое их мучает.

Епишев и Ортенберг поддерживают тон разговора, взятый Москаленко. Вспоминают 1941, 42-й и 43-й годы. Разговор почему-то заходит о мостах. Москаленко, который в сорок первом году командовал корпусом, вспоминает, как он основательно минировал и впоследствии взрывал при отступлении все мосты, оставшиеся у него позади. Разговор этот начинается с недавнего захвата американцами немецкого моста возле Ремагена.

— Я к ним и электрические заряды подводил,— говорит Москаленко,— и механические, и фашинами их обкладывал, и горючим заливал, и бензином, и нефтью. Штука, конечно, опасная, но зато надежно. Когда я один мост через Днепр взорвал, ко мне пришел Никишев (как выясняется, он говорит о том Никишеве, который был на Халхин-Голе членом Военного совета у Жукова, а потом стал членом Военного совета 5-й армии и погиб под Киевом). Приезжает и говорит: «У нас на той стороне три батальона осталось. Расстреляем тебя за то, что ты мост взорвал». А я говорю ему: «Да, три батальона осталось, но мне самое главное было немецкие танки не пустить, а их уже четыре штуки было на мосту, когда я взорвал его». Так и кончился наш разговор с ним ничем после того, как я сказал про танки. Увидел их на мосту и взорвал его. А батальоны... Да, конечно, часть на лодках успели, а другие погибли.

— Почему погибли? — говорит Епишев.— Многие из них хотя и в окружение попали, но живы остались.

— И потом еще в Винницкой операции в составе нашей же армии участвовали,— говорит Ортенберг.

— Ну конечно,— говорит Епишев.— Москаленко тогда двойную цель преследовал: и мост взорвал, не пустив танки, и вдобавок еще сам себе пополнение из бывших окруженцев для Винницкой операции подготовил за два года вперед.

После этого заходит разговор о мосте через реку Оскол возле Купянска. Москаленко признается, что там он перестарался и заложил в мост запалы слишком рано. И когда немцы бомбили и попали одной бомбой прямо

в мост, то запалы от детонации сработали, и мост — в куски.

— А мы потом еще долго оборонялись. Пришлось новый мост наводить,— говорит Москаленко.— А когда еще один мост я взорвал, мне вдруг особисты доносят: мол, по вашим сведениям, мост взорван, а по нашим, немцы по нему переходят. А у меня при себе план Генерального штаба, какие мосты и как взрывать. В том числе этот. Я и взорвал в соответствии. Ну а раз так, рассердился и стал в дальнейшем взрывать уже начисто, чтобы ничего не осталось. А все-таки, надо сказать, предусмотрительно у нас действуют! Бывало, рвешь мост, а при этом контрольный чертеж составляется, инженеры после этого все мостовое оборудование, фермы готовят, дублируют. И это еще ведь в сорок первом году было!

С мостов разговор переходит на танки. Епишев рассказывает, как летом сорок первого года на Харьковском тракторном заводе спешно изготовили несколько сот так называемых Т-60. На шасси трактора ставили сорокапятимиллиметровую пушку, прикрывали ее колпаком из десятимиллиметровой брони. Правда, трактор после покрытия броней грелся и не мог идти больше четырех километров в час, пушка имела горизонтальный обстрел только в 13 градусов, а вертикального движения вообще не имела, но все же это была первая попытка создать нечто вроде самоходного орудия.

С Харьковского тракторного перескочили на Сталинград, на разные тогдашние обстоятельства. И Ортенберг сказал, что Хрущев высоко отзывался при нем о Еременко, о его участии в Сталинградской обороне. И о том, как потом, уже во время наступления, Еременко шел вперед, иногда обгоняя оставшиеся в тылу немецкие части и массированно сосредоточивая в самых трудных местах артиллерию.

— Это верно,— сказал Москаленко.— Еременко умел рисковать. Даже когда противник сильно наступает, бьет нас, а Еременко все равно не поворачивается спиной, контратакует. И в наступлении рискованно действовал, и артиллерию рискованно вперед гнал, массировал ее. Рисковал, всем рисковал. Вот Жуков, тот нет... Тот не рискует никогда, у того все точно рассчитано. А если наступление в течение трех дней не получается,

откладывает, не упорствует. Новая подготовка, и все заново!

Все эти воспоминания от времени до времени прерывались телефонными разговорами. Некоторые из них я наскоро записал в блокнот.

— Товарищ Жуков,— почти ласково говорит Москаленко по телефону командиру корпуса,— ну вот, сегодня первый успех как раз у вас.

В этих словах — первый успех — слышится подбадривающая интонация, предполагающая, что в корпусе у Жукова сегодня вслед за первым будут и последующие успехи.

— Свяжитесь с авиацией. Сейчас же свяжитесь и скажите им, чтобы они Рубау бомбили. И чтобы не вообще Рубау — они любят вообще бомбить,— а чтоб оборону бомбили, где мельница, где немцы сидят! — Москаленко отрывается от телефона и обращается к Епишеву: — Вот Жуков рассказывает, что у него сегодня в шести атаках дело доходило до рукопашной.— Москаленко смеется.— Брешет! Кто ему поверит, что в современной войне шесть раз за день врукопашную переходили?

После этого он звонит начальнику штаба армии Воробьеву:

— Вызовите авиацию. Все сделайте, чтобы скорей вызвать авиацию. Но только чтобы она мне не город, не старух и стариков бомбила, а немецкий передний край. Чтобы бомбила конкретные цели, а не каких-нибудь немецких богаделок в тылу.

Один из командиров корпусов докладывает по телефону, что продвинулись, подошли к болоту и озерам.

— Ну вот через это болото вам и надо внезапно захватить мосты, все, какие там есть,— говорит Москаленко.— Совсем как англичане и американцы, только они через Рейн захватили, а мы с вами через Пщинку, через болота.

Он звонит кому-то еще. Начальник штаба докладывает о своем командире, что тот болен.

— Больной,— положив трубку, недовольно говорит Москаленко.— Командующий армией его вызывает, а он велит по телефону сообщить, что он больной. Что же он, смертельно больной? Нет, не смертельно. А раз так, то это уж, по меньшей мере, хамство! Разве, если я в состоянии языком ворочать, позволю себе сказать коман-

дующему фронтом, что я больной? Да вдобавок не сам сказать, а чтобы это ему от моего имени по телефону передавали!

— Ну как, крепко они из «ишаков» по вас выпалили? — спрашивает Москаленко вошедшего артиллериста.

Как выясняется, он называет «ишаками» немецкие тяжелые метательные аппараты, которые солдаты окрестили «ванюшами». Москаленко считает, что их грохот похож на рев ишаков.

Поговорив с артиллеристом, он звонит командующему воздушной армией:

— Здравствуйте. Вот я тут в грязи толкусь, а ты на асфальтовой дорожке сидишь. А мне не помогаешь.

В разговор с командующим воздушной армией вступает только что подъехавший Петров. Он подробнейшим образом объясняет по телефону, как именно надо бомбить выемку от реки до опушки рощи.

— Взрывайте у них все вдоль железной дороги. Там у них и пулеметы, и минометы стоят, и танки, и самоходки, и пехота. Но только не так посылайте свою авиацию, чтобы покрутилась да улетела. А прямо нацеливайте ее на эту выемку, чтобы она вдоль всей выемки на этом участке прошла на высоте не более двухсот пятидесяти метров. И чтобы с самого начала все рассчитала, чтобы с точными интервалами через каждые сто метров свой груз сбрасывала. Вот тогда будет толк!

Петров, несмотря на неудачу дня, приехал в возбужденном и повышенном настроении. Он только что перед этим вернулся с рекогносцировки. Изучал тот участок в полосе фронта, который до сих пор не привлекал особого внимания ни с нашей, ни с немецкой стороны.

Этот участок, и по мнению Москаленко, еще раньше тоже побывавшего там с Епишевым, у немцев слабо прикрыт. Петров, согласившись с предложением Москаленко, собирается неожиданно в ближайшие дни нанести здесь удар, вплоть до последней минуты делая при этом вид, что наступление продолжает идти на прежнем, с самого начала избранном направлении.

Петров сидит и рассказывает все подробности своих наблюдений на этом облюбованном им участке: как там проходят дороги, какой там сейчас грунт на полях. Он специально ездил пробовать этот грунт.

— «Виллис» только в некоторых местах вязнет на пахоте, а в общем проходит.

Он показывает по карте, откуда и до какого места немцы просматривают подходящую с нашей стороны к передовой дорогу, и попутно дает распоряжение поставить на том отрезке, который просматривается немцами, шлагбаумы для регулирования движения и повесить маскировочные сетки.

— За тринадцать дней немец бросил туда, на этот участок, всего одиннадцать снарядов,— говорит Петров.— Я все исходил там пешком. Подступы с нашей стороны исключительно удобные. Правда, от немцев с кургана просматривается к нам вглубь довольно далеко, но мы завесим сетками и затрудним им наблюдение. Но вот по этому отрезку шоссе, который нужно завесить, я сейчас специально проезжал взад-вперед прямо на «виллисе». Не обстреляли. Видимо, там у них сейчас всего одна-две батареи, и они не придают этому участку никакого значения. Прекрасный участок, прекрасный,— еще и еще раз повторяет Петров с таким удовольствием, словно речь идет о какой-нибудь давно издали любимой и наконец-то выбранной в жены девушке.

В том удовольствии, с которым он рассказывает об этой своей рекогносцировке и о разных ее подробностях, о том, как какие-то наши обозники преспокойно ездят за сеном в ничейную зону между нашими и немецкими окопами, и о том, как какой-то ошалевший от весны, что ли, боец где-то в этой же зоне на виду у немцев резвится, катаясь по льду на велосипеде,— во всем этом, кроме профессиональной военной заинтересованности, у Петрова присутствует еще и какая-то неподдельная юношеская живость чувства. По-моему, на него, как и на других людей, оказывает сегодня влияние первый чудесный солнечный день. Такой день располагает к хорошему настроению, заставляет верить в удачу. Что бы там ни было до этого, все равно верить...

Моя следующая записная книжка за 17 марта 1945 года начиналась словами:

«Наступление на Четвертом Украинском фронте пока приостановлено...»

Почему оно было приостановлено, как мне кажется, в общем-то ясно из моих предыдущих записей.

Но сейчас у меня есть возможность взглянуть на происшедшее в те дни не только глазами военного корреспондента, но и с двух других точек зрения — сверху и снизу.

Вот как в книге «На Юго-Западном направлении» заключает свои воспоминания о тех днях маршал Москаленко, бывший командарм 38-й, которого ни предыдущие, ни последующие успехи его армии не лишили духа самокритичности там, где речь шла о наших просчетах и временных неудачах:

«Сделанное мною столь подробное описание недостатков Моравско-Остравской наступательной операции, на мой взгляд, необходимо, так как, кроме нее, ни на одном фронте в 1944 году, а тем более в 1945-м, не складывалась подобная ситуация, не срывалось столь неожиданно наступление, и этот неуспех, если знать его причины, тоже должен быть учтен при обучении войск и подготовке штабов. Причем я отнюдь не отношу перечисленные недостатки только на счет командования и штаба фронта. Командование и штабы армий, в том числе и я, также могли сделать больше как при планировании фронтовой операции, так и в части обеспечения внезапности наступления...»

Так вспоминается обо всем этом «сверху» в книге командарма. И сделанные им общие выводы подтверждаются свидетельствами «снизу» — письмами прочитавших журнальную публикацию моего дневника фронтовиков, воевавших в те дни на передовой именно в тех самых местах.

«В этой операции участвовал наш 276-й Горлицкий Краснознаменный минометный полк. Наши позиции были перед пресловутой железнодорожной выемкой.

Очень запомнилась нам неудача — первое наступление на Моравска Остраву в начале марта 45-го. Помню хорошо отвратительную погоду, артподготовку и неподвижные части мехкорпуса, забившие все дороги в районе Студзенки. Когда корпус ушел, ни одна дорога не была проезжей. Лишь через неделю дороги начали приходить в пригодное для движения состояние.

О наступлении было много разговоров, и они «просочились» через население к врагу.

Читая Ваши дневниковые записи о виденном и слышанном в штабах, на НП и в других местах управления боем, понимаешь, чем надо обладать, чтобы двигать,

двигать и еще раз двигать пехоту, танки, артиллерию...»

Это из письма бывшего минометчика А. Г. Петрова.

«В том первом наступлении на Моравска Остраву мы действительно сами себя подвели,— пишет другой минометчик, командир батареи Ф. И. Шушин.— Я, лично, тогда еще подумал, что немцев или мало осталось, или они вообще задумали кончать войну. Такой картины, как было там, я за всю войну не видел. В дни подготовки к этому наступлению наши все делали в открытую, а немцы по нас не стреляли... Подвели мы себя здорово, а тут еще и погода и местность — все было против нас. В отношении навалом набитых немцев привирали тогда здорово, когда докладывали командарму. Сужу по своему участку, когда мы прорывали их первую линию — на железной дороге. Зато со второй линии, что была у них за лесом, они нам дали! Ни о каком продвижении вперед тогда не могло быть уже и речи. Лежали мы тогда, как сукины сыны, в воде. Минометы свои сорвали с огневых позиций, а там их невозможно было установить. А когда кое-как приладились, то от первого же выстрела они ушли в землю. Почва там была топкая и зыбкая... Командарм думал, что артиллеристы отстрелялись и чай пьют... Чай-то пили, да не тот, а из болотной грязи...»

В этом колючем письме человека, и через тридцать лет продолжающего глубоко, всей душой переживать ту происшедшую всего за пятьдесят пять дней до конца войны, но все равно тягостную для нас заминку под Моравска Остравой, есть несколько абзацев, где достается на орехи и мне, как автору дневника:

«Всем известно, что на войне и о войне, бывает, и врут. В этом деле тоже действует закон самосохранения, ибо люди там воюют, а не играют актерами.

А как же быть художнику-документалисту, изображающему таких смертных в своих описаниях?

Это очень непростое дело, ибо, кроме всего прочего, тут еще и понимать кое-что надо. Не грех для художника, если человек за правду обидится, а вот, когда за неправду обижается, значит, тут что-то сам художник не понял.

Я, например, будучи тогда командиром батареи минометного полка, который поддерживал 69-ю бригаду, чуть левее Павловиц, совсем не знал и не знаю генерала — командира мехкорпуса, но все же в его изображе-

нии допущена необъективность. Если он жив, то может обидеться за это. В том наступлении нашим братцам-танкистам было труднее всех. На кой черт было вообще пускать тогда в эти болота мехкорпус? Актер-генерал, пожалуй бы, выкрутился (в кино) и даже, наверное, одержал бы победу — но это в кино. А в действительности генерала сняли с командования, да еще и писатель его ославил. Ох, непросто работать с живыми героями...»

Не буду кривить душой, письмо Федора Ивановича Шушина не изменило сложившегося у меня тогда впечатления о генерале Д. Но в то же время заставило заново подумать о драматичности положения, в котором оказался тогда этот человек. С одной стороны, я вроде и прав, упомянув в записной книжке, что после того как корпус восемь месяцев формировался, для его командира было бы естественным стремление скорей вступить в бой. Но, с другой стороны, естественна и тревога: в какой обстановке и с какими шансами на успех вступить в дело, после того как целых восемь месяцев готовились и ждали этого момента? И какая тяжесть ответственности лежит именно в такой момент на плечах командира? А то, что обстановка была неблагоприятной, очевидно хотя бы из того, что командующий фронтом, человек в общем-то решительный, после двух дней колебаний, в сущности, так и не ввел корпус в бой.

Так что если говорить о жестокой диалектике войны, адресованный мне в письме упрек в недостаточном ее понимании в данном случае в чем-то и справедлив.

И наконец еще одна благородная грань этого письма — фраза офицера-минометчика о том, что «братцам-танкистам там было труднее всех». А за этой фразой — способность видеть не только собственные тяготы, но переживать и чужие, как свои, то есть в конечном счете то чувство братства по оружию, без которого на войне — ни успеха в деле, ни справедливости в оценках.

Возвращаюсь к своей записной книжке за 17 марта 1945 года, из которой я пока привел только первую фразу.

...Утром мы выехали с Альпертом из Пщины, намереваясь попасть на Первый Украинский в 60-ю армию генерала Курочкина, которая наступает, и, по слухам, удачно. Но когда мы по дороге туда заехали в Гин-

денбург, чтобы на всякий случай запастись разрешением комендатуры на ночлег в гостинице, если к ночи вернемся сюда от Курочкина, то вдруг узнали о неожиданном для нас событии.

Не дожидаясь конца войны, Верхнюю Силезию уже сейчас передают Польше. Конечно, это предвиделось Крымским соглашением. Верхняя Силезия так или иначе должна была отойти к Польше, но то, что это происходило уже сейчас, очевидно, было политической акцией, которая могла оказать влияние на более демократический состав формирующегося сейчас польского правительства. Во всяком случае, мне кажется, что это так.

Узнав это, мы изменили свои планы. Решили поехать к Курочкину на другой день и двинулись прямо в Катовицы, где, по сведениям комендатуры, в двенадцать часов по здешнему времени и в два часа по нашему, московскому, должен был открыться митинг, посвященный передаче Верхней Силезии Польше.

В Гинденбурге по этому поводу было уже вывешено на улицах несколько польских флагов, которых я до этого здесь еще не видел. Флагов было мало. Наверно, это объяснялось тем, что, насколько мне известно, как раз в самом Гинденбурге польского населения сейчас не больше семи процентов.

Чем дальше по дороге на Катовицы, тем флагов становилось все больше. Особенно много их было вывешено в шахтерских поселках между Кенигсхютте и Катовицами, где жили и работали польские шахтеры. Начиная с Кенигсхютте по шоссе двигалось все больше людей — мужчин, женщин и даже детей. Очевидно, это поляки шли на митинг в Катовицы. Потом мы догнали небольшую колонну шедших из Кенигсхютте в Катовицы польских детишек. Потом обогнали шагавших по шоссе пожарников в полном обмундировании и блестящих касках. Потом долго ехали вдоль колонны шедших в парадной форме силезских шахтеров. Черные длинные брюки и черные ботинки, короткие, до пояса, черные куртки с рукавами, на которых сверху нашиты еще как бы вторые сборчатые рукава; черные круглые шапки, немножко похожие на монашеские клобуки, но только с разноцветными петушиными перьями — красными, белыми и черными. Впереди колонны шел оркестр, а впереди оркестра ехал всадник в жупане с меховой опушкой

и в лихо сдвинутой набекрень шапке. Таких, как он, я видел когда-то на старых гравюрах, изображавших восстание Костюшки и другие события тех времен.

После шахтеров мы обогнали еще колонну детей, на этот раз школьников, потом еще одну колонну шахтеров и наконец въехали в Катовицы.

На главной площади города уже стояла огромная толпа. Хотя нет, назвать это толпой, пожалуй, неверно. Скорей это была пришедшая сюда огромная демонстрация, разместившаяся правильно построенными колоннами. Сама по себе площадь была не очень большая, ограниченная со всех сторон домами. К самому большому наверно, административному зданию с высокими окнами и массивными колоннами, к его центральному входу поднималась с площади серая каменная лестница, на которой уже стояли знаменосцы.

Знамен было много, больше ста. А может быть, даже и двести. Некоторые из них — новые, большая часть — старые, невесть как сохраненные. Некоторые с польскими орлами — и на полотнищах, и на золоченых остриях, заканчивающих древко. А некоторые знамена — и довольно много — были шелковые, голубые, с изображением святой Барбары, покровительницы шахтеров.

Посреди лестницы стояла трибуна, завешенная полотнищами с польскими орлами. А ниже трибуны по сторонам высились два полотняных транспаранта с портретами Сталина и президента Рады Крайовой Берута. Под портретом Сталина лежал огромный, многопудовый кусок угля с выдолбленной на нем надписью: «Великому маршалу Сталину от горняков Силезии».

На ступенях лестницы перед началом митинга толпилось несколько десятков людей — польские и наши военные и штатские — должно быть, здешние члены руководства рабочей партии и служащие воеводства. Постепенно подходили еще и еще люди, которых пропускала на лестницу охрана. Прошло несколько опоздавших фотографов. А потом появился старый человек, высокий, сухой, прямой, словно проглотивший палку, в котелке и старом штатском пальто с приколотыми к нему двумя орденами и двумя медалями. Старик прошел важно, ни на кого не глядя; у него было серьезное и гордое, старчески худое лицо и большие, вылезшие из рукавов узловатые руки.

Не знаю, кто это был. Но мне, несмотря на коте-

лок, показалось, что это человек из народа. Может быть, какой-нибудь старый горный мастер, участвовавший еще в той мировой войне.

На митинге должны были выступать президент Рады Крайовой Берут, премьер-министр Осубка-Моравский и командующий Войском Польским Роля-Жимерский. В ожидании их суетилось несколько щеголеватых польских офицеров. На них были лихие конфедератки с синими околышами, один из них — маленький человек с миловидным лицом, длинными русыми, высовывавшимися из-под конфедератки волосами, в черном плаще и с большим пистолетом — особенно подчеркнуто суетился, бегал, улыбался, позировал фотографам. И я подумал, что это, наверно, чей-нибудь адъютант.

Мы приехали заранее и ждали около часа. Сначала было пасмурно, потом немножко поморосил дождь, потом разгулялось. И когда на башне пробило два часа, выйдя из какого-то дома наискосок от площади, по направлению к лестнице пошли те, кого здесь ждали: Берут, Осубка-Моравский, Роля-Жимерский и с ними генерал-майор — наш представитель. Кто-то сказал мне, что они приехали сюда после того, как уже побывали сегодня на двух митингах — у металлистов и горняков Силезии.

Когда они взошли на лестницу и встали на ней несколькими ступеньками ниже трибуны, в общей массе уже стоявших там людей, толпа закричала:

— Нех жие! Нех жие! — трижды. И трижды в такт этому обнажались головы и вздымались в воздух шапки. Если учесть, что на площади было двадцать тысяч человек, зрелище довольно внушительное.

После этого оркестр горняков в своих странных черных одеждах и шапках с султанами заиграл чудесный польский гимн, красивее которого, пожалуй, только «Марсельеза».

Площадь стояла, обнажив головы. Наши офицеры стояли, приложив руки к козырькам, польские — небрежно бросив поверх козырька два пальца.

Ловлю себя на ощущении, что, несмотря на всю серьезность моего отношения к происходящему сейчас в Польше, я отношусь с каким-то чувством внутреннего неприятия к чему-то неуловимо щеголеватому, что проскальзывает в манере поведения некоторых представителей Войска Польского. Есть в этом что-то внешне не-

серьезное, несмотря на весь тот безусловный патриотизм, который, как я уже не раз успел в этом убедиться, живет в душах поляков, может быть, сильнее, чем в людях других наций.

Первым выступил генерал-лейтенант Завадский — воевода Силезии. До сих пор он был в Катовицах в качестве воеводы Домбровской области, но теперь, с этого дня, в его воеводство входила вся Силезия.

Я видел Завадского еще в сорок четвертом году в Люблине, когда он был заместителем по политической части у генерала Берлинга в Первой польской армии, и слышал еще тогда, что это один из крупных работников Польской компартии.

Он взошел на трибуну — невысокий, тщательно одетый, в большой, шитой по козырьку серебряным зигзагом конфедератке — и заговорил темпераментно, но в то же время размеренно, как опытный оратор, хорошо помнящий о необходимости пауз. Завадский говорил довольно долго, и насколько я, далеко не все улавливая, мог понять его речь, она, очевидно, была именно той речью, которую следовало сказать в этих условиях. Он говорил о будущих новых границах Польши по Одеру и Нейсе, о Балтийском море, о дружбе с Россией, о необходимости продолжать военные усилия, о благодарности народа к Красной Армии и Войску Польскому.

Когда он останавливался, завершая паузой каждую часть своей речи, народ на площади аплодировал и кричал «нех жие!». Оркестр играл один куплет польского гимна, и все на площади снимали шапки.

После того как Завадский говорил о Красной Армии и о Сталине, вдруг заиграли наш гимн. Оркестр играл очень неуверенно и в неправильном темпе, но, даже несмотря на такое исполнение, сам этот факт волновал душу.

После Завадского выступал Берут. Ему было на вид лет сорок пять, но, возможно, и больше. У него было одно из тех красивых и жестких лиц, которые долго не стареют. Он говорил не бог весть как хорошо, с ораторской точки зрения, и коротко. Но за время его короткой речи ему несколько раз аплодировали и кричали «нех жие!».

После Берута выступал Осубка-Моравский. У него были почти седая голова и совсем молодое, какое-то рвущееся вперед лицо. Все вперед — и нос, и подборо-

док. Эти острые и резкие черты лица делали его моложе, чем он есть.

В своей речи он сказал, между прочим, фразу о том, что Польша находилась и находится между Россией и Германией и никогда не смела и не смеет позволить себе роскошь враждовать с обоими своими соседями. Эту фразу, если я только правильно ее понял, я ощутил как какую-то чересчур деляческую. Правда, он сразу же после этого заговорил о том, что Польше необходимо дружить с нами, о чувстве благодарности и налагаемых им обязательствах и так далее, но все это благодаря предыдущей фразе воспринималось мною уже не с точки зрения эмоциональной, а с точки зрения разумной необходимости и практической пользы.

После выступления Берута и Осубка-Моравского площадь в их честь прокричала по три раза «нех жие!», а затем выступил генерал Роля-Жимерский. У генерала было полное, немножко бабье лицо, такое, что мне казалось, что, если этого человека одеть в сутану, она ему очень пойдет. Говорил он хорошо. Начал тихо, еле слышно и строил всю свою речь на повторах. Голос его все усиливался, все креп. Он говорил так, как иногда читают стихи умеющие это делать поэты — несколько монотонно, но при этом все больше и больше привлекая к себе внимание темпом речи, ее ритмическими и смысловыми повторами.

Его слушали внимательнее и горячее всех. И когда он закончил, ему больше всех выпало аплодисментов и криков «нех жие!». Он говорил о силе Красной Армии, о силе Войска Польского, о мести немцам, отбирал только самое простое и доходчивое из всего, что можно было сказать собравшимся здесь сейчас людям. Поэтому его слова были покрыты самыми громкими аплодисментами.

Мне показалось, что в этом поднявшемся на трибуну командующем Войском Польским, который был при этом еще и генералом старой польской армии, в сознании собравшихся, очевидно, было нечто незыблемое, нечто такое, что олицетворяло для них Польшу вообще. Не только демократическую, новую Польшу, а вообще Польшу.

После Роля-Жимерского выступил наш генерал-майор, толстый, в генеральской фуражке и почему-то не в шинели, а в лётном комбинезоне. Говорил он трезво, разумно и очень коротко, с самого начала прямо обратив

свою речь к шахтерам и металлистам Силезии, чем с первой же минуты вызвал к себе симпатии собравшихся на площади людей.

Вначале генерал смешно оговорился, сказав: «Товарищи шахтеры, товарищи металлисты, товарищи рабочие и работницы силезских шахт и рудников, товарищи домашние работницы». Должно быть, он хотел сказать «товарищи домашние хозяйки». Но этой оплошности никто не заметил, потому что все, что он говорил дальше, было разумно и хорошо.

Последним на трибуну вдруг выскочил человек без шапки; он что-то комкал в руке, я сначала не мог понять и только потом понял, что это снятая им с головы шапка. Черный, всклокоченный, он сразу начал с самых высоких нот, иногда срывался, хрипел, кашлял, но все равно продолжал до самого конца на этих высоких нотах. Он говорил страстно и сильно. Бичевал лондонское правительство, говорил о Беруте, Осубка-Моравском и Роля-Жимерском как о людях, которые не бросили свой народ, вместе с ним остались бороться в подполье и поэтому знают его нужды. Противопоставляя их лондонцам, он говорил о необходимости не покладая рук работать, говорил о том, что русские обещали помочь возрождению Польши, и призывал присутствующих приложить все усилия для восстановления страны. И хотя мне несколько раз казалось, что он не рассчитал силы своего голоса, что вот сейчас сорвется и замолчит, он все-таки выдержал всю речь до конца на этой высокой ноте.

Его много раз прерывали криками «нех жие!», и он сошел с трибуны под гром аплодисментов. Как я понял, он выступал от местной организации рабочей партии.

Кстати сказать, тот старик с двумя крестами и с двумя медалями, которого я приметил в начале митинга, стоял недалеко от трибуны и во всех тех местах, где ему нравились речи ораторов, снимал с головы свой котелок и, пристально глядя на говорившего, тянулся к нему, как бы желая тут же, немедля, выразить этим свое одобрение тому, что он услышал. Ему не просто нравились произносимые с трибуны слова, он сам как бы жил этими словами, принимал их в себя как нечто свое, собственное, уже не принадлежавшее больше оратору...

Следов того, где я был и что делал в следующую неделю, между 18 и 24 марта, в записных книжках не сохранилось. На Четвертом Украинском фронте никаких сколько-нибудь существенных событий не происходило; войска перегруппировывались для удара с нового направления.

Двое суток ушло на отложенную из-за митинга в Катовицах поездку на стык Четвертого и Первого Украинских фронтов в армию генерала П. А. Курочкина.

Армия эта хотя и наступала, но еще не добилась в те дни настолько ощутимых успехов, чтобы писать о них в «Красную звезду», куда с разных фронтов в изобилии стекались корреспонденции о взятии все новых и новых городов. Редакция по военному телеграфу торопила меня с другим — с материалами из задуманной мною серии очерков «Письма из Чехословакии».

Засев за эту неотложную работу, я, очевидно, так и не успел сделать дневниковых записей о двух днях, проведенных в 60-й армии. Жалею об этом сейчас хотя бы потому, что тогда один из двух дней я хвостом проездил за маршалом Коневым, прибывшим в свою крайнюю левофланговую 60-ю армию. В войсках Конева я бывал и до этого, но его самого видел впервые.

Через много лет, работая над своими романами о войне и в ходе этой работы обратившись за помощью к Ивану Степановичу Коневу, я расспрашивал его и о событиях прошлого, и о взглядах на войну, сложившихся у него как у командующего одним из решающих фронтов. Во время одного из этих разговоров мы оба стали вспоминать, когда же мы впервые познакомились и как это было.

Когда было, оба вспомнили, а как было — нет.

Видимо, первое знакомство было минутным. Корреспондент «Красной звезды» представился маршалу Коневу и попросил разрешения в течение дня ездить вслед за ним всюду, куда он поедет.

Конев сказал «да», сел в свой «виллис» и поехал, вот и все первое знакомство.

На сколько-нибудь длительные разговоры со мной или с кем-нибудь другим, кто мог бы оказаться на моем месте, у Конева в тот день времени не было. При всем несовершенстве такого зыбкого инструмента, как па-

мять, это я как раз хорошо запомнил и не боюсь записать на бумагу много лет спустя.

Не помню подробностей обстановки, местности, погоды, но хорошо помню, как с утра и дотемна Конев стремительно объезжал один за другим корпуса и дивизии наступавшей армии, ехал с одного наблюдательного пункта на второй, третий, четвертый, выслушивал людей, отдавал приказания и снова стремительно ехал дальше.

Видимо, он берег каждую минуту и спешил сделать за день как можно больше необходимого, прежде чем ночью вернуться к себе в штаб фронта. Время его было сжато до предела; хотя 60-я армия проводила существенную наступательную операцию, но Коневу, кроме нее, надо было управлять еще всею громадою Первого Украинского фронта — семью общевойсковыми армиями, не считая двух танковых и авиации.

Подробности так и остались незаписанными, а впечатление о встреченном в тот день незаурядном человеке осталось.

Сорокасемилетний, на много лет моложе меня, пишущего сейчас эти строки, худой, резкий, стремительный, ни на что, ни на одну минуту не отвлекающийся и неспособный отвлечься от своего единственного дела — войны,— таким сохранился в моей памяти Конев ранней весны сорок пятого года.

Соблазн подробней поделиться воспоминаниями о таком человеке, как Конев, с которым я десятки раз встречался после войны, тем более велик, что у меня сохранилось после этих встреч немало достаточно подробных записей. Но, видимо, в данном случае в дневнике военных лет следует все-таки отказаться от подобного соблазна, оставив эту тему для одной из глав той книги «Послевоенные встречи», которую я уже давно начал и надеюсь через несколько лет закончить.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ

Записная книжка за 24 марта 1945 года.

...Наконец, еще раз перенесенное из-за погоды со вчерашнего дня на сегодняшний, начинается долгожданное наступление. На этот раз удар решено наносить со сравнительно глухого лесистого направления через го-

род Зорау, перед которым вплотную стоят наши части.

После урока предыдущего неудачного наступления это готовили в большом секрете. Дороги под утро совершенно пусты, все уже давно растащено в стороны и замаскировано. Лишь у самой передовой на дороге, прикрытые утренней дымкой и замаскированные ветвями, стоят танки Чехословацкой бригады и полк наших самоходок. Их вывели сюда ночью.

Начало артподготовки назначено на 8.15. Звезды уже потухают, от окружающих болот, прудов и озер тянет сыростью. Туман, оторвавшийся от земли, поражает своей необычностью — он висит в воздухе на уровне 7—8 метров, словно на невидимых нитках подвешенная к небу громадная белая простыня.

Миновав танки и самоходки, сворачиваем налево и останавливаемся у трех кирпичных домов. Здесь помещается наблюдательный пункт корпуса. У решетчатого забора уходит дырка в землю. Щель с перекрытием в два ряда бревен, на всякий случай.

Передний край проходит примерно в километре. Впереди видна железнодорожная насыпь, в ней укрепились немцы. За насыпью — Зорау. Но его пока что скрывает туман.

Вхожу в маленькую комнату с несколькими плюшевыми стульями и никелированной кроватью. Командир корпуса генерал Мельников в распахнутом френче полулежит на кровати, положив руки под голову.

— Вот валяюсь. Все готово. Делать нечего, жду.

Он присаживается на кровати. Мельников весь какой-то квадратный, с большой, наголо бритой головой и глубоким шрамом на лбу. У него квадратное туловище, тяжелое квадратное лицо и глуховатый спокойный голос. Но, несмотря на внешность, веет от него не угрюмостью, а какой-то солидностью, основательностью. На квадратном лице острые живые глаза.

Тут же в комнате сидят начальник штаба и начальник артиллерии. Все в состоянии томительного ожидания. То один, то другой выходит на улицу посмотреть погоду. Туман все еще не рассеялся, хотя день обещает быть хорошим.

— Раньше одиннадцати не рассеется,— угрюмо говорит Мельников.— Я еще вчера командующему это докладывал. Вчера тоже потом хороший день был, но

рассеялось только к одиннадцати. Если раньше времени начнем, много снарядов зря покидаем.

Кто-то из присутствующих говорит, что лучше было бы вообще начинать в двенадцать или в час, тогда для немцев это непривычное время будет полной неожиданностью.

— По-моему, это и так для них будет неожиданностью,— говорит Мельников.— Я в этом убежден, что они пока ничего не знают. Ведут себя ни тихо, ни громко, как обычно. Но вот снаряды даром покидаем, если начнем раньше, чем туман рассеется, вот это плохо будет.

Звонит Москаленко.

— Есть. Слушаю. Есть...— чему-то радуясь, говорит в трубку Мельников и кладет ее.— Отложено на час. Сейчас же сообщить всем,— оборачивается он к командующему артиллерией.

Потом снова хмурится и упрямо повторяет, что и в 9.15 все равно не рассеется. Не раньше, чем в одиннадцать.

Видимо, эта мысль его мучает, и разговор продолжает вертеться вокруг нее, пока не раздается новый звонок Москаленко. На этот раз, положив трубку, Мельников обращается к начальнику связи:

— А ну давайте немедленно выясните, у кого в корпусе позывные «Дуб», «Клен».

— У меня нет таких позывных,— не колеблясь, отвечает тот.

— Тогда выясните у всех приданных нам артиллерийских частей, у кого «Дуб», «Клен». Представьте себе,— говорит Мельников, когда начальник связи выходит,— какой-то мерзавец с этими позывными только что открытым текстом сказал по радио: «Дуб», я — «Клен». Помни, что через пять минут начнется».

— По-моему, и у приданных нам артиллеристов нет таких позывных,— говорит начальник артиллерии.

— Черт его знает! — пожимает плечами Мельников.— Может быть, у соседей? Соседи раньше нас начинают, но опять-таки по времени не выходит. Через пять минут, значит, в 8.10... Не понимаю.

— Может, немцы провоцируют,— предполагает кто-то.

— Если провоцируют, плохо. Значит, беспокоятся...

Через пять минут, хромая, волоча одну ногу, входит командир артиллерийской бригады. Худощавый, остро-

носый и показавшийся мне очень молодым, пока он не стащил с головы солдатскую шапку с генеральской звездочкой. Голова у него была почти совершенно седая.

— Что там с этими позывными? — спросил он.

Мельников объяснил.

— Нет, у меня в бригаде тоже нет таких позывных,— сказал артиллерист и, снова надев шапку и сдвинув ее набекрень, присел, поставив меж ног палку, на которую опирался.

Через пятнадцать минут начальник связи входит и докладывает, что ни в корпусе, ни в приданных корпусу частях позывных «Дуб» и «Клен» нет.

— Как так нет? — строго переспрашивает Мельников.

— Никак нет,— стоит на своем начальник связи.

— Ну и слава богу, что нет,— облегченно вздохнув, говорит Мельников.— Так и доложим.

Через несколько минут снова звонят сверху, что артподготовка отложена еще на час.

— Это хорошо,— говорит Мельников.— Это, значит, в десять пятнадцать. А только все равно туман раньше одиннадцати не поднимется,— упрямо повторяет он.

В связи с погодой вдруг начинаются воспоминания о Крыме. Артиллерийский генерал называет хорошо мне знакомые места на Керченском полуострове: Корпеч, Тулумчак, Джантару...

— Вот уж когда нам с погодой не повезло, то есть так не повезло! Ну что за погода была! С утра, как только начали наступление, и дождь, и снег, и град, и черт знает что... Ужас просто.

— Да, кто в Крыму не бывал, тот горя не видал,— соглашается начальник штаба корпуса, который тоже был в Крыму.

Я выхожу на улицу. Туман все-таки начинает понемногу рассеиваться. Уже видны крыши домов на окраине Зорау. Мне начинает казаться, что Мельников ошибается и туман поднимется все-таки раньше одиннадцати.

— Ну как, рассеивается? — спрашивает Мельников, когда мы входим обратно.

— Понемножку рассеивается.

— До одиннадцати не рассеется,— еще раз повторяет он.

— А вы бы доложили командующему,— советует кто-то.

— Что ж я буду докладывать. Им там тоже все видно не хуже, чем мне. Они же не где-нибудь в штабе, а тут же, в восьмистах метрах от меня сидят.

— Да, значит, еще час и сорок минут,— говорит артиллерист.— Такое чувство, словно стоишь, ждешь на платформе, а поезд опаздывает.

Мельников заговаривает о том, что, видимо, сегодня все же удастся обеспечить внезапность.

— По-моему, спрятались мы хорошо. Конечно, два-три дня назад они заметили, когда мы ставили артиллерию на прямую наводку. Но я приказал в тот же вечер всю артиллерию еще раз переставить. Немцы под утро стали бить по засеченным точкам, побили, побили по пустому месту, подумали, что разбили, и успокоились. А у меня все цело.

Из дивизии звонят по телефону, что немцы отдельными группами с ручными пулеметами подходят к железнодорожной насыпи.

— Неужели все-таки пронюхали? — встревоженно говорит в трубку Мельников.— Не должно этого быть. Стреляйте по ним понемножку теми орудиями, что на прямую наводку стоят. Ничего,— добавляет он, уже положив трубку.— Пусть немножко по ним постреляют, сколько-нибудь побьют, все польза. А кроме того, даже подозрительно было бы, если бы мы их наблюдали, а не стреляли.

Через двадцать минут с наблюдательного пункта дивизии сообщают, что, оказывается, немцы не подходят к железнодорожной насыпи, а, наоборот, отходят от нее. Наблюдатели, когда в первый раз докладывали, ошиблись.

— Вот это уже хуже,— говорит Мельников.

Все в комнате взволнованы.

— Неприятно, если что-то все-таки почувствовали,— говорит Мельников.— Хотя мое мнение прежнее — не должны они почувствовать. Но тогда вопрос, почему передвигаются. Ну ничего, через пятьдесят минут начнем. Значит, даже если отойдут на вторую линию, все равно недалеко уйдут. Мы по первой линии дадим только десять минут огня и сразу перенесем огонь на вторую. Еще неизвестно, где их гуще накроет. Хотя, конечно, с психологической точки зрения плохо, если догадались заранее.

Когда догадываются заранее, крепче держатся. Но все равно всех их так или иначе перебьем. А у мертвых психологический фактор особой роли не играет. Да, да,— подтверждает он начальнику артиллерии,— пусть пушки прямой наводкой бьют, и поактивнее. Пусть, не открывая общего огня, бьют отдельными орудиями.

Невдалеке начинают ложиться немецкие снаряды. Стекла дрожат.

— Капают,— говорит Мельников.

Разрывы все чаще.

— Нет, пожалуй, это артналет.

— Волнуются,— замечает кто-то.

— Да. Начинают волноваться.

Через минуту артналет прекращается. Наступает затишье. Только на переднем крае негромко, отрывисто бьют прямой наводкой наши малокалиберные пушки.

Звонят по телефону из дивизии. Мельников, положив трубку, говорит:

— Докладывают, что бьют немцев, они падают. А часть тех, что ушли, возвратились обратно к насыпи. Ничего. Побьем. Всех.

Он произносит эти три слова раздельно, через точки. И тяжело ударяет по столу кулаком.

Ровно в девять тридцать слева тяжело начинают грохотать «катюши» и одним вздохом ахают сотни стволов артиллерии.

— Соседи начали.

Выходим на воздух. Слева километров за десять все ревет и грохочет. Это начал артподготовку бондаревский корпус с плацдарма, завоеванного им в предыдущем наступлении.

Артподготовка так и была назначена там на сорок пять минут раньше, чем здесь, на направлении главного удара, с расчетом на то, что немцы воспримут это как повторение нашего наступления на том же самом участке, что и в прошлый раз. И сразу же потянут туда свои ближайшие резервы. А потом, когда уже выяснится, что мы наносим свой главный удар не там, а здесь, возвращать эти резервы с полпути будет лишней потерей времени.

Насколько я знаю, все последние дни мы много занимались дезинформацией немцев. Производили ложные передвижения и, в частности, подавали соседям слева колонны автотранспорта и гоняли там у них по

рокаде взад и вперед танки, стараясь создать впечатление, что главный удар готовится именно там.

Изредка среди общего гула канонады слышны разрывы. Это отстреливаются немцы.

Возвращаемся в комнату. Звонит командующий. Предупреждает.

— Спокойствие, спокойствие,— усмехается Мельников, положив трубку.— Боится, чтоб мы не сорвались, услышав, что соседи начали.

— Десять часов десять минут,— среди наступившего молчания говорит командир артиллерийской бригады.— Немцы еще пять минут живут, а на шестой начинают умирать.

Начальник артиллерии вызывает в комнату еще двух командиров артиллерийских бригад, полковников. Оба входят с палками. Как я успел заметить, у многих наших офицеров, в особенности у танкистов и артиллеристов, ходить с палками стало не то привычкой, не то модой, а порой и тем и другим.

— Приготовьтесь, больше откладывать не будем,— обращается к полковникам командующий артиллерией, и голос его звучит даже немножко торжественно.— Артиллеристам взяться за шнуры.

— Есть взяться за шнуры,— отвечают полковники и выходят.

Оставшийся в комнате генерал, командир бригады, вдруг вспоминает, как на Центральном фронте один раз у них вышла целая история.

— Не успели всех предупредить о перемене часа начала артподготовки, два полка начали раньше времени, а вслед за ними сорвались и остальные.

— Ну и что? — спрашивает Мельников.

— Ничего. Все удачно сошло.

— Потому и ничего, что удачно сошло,— иронически замечает Мельников.— А если бы неудачно, так и костей бы не собрать потом тем, кто раньше времени начал. Принцип принципом, а победа надо всем властвует и все забывать заставляет.

Остается минута.

— Что ж, с богом,— говорит кто-то.

— В добрый час,— говорит Мельников и, застегнув на все пуговицы свое кожаное пальто, нахлобучив папаху, выходит.— Огонь! — уже выходя, говорит он начальнику артиллерии.

Тот бросается вниз, в вырытый возле самого дома котлован, где стоят рации и телефонные аппараты. И через пятнадцать секунд раздается первый чудовищный залп эрэсов. Над нашими головами летят огненные стрелы, в нескольких сотнях метров от земли они чернеют и становятся похожими на маленькие гантели. Это тяжелые реактивные снаряды. А через минуту, заполняя своим голосом все пространство, за нашей спиной почти разом заговаривает тысяча артиллерийских стволов.

И в ту же минуту по шоссе мимо нас срываются вперед легкие 76-миллиметровые самоходки. Они идут на большой скорости одна за другой и исчезают за поворотом дороги.

Впереди все гремит и рушится. Сначала еще можно наблюдать, как снаряды попадают в дома на окраине Зорау. Потом над Зорау появляются наши бомбардировщики, все сливается в одно общее зарево, над которым стоит пелена дыма и пыли. И лишь в отдельных местах, вырываясь из этой пелены, взлетают вверх черные столбы.

Штурмовики с тяжелым резким ревом проносятся над немецкими траншеями у окраины города. Вслед за самоходками по шоссе идут чехословацкие танки. На втором или третьем из них едет человек в кожанке и, сорвав с головы шлем, машет им движущейся вдоль дороги пехоте.

От дома, где мы стоим, отделяется какой-то офицер и бежит к дороге. Видимо, это кто-то из офицеров связи. И ему нужно ехать вперед. Он машет рукой танкам, чтоб его подсадили на броню, но танки напирают один на другой и уже не могут остановиться, и в том, что они уже не могут остановиться, есть тоже что-то волнующее. Один за другим они начинают свертывать с шоссе и идти наискось по полю к переправе, которая наведена левее города.

Я поднимаюсь на чердак дома. В стереотрубу хорошо видно, как первые, переправившиеся через протекающую перед Зорау речку танки минуют первые немецкие траншеи и движутся дальше. Видны маленькие фигурки саперов, идущих впереди танков с шестами миноискателей. Слева и справа от танков идет пехота, причем, как это всегда бывает во время атаки, издали кажется, что ее совсем немного. Да и не только ка-

жется. Если взять весь громоздкий механизм нынешней войны, то, когда, скажем, как сегодня, на участке главного удара переходит в наступление целая армия при поддержке соседей, все-таки реально на самом участке прорыва в первой волне идет не так много пехоты. Несколько сот, может быть, до тысячи человек. Все глубоко эшелонировано, и в том корпусе, который прорывает фронт на участке главного удара, впереди идет одна дивизия, тоже построенная в два эшелона. В первом эшелоне идут два полка, а в каждом из этих двух полков впереди по два батальона. И в этих батальонах по одной роте идет уступом сзади и по две впереди, и в итоге получается, что на участке прорыва в самых первых рядах наступающих идет человек семьсот-восемьсот пехотинцев плюс саперы, плюс танки, плюс все, чем их поддерживают.

Конечно, уже никому и никогда не увидеть теперь тех атак, которые происходили во время наполеоновских войн. Нынешняя атака не представляет собой ничего похожего на это, хотя и изображается иногда некоторыми нашими писателями в стиле войны 1812 года.

А последние танки все еще идут вдоль шоссе. Они обложены с двух сторон фашинами из длинных веток, на броне сидят десанты, а на последнем танке вместе с десантниками примостились регулировщики с флажками. Им предстоит занять первые регулировочные посты в том самом Зорау, который сейчас горит.

В стереотрубу хорошо видно, как пехота движется все дальше и дальше. Вокруг нее почти нет дымков разрывов. На этот раз дело идет благополучно, немецкая артиллерия переднего края на всем участке прорыва основательно подавлена, но все равно нетерпение и волнение на наблюдательном пункте дают себя знать.

Минут через тридцать мимо нас проносят первого раненого офицера. Его тащат четверо солдат, положив на плащ-палатку и взявшись за ее концы.

Еще через несколько минут приводят пленного немецкого фельдфебеля. Он измазан, весь в копоти и земле, белобрысый, на вид лет тридцати пяти. Не знаю, то ли фольксштурм, о котором в последнее время много разговоров, используют на других участках фронта, то ли фольксштурмисты не сдаются или не попадают в плен, но все пленные, которых я видел в предыдущие дни, были примерно того же самого среднего возраста, в кото-

ром бывали пленные немцы и раньше, в прежние годы войны. Я не видел среди них ни мальчиков, ни стариков. Правда, многие из них в очках, и бог их знает, может быть, среди них многие ограниченной годности, но, во всяком случае, ни детей, ни стариков из фольксштурма я пока что не видел.

В том, что говорит фельдфебель, отвечая на вопросы Ортенберга, мало примечательного. Он говорит почти то же самое, что говорит почти всякий немецкий фельдфебель при схожих обстоятельствах. С практической точки зрения интересно только то, что он подтверждает: да, немцы действительно ничего не знали о нашем наступлении. Вчера им что-то говорили связисты, что у русских кто-то где-то передвигается, но более определенных слухов не было и никаких указаний начальства они не получили, так что удар оказался для них совершенно неожиданным. Потери от нашего огня, по словам фельдфебеля, большие, а на вопрос о том, при каких обстоятельствах он попал в плен, он отвечает довольно неожиданно: «Русские товарищи обошли меня с двух сторон, и я сдался» (он именно так и говорит: «руссише камераден»).

Фельдфебеля уводят, а начальник штаба корпуса, который в это время связался с соседом слева, сообщает новость. Несмотря на то, что там, у соседа, был только вспомогательный удар, в известной степени даже демонстрация, и артподготовка была сравнительно небольшая, и было введено в дело мало сил, но как раз там сейчас довольно серьезный успех: немцы, находившиеся перед левым соседом, дрогнули, побежали. Из стоявшей перед ним немецкой дивизии уже взято сорок пленных (потом, к концу дня, я узнал, что из этой дивизии сдалось в плен около двухсот человек). По показаниям пленных, солдаты из этой дивизии, два дня назад прибывшие из Италии и привыкшие к позиционной войне с нашими союзниками, очень боялись Восточного фронта. Потому, верно, первыми и драпанули.

Мы с Ортенбергом садимся в «виллис» и едем в Зорау. По дороге останавливаемся. Ортенберг на несколько минут заходит на наблюдательный пункт одной из наступающих дивизий. Я остаюсь на дороге. На ней уже начинаются пробки. Танкисты, вечные враги связистов, цепляются своими радиоантеннами даже за самые вы-

соко подвешенные провода связи, а те, что висят пониже, рвут башнями и пушками.

Едем дальше.

Все пространство между нашим бывшим передним краем и железнодорожной насыпью взрыто. На поле лежат несколько мертвых наших бойцов, очевидно подорвавшихся на минах или погибших от недолетов. Печальная история, без которой почти никогда не обходится.

Железнодорожная насыпь распахана артиллерией вдоль и поперек. Среди воронок лежат мертвые немцы.

Мост через речку; наши успели навести его на диво быстро. Простучав по бревнам, как по гармошке, попадаем на окраину Зорау. Здесь уже творится обычное в таких случаях столпотворение, тем более что город — узел нескольких дорог. Саперы идут, щупая мостовые впереди танков. За их спиной грохочут танки, а за танками уже тянутся грузовики с заправкой. Город за тридцать минут артиллерийской и авиационной подготовки буквально раздроблен в куски. Часть домов разбита совершенно, в других зияют многочисленные дыры от артиллерийских снарядов, многие дома горят, улицы в обломках.

В первый момент мне показалось, что жителей в городе нет, но, как потом выяснилось, это было не так. Просто они еще продолжали прятаться в подвалах.

Мы проехали Зорау и свернули правее, к стоявшему за окраиной города заводу, над которым торчала пробитая несколькими снарядами заводская труба. Свернув к заводу, мы попали по дороге на наблюдательный пункт дивизии, которая действовала правей Зорау. В маленьком блиндаже — командир дивизии генерал Дударев. По словам Ортенберга, он командовал бригадой на Халхин-Голе, и я должен был там его видеть, но я что-то не могу этого вспомнить.

Дударев — высокий, крепкий человек в очках, очень не идущих к его грубоватому, крепкому мужицкому лицу, фуражка у него сдвинута на затылок, ворот кителя расстегнут. Генерал собирается уезжать куда-то вперед, но перед этим поспешно доделывает какие-то необходимые дела и имеет вид человека, не то чтобы запаренного, а всецело ушедшего в свою работу. И все это вместе — и сдвинутая на затылок фуражка, и очки в железной оправе, и расстегнутый ворот,— все это придает ему вид мастерового человека, который работает засучив рукава

и только на минуту повернулся к нам, оторвавшись от своего дела и не выпуская из рук инструмента.

От Дударева едем на завод. Завод находился как раз на самом переднем крае немцев. В его стены попало множество снарядов, но, как и всякую такую постройку, разрушить его нелегко, и, в общем-то, он цел. Это огромное, длинное кирпичное здание, состоящее из трех цехов. Видимо, завод узкой специальности. С полу поднимаются положенные один на другой свежеобточенные диски для поворотных кругов танковых башен. Наверное, эти диски именно тут делались. В цехе нет почти ничего другого, кроме нескольких десятков огромных обдирочных и шлифовальных станков.

В последнем, третьем, цехе, в самом конце его, между двумя колоссальными шлифовальными станками под дыркою в крыше, через которую ударил снаряд, лежит наш мертвый, буквально растерзанный этим снарядом, боец.

Зачем он забрался в этот самый дальний уголок цеха, где его подстерегала смерть? Гнался за каким-нибудь немцем? Ничего не известно. И уже никто не сможет ответить, почему этот человек нашел свою смерть именно здесь, на немецком заводе в Зорау, на полу между двух шлифовальных станков. Все-таки на войне много нелепого.

С завода возвращаемся в город. Население начинает выбираться из подвалов. Оглушенные, грязные, измазанные, засыпанные штукатуркой, ошеломленные всем происшедшим люди. За эти полтора-два часа им пришлось пережить поистине нечто чудовищное, и они все еще никак не могут прийти в себя. Стоят у выбитых окон, у сорванных дверей и молча смотрят на проходящих солдат. Есть среди них и люди среднего возраста, есть старики, но больше всего женщин и детей.

Мы останавливаемся поговорить. Как выясняется, все это поляки. Немецкое гражданское население давно эвакуировалось из Зорау. Тут остались только поляки, не хотевшие уходить и решившие ради этого пережить любые ужасы. Проезжаем одну улицу, потом другую. Подъезжаем к костелу. Кажется, это тот самый костел, о котором неделю назад Иван Ефимович Петров, вернувшись с рекогносцировки, говорил, что с него все просматривается и нужно будет первыми же выстрелами разрушить наблюдательный пункт немцев, скорее всего

помещающийся именно здесь. Если он и правда помещался здесь, то теперь от него ничего не осталось. От костела один остов. И кладбище рядом с ним тоже разворочено — все в воронках. Вот уж поистине война не дает покоя даже мертвым!

Заходим в один из уцелевших домов. В соседний дом, в самый центр его, попала бомба, и он обвалился всеми четырьмя сторонами в огромную воронку, почти доверху засыпав ее. А этот дом, рядом, устоял. В коридорах и комнатах неразбериха, суета вещей — этажерки, вешалки, салфетки... И всякая другая, черт его знает как нелепо выглядящая в такой обстановке житейская мелочь. Несколько женщин толпятся в комнатах, ходят по коридорам, держа за руки детей. Они напуганы, ошеломлены, забыли о своей внешности, даже не пытаются стереть с лица сажу, известку.

В одной из комнат застаем двух солдат.

— Что вы тут делаете? Барахолите? — спрашивает Ортенберг.

— Никак нет, пришли воды напиться.

— Воды просили пить, воды просили пить,— начинает вслед за ними повторять старая женщина и в доказательство протягивает кружку. Испугалась за солдат, что начальство может несправедливо обойтись с ними.

На одной из улиц встречаем колонну пленных, человек десять. Короткий разговор с ними ничем не примечателен. Но молча отмечаю для себя характерную подробность: у одного из пленных, у ефрейтора, на мундире несколько оборванных шелковинок там, где немцы обычно прикрепляли почетный знак, полученный в память об участии в зимней кампании 41—42-го годов в России. Видимо, ефрейтор испугался и наспех сорвал этот знак, забыв выдернуть оставшиеся шелковинки.

На следующей улице встречаем еще одного пленного, которого ведет здоровенный мордастый солдат.

— Где ты его взял? — спрашивает Ортенберг.

— Да тут, в Зорау.

— А как он тебе сдался в плен?

— Да он и не сдавался. Я иду и вижу, он с погреба вылез, да и ползет на карачках между камнями. Вот я его и потянул за шиворот. «Чому ж ты ползешь,— говорю,— что ты, вошь, что ли?»

Зорау все больше и больше наводняется войсками и машинами. Саперы с напряженными, вглядывающимися лицами шарят еще своими миноискателями, а сзади уже нетерпеливо гудят грузовики.

Выбираемся через Зорау вперед на запад и едем по уже порядочно забитой транспортом дороге, у начала которой, на выезде из Зорау, на перекрестке — столб с надписью на немецком языке: «Лослау, 18 километров».

Проехав километра два с половиной и миновав какую-то деревню, видим на дороге и в придорожных канавах то тут, то там трупы немцев. Спускаемся в лощину, подымаемся на возвышенность, потом опять едем под горку. И видим стоящих около дороги Петрова и Мехлиса. Их задержало скопление машин. Впереди пробка — стоят грузовики, повозки и танки.

Я подошел к Петрову. Впервые за все время нашего знакомства с ним я видел у него такое счастливое, сияющее выражение лица. Он был не в папахе, а уже по-весеннему — в новенькой полевой фуражке.

— Здорово обработали город,— сказал Петров.

Подошедший к нему Ортенберг сказал, что говорил с немцами и немцы ничего не знали о нашем наступлении.

— Не знали, это точно,— сказал Петров.— Все, кто был здесь, здесь и остались.

Пробка немножко рассосалась. Петров помахал нам рукой и поехал.

Мы вернулись к своему «виллису» и поехали следом. И скоро снова догнали их. Впереди образовалась еще одна пробка.

Сначала, когда мы выезжали из Зорау, мне по первому ощущению темпа наступления казалось, что мы сможем сегодня проехать гораздо дальше. Но уже здесь, на склоне холма, впереди нас, слева и справа по полю, развернувшись, шла пехота, должно быть, вторые эшелоны. А где-то за горкой, совсем близко, но невидимый отсюда, шел бой. Рвались снаряды, а штурмовики, проходившие над нашими головами, пикировали за этой ближайшей горкой так близко, что если они обстреливали не своих, а немцев, то до немцев было уже рукой подать.

Петров по своему обыкновению в этой обстановке ожидания не столько командовал, сколько наблюдал и

оценивал и, если можно так выразиться, принюхивался к воздуху боя.

Адъютант Петрова и еще несколько офицеров методично растаскивали пробку, а мы стояли в лощине под деревом, как вдруг прямо над нашими головами свирепо свистнул снаряд. Звук был короткий, быстрый, после которого должен последовать близкий разрыв. Петров, Мехлис, Ортенберг и Альперт присели при этом звуке. А я, грешным делом, даже прилег. Мне показалось, что снаряд разорвется совсем рядом. Но он, просвистев над самыми головами, не разорвался. Где-то упал, но не разорвался. Все выпрямились.

— Прошел мимо,— сказал Петров.

Мехлис сказал что-то в этом же роде, а я злился на себя за то, что лег. Не мог себе этого простить. Кстати, это обычное чувство на войне. Когда ляжешь, а снаряд разорвется далеко, обидно, зачем лег. Когда кто-нибудь пойдет вперед в опасное место и вернется живой и здоровый, ничего с ним не случится, обидно, что ты остался, не пошел с ним. Когда идут на штурмовку Илы, боязно с ними лететь. А когда они возвращаются и их счетом столько же, сколько пролетело в ту сторону, думаешь: «А надо бы все-таки как-нибудь слетать на штурмовике».

Мы подались назад, вверх по склону, метров на двести. И остановились около какого-то каменного строения. Во дворе было много лошадей и бойцов. Пробку на дороге все еще не растащили. Этот дом на гребешке холма был огорожен легким забором, но, как и повсюду здесь, этот легкий забор был укреплен на солидных бетонных столбах. Я облокотился об один из этих столбов и от нечего делать стал разглядывать его. И вдруг среди песка и камешков заметил попавшую в бетон голубую бусинку. Черт его знает, почему иногда обращаешь внимание на такие мелочи!

Мне начинало казаться, что там, впереди, движение затормозилось. Петров был недоволен, нервничал. Мехлис сказал ему, что, быть может, сейчас следовало бы пустить вперед пятнадцать—двадцать танков и с риском потерять их все-таки попробовать прорваться в Лослау именно сейчас, потому что позже на это понадобится гораздо больше сил. Петров согласился, что это стоит сделать. И надо еще выдвинуть вперед полсотни орудий на прямую наводку, чтоб били по городу.

Не знаю, что из этих предложений осуществилось потом, но в тот момент, при мне, никаких приказаний отдано не было.

Все, что преодолело первую полосу обороны немцев, сейчас тянулось вперед по дорогам. И должно быть, артиллерия, с опозданием снявшаяся после артподготовки, застряла среди этого всеобщего движения.

Бой впереди затихал. Пехота без артиллерии не шла в атаку, и темп наступления понемножку замедлялся. Правда, большая часть танков уже ушла вперед, но до какого рубежа продвинулась пехота, еще не было точно известно.

После первого удачного рывка неожиданности бывают не только плохие, но и хорошие. Иногда, не имея связи, доносят с преуменьшениями, а не только с преувеличениями, как это обычно бывает во время неудачных наступлений.

Петров присел во дворе на телегу и о чем-то молча думал. Мехлис стоял рядом с ним. В этот момент метрах в двухстах от нас на склоне холма разорвался тяжелый снаряд. Вслед за ним еще один.

— Пойдемте-ка поближе к дому,— поднявшись, сказал Петров.

Пока мы дошли до дома, сзади рванулось еще три или четыре снаряда.

— Сейчас еще два положат,— сказал Петров.

Но немцы не положили.

Мы зашли за обратную сторону дома и остановились там.

— Сейчас немцы дорогу расчистят,— сказал Мехлис.

— Как метлой,— подтвердил Петров.

И правда, когда мы через пять минут подошли к изгороди, дорога была уже свободна от повозок, хотя только недавно казалось, что их невозможно разогнать.

— Комендант,— усмехнувшись, сказал Ортенберг про немецкий артналет.

Неподалеку от дома на открытом месте стояли две девушки с винтовками, кажется, санитарки.

— А ну, девчонки, марш за дом,— сказал Петров, обращаясь к ним со своей обычной ласковой, преждевременно стариковской грубоватостью.

Девушки ушли за дом. Дом был полон шоферов и солдат, которые набились в него при первых же разрывах. Немцы больше не стреляли. Как я узнал уже

потом, вечером, этим артналетом на двести метров ниже того места, где мы стояли, была разбита радиостанция, убиты командир артиллерийской бригады и его начальник связи и ранено несколько офицеров.

Минут через двадцать помрачневший Петров молча сел в «виллис» и поехал обратно в Зорау. Оттуда, наверное, на другие участки фронта.

Ортенберг двинулся искать начальника политотдела какой-то дивизии, а я, расставшись с Альпертом, которому нужно было ехать в редакцию проявлять снимки, отправился искать наблюдательный пункт Москаленко.

Чтобы узнать, где он, я сначала заехал на наблюдательный пункт Мельникова. Там уже почти никого не было, кроме начальника штаба артиллерии, который в довольно резком тоне разговаривал по телефону с командующим артиллерией армии. Тот потребовал дать артналет по какому-то населенному пункту, где сидели немцы, но сомневался, что его приказание выполнено. По этому поводу и шло препирательство по телефону.

— Ну хорошо, ну пускай я лгу вам,— обиженно говорил начальник штаба артиллерии.— Если так, я вас сейчас напрямик свяжу со своими командирами полков. Выясняйте у них, пожалуйста. Я вам докладываю, что дал шестьдесят снарядов. А если мне не верите, выясняйте!

Он положил трубку и стал шуметь на связистов, требуя, чтобы они подключили командиров полков. С трудом оторвав его на минуту, я выяснил, что наблюдательный пункт Москаленко всего в восьмистах метрах отсюда, по этой же дороге назад и направо. Через пять минут я был уже там.

Несмотря на теплый день, Москаленко сидел в натопленной комнате, а на стене на крючке висела его обычная пудовая бекеша. Епишев полулежал на диване — давала знать о себе рана. Она болела у него при всякой резкой перемене погоды, к лучшему или к худшему, безразлично.

Москаленко находился в том меланхолическом, с некоторым оттенком иронии настроении, какое у него обычно появлялось в минуты вынужденных пауз.

— Неважно идут,— говорил он.— Неважно. Пойдут — встанут, пойдут — встанут... Черт его знает, каким темпом идут. Не хватает самостоятельного порыва. Толкать надо. Печально. Очень печально. Приходится

на два фронта воевать — с немцами и со своими. А особенно после каждой артподготовки с артиллеристами, чтобы своевременно вперед после этого срывались.

По моим ощущениям, наступление шло как будто неплохо, хотя и не так хорошо, как это показалось после первого броска. Все, кого я наблюдал сегодня, сначала, после предыдущей неудачи, думали о нынешнем наступлении с немалой тревогой. Потом, после первого удачного рывка, поверили, что все дальнейшее пойдет в нарастающем темпе, а теперь были разочарованы тем, что надо опять нажимать, толкать, что снова наступает страдная пора проталкивания и пробивания.

Хотя, в общем-то, обстоятельства складывались благоприятнее, чем в прошлый раз, но того праздника быстрого и решительного разгрома немцев, которого всем так хотелось и о котором после артподготовки и первого рывка все подумали, этого праздника пока что не получалось! Шла обычная тягомотина войны.

Когда я пришел к Москаленко, то он встретил меня шутливой укоризной:

— Ну вот, что ж это вы? Я, можно сказать, НП свой специально так оборудовал, чтобы было что корреспондентам показать, а вы шесть дней не являлись.

Я объяснил, где был все эти дни и где находился с утра сегодня.

— Тем не менее осмотрите все же наш НП,— все с той же улыбкой сказал Москаленко,— а то скоро уйдем с него, поздно будет смотреть.

Я спустился на несколько ступенек вниз по лестнице и оказался в мощном каменном полуподвале, в стене его были прорезаны три щели, и в них установлены стереотрубы, и вообще все было устроено так, как это положено на идеально подготовленных НП. В последнее время, с тех пор как перестали постоянно чувствовать над головой немецкую авиацию, к оборудованию наблюдательных пунктов, особенно во время наступления, стали относиться все небрежнее, и такие, как этот, были действительно редкостью.

Кстати, забавная подробность. Дверь в подвал была почему-то оклеена плотной черной фотографической бумагой, напоминая не то вход в какой-то склеп, не то комнату, где проявляют свои снимки фотографы.

— Даже ВЧ сюда провели,— сказал вместе со мной

спускавшийся в подвал адъютант с такой гордостью, словно это было его личной заслугой.

Когда я вернулся, Москаленко спросил, ел ли я сегодня.

Я сказал, что, в общем, нет, не ел. И он приказал дать мне поесть.

— И выпить дайте! — крикнул он вдогонку, как человек, который, не разделяя, все-таки сочувствует.

Мне дали тарелку с наспех устроенной закуской и водку, о которой Москаленко сказал, что это прекрасная венгерская водка, хотя я убежден, что он сам не только ее не пил, но даже и к носу не подносил.

Я выпил полрюмки этой водки и запил ее крепким чаем.

— Ну что, поедем на новый НП? — обратился Москаленко к Епишеву.

— А где ваш новый НП? — спросил я.

— За Зорау, левее него, на холме. Очень хороший обзор. Когда выезжали туда вперед, приглядел это место для НП. Прямо в воронке его там устроили, в которой уже один раз побывали. Заметили немцы, как на нем погоны блестят,— кивнул Москаленко на Епишева,— и стали стрелять. А мы с ним в воронку. Большая воронка от нашей бомбы. Сослужила, так сказать, двойную службу. Губанов, стулья возьмите, не забудьте,— обратился он к адъютанту.— Хотя и в воронке, а все-таки на стульях. Связь туда уже должна быть протянута. Ну что ж, пошли?

В это время ему позвонил один из командиров корпусов.

— Слушаю,— сказал Москаленко.— Так где же вы в роще? В какой роще? Нет, все-таки в какой роще? — допытывался он терпеливо раздраженным голосом.— В той роще, про которую вы мне еще два часа назад докладывали, что вы в ней были? Ах, не в этой роще. А в какой же роще? Ах, вот в этой роще.

Он посмотрел на карту. Голос его не менялся.

— Ну, эта роща от той рощи, к вашему сведению, отстоит на двести метров.

И вдруг перешел со спокойного тона на яростный.

— Вперед! — закричал он.— Немедленно вперед! Некрасиво с вашей стороны так поступать, некрасиво, и больше ничего! Неужели же мне вас вперед палками гнать? Какое сопротивление? Никакого сопротивления

у вас нет. Втягиваются в лес? Вы мне пять часов назад докладывали, что втягиваются. Вот так вы сами себе дело портите своими неправдивыми докладами! А если бы вы мне еще пять часов тому назад сказали, что не втягиваются, что вы не можете войти в этот лес потому, что оттуда сильный огонь, я бы вам дал мощную поддержку артиллерией, и вы бы давно вошли в этот лес и прошли его насквозь. А вы боитесь сказать о заминке, не делаете надлежащего доклада, и из-за вашего неправдивого доклада, из-за таких дураков, как мы с вами, люди жизни кладут.

Я внутренне усмехнулся этой уже не впервые услышанной мною дипломатической формулировке чрезвычайно резкого по существу выговора.

— Ну ладно, пойдем,— закончив разговор по телефону, сказал Москаленко и с трудом надел тяжелую бекешу.— Почему шинель не взяли? — обратился он к адъютанту.

— Утром прохладно было.

— Да, утром прохладно было, а надо было бы все-таки шинель взять. Захватили с собой стулья?

— Захватили.

— Ну пойдемте. А вы что, с нами? — обратился он ко мне.

— С вами.

— Хорошо. Пошли.

Мы вышли из дома и поехали вперед, через Зорау. Зорау все еще горел и был забит людьми и техникой, так что мы ехали через город около часу.

По дороге, когда мы застряли в пробке, я увидел дом с какой-то неестественно обвалившейся, выгнувшейся в сторону улицы стеной. Рядом с этой стеной была гора щебня, кирпича, и человек пятнадцать наших бойцов раскапывали эту гору. Рядом с ними стояло несколько женщин.

— Что там? — спросил я.

— Там пятерых детей засыпало, откапываем. Они там голос подают, все живые, в подвале засыпало, но не убило.

Бойцы трудились в поте лица. Один из них скинул гимнастерку и работал полуголый, потный, в полном самозабвении.

На окраине города мы окончательно застряли, но впереди в просвете улицы уже виднелась вдали та гор-

ка, на которой нам надо было оказаться, и мы пошли пешком.

По дороге Москаленко увидел шмыгнувшего мимо него бойца с белым свертком под мышкой. Боец проскочил и залез в кабину машины, думая, что спрятался от начальства.

— Ну-ка, ну-ка, вот ты, с барахлом, поди сюда,— сказал Москаленко.— Ну, поди сюда.

Боец вылез из кабины и подошел. Свертка он не прятал. Он так и оставался у него под мышкой и состоял из простыни, двух полотенец, полосатой рубашки и кальсон.

— А, белье себе достал,— сказал Епишев.

— Нет, ты мне скажи, зачем ты барахолишь, когда люди там умирают? — Москаленко ткнул пальцем на запад.— А?

— Мы, артиллеристы, отстали, в пробке застряли. Ждем,— сказал боец.

— Вот поэтому вы и отстали и застряли, что барахолите в то время, как другие люди там умирают,— сказал Москаленко.

— Никак нет,— вдруг сказал боец.— Это я себе, чтобы пушку свою протирать, взял.

Москаленко посмотрел на него, на торчавшие из свертка тесемки от кальсон и полосатый рукав рубашки, потом искоса посмотрел на меня. Я был так поражен этим находчивым ответом артиллериста, что не мог не улыбнуться. Москаленко посмотрел на меня, снова на бойца, усмехнулся и сказал:

— Вот черт, даже что начальству сказать, знает! — повернулся и пошел дальше.

Мы поднялись на холм, у гребня которого действительно была та самая здоровенная воронка. В нее притащили стулья, на один из них сел Москаленко, на другой — Епишев, а на третий поставили телефонный аппарат. Но, как выяснилось, телефонной линии сюда не провели, а протянули ее немножко левее, к маленькому курганчику, торчавшему, как пупок, на самом гребне холма. Капитан из комендантской роты подбежал доложить, что наблюдательный пункт устраивается именно на этом пупке, и показал рукой на возившихся там саперов.

— Так что же они там строят? — спросил Москаленко.

— Наблюдательный пункт,— сказал капитан.

— Какой же мудрец приказал им наблюдательный пункт там, на этом пупке, делать?

— Не могу знать, товарищ командующий.

— Прекратить,— сказал Москаленко.— Пойдите и прекратите.

Он уселся на стул и стал ждать, когда подведут телефонную линию сюда, в воронку. Ему сказали, что недалеко отсюда, в нескольких сотнях шагов, есть домик, куда уже проведен телефон и где находятся штабные работники 95-го корпуса. Но Москаленко почему-то не хотел идти туда и упрямо сидел в воронке, наблюдая в бинокль за тем, как на уходившей к юго-западу дороге неподвижно стоит длинная колонна.

— Не двигаются, черти,— сказал он.— Вот ведь безобразие!

Связисты уже бежали по полю и, разматывая катушки, тянули провода. Наконец дотянули до воронки и стали подключать телефон. Этим занимался офицер-связист, но дело у него что-то не шло, телефон не работал.

— Как, будет у вас телефон работать или нет? — лениво и тихо, но с обещавшим взрыв шипением в голосе спрашивал Москаленко.— Вы скажите, будет или не будет?

— Сейчас будет, уже другой аппарат несут.

— Где он у вас, другой аппарат?

— А вот, несут.

И действительно, через минуту уже принесли другой аппарат и подключили его, но и он тоже не сразу заработал, два или три раза проверяли слышимость.

Наконец Москаленко соединился по этому телефону с тем, с кем ему было нужно, но посреди разговора связь прервалась. Он опять соединился — связь опять прервалась.

— «Волга»! «Волга»! — кричал офицер-связист, пытаясь в третий раз соединиться.

— А ну вас к богу,— сказал Москаленко.— Поедем, Епишев, прямо в корпус.

— Товарищ командующий, а как же телефон? Тут оставить или как? — спрашивал офицер-связист.

— Ну как, как? — вылезая из воронки, сказал Москаленко.— За мной же следом ты его не потянешь, значит, оставляй тут. Поехали.

Снова пробившись через пробку, мы проехали через ту лощину, где немцы днем клали снаряды. Там валялись растерзанные лошади и разбитые повозки. Мы поднялись дальше в гору, миновали ее и остановились в какой-то маленькой деревушке. И тут началась серия разносов. Сначала Москаленко встретил лейтенанта, командира комендантского взвода.

— Где ваш командир корпуса?

— Не знаю.

— Как же вы не знаете? Что у вас за корпус, что вы не знаете, где командир корпуса, а?

— Не знаю,— повторил оробевший лейтенант.

— Найдите мне командира корпуса.

— Он уехал.

— Так что же вы сразу не сказали, что он уехал? Куда уехал? Вперед или назад?

— Вперед уехал.

— Ну, тогда еще ничего. А кто есть тут поблизости?

— Оперативный отдел.

— Найдите мне кого-нибудь из оперативных работников.

Пока лейтенант бегал за оперативными работниками, Москаленко заметил, что по склону возвышенности окапывались бойцы. Один сидел почти у самой дороги в уже вырытом им неглубоком окопчике.

— Что вы тут делаете? — спросил Москаленко. Когда он особенно сильно раздражался, он говорил только на «вы».

— Занимаем оборону.

— Какую оборону? Какую оборону вы здесь занимаете?

— Нам приказали.

— Кто вы такие?

— 73-й батальон штурмовой бригады.

— Где ваш командир?

— Здесь.

— Позовите мне командира.

Через две минуты появился командир, майор с бледно-розовым лицом не то от природы, не то от бега.

— Вы командир батальона? — спросил Москаленко.

— Так точно. Командир 73-го батальона штурмовой бригады, товарищ командующий.

— Что же тут делают ваши бойцы? — шелестящим голосом спросил Москаленко.

— Занимают оборону.

— Какую оборону? — Москаленко, что с ним очень редко случалось, употребил непарламентское выражение.— Какую оборону вы занимаете, когда бой идет в пяти километрах впереди вас?

— Нам так приказали,— оправдывался майор.

— Кто приказал?

— Полковник.

— Не мог он вам такой ерунды приказать.

— Разрешите, товарищ командующий...

— Не разрешу. Сейчас же снимайте отсюда всех ваших бойцов — и вперед. На Лослау, прямо вперед! И забудьте на время этого наступления слова «занимать оборону». Забудьте.

— Так точно, товарищ командующий. Разрешите доложить...

— Не разрешаю докладывать, выполняйте.

Москаленко пошел вперед к деревне, до которой мы немножко не доехали. Майор на несколько секунд задержался около Епишева, объясняя, что он ни в чем не виноват, что это действительно приказ полковника.

— Давайте выполняйте,— сказал Епишев.— Со всем остальным разберемся потом.

И майор побежал назад, к своим солдатам, спеша поднять их.

Москаленко, пройдя несколько шагов, столкнулся с шедшим ему навстречу подполковником, начальником штаба корпуса.

— Что у вас здесь, в деревне? — спросил он подполковника.

— Штаб.

— А почему у вас здесь штаб?

— Здесь командир корпуса приказал быть штабу.

— А где ваш командир корпуса?

— Поехал вперед, в бригады.

— А вы что здесь делаете? Смотрите на то, как сзади вашего штаба корпуса бойцы оборону занимают? Да? Раз не умеете руководить людьми, так хотя бы поезжайте вперед, в боевые порядки. Раз вы не можете поднимать людей в бой своим умом и авторитетом, так поднимайте их хотя бы своим присутствием. Поняли меня? Убирайтесь отсюда вперед, чтоб вас тут не было. Оставьте кого-то одного на телефоне, а остальных всех вперед!

— Куда вперед?

— На Лослау. Забирайте этот ваш штурмовой батальон и ведите его вперед.

Подполковник побежал выполнять приказание, а Москаленко зашел в дом и, сев там на телефон, час подряд говорил с командирами и начальниками штабов корпусов и дивизий, с командующими артиллерией, спрашивал, как кто воюет, называл пункты, по которым необходимо дать огонь... А когда кто-то доложил ему по телефону, что одна из дивизий против ожидания так и не продвинулась, резко крикнул в телефон:

— Так передайте от моего имени этому вашему так называемому командиру дивизии, чтоб он шел в свой батальон и поднимал его в атаку, раз по-другому не умеет им руководить! Раз он по своему уровню может быть только батальонным командиром, так пусть и ведет батальон в бой!

Когда мы уже вышли садиться в машины, снова появился подполковник, начальник штаба корпуса. Оказывается, он за это время успел съездить вперед и докладывал теперь Москаленко, что командир корпуса находится в такой-то бригаде и просит передать командующему, что он обеспечивает сейчас там взятие впереди лежащего леса.

— Обеспечивает взятие,— повторил Москаленко.— Надо не взятие обеспечивать, а пройти через этот лес, в котором нет противника.

— Нет, товарищ командующий, разрешите доложить, противник там есть...

— Вы что, сами его наблюдали?

— Сам наблюдал.

— Что наблюдали?

— Сильный автоматный огонь.

— Сами?

— Сам.

— Передайте вашему командиру корпуса, чтобы он скорей прошел через этот лес. Чем позднее он к этому приступит, тем труднее ему это будет, тем дороже обойдется потеря времени. Поняли?

После этого мы поехали назад и, свернув с шоссе, по ухабистой проселочной дороге добрались до двухэтажного каменного дома, в котором теперь помещался командный пункт 95-го корпуса, того самого, в котором я был с утра. Неподалеку от дома какой-то боец, подвесив на заборе зайца, ловко свежевал его. За оградой

разложили костер и что-то варили. Издали были видны дымки разведенных в разных местах костров. Желудок вступал в свои права. Как это обычно водится, наступление, само собой, приостанавливалось до завтрашнего рассвета.

Я не раз успел убедиться, что в тех случаях, когда наступление не назначается специально ночью, а уж идет с самого утра и до ночи, ночью все равно, какие там ни будь приказы, солдаты, как правило, не воюют. И обычно утренние доклады о том, насколько части продвинулись за ночь, зависят не от того, насколько они действительно продвинулись, а гораздо в большей мере от добросовестности начальников, делающих эти доклады, от большей или меньшей меры их правдивости перед лицом вышестоящих.

Командира корпуса на командном пункте не было. Он уехал куда-то вперед.

— Вот черти,— сказал Москаленко,— все время ездят. Вперед или назад, но обязательно так, чтобы командующий на месте их не мог застать. Ну, докладывайте вы,— обратился он к полковнику, начальнику штаба.— Как, знаете обстановку?

— Знаю.

— Точно всю обстановку на данный момент знаете? — заметив в голосе полковника нерешительную интонацию, спросил Москаленко.

— Нет, точно не знаю.

— Значит, ничего вы не знаете,— сказал Москаленко не столько злым, сколько усталым голосом.— Поезжайте вперед и толкайте свои части. И чтоб я здесь не видел ни вас, ни вашего штаба. Передвигайте его вперед, двиньте вперед штаб корпуса, штабы дивизий и полков, чтобы все двигалось. Поезжайте.

Полковник забрал свой объемистый портфель и, чувствуя, что возражения ни к чему хорошему не приведут, сразу же откозыряв, уехал.

Кстати сказать, Москаленко обращался к подчиненным на «ты» редко и только в хорошие минуты. Чаще говорил на «вы», а когда сердился, всегда говорил на «вы». А Петров, наоборот, говоривший на «вы» в хорошие минуты, сердясь, обычно переходил на «ты».

Сегодня днем, будучи недалеко от Петрова, я видел, как он распекал того самого командира дивизии Дударева, у которого я был утром на командном пункте пра-

вее Зорау. Я не хотел вертеться перед глазами во время этого разговора и отошел подальше, но все-таки слышал его... Речь шла о том, что дивизионная артиллерия застряла в колонне, а сам Дударев находится не там, где, по мнению Петрова, ему нужно быть, а нужно ему быть гораздо ближе к переднему краю. Дударев возражал, и это рассердило Петрова, и он сразу перешел на «ты»:

— Немедленно поезжай вперед, и никаких разговоров! И сам организуй бой! Что это за командир дивизии, который тут дискутирует... Поезжай и воюй! Знай точно, где твои танки, где твои пушки, где твои солдаты, а не стой тут...

Я и до этого видел, как Петров раздражался и переходил на «ты», но на этот раз он особенно рассвирепел.

Отправив вперед полковника, Москаленко вдруг откинулся на спинку стула, задумался и как-то про себя, чуть заметно, усмехнулся. И в эту минуту я, во всяком случае, так мне кажется, вдруг понял одно обстоятельство, которое раньше не мог понять за всю эту поездку с ним.

До этого все его распоряжения — и чтобы штабы перемещались вперед, и чтобы батальон, несмотря на приказ своего прямого командира, сейчас же снимался с места и шел вперед, и другие такого же рода приказания, которые он все время горячо отдавал,— все это казалось мне каким-то не до конца продуманным.

Мне казалось, что, как опытный военный, он должен знать, что в конце-то концов, если штаб передвинется вперед еще на полкилометра, это не принесет такой уж большой пользы. И если командир батальона вопреки прежде полученному от прямого своего начальника приказу со старого перейдет на какой-то новый рубеж, это тоже не сыграет такой уж существенной роли...

А сейчас я вдруг понял: главные, влияющие на весь ход дела приказания Москаленко отдавал с командного и с наблюдательного пунктов, а уже отдав их и выехав вперед, он будоражил людей и подталкивал их в самом прямом смысле этого слова. Наверное, он знал, что батальон, который он снял с обороны во втором эшелоне, не дойдет сразу же до Лослау, а, передвинувшись вперед, остановится и будет ждать дальнейших приказов командира бригады. Наверное, он знал и то, что в конце концов не так уж важно, на полкилометра ближе или дальше окажется сегодня к ночи штаб 95-го корпуса.

Но при всем этом знании реальностей войны у него

в то же время была своя затаенная и вполне практическая цель: ему хотелось взбудоражить, расшевелить людей, чтобы они взволновались, чтобы они, в свою очередь, кого-то другого взбудоражили и подтолкнули вперед. Он не давал людям успокоиться на сделанном и повышал голос, разговаривая с ними, не только из-за своего темперамента, но и потому, что на данном этапе боя ему это казалось полезным и необходимым.

И вдруг, задумавшись и забыв, что на него кто-то может смотреть, он усмехнулся, должно быть, всему тому, что происходило во время его поездки и во что он неизменно вмешивался. Усмехнулся тому, что хотя, в общем, его приказы выполнялись, но все это была война и те или другие беспорядки, как всегда, были частью войны. И ему вдобавок к отдаче приказов приходилось предпринимать все те необходимые действенные меры, которые входят в понятие «толкать вперед». И нажимать, и кричать при этом на тех самых людей, которых он, наверно, наградит после окончания операции.

Из корпуса мы поехали прямо в штаб армии. Саперы уже в полной темноте строили через речку около Зорау еще один мост, уже не временный, а солидный, большей проходимости, и нам уже ночью пришлось еще раз постоять в пробке...

Запишу, чтоб не забыть, две забавные подробности армейского быта.

На последнем из командных пунктов, где мы были, я вдруг увидел солдата, одетого в ушанку, ватник и кирзовые сапоги. При этом на руки у него были натянуты белейшие лайковые перчатки, бросавшиеся в глаза на фоне всего остального наряда.

У запасливых артиллеристов на длинных лафетах что-нибудь обязательно приторочено. На одном лафете приторочена распластанная коровья туша, а на другом были перекинуты на ту и на другую сторону связанные за шеи гуси, целый выводок. Они висели низко и, отдав богу душу, жалостливо мели мертвыми лапками землю...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ

Записная книжка за 26 марта 1945 года.

Вчера я из-за сломавшегося «виллиса» проторчал весь день в Пщине, но все-таки постарался не потерять

его даром. Сделал сорок страниц записных книжек и засел за четвертый из своих чехословацких очерков — на этот раз о командире танкового батальона. Очерк не кончил, свалился спать. Дописывал сегодня с утра, но так и не кончил, решил все-таки ехать на фронт и в одиннадцатом часу зашел перед этим к начальнику штаба армии генералу Воробьеву. Он сказал, что вчера продолжалось продвижение, а сегодня с утра танки ворвались на железнодорожную станцию Лослау и ведут за нее бой.

Я вышел от Воробьева и уже было сел в машину, как вдруг подъехал «виллис» и из него вылез командующий воздушной армией генерал-лейтенант Жданов. Я думал сегодня проехать к летчикам на их передовой пункт наведения и, подойдя к Жданову, спросил, будет ли он там.

— Да, в течение дня поеду,— сказал Жданов.— Но сначала поеду к Еременко, он сейчас на командном пункте у Москаленко.

— Кто это, Еременко? — спросил я, подумав, что это, наверно, заместитель Жданова.

— Новый командующий фронтом,— сказал Жданов.

— Как «новый командующий фронтом»? — переспросил я.

— Новый командующий фронтом, вместо Петрова.

Я смотрел на него, пораженный этой новостью.

— Да, да,— сказал он.— Сегодня в шесть утра подняли меня срочной депешей от Еременко: «Вступаю в обязанности командующего Четвертым Украинским фронтом. Немедленно явитесь ко мне. Еременко». И все! Поехал в Кенты, в штаб фронта, но там его не было, сказали, что он сейчас у Москаленко. Сейчас пойду уточню у Воробьева.

— Товарищ генерал, задержитесь на минуту, расскажите, как все это произошло,— попросил я, пораженный стремительностью этой перемены.

— Не знаю, как и что, ничего ровным счетом не знаю,— сказал Жданов.

— Грустно,— сказал я.

— Да,— как мне показалось, искренне согласился Жданов, который, насколько я знал, служил с Петровым еще давно, в Средней Азии и любил его.

— А в чем дело? — спросил я.

— Не знаю. Даже не было обычной формулы: «Сдаю фронт. Петров. Принимаю фронт. Еременко». Просто:

«Вступаю в обязанности командующего Четвертым Украинским фронтом... Еременко». И все. Не знаю, в чем дело. Может быть, всему виной предыдущая неудачная операция. Но она была не такая уж катастрофически неудачная. Не знаю. Жалко старика,— сказал Жданов.

Он так же, как и многие другие, называл Петрова стариком не столько за возраст, сколько за какую-то особенную повадку Ивана Ефимовича держать себя с людьми, которая заставляла говорить о нем «старик». На самом деле крепкому высокому и молодцеватому Жданову было тоже пятьдесят, они были однолетки с Петровым.

— Подождите меня здесь,— сказал он.— Я сейчас уточню у Воробьева. И если вы тоже к Москаленко, поедем вместе.

Я стоял у «виллиса» и ждал Жданова. Было какое-то грустное, тяжелое чувство. Прежде всего было жаль Петрова. Жаль очень. Мне казалось, что ему, как это часто бывает на войне, просто не повезло.

Не знаю, не мне судить о масштабах его военных талантов, но он, во всяком случае, был хорошим, опытным военным и большой души человеком. И этот удар должен был поразить его в самое сердце.

Минутами, когда я наблюдал его здесь, на Четвертом Украинском фронте, мне самому казалось, что у него выходит что-то не так, как нужно, и выходит не так не оттого, что он не талантлив или не умен, а оттого, что он недостаточно резок, жесток и упрям в самом прямом смысле этих слов для того, чтобы действовать в соответствии с жесткими обстоятельствами войны.

Мне иногда казалось, что он излишне мягко разговаривает с офицерами в такие минуты, когда они этого не заслуживают, слишком мягко и благородно относится к ним, взывая только к их рассудку и чувствам, не проявляя жесткой беспощадности и требовательности, как это делают другие.

Казалось, что Петров относится к некоторым из подчиненных ему офицеров и генералов так, как должен был бы относиться к идеальным офицерам и генералам, которые, может быть, воспитаются у нас через десять лет после войны на основе всего ее опыта.

А между тем многие из людей, с которыми он разговаривал, которыми командовал, были в значительной мере продуктом военного времени, и с ними, наверное,

надо было обращаться, исходя из реального, трудного бытия четвертого года войны, а не по идеальным нормам отношения к идеальному офицеру и подчиненному, как это делал Петров. И когда он это делал, то хотя подчиненные его за это и любили, но в то же время в ряде случаев за это же самое меньше уважали, чем он того заслуживал. Так мне, по крайней мере, несколько раз казалось.

И быть может, его неудачи — конечно, не все, потому что кто бы и что бы ни говорил, а на войне огромную роль играет военное счастье,— но какую-то часть его неудач обусловливал характер его отношения к подчиненным. Обусловливал и неудачи, и даже меньший темп продвижения войск, чем тот, которого Петров мог бы добиться, действуя по-другому.

Может быть, и так, не знаю...

Однако независимо от того, как сам Петров кончит эту войну,— преуспеет он на ней или нет, все равно, когда я буду потом писать роман о войне, туда в качестве фигуры командующего фронтом влезет со своими потрохами не кто-то, а именно Петров, верней, человек, похожий на него, ибо независимо от его неудач именно он мне по-человечески нравится. В нем, как мне кажется, присутствует сохранившееся от старого воспитания редкое сочетание какой-то ласковой грубости и простоты с вежливостью и чувством такта; и все это при большой прямоте, принципиальности, преданности делу, самоотверженности, живущих в нем, как в коммунисте, в лучшем смысле этого слова. А плюс ко всему у него какая-то немножко мешковатая, спокойная личная храбрость, которая для меня бесконечно обаятельна...

Конечно, я записал сейчас гораздо больше, чем успел подумать, пока несколько минут не было Жданова. Три четверти всего этого надумал уже потом, в течение всего дня.

Жданов вышел, сказав, что Еременко находится там же, где и Москаленко.

Я развернул «виллис» и поехал вслед за Ждановым. Но, как водится на забитых машинами дорогах, мы вскоре потеряли друг друга, и я его так больше и не видел.

По моим сведениям, наблюдательный пункт Москаленко был в Бродеке, но, уже подъезжая туда, свернув с шоссе на проселочную, мы залезли в непроходимую

грязь, и, пока вытаскивали машину, меня взяло сомнение: Бродек был уже близко, а артиллерийская стрельба слышалась где-то очень далеко; если Москаленко и был с утра в Бродеке, то сейчас уже навряд ли здесь. Он любит выбирать свои наблюдательные пункты поближе к передовой. Мы вернулись на шоссе и на перекрестке увидели тянувших связь бойцов. Я подозвал командовавшего связистами капитана и узнал, что действительно наблюдательный пункт Москаленко не то уже перешел, не то переходит вперед, в деревню Нидер-Сверкляны, на полдороге между Зорау и Лослау, и, кажется, Москаленко уже поехал туда.

Мы поехали в эти Нидер-Сверкляны. В деревне толпились связисты, вдоль домов тянулись провода, а у кирпичного здания, в окна которого уже было протянуто несколько проводов связи, на мягком зеленом плюшевом диване снаружи, у стены, на солнышке, видимо, в ожидании начальства, пригревшись, спал какой-то не то связист, не то ординарец. Словом, все приметы наблюдательного или передового командного пункта были налицо.

У нашего водителя Миши спустил скат, и он, сверхчеловечески ругаясь, выковыривал засевший туда патрон. Пока он возился с этим, мы с Альпертом узнали, что это действительно наблюдательный пункт, но Москаленко еще не прибыл сюда, заехал к кому-то по дороге и должен вот-вот быть.

Зная, что на свете нет ничего более неточного, чем слова «вот-вот», а уж тем более на войне, я предложил Альперту для начала поехать на наблюдательный пункт 95-го корпуса, к Мельникову; по моим сведениям, он помещался километра на четыре левее основного шоссе, шедшего на Лослау.

По дороге туда видим первую попавшуюся нам на глаза за эти дни немецкую технику — несколько танков и брошенные на дороге орудия. По обочинам и недалеко от них лежат убитые немцы — не слишком много, но и не слишком мало. То есть для человека, который представляет себе современную войну как Бородинское сражение, конечно, мало. А мне показалось, что много. И я подумал, что немцы вчера и сегодня понесли большие потери.

Все, кто до нас ехал по этой дороге, как всегда, конечно, не торопились убирать валявшиеся на дороге тру-

пы, а просто переезжали через них. Некоторые трупы до неузнаваемости расплющены колесами машин.

За каким-то «Обером» — а «Оберов» здесь такое же неисчислимое количество, как и «Нидеров», потому что все деревни называются сначала «Обер» такая-то, а потом «Нидер» такая-то, а потом снова «Обер», а потом снова «Нидер», и так далее,— словом, за одним из «Оберов» сворачиваем влево, на деревню Поломя. Там должен быть наблюдательный пункт Мельникова. Дорога здесь изрядно избита. Последние километры чувствуется, что наступление прокатилось здесь всего несколько часов назад. Немецкие трупы, убитые лошади с еще не запекшейся до конца кровью. Еще догорающий немецкий бронетранспортер. Наша самоходка, разорванная на три части и тоже еще дымящаяся.

Подъезжая к первым домам деревни, понимаю по звукам боя, что мы втягиваемся в какой-то «язык». Теперь стреляют не только спереди и слева, но и почти что сзади. В деревне дорога издырявлена воронками. На перекрестке стоит дымящаяся тридцатьчетверка из Чехословацкой бригады. Слева от дороги лежат наши убитые, накрытые плащ-палаткой, и ничем не накрытые окровавленные трупы немцев. В палисадничке у дороги кто-то стонет. Его перевязывают.

Останавливаемся перед сараем, возле которого стоит капитан.

— Где генерал Мельников?

— Не знаю,— отвечает он.— А вы не знаете, где штаб 95-го корпуса?

— А что? — спрашиваю я.

— Да мне нужно туда отвести двадцать пленных.

Он кивает на сарай, из ворот которого выглядывают измазанные перепуганные немцы. Я указываю по карте, где штаб корпуса. Он сзади нас километров за восемь.

— Ох ты,— досадует капитан.— Далеко как! А мне их туда вести надо.

Он еще раз повторяет: «Далеко!», но думаю, что все-таки, несмотря на это опасное для немцев замечание, он доведет их.

Поломя оказывается чудовищно длинной деревней. Мы проезжаем ее почти всю и на западной окраине чувствуем себя уже где-то недалеко от острия вдавшегося в немецкое расположение клина. Теперь немцы стреляют с трех сторон. Связисты, тянущие провода и знающие

обычно больше других, говорят, что командира корпуса надо искать еще дальше, у церкви.

Церковь на пригорке. Она старая, деревянная, напротив нее трехэтажный серый дом, про который нам сказали, что там НП командира корпуса. На доме вывеска, на ней написано, что здесь помещалась местная организация национал-социалистской партии. На первом этаже никого нет. На втором тоже. Я уже начинаю думать, что здесь вообще никого нет, как вдруг замечаю тянущийся вверх по лестнице провод связи. Наверное, наблюдательный пункт там, наверху. Мы с Альпертом лезем на верхний этаж, потом на чердак. На чердаке провода связи обрезаны. Должно быть, здесь ранее действительно помещался наблюдательный пункт, но не наш, а немецкий, и эти обрезанные провода — немецкие.

Спускаемся вниз. Как нам сказали, деревня занята всего каких-нибудь два-три часа тому назад. В первом этаже дома, в служебном холле, из двух кожаных кресел уже вырезано по доброму куску кожи. И это подтверждает, что деревня взята недавно. Если бы она была взята вчера, то с этих бесхозных кресел вся кожа была бы уже срезана вчистую.

Выйдя на улицу, видим во дворе церкви чей-то «виллис», которого раньше не было. Находим Мельникова в полуподвале поповского дома. Он сидит там вместе с Дударевым, командиром 351-й дивизии, которого я уже дважды мельком видел позавчера. Оказывается, мы попали не на НП корпуса, а на НП этой дивизии.

Мельников выбрит, застегнут на все пуговицы, в чистеньком желтом пальто с туго затянутым поясом. Он точно такой же, как в первый день наступления: розовый, основательный, аккуратный, словно только что вышедший из бани и мечтающий выпить залпом три стакана крепкого чая.

Дударев, напротив, замороченный, потный, обросший трехдневной, черной, как голенище, щетиной.

Они сидят с двух сторон стола над одной картой и, должно быть, уже не в первый раз рассматривают ее.

Здороваюсь с Мельниковым и представляюсь Дудареву.

— Очень приятно,— говорит он, сняв очки.— Я очень люблю некоторые ваши произведения. «Землянку» очень люблю.

Я с сожалением признаюсь, что «Землянка» принадлежит Суркову, хотя и очень нравится мне самому.

— Нет, «Землянка» мне тоже нравится... Нет... я не то хотел сказать. Я это... как его?.. Вылетело из головы. Ну, вы же знаете, что я хочу сказать... Очень люблю это ваше произведение.

— Верно, «Жди меня»,— говорю я.

— Вот именно! «Жди меня»,— говорит он.— «Жди меня, и я вернусь...» Вот-вот, именно это.

Кроме командира корпуса, у Дударева сидит еще несколько человек корпусного начальства. Кажется, ему не по вкусу, что у него над душой столько народу. Он очень устал, а дело, в общем, идет, и он его только что толкал, двигал, выезжал в полки, вернулся оттуда... Сейчас он немного отдыхает, а потом — он уже предвидит это — ему снова надо будет ехать и снова толкать и двигать.

И в эту короткую паузу он, видимо, вполне сознательно хочет говорить не о действиях своей дивизии, а об искусстве.

— Вот именно на Халхин-Голе,— говорит он, когда я напоминаю ему, что мы одновременно с ним были на Халхин-Голе.— Я там читал ваши стихи насчет танков. У меня и ансамбль там был. Очень красиво их исполнял один из ансамбля... Жуков приезжал, тоже слушал... Очень красиво исполнял...

Он задумывается.

— Вы уж, пожалуйста... Я даже хотел письмо написать. Но вы же сами лично поедете в Москву. Так скажите там, что за безобразие, почему нам все с бомбежкой картины присылают? Что за черт! Ну, понимаете, сил нет! Пятый раз присылают — и все с бомбежкой. Вот слышите? А? Земля дрожит!

Рядом стреляют наши пушки, а подальше рвутся немецкие снаряды.

— Ну вот,— говорит Дударев.— Наслушаешься этого, а потом опять бомбежкой в кино угощают. Да черт их дери! Пусть они присылают все это в тыл, где этого не видят. А тут дайте нам какую-нибудь человеческую картину. Тоже ж мы люди!

— «Серенаду Солнечной долины» мы смотрели,— говорит начальник политотдела дивизии, маленький курносый человек с детским удивленным выражением лица.— Прелестная картина. Верно, товарищ генерал?

— Ну конечно! Прекрасная картина. Может быть, и не совсем прекрасная. Но по настоящей ситуации хорошая. Вот так им и передайте. Генерал Дударев для вас, может быть, и ничего не значит, но все-таки, как бомбежку на вашем экране слышит, так уходит и больше не смотрит! И считает, что фронтовики с ним согласны. Что ж, в самом деле,— о тыле вы думаете, тылу объясняете, какая она такая, война! А нам? Какой он такой, мир — мы уже о нем забыли,— не хотите объяснить? А надо объяснять, какой он из себя мир, без войны когда он был!

Я отвечаю, что кинопрокат, посылающий на фронт не то, что нужно, как видно, неправильно понимает кинопропаганду.

— Вот именно. Пропаганду! — сердится Дударев.— Меня уже поздно пропагандировать. Вы им это скажите.

Должно быть, тема эта занимает его уже давно и серьезно.

— Или вот еще,— продолжает он.— Был я на Западном фронте. Так вот там журнал «Смех» издавался. Кто-то там карикатуру поместил. Не помню, что было под ней написано, а изображены были повешенные. Какой же тут смех, когда людей вешают? Я им написал письмо, что нечего тут смеяться. Издавайте тогда журнал «Трагедия», будем знать, что читаем!

Этот неожиданный для меня разговор перемежается обменом деловыми соображениями между Дударевым и командиром корпуса.

— Неважно сегодня идете, плохо...— говорит Мельников, глядя на карту.

— Почему плохо? — ворчливо возражает Дударев.— Неплохо идем!

— Нет, плохо, медленно.

— Почему медленно? Прошли за день четыре-пять километров и еще пройдем. Ничего не медленно,— продолжает возражать Дударев все тем же ворчливым тоном.

— И все же надо нажать. Неважно действуете!

— Почему неважно? Тринадцать орудий взяли за утро. Вот, пожалуйста!..

Дударев с торжеством кивает на задрожавшее в эту минуту оконное стекло.

— Вот из немецких бьем, из захваченных 105-мил-

лиметровых, на предельной дальности — и по немцам! А вы говорите, плохо...

— Ну ладно, кончайте разговор, Дударев. Давай нажимай!

— Я нажимаю,— не сдается Дударев, видимо привыкший противоречить начальству.— Вот я подтянул артиллерию и нажал. Сейчас пехота пошла. Артиллерию опять подтяну и опять нажму. А пехоте что ж одной, без артиллерии? Ведь нецелесообразно. Что же нахрапом лезть? Надо сперва подтянуть, потом бить, а потом идти. А потом опять бить и опять идти... Вот и будет все хорошо.

— Ну, давайте мне пункты для бомбежки,— приказывает командир корпуса, прекращая этот разговор.

— Пожалуйста!

Дударев быстро показывает несколько пунктов на карте, которую командир корпуса тотчас же передает начальнику штаба, чтобы тот связался с авиаторами. В это время Дудареву звонят из полка.

— Так,— говорит он.— Хорошо!.. Молодцы!.. Ей-богу молодцы! — И кладет трубку.

— Еще три 105-миллиметровых орудия в полной сохранности захватили. За день шестнадцать, значит. А вы говорите, плохо!

Снова звонит телефон.

— Огонь дать? — спрашивает Дударев.— Куда? По развилке дорог? А что? Отходят?.. Сейчас дадим.

Он с картой в руках поворачивается к начальнику артиллерии.

— Вот здесь у немца орудия скопились на конной тяге. Действуйте по этому перекрестку...

Еще один звонок по телефону. Начальник штаба полка доносит, что полк выдвигается вперед на Вильхву.

— Пусть в лобовые не ходит,— говорит Мельников.— Позвоните, прикажите им левей обходить.

— Не надо звонить,— говорит Дударев.— Они и так нацелены с самого начала левее.

Входит капитан и докладывает, что взяты пленные из новой немецкой дивизии.

— Конечно,— говорит Дударев,— подбрасывают силы. Этого надо было ожидать. Надо артиллерию подтянуть.

Через пять минут выясняется, что речь идет не о показаниях пленного, а о документах, взятых на убитом.

— Ну, тогда это еще не факт, что новая дивизия,— равнодушно говорит Мельников.— Может быть, просто кто-нибудь из вернувшихся в строй раненых. Немцы теперь всех подряд хватают, кто близко к фронту попал, и сразу на передовую. Затыкают дырки всем, чем способны. Такие номера дивизий могут оказаться, каких давно и на свете нет.

Мельников поднимается, чтобы ехать в соседнюю дивизию. Я тоже поднимаюсь. Мне сказали, что на окраине деревни находится с тремя своими танками командир Чехословацкой танковой бригады. И мне его было бы очень кстати повидать.

— Я еще заеду к вам,— говорю я Дудареву.

— Хорошо.

Я выхожу на улицу. Тут же, на задворках, за церковью, наши артиллеристы действительно лупят из немецких 105-миллиметровых, выкрашенных желтой краской орудий.

— А куда они бьют? — спрашиваю я у начальника политотдела.

— Наверно, по указанным целям,— говорит он, но все-таки, усомнившись, спрашивает младшего лейтенанта: — Куда вы бьете? Не по своим?

— Нет, нам цель дали.

— Кто дал?

— Начальник штаба артиллерии.

— А куда именно вы бьете?

Лейтенант называет пункт, по которому он бьет, и добавляет, что пушки бьют почти на предельной дальности — восемь километров.

— Ну, если на восемь километров бьете,— говорит начальник политотдела,— тогда наших там, безусловно, еще нет. Как со снарядами?

— Немец бросил много снарядов.

— Тогда бейте.

Мы с Альпертом едем в самый конец деревни к танкистам.

— А у нас индюшка,— с торжеством говорит водитель.

— Какая индюшка?

— Голову ей свернул и в мешок положил. Завтра пожарим,— радуется он.

Что на это ответить? Бедная индюшка уже отдала богу душу и не в состоянии посоветовать своим братьям

и сестрам «по перу» не попадаться на глаза распустившимся на трофейных хлебах водителям.

У самого последнего дома деревни встречаем чехословацкого танкиста со свежезабинтованной, подвязанной к шее рукой.

Спрашиваем его:

— Где командир бригады?

— Был тут,— говорит он с легким акцентом.— Но уже пять минут уехал. Может быть, вы его догоните.

— А где штаб вашей бригады? — спрашиваю я.

— Километров за шесть в тыл отсюда.

Ехать в штаб бригады, назад, нет никакого смысла.

Выехав из деревни, проезжаем полкилометра. Дорога идет по узкой лощине. Бой слышится теперь с двух сторон. С одной примерно в километре, а с другой, судя по звукам, автоматной и пулеметной стрельбе, еще ближе.

Выскакиваем на гребень холма. Впереди плохо видно. Примерно в километре горят дома, над ними стоит сплошной дым, и к этому дыму подходят три танка. Должно быть, это и есть танки уехавшего туда командира бригады.

Я злюсь на себя, что не добрался до этого командира бригады на полчаса раньше, и с досады готов ехать вслед за танками. Но Альперт с решимостью человека смелого и именно поэтому не боящегося проявить там, где, по его мнению, следует, осторожность, настаивает на том, чтобы мы не ехали.

Поспорив с полминуты, я после иронического замечания Альперта, что командир танковой бригады, очевидно, случайно оставил свой «виллис» здесь, а сам уехал вперед не на «виллисе», а на танке, соглашаюсь, что Альперт прав, и мы поворачиваем обратно мимо каких-то развалин и лежащих около них убитых немцев.

Когда я возвращаюсь, Дударев кончает бриться. Он одновременно добривается, дает разные повседневные, не слишком существенные указания и разговаривает со мной.

Разговор почему-то заходит об остающихся и не остающихся жителях.

— Среди остающихся тоже есть сволочи,— говорит Дударев.— Фольксдойче! Один такой сегодня утром убил моего начальника связи. Шел мимо дома, а тот из винтовки с чердака — и наповал. Ну, мы его вытащили, и я сказал, чтобы расстреляли к черту.

— А вы его допрашивали?

— Да, несколько слов сказал с ним. Он признался, что из немецкой полиции. Да и форма на нем была полицейская, и на рукаве повязка со свастикой. А долго разговаривать мне с ним было некогда. Расстреляли его.

— А кто у него был там в доме, из семьи?

— Никого из семьи. Только одна жена.

— А что вы с ней сделали? Надо было ее расстрелять,— говорю я.

— Почему?

— Для устрашения, чтобы больше не повторялись такие случаи убийства офицеров.

— Нет, почему же расстрелять,— не соглашается Дударев.— Ведь она женщина. Мы с женщинами не воюем.

— Это, конечно, так,— говорю я.— Но, во всяком случае, надо сделать как-то, чтобы не повторялись такие убийства.

— Нет, все-таки она женщина. По-моему, вы это неверно,— говорит Дударев.— Вот дом я сгоряча хотел сжечь. Даже было приказал, чтобы сожгли, а потом отдумал. Все-таки территория польская, и так мало во всем этом селе целых домов осталось, кому-нибудь еще пригодится жить! Что ж его жечь? Неразумно. А что до его жены, так ее оставили. Передали контрразведке, пусть с ней разберется. А стрелять женщин я никому не позволю. Это вы напрасно сказали,— укоризненно говорит мне Дударев. И за его словами я чувствую человека, хотя и ожесточенного войной, но при этом твердо убежденного, что женщин нельзя расстреливать ни при каких обстоятельствах...

Спустя тридцать лет не всякий раз до конца влезешь в собственную душу, не всегда поймешь себя тогдашнего.

Перечитывая записанное тогда, захотелось поставить отточие и пропустить этот разговор с генералом Дударевым. Мне трудно сейчас поверить, что я мог сказать то, что я сказал тогда, что жену этого убийцы надо было тоже расстрелять для устрашения, чтобы таких убийств не повторялось.

Даже пусть это была всего-навсего сказанная в запале фраза, пусть я этого никогда бы не сделал в дей-

ствительности, но все-таки я ее сказал, эту фразу. А командир дивизии пристыдил меня за нее. Для него была начисто исключена возможность такой кары по отношению к женщине, хотя бы и жене убийцы. А для меня тогда, в сорок пятом году, выходит, нет?

Что во мне заговорило тогда, в ту минуту? Что до такой степени ожесточило? Может быть, вдруг вспыхнувшее воспоминание о Майданеке и о той незабываемой страшной бабе-эсэсовке, надзирательнице, убийце, которую я там допрашивал? Может быть, я вдруг подумал, что жена этого фашиста так же, как и ее муж, способна стать убийцей, что ж ее жалеть?

Не знаю сейчас, как ответить самому себе на все эти вопросы. Но знаю, что так это было. Было со мной и бывало с другими людьми, отнюдь не жестокими от природы.

Горжусь Дударевым и его ответом, стыжусь своих слов, но оставляю их такими, какими они были тогда...

Возвращаюсь к записной книжке.

...Покончив с бритьем, Дударев долго и шумно фыркает, моется.

В это время сообщают, что на НП корпуса находится Москаленко, а этот НП в каких-нибудь пятистах метрах отсюда. Мне хочется повидать Москаленко и спросить его, как идут дела в масштабах армии, и я прошу Альперта съездить туда, проверить, действительно ли Москаленко там.

Альперт уходит, а Дударев обращается ко мне, предлагает мне на скорую руку пообедать.

— То есть, вернее, позавтракать. А хотя, в сущности, все же пообедать, поскольку обеда сегодня не предвидится!

Отказаться неудобно, хотя это и нескладно вышло по отношению к только что уехавшему Альперту, но что делать.

В ожидании обеда Дударев вдруг начинает ругать барахольщиков.

— Особенно некоторые «боги войны» этим отличаются, будь они неладны. Пехотинец, который впереди идет, он с собою чемодан брошенного барахла не заберет. Не пойдет — в одной руке автомат, а в другой чемодан. Что он: ну, если повезет, поест до отвала, ну, что-нибудь в свой сидор запихнет. Кстати, чаще всего то самое, что завтра же и выбросит, дальше не понесет! Ну, ка-

кую-нибудь занавеску на портянки себе порвет и тут же себе ноги подвернет. Ну, в карман полкилограмма сахара насыплет и потом его вместе с сором есть будет. Я за это никогда ничего никому не скажу. А артиллеристы, те в брошенный населенный пункт заходят после пехоты и раньше начальства. Вот этим некоторые и пользуются. Пехотинец с собой чемодана не возьмет, а этот или на лафет приторочит, или в машину сунет — и все в порядке. Наблюдал таких, которые этим отличаются. А когда увидел у одного такого кольцо золотое на пальце, содрал его с пальца.— Дударев, оттянув рукав, сжимает огромный свой кулачище.— Вот этим кулаком сплющил его и кинул куда подальше. Жалко, конечно,— золото! Но что это означает — кольцо на пальце? С кого оно снято? Потому что золотое кольцо — это один раз на тысячу, чтобы кто-нибудь в брошенном доме прямо на столе оставил!

По телефону звонит начальник штаба дивизии. Речь идет о каком-то танковом десанте.

Дударев требует, чтобы десант был посажен на броню без всякого промедления. Я спрашиваю, что это за десант.

Оказывается, в мое отсутствие, пока я искал командира Чехословацкой бригады, пришло сообщение, что танки уже прорвались на западную окраину Лослау, и Москаленко приказал посадить на эти танки десантников из дивизии Дударева и с темнотой прорваться еще дальше к Одеру.

— Нет, сегодня до Одера навряд ли дойдем,— говорит Дударев и показывает по карте расстояние, еще отделяющее нас от Одера.— Вот до сих пор сегодня, наверно, дойдем.

В его словах чувствуются хладнокровие и привычка к тому, что на войне не все так получается, как хочется и как первоначально записывается в планах.

— Всеми силами не дойдем, а батальон сядет на танки и прорвется.

В двух котелках приносят еду, и мы наскоро перекусываем.

— Вот, черт его знает, почему-то нам из тыла рыбу не присылают. Прислали б хоть какую-нибудь селедку, чтобы мы об особенностях Советского государства не забывали. Селедка у нас хорошая, а мы о ней уже забыли. Я про икру не говорю! Селедку! Как раз на моем

участке однажды венгерский командующий, генерал-полковник Миклош Бела, оказался, так он, пока у нас в дивизии сидел, все интересовался, не намерены ли мы венгров присоединить или оккупировать. А я ему и говорю: да что вы, нет у нас такой цели! Нам дай бог над самими собой поцарствовать как следует... В самом деле, зачем нам ваша земля? Уголь у нас есть, нефть есть, железо есть, алюминий есть... Каучука, правда, нет, так мы искусственный научились делать. А вдобавок еще икра наша, русская, говорю ему в заключение. «Да,— говорит,— прекрасная икра»,— даже облизнулся. Ему расхвастался, а сами уже полгода селедки не видим. Даже написать об этом куда-нибудь захотел!

В конце пятиминутного обеда опять звонок, Дударев подходит, и хотя я, слушая на фронте телефонные разговоры, часто по первым же словам, по интонациям, по разговорчивости или молчаливости догадываюсь, откуда звонят человеку, снизу или сверху, и если сверху, то какой именно начальник, на этот раз на протяжении всего разговора так и не могу понять, кто говорит с Дударевым. Он разговаривает своим обычным независимым тоном, голос его совершенно не меняется.

— Так точно, Дударев. Никак нет. Почему плохо? Нет, неплохо воюем. Шестнадцать орудий взяли. В полной исправности. И прошли пять километров... Да, буду двигаться вперед. С утра двигал. Сейчас дообедаю и опять двигать буду. Есть. Ну, что ж Еременко, моя дивизия свою задачу выполняет... Есть. Есть, буду знать!.. Есть...— повторяет он. Видимо, ему хочется как можно скорее положить трубку.— Есть... понимаю... есть!

Положив трубку, он садится за стол, отправляет в рот последний кусок котлеты, одним махом проглатывает стакан компота и, уже вставая, говорит:

— Москаленко звонил. Новый командующий фронтом, оказывается, теперь Еременко. Говорит: «Еременко тебе покажет!» Ну а что он мне покажет, если все идет нормально?

В его голосе ни тени страха или волнения.

— До свидания, увидимся.

— Само собой...

Я ухожу от Дударева и, встретив Альперта, еду с ним на НП корпуса, где, как удостоверился Альперт, действительно находится Москаленко.

Москаленко сидит на НП вместе с Епишевым и на-

чальником штаба 95-го корпуса, спокойным украинцем полковником Шубой. Я здороваюсь.

— А вы знаете, что ваш приятель-то уезжает? — говорит мне Москаленко.

По своему содержанию фраза звучит иронически, но в тоне, которым она сказана, иронии нет.

— Кого вы подразумеваете? — спрашиваю я.

— Петрова.

— Да, я знаю, что он уезжает,— говорю я.

— Еременко теперь.

Я молчу.

— Да,— после паузы говорит Москаленко, который, как мне в последнее время казалось, был во многом не согласен с Петровым, в душе винил его за неудачу предыдущего наступления, и хотя и отдавал ему должное как человеку, но был недоволен им как командующим фронтом.— Неудачно у нас выходит, неудачно! Посреди наступления все меняется. Уже все в одном направлении разработали, а теперь новые планы появятся, новые направления... Неудачно! — в третий раз повторяет он.— Не вовремя! — И, поворачиваясь к полковнику Шубе, переходя с меланхолического тона на недовольный, говорит: — Все-таки мало вы сегодня прошли.

— У нас трудный участок,— спокойно отвечает Шуба.

— Это верно,— соглашается Москаленко.— Участок трудный, без дорог. Хотя вы, конечно, не моргали, а чужие дороги заняли своей артиллерией — и у правого, и у левого соседа,— так что в смысле дорог у вас с ними так на так вышло. Хотя участок, верно, трудный.

Он спрашивает, когда в корпусе намерены закончить посадку десанта на танки. Шуба докладывает.

— Учтите,— говорит Москаленко,— пока что вам до Одера ближе, чем соседям. Посмотрите на карту. Видите, как он сам навстречу вам изгибается, подходит? Вы должны первыми дойти. А идете все-таки плохо... Вот Бондарев свой корпус за ночь перебросил с одного участка на другой, а уже больше вашего сегодня занял. И это после ночного марша... А ну-ка, вызовите мне авиаторов.

Ему вызывают авиаторов, но слышимость плохая. Тогда он начинает кричать, чтобы ему дублировали.

— Дублируйте... Девушка, девушка... Ты меня слышишь? — почти жалобно взывает он.— Передавай. Вызываю авиацию.

Он звонит назад, в глубокий тыл, а пункты, которые он отмечает на карте, подчеркивая их карандашом, совсем рядом с деревней Поломя, где он сидит.

— Передавай,— говорит он,— и повторяй!

Девушка передает и повторяет ему заковыристые польские и немецкие названия деревень.

— Передавай и дублируй, чтобы штурмовики еще один мощный удар нанесли до вечера...— Он называет серию соседних с Поломя пунктов.— А теперь так,— положив трубку, он поворачивается к начальнику штаба корпуса.— Есть сведения, и вы обязаны их знать, что немцами переброшена сюда 8-я танковая. Двумя артиллерийскими дивизионами займите оборону к северо-востоку от Лослау. Организуйте там противотанковый район и поглубже прикройтесь вдоль дороги.

После этого он начинает звонить в дивизию, которой незадолго до этого придали Чехословацкую танковую бригаду.

— Что это у вас, Савельев (Савельев — условный позывной командира дивизии)? Где у вас чехи? Один батальон в деревне стоит. А почему он до сих пор стоит, а не идет? А второй где? А почему вы плохо используете танки? Или вы используйте танки как следует быть, или я у вас их немедленно отберу за безграмотное использование. И будете действовать одной грудью. А впереди пехоты пойдете сами... Кстати, где вы сами? Уточните мне обстановку.

Его собеседник, видимо, докладывает обстановку неточно. Москаленко, обернувшись к Епишеву и прикрывая трубку рукой, говорит:

— Чувствую, что сидит здесь, через три дома... Где вы сидите?.. Это я знаю, что вы сидите у себя на НП. А где ваш НП? Где впереди? Ах, в Поломя? Где, на какой окраине? Я хочу к вам приехать. На восточной? Так вы же сидите в полутора километрах сзади меня, а ваше место впереди...

На этом кончается его разговор с командиром дивизии, и он приказывает немедленно вызвать командира корпуса, в который входит эта дивизия, очевидно, для крупного разговора.

— Вот как иногда бесстыдно очки втирают! — гово-

рит Москаленко, покусывая тонкие губы и задумчиво глядя перед собой.

Я спрашиваю, занят ли Лослау.

— Донесли, что занят. А что? Хотите ехать?

Я говорю, что попробую.

— Попробуйте.

По дороге на Лослау видим еще несколько разбитых немецких пушек. Потом вдруг слева от дороги на большом заболоченном лугу, дочерна изрытом «катюшами», густо лежат несколько десятков трупов немцев. Должно быть, немцы бежали, когда их накрыли «катюши». Трупы лежат и дальше вдоль дороги, но уже не так густо. Вообще сегодня по ряду малых и больших признаков чувствуется, что наступление, несмотря на медленное продвижение, идет удачнее, чем в предыдущие дни. Именно сегодня немцам нанесены тяжелые потери.

Впереди, в Лослау, сильно стреляют.

До города остается меньше километра. Мы останавливаемся на возвышенности. Дорога спускается в глубокую лощину, а на другом конце этой лощины, слегка поднимаясь в гору, стоит Лослау.

Перед самой железнодорожной насыпью около Лослау видна залегшая, окапывающаяся пехота. Это зрелище меня немножко удивляет. Но впереди на дороге тихо, и мы уже решаем ехать, когда выскочивший откуда-то из-за дома капитан останавливает наш «виллис».

— Пока подождите, не ездите,— говорит он.— Весь этот участок сильно простреливают. Только что был большой артналет... Видите, пехота залегла. Подождите до темноты, уже недолго.

— А в самом Лослау есть пехота?

— Не знаю,— говорит он.— Наверно, есть. Танки уже часа четыре как прошли туда.

Мы стоим в нерешительности. Справа от нас две батареи 76-миллиметровых пушек бьют куда-то севернее Лослау. А немецкая артиллерия действительно, как нас и предупреждали, начинает бить по ведущей в город дороге. Видно, как на западную окраину города с визгом один за другим заходят наши Илы. Летчики пикируют, пуская в ход эрэсы, и под крыльями у них вспыхивают огненные пучки.

Постояв еще минут десять и не решившись ехать сегодня дальше к Лослау, мы поворачиваем назад.

Недалеко от дороги, не замеченная нами раньше, стоит обгоревшая тридцатьчетверка. На ее изуродованных гусеницах сидят три пехотинца. Двое слушают, а третий играет на маленькой трофейной гармошке «На позицию девушка провожала бойца»...

Проезжаем несколько километров. Темнеет. Остановка. Лопнула вторая за день камера — залез гвоздь. При дороге высится разбитый снарядами фольварк. Заходим в него. Там все перевернуто. По крайней мере, десять или двенадцать снарядов попало в этот дом. Должно быть, там сидели немцы — у окна среди обломков валяются немецкие пулеметные ленты...

В ста метрах от фольварка, у самой дороги, воронка. Около нее лежат окровавленный ботинок, окровавленный кусок плащ-палатки и исковерканный котелок — все, что осталось от человека. А рядом, в двух шагах, насыпан маленький свежий холмик. В головах воткнут столбик, и на нем в большую палисандровую раму, должно быть взятую из фольварка, вставлен белый картон, оборотная сторона какой-то литографии с надписью от руки:

КАСАТКИН — СЕРЖАНТ
БЕЛЯКОВ — СЕРЖАНТ
КОНДРАТЕНКО — ЕФРЕЙТОР
БРОДИЙ — КРАСНОАРМЕЕЦ
Погибли 26.III. 1945 года

Я стою у могилы и думаю об этом мгновенном конце четырех человеческих жизней. Они брали этот фольварк, по ним стреляли из минометов, около них разорвалась мина, они были убиты, и их похоронили в двух шагах от этой воронки, возле того самого фольварка, который через полчаса захватили их товарищи... Захватили, взяли раму, может быть, от портрета Гитлера, может, от портрета какого-нибудь немецкого предка в сюртуке, и вставили в нее оборотной стороной какую-то литографию, и написали на ней четыре фамилии, и пошли дальше, вперед на Лослау. А извещения еще только будут написаны и еще полтора или два месяца будут добираться до Иркутска, Новгорода, Полтавы... Вот она, судьба человека на войне во всей ее страшной простоте...

Мы возвращаемся на дорогу. Накачивать шину нам помогает красноармеец 1896 года рождения, с классической внешностью старого солдата, с большими седыми усами и выцветшими густыми бровями. Он помогает ста-

рательно, видимо, скучает здесь и не знает, что делать. Потом спрашивает меня:

— Который час?

Я говорю.

— А что ты тут делаешь, отец? — спрашиваю я.

— А я тут у дороги поставлен, чтобы дорогу ровнять,— отвечает он.

Как раз в этом месте дорога поверх разбитого вдребезги асфальта метров на пятьдесят в длину засыпана щебнем, осколками битого кирпича. Когда проходит тяжелая машина, то дорога колышется, как море, ходит волнами. Как только несколько машин проходит по одному и тому же месту, они выдавливают на дороге глубокую колею. Старик боец поставлен здесь для того, чтобы регулировать движение машин, чтобы они не ехали все время по одной и той же колее. Рядом с продавленной колеей дорогу выпучивает вверх, и старик старается, чтобы следующая машина прошла уже не по колее, а как раз по этому выпучившемуся бугру, тогда бугор рядом с колеей продавливается, и дорога становится опять ровнее. Более легкие машины он пропускает мимо себя, но, как только идет тяжелый «студебеккер», старик бросает качать колесо, выскакивает на дорогу, кричит водителю и показывает ему руками, как нужно ехать. Некоторые водители проскакивают мимо, но большинство слушается и, въезжая на бугры, вдавливает их, ровняя дорогу.

С колесом возимся долго, клеим камеры, меняем, чтобы больше не стоять, накачиваем еще и запаску. Добираемся до Пщины глубокой ночью...

Записная книжка за 27 марта 1945 года.

...С утра я пошел к Ортенбергу и с его помощью узнал, что Петров еще не уехал. Мне очень хотелось повидать Ивана Ефимовича, а вместе с тем казалось, что человеку, который еще вчера был здесь командующим фронтом, полным хозяином, могут быть неприятны какие бы то ни было попытки выразить ему сочувствие. И все-таки не повидать его теперь, после всего случившегося, казалось мне просто невозможным.

Ортенберг, как я и ожидал, посоветовал мне ехать в штаб фронта.

— Допускаю, что ему именно сейчас обременительно

свидание с тобой, как и всякое другое свидание,— сказал Давид.— Но думаю, что впоследствии ему будет все-таки приятно, что ты пришел к нему проститься. И от меня непременно передай ему привет. Теперь он уже не командующий, и ему не может прийти в голову, что у меня для этого какие-нибудь корыстные побудительные причины. Он очень хороший человек. Вот уж кому не везет, так поистине не везет.

Я поехал в Кенты к нашим ребятам — журналистам, у которых стоял телефон. Собственно говоря, я не очень представлял себе, как и куда мне звонить. Звонить по телефону командующего — боялся налететь на Еременко. В данном случае это было бы совсем некстати... В конце концов я дозвонился до адъютанта и уже при его помощи связался с самим Петровым.

— Слушаю,— сказал Петров своим обычным ворчливым голосом.

— Здравствуйте, Иван Ефимович, это Симонов говорит.

— А-а, Константин Михайлович, здравствуйте.

Обычно следовали или вопрос: «Ну, где ж вы пропадали?», или предложение: «Заходите». Сейчас последовала тягостная пауза.

— Иван Ефимович, очень хочу вас повидать,— сказал я.

— Только попозже,— сказал он.— Вы попозже можете?

— Конечно. Я для этого в Кенты приехал. Буду сидеть здесь, ждать.

— Часов в пятнадцать, хорошо?

— Хорошо. Буду ждать.

— А где будете ждать?

Я сказал, что буду сидеть у журналистов.

— Я вам позвоню,— сказал Петров, и на этом разговор закончился.

Ровно в три, с обычной точностью, раздался звонок.

— Константин Михайлович?

— Да.

— Петров говорит. Приходите. Жду.

Во дворе домика, где жил Петров, было тихо. Ходил только один часовой. И мне почему-то бросилась в глаза случайная, может быть, подробность: это был не автоматчик, а часовой с винтовкой.

Я прошел в приемную. Там сидел только один из

ординарцев, которого я и раньше встречал у Петрова.

— Кто-нибудь есть у генерала армии? — спросил я, обходя слово «командующий» и думая о том, что это слово надо будет обходить и в дальнейшем.

Оказалось, что у Петрова сидит секретарь Военного совета.

Через несколько минут он вышел, а я вошел.

Петров сидел за столом, так же как и всюду, где он бывал, накрытым огромной картой. Он поднялся мне навстречу. Поздоровался. Наступила пауза. Потом Петров сказал:

— У Москаленко-то ничего пошло дело! Двигаются понемножку.

Я сказал, что да, двигаются.

— Вы где были-то?

Я объяснил, где был.

— Да,— сказал Петров.— Хорошо как будто пошло. Если за сегодняшний день и за ночь подойдут к Одеру, то в ближайшие дни могут взять Моравска Остраву.

— В ближайшие дни? — переспросил я.

— Да. Тут будет одно из двух. Если нам удастся в ближайшие дни форсировать Одер, немцам неоткуда сейчас взять резервы. Чтобы подтянуть их из глубины и в большом масштабе, им понадобится хотя бы два-три дня. А теми резервами, которые они имели под рукой, они уже воспользовались. Рассчитывали на 8-ю танковую и на 16-ю танковую. Но их уже расщелкали. 751-я пехотная в начале боев была у них свежая, но ее тоже разбили. Так что в ближайшем тылу у них не должно быть резервов. Но если день-два не форсировать Одер, эти резервы могут появиться, и тогда будем сидеть под Остравой.

— А сколько еще осталось до Одера? — спросил я без раздумий. Кому же, как не Петрову, это знать!

И лишь в следующую секунду вспомнил, что он уже не командующий фронтом и может не знать последней обстановки.

Но я оказался не прав.

— Сейчас я вам покажу,— сказал Петров и провел карандашом по карте.— Вот здесь и здесь осталось всего по пять километров. Час назад мне звонил Москаленко. Ночью могут пройти эти пять километров.

Он сделал еще несколько замечаний, касавшихся общего положения на фронте, и мне стало совершенно оче-

видно, что он не только не желает сам говорить ни о чем, связанном с его отъездом, но и не желает, чтобы на эту тему говорил я. Мне даже показалось, что наш разговор вообще не коснется этого. Но Петров, рассказав о положении на фронте, вдруг спросил как о самом естественном:

— Как, поручения в Москву будут?

И в этом вопросе сказался весь его такт. Он разом дал мне понять, что прекрасно понимает, что я уже наслышан о происшедшем, но что он не намерен касаться этого, а просто, как старый знакомый, раз едет в Москву, предлагает, чтобы я, если захочу, воспользовался этой оказией.

— А когда вы поедете? — спросил я.

— Сегодня вечером. До Кракова на машине, а оттуда поездом. У меня свой вагон.

— Спасибо,— сказал я.— Тогда я сейчас схожу, напишу письмо и отдам вашему адъютанту.

— Хорошо,— сказал он.

В кабинет вошел генерал-лейтенант Кариофилли, командующий артиллерией фронта. Петров пригласил его присесть и спросил меня:

— Ну как, если взять все в целом, довольны вы этой поездкой? Много сделали?

Я ответил, что передал по телеграфу три корреспонденции, готовлю четвертую, а главное, собрал много материала, в том числе материал к повести, которую хочу написать, и, коротко рассказав ему историю партизанского доктора Юлия Бернарда, понимая, что после прихода Кариофилли мне ни к чему задерживаться, пора оставить их вдвоем, встал и попросил разрешения уйти.

— Всего доброго,— сказал Петров, протягивая мне руку.

Мне хотелось ему сказать разные хорошие слова, но от этого удерживало присутствие Кариофилли. И я лишь немного задержал руку Петрова и пробормотал, что благодарен ему и надеюсь скоро увидеться.

Когда я вышел, у меня в душе была какая-то пустота. Раз Петров ехал отсюда в Москву не спеша, поездом, значит, бродившие у меня до этого мысли, что, может быть, его просто назначают на какую-то другую должность, отзывают в Москву для другой работы, были самообманом. Его не переводили, а снимали, и он ехал теперь в распоряжение Ставки, и неизвестно, долго ли, коротко

ли, но будет не при деле, а в конце войны это особенно горько.

По внешнему виду Петрова нельзя было заметить, насколько сильно он нервничал и переживал случившееся. Во всяком случае, он выглядел человеком, твердо решившим держать себя в руках. Даже тот нервный тик после контузии, который подергивал его лицо, когда он волновался, сейчас не был заметней, чем обычно. Он был человек как человек, точно такой же, как всегда, и, не зная заранее всего происшедшего, я, придя к нему, ровно ничего не заметил бы по его поведению.

Может быть, и некстати, но мне вспомнился один рассказ, связанный с нервным тиком Петрова. Получилась эта история с одним командиром дивизии на Втором Белорусском фронте. Командир дивизии никогда раньше не видел и не знал Петрова, а Петров, когда был назначен командовать Вторым Белорусским фронтом, после предшествовавших этому переживаний страдал своим тиком сильней, чем обычно, и часто и быстро подергивал при этом головой. Командир дивизии рассказал об этом примерно так:

— Приехал ко мне командующий. Спрашивает, как я предполагаю наступать на своем участке. Докладываю ему: так-то и так-то. Кивает. Молчит. Снова кивает. «Дальше докладывайте»,— говорит. Разворачиваю карту. Докладываю. Снова молчит, снова кивает. Вижу, соглашается со мной. Ну, у меня на душе уже легче, я ему предлагаю свой план во всех подробностях. Он кивает. Чувствую, со всем согласен. Потом спрашивает меня: «Все? Закончили?» — «Закончил».— «Очень неразумный план. Очень неверный план,— говорит,— составили. Плохо придумали. Еще подумайте. После этого еще раз буду с вами говорить». И вышел, устроив мне этот разнос. А все время кивал. А я, не поняв, в чем дело, подумал о нем: «Вот странный человек!..»

Я зашел на квартиру к корреспондентам. Сначала написал письмо домой, а потом меня все-таки потянуло написать на прощание несколько теплых слов Петрову, таких, чтобы не оказаться при этом бесцеремонным и не копаться в чужой душе. Написал и отнес оба письма.

У Петрова кто-то был в кабинете. А в приемной сидел и ждал очень полный генерал-лейтенант. Когда я повернулся уходить, он спросил меня:

— Откуда вы, товарищ полковник?

Я объяснил.

— Будем знакомы. Корженевич.

Так я познакомился с начальником штаба фронта, о котором много слышал, а увидел его впервые только теперь.

Выходя из дома, я встретил на пороге Кучеренко, который был спутником Петрова везде и всюду с первого года войны. Этот толстый, храбрый, обычно говорливый украинец выглядел сейчас ужасно. Он как-то осунулся, почернел. Я почти не узнал его в первый момент. У него был не только совсем другой, тихий, глуховатый голос, но и другое выражение лица. Наверно, потому, что раньше постоянная улыбка была неотъемлемой частью этого лица, а сейчас ее словно вдруг и навсегда стерло. Глядя на Кучеренко, я понял не только то, как сильно переживает он, но и как сильно переживает случившееся сам Петров. Видимо, все было плохо, очень плохо.

Я попросил Кучеренко передать письма, простился с ним и ушел...

Как это видно из записной книжки, еще не зная, как скоро кончится война, но, как и все, чувствуя, что это не за горами,. я уже думал о своих послевоенных писательских планах — о повести и даже о военном романе.

Повести о партизанском докторе я так и не сочинил.

А роман о войне все-таки написал. Но гораздо позже, чем думал тогда, в сорок пятом... И, поставив точку на его последнем томе, так и не добрался до тех событий, которые видел в конце войны на Четвертом Украинском фронте.

Однако и мой тогдашний ответ Петрову, что я собрал много материала, и мои тогдашние мысли, что я когда-нибудь выведу в романе в роли командующего фронтом человека, похожего некоторыми своими чертами на Ивана Ефимовича, не остались без последствий.

Командующего фронтом, чертами характера напоминающего Петрова, я в романе не вывел, но Петров был одним из людей, общение с которыми в годы войны подсказало мне некоторые человеческие черты главного героя романа «Живые и мертвые» — генерала Серпилина, и в особенности характер его взаимоотношений с подчиненными.

Кстати, о подчиненных Петрова. Поистине редкое единодушие в оценке его человеческих качеств чувствуется

во всех письмах о нем, полученных мною за последние годы.

«...Только хорошее рождается в сердце при упоминании об этом славном человеке, как солдат, горжусь своим командующим, люблю его!..»

«...Вы верно подметили его исключительную память на фамилии. Он в Каракумах один раз видел меня в 1931 году, когда я командовал отрядом против басмачей,— а потом в 1942 году под Новороссийском, когда я доложил ему, что я комиссар корпуса, и назвал свою фамилию, он дал мне руку и, улыбаясь, сказал: «Старый знакомый, политрук из полка ВЧК, из Хивы». И я был поражен его памятью...»

«...Это был человек с большой буквы. Из глаз этого никогда не плакавшего человека катились слезы, когда при высадке на Керченский полуостров был убит стоявший с ним его ординарец. Мне это известно, я сам высадился немножко раньше...»

«...Лично зная об этом достаточно подробно на примере последнего, горького, трудного, но победного десанта в Крыму, я имел возможность неоднократно убедиться в исключительных чертах характера этого большого человека...»

Я привел четыре отзыва четырех самых разных военных людей — пехотного лейтенанта, корпусного политработника, майора-связиста и военного врача — о человеке, под началом у которого они в разное время служили.

И отзывы эти дороги мне не только сами по себе, но и как еще одно подтверждение моих собственных представлений о Петрове.

Возвращаюсь к записной книжке.

...Вечером, закончив и отправив по телеграфу очерк о чехословацких танкистах, я ужинал с Ортенбергом, когда мы услышали по радио приказ. Приказ был дан Первому Украинскому фронту за город Рыбник. Падение Рыбника ожидалось с часу на час, что не было неожиданностью и не удивило нас. Очевидно, 60-я армия заняла Рыбник после того, как немцы вынуждены были отступить из города под угрозой все более глубокого охвата их 38-й армией Москаленко.

После приказа передавали сводку. В сводке среди

прочего отмечалось: «Северо-восточнее города Моравска Острава войска Четвертого Украинского фронта в результате наступательных боев заняли города Зорау, Лослау и более сорока других населенных пунктов...» Никакого приказа за это не было. За Рыбник был, а за это нет.

Ортенберг расстроился. Наверное, еще сильнее расстроился Москаленко, у которого сосед справа вырвал из-под носа салют. За Зорау и Лослау уже четвертый день шли тяжелые бои, было убито и ранено несколько тысяч человек. А оставить Рыбник немцам, наверное, пришлось именно потому, что были заняты Зорау и Лослау. А между тем салют на этот раз был Курочкину, а не Москаленко. Так бывает на войне нередко. И хотя, казалось бы, пора было привыкнуть относиться к этому философски, люди, которых это затрагивает, все равно каждый раз огорчаются...

Несколько слов о справедливости в оценках действия войск. В дни войны, в горячке боев, в спешке донесений и составления приказов на основе этих донесений порой трудно было взвесить на безошибочной точности весах меру вклада тех или иных войсковых частей в достижение того или иного успеха.

Тем более важно, когда у хорошо знающих эту сторону дела военных людей хватает благородства, вспоминая о войне спустя много лет, уточнить прошлое в пользу соседа.

Именно такое уточнение, связанное с событиями на стыке Четвертого и Первого Украинских фронтов в конце марта 1945 года, я нашел в книге маршала Конева «Сорок пятый», и мне кажется не лишним процитировать здесь его слова:

«Мы продолжали продвигаться, но по-прежнему крайне медленно. Изо дня в день шли упорные бои за овладение небольшими населенными пунктами, узлами дорог, высотами и высотками. Войска несли немалые потери. Это, естественно, вызывало чувство неудовлетворенности. Операция протекала явно не в том духе, не в том темпе, не на том уровне, на которые мы вправе были рассчитывать, исходя из собственного опыта, из своего совсем недавнего боевого прошлого. Но вот 24 марта после некоторой паузы левее нас, в полосе Четвертого Украинского фронта, возобновила наступление 38-я армия под командованием боевого командира К. С. Моска-

ленко. Своими решительными действиями она изменила обстановку на левом фланге 60-й армии. Для противника создалась угроза окружения в районе Рыбника и Ратибора. А у нас возникли благоприятные предпосылки для штурма этих городов. 60-я армия взяла Рыбник...»

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ

Записная книжка за 28 марта.

С утра диктовал, а в 12 дня мы с Альпертом сели на его маленький «опелек» и поехали в Рыбник. Вместе с нами на «виллисе» поехал корреспондент «Красной звезды» Бойков. Решив ради экономии времени поехать дорогой, которая подлинней, но получше, мы двинулись сначала на Гинденбург, потом по шоссе на Ратибор и еще раз свернули на Рыбник. Сделав километров шестьдесят, мы через полтора часа увидели впереди за лесом фабричные высокие трубы Рыбника и уже подумали, что вот-вот въедем в город, но не тут-то было. Недавний передний край проходил вдоль отделявшего нас от Рыбника леса, и дорога была преграждена здесь минными полями и огромными завалами. Пришлось свернуть вдоль леса в сторону, по слабо наезженной лесной дороге. Мы долго плутали по этой дороге между деревьями, среди окопов и блиндажей, переехали в двух местах по бревнам пересекавшие дорогу линии траншей, объезжая лес, попали на так называемое МЗП — малозаметное препятствие из тонкой проволоки, намотали себе на карданный вал целый пучок, долго, лежа под машиной, драли ее кусачками и наконец выехали на открытое место, за которым начинался Рыбник.

Это была низкая болотистая пойма с двумя ручейками, которые пешком можно было перейти по колено, но переехать из-за вязкой почвы нечего было и думать. Через первый ручей были перекинуты кое-как сбитые бревна и доски, на которых застрял санитарный автобус. Рядом, застряв в воде по сиденье, стоял увязший в ручье «мерседес». Хозяин «мерседеса», должно быть, ушел вперед пешком, а водитель, поджав по-турецки ноги, сидел на крыше кузова, скептически наблюдая за безуспешными попытками пропихнуть по доморощенному мосту автобус.

Мы вылезли из машины и прошлись взад и вперед по

берегу ручья. Место это производило унылое и странное впечатление. Под взорванным железнодорожным мостом образовался стоячий пруд, вокруг которого лежало несколько трупов, почти все головами в воду. Около наших машин тоже лежал черный распухший труп с оторванной ногой. Одет он был во что-то непонятное, черное, не похожее ни на нашу, ни на немецкую форму. Подле него валялась искалеченная винтовка немецкого образца. С другой стороны ручья лежал еще один совершенно обугленный труп. Почему обугленный, неизвестно. Тут же валялись винтовка и лопата, а рядом в земле была вырыта неглубокая ямка, должно быть, в последнюю минуту перед смертью этот человек отрывал себе окопчик. Еще один труп, тоже в непонятной одежде... Наверное, это были фольксштурмисты, неизвестно когда погибшие здесь. Трупы уже сильно разложились. Скорее всего этих людей убило еще несколько дней назад каким-нибудь внезапным огневым налетом, и про них забыли, и никто не убрал их: ни отступавшие немцы, ни наступавшие наши. Унылая картина! Разбитый, свалившийся в воду мост, полузатонувшие трупы, распухшее тело с оторванной ногой и вдобавок ко всему этому беспросветно серое небо и дождь...

Вытащить санитарный автобус помогало человек десять или двенадцать цивильных поляков, бедно одетых, но в шляпах. Водитель автобуса и ехавший с ним, а теперь вытаскивавший автобус старшина кричали друг на друга и на поляков: «Эй, паны, ну, паны, ну, давай! Паны!..» Наконец автобус удалось сдвинуть, и он, развалив за собой бревна, выскочил вперед, доехал до второго ручья и снова застрял там. И там опять началось: «Эй, паны! Давай, паны!» Под эти раздававшиеся впереди крики мы потихоньку заново уложили бревна и доски и протащили по ним сначала «оппель», а потом и «виллис».

За это время поляки во главе со старшиной вытащили наконец санитарный автобус из второго ручья; мы, на этот раз только подтолкнув свои машины, выехали вслед за автобусом. И одичалая, забытая богом ничейная земля между нашим и немецким передним краем осталась у нас за спиной.

В город мы въехали около четырех часов. Как и большинство здешних городов, он производил впечатление чего-то угрюмо одинакового, и это впечатление еще уси-

ливалось тем, что, не будучи особенно сильно разрушенным, он был дотла разорен. Домов, вдребезги разбитых войной, было сравнительно мало. Многие были повреждены снарядами, а остальные просто-напросто разорены: разбиты витрины магазинов, разбиты стекла, выворочены двери. Бумага, осколки стекла, оборванные провода, разбитые аптекарские банки, высыпанные на мостовую химикалии. Все это никак не могло произойти за один день — со вчерашнего вечера до середины сегодняшнего дня. Очевидно, город был уже мертв все те два месяца, пока передний край проходил непосредственно рядом с ним.

На окраине, на въезде, стояло несколько наших сожженных танков и самоходок. Дома кругом были избиты снарядами. В асфальте зияли воронки, валялись остатки совершенно разложившихся за два месяца трупов — и наших, и немецких. Все эти люди погибли уже давно, когда наши в первый раз ворвались на окраину Рыбника, а назавтра были выбиты отсюда. И это место находилось потом под постоянным двусторонним огнем. Таким, что, очевидно, ни наши, ни немцы не могли вытащить из этой ничейной зоны трупы. А может, под жестоким огнем и не очень стремились к этому.

Мы заехали к коменданту. Комендатура помещалась в маленькой уцелевшей комнатке на третьем этаже углового дома. Коменданта не было на месте. В комендатуре сидел и ждал его какой-то генерал-майор в фуражке с артиллерийским черным околышем.

Он спросил, кто мы. И когда мы ответили, выяснилось, что он представитель Москвы по обнаружению и фиксированию немецких военных заводов в этом районе.

Он сказал нам, что в Рыбнике уже обнаружен большой завод фаустпатронов. Он производил не смесь для зарядов — эта смесь производилась в Германии,— а корпуса фаустпатронов. Несколько десятков тысяч этих корпусов осталось на заводе. Завод начал работать только в конце декабря 1944 года, а уже 25 января 1945-го, когда мы подошли вплотную к Рыбнику, вынужден был прекратить работу, выпустив только пятьдесят тысяч корпусов фаустпатронов — свою первую месячную программу.

— Как будто тут должен быть еще и танковый завод,— сказал генерал.— Имею сведения, что должен быть. Но где? Будем искать по лесам. Может быть, где-

нибудь там спрятан. Они после усиления бомбардировок многое по лесам попрятали. Не только заводы, а целые заводища. Наверное, и тут так!

И генерал снова заговорил о фаустпатронах.

— Это очень серьезное оружие,— сказал он.— А метод его применения мы здесь наблюдали. Ожидая нашего прорыва в город, они заранее складывали фаустпатроны у окон на вторых этажах домов, главным образом выходивших на важные перекрестки. Таскать все время с собой фаустпатроны, отступать, перебегать с ними трудно. Но все эти окна, у которых были заготовлены фаустпатроны, были заранее известны солдатам той немецкой части, которая оборонялась в этих кварталах. Отступая, немцы забегали в эти дома на вторые этажи, находили у окон готовые фаустпатроны и стреляли по нашим ворвавшимся в город танкам. А танк, если он ворвался и идет по улице без пехоты, сжечь, сидя наверху, на втором этаже, почти ничего не стоит...

Мы вышли от коменданта, так и не дождавшись его. Где-то невдалеке за городом громыхал бой.

Я хотел поехать отсюда, из Рыбника, прямо на Лослау... Там, невдалеке от Лослау, около деревни Раднюк, теперь помещался наблюдательный пункт Москаленко. И по карте туда было всего тринадцать километров хорошей дороги, если напрямик. Но была ли эта дорога очищена от немцев, неизвестно.

Вчера вечером на ней сожгли офицера связи вместе с его «виллисом». С тех пор прошли уже почти сутки, наверное, дорога свободна, но я все же решил кого-нибудь спросить.

Попавшийся нам навстречу майор, уполномоченный СМЕРШа 60-й армии, сказал мне, что этой дорогой мы не проедем, потому что примерно в шести километрах от Раднюка дорога на километр-полтора еще оседлана немцами и 38-я и 60-я армии до сих пор еще не соединились там.

Мне это показалось маловероятным, потому что, по моим представлениям, бои с немцами шли уже где-то дальше, на несколько километров правее этой дороги, но лезть на рожон и проверять точность сведений майора на собственной шкуре не хотелось, и мы решили взять в объезд, в крайнем случае, даже через Зорау.

Возвращаться тем же путем, каким мы ехали сюда,

и снова сидеть в болоте нам не улыбалось. Поездка выходила какой-то на редкость неудачной, а дело тем временем шло уже к вечеру...

Мы выехали за город, на дорогу, ведущую к Зорау. Шоссе было хорошее, асфальтовое, но пустое. «Виллис» Бойкова зачихал, водитель почти полчаса возился, исправляя его, и за все это время на шоссе показалась всего одна встречная машина. Мы остановили ее. Водитель ее сказал нам, что прямой дорогой на Зорау ехать нельзя, она где-то дальше преграждена и заминирована. Но в двух километрах отсюда есть какой-то поворот направо, туда надо свернуть и выехать на деревню Обер, которая стоит у дороги между Зорау и Лослау.

Мы тронулись и уже после этого встретили еще одну машину. Водитель этой машины подтвердил, что сворачивать действительно надо, но ехать потом на этот Обер нельзя, потому что дорога как раз там и минирована, а нужно просто свернуть с шоссе, по которому мы едем, объехать минированный участок и снова выехать на него. Словом, как это часто бывает, как именно надо ехать, понять было трудно!

Мы поехали вперед по шоссе и остановились у поворота на проселок. Он был слабо наезжен, но все же чувствовалось, что машины тут проходили. Поляк, сидевший у окна на втором этаже одного из домиков, стоявших вблизи этого поворота на проселок, когда мы спросили его, как нам ехать на Зорау, сказал, что ехать надо прямо по шоссе.

— А ходят туда машины?

— Ходят,— сказал он,— ходят туда машины.

Мы послушались его и поехали вперед по шоссе. Через километр наш водитель резко затормозил. Прямо перед нами валялись обломки «студебеккера», колеса, куски мотора и кузова, и отдельно от всего этого прямо на земле стояли сорванные шасси и почти целая кабина. Около кабины на земле сидел красноармеец с винтовкой, которого мы сначала приняли за специально поставленного тут человека.

— Нельзя ехать,— сказал он.

— А для чего вы тут поставлены?

— А я вот ее водитель,— сказал он, спокойно кивнув на то, что было «студебеккером».

— Это вы взорвались?

— Мы взорвались,— сказал он равнодушно и снова сел на землю.

Мы осторожно развернулись и поехали назад, кипя негодованием против направившего нас сюда поляка.

Он так и сидел по-прежнему у окошка в домике на перекрестке.

Альперт начал на него кричать, зачем он нас туда послал, но тот упорно повторял свое, что машины туда шли.

И я вдруг сообразил, что он говорит святую правду.

— Брось на него кричать,— сказал я Альперту,— он же как раз и говорит о той машине, что там взорвалась. Она мимо него как раз и прошла!

Мы свернули направо, на проселок, и проехали по нему километра четыре. Свернули на другую проселочную дорогу и ехали по ней до тех пор, пока следы двух прошедших перед нами грузовиков не довели до того места, где они оба развернулись и поехали обратно. Здесь произошло маленькое препирательство между тремя корреспондентами, но я, проверив по карте, что нам осталось от силы каких-нибудь три километра до шоссе, на которое мы должны выехать этим проселком, стал доказывать товарищам, что навряд ли этот проселок минирован. Вдоль него и по сторонам от него нигде не видно никаких следов ни обороны, ни боя.

Наконец мы подъехали к какому-то неудачно, а для нас, наоборот, удачно взорванному мосту. Он только завалился набок, но по нему, очевидно, все-таки можно было проехать. Дальше, за этим мостом, вообще не было видно никаких следов, даже следов повозок. Справа виднелись какие-то безжизненные, однообразные маленькие, фабричного типа домики, слева был лес...

Не знаю, что бы мы предприняли, если бы я не увидел вдруг впереди, в конце просеки, что-то похожее на стоявшую там машину. Она стояла там, а потом тронулась нам навстречу, переваливаясь, переползла через мост и остановилась около нас. Ехавшие в кабине военные спросили нас, есть ли тут дорога на Рыбник. Мы ответили, что есть, и, в свою очередь, спросив, как доехать до Лослау, услышали, что едем правильно.

Поехали дальше; теперь все обстояло вроде бы совсем благополучно. Но вдруг при въезде в еще один лес наша машина затормозила. Перед самым въездом туда дорога была негусто, в шахматном порядке зами-

нирована. Должно быть, немцы торопились, и деревянные колодцы, в которые они заложили мелкие мины прямо на дороге, примерно метрах в полутора друг от друга были лишь прикрыты дощечками и чуть-чуть присыпаны землей. Но не заровнены до конца, так что наш водитель их сразу заметил.

Я вылез и, как это обычно делается, когда надо проехать узкое место, стал показывать руками, как выруливать, чтобы машины прошли между колодцами, и мы наконец все-таки выбрались на дорогу, шедшую к Лослау...

Перечитывая эту запись, я остановился здесь и подумал, что подробное описание того, как мы с Альпертом и Бойковым добирались до Рыбника, а потом выбирались из него, пожалуй, принадлежит к числу тех малосущественных подробностей нашей корреспондентской жизни, которую я взял за правило сокращать. Но потом решил в данном случае не делать этого — пусть наша неудачная во всех отношениях поездка предстанет перед глазами читателя именно такой, какой она вышла.

За войну таких неудачных поездок у меня накопилось не одна и не две, да и у моих товарищей по работе, наверное, тоже. Поездки эти были не слишком существенной, но неотделимой от целого частью нашей жизни на войне. Да и вообще в моей памяти, как и в памяти других корреспондентов, война — это наполовину дорога. Из наших корреспонденций эта дорога чаще всего выпадала, но в памяти оставалась.

В одних случаях эта дорога оказывалась совершенно безопасной, хотя поначалу, отправляясь в нее, мы ждали опасностей; в других случаях, наоборот, опасности подстерегали нас в дороге там, где мы их никак не ожидали.

Ох, уж эти стыки между фронтами и армиями, на которых даже вдали от передовой всякие неожиданности подстерегали одиночную машину корреспондента, уехавшего от одних и еще не доехавшего до других, порой плохо знавшего обстановку, а иногда и неосведомленного о последних переменах в ней.

Помогая в работе над тремя томами воспоминаний о погибших журналистах «В редакцию не вернулся» их самоотверженному составителю, покойному ныне Петру

Дмитриевичу Корзинкину, тоже в прошлом военному корреспонденту «Красной звезды», я убедился, что чуть ли не треть наших товарищей погибла на дорогах или летя на фронт, или возвращаясь с него, или перебираясь с места на место. Сгорели в воздухе, разбились при посадке, взлетели на мине, попали на открытом месте под бомбежку или случайный снаряд, нарвались на бандеровцев или наскочили на группу отступающих немцев, которых и было-то всего несколько человек...

Время шло, на спидометры накручивались новые десятки тысяч километров, и все обходилось благополучно. Но к концу войны я, чем дальше, тем больше, боялся пустых дорог, на которых вдруг почему-то не видно ни одной машины, кроме твоей.

Возвращаюсь к дневнику.

...Выбравшись на верную дорогу, я уже через полчаса сидел у Москаленко на его наблюдательном пункте, в маленьком домике, метрах в пятистах от железнодорожного полотна.

Москаленко сказал мне, что к Одеру мы ни за вчера, ни за сегодня по-прежнему еще не вышли, хотя на одном участке находимся уже всего в трех километрах от него.

— Вот смотрите,— Москаленко показал на карту,— как они нас облепили со всех сторон. Мы, вот видите, куда полезли, а они нас облепили. Тут их 8-я танковая, тут 16-я, тут 19-я, тут пехотные... Куда ни повернешься, всюду уже облепили.

— Как вы думаете, они будут удерживать этот свой плацдарм за Одером? — спросил я про немцев.

— И да и нет,— сказал Москаленко.— В конечном счете, основная оборона проходит у них по тому берегу. Но они постараются подольше продержать нас вдали от реки, чтобы мы ее не видели, чтобы не могли готовить через нее переправы с полным знанием места и всех привходящих обстоятельств. Если мы подойдем вплотную к реке, то не там, так здесь можем прорваться через нее. Вот они и хотят помотать нас еще до подхода к реке. Переправу через нее будет готовить нелегко, значит, нужно подойти к реке и остановиться, потом готовить... Поэтому немцы и стараются задержать нас до подхода к реке. В этом весь смысл!

Оторвавшись от разговора со мной, Москаленко дал приказание артиллеристам бить по каким-то двум дотам на высоте 247.

— Целый день не можем взять сегодня эту высоту,— сказал он.— Хорошо хоть, что сегодня южнее ее прорвались к рокадной дороге. Немцы по ней взад и вперед гоняли свои танки, а теперь уже гонять не могут. Одни танки у них южнее, другие севернее, а середина дороги у нас. Маневрировать танками они уже не в состоянии.

В ответ на мой вопрос, куда лучше поехать завтра с утра, Москаленко посоветовал поехать в корпуса Бондарева и Мельникова.

— Они все-таки в общей сложности почти 200 орудий захватили и 2000 пленных. На 2000 пленных, считайте, 4000 убитых, на 6000 пленных и убитых, по самым скромным подсчетам, приходится еще столько же раненых. Значит, общие потери 12 000. Для немцев сейчас и здесь это серьезные потери. Они сильно побиты. Но утешаться этим рано. Задача еще не выполнена.

К командующему вошел генерал-майор авиации с красивым и грубым лицом старого фельдфебеля. Лицо было перерезано глубоким шрамом.

Между ним и Москаленко начался разговор о том, что сегодня ночью надо бомбить у немцев район переправ и освещать мосты, выясняя, какое там движение идет ночью.

— Как у вас там, канделябров достаточно? — спросил Москаленко у авиатора.— Так пусть всю ночь светят! Чтобы, когда немцы будут ночью идти и ехать по мостам, чтобы не споткнулись, чтобы гвозди объезжали. В общем, чтоб нервничали. Понятно? — перестав улыбаться, серьезно сказал он. И показал по карте пункты, которые надо бомбить завтра с утра.

— Но я пока еще не знаю, сколько будет работать у вас нашей авиации,— сказал генерал-майор.— Командующий фронтом приказал готовить авиацию для Гречко.

— А она будет у него действовать? — спросил Москаленко.

— Должна завтра действовать. Пока еще окончательной команды нет, но должна.

— Ну, так если будет там действовать, сколько же вы мне дадите? — спросил Москаленко.

— Тогда дадим ему четыреста пятьдесят вылетов,

а вам сто пятьдесят. Столько, сколько понадобится для прикрытия всего вашего района.

— Хорошо,— сказал Москаленко.— Но если он не пойдет завтра наступать, вы должны мне дать четыреста.

— Хорошо, я доложу,— сказал генерал-майор.

Было уже темно. Москаленко собрался ехать в штаб и спросил меня о моих планах. Я сказал, что тоже сейчас поеду в Пщину.

— Раз так, поедемте вместе,— сказал Москаленко.

— А Гречко будет завтра наступать? — спросил я.

— Очевидно,— сказал Москаленко.— Что, хотите поехать туда?

Я сказал, что да, если завтра там будут наступать, то я поеду.

— Что ж, приедете к нам в штаб армии, узнаете у Воробьева, он вам скажет все точно. Может быть, еще ночью скажет, а в крайнем случае, завтра утром.

Москаленко пригласил меня к себе в машину, и мы поехали вместе с ним и с Епишевым. По дороге говорили на разные житейские, невоенные темы, и в этом желании оторваться на время от разговора о войне, и в самом тоне этого разговора чувствовалась накопившаяся усталость пяти дней наступления.

К начальнику штаба армии я попал около двенадцати часов ночи. Воробьев работал. Я спросил у него, будут ли завтра наступать соседи.

— Сейчас,— сказал он и, с трудом встав со стула, пошел к ВЧ.

В последние дни у него разыгралось острое воспаление почек, он мучился, но работы не бросал.

Позвонив командующему воздушной армией генералу Жданову, Воробьев удостоверился, что соответствующие приказы о действиях авиации на завтра отданы и, следовательно, соседи будут наступать.

После этого я, с разрешения Воробьева, дозвонился от него члену Военного совета 1-й гвардейской армии генералу Исаеву и договорился, что еще с ночи приеду туда, где он сейчас находится.

Добрался я до него к половине третьего ночи. Исаев уже лег спать, назначив подъем на четыре утра, а мне в одной из двух комнат занимаемого им маленького домика была заботливо приготовлена койка. Я стащил сапоги и, не раздеваясь, с наслаждением растянулся на ней.

Но едва заснул, как услышал разговор по телефону.

— Слушаю,— громким, но сонным голосом говорил Исаев.— Да, так точно, товарищ генерал-полковник. Так точно, в четыре. Есть. Хорошо.

Судя по этому звонку среди ночи, я понял, что Исаеву не давал спать Мехлис. Исаев ворочался за стенкой, и я тоже минут пятнадцать не мог заснуть. Заснул в три часа. Спать оставалось час...

Записная книжка за 29 марта 1945 года.

...Исаев разбудил меня ровно в четыре. К пяти ему нужно было попасть на перекресток дорог, где он должен был ждать Мехлиса и уже с ним ехать дальше, на наблюдательный пункт. Наступление отменено не было. Артподготовка назначалась на девять утра.

В пять часов десять минут мы стояли на перекрестке, где та дорога, по которой мы проехали, сходилась с другой, знакомой мне. Она была проложена по железнодорожной насыпи, и мы когда-то ехали по ней вместе с Петровым.

Мехлиса прождали минут сорок. Наконец он подъехал. Поздоровался с Исаевым, потом со мной.

— Здравствуйте,— любезно сказал он мне.— Даже в темноте вас узнал. У меня есть место, могу вас посадить к себе.

Я ответил, что у меня уже есть место в «виллисе» у Исаева. Но Мехлис все-таки предложил мне пересесть к нему и для этого пересадил одного из своих автоматчиков на шедший вслед за ним «виллис».

Мы влезли в закрытую машину, которая вначале показалась мне переоборудованным «доджем», и я высказал эту догадку.

— Это не «додж»,— сказал Мехлис.— Это ГАЗ-63, две пары ведущих, а мотор с Т-70.

— А кузов? — спросил я.

— Кузов с обыкновенной «эмки». Я давно езжу на этой машине.

И я вспомнил, что видел раньше если не эту самую, то очень похожую на эту машину. Мехлис приезжал на ней на Керченский полуостров, и я видел ее там. Вспомнив все связанное с Керчью, я, однако, промолчал, не стал говорить, что видел его машину раньше. Какое-то время мы ехали молча. Потом Мехлис повернулся и спросил:

— Вы знаете, что у нас новый командующий фронтом?

— Знаю,— сказал я.

— Вы были у Ивана Ефимовича?

— Был,— сказал я.— Позавчера ездил к нему прощаться.

— Что он вам говорил? Ну, откровенно.

— Ничего он мне не говорил,— сказал я.— Говорил о ходе операции и на всякие отвлеченные темы. А на основную тему, о которой вы спрашиваете, ничего не говорил. А я, само собой разумеется, не спрашивал.

— Н-да,— протянул Мехлис после долгого молчания.

— Я просто ездил к нему проститься и поблагодарить за гостеприимство,— сказал я.

— А вы давно его знаете? — спросил Мехлис.

— Да. Он, по-моему, очень хороший человек.

— Да,— сказал Мехлис с какой-то особенно сухой нотой в голосе. И мне показалось по этой ноте в голосе, что он принуждает себя быть объективным.— Он добрый и общительный человек. Он, это безусловно, один из лучших у нас специалистов ведения горной войны. Это он знает лучше многих других. Может быть, даже лучше всех. Но он болезненный человек. Знаете вы это?

— То есть как — болезненный? — переспросил я.

— Так вот. Бывают болезненные люди, но...— Мехлис на секунду остановился.— Но мы об этом с вами поговорим при других обстоятельствах.

Видимо, он не хотел дальше говорить на эту тему, потому что в машине сидели водитель и автоматчик.

В вопросе Мехлиса «что он вам говорил?» я почувствовал желание узнать, какие чувства испытывает Петров после своего снятия и не считает ли, что обязан этим снятием ему, Мехлису. Так мне, по крайней мере, показалось.

За вчерашний день до меня уже доходили слухи об этом, и поэтому меня не удивило «ну, откровенно» в устах Мехлиса. Как все это было на самом деле, я не знал. Но, несмотря на внешнюю вежливость и корректность в их отношениях, несмотря на выдержку Мехлиса, я чувствовал, что где-то в глубине души эти люди не слишком хорошо относятся друг к другу, и причем по деловым причинам.

Петров, видимо, не хотел ни малейшего вмешательства Мехлиса в оперативные дела и, подчеркивая это, почти никогда, даже из вежливости, не обращался к нему за советами по этим вопросам. А Мехлис, как я это заметил еще раньше, кажется совершенно сознательно, подчеркнуто устранился от всякого участия в решении оперативных вопросов. Он ничего не говорил об этом Петрову, ничего ему не советовал и сам не обращался к нему ни с какими вопросами.

Теперь в машине, после того как я услышал, как Мехлис говорит о Петрове, мне показалось, что у них перед начавшимся 10 марта наступлением произошел спор о готовности к этому наступлению. Наверное, Мехлис требовал сообщить в Ставку, что они не готовы, и взять на себя ответственность и отложить наступление на день, или на два, или на три. Очевидно, он требовал этого еще ночью, видя плохую погоду. А Петров на это не согласился и начал наступление вопреки его советам. Не знаю, все, может быть, было совсем не так, но там, в машине, во время разговора с Мехлисом мне показалось, что все было именно так. А после неудачи, возможно, Мехлис доложил наверх о том, как все это вышло, и, может быть, это послужило одной из причин снятия Петрова. Скорей всего так. Именно этим и объяснялась интонация, с которой Мехлис мне сказал: «Ну, откровенно».

Мы несколько минут ехали в машине молча, потом Мехлис сказал:

— Я накануне только полупростился с Иваном Ефимовичем, а вчера задержался в армии, и, когда позвонил ему, он уже уезжал. Так и не удалось проститься. Пришлось только по телефону.

Он сказал все это обычным своим сухим тоном; в этом тоне не было ни искреннего сожаления, что он не простился с Петровым, ни фальши. Он действительно опоздал и поэтому не простился, а опоздал потому, что был занят делами более важными, чем это прощание. А если бы он не опоздал, то приехал бы проститься, потому что это нужно и правильно было сделать даже в том случае, если человек, с которым он прощался, был снят по его докладу.

Мне показалось, что в Мехлисе есть черта, которая делает из него нечто вроде секиры, которая падает на чью-то шею потому, что она должна упасть, и даже

если она сама не хочет упасть на чью-то голову, то она не может себе позволить остановиться в воздухе, потому что она должна упасть... Кажется, что-то похожее на это вышло и с Петровым. Не знаю, быть может, в данном случае это досужее суждение, но психологически это именно так. Думаю, что я не ошибаюсь.

Мы проехали Струмень и свернули на скверную проселочную дорогу. Шедший впереди «виллис» Исаева несколько раз тормозил, останавливался и светил в разные стороны.

— Не знают дороги,— сказал Мехлис.— Исаев вообще плохо в дорогах ориентируется. Сейчас будут плутать, еще, чего доброго, к немцам завезут. У нас на Втором Прибалтийском командующий артиллерией армии заехал не так давно к немцам. Прямо к ним в руки. И не думайте, что негодяй. Ничего подобного. Порядочный человек. Дремал в «виллисе», шофер ему говорил что-то одно, а он советовал шоферу что-то другое. Ну и заехали к немцам. И судьба их неизвестна. Как это происходит, я-то уж знаю! Меня столько раз уже завозили не туда, куда нужно...

Мы два раза свернули, сначала в одну сторону, потом в другую.

— Совершенно не знают дороги,— повторил Мехлис.— Абсолютно не знают. Ну-ка, Брагин! — открыв дверцу машины, крикнул он офицеру, ехавшему сзади в «виллисе».— Дайте мне карту, а сами идите, выясняйте дорогу.

Посветив фонарем на карту, Мехлис нашел на ней место, на котором была пометка «Кол. Петрова», что на самом деле означало: «Колония Петрова». Но при взгляде на карту по привычке казалось, что это «колхоз Петрова», хотя, разумеется, никакого колхоза тут быть не могло.

— Посмотрите, куда ехать! — крикнул Мехлис Брагину, продолжая разглядывать карту.— Разумеется, только не вправо. Давайте разворачиваться.

Мы развернулись и вслед за «виллисом» Исаева повернули еще два раза.

— Мельников, дайте мне автомат,— сказал Мехлис.

Его ординарец Мельников, сидевший сзади рядом со мной, вытащил большой итальянский пулемет-автомат, вынул его из чехла и передал Мехлису. Мехлис деловито поставил его между колен. Я слышал от многих

о его граничащей с фанатизмом храбрости. Мне в нем нравилось, что он весь был аккуратный, подтянутый, без всякой рисовки. Я прекрасно представлял себе мысленно, как этот человек где-нибудь в окопе переднего края, попав в неожиданные критические обстоятельства, точно так же аккуратно, как он это делает за своим письменным столом, читая бумаги, вынет из кармана пенсне, наденет на нос и, каждый раз тщательно прицеливаясь, будет стрелять до последнего патрона, который так же аккуратно непременно оставит для себя, отнюдь не забыв об этом в горячке боя.

Наконец после блужданий мы выехали на верную дорогу. Впереди, слева и справа почти беспрерывно светили немецкие ракеты. Вдоль дороги и слева от нее стояла поставленная на прямую наводку артиллерия средних и малых калибров. Очевидно, до переднего края в эту сторону было не больше километра.

Мы двинулись дальше с малым светом и вскоре через пролом в разбитой стене въехали во двор полуразрушенного фольварка. Во дворе была такая грязь, что машина застряла в ней.

— Далеко еще? — спросил Мехлис.

— Нет, метров сто.

— Пойдемте.

Мы прошли через забитый людьми фольварк и, сделав шагов полтораста по лесу, оказались у входа в большой блиндаж, крытый пятью или шестью накатами бревен.

— Здравствуйте,— сказал Мехлис вышедшему ему навстречу из блиндажа высокому, большому Гречко, одетому в кожаное пальто и полевую фуражку.— Здесь ваш НП? — в голосе Мехлиса прозвучало удивление.

— Да, здесь.

— Что же вы можете наблюдать отсюда?

— Во-первых, отсюда кое-что видно, а, во-вторых, для наблюдений у меня вышка.— Гречко показал наверх, и я увидел в двадцати метрах от блиндажа построенную меж трех сосен и хорошо замаскированную большую, аккуратно сделанную вышку с большой аккуратной площадкой наверху и поднимавшейся к этой площадке удобной деревянной лестницей. И здесь все снова было устроено точно так же, как в тот раз, когда я впервые был у Гречко. Видимо, таков был его стиль. Кто-то другой, может быть, выбрал бы для наблюда-

тельного пункта соседний фольварк. Гречко, должно быть, любил хорошо сделанные блиндажи и вот такие вышки среди деревьев.

Мы спустились в блиндаж. Там стояли стол, три стула и голая кровать с железной сеткой.

— Что говорят метеорологи? — сразу же спросил Мехлис.

— Ничего хорошего не обещают,— сказал Гречко.

Погода и в самом деле была отвратительная. Ночью шел дождь, земля размокла, а дождь продолжался. Похоже было, что он затяжной.

— Может быть, вы отмените наступление? — в упор глядя на Гречко, сказал Мехлис.

Я почувствовал за этими словами напоминание о неудаче предыдущего наступления. Гречко ничего не ответил.

— На какой час у вас намечено? — спросил Мехлис.

— Артподготовка намечена на десять,— сказал Гречко.— Но мы сначала в семь двадцать проведем частичную артподготовку и разведку боем. По одному батальону от каждой из трех дивизий. Этой разведкой боем мы обнаружим, не ушел ли противник, захватим пленных и узнаем от них, не догадался ли он о предстоящем ударе. А если он раньше не догадался и начнет отходить на вторую линию сейчас, встревоженный этой разведкой боем, то сделать этого он все равно не успеет.

— На сколько назначена разведка боем? — переспросил Мехлис.

— На семь двадцать,— повторил Гречко.

Мехлис вышел на улицу, постоял там несколько минут и вернулся в блиндаж.

— Ничего не видно, видимости никакой.

— Да, видимости никакой,— согласился Гречко.

— Может быть, есть смысл отложить? — сказал Мехлис, впиваясь в Гречко глазами.— Сколько осталось времени до вашей частичной артподготовки?

— Еще двадцать пять минут,— сказал Гречко.— Сейчас я прикажу начальнику штаба связаться с командующим фронтом. На то, чтобы всех известить, что откладывается, нужно десять минут. Все сидят на телефонах. Товарищ Павлов? — Гречко назвал начальника штаба каким-то псевдонимом.— Позвоните от моего

имени командующему, что видимость не улучшается. Есть основания все отложить на час.

Мехлис чуть заметно поморщился. Кажется, ему не понравилась эта формула запроса.

Мы вышли из блиндажа. Через некоторое время Гречко тоже вышел и сказал Мехлису, что приказано все отложить на час. Он вернулся в блиндаж, а я продолжал стоять с Мехлисом на воздухе. Погода была все та же. Минуло и семь часов, и семь двадцать, и восемь... В начале девятого Гречко снова вышел из блиндажа, и я оказался свидетелем их разговора с Мехлисом.

— Погода не улучшается,— сказал Мехлис.— Может быть, лучше вообще все это отложить?

— Командующий фронтом не давал мне таких указаний,— сказал Гречко.

— Но вы-то высказали ему свое мнение, что вы против того, чтобы начинать?

— Высказал.

— Ну и что он?

— Приказал отложить на час. Никаких других указаний не давал.

— То есть это вы считаете, что высказали ему свое мнение, когда при мне связывались с ним через своего начальника штаба по телефону? — сказал Мехлис.

— Да,— спокойно сказал Гречко.

— Возьмите на себя ответственность и отложите,— сказал Мехлис.

— Командующий фронтом таких указаний не давал,— еще раз повторил Гречко.

— А вы сами! Вы знаете решение Ставки по прошлому наступлению?

— Нет, не знаю,— сказал Гречко.

— Так вот я вам скажу. Решение Ставки было таким: мы могли попросить об отсрочке, нам бы ее дали, если б мы ее попросили. А мы этого не сделали и поплатились. Я бы на вашем месте отменил сегодня наступление. И донес бы об этом.

— Нет,— сказал Гречко.— Или я должен рассматривать ваши слова как приказание?

Это был вызов, которого Мехлис не мог принять. В таком вопросе член Военного совета не мог отменить приказания командующего фронтом. Это было бы неслыханное. И Гречко это знал.

— Так свяжитесь еще раз с командующим фронтом,— сказал Мехлис.

— Поздно,— сказал Гречко: — Через пять минут начнется. Уже поздно и связываться и отменять.

И в самом деле, на часах уже было четверть девятого. До начала подготовки оставались минуты. Я посмотрел на стоявшего рядом с Мехлисом Гречко. Несмотря на свой внешне спокойный вид и свое, видимо, твердое решение, вопреки нажиму Мехлиса не запрашивать вторично командующего фронтом, он, должно быть, все-таки нервничал и, закинув за спину руки, пальцами одной покручивал пальцы другой.

Предшествовавшая наступлению передовых батальонов частичная артподготовка оказалась довольно внушительной. В грохот орудий прорвались короткие залпы легких, установленных на «виллисах» эрэсов. Словом, все было сделано для того, чтобы полностью имитировать обычный характер нашей артподготовки.

— Ну, «Борисы» пошли,— сказал Гречко, продолжая крутить пальцы. «Борисами» он называл свои батальоны, пошедшие в разведку боем.

Погода все еще не прояснялась. Но Мехлис, который до сих пор относился критически к возможностям улучшения погоды, теперь безотрывно глядел на небо, искал и то здесь, то там находил какие-то просветы. Теперь, когда наступление уже началось, он хотел, чтобы погода во что бы то ни стало исправилась, и почти галлюцинировал.

— Вон, смотрите,— говорил он.— До этого места не меньше четырехсот метров, а может быть, и все пятьсот (на самом деле до этого места вряд ли было триста), а там уже деревья около дороги видны. Вон, видите, танк идет. А полчаса назад его не было бы видно. А вон справа появились разрывы в облаках. Может, и небо выглянет. Видите?

Была обычная пауза после начала артподготовки, когда какое-то время на наблюдательном пункте все нетерпеливо ждут первых донесений.

Я стоял вместе с Мехлисом и Исаевым, и у нас, уже не помню, с чего, зашел разговор о солдатских посылках с фронта домой. Исаев рассказал о том, что многие солдаты посылают домой стекло — обивают стекло досками и приносят,— потому что им из дома написали, что стекла нет. А на почтовом пункте посылку не при-

нимают — нельзя, не подходит по габариту, а кроме того, бьется.

— Давай принимай! — говорит солдат.— Давай принимай! Немцы мне хату побили. Принимай посылку, а то ты не почта, раз не принимаешь.

Многие посылают мешки с гвоздями, тоже для новой хаты. А один принес свернутую в круг пилу.

— Ты бы во что-нибудь завернул ее,— сказали ему на почте.

— Принимай, принимай, чего там! Мне некогда, я с передовой.

— А где ж у тебя адрес?

— Адрес на пиле написан, вот, видишь?

И действительно, там, на пиле, химическим карандашом был написан адрес.

Услышав этот рассказ Исаева, я вспомнил о другой истории, которую мне недавно рассказывали. После взятия какого-то из маленьких немецких городков старшина роты, в прошлом председатель колхоза, наткнулся там на брошенный хозяевами магазин мужских шляп. У него была с собой ротная повозка, он погрузил на нее шляпы, а потом сделал большую посылку: запаковал, всунув одна в другую, тридцать новых фетровых шляп и послал их к себе в колхоз с письмом, в котором писал жене: «Посылаю к Первому мая подарки колхозникам. Раздай всем мужикам, которые остались живы. Пусть к Первому мая оденут, меня вспоминают».

Гречко, уходивший в блиндаж, вернулся.

— «Борисы» пошли. Хорошо пошли.

— Да, а лучше все-таки было бы отложить,— сказал Мехлис.

— Трудно это делать,— сказал Гречко.— Это значит, все настроение сорвать у людей, если отменить. У людей настроение наступательное. Поскорее наступать, а потом поскорее по домам.

— Это, знаете ли, опасное настроение,— сказал Мехлис.

— Почему опасное?

— Потому, что в этой фразе излишний акцент ставится не на слове «наступать», а на словах «по домам».

Гречко не стал отвечать. Промолчал.

Артподготовка продолжалась. Длилась она примерно минут пятнадцать.

Я спросил Гречко:

— Какова мощь этой частичной артподготовки по сравнению с той основной, которая будет позже?

— Примерно такая,— сказал Гречко.— Сейчас по два дивизиона на каждый батальон действует и еще кое-что. В общем, сто орудий в течение пятнадцати минут. А когда начнется не ложная, а настоящая, будут действовать девятьсот орудий да плюс тяжелые эрэсы, и не пятнадцать, а сорок пять минут. Раз в тридцать мощнее.

— А как вы считаете, немцы принимают это сейчас за настоящую артподготовку?

— Думаю, что так. Мы и легкими эрэсами по ним палили, и все-таки, когда сто орудий густо бьет, это сильный огонь, в особенности если воспринимаешь это не здесь, а там, где разрывы ложатся.

Вскоре пришло донесение по телефону: взяли первых семь пленных. Продвинулись метров на триста за железную дорогу. Все пленные из штрафной роты 1-й танковой армии. Рота эта села в окопы только сегодня ночью, но пленные говорят, что нашего наступления сегодня не ждали. Вообще-то знали, что наступление готовится, поэтому их и посадили на передний край в окопы, но, когда именно будет это наступление, не знали.

К Мехлису подошел командующий артиллерией фронта Кариофилли. У них сразу зашел разговор об артиллерийской арифметике — сколько, когда и где истрачено снарядов, сколько, когда и где их будет нужно.

— Надо пооборотистей быть,— сказал Мехлис.— Надо все, что можно, сверху вытаскивать. Я вот звоню наверх и, если на звонок ответ положительный, не дожидаюсь документов, начинаю действовать без них. Привожу и расходую! Мне нужно, чтобы начальство сказало «а», а все остальное мы тут и без него договорим.

Разговор перешел на 18-ю армию, где собирались менять кого-то из артиллерийских начальников.

— Надо Гастиловича подтягивать,— сказал Мехлис о командующем 18-й армией.— Они наступать еще не начали, а надо, чтобы подтянулись. А то левый фланг так отстает, что даже на карте некрасиво выглядит. Правда, и все мы отстаем. Кажется, нас скоро Второй и Первый Украинский фронты в окружение возьмут,— добавил он с горькой усмешкой.

— Что наблюдаешь? — спрашивал в это время Гречко у командира дивизии. И, положив трубку, сказал: —

Жалуется, что ничего не видит. Даже боя своего батальона не видит, хотя находится от него в пятистах метрах.

Мимо нас прокатил маленький связной броневичок.

— Знаете, как этот броневичок солдаты зовут? — спросил Исаев у Мехлиса.

— Нет, а как?

— «Прощай, родина!».

— Ну да, конечно, броневая защита у него плохая,— сказал Мехлис.— Но ведь его никуда и не посылают, только так, для связных офицеров.

Артподготовка закончилась. Теперь били только орудия сопровождения. Немцы начали все сильнее огрызаться. Где-то впереди рвались их мины и снаряды и слышалась ожесточенная ружейно-пулеметная стрельба. Из дивизии докладывали, что пленных взяли уже сорок семь человек, все на одном километре по фронту и все из штрафной роты, которая, наверное, и занимала целиком как раз на этом километре всю первую траншею.

— У ну, дайте залп между первой и второй линиями траншей, чтобы противник не оторвался и не ушел,— скомандовал кому-то по телефону Гречко. И, положив трубку, с бо́льшим оживлением, чем все, что он говорил до сих пор, сказал: — Думаю, что мы дезориентировали противника. Он решит после этой разведки боем — он сейчас уже понял, что это была разведка боем, а не наступление,— что мы сегодня будем уточнять результаты, допрашивать пленных и начнем наступление завтра. А мы начнем его сегодня.

— Сорок семь пленных, да еще штрафников,— сказал Мехлис,— сразу же во время разведки боем — это симптоматично. Видимо, воюют без большой охоты.

— Но вот погода не улучшается,— сказал Гречко. Мехлис холодно посмотрел на него.

— А по-моему, погода стала лучше.

По своему характеру он, по-видимому, любил, чтобы желаемое как можно скорее становилось действительным, и ему казалось, что погода улучшается, хотя она ничуть не переменилась.

— Ветер, наверное, все же разгонит туман,— сказал он.

— Ветер не сильный,— сказал Гречко.— Даже ветки не шевелятся.

— А вы не смотрите на ветки. Всегда на дым надо

смотреть,— сказал Мехлис. И он показал на шедший из трубы дым.

— Видите, ветер порядочный.

К Гречко подошел полковник, командир полка самоходных орудий.

— Готовы люди? — спросил Гречко.

— Готовы.

— Хорошо. Имейте в виду, Гордеев, возможно действие немецких самоходок вдоль шоссе. Предусмотрите это.

Мы снова зашли в блиндаж.

— Как наши снаряды ложатся, наблюдаете? Какое настроение? — спрашивал по телефону Гречко. Его, видимо, плохо слышали.— Настроение у людей какое? — громко повторил он.— Хорошее настроение у людей. Подбодрите людей. Скажите им добрые слова перед атакой, и пусть не обращают внимания на погоду.

— Когда начнете общую артподготовку? — спросил Мехлис, который больше не поднимал вопроса о приостановке наступления.

— Через полчаса, в одиннадцать ровно,— сказал Гречко.

— А будут артиллеристы видеть цели? — спросил Мехлис.

На это вместо Гречко ему ответил Кариофилли:

— Не будут. Тут главная беда, что в полосе наступления повсюду хутора и фольварки. А по каменным домам, чтобы их разгромить, нужно бить тяжелыми орудиями. А их ближе, чем на километр, не подтащишь на прямую наводку. А хорошо видно всего на пятьсот метров. Это в лучшем случае.

Гречко тем временем продолжал обзванивать по телефону командиров дивизий.

— Подбодрите, подбодрите людей, скажите им хорошие слова. Пусть не обращают внимания на погоду. И сами помните, что я требую от вас не останавливаться до самого Прухно.

Следующий звонок к следующему командиру дивизии.

— Подтягивайте пехоту ближе, как можно ближе к разрывам наших снарядов и дружней атакуйте. Вот и все. В один голос жалуются на плохую видимость,— закончив переговоры, сказал Гречко.

Мехлис ничего не ответил.

Осталась одна минута.

Мы вышли на воздух, и сразу же грянула артподготовка. Метрах в трехстах от нас стояли тяжелые ящики М-31; реактивные снаряды летели, похожие на большие черные стрелы, и было в них что-то средневековое, что-то от катапульты, от метательных снарядов древних времен. Сразу, когда они вылетали, за ними шел огненный хвост, похожий на хвост лисицы. Потом он погасал, и оставалась лишь черная, продолжавшая лететь далеко вверх стрела. После каждого залпа какой-то запоздавший снаряд летел в одиночку.

— Ишь, смотрите, как гусь,— сказал кто-то, и сказал очень точно.

Все грохотало и стучало, как на большой молотилке.

Через сорок пять минут артподготовка кончилась, началась стрельба артиллерии сопровождения. И пехота пошла в атаку. Отсюда ничего не было видно, хотя в ясную погоду этот наблюдательный пункт, наверное, был бы отличным. На затянутую туманом даль вторым пологом лег дым от разрывов.

Едва кончилась артподготовка, как впереди начали рваться немецкие мины и возник ожесточенный пулеметный огонь, особенно слева.

— Не подавили до конца,— сказал Гречко.— Не подавили всех целей.— И грустно щелкнул языком.

Через полчаса стали поступать первые донесения. Командир одной из дивизий доносил, что он дошел до железной дороги, но дальше не может продвинуться — немцы фланкируют ее справа артиллерийским огнем, и он несет потери.

— Во-первых,— сказал ему Гречко по телефону,— если вы сейчас боитесь потерь, то вы, простояв на месте, потеряете еще тридцать минут, и это будет самая важная потеря. А потом я все-таки прикажу вам двигаться вперед, и вы будете двигаться и потеряете втрое больше, чем потеряли бы сейчас. А во-вторых, насчет немецкой артиллерии неправда, не может быть у вас сильного огня немецкой артиллерии, она подавлена, и мы отсюда не слышим ее, она по вас не бьет. Вы неверно доносите. Идите вперед — и все.

После этого звонка он сейчас же позвонил командиру корпуса.

— Такой-то (Гречко назвал фамилию командира дивизии) мне доносит, что ему во фланг бьет немецкая артиллерия. Сейчас же помогите ему. Дайте огонь по немец-

кой фланкирующей батарее, и мощный огонь! Помогите как следует.

— Педагогика,— усмехнулся Кариофилли.

— Так точно,— сказал Гречко.— Может быть, по нему и в самом деле бьет с фланга немецкая артиллерия. Но ему-то надо внедрить в голову, что я не принимаю этого в расчет. А командир корпуса пусть на всякий случай все-таки ему поможет.

Между тем пулеметный огонь не стихал. И уже по одному этому чувствовалось, что немцы, особенно слева от нас, не отошли, сидят там, где сидели.

Мы ходили снаружи перед блиндажом и довольно долго молчали. Потом Мехлис сказал:

— У немцев метеорология есть составная часть военной науки. Они ждут погоды для наступления, как летчик для кругосветного полета. Ждут и пять дней, и десять, и пятнадцать, сколько им нужно. И дожидаются идеальной погоды. И в эту идеальную погоду идеально используют все, что могут использовать. А нас они давно изучили, изучили наше упрямство. Есть погода, нет погоды, раз решили, значит, будем наступать. И они это учитывают и к этому готовятся. Раз мы уже назначили день, то не отменим ни при каких обстоятельствах.

Свистнул снаряд и разорвался где-то далеко сзади.

Я вспомнил рассказ Бориса Смирнова о том, как он сидел на пункте наведения авиации вместе с несколькими солдатами-артиллеристами. Им только что подвезли суп, и они ели его из котелков. В это время начался немецкий артналет. Когда снаряды свистели и рвались далеко сзади, солдаты, усмехаясь, говорили про них: «Это не наш, это генеральский пошел... И это генеральский... А вот это наш». Солдат, сорвав с головы пилотку, прежде чем лечь, накрывал ею котелок с супом.

— Ну да,— сказал Мехлис.— Снарядов-то иногда много бывает за день, а суп один. Если земля в него попадет, никто второй порции не привезет...

Уже шел четвертый или пятый час наступления. Погода становилась немножко лучше, но артподготовка, которая должна была обеспечить прорыв, не обеспечила его. Оставались надежды на авиацию в случае, если погода существенно улучшится.

Гречко продолжал отдавать приказания по телефону, настаивал на необходимости продвинуться до Прухно.

Но в воздухе уже чувствовалось, что на сегодня наступление не удалось.

Я пошел повидать Альперта, которому скверная погода тоже мешала. Интересных снимков не предвиделось.

— Долго вы еще здесь пробудете?— спросил меня Альперт, с тоской глядя на продолжавшее сыпать дождем небо.

— Да нет, думаю, скоро поедем.

— Сегодня тут нам, по-моему, нечего делать,— сказал он.

Я должен был с ним согласиться. Пожалуй, делать нам тут действительно было уже нечего, только портить людям настроение своим присутствием.

Когда я вернулся, Мехлис у входа в блиндаж разговаривал с Гречко.

— Значит, никаких перемен?

— Да, досадно,— сказал Гречко.— Справа домиков не заняли, и слева никаких перемен.

Он явно не старался приукрашивать положение и говорил спокойно, с некоторой ноткой горечи.

— Да, нового уже, значит, ничего. Что сделано во время разведки боем, то и сделано,— сказал Мехлис.

— Еще человек двадцать пленных взяли,— сказал Гречко.

Мехлис простился с Гречко и, отойдя несколько шагов от блиндажа, вдруг сказал:

— Хотел поехать отсюда в 38-ю, но сил нет. Не ложился сегодня. Поеду в штаб фронта сейчас, посплю. А вы?— спросил он меня.

Я ответил, что, наверное, тоже скоро поеду, но пока еще немного побуду здесь. И пошел проводить его до машин.

Обе машины Мехлиса стояли уже на ходу, на дороге, но адъютантов не было, они куда-то ушли, и один из водителей побежал за ними. Приходилось ждать.

Мы довольно долго стояли с Мехлисом и смотрели на кладбище вблизи от дороги, около большого фольварка, обнесенное аккуратной оградой. Внутри этой ограды поднималось пятьдесят или шестьдесят больших и малых, сбитых из досок и выкрашенных желтой и красной краской пирамид и пирамидок. Под большими пирамидами были братские могилы солдат и сержантов, под малыми пирамидками были похоронены офицеры. Немолодой солдат, держа в руках бумажку, наверно, с памяткой,

окунал в ведерко кисть и масляной краской писал фамилии на той пирамиде, на которой их еще не было. Я вошел в ограду. Мехлис тоже. Одна, вторая, третья... У солдат были по большей части украинские фамилии, и я обратил на это внимание Мехлиса.

— Да, да,— сказал он.— Пехота в последнее время пополняется за счет Западной Украины, Белоруссии, в особенности Западной Украины. А это самый прожорливый род войск.

Я спросил, правду ли я слышал, что старший командный состав, начиная от майора, есть приказание хоронить на родине. Правда это или нет?

— Возят на родину,— сказал Мехлис.— Бывает. Но указания такого нет. Оно было бы неверным.

— Почему?— спросил я.

— А потому, что тут своего рода диалектика. С одной стороны, казалось бы, можно отвезти офицера и похоронить на родине, а с другой стороны, разве можно разделить так людей после смерти? Солдаты будут говорить: с немцами боролись вместе, а хоронят отдельно. Нет, это нехорошо, это неверно,— сухо сказал он. И, помолчав, добавил:— Это вредно.

Снова помолчав, сказал, что сейчас дело упорядочено. Офицеров приказано хоронить только в населенных пунктах, старших офицеров только в городах, а на родину никого не возить.

Адъютанты Мехлиса появились, он уехал, а я пошел обратно к Исаеву. Мы вспомнили с ним о Мурманске, где впервые в начале войны встречались, а потом о Москве.

— У вас есть в Москве квартира?— спросил я его.

— Насколько это можно назвать квартирой,— усмехнулся он.— Восемь метров на восьмом этаже, без лифта, жена и дети.

— А где вы жили до войны?

— В военном городке. И сразу оттуда попал на войну.

Исаев вместе со мной зашел к Гречко. Я, чувствуя, что в такой день, как сегодня, я здесь лишний, и чем дальше, тем больше, поспешил откланяться.

— Всего доброго,— сказал Гречко.— Приезжайте в другой раз. Сегодня вы здесь ничего для себя хорошего и интересного уже не увидите.

Лицо его было печально, спокойные руки потирали одна другую. При всем своем спокойствии он в душе переживал неудачу дня, и это чувствовалось.

Мы вместе с Бойковым и Альпертом сели на «виллис» и поехали обратно в штаб 38-й. Выехав, долго колесили по грязной дороге, ехали мимо артиллерийских позиций, мимо отстрелявших утром пушек. У пушек под плащ-палатками сидели артиллеристы, курили, перекусывали. Сделав свое дело, отстрелявшись, усталые и промокшие, они казались сейчас равнодушными ко всему на свете.

Часть пути мы проехали по той самой дороге, по которой я когда-то, в первый день наступления, 10 марта, вместе с Петровым ехал из 38-й в 1-ю гвардейскую. Я с грустью вспомнил Ивана Ефимовича. Погода в тот день тоже была плохая, по-другому, чем сегодня, но тоже плохая. Дорога, которая раньше шла вдоль недавнего переднего края, сейчас уже не напоминала о нем. На ней не было ни трупов, ни брошенного оружия. Только на перекрестке стоял грузовик, а рядом с ним лежали на земле опрокинутая повозка и сбитая машиной окровавленная, еще дергающаяся лошадь. Над лошадью возился повозочный, распрягая ее, а регулировщик, положив на капот грузовика блокнот, писал протокол...

Когда в тот день, на наблюдательном пункте у Гречко, Мехлис настаивал на переносе времени наступления из-за плохой погоды, мне казалось, что, наверно, именно об этом же, о погоде, шла речь и в том решении Ставки по предыдущему наступлению, на которое Мехлис ссылался, стремясь нажать на неподатливого командира 1-й гвардейской.

Но на самом деле в решении Ставки речь, оказывается, шла не о погоде, а о неготовности войск. О том, что «командующий фронтом генерал армии Петров, установив неполную готовность войск к наступлению, обязан был доложить об этом Ставке и просить дополнительное время на подготовку, в чем Ставка не отказала бы».

Этот документ ныне опубликован в воспоминаниях маршала Москаленко.

Вспоминая сейчас то утро на НП 1-й гвардейской армии, невольно задаю себе вопрос: а почему же Мехлис, так настаивая на переносе наступления, сам не позвонил Еременко, сам не сказал ему своего мнения? Может быть, только что будучи причастен к снятию прежнего командующего фронтом, он не захотел с первых

же шагов оспаривать решений нового? И практически хотел переложить ответственность и за отмену наступления, и за неотмену его всецело на плечи командарма?

Вообще-то уклончивость была не в характере Мехлиса, но в данном случае мне кажется, что я близок к истине. Тем более что и к начатому им же самим разговору о Петрове он так и не вернулся, хотя перед его отъездом мы остались с ним один на один и ничто не мешало ему закончить этот разговор.

При оценке причин снятия Петрова с командования Четвертым Украинским фронтом мне трудно отойти от своего личного отношения, не боюсь сказать, от своего пристрастия к этому человеку, с которым я дружил до последних дней его жизни.

Однако все же попробую это сделать.

Сказать про Ивана Ефимовича Петрова, как я сам думал тогда и как сочувственно сказал мне о нем Ортенберг: «вот уж кому не везет, так не везет», беря всю войну в целом, нельзя. Петров начал ее в звании генерал-майора в Одессе, формируя из ветеранов кавалерийскую дивизию. А встретил День Победы генералом армии, начальником штаба одного из двух крупнейших наших фронтов — Первого Украинского. После войны он поехал командовать Среднеазиатским военным округом, в котором до войны был начальником пехотного училища. А закончил жизнь на посту Главного инспектора Вооруженных Сил. Так что, если брать весь его жизненный и военный путь, считать его неудачником не приходится.

Но во второй половине войны он трижды пережил драму снятия с должности, и, мне кажется, это наложило на него свой отпечаток.

В первый раз это было на Кавказе после предпринятых совместно с флотом неудачных десантных операций в Крыму.

Во второй раз — на Втором Белорусском фронте, который Петров готовил к наступлению, но был снят до его начала.

Не беру на себя смелости судить об этой истории, но, чтобы помочь представить, какое психологическое воздействие она могла иметь на Петрова, приведу абзац из воспоминаний генерала С. М. Штеменко.

«...Однажды, когда мы с Антоновым были на очередном докладе в Ставке, И. В. Сталин сказал, что член Военного совета 2-го Белорусского фронта Мехлис при-

слал ему письмо, в котором обвинил И. Е. Петрова в мягкотелости и неспособности обеспечить успех операции и, кроме того, сообщил, что Петров болен и много времени уделяет врачам. Мехлис не постеснялся вылить на голову Петрова ушат и других неприятных и, по существу, неправильных обвинений. Для нас они оказались совершенно неожиданными. Все мы знали Ивана Ефимовича Петрова как смелого боевого командира, разумного военачальника и прекрасного человека, целиком отдающегося своему делу. Он защищал Одессу, Севастополь, строил оборону на Тереке. Нам пришлось неоднократно бывать у него в Черноморской группе войск Закавказского фронта, на Северо-Кавказском фронте и в Отдельной Приморской армии, и мы были убеждены в его высоких командирских и человеческих качествах. Однако по навету Мехлиса он был снят, прокомандовал фронтом всего полтора месяца. Необоснованность снятия И. Е. Петрова вскоре стала очевидной. Ровно два месяца спустя, 5 августа 1944 года, он был вновь назначен командующим 4-м Украинским фронтом, а 26 октября этого же года получил звание генерала армии».

О том, как выглядело третье снятие Петрова, что я об этом тогда слышал и что чувствовал, рассказано в моих записных книжках.

Вспоминая сейчас о том, как все это было тогда, думаю, что существовало три момента, психологически отягощавших для Петрова его снятие с должности. Во-первых, членом Военного совета на Четвертом Украинском фронте у него снова оказался Мехлис, прямо причастный к его предыдущему снятию. Во-вторых, горькая для Петрова ирония судьбы была и в том, что уже во второй раз за войну его сменял А. И. Еременко. Такое нечасто случается. И, наконец, в-третьих, это неожиданное снятие с должности произошло как раз в тот момент, когда дела на фронте пошли лучше...

Как все это воспринял тогда я, уже сказано. Но недавно в книге маршала А. А. Гречко «Через Карпаты» я с большим интересом прочел о том, как отнесся тогда к снятию Петрова командующий 1-й гвардейской армией. Приведу эту выписку, как мне думается, весьма важную для понимания всего происшедшего тогда:

«25 марта наступление войск 38-й армии и двух корпусов 1-й гвардейской армии продолжалось. Преодолевая упорное сопротивление, наши войска углубили и

расширили прорыв, создав угрозу выхода к крупному узлу дорог — городу Лослау.

В этот день командующий войсками 4-го Украинского фронта генерал армии И. Е. Петров и начальник штаба фронта генерал-лейтенант Ф. К. Корженевич были освобождены от занимаемой должности. Командующим фронтом был назначен генерал армии А. И. Еременко, начальником штаба — генерал-полковник Л. М. Сандалов. Истинные причины смены командования фронта генералам и офицерам армейского звена не были известны, но все очень сожалели об уходе с поста командующего генерала Петрова, талантливого военачальника, скромного и отзывчивого человека... Вскоре генерал армии И. Е. Петров был назначен начальником штаба 1-го Украинского фронта, где проявил себя с наилучшей стороны».

На этом новом посту я и встретил Петрова ровно месяц спустя, в последний раз за войну.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Записная книжка за 31 марта 1945 года.

...За весь этот день подробной записи заслуживает, пожалуй, только моя четырехчасовая беседа в Гинденбурге с немецким католическим священником, с которым Зауэр предлагал повидаться еще в прошлый мой приезд, но сделать это я смог только теперь. Мне предстояли еще другие дела, и я, встретившись с Зауэром у заместителя коменданта, попросил его организовать встречу с католическим патером в вечерние часы.

— К тому времени будет уже темно,— сказал Зауэр.— А в немецких домах все наглухо запираются на ночь.

— Да,— подтвердил заместитель коменданта,— немцы запираются. Боятся насилий, боятся грабежей, вообще всего боятся. И когда нам в комендатуре надо срочно разыскать кого-нибудь из них после наступления темноты, перед нами дилемма: или идти ломать дверь, или брать с собой кого-то из немцев, сотрудничающих с нами, и вместе с ним стучаться в нужный нам дом.

Услышав это, я невольно вспомнил свой разговор с маршалом Тито о том, как немцы в сорок первом году, после оккупации Белграда, под страхом смертной казни запретили жителям запирать на замок свои двери. И, вспомнив это, подумал, что, несмотря на свою суровость, мы, однако, достаточно гуманны с ними.

Зауэр предложил выход: он сейчас пойдет сам, предупредит патера о встрече, а вечером мы встретимся в комендатуре и вместе пойдем к нему.

Так и сделали.

Вечером Зауэр пришел в комендатуру вдвоем с переводчиком, и мы пошли.

Ночь была черная, хоть выколи глаз. Город как вымер. И мне было немножко странно: вот я иду безоружный (я забыл пистолет в кожанке в комендатуре, и возвращаться за ним не хотелось) с двумя немцами ночью по немецкому городу к третьему немцу. Хотя, впрочем, как раз то, что я шел с двумя этими немцами, и было гарантией моей безопасности. Случись со мной что-нибудь, их судьба была бы печальной.

Мы подошли к большому дому и постучали в решетчатую железную калитку. Над нами в окне появился свет фонаря, он осветил нас, и калитка открылась. Должно быть, в ней был замок, соединенный электрическим проводом с домом.

Мы поднялись по лестнице, и нас встретил в дверях человек, которого я сначала в темноте не разглядел. Мы прошли с ним в комнату. Оказалось, что это сам патер. Он был в черной сутане, с большим красным крестом на груди. И я подумал, что он, наверное, не только приходский, но и госпитальный священник. Так и оказалось: большое кирпичное здание с железной решеткой вокруг было госпиталем, в котором находилась и приходская католическая церковь.

Патеру было за шестьдесят. Он был среднего роста, плотный, с белыми холеными руками, с бледным и, несмотря на резкие черты, красивым старческим лицом.

Комната была низкая, выкрашенная сероватой краской, на стене висело большое распятие, а посредине стоял стол с четырьмя креслами и на нем четыре чайные чашки. Я знал, что многие католики вообще, а католические священники в особенности, в начале власти Гитлера находились в некоторой оппозиции к нему. Знал, что многие из них сидели в лагерях, а ко времени прихода Гитлера к власти в своем большинстве представляли сторонников другой политической ориентации и поддерживали католическую партию центра. Я считал заранее, что до конца искренних ответов мне здесь не получить, но на некоторую откровенность все же рассчитывал и думал, что с известными поправками смогу составить себе

приблизительное представление о настроениях немецких католических кругов.

После уже обычного для таких разговоров предисловия, что я прошу быть откровенным и что меня интересует объективная картина, я начал с вопроса, за кого патер голосовал в 1933 году, в год прихода Гитлера к власти.

Он с некоторым удивлением пожал плечами: «Как за кого голосовал? Конечно, за католическую партию центра!»

Тогда я спросил его:

— Ну а если бы представить себе задним числом невозможное, что в 1933 году в Германии взял в свои руки власть не Гитлер, а католическая партия центра, какую внешнюю политику она проводила бы?

— Совершенно другую,— быстро ответил патер.

— Но все-таки какую?

— Во всяком случае, не политику войны,— сказал он.

— Но ведь любая партия, которая могла бы прийти к власти в то время, должна была бы выдвинуть своим лозунгом пересмотр Версальского мира. Разве этот лозунг не был в числе лозунгов вашей католической партии?— спросил я.

— Был,— сказал он.

— Но ведь трудно предположить, что эта ревизия Версальского мира могла произойти мирным путем.

— Почему?— возразил он.— Мы могли бы добиться ее мирным путем.

— Каким образом?

— Мы бы не пошли на войну,— сказал он,— ни при каких обстоятельствах.

— Давайте тогда разберем проблему по частям,— сказал я.— Начнем с Саара.

— Ну, с Саарской областью вопрос был бы решен как раз мирно,— сказал он.— Плебисцит там, безусловно, прошел бы в нашу пользу, и она бы принадлежала нам.

— Хорошо,— сказал я.— Ну а как быть со вторым вопросом? Как бы произошел аншлюс Австрии?

— А мы бы не ставили этого вопроса.

— Совсем?

— Нет, не совсем. Мы бы ставили этот вопрос в экономическом разрезе: экономический аншлюс, экономическое взаимодействие с Австрией, в котором нуждались и мы и австрийцы. А что касается политического, госу-

дарственного объединения, то мы бы этого не требовали.

— Но разве, по-вашему, Германия и Австрия к этому не тяготели?

— Германия в известной мере тяготела. А Австрия — нет. Ни в какой мере. Ни в какой мере,— повторил он настойчиво.

— Почему же?— стал выяснять я.— Язык один. Народ, в общем, один — немцы. И там и тут.

— Положим,— сказал он,— если заглянуть поглубже в историю, мы найдем на протяжении веков много примеров борьбы между этими двумя государствами, несмотря на общность языка.

— Да,— согласился я,— это так. Но после войны 1914 года Австрия перестала возглавлять империю, которая когда-то боролась за первенство среди германских народов и вообще за первенство в Центральной Европе.

— Это верно,— сказал он.— Но тем не менее австрийцы не хотели с нами объединяться. Это совершенно другой народ. Они ненавидят пруссаков и более сносно относятся только к жителям Рейна. Рейнландцам. Я, например, когда жил там — я жил в Австрии шесть лет,— всегда говорил им, что я рейландец. И это сказывалось на их отношении ко мне. Кстати, я не лгал. Я действительно с Рейна. Австрийский народ в своей массе никогда не ставил вопроса об аншлюсе. Он был далек от этого. Австрийцы, в общем, жили хорошо, богаче, чем немцы. Они чувствовали, что при аншлюсе произойдет уравнение. И это было им невыгодно, хотя бы с чисто практической точки зрения. Не говоря уже о том, что они всегда ощущали себя отдельной национальностью.

— Да, но я видел альбомы, связанные со вступлением Гитлера в Австрию. Улицы были полны народа, и вообще все это имело характер торжества,— возразил я.— И потом, были же и там, в Австрии, внутри, сторонники аншлюса.

— Видите ли,— сказал он,— когда Гитлер уже вступил на путь аншлюса и вся его пропаганда была направлена на это, австрийцев начали запугивать изнутри, что Гитлер произведет аншлюс с помощью вооруженной силы. И что после этого все, кто раньше был против аншлюса, подвергнутся остракизму и наказаниям. А так как эта

угроза была вполне реальна, то австрийским фашистам и приехавшим туда немецким фашистам, видно, удалось оказать давление на Австрию, хотя сама она, повторяю, никогда не стремилась к аншлюсу.

— Значит, вы бы тогда не ставили вопроса об аншлюсе? — спросил я.

— Нет, мы бы искали формы экономического взаимодействия, это нам казалось вполне достаточным.

— Тогда перейдем к вопросу о судетских немцах,— сказал я.— Как бы вы поступили в данном случае?

— Мы никогда не ставили этого вопроса,— сказал патер.

— А как вы смотрели на то, что три миллиона немцев, живших в Судетах, оказались в составе относительно малого по сравнению с Германией государства?

— К этому вопросу надо прежде всего подойти исторически,— сказал патер.— Во-первых, судетские немцы никогда не входили в состав Германии, а входили в состав Австро-Венгрии. Следовательно, если исторически у них была своя теория государственности, то это была теория, связанная с Австро-Венгерской монархией, а не с Германией. Во-вторых, в жизни народа национальные лозунги — это одно, а его повседневные потребности — это другое. Судетские немцы жили в пределах Чехословакии богато и независимо, имели своих депутатов в парламенте, своих министров в правительстве, имели полное равноправие в пределах Чехословацкой республики, и если у них и была какая-то национальная ущемленность в том смысле, в каком вы меня спрашиваете, то практически они ее никак не чувствовали. То есть они не чувствовали этого, идя на работу. А чувствовали только, собираясь в кафе за чашкой кофе и занимаясь националистическими разговорами. А сознание человека в гораздо большей степени определяет то, как он живет и что делает, чем разговоры за чашкой кофе. Идея присоединения к Германии была империалистической идеей, возникшей в империалистической Германии. Сами судетские немцы не чувствовали этой необходимости. Они примирились с существующим положением, примирились со своим существованием на территории Чехословакии. Но когда мы стали навязывать эту идею извне, она нашла там своих сторонников.

— А как ваше мнение,— спросил я,— если бы был произведен действительный плебисцит, такой, при котором

каждый чувствовал бы себя в дальнейшем в полной безопасности, вне зависимости от того, за что он голосовал? Как, по-вашему, проголосовали бы судетские немцы: за то, чтобы остаться в Чехословакии, или за то, чтобы уйти из ее состава?

— Смотря куда уйти,— сказал патер.— В Австрию или в Германию.

— За то, чтобы в принципе уйти. Все равно, в Австрию или в Германию, но уйти,— сказал я.

— Нет, это не все равно. Возможно, они проголосовали бы за то, чтобы уйти в Австрию. А насчет Германии не знаю. Допускаю, что до 1933 года, до прихода Гитлера к власти, они могли бы проголосовать за присоединение к Германии. Но после прихода Гитлера к власти, а тем более в 1937—1938 годах, когда готовилась война и когда гитлеровский режим уже вполне проявил себя как террористический, я сомневаюсь в успехе плебисцита в пользу Германии при том, конечно, условии, что голосовавшие не были бы предварительно запуганы и не боялись бы последствий.

— Значит, вы сами никак не ставили судетской проблемы?

— Нет, мы ее не ставили.

— Так. А Польский коридор?— спросил я.

— Польский коридор — да. Это была для нас очередная и труднейшая для разрешения проблема,— сказал он.— Мы считали, что Польский коридор должен быть уничтожен, и этот вопрос стоял в нашей программе.

— Но ведь вы говорите, что хотели все решить мирным путем. А Польша ни при каких обстоятельствах не отдала бы вам коридор без войны.

— Нет, мы не пошли бы на войну даже из-за Польского коридора,— сказал патер.— Но мы и без войны добились бы своего. В крайнем случае мы пошли бы на компенсацию.

— На какую компенсацию?

— Мы бы отдали полякам восточную часть Восточной Пруссии и таким образом предоставили бы им другой коридор с выходом к морю, однако не разрезающий нашу территорию. А взамен получили бы себе территорию, которая была прежде Польским коридором.

— И вы бы, если предположить возможность всего этого, пошли бы на такое мирное разрешение проблемы и на компенсацию, даже зная при этом, что у вас в

кармане сила, которая может сломить Польшу, и тогда вам не придется давать никаких компенсаций?

Патер несколько мгновений молчал, думал, потом сказал:

— Видите ли, дальновидный человек рассчитывает не только на те силы, которые он может бросить на стол в первую минуту, в первый месяц. Дальновидный человек подсчитывает количество своих сил вообще, а в случае войны соотношение сил ни при каких обстоятельствах не могло в конечном итоге сложиться в нашу пользу. Вот в этом, на мой взгляд, и состоит основная ошибка Гитлера.

— И вы придерживались этого взгляда даже в дни наибольших успехов Гитлера?

— Будет неправдой сказать, что все, кто придерживался такого взгляда раньше, придерживались его и впоследствии, во время успехов немецкой армии. Но лично я — можете мне верить, можете не верить, как вам угодно,— лично я придерживался этого взгляда всегда.

Он сказал это очень убежденно и вообще, как мне показалось, говорил со мной с достаточной откровенностью, не опасаясь меня. Может быть, потому, что Зауэр заранее предупредил его о моих чисто литературных интересах, а может быть, просто по старости лет, как человек, считающий, что ему уже нечего терять.

Мы прервали разговор, чтобы выпить чаю. Патер вышел из комнаты и вернулся с большим чайником. В нем был настоящий чай, крепкий, ароматный, я давно не пил такого.

Когда мы выпили по чашке чаю, я спросил патера, какое количество католических священников в самом Гинденбурге и вообще в пределах этого административного округа было при Гитлере посажено в лагеря.

— Примерно тридцать из ста,— ответил он.

— За что?

— Главным образом, за пропаганду. Как только Гитлер пришел к власти, так сейчас же — мы этого тогда еще не знали — к нам в церкви были направлены его стенографы, которые сидели на воскресных проповедях с молитвенниками и стенографировали эти проповеди. Те, кто особенно резко высказывался против Гитлера в своих проповедях, были посажены.

— А вы сами не попали в эту историю?— спросил я.

— Чуть не попал,— сказал он.— Но в гестапо в Гинденбурге служил один католик, который перед этим надолго исчезал из города, но в молодости был моим прихожанином и исповедовался у меня. Он вызвал меня к себе, показал мне стенограмму моей проповеди и предложил мне, не выходя из его кабинета, написать другой текст, такой, который не слишком заметно отличался бы от стенограммы, но в то же время благодаря смягчению уже не представлял бы для меня реальной опасности. Я это сделал и таким образом с его помощью избегнул опасности, чего не смогли избегнуть многие мои коллеги.

— А какое количество членов фашистской партии среди ваших верующих было перед началом войны?

— Большое. Но меньше, чем среди протестантов, и учтите при этом, что для многих, в особенности если говорить об интеллигенции, принадлежность к фашистской партии была необходимым условием получения работы.

Наш разговор перешел на проблемы, связанные с нынешней военной оккупацией и работой нашей комендатуры.

— Немецкое население здесь ведет себя тихо,— сказал патер,— и будет вести себя тихо. Но оно уже жалуется, оно избаловано.

— Чем избаловано?— спросил я.

— Тем, что, будучи рабами по отношению к Гитлеру, они могли быть господами по отношению к другим. По отношению к Гитлеру они были слишком рабами. В немецком народе при некоторых обстоятельствах проявляются такая дисциплина и покорность, которые меня очень сердят. Вот такая излишняя покорность, излишняя, излишняя,— несколько раз желчно повторил он,— была проявлена немцами и перед Гитлером.

Кажется, эта тема очень волновала его. Во всяком случае, он впервые за все время разговора повысил голос.

— Вот ко мне приходят плачущие женщины, жалуются, плачут. Много плачут. Что арестовали их мужей, членов фашистской партии. Я их жалею, как их духовный отец, но я при этом меньше сочувствую им, чем мне самому бы хотелось.

— Почему меньше сочувствуете?

— Потому, что они плачут только в первый раз. Если

бы они плакали уже во второй раз, я бы им сочувствовал вполне.

— Почему?— снова спросил я.

— Если бы они плакали уже во второй раз,— повторил он,— во второй раз, когда посадили их мужей. А в первый раз плакали бы тогда, когда их мужья вступали в фашистскую партию. Но тогда они не плакали. Они проявляли чрезмерную покорность и дисциплину, которую я, немец, ненавижу в немцах.

Уже не упомню всех других подробностей этого разговора. Помнится, говорили еще о национальных чертах немецкого народа, о нынешнем состоянии Гинденбурга. Записал только то, что больше всего запомнилось в этом сложном разговоре. Остальное как-то запуталось в голове.

Беседа наша закончилась далеко за полночь. Старик мне по-человечески понравился. Были в нем спокойствие и убежденность при полном отсутствии трусости. Он говорил так, как думал, независимо от того, могло мне это понравиться или не могло. И в этом было какое-то обаяние...

Человек, с которым я разговаривал в ту ночь в Гинденбурге, казался мне тогда глубоким стариком. Когда тебе двадцать девять, разница в тридцать с лишним лет кажется особенно огромной.

Пожалуй, это ощущение возраста придавало тогда в моих глазах дополнительный вес словам моего ночного собеседника и заставляло без особых раздумий брать их на веру.

Тогда мне вообще казалось, что старые люди реже кривят душой.

Но сейчас, перечитывая свою запись того разговора, думаю о том, что этот, несомненно, сам по себе мужественный и значительный человек представлял в своих размышлениях не только личные взгляды, но и взгляды католической партии центра, нашедшей политических наследников в послевоенной Германии. Думаю, что на самом деле отношение той партии, к которой он принадлежал, к властям фашистской Германии было, как подсказывает история, и сложней и неоднозначней, чем об этом мог судить с его слов сидевший перед ним тогда двадцатидевятилетний советский офицер.

Перечитывая тот разговор, испытываю сейчас неко-

торое недоверие к своему тогдашнему ощущению: что он говорил так, как думал.

Пожалуй, будет верней сказать, что хотя он не говорил мне того, чего не думал, но при этом и не говорил всего, что думал. Во всяком случае, так заставляет меня считать приобретенный с тех пор опыт политической жизни.

Записная книжка за 1—2 апреля 1945 года.

...Вчера в середине дня, оставив Альперта в Пщине, я один поехал на «виллисе» в новый пункт расположения штаба 38-й армии. Штаб стоял теперь у поселка, который назывался Эмма. Здесь были огромная шахта и большой коксохимический завод. И то и другое мы захватили целыми, и шахта и завод работали. Воздух был наполнен угольной пылью, повсюду стояли черные угольные озера с черной, грязной водой. Почва тоже была черная. На домах осела копоть. Пейзаж был мрачный. Ортенберг, как и раньше, в Пщине, жил рядом с начальником штаба армии. Красное, казарменного типа кирпичное здание, мрачное снаружи, как и многие немецкие жилища, было уютным внутри.

Я приехал к Ортенбергу уже под вечер. Мы выпили с ним по стакану чаю, и я стал звонить, выяснять, где сейчас находится Москаленко: здесь, в штабе, или на наблюдательном пункте? Я хотел его увидеть.

После звонков выяснилось, что Москаленко находится на НП. Там у него сидят сейчас и Еременко и Мехлис. Мехлиса я так или иначе непременно хотел видеть, чтобы выяснить у него, как обстоят дела с предполагаемым приездом Бенеша. Насколько мне было известно, предполагалось, что Бенеш в ближайшие дни впервые должен был появиться на освобожденной территории Чехословацкой республики. Предполагалось, что по этому поводу в Кошице будет торжественный митинг или заседание, и я думал, что если так, то мне следует туда поехать, чтобы закончить корреспонденцией об этом свои чехословацкие очерки для «Красной звезды».

Ортенберг решил ехать на НП вместе со мной. Мы сели в открытый «виллис» и двинулись. Ехать пришлось вкруговую. Наблюдательные пункты и армии и фронта находились в двух километрах от передовой, но ехать к ним надо было кружным путем через Лослау и Рад-

нюк. Только оттуда можно было потом повернуть на деревню Ставки, где помещался наблюдательный пункт Москаленко. Мы выехали из поселка Эмма уже почти в темноте. Навстречу нам в поселок въезжал какой-то обоз. На первой подводе ехал старый солдат повозочный в засаленном ватнике, замурзанной ушанке. Он дергал поводья, подгоняя притомившуюся лошадь, а на глазах у него были великолепные автомобильные, закрытые со всех сторон немецкие очки — «консервы»...

Лослау, в котором я так и не побывал до сих пор, имел примерно такой же вид, как и Зорау в день его взятия. Правда, здесь уже ничего не горело, но все равно тянуло дымом и гарью. По дороге в сторону передовой шло много пехоты, тянулись пушки. Ортенберг сказал, что, очевидно, это выдвигают из резерва корпус, который собираются вводить в дело.

Когда мы подъехали к Ставкам, вдали слышалась пулеметная стрельба. Пришлось погасить свет, потому что этот участок дороги просматривали немцы. Мы свернули к нескольким стоявшим в стороне домикам и доехали до самого последнего из них.

В первой комнате сидели адъютанты Москаленко и Мехлиса, которых я знал в лицо, и другие, незнакомые мне.

Ортенберг открыл дверь во вторую комнату. В ней громко разговаривали. Первым, кого я увидел через дверь, был Еременко. Он стоял у противоположной стены и имел в этот момент очень представительный вид. На лоб низко надвинута генеральская фуражка, очки в роговой оправе, шинель застегнута на все пуговицы, на груди — полевой бинокль. Он стоял у стены, выставив вперед одну ногу, и держал руки в карманах.

Ортенберг козырнул ему. Еременко весело поздоровался с ним и обменялся несколькими словами. Вслед за Ортенбергом вошел и я. Против ожидания Еременко, с которым мы виделись до этого всего дважды за войну, сразу узнал меня и протянул руку.

— Здравствуйте! Смотрите, какие вы усы отрастили, совсем гусарские.

— Я уж давно ими обзавелся,— сказал я.

— Ну-у, тогда все же не такие были. А теперь вовсе гусарские,— сказал Еременко.

Поздоровавшись с другими, я отошел и стал в уголке, чтобы не мешать. Хотя дело шло уже к десяти вечера, но дневная горячка еще продолжалась. Только

что был решен вопрос о вызове на совещание командиров корпусов и их начальников артиллерии в связи с предстоящим через день или два новым этапом наступления.

В комнате шли разговоры о будущем форсировании Одера. Насколько я понял из них, немцы уже начали общий отход за Одер, оставляя на этой стороне заслоны. Шла речь о двух этапах нашей операции. 126-й корпус, который до сих пор наступал на направлении главного удара, должен был форсировать Одер и занять плацдарм на том берегу, а после этого уже с захваченного плацдарма должен был вводиться в бой свежий 11-й корпус, о котором в свое время толковал Москаленко, что этот корпус собираются отдать не ему, а соседу. Теперь этот корпус, который мы видели сегодня движущимся по дороге, очевидно, как это и хотелось Москаленко, поступал в его распоряжение.

Москаленко говорил мне когда-то, что Петров обещал ему дать этот корпус для развития успеха. Очевидно, после недавней попытки наступать на участке 1-й гвардейской сейчас, когда прошла первая горячка перемен, перестановок, отмены прежних и принятия новых решений, горячка, обычно связанная с назначением нового командующего, Еременко вернулся к первоначальному плану и решил вводить этот корпус там же, где его думал вводить и Петров. Так, по крайней мере, я понял сложившуюся обстановку, насколько мог схватить ее на лету.

Разговор в комнате развертывался сразу в нескольких направлениях. Во-первых, Москаленко звонил по телефону командирам корпусов и начальникам артиллерии, вызывая их на совещание. Во-вторых, присутствующие в комнате обсуждали, как лучше встретить людей, вызванных на совещание, и куда лучше выслать маяков, чтобы они не теряли времени на блуждания и попали бы прямо в переменивший свою дислокацию штаб 38-й армии. В-третьих, шло горячее препирательство о принципах использования артиллерийской дивизии прорыва, которая находилась сейчас в распоряжении Москаленко. Началось это препирательство с вопроса о том, необходимо или нет вызывать на это совещание командира артиллерийской дивизии.

— Конечно, необходимо,— сказал Еременко.— Он же командует дивизией.

— Да,— сказал Москаленко.— Но практически большая часть его хозяйства роздана по корпусам.

— Как роздана?— спросил Еременко.— А у вас что из этого хозяйства остается?

Москаленко перечислил то, что оставалось непосредственно в его распоряжении.

— Это неверно,— сказал Еременко.— Это неверно, что вы раздали дивизию. Она должна быть в одних руках. Вам же не случайно дали дивизию. Есть командир дивизии, который ею командует, а вы им. Вы и ваш командующий артиллерией. А так раздадите дивизию и потом не соберете.

— Если бы был другой командир дивизии, тогда другое дело,— сказал Москаленко.

— А что, неудачный попался? Так подкрепите его кем-нибудь, но это не причина, чтобы растаскивать дивизию. Нет, я с этим не согласен. Лучше соединить и держать ее всю в своих руках.

После этого зашел спор о диверсионных группах. Мехлис настаивал на посылке диверсионных групп для взрывов в тылу у немцев мостов и переправ через Одер.

— С тем, что надо засылать диверсионные группы, я согласен,— сказал Еременко. И, перестав стоять у стены, сел на диван.— А вот с тем, что надо взрывать мосты... Не надо взрывать мосты. Зачем нам взрывать мосты? Абсолютно лишнее взрывать их. Надо захватывать мосты, чтобы иметь возможность по ним перейти.

Он говорил все это довольно резко, и его слова казались справедливыми.

Но Мехлис тоже резко возразил, что нам потребуется еще время для того, чтобы подойти к Одеру по всему фронту. А между тем пока что сейчас у немцев на этом берегу и танки, и пехота, и артиллерия; и диверсанты сделают достаточно большое дело, если именно теперь взорвут в тылу у немцев мосты и, таким образом, заставят немцев бросить всю технику, которая у них на этом берегу.

— Нет,— возразил ему Еременко.— Все равно неверно. Вся основная артиллерия у немцев сейчас на том берегу, за Одером. А раз основная артиллерия уже на том берегу, то снаряды ему через мосты возить сюда, на этот берег, не нужно. А если речь пойдет о снарядах для каких-нибудь двух десятков пушчонок, которые он оставил на этом берегу, так он так и так эти сна-

ряды, если понадобится, перетащит! А скорей всего они у него здесь же находятся, при этих пушчонках. А мосты желательно захватить. Нам это очень облегчит продвижение. Учтите психологию,— добавил он.— Саперы на мосту остаются последними. Уже все должны пройти мимо них. Только потом саперы на мосту остаются. А они могут струсить. Могут быть убиты одним снарядом. Может, наконец, запал отказать. А дублированный запал не всегда есть. Может проводку перебить... Мосты гораздо чаще остаются неразрушенными, чем мы это себе теоретически представляем!

Пока Еременко спорил с Мехлисом, Москаленко продолжал вызывать к телефону своих командиров корпусов. Связь несколько раз прерывалась, не ладилась. Еременко, прекратив разговор с Мехлисом, несколько минут сидел молча, откинувшись на спинку дивана, и следил за тем, как разговаривает по телефону Москаленко. Теперь, когда командующий фронтом снял очки, хорошо было видно его лицо. Оно было широкое, с каким-то странным сочетанием одновременно мужественного, солдатского и чего-то немножко бабьего. Лицо его можно было бы назвать добродушным, но под бровями сидели маленькие, сердитые, сверлящие глазки. И ими он сейчас и пробуравливал Москаленко.

Москаленко продолжал говорить по телефону, целиком отдавшись этому, иногда переходя на крик из-за плохой слышимости. Еременко молчал, молчал и наконец сказал своим неожиданным при таком большом мужественном теле тонким, бабьим голосом:

— Товарищ Москаленко, зачем вы этим занимаетесь? Составьте список и поручите это своим адъютантам, пусть в другой комнате звонят, добиваются, разговаривают... Зачем вы сами этим занимаетесь?

— Я сейчас сам им дозвонюсь,— сказал Москаленко, не отходя от телефона.

— Да не надо вам им всем звонить,— повторил Еременко уже сердито.— Не надо. У вас есть штаб, адъютанты, есть телефон в соседней комнате. Прикажите, и вам всех их вызовут. Скажите, к какому часу явиться, и пусть попробуют этого не обеспечить. Что вы, в самом деле, сами себе за адъютанта!

Но телефона, по которому можно было бы связаться с командирами корпусов, в соседней комнате не было, он был только в соседнем доме, и Москаленко, мах-

нув рукой, упрямо стал сам дозваниваться до последнего командира корпуса. С остальными он уже поговорил.

После этого началось препирательство, кого поставить маяками, чтобы встретить тех, кто приедет на совещание.

— Я уже отдал приказание послать офицеров на восточную окраину Лослау,— со сдерживаемым раздражением сказал Москаленко.

— Ну, не обязательно офицеров,— возразил Еременко.— И зачем на окраину? Окраина — это неточно. Лучше около регулировщиков.

Москаленко закусил губу. Его заметно злили и вообще этот разговор, и тот нравоучительный тон по мелочам, который вдруг принял на себя Еременко. А я в эту минуту невольно вспомнил Петрова, его стиль отношений с подчиненными, в том числе и с командующими армиями. Он был предельно тактичен и, раз отдав какое-то приказание, в дальнейшем предоставлял остальное инициативе подчиненных.

По разговору, который вдруг сейчас при мне произошел, я почувствовал, что Еременко — командующий совершенно другого стиля, чем Петров, что он любит влезать в мелочи, и, как говорится на фронте, «сидеть» на подчиненных, и беспрерывно им что-то указывать, и в чем-то их поправлять. Записываю это не в осуждение. Подумав об этом, я вместе с тем подумал и о другом: что наша армия еще не идеально отработанный механизм и наши командиры, вплоть до командующих армиями, тоже еще не идеально организованные люди и, быть может, нельзя целиком стать тут на сторону Петрова; быть может, не верен ни тот, ни другой метод, а верно что-то среднее между тем и другим.

Пришли два офицера связи с докладами. После них появился капитан, начальник разведки корпуса. Еременко поднялся ему навстречу и сказал:

— Значит, это ты мне должен Одер разведать? Возьми собери мне там всех жителей, всех окрестных стариков, чтобы они тебе точно рассказали, когда и сколько воды бывает, где можно лодками, где есть броды, где и какие существуют мосты и переправы. Чтобы у тебя была полная картина. Понятно тебе?

— Так точно,— сказал капитан.

И только-только собрался сказать «разрешите идти»,

как Еременко сам с грубоватой лаской повернул его за плечи и, чуть-чуть подтолкнув в спину, сказал:

— Ну, иди.

Я подошел к Мехлису и тихонько, чтобы не мешать другим шедшим в комнате разговорам, спросил его, как обстоят дела с предполагаемым приездом Бенеша.

Он сказал, что Бенеш уже в дороге, едет из Москвы поездом и третьего будет в Кошице.

Я спросил, поедет ли Мехлис встречать Бенеша.

— Мне таких указаний нет,— сказал он.— Те, в чей круг обязанностей входит его встречать, уже выехали туда. А у меня, если не будет особых указаний, встречаться с Бенешем нет никакого желания.

Я сказал Мехлису, что поеду завтра в Кошице, посмотрю все, что там произойдет в связи с приездом Бенеша, и прямо оттуда отправлюсь в Москву с материалом. Потом скорее всего меня пошлют в какую-нибудь другую командировку, в другое место, а после нее — где-нибудь через месяц — я постараюсь вновь оказаться на Четвертом Украинском фронте.

— Да,— сказал Мехлис,— думаю, что в Кошице соберется сейчас много корреспондентов.

— Хорошо бы оттуда, прямо из Кошице, организовать самолет в Москву, чтобы сразу отвезти туда все материалы, в том числе фотографии,— закинул я удочку.

— Это еще зачем?— сухо и с раздражением, которого я от него в эту минуту не ожидал, сказал Мехлис.— Зачем самолет гонять, бензин жечь?

— Вопрос в сроках,— сказал я.

— Ну, о сроках пусть заботится тот, кто заинтересован в получении этих материалов,— все так же резко и сухо ответил он.

Меня этот ответ удивил. От кого, от кого, а от него, старого газетчика, я ожидал другого.

В это время Москаленко закончил говорить по телефону. В комнате наступило молчание. Мехлис вдруг поднялся и сказал, обратившись к Еременко:

— Я думаю, мы к себе теперь поедем?

— Да, да,— сказал тот.— Поедем.— И крикнул через всю комнату в адъютантскую:— Машину! Поехали. Всего доброго.

Они простились и вышли.

Москаленко и Епишев минуты две или три молчали,

потом Москаленко сел за стол, положил перед собой лист бумаги и, взяв в руку карандаш, сказал:

— Буду приказ писать. Слава богу, уехало начальство.

— Да,— сказал Епишев,— наконец-то Лев Захарович, спасибо ему, сообразил, что надо людям работать дать.

— Ох, не люблю, когда у меня над душой сидят,— сказал Москаленко и, подложив левую руку под щеку, стал писать приказ.

После того как он его закончил, мы, рассевшись по машинам, с потушенными фарами поехали в штаб армии, обратно, той же дорогой, которой ехали сюда.

Приехав в штаб армии в двенадцатом часу, Ортенберг ушел на совещание с командирами корпусов, а я засел за свои записи. Давид вернулся только в три часа ночи. Мы сели с ним перекусить, и, пока перекусывали, я рассказал ему о своем разговоре с Мехлисом насчет самолета.

— Что? Сорвалось с самолетом?— рассмеялся он.— Так и надо было ожидать, чтоб ты знал! Никто не относится хуже к газете, чем старые газетчики, когда они переходят на другую работу. Вот и я! Ты думаешь, я много занимаюсь нашей армейской газетой? Да ничего подобного. Сначала немножко еще влезал в их дела, а потом перестал, махнул рукой.

Мы легли в четыре. А в шесть утра уже оба поднялись. Давид уезжал в войска, а мне надо было спешить в Кошице. Мы обнялись на прощание, и я сел в «виллис»...

Хочу добавить уже теперь, через тридцать лет, что в это утро, уезжая в Кошице, я простился не только с Ортенбергом, но и со своим почти неизменным спутником там, на Четвертом Украинском, Максом Владимировичем Альпертом.

Этот сдержанный и неразговорчивый человек, пожалуй, был единственным из всех фронтовых фотокорреспондентов, родившимся еще в девятнадцатом веке. Он воевал красноармейцем еще в гражданскую войну, а на этой соединял в себе неизменную готовность к риску, если его требовало дело, с такой же неизменной осторожностью и трезвостью в тех случаях, когда рисковать для дела не требовалось.

После бесшабашного и веселого Саши Капустянского, с которым меня чаще всего спаривала редакция в конце сорок третьего и в сорок четвертом году, я, по контрасту, не сразу притерся к характеру этого немолодого и невозмутимого человека, но потом, постепенно, по справедливости оценил его, как одного из самых надежных своих товарищей за все дни войны, и с сожалением расстался с ним, чтобы встретиться снова только в Праге, уже в первые дни мира.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ

На моем отъезде в Кошице заканчиваются записные книжки, которые я вел весной 1945 года на Четвертом Украинском фронте.

Начав думать к концу войны о будущем военном романе, я почувствовал пробел в своем опыте военного корреспондента. Запас всякого другого рода впечатлений за несколько десятков предыдущих поездок на фронт, в общем, накопился, так мне, по крайней мере, тогда казалось, а вот опыта наблюдений за общим ходом операций, за тем, как все это планируется и корректируется сверху, в масштабах фронта и армии, как это выглядит с таких точек обзора, как фронтовые и армейские командные и наблюдательные пункты, не хватало.

Думаю, что этой писательской потребностью в значительной мере объяснялся и круг наблюдений, и характер моих записей на Четвертом Украинском фронте. Многое из того, что я там увидел и услышал, присутствуя в разные дни Моравско-Остравской операции на разных командных и наблюдательных пунктах, чаще всего в 38-й армии, оказалось важным для меня много лет спустя, при работе над романом «Живые и мертвые», в особенности над последней его книгой, где события происходили в масштабах армии и фронта.

Город Моравска Острава, столько раз упоминавшийся мною в записных книжках, был освобожден войсками 38-й и 1-й гвардейской армий почти через месяц после моего отъезда — 30 апреля 1945 года. В этот день Москва двадцатью залпами из двухсот двадцати четырех орудий салютовала войскам Четвертого Украинского фронта, в том числе Чехословацкому корпусу.

«Освобождение Моравска Остравы явилось перелом-

ным моментом в ходе боевых действий 4-го Украинского фронта. Лишившись мощного Моравско-Остравского укрепленного района, немецко-фашистские войска уже нигде больше не смогли создать достаточно прочной и устойчивой обороны...»— подводя итоги всей этой долгой и тяжелой операции, писал в своей книге «Через Карпаты» бывший командарм 1-й гвардейской маршал А. А. Гречко.

К сожалению, я, как корреспондент «Красной звезды», оказавшись очевидцем начала и середины этих событий, не смог увидеть их конца; приехать, как я собирался, еще раз на Четвертый Украинский фронт мне уже не пришлось.

Пробыв на нем около двух с половиной месяцев, я вернулся в Москву впервые за последние годы войны на поезде, да еще на специальном, с охраной и зенитными установками — на том самом, который вез из Москвы Бенеша и теперь возвращался почти пустой.

Когда я после торжественной церемонии, связанной с приездом Бенеша в Кошице, узнал, что этот поезд еще продолжает стоять где-то в лесу, на последнем отрезке восстановленного пути, в ста километрах от Кошице, я решил попробовать добраться до него, пока он не ушел.

Мне посоветовали не рисковать — сказали, что в этом районе бродят отряды бандеровцев — одно дело два десятка машин с вооруженным эскортом, сопровождавшим президента, а другое дело «виллис» с двумя автоматами, да еще ночью. Но я все-таки набрался решимости и поехал. Может быть, еще и потому, что было стыдно присутствовавшего при этом разговоре нашего водителя Миши, который и так уже, я это не раз чувствовал, не одобрял моей излишней, по его мнению, осторожности. Миша был, пожалуй, самым отчаянным из всех водителей, с которыми мне пришлось ездить за войну. Начинал он ее летчиком-истребителем, в звании старшины, потом за какие-то грехи попал в штрафную роту и после тяжелого ранения в летчики уже не вернулся — стал шофером. Мы довольно долго плутали, пока добрались до поезда. Я сидел, вглядываясь в темноту, держа наизготовку автомат, и, по правде говоря, изрядно трусил, а он бестрепетно крутил баранку и горланил песни. Я было цыкнул на него — чтоб не шумел, но он пристыдил меня, сказав, что наши подфарники все равно видать издалека.

Когда в конце концов мы уже на рассвете неожидан-

но наткнулись прямо на поезд, едва поспев, потому что он через пятнадцать минут тронулся, я после всех ночных страхов почувствовал себя как у Христа за пазухой: с таким комфортом, как тут, мне не приходилось ездить с довоенного времени.

По дороге в Москву, сидя один в купе, я начерно набросал корреспонденцию о приезде Бенеша в Кошице. Однако по приезде в редакцию оказалось, что там уже дали об этом событии официальный материал и новых корреспонденций, сверх него, давать не собирались.

И вообще выяснилось, что моей поездкой были не слишком довольны. Четыре очерка, посланные мною за такую долгую командировку, считали недостаточной для корреспондента отдачей. И очевидно, по-своему были правы, потому что мои записные книжки о все еще не завершившемся успехом наступлении «Красной звезде» по тому времени были ни к чему. Да я и сам понимал это и показал в редакции свою толстую, скрепленную дыроколом папку в триста листов, лишь в доказательство того, что не бездельничал.

Из моих чехословацких очерков, хотя меня с ними и торопили по телеграфу, к моему приезду оказались напечатанными только два, а два лежали набранные — в них не все нравилось, и считалось, что я должен буду довести их до кондиции, когда вернусь.

Этим я и занялся, приехав в Москву. И как это обычно у меня бывало, то, что не вышло сразу, с первого присеста, долго не получалось и потом.

Последний из четырех очерков был доделан и напечатан только 20 апреля. А на следующий же день — 21-го — я вылетел на Первый Украинский фронт. Своим правым крылом он в это время подходил к Берлину, а в центре приближался к Эльбе.

На этот раз задание редакции мне и вылетевшему вместе со мной моему товарищу по «Красной звезде» Саше Кривицкому, с которым мы пробыли в этой последней командировке до самого конца войны, было одно-единственное, но категорическое: во что бы то ни стало первыми оказаться там, где произойдет первое соединение наших войск с американцами.

Прилетев в штаб фронта и проинформировавшись, мы сразу же выехали в 5-ю гвардейскую армию генерала А. С. Жадова, на участке которой скорее всего предвиделось соединение.

Я был в этой армии под Сталинградом, когда она еще именовалась 66-й и ею командовал Р. Я. Малиновский. Генерал Жадов вступил в командование ею чуть позже, и я познакомился с ним только здесь, в Германии. Командарму было совершенно недосуг разговаривать с нами. Значение такого события, как предстоящая встреча с американцами, он, разумеется, понимал, понимал и наш интерес именно к этому событию, но у него самого заботы в тот момент были совсем другие и неотложные — на другом фланге его армии шли ожесточеннейшие бои с наносившими контрудар немцами. Уезжая туда, он поговорил с нами несколько считанных минут и отправил нас прямо в корпус Бакланова, подходивший к Эльбе на относительно более спокойном участке фронта.

Совет командарма оказался верным. Именно там, у Г. В. Бакланова, тридцатипятилетнего генерала, одного из трех самых молодых командиров корпусов во всей нашей армии, мы и встретились через два дня с американцами.

Встреча эта, как теперь всем известно, состоялась 25 апреля на берегу Эльбы, недалеко от городка Торгау.

Я вместе с Кривицким присутствовал при ней и при двух других, состоявшихся в следующие дни. Остались фотографии, снятые там, на Эльбе, вместе с нашими и американскими солдатами и офицерами, остались в ящике стола тогдашние сувениры — никелированные американские знаки различия, полученные в обмен на вытащенные из запасных погон офицерские звездочки, остался черновик коротенькой корреспонденции, отправленной оттуда, из-под Торгау, в «Красную звезду». В нем фамилии командиров первых соединявшихся дивизий: американской — генерала Рейнгарда, нашей — генерала Русакова; фамилии командиров американского и нашего патрулей — лейтенанта Робертсона и лейтенанта Сильвашко,— людей, первыми встретившихся там, на Эльбе, где между нами и американцами наконец не оказалось ни одного фашистского солдата.

Осталась в памяти и мера испытанной тогда радости, очень большой и в те дни у меня лично еще не отягощенной никакими будущими сомнениями и опасениями.

В памяти осталось многое. Но в сохранившихся блокнотах того времени обо всем этом ничего нет, хоть шаром покати!

Всегда интересно проверить себя, заглянуть в первоисточники. Я не очень точно помнил, когда именно, в какие дни я стал свидетелем двух следующих встреч между нашими и американскими офицерами и генералами там, на Эльбе.

Уточнить это, как всегда, помогли архивы:

«26 апреля, во второй половине дня, произошла встреча между командиром дивизии генерал-майором *Русаковым* и командиром 69 американской пехотной дивизии генерал-майором *Рейнгардом.* При встрече присутствовали с нашей стороны: начальник штаба дивизии гвардии подполковник *Рудник,* командир 173 ГВ. СП гвардии майор *Рогов* и другие. С генералом *Рейнгардом* был его начальник штаба подполковник *Линч,* руководитель разведки и контрразведки подполковник *Джон Лири* и подполковник *Макс Снид.* Кроме того, присутствовал представитель ТАСС при первой американской армии тов. *Жданов,* писатель *Константин Симонов,* корреспонденты и репортеры американских, английских и французских газет. Всего около 38 человек. Встреча состоялась в господском доме на восточном берегу р. *Эльба* в расположении второго батальона 173. ГВ. СП».

В следующем донесении, подписанном так же, как и это, начальником политотдела 58-й гвардейской дивизии гвардии полковником Карповичем, говорится уже о встрече 27 апреля командиров корпусов генералов Бакланова и Хюбнера и снова упоминается о присутствовавших при ней корреспондентах.

Должно быть, в тот же вечер после этой встречи мы с Кривицким и аккредитованным при американской армии майором Ждановым махнули за Эльбу к американцам.

Записей об этой поездке опять-таки нет.

Но некоторые ее подробности стоят в памяти и, наверное, заслуживают упоминания.

Помню ужин в американском офицерском собрании и лицо нашего водителя Вани, когда он, встав во весь рост, запел сильным, натянутым как струна голосом нашу довоенную песню о той еще не начавшейся тогда войне, которая теперь кончалась на наших глазах:

Гремя огнем, сверкая блеском стали,
Пойдут машины в яростный поход...

Помню бессонную ночь в немецком городе Наумбурге, в том самом, где в старом соборе стоит чудо средневекового искусства, знаменитая статуя княгини Уты, о

существовании которой я тогда не имел ни малейшего представления.

В Наумбурге находился тогда так называемый «пресс-кемп» — штаб-квартира прикомандированных к 1-й американской армии военных корреспондентов. И вся эта ночь, до самого утра, превратилась в первую за войну взаимную неофициальную пресс-конференцию; двое нас — Кривицкий и я, и сто или сто пятьдесят их — американцев, англичан, французов, канадцев, австралийцев, новозеландцев...

Потом уже в Японии, когда я оказался в роли прикомандированного к штабу Макартура корреспондента «Красной звезды», я встретил там нескольких американских журналистов, напомнивших мне о той ночи в Наумбурге.

Был я через много лет после войны и в самом Наумбурге, долго бродил по нему, но так и не смог показать немецким школьникам и их учителю — энтузиасту-краеведу — где именно, в каком доме был когда-то этот «пресс-кемп».

Помню, занятый в то время еще американцами, Лейпциг, удививший меня немецкими шуцманами, стоявшими на всех перекрестках, без оружия, но в полной полицейской форме.

Помню взятый под охрану американцами лагерь наших военнопленных под Лейпцигом, куда привез нас полковник из американской военной разведки, кстати отнюдь не скрывавший от нас своей профессии.

Лагерь помню острей всего остального. Но в этом случае на помощь памяти приходит еще и маленькая статья, напечатанная в «Комсомольской правде» на исходе того же, сорок пятого года:

«...Входим в ворота. Первой нам встречается бледная девушка, внимательно, без особой радости, глядящая на нас.

— Вы — русская? — спрашиваю я.

— Русская,— говорит она, все так же недоумевающе глядя на нас.

И я только в эту секунду соображаю, что наша новая форма с погонами заставляет ее принимать нас не за нас.

Проходим несколько шагов. Какой-то человек срывается с места, подбегает к нам и кричит:

— Наши! Наши! — И, резко повернувшись, бежит в барак.

Мы идем через лагерь, и вокруг нас собирается все

больше и больше людей. И когда мы подходим к центру окруженной колючей проволокой площади, мы уже окружены многотысячной толпой.

Я взбираюсь на ступеньки крыльца. От волнения я оступился. У меня дрожат ноги. Я почти боюсь упасть. Сейчас мне предстоит сказать в этом лагере первые слова, пришедшие с Родины, слова, которых находящиеся здесь не слышали — кто год, а кто два, три, почти четыре.

У меня пересыхает в горле. Я не в силах сказать ни одного слова. Я медленно оглядываю необъятное море столпившихся вокруг людей.

Я уже знаю, что этот лагерь штрафной, что в нем сидят военнопленные — за дурное поведение, и насильно угнанные — за отказ работать.

Но какая бы летопись страданий ни была записана на лицах людей, все равно на них не прочитаешь и десятой доли того, что они испытали.

Я начинаю говорить и сам не помню, что говорю, не помнил тогда, не помню и сейчас.

Потом я слезаю со ступенек, и на них вместо меня влезает другой, приехавший со мной офицер, и он тоже что-то говорит, наверное, то же самое, что и я.

Я не могу расслышать его слов, но меня охватывает какая-то неистовая радость свидания. И я начинаю плакать и, заплакав, впервые оглядываюсь и вижу, что все кругом тоже плачут.

А потом нас провожают, и мы идем всей многотысячной толпой вместе через весь лагерь.

Рядом со мной, растягивая мехи, идет гармонист со стиснутым ртом. У него выбиты все до одного зубы, и он говорит как старик, и поэтому не хочет говорить, а только играет...»

Быть может, сейчас я написал бы об этом лучше, чем в той газетной статье, но она дорога мне тем, что написана почти впритык к войне, и мне не хочется заменять слова того времени словами, написанными через тридцать лет.

Хочется добавить только две подробности, которых нет в статье,— есть только в памяти: я не только говорил, но и читал там «Жди меня», а среди плакавших был и тот американец-полковник, который привез нас в этот лагерь.

Сохранившийся у меня дневник начинается с той ночи, когда мы уже переправились обратно через Эльбу.

...Вернувшись от американцев, мы с Кривицким поехали в штаб Конева. Там, где он стоял несколько дней назад, его уже не было. Сделав к утру еще сто километров и найдя штаб, я по старому знакомству прорвался к Петрову, который был занят по горло и только махнул мне рукой: садись и жди.

Когда он освободился, я вдруг спросил его:

— Иван Ефимович, что будете делать после войны?

Еще никому не задавал таких вопросов. Не приходило в голову. А теперь, после встречи с американцами на Эльбе, пришло. Но Петров сам уже думал об этом, выслушал вопрос без удивления и ответил как о решенном:

— Попрошусь в Туркестанский округ. Оттуда уехал на войну, туда и вернусь. А если нет, безразлично, поеду, куда прикажут,— сказал и несколько раз подряд дернул контуженой головой, словно поддакивая сам себе.

Я спросил про Берлин. Выяснилось, что там бои идут к концу и сейчас уже можно махнуть туда прямо по автостраде. Ее пытались перерезать прорывающиеся назад от Одера немцы, но, по последним донесениям, сообщение восстановлено.

Немного не доехав до большого берлинского кольца, увидели на автостраде и вокруг нее страшное зрелище. В этом месте по обе стороны автострады густой лес и через него поперечная просека, которой и в ту и в другую стороны не видно конца. Вот по этой-то просеке, используя ее как лесную дорогу, и пытались прорваться через автостраду немецкие войска, уже во время штурма Берлина все еще стоявшие на Одере. То пересечение просеки с автострадой, к которому мы подъехали, стало сегодня под утро местом их окончательной гибели.

Картина такая: впереди Берлин, справа просека, сплошь забитая чем-то совершенно невероятным — нагромождение танков, легковых машин, броневиков, грузовиков, специальных машин, санитарных автобусов. Все это буквально налезшее друг на друга, перевернутое, вздыбленное, опрокинутое и, очевидно, в попытках развернуться и спастись искрошившее вокруг себя сотни деревьев.

И в этой каше из железа, дерева, оружия, чемоданов, бумаг, среди чего-то непонятного, сожженного и почерневшего — месиво изуродованных человеческих тел. И все это уходит вдоль по просеке буквально в бесконечность. А кругом в лесу снова трупы, трупы, трупы разбегавшихся под огнем людей. Трупы вперемешку, как я вдруг замечаю,

с живыми. Эти живые — раненые — лежат на шинелях, на одеялах, сидят, прислонившись к деревьям, одни перевязанные, другие окровавленные и еще не перевязанные. Некоторые раненые, замечаю это не сразу, лежат на одеялах и шинелях вдоль самой обочины дороги. Потом замечаю — тоже не сразу — фигуры бродящих между ними людей, очевидно, врачей и санитаров.

Все это справа. Посредине дорога, широкая, асфальтовая, уже расчищенная для движения. На расстоянии в двести метров она избита, как громадной сыпью, большими и маленькими воронками, мимо которых зигзагами несутся к Берлину фронтовые машины. На асфальте пятна масла, бензина, крови. Слева от шоссе продолжается просека. Часть немецкой колонны, уже прорвавшейся через шоссе, была уничтожена там. Снова тянущееся в бесконечность месиво сожженных и разбитых, опрокинутых машин. Снова трупы и раненые.

Все это произошло перед рассветом, каких-нибудь шесть часов назад. Как мне наспех объясняет какой-то офицер, вся эта огромная колонна была накрыта здесь огнем нескольких полков тяжелой артиллерии и нескольких полков «катюш», на всякий случай сосредоточенных поблизости и заранее пристрелянных по этой просеке, так как попытка прорыва немцев именно здесь считалась одним из наиболее реальных вариантов.

Миновав это страшное место, через несколько километров увидели шедшую нам навстречу со стороны Берлина колонну из пяти или шести санитарных машин. Очевидно, кто-то распорядился бросить сюда на помощь медиков из наших медсанбатов. Но по сравнению с масштабами побоища эти первые пять-шесть машин — капля в море...

Эта картина, как свидетельствует дневник, ужаснувшая меня и тогда, в сорок пятом году, продолжает стоять у меня перед глазами и сегодня, через тридцать лет после войны.

Трагедия ее последних месяцев, недель и дней состояла в том, что сопротивление немцев продолжало оставаться жестоким, порой отчаянным; и нам приходилось преодолевать это сопротивление огнем и железом, со всей беспощадностью, которой требовала обстановка.

Получившие распространение на Западе легенды о том, что Берлин можно было взять гораздо раньше, чем мы его взяли, и что вообще немцы вовсе не так уж беспощадно

сопротивлялись русским в конце войны, да и за Берлин шло не столь уж жестокое сражение, каким его изображают русские,— легенды недобросовестные.

Политики и историки — авторы этой концепции — прекрасно знают, как все было на самом деле и с какой яростью до самого конца сопротивлялись на Востоке те самые немцы, которые уже поднимали руки на Западе.

Концепция рассчитана прежде всего на тех, кто ничего не знает и ничего не помнит. Но не только на них. Даже рядовые участники войны на Западе, которым эта концепция преподносится в готовом виде, видимо, порой склонны принимать ее за чистую монету под влиянием собственных, довольно идиллических воспоминаний о заключительном периоде войны, который на Западном фронте, особенно после переправы через Рейн, отнюдь не изобиловал критическими ситуациями и ожесточенными боями.

Что же касается истинной картины ожесточенности сопротивления немцев на Восточном фронте, то, пожалуй, стоит виденное собственными глазами подкрепить свидетельством, идущим из лагеря противника,— показаниями пленных, взятых нами в последний период войны. Не стану загромождать память читателя именами и фамилиями, дело не в них, а в самом характере взгляда на вопрос; поэтому буду приводить только даты, звания и должности.

5 февраля 1945 года. На вопросы отвечает немецкий генерал-лейтенант, командир дивизии:

«...Если обратиться к доводам разума, то ожидать немецкой победы уже нельзя. Но представить себе немецкое поражение очень уж тяжело. Хочется еще верить в победу. И поэтому веришь в обещания нового оружия, веришь в возможность чуда. Впрочем, терять нам, немцам, уже нечего. Все равно в случае поражения Германия погибнет. Поэтому лучше уж погибнуть с честью».

8 февраля 1945 года. На вопросы отвечает обер-фельдфебель, летчик:

«Я лично считаю положение весьма печальным. Надеюсь только на новое секретное оружие, которое скоро будет применено. Больше надеяться не на что. Но мы, немцы, все равно уже все потеряли, остается только драться до последнего. Погибать придется так или иначе. Все равно в случае поражения в Германии наступит страшный голод, женщины и дети будут вымирать, а мужчин угонят. Таким образом, у нас действительно нет никаких надежд

в случае, если мы сдадимся. Лучше уж продолжать воевать».

10 марта 1945 года. На вопросы отвечает генерал-лейтенант, командир дивизии:

«Приказ на отход был дан, когда мы были уже в окружении. Приказ гласил, что мы должны выходить из него с боем. В бою на прорыв я потерял полк. Я отдал приказ пробиваться побатальонно. Оказалось, что шоссейной дорогой будет пользоваться нельзя. Основное зло составляли беженцы. Нормальным людям должно было быть ясно, что после осуществления русскими прорыва гражданскому населению эвакуироваться не удастся и что самое лучшее, что оно может сделать,— сидеть по домам и не мешать передвижению войск. Но все находились под гипнозом пропаганды об ужасах большевизма. В результате пострадали не только войска, но и само население. Сцены, которые я видел на дорогах, превзошли все, что я видел. Дети замерзали в руках у матерей. Изможденные люди валились около дорог, чтобы больше не встать. Немецкая пропаганда, запугивая ужасами нашествия русских, действовала в данном случае на руку русским. Лучшего направления нашей пропаганды в момент вашего наступления вам нельзя было даже желать, потому что весь этот хаос был полезен только вам. За время моего пребывания командиром дивизии я утвердил шесть смертных приговоров. Я полагаю, что положение Германии сейчас настолько серьезно, что оправданны все меры, нужные для поддержания ее сил и порядка в ней».

24 апреля 1945 года. На вопросы отвечает летчик, лейтенант воздушной разведки:

«Все население Берлина можно разделить на две части: на людей разумных, понимающих, что война проиграна и дальнейшее сопротивление бессмысленно и ведет только к ненужным разрушениям, и так называемых стопроцентных или даже стопятидесятипроцентных нацистов, ожидающих какого-то чуда, надеющихся, что в последний момент русские передерутся с англичанами и американцами и Германия выйдет сухой из воды».

30 апреля 1945 года. На вопросы отвечает подполковник, корпусной интендант:

«Мне теперь безразлично — жить или умереть. Плен я считаю позором. Я был захвачен в плен раненым. И я подавлен не только своим положением военнопленного, но и сознанием того, что борьба на поле боя Германией про-

играна. Если что еще поддерживает во мне бодрость духа и желание жить, так это то, что я пленен армией, которая одержала победу над сильнейшей армией в мире — германской армией».

Интересно, что через тридцать лет, в разговоре со мной, наш рядовой солдат, пехотинец, трижды кавалер солдатского ордена Славы Константин Мамедов закончил свои воспоминания о последних днях войны почти той же фразой, которой закончил свои показания немецкий подполковник тогда, в сорок пятом:

«Немцы оборонялись жестоко. Во всяком случае, я на своем личном опыте могу сказать, так же как и все мы, солдаты нашей дивизии, что, по-моему, эта жестокость боев с приближением к Берлину только нарастала. И нарастала непрерывно. Сопротивление было просто отчаянное. О немце, как о противнике, можно сказать, что это был сильнейший противник. Я думал над этим,— кто бы еще был в состоянии таким противником оказаться? И не могу найти хотя бы ближайшего сравнения. Это была вымуштрованная, владевшая боевой техникой военная машина, которой, пожалуй, не было,— да не пожалуй, а просто не было равной в мире...»

Вернусь к дневнику:

...Часа через полтора мы добрались до Берлина, до его южных окраин. Нам хотелось попасть поближе к центру, но мы толком не знали, в какой армии надо оказаться, чтобы добраться туда, и, как это часто бывает на фронте, потеряли немало времени на выяснения и розыски.

Сначала попали в армию генерала Лучинского, но не стали в ней задерживаться, потому что она передавала занятые ею кварталы города соседу справа, а сама передвигалась куда-то влево.

Потом попали к танкистам и случайно наткнулись на самого командующего 3-й танковой генерала Рыбалко. На перекрестке двух разбитых улиц стоял «виллис», а мимо шли танки с открытыми люками. Рыбалко сидел на бампере «виллиса», упираясь спиной в радиатор, и смотрел на свои проходящие танки. По весенней теплой погоде он был странно одет в зимнюю, подбитую мехом суконную бекешу. Видимо, болел — желтое, нездоровое лицо человека, превозмогающего сильную боль. Разговаривал с нами почти сквозь зубы. Я сказал, что мы хотим остаться у него в ар-

мии, и спросил, в какую из его частей поехать, чтобы оказаться поближе к центру Берлина.

— Ни в какую,— сказал он.— Берлином больше не занимаемся. Перемещаемся. Куда? Много будете знать, скоро состаритесь! Оставайтесь с нами, в свое время выясните.

Я сказал ему, что нам нужно быть в Берлине. Он пожал плечами и, больше не обращая на нас внимания, повернулся к своим подчиненным. Мне в ту минуту показалось, что он зол на то, что его армии приказали куда-то перемещаться, что ему самому хочется остаться и доколотить фашистов в Берлине. Мы никак не представляли себе тогда, что всего через какую-нибудь неделю танки именно этого сквозь зубы говорившего с нами генерала первыми ворвутся на улицы Праги. Если б знали, может, и остались бы у него.

Не зная обстановки, перебираясь из части в часть, из одного берлинского района в другой, проканителились целый день и целую ночь в разных, относительно малоинтересных пунктах Берлина и наконец попали в армию Чуйкова, когда он уже принял от Вейдлинга капитуляцию берлинского гарнизона.

Последние затихавшие схватки шли только с отдельными, еще не узнавшими о капитуляции немецкими частями и с не подчинившимися приказу группами СС. Как ни проклинали мы себя за то, что упустили возможность присутствовать хотя бы при переговорах о капитуляции, но факт остается фактом, я, в общем, так и не видел того, что называлось штурмом Берлина. Видел только его последние всплески, даже не предсмертные, а посмертные судороги фашизма...

Близко к вечеру. Подходим к полуразломанной стене зоопарка Цоо. Эстакада городской железной дороги. У эстакады много трупов. Лежат вповалку, кто навзничь, кто лицом вниз. На мостовой жидкая, еще не потемневшая кровь. Все произошло только что. Здесь дрался какой-то небольшой эсэсовский отряд. У эстакады два изуродованных пулемета и полтора десятка трупов, среди них две убитые женщины в эсэсовской форме. И как всегда, когда я видел на войне убитых женщин, я и здесь, несмотря ни на что, несмотря на их эсэсовские мундиры, испытал чувство какого-то особого содрогания и жалости.

Перелезаем через обломки ограды Цоо и забредаем в слоновник. Большая часть его разбита бомбежкой. В единственном оставшемся секторе ходит унылый го-

лодный слон. Что слон голодный, узнаю от сторожа, старика немца. Он с женой до конца оставался здесь, в Цоо, и, когда я начинаю объясняться с ним на моем ломаном немецком языке, он сейчас же начинает просить у меня провианта для своих животных. Потом предлагает мне посмотреть Цоо:

— Правда, у нас мало что осталось...

Старик идет впереди, мы за ним. Он показывает нам свой зоологический сад спокойно, профессионально, так, словно здесь ровно ничего не произошло.

На дорожках трупы немцев.

На садовой скамейке труп нашего солдата. Голова завернута в шинель. Положили на скамейку, а похоронить еще не успели.

Но смотритель не обращает внимания на трупы, он ведет нас по зоологическому саду и все время говорит о животных. И это становится все более диким.

Наконец подходим к бассейну с бегемотами, позади которого высится цементная скала. Один бегемот лежит на скале и тяжело дышит. А другой, убитый, плавает в воде. В боку его торчит стабилизатор мины. Она убила его, застряв по стабилизатор, но не разорвалась. Я смотрю на этот торчащий из туши бегемота стабилизатор и думаю о том, что, когда буду рассказывать об этом, мне не поверят. Другой бегемот опускается в воду и плывет, не приближаясь к убитому, словно понимает опасность.

Обезьянник. Несколько наших солдат стоят над большим котлованом, в котором бегают маленькие обезьяны. У солдат усталый вид. Они продымленные, грязные, но все равно с интересом стоят и смотрят на обезьян. Потом один солдат лезет через парапет вниз и неожиданно ловко ловит маленькую обезьянку. Она кусает его, и мне кажется, что он сейчас убьет ее. Но он не убивает ее, а смеется и говорит: «Кусается!» Говорит с удивлением и удовольствием, как о живом существе, вдруг напомнившем ему что-то приятное и далекое от войны. Потом отшвыривает обезьянку от себя и, потеряв ко всему этому всякий интерес, перелезает обратно через парапет, устало бредет по аллее и ложится спать на скамейку, через две или три от той, на которой лежит убитый.

Вслед за стариком немцем подходим к кирпичному домику. Он открывает дверь, говоря на ходу, что это тоже обезьянник и что в нем самая большая в Европе горилла и самый большой в Европе шимпанзе. Шагаем за немцем

в домик. Его разделяет пополам толстая решетка. За этой решеткой возвышение — метр бетона, и на нем настил. На этом настиле, разделенные поперечной решеткой, лежат огромная горилла и очень большой шимпанзе. У бетонного уступа, выше которого начинается решетка, лежат два убитых эсэсовца. Третий, тоже мертвый, сидит, прислонясь спиной к уступу и держа на коленях автомат. Видимо, они все трое сбежались сюда и были убиты, может быть, одной очередью из автомата, данной кем-то из дверей. А сзади убитых эсэсовцев, на метр выше их, лежат в своих клетках шимпанзе и горилла, тоже, как я теперь понимаю, мертвые. Уже потемневшие струйки крови тянутся от них вниз по бетону. Сторож стоит рядом с нами у дверей. Кажется, ему очень жалко обезьян. Он стоит молча и по-стариковски трясет головой.

Все вместе взятое с необыкновенной силой врезается в память. И даже не как что-то символическое, а просто как предел загнанности: мертвые обезьяны, мертвые эсэсовцы, этот домик без окон, клетки, прутья...

Заходим в один из берлинских наземных бетонных бункеров. Громадное бетонное здание, похожее на элеватор. На верхних этажах окна, закрывающиеся громадными металлическими ставнями. Внизу железная дверь. Наверху вместо крыши чудовищной толщины сплошная бетонная плита. Говорят, там, на этой плите, тоже стоят или стояли зенитки. Не знаю, так ли это, снизу не видно.

Внутри бункера, как говорят, размещался штаб противовоздушной обороны и, кроме него, штаб какой-то эсэсовской части.

Входим в железную дверь. Навстречу ведут пленных. Конвоирующий их младший лейтенант говорит, что на четвертом этаже нашли застрелившегося немецкого генерала. Застрелился только что. Когда обыскивали помещение, натолкнулись на запертую дверь и стали взламывать ее. Пока взламывали, он застрелился.

Идем на четвертый этаж. Электростанция не то взорвана, не то выключена. Идем с карманными фонариками по коридору, вдоль которого направо и налево маленькие комнаты, где по двое и по трое жили на казарменном положении разные чины ПВО и СС. Входим в ту, где застрелился генерал. Дверь утапливается в стену, как в вагоне. Кто знает, почему ее ломали, а не рванули, как обычно в таких случаях, гранатами? Наверное, старались взять тех, кто там, за ней, непременно живыми...

Стол, упирающийся одним концом в стену, другим в койку, перед столом стул. На стуле китель с эсэсовскими знаками различия. На койке лицом к двери лежит с открытыми глазами мертвый генерал, рослый, сорокапятилетний человек, коротко стриженный, с красивым спокойным лицом. Его правая рука с зажатым в ней парабеллумом лежит вдоль тела. Его левая рука обнимает за плечи молодую женщину, втиснувшуюся между ним и стеной. Женщина лежит с закрытыми глазами. Она молодая, красивая, не то в белой блузке, не то в рубашке с короткими рукавами и в форменной юбке. Генерал в чистой рубашке, в распахнутом на груди кителе и в сапогах. Между ногами у генерала зажата недопитая бутылка шампанского.

Вдруг понимаю, что раз генерал в кителе, то, значит, тот, другой, повешенный на стуле эсэсовский китель принадлежал этой мертвой женщине. То же самое ощущение полной загнанности, тупика, которое ни на минуту не покидает меня все это время в Берлине...

Рейхстаг. К нему уже целое паломничество. Идут и идут люди. А на той стороне реки, в ста пятидесяти метрах, еще отстреливаются из пулеметов какие-то немцы и методично каждую минуту бьет и бьет по дому прямой наводкой наша самоходка...

Аллея Победы. Мертвые тела, изуродованные зенитки. много, как нигде, разбитой, искалеченной зенитной артиллерии. Перевернутые немецкие грузовики, разбитые танки — немецкие и наши...

А потом зрелище имперской канцелярии. Ищут труп Геббельса. Его уже один раз нашли, но потом кто-то усомнился, он ли это, и теперь его снова ищут. Ищут и труп Гитлера. Громадное здание с архитектурными пропорциями, рассчитанными на подавление психики. Чудовищность размеров, пустота и огромная длина анфилады призваны были сосредоточить внимание на одном человеке, выходящем из громадных дверей в ее конце.

Кабинет Гитлера поврежден бомбой и завален обломками. Одна из соседних комнат цела. Кто-то говорит мне, что это кабинет Бормана. Не знаю, возможно, и так.

Комната цела, но в ней все перевернуто. По полу рассыпаны какие-то квадратные бумажки. Поднимаю одну, переворачиваю, оказывается, это экслибрисы библиотеки Гитлера. Большое бюро с деревянной подвижной крышкой распахнуто и завалено вывороченными бумагами.

Нахожу среди этих бумаг два старых рисунка. Н

ном врытый в холм блиндаж с надписью: «Ле Гретт, начало декабря 1917 года. Командный пункт бригады». На другом какая-то разбитая церковь с надписью: «Коммин, 9 мая 1918». Приходит в голову, что, может быть, это рисунки самого Гитлера. Скорей всего нет, но может быть и так, он ведь художник и был тогда на фронте где-то во Франции.

Кладу рисунки в полевую сумку. Беру еще фотографию, на которой надписано: «Бои со спартаковцами — Мюнхен, май 1919» и перенумеровано тушью несколько сидящих на повозке военных. Среди них под номером первым Рудольф Гесс. На полу, кроме экслибрисов, валяются почтовые карточки. Подбираю четыре и тоже сую на память в сумку. Почему они здесь? Может, их дарили на память с автографами? На трех улыбающийся Гитлер с маленькими девочками. На четвертой Компьен, вагон, квадратнолицый Кейтель через стол сует худому французскому генералу бумагу — условия перемирия.

Прохожу по комнатам. Несколько дальних завалено орденами и медалями. Ящики, коробочки, синие пакетики и просто по щиколотку на полу россыпь всего, что угодно — от железных крестов до медалей за тушение пожаров. Всего этого такое количество, что на секунду кажется, что это не имперская канцелярия, а склад какой-то огромной фабрики орденов.

Вылезаю через пролом в стене во двор. На дворе трупы последних, защищавшихся тут эсэсовцев. Санитары, теснясь, вытаскивают откуда-то из-под земли лежавших там раненых. На изуродованном воронками внутреннем дворике среди искореженных деревьев, обломков, обрывков чего-то — маленькая бетонная башенка и спуск в подземелье Гитлера.

Я смотрел на все это и думал о том, что, может быть, когда-нибудь задним числом всему этому в истории постараются придать величественный вид. Но сейчас все это производило впечатление чего-то уже не сражавшегося, а цеплявшегося за жизнь, чего-то сумбурного, до самого своего конца так и не понявшего, что с ним произошло.

Утрированная централизация фашистской власти сейчас, в момент ее гибели, выглядела каким-то странным абсурдом. Еще недавно в происходившем на моих глазах крахе фашизма было что-то по-мертвому страшное. Сейчас это чувство исчезло. Сегодня от всего этого оставалось ощущение чего-то ничтожного, не сохранившего в себе ни одной детали былого разбойничьего ве-

личия «третьей империи». Чувствовалось, что они прятались, съеживались, забирались сюда, что их здесь сжимали, а они зарывались все глубже и глубже, уже ни на что не надеясь, а потом, опять надеясь, ждали какого-то чуда и сжимались все тесней, все уже смешалось не только вокруг них, но и внутри их самих, смешалось и перестало быть таким, как было.

Я никогда не принадлежал к людям, считающим, что нужно принижать врага, даже самого кровавого, преуменьшать его силу или отказываться признавать за ним то, что в нем действительно есть — ум или храбрость, или мужество отчаяния. Так, скажем, вспоминая осаду Тарнополя и страшные тарнопольские подземелья, в которых, когда мы наконец туда ворвались, я увидел сотни, если не тысячи тяжело раненных, умирающих и мертвых немцев, просидевших в осаде месяц и пять дней, то, поняв, как все это там происходило, я не мог в душе не уважать их храбрость, и Тарнополь остался у меня в памяти как мрачная, но по-своему эпическая картина.

Но эта рейхсканцелярия, этот последний пятачок, эти последние, обреченные на смерть эсэсовцы, и тут же в подземельях маленькие каморки Гитлера и Геббельса, и тут же над ними комнаты, набитые железными крестами, которых хватило бы еще на пять лет войны, и тут же экслибрисы уже не существующей библиотеки, и тут же полуобгоревшие трупы, среди которых по признакам физических недостатков разыскивают бывших властителей Европы...

Третье мая. Пыльный солнечный день. Несколько наших армий, бравших Берлин, двигаются сквозь него в разных направлениях, поднимая страшную пыль. Идут танки, танки, самоходки, «катюши», тысячи и тысячи грузовиков, орудия, тяжелые и легкие, прыгают на обломках противотанковые пушки, идет пехота, тащатся бесконечные обозы. И все это идет и лезет в город со всех концов. Растерянные жители на разгромленных улицах, на перекрестках, из окон домов подавленно смотрят на все это движущееся, гремящее, невероятно людное и совершенно бесконечное. Даже у меня самого ощущение, что в Берлин входят не просто дивизии и корпуса, а что через него сейчас проходит во всех направлениях целая Россия. А навстречу ей, загромождая все дороги, ползут и ползут колонны пленных...

На огромном, чудовищно безвкусном памятнике Вильгельму Первому фотографируются на память группы солдат и офицеров. По пять, по десять, по сто человек сразу,

с оружием и без оружия, то мрачные и усталые, то улыбающиеся и хохочущие...

Ночь. Едем. Пересекаем весь Берлин из конца в конец на «виллисе» вдвоем с шофером. Совершенно темно. Кажется, что в городе ни души. Не натыкаемся даже на регулировщиков. Запутываемся в незнакомых улицах, в диком нагромождении развалин, из которых то здесь, то там выхватывает фарами светлые куски наш потерявший дорогу «виллис». Два часа сплошных развалин. И ни звука. Вот когда я до конца почувствовал, как невероятно разрушен Берлин.

Сидим ужинаем в штабе Чуйкова. Рейхстаг, который почему-то в последние дни боев стал для всех нас символическим центром Берлина, заняли другие войска — армия Кузнецова,— но зато именно Чуйков принял капитуляцию берлинского гарнизона. Тот самый Чуйков, который в сентябре, октябре и ноябре сорок второго года оборонял Сталинград. А точнее сказать, не Сталинград, а три последних узких куска берега Волги под Сталинградом и несколько десятков домов, стоявших ближе всего к этому берегу. Видимо, сама история потрудилась над тем, чтобы капитуляция Берлина выглядела особенно символично.

У Чуйкова традиция ужинать вместе со всем своим штабом. Если позволяет обстановка. Сейчас она позволяет. Сидим на окраине Берлина в мещанском особняке. Первые полчаса проходят весело, поднимают тосты за победу, за взятие Берлина, за Сталинград, а потом все как-то вдруг притихают и от ужасной усталости всех последних дней, и от странного ощущения, что завтра не воевать. Уже известно, что армию пока никуда не перемещают из Берлина. Долго каждый день говорили: «Вот дойдем до Берлина, разгромим фашистского зверя в его логове, возьмем рейхстаг, захватим имперскую канцелярию...» Все именно так и вышло: и рейхстаг взят, и имперская канцелярия захвачена, и все мы сидим здесь, в фашистском логове, и ничего больше, чем взятый нами Берлин, взять уже нельзя, и ничья смерть уже не будет иметь такого значения, как смерть Гитлера. И сколько бы еще ни длилась война, мы уже не в состоянии будем сделать на этой войне ничего более трудного и великого, чем сделали...

Последний раз оторвусь от дневника.

Не правда ли, странно смотреть на газету, половину первой полосы которой занимает огромный портрет Гитле-

ра в траурной рамке с подписью: «Адольф Гитлер пал геройской смертью в борьбе за то — быть или не быть его народу»?

Не веришь своим глазам, что такая газета реально существовала, что она еще успела выйти в тот короткий промежуток времени, который отделял самоубийство Гитлера от капитуляции фашистской Германии.

Но она реально существовала, эта газета, называвшаяся «Дер фрайхайт Кампф» — «Борьба за свободу», являвшаяся органом национал-социалистской партии и выходившая еще и 3, и 4, и 5 мая в Дрездене, последнем большом немецком городе, остававшемся в руках нацистов.

Впоследствии в печати разных стран было немало споров по поводу того, «солдатской» или не «солдатской» смертью умер Гитлер, отравился он или застрелился, или в него была выпущена пуля только для виду, уже после того, как он отравился!

В дрезденской национал-социалистской газете этот вопрос решался в наиболее героическом варианте:

«...Большевистская пуля настигла человека... которому, несмотря на ненависть и глумление, втайне удивлялись его враги, так как у них не было ни равного, ни подобного ему. Поэтому его неуклонному стремлению создать новый государственный строй в условиях мира они могли противопоставить только войну».

Итак, неуклонного борца за мир — Гитлера — настигла большевистская пуля. И посвященный ему некролог был полон воинственности: «Нация, будучи еще не в состоянии осмыслить случившееся, едина и решительна в стремлении продолжать его дело и его борьбу до момента, пока смертельный большевистский враг не будет изгнан с немецкой земли!»

Этот доморощенный призыв дрезденской газеты почти совпадал с напечатанным в ней же воззванием адмирала Деница, в котором говорилось о Гитлере, что «...его личное участие в боях с большевистскими ордами ценно не только для Европы, но и для всего культурного мира... Моей (то есть Деница.— *К. С.*) первой задачей является спасти немцев от уничтожения прорывающимися большевиками! Только с этой целью и продолжается борьба. До тех пор пока американцы и англичане будут препятствовать достижению этой цели, мы вынуждены будем воевать и против них».

Хочешь не хочешь, а невольно заново вчитываешься сейчас в эти тогдашние слова Деница и о ценности для всего культурного мира л и ч н о г о участия Гитлера в боях с большевистскими ордами, и о том, что борьба продолжается т о л ь к о с целью уничтожения большевиков, а с американцами и англичанами воюют лишь п о к а и в ы н у ж д е н н о.

Именно в этом и состояла подоплека того яростного сопротивления, на которое до последнего часа толкали навоевавшихся досыта за шесть лет войны немецких солдат их начальники на всех участках Восточного фронта, от Курляндии до Чехословакии, где фельдмаршал Шернер отдал войскам приказ, опубликованный в той же самой дрезденской газете: «Солдаты группы армий «Центр»! Адольф Гитлер погиб как мученик за свою идею и веру и как солдат, боровшийся против большевиков до последнего момента своей жизни. Наш долг состоит в том, чтобы продолжить и завершить дело его жизни».

Вот именно: не только продолжить, но и завершить! Спрашивается: чем завершить? Видимо, победой над большевизмом, над Россией. И как завершить? Может быть, в союзе со своими бывшими противниками — с американцами и англичанами?

Надежда на это проходит через многие показания на многих допросах. Была она и у Шернера.

Все это, конечно, не ново. И все же какая-то запоздалая тревога охватывает душу, когда держишь в руках не многотомные послевоенные исторические труды, а этот тоненький пожелтевший листок дрезденской газеты, вышедшей 3 мая, когда Гитлер уже был мертв, Берлин капитулировал, но под Дрезденом все еще шли ожесточенные бои и каждый час и каждую минуту еще падали и падали на землю так и не дожившие до конца войны люди...

Листки дрезденской газеты попали ко мне несколькими днями позже, когда я по дороге из Берлина в Прагу, оказавшись среди развалин Дрездена, по уже укоренившейся за войну привычке начал с того, что разыскал типографию, где долежали до дня капитуляции кипы этих газет...

...Мы пробыли в Берлине несколько дней, и с каждым днем все ясней чувствовалось, что капитуляция Германии приближается. Уже начали ходить разные близкие и далекие от истины слухи о ней, и вдруг, на ночь глядя, всех находившихся в Берлине корреспондентов, кого только смогли разыскать, срочно вызвали в штаб фронта.

Выехав из города, еще на полдороге к штабу фронта мы сразу и услышали и увидели отчаянную стрельбу по всему горизонту трассирующими пулями и снарядами. И поняли, что война кончилась. Ничего другого это не могло значить. Я вдруг почувствовал себя плохо. Мне было стыдно перед товарищами, но все-таки в конце концов пришлось остановить «виллис» и вылезти. У меня начались какие-то спазмы в горле и пищеводе, стало рвать слюной, горечью, желчью. Не знаю отчего. Наверное, от нервной разрядки, которая выразилась таким нелепым образом. Все эти четыре года войны в разных обстоятельствах я очень старался быть сдержанным человеком и, кажется, действительно был им. А здесь в момент, когда вдруг понял, что война кончилась, что-то стряслось — нервы сдали. Товарищи не смеялись и не подшучивали, молчали.

В штабе фронта член Военного совета Телегин сказал нам, что немцы на западе, в штабе союзников, сегодня заявили о капитуляции и предварительно подписали ее. А окончательное подписание акта безоговорочной капитуляции состоится завтра в Берлине, в Карлсхорсте, в здании инженерной школы. Нас вызвали, чтобы мы подготовились к завтрашнему дню.

Темпельхоф. Утро. Еще никто не прилетел, аэродром пуст. Только в центре его толстый маленький полковник репетирует с почетным караулом перед встречей с союзниками. Репетирует долго, раз за разом — за время войны отвыкли от всех этих вещей. Мы валяемся на траве и скучаем. Наконец приезжает заместитель командующего фронтом Соколовский с несколькими генералами. Один из них — знакомый. Вспоминаем, как встретились с ним в Италии. Тогда бои шли еще в районе Флоренции. Сейчас кажется, что все это было очень давно.

Садится первый самолет. Из него вылезает Вышинский с несколькими нашими дипломатами, они сразу же садятся в машину и уезжают... Через полтора часа еще один «дуглас». Вчера ждали, что прилетит Эйзенхауэр. И только здесь, на аэродроме, увидев, что встречать приехал не Жуков, а Соколовский, поняли, что прилетит не Эйзенхауэр, а кто-то другой. Прилетели английский главный маршал авиации Теддер и командующий американской авиацией дальнего действия Спаатс. Спаатс — среднего роста, упитанный, квадратный. Теддер — худощавый, моложавый, неопределенных лет, легкий, подвижный, часто и чуть-чуть насильственно улыбающийся. Обменялись приветствиями

с Соколовским; солдаты взяли «на караул», оркестр сыграл три гимна, союзники и Соколовский пошли вдоль караула.

В это время опустился еще один «дуглас», из него вылезли немцы — Кейтель, адмирал Фридебург и авиационный генерал Штумпф. Вслед за ними несколько немецких офицеров. Почетный караул, встречавший союзников, оказался как раз посередине между самолетом, привезшим немцев, и скопищем стоявших на краю аэродрома машин, к которым немцам нужно было идти. Едва немцы вылезли из самолета, к ним подошло несколько наших, и, пока союзники обходили караул, немцев повели другой стороной в обратном направлении. Первым шел Кейтель в длинном плаще, в большой, высокой генеральской фуражке с выгнутой тульей. Он шел, подчеркнуто не глядя по сторонам, крупным, размашистым шагом.

Едем вслед за немцами по Берлину. Глядя на мелькающие развалины Берлина, на одинокие фигуры жителей, думаю о том, что трудно представить себе более тягостное зрелище, чем то, которое встречает здесь едущих подписывать капитуляцию немецких генералов.

Карлсхорст. Заранее осматриваем актовый зал инженерной школы, в котором будет происходить подписание. Зал небольшой — двести квадратных метров. Вдоль узкой стороны его на стене флаги — наш, американский, английский и французский. Командующий французской армией Делатр де Тассиньи, говорят, тоже прилетел или прилетает. Под флагами длинный, почти во всю длину стены, стол, за которым будут сидеть представители союзного командования. Перпендикулярно ему еще три стола, два длинных и один короткий, ближе к выходу. Короткий стол — для немецкой делегации; средний стол — для наших и союзных генералов и офицеров, которые будут присутствовать при капитуляции; третий, дальний, стол — для нашего брата корреспондента.

Топчемся в инженерной школе и вокруг нее почти целый час. Говорят, дело задерживается из-за того, что наши и союзники все еще договариваются по каким-то процедурным вопросам. Наверно, так оно и есть, потому что капитуляция, первоначально намеченная на два часа дня, начинается только вечером. Наконец в зал входят представители союзного командования — Жуков, Телегин и вместе с ними Вышинский, Теддер, Спаатс и Делатр де Тассиньи, которого вижу сейчас впервые. Это мо-

лодцеватый генерал, вряд ли старше сорока пяти лет.

Корреспонденты и военные, которым предстоит присутствовать при капитуляции, бросаются занимать места, которых никто до них не занял. К ним подскакивает один из офицеров-распорядителей и что-то поспешно шепчет им. Наши генералы, севшие за стол, предназначенный для капитулирующих немцев, вскакивают из-за него как ужаленные и пересаживаются за другие столы.

Жуков улыбается. Теддер улыбается. Делатр де Тассиньи улыбается. Немножко поулыбавшись друг другу и неулыбающемуся Спаатсу, они рассаживаются на места за своим столом. Безумствуют фотографы и кинооператоры. Вскакивают на столы, наваливаются животами на плечи генералам и снимают, снимают, снимают...

Один из наших кинооператоров длинной ручкой своего аппарата задевает по голове какого-то американского адмирала. Адмирал, очевидно привычный к суете корреспондентов, добродушно улыбается и машет рукой: «О'кэй!» Но наши непривычные к этому распорядители чуть было не выволакивают беднягу оператора из зала.

Сидящие за центральным столом выглядят очень поразному. Спаатс не выражает на своем лице ничего. Вышинский суетится. Жуков сияет. Сидящий рядом с ним Теддер с его приятной, но невыразительной внешностью, слегка улыбаясь, что-то говорит через переводчика Жукову, и мне почему-то кажется, что в этом человеке, единственном из всех, сохраняется какая-то доля иронии по отношению к предстоящей торжественной процедуре. У Делатра де Тассиньи вид человека, приехавшего позже других, озабоченного этим и спешащего войти в курс дела.

Смотрю на Жукова, на его красивое, сильное, тяжелое лицо и вспоминаю встречи с ним во время боев с японцами на Халхин-Голе, когда он был еще комкором и командовал там, в Монголии, нашей армейской группой. В последний раз я его тогда видел уже после разгрома японцев в его жарко натопленном блиндаже. Он только что вернулся из бани и, отдыхая, сидел по-домашнему. Мне запомнилось, с каким насмешливым спокойствием слушал он тогда одного из своих разведчиков, срочно просившего приема и докладывавшего о новом и опасном, по его мнению, сосредоточении крупных японских частей. По виду Жукова можно было понять, что он ни на грош не верит этому докладу, считает, что японцы сейчас, сразу после такого разгрома, ничего не предпримут, а разведчики просто

перестраховываются. Это он и сказал, дослушав доклад. Сказал холодно, резко, бесповоротно. С тех пор за шесть лет я его ни разу не видел. Могло ли мне тогда хотя бы на минуту прийти в голову, что в следующий раз я увижу его в Берлине, принимающим капитуляцию германской армии...

Когда в зале успокаивается жужжание, Жуков встает и объявляет о начале заседания для принятия капитуляции германской армии. Потом говорится о полномочиях, кто каким правительством уполномочен, и читаются документы на разных языках. На все это уходит минут десять.

Жуков снова встает и, обратившись к стоящим у входных дверей офицерам, сухо говорит:

— Введите германскую делегацию.

Двери распахиваются, и в них входят Кейтель, Фридебург и Штумпф, за ними несколько офицеров, видимо адъютанты. Для того чтобы дойти до своего стола, Кейтелю надо сделать только три шага. Он делает их, останавливается за средним креслом и, вытянув руку с коротким фельдмаршальским жезлом, делает им быстрое движение вперед и назад, почему-то напоминающее мне гимнастику с гантелями. Отодвинув кресло, садится и кладет жезл перед собой. Фридебург и Штумпф тоже садятся. Их адъютанты стоят сзади. Жуков встает и что-то говорит, не слышно что.

Это переводят немцам. Кейтель утвердительно наклоняет голову.

Затем продолжаются разные подробности процедуры.

Я слежу за Кейтелем. Он сидит, положив перед собой на стол руки в перчатках. Штумпф кажется совершенно спокойным. Фридебург застыл в неподвижности, но в самой этой неподвижности чувствуется беспредельная угнетенность.

Кейтель тоже сначала сидит неподвижно, глядя перед собой, потом чуть повертывает голову и внимательно смотрит на Жукова. Снова смотрит в стол перед собой и снова на Жукова. И так несколько раз подряд. И хотя это слово, казалось бы, предельно не подходит к происходящему, но я все-таки вижу, что он смотрит на Жукова с любопытством. Именно на Жукова и именно с любопытством. Как будто он увидел человека, который его давно интересовал и сейчас сидит всего в десяти шагах от него.

За центральным столом начинают подписывать доку-

мент. Подписывают Жуков, Теддер, Спаатс, последним Делатр де Тассиньи.

Пока они подписывают документ, лицо Кейтеля становится страшным. В ожидании секунды, когда придет очередь подписывать ему, он сидит прямо и неподвижно. Высокий офицер, стоящий за его креслом по стойке «смирно», плачет, не двигая при этом ни одним мускулом лица. Кейтель продолжает сидеть прямо, потом вытягивает перед собой на столе руки и сжимает кулаки. А голову все больше закидывает назад, так, словно хочет закатить обратно под веки готовые вывалиться оттуда слезы.

В это мгновение Жуков встает и говорит:

— Германской делегации предлагается подписать акт безоговорочной капитуляции.

Переводчик переводит это по-немецки, и Кейтель где-то уже в середине перевода, поняв смысл его слов, делает короткое движение руками по столу, к себе, выражая этим согласие на то, чтоб им дали сюда, на этот стол, акт для подписания. Но Жуков, продолжая стоять, коротким движением протягивает в сторону немцев руку и, поведя ею от них по направлению к столу, за которым сидят союзники, говорит жестко:

— Пусть подойдут подписать сюда.

Первым встает Кейтель. Он подходит к узкому концу стола, садится в стоящее там пустое кресло и подписывает несколько экземпляров акта. Потом встает, возвращается к своему столу и садится в прежней позе. Подписывая, он снял перчатку. Сейчас он снова натягивает ее на руку.

Вслед за ним идут подписывать Штумпф и Фридебург. Пока все это происходит, я продолжаю смотреть на Кейтеля. Он сидит вполоборота к столу, за которым сидят союзники, смотрит на них и о чем-то думает так упорно и напряженно, что, очевидно, незаметно для себя, подняв со стола правую руку в перчатке, берет ею себя за лицо, за тяжело отвисшие щеки и подбородок и мнет, мнет, почти комкает лицо рукой в перчатке.

Последний из трех немцев подписывает акт и возвращается на место.

Жуков встает и говорит:

— Германская делегация может покинуть зал.

Немцы встают. Кейтель делает жезлом такое же движение, которое сделал, когда вошел, поворачивается и выходит. Остальные выходят следом за ним. Двери закрываются.

И вдруг все накопившееся в зале напряжение исчезает. Исчезает так, словно все надолго задержали воздух в груди и разом выпустили его. Общий облегченный, расслабленный выдох.

Капитуляция подписана. Война кончилась.

Десятого мая вечером едем через Судеты на Прагу. Уже знаем, что она освобождена, уже знаем, что в нее самыми первыми прорвались танкисты Первого Украинского фронта и что все это произошло еще вчера утром. Но, как ни спешим туда, в Прагу, по дороге довольно надолго останавливаемся перед каким-то разрушенным мостом, где из-за этого надо сворачивать с шоссе и делать трехкилометровый объезд лесом.

Перед мостом еще до нас скопился десяток легковых машин, и никто не едет в объезд, потому что недавно там проехала какая-то машина и по ней выстрелили и кого-то не то убили, не то ранили бродящие по лесу и еще не знающие о капитуляции немцы.

Война кончилась, и никому не хочется рисковать, хотя еще два-три дня назад никто из толпящихся здесь, у моста, офицеров или шоферов даже и не подумал бы считаться с таким ерундовым риском. Мы тоже топчемся, как и все, у моста в ожидании какого-то бронетранспортера, который откуда-то вызвали. Потом мой спутник, Саша Кривицкий, вдруг озлившись на это ожидание, на себя, на меня и на все на свете, говорит мне:

— Не будем ждать, поедем.

Я жмусь и ничего не могу с собой поделать. Мысль об этих чертовых немцах, которые могут сейчас, после войны, стрельнуть по мне оттуда, из леса, угнетает меня. Кривицкий кипятится, и мое положение в конце концов становится стыдным. Мы садимся в машину и выезжаем на эту лесную дорогу. Другие машины сейчас же вытягиваются в колонну вслед за нами. Я понимаю, что если бы не мы, то кто-то другой все равно, озлившись, сделал бы это через пять минут и мы бы поехали вслед за ними, как они сейчас едут за нами, но мне не легче от этой мысли, потому что я все равно боюсь.

Въезжаем в лес. В лесу тихо, и мы, не выдержав напряжения, сами начинаем стрелять по лесу из автоматов, из несущейся полным ходом машины. Проскочив лес, мы так и не можем дать себе отчета, стреляли там, в лесу, немцы или нет. Мы слышали только собственную отчаянную, испуганную трескотню автоматов. Нам стыдно друг друга, и

мы молчим. Мы уже не можем вернуться к тому состоянию войны, в котором, конечно, боясь смерти, в то же время саму возможность ее мы считали естественной и даже подразумевающейся. И мы еще не можем без чувства стыда перед самими собой вернуться к тому естественному человеческому состоянию, в котором сама возможность насильственной смерти кажется чем-то неестественным и ужасным...

В октябре 1945 года, когда в Америке вышли мои «Дни и ночи», я написал письмо своему американскому издателю, несколько абзацев из которого мне хочется привести здесь:

«Война кончилась, и теперь уже можно сказать, что профессия военного корреспондента была в общем нелегкой. Во мне всю войну боролось два чувства: желание увидеть все своими глазами, чтобы потом, после войны, написать об этом как следует, и боязнь быть убитым, и как следствие этого невозможность написать об увиденном.

Чем дальше шла война, чем ближе было к ее концу, чем больше становился запас наблюдений — тем острее делалось это противоречие. Видеть по-прежнему хотелось, но чем больше увиденного было за плечами, тем обидней казалась мысль о возможности смерти.

Теперь все это позади, и, как это свойственно человеку, когда опасность осталась уже позади, упрекаешь себя за все случаи, когда не рискнул сделать то-то и то-то или не хватило храбрости побывать там или здесь.

Но рядом с этим существует и другое чувство, пожалуй, более сильное — хочется описать пережитое самому, не передоверяя этого ни современникам, ни, тем более, потомкам...»

Так с долей молодой самонадеянности писал я сразу после войны.

Потом, много лет работая над этой книгой, я много раз думал: чем же я ее кончу, что скажу в заключение? А сейчас вижу, что, наверное, и не надо никаких заключений. Если все, что мною рассказано о четырех годах войны, хоть в какой-то мере дает почувствовать, чем она была, и заставляет лишний раз подумать, что третьей мировой войны не должно быть,— то к этому чувству и к этой мысли мне нечего добавить. А если я не сумел этого сделать — то бессмысленны всякие послесловия. И чем они длиннее, тем бессмысленнее.

«ОЧЕВИДНО, НАМ С ВАМИ НРАВЯТСЯ ПОХОЖИЕ ЛЮДИ...»

О Константине Симонове

В многообразном творчестве К. М. Симонова книга «Разные дни войны» занимает, пожалуй, особое место. Ни одна его книга не писалась так долго. Основа ее — фронтовые дневниковые записи, сделанные в годы войны. После войны, работая над эпопеей «Живые и мертвые», Константин Михайлович не раз обращался к этим записям и, как говорил сам, приводил их в порядок. Это была не просто систематизация записей, а и обработка их, частичное комментирование, поиски через архивы людей, оставшихся в живых, и их родственников. В 1965 году отдельные главы дневников были опубликованы в журнале «Новое время» и затем вышли в издательстве «Советская Россия» небольшой книжкой («Каждый день длинный»). И еще часть записей была опубликована в 1970 году в книге «Записки молодого человека» (издательство «Молодая гвардия»).

В начале 1972 года я узнал, что Константин Михайлович продолжает работу над дневниковыми записями, и написал ему небольшое письмецо. От него в редакцию «Дружбы народов» пришел такой ответ:

«Дорогой Сергей Алексеевич!

Для того, чтобы составить себе представление о том, как в принципе может выглядеть десяти-двенадцатилистная книга записок 1945 года, посылаю Вам в свое время опубликованные в печати отрывки из нее.

Гляньте — чтобы иметь представление, подходит ли Вам для журнала в принципе работа такого рода.

Жму Вашу руку.

Ваш Константин Симонов

5.V.72».

Так началась наша работа над «Разными днями войны» в «Дружбе народов».

Сначала мы прочитали записки 1945 года. Потом записки 1941 года. И лишь позже шли года 1942, 1943, 1944-й.

Естественно, что по каждой части записок мы высказывали Константину Михайловичу какие-то частные замечания, и он в большинстве случаев соглашался с нами, но главное было ясно: мы обязательно будем печатать «Разные дни войны».

Ничуть не преуменьшая значения военной прозы К. М. Симонова, думаю, что «Разные дни войны» его — событие особое. И в литературе нашей, и в нашей истории — в понимании и осмыслении ее.

Честная книга К. М. Симонова не просто необходимое дополнение, а неотделимая часть всего написанного о войне.

Она — сплав мемуаров и художественной беллетристики, ибо содержит десятки точно и зримо выписанных портретов людей войны — от гене-

ралов до простых солдат, множество наблюдений и писательских раздумий над судьбами фронтовиков. Наконец, важно и то, что записи военных лет комментируются в ней автором со всей глубиной нынешнего взгляда его на давние события.

«Разные дни войны» — книга зрелого историка и талантливого художника, и в этом неповторимое своеобычие ее.

По этой книге у меня сохранилась огромная переписка с Константином Михайловичем. Это подробная и скрупулезно точная переписка по рукописи, которая публиковалась «Дружбой народов», к слову, хронологически наоборот: начиная от 1945-го через 1942—1943—1944 годы к 1941 году. Так сложно писалась книга.

Приведу из этой переписки лишь одно письмо, и то частично:

«Многоуважаемый Сергей Алексеевич,

я познакомился с замечаниями по моей рукописи «Разные дни войны», присланными в редакцию «Дружбы народов» военными товарищами.

Прежде всего, хочу сказать Вам, как редактору журнала, что мне доставила искреннюю радость та общая положительная оценка моего дневника писателя, которую дали ему прочитавшие его военные.

Во-вторых, хочу сказать Вам, что я с величайшим вниманием отнесся к тем замечаниям и пожеланиям, которые были высказаны товарищами в их письме, а также сделаны в тексте рукописи по ходу ее чтения.

Во всех тех случаях, когда замечания и пожелания рецензентов казались мне справедливыми или частично справедливыми, я внес соответствующие исправления.

В тех же случаях, когда я остался при своем первоначальном мнении и считал, что некоторые из замечаний и пожеланий мне в своем дневнике писателя принимать не следует, я считаю необходимым мотивировать Вам, как редактору журнала, почему в таких случаях я считаю правку рукописи ненужной...»

Заканчивалось письмо так:

«Подводя итог, хочу повторить, что я с максимальным вниманием отнесся к замечаниям и пожеланиям моих рецензентов и в большинстве случаев, в том или ином объеме, внес соответствующие исправления, оговорив в данном письме те, сравнительно немногочисленные пункты, по которым я не мог согласиться с замечаниями и пожеланиями.

Хотелось бы пораньше познакомиться с соответствующими замечаниями и пожеланиями по второй и третьей части моего Дневника писателя, чтобы иметь побольше времени и на размышления и на поправки и уточнения, если в них возникнет необходимость.

Очень бы просил редакцию журнала в Вашем лице посодействовать этому.

Уважающий Вас

Константин Симонов

24.III.74».

В работе над «Разными днями войны» Константин Михайлович был обязателен, точен, если хотите, вежлив и одновременно неумолим. Там, где речь шла о главном. Для него, для страны, для истории Отечественной... И вообще, признаюсь, я не знал такого другого литератора. Организованность. Обязательность. Чуткость и внимательность к другим.

Будь то Д. Ортенберг с его мемуарами или никому тогда не известный художник В. Кондратьев с повестью «Сашка». Будь то генерал-лейтенант в отставке Л. Ф. Минюк или почти полузабытый кавалер ордена Славы трех степеней. Будь то студия кинохроники или «Дружба народов» («Трудно даже сказать,— писал Константин Михайлович,— как многое меня связывает с Вами и Вашим журналом в эти последние годы»).

За публикацию «Разных дней войны» К. М. Симонов получил «Рабочую премию» Нурека — нашей подшефной стройки. Он не смог поехать в Нурек вместе с нами, написал нурекчанам доброе письмо, а потом мы попросили Константина Михайловича сказать несколько слов в «Дружбе народов» по поводу нашего шефства.

Конечно, Симонов был занят.

Но все же определенно пообещал, когда он это сделает.

И вот его письмо:

«С. А. Баруздину.

Дорогой С. А.!

Докладываю — Ваше поручение выполнено. Результаты прилагаю.

Жму руку.

Ваш К. С.»

Так в журнале появилась такая публикация:

«САМЫЙ ВАЖНЫЙ ЭПИТЕТ

Мне думается, что та дружба, те истинно товарищеские, полные взаимной заинтересованности отношения, которые сложились между многонациональным коллективом строителей Нурека и многонациональным редакционным и авторским коллективом журнала «Дружба народов»,— пример многозначительный для жизни нашего общества.

Во-первых, потому, что это продолжение тех традиций, которые закладывались в советской литературе еще Горьким и связаны в своих истоках с поездками писательских бригад во многие наши республики и на многие стройки первых пятилеток. Многие книги вынесены из гущи жизни первых пятилеток — книги Тихонова и Луговского, Катаева и Павленко, Малышкина и Якова Ильина, Эренбурга и Шагинян. Своим истоком они имели стремление писателей узнать жизнь строителей первых пятилеток, проникнуть в их духовный мир и то доверие к советским писателям, веру в плодотворность их труда, которые проявлялись и в том, как их принимали на строительствах и как с ними делились всем — и плохим, и хорошим, и победным, и трудным,— короче говоря, без утайки открывали им душу, как это делают перед людьми, которым верят.

И надо сказать, что писатели не обманули этого доверия рабочих коллективов. Они не только написали многие оставшиеся в истории нашей литературы хорошие книги, ставшие частицей истории самой эпохи; они немало сделали и в прямом общественном, непосредственно деловом смысле — и выступая на страницах газет, и обращаясь в государственные, партийные организации, ставили перед ними нерешенные наболевшие вопросы, стремясь помочь разрешению тех или иных накопившихся на стройках проблем.

Но, говоря все это, справедливо вспомнить и о второй стороне дела: поездки на стройки, жизнь в строительных, в рабочих коллективах, знание

происходящего и участие в нем — именно все это и вырабатывало тот тип писателя-гражданина, писателя, ощущающего самого себя частицей народа, а свое писательское дело — частицей народного дела; трудящиеся люди действительно могли сказать и говорили: это наш, советский писатель. Не просто писатель, а именно н а ш. Эпитет, может быть, самый важный и самый дорогой для человека, который видит свое главное счастье в том, чтобы быть нужным людям. Итак, во-первых, нынешняя дружба большого многонационального писательского коллектива, группирующегося вокруг журнала «Дружба народов», с коллективом строителей Нурека — это плодотворное продолжение уже давно начавших складываться в нашем обществе традиций.

Во-вторых, это и сегодняшний день строительства, и сегодняшний день нашей литературы.

Животворность традиций проверяется настоящим, проверяется реальностью их существования и развития в нынешней, сегодняшней жизни общества.

Слово «Нурек» стало в нашей литературе понятием обобщенным. За этим словом возникает не только представление об одной из величайших строек вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня нашей страны, но оно постепенно все более воспринимается как символ связей литературы с жизнью, как символ взаимной заинтересованности рабочего читателя в судьбах литературы и литераторов — в судьбах огромного разноплеменного коллектива, который, осуществляя труднейшее и сложнейшее строительство, находит время для того, чтобы читать, знать литературу, а в иных случаях и говорить о ней свое веское слово.

Нурек сегодня — это не только поездка писателей на строительство, не только опубликованные на страницах журналов и газет корреспонденции, написанные с должным пониманием нужд и забот стройки, не только рабочие премии книгам писателей, но еще и уникальная — многотысячная, если не ошибаюсь, свыше семи тысяч томов! — библиотека Нурека, библиотека, которой не мог и не сможет иметь ни один самый преданный любитель книги, библиотека с автографами нескольких тысяч деятелей советской литературы и — шире говоря — культуры, с автографами, в которых выражено и уважение к многотысячному коллективу Нурека, и понимание всей значимости той работы, которую совершает этот коллектив.

И, наконец, в-третьих, Нурек — это не только прошлое и настоящее, но и будущее. Дело, уже давно начатое, бурно развертывающееся и всем пафосом совершаемого уже сегодня устремленное в завтрашний день, в грядущее, дело, связанное с научным предвидением и с революционной романтикой, и с удовлетворением все возрастающих потребностей нашего общества. Вот что такое Нурек — вчера, сегодня и завтра — в моем представлении, в представлении одного из множества советских литераторов, связанных с великой нурекской стройкой многими нитями общего для всех нас дела.

Константин Симонов».

Впрочем, все это, конечно, Симонов сегодня.

А Симонов вчера?

Для меня и для людей моего поколения?

Не знаю, как другие, но если я запомнил на всю жизнь строфы и строки поэта, то он навсегда остается для меня настоящим:

Как будто мы уже в походе.
Военным шагом, как и я,
По многим улицам проходят
Мои ближайшие друзья;

Не те, с которыми зубрили
За партой первые азы,
Не те, с которыми мы брили
Едва заметные усы.

Мы с ними не пивали чая,
Хлеб не делили пополам,
Они, меня не замечая,
Идут по собственным делам.

Но будет день — и по разверстке
В окоп мы рядом попадем,
Поделим хлеб и на завертку
Углы от писем оторвем...

Это — с детских довоенных лет.
И еще помню с той поры:

Касаясь трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткою меридианов,
Непобедима, широка, горда.

Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке
И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что у нас осталось вдалеке,

Ты вспомнишь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспомнишь родину — такую,
Какой ее ты в детстве увидал.

Клочок земли, припавший к трем березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.

Вот где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей земли.

Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть... Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать.

Такое не забывается, пока ты жив.

Из довоенного Симонова я никогда не забуду поэмы «Ледовое побоище» и «Суворов»...

И стихи — «Английское военное кладбище в Севастополе», «Поручик», «Генерал», «Мальчик»...

В предисловии к шеститомному Собранию сочинений (издательство «Художественная литература», 1966) Константин Михайлович писал: «Постараюсь быть кратким.

Первые из опубликованных в этом Собрании сочинений стихов были напечатаны в 1935 году.

Последние страницы опубликованной здесь прозы я написал в 1966 году...»

Да, именно из 1935 года сохранились в памяти строки стихотворения «Дом»:

Сейчас наш поезд трясется
Где-то под Кустанаем...
Мальчишка уснул на полке.
А я вспоминаю отца:
Он скоро умрет от удушья,
И дом четырьмя стенами
Сомкнется и с грохотом рухнет
На труп своего творца.

Военный Симонов родился задолго до 1941 года.

И все же именно в 1941—1945 годах Симонов создал свои поэтические шедевры, такие, как «Жди меня», «Убей его!» или знаменитые строки:

Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди.

Или — для детей или не для детей? — «Сын артиллериста».

Маленькая поэма, потрясшая всех, кто был на фронте и был в тылу.

Простая по стихотворной форме и по мысли, но удивительно емкая в своей первозданной простоте, безыскусственности, что ли:

Был у майора Деева
Товарищ — майор Петров,
Дружили еще с гражданской,
Еще с двадцатых годов.

Вместе рубали белых
Шашками на скаку,
Вместе потом служили
В артиллерийском полку.

А у майора Петрова
Был Ленька, любимый сын,
Без матери, при казарме,
Рос мальчишка один.

А вот передо мной памятная книжка стихов Константина Симонова, изанная в «Библиотеке «Огонек» в 1942 году. Она называется «Стихи 1941 года».

Я храню эту скромную книжечку по сей день.

Открывает книгу стихотворение «Суровая годовщина». Дальше стихи «Секрет победы», «Презрение к смерти», «Голос далеких сыновей», «Слово моряка», «Письмо в Москву», «Мы возвращаемся», «Великое слово»...

А военная проза К. Симонова.

«Дни и ночи», «Дым Отечества», «Так называемая личная жизнь (Из записок Лопатина)» и, конечно же, «Живые и мертвые».

Без этого нельзя сегодня представить себе нашу прозу о войне.

Вряд ли есть на свете литературный жанр, в котором не выступал бы Симонов. Поэзия, проза, драматургия, публицистика, критика, переводы.

Добавим ко всем этим жанрам — кино, радио, телевидение.

Хорошо это или плохо?

Я всегда поражался многосторонности таланта Симонова и его организованности, что в писательской среде редкость.

Как он работал, понять невозможно, но как он при этом оставался добрым, внимательным, чутким — понять еще труднее!

Симонов никогда никого не подводил ни в делах творческих, ни в человеческом... Он доставал квартиры и пенсии, реабилитации и путевки в санатории. Обещал — сделал.

Вот его письмо от 16 марта 1964 года:

«Дорогой Сергей Алексеевич!

Спасибо за приглашение принять участие в пленуме.

Большая часть апреля у меня предвидится в дальних разъездах, но если выйдет так, что я как раз в это время буду в Москве, то я приду на пленум. Выступать буду навряд ли, а послушать приду.

С товарищеским приветом

Ваш Константин Симонов

П. С. Между прочим, Вы в своем письме зря кооптировали меня в состав правления. Насколько мне не изменяет память, я в нем не состою, и если приду на пленум, то просто как вольнослушатель.

К. С.»

И в своих поездках Симонов оставался Симоновым.

Он не просто ездил по градам и весям, а привозил конкретное, деловое, важное для нашей литературы. В его отличных переводах мы знаем произведения Б. Шинкубы, Вагифа, Хагани, Видади, Насими, С. Вургуна, Г. Гуляма, Х. Гуляма, Х. Алимджана, Зульфии, М. Бабаева, А. Мухтара, М. Карима, К. Каладзе, Ф. Халваши, Р. Гамзатова, Э. Межелайтиса, В. Тавлая, Н. Хикмета, Доржпалама, Ю. Тувима, В. Незвала, И. Тауфера, Х.-Л. Пачеко, Д. Методиева, В. Муччи, Р. Киплинга...

Константин Михайлович открыл немало новых литературных имен.

Прочитав когда-то первый вариант романа В. Ажаева «Далеко от Москвы», Симонов многие месяцы работал с автором, пока роман не стал таким, каким мы его знаем и каким он прочно вошел в нашу литературу.

Несколько лет следил Константин Михайлович за работой талантливого, тогда никому не известного прозаика Вячеслава Кондратьева. И вот, наконец, довольный и радостный, принес нам в «Дружбу народов» его повесть «Сашка». Повесть появилась во втором номере журнала за 1979 год с предисловием самого Симонова и сразу же вызвала живейший интерес у читателей и критики.

28 февраля того же года Константин Михайлович прислал такое письмо:

«С. А. Баруздину.

Мой дорогой друг и брат по хворобам! Опять мы с Вами болеем в разных местах. Надо, наверное, когда-нибудь и объединиться, а?

Спасибо за «Сашку» — Вам! Другой бы не напечатал, забоялся. А дело — справедливое и на пользу нашей советской власти!

Выздоравливайте, пожалуйста!

Ваш К. Симонов».

Константин Михайлович всегда помогал «Дружбе народов», а с января 1979 года он стал членом редколлегии журнала.

Как он относился к этой своей обязанности?

Вот отрывок из его письма от 9 февраля 1979 года:

«...несколько слов в качестве неофита в редколлегии «Дружбы народов». В чем я вижу возможность приносить пользу? Во-первых, рекомендовать то, что мне покажется интересным для журнала. Буду, естественно, иногда ошибаться в этом и, таким образом, вместо пользы приносить вред, но тут уж ничего не поделаешь, так это бывает со всеми нами.

Во-вторых, готов от времени до времени заранее читать в рабочем порядке вещи, относительно которых в редакции нет сомнений, но могут возникнуть впоследствии и надо посоветоваться.

В-третьих, готов — тоже от времени до времени — читать вещи, которые вызывают спор в самой редакции, и Вам, быть может, будет интересно узнать мое мнение. Это относится к вещам самого разного жанра, включая статьи и рецензии, но лучше бы без стихов: от них я отстал и что-то чувствую себя неуверенно в оценках.

Ну и, наконец, в-четвертых, я готов — и деликатно, и, если понадобится, и неделикатно защищать на страницах журнала от рецензентов то, что мы напечатаем на благо нашему обществу и литературе, а рецензенты сочтут, что оное во вред, и придется с ними не согласиться...»

И тут очередная рекомендация.

«...недавно,— пишет Константин Михайлович,— я прочитал рукопись скончавшегося два года назад генерал-лейтенанта в отставке Леонида Федоровича Минюка под названием «О том, что память сохранила». В трудные для Жукова годы у Минюка судьба оказалась еще более нелегкая; в годы войны — между 42-м и 44-м он был старшим генерал-адъютантом у Жукова, как заместителя Верховного Главнокомандующего, а в 35-м — 37-м году был у Жукова — тогда комбрига — начальником штаба 4-й Донской кавалерийской дивизии. Жуков — комбриг, Минюк — майор.

В этих воспоминаниях — вообще интересных и написанных собственною рукою, что придает им немалую ценность, хотя, может быть, и требует минимальной стилистической правки — не переписки, а именно тактичной правки,— много любопытного. Они доведены подряд до начала Великой Отечественной войны, дальше только отрывки,— но это, в общем, история строительства Советской армии плюс гражданская война, предшествовавшая этому,— и сын плотника из кубанской станицы, доброволец Красной армии, солдат, младший командир, а впоследствии — штабной работник и генерал-лейтенант,— написал очень колоритно об этом периоде между восемнадцатым и сорок первым годом.

Но среди всего этого интересного материала, который я как книгу хочу рекомендовать издательству ДОСААФ — еще не уверен, что именно

ему, но, видимо, ему, во всяком случае, отзыв я уже написал,— есть одна особо интересная глава. Это глава о совместной работе с Жуковым в 4-й Донской кавалерийской дивизии, причем, написано это очень сжато, плотно, по делу,— и хотя этот период известен по воспоминаниям самого Жукова, но — каким выглядел Жуков в глазах своего начальника штаба, в глазах своих подчиненных, вплоть до красноармейца — прочесть очень интересно, тем более, что Минюк не стоит в положении коленопреклоненного, а пишет с огромным уважением к Жукову, с верой в его будущее, с пониманием того, что личность он сильная и крупная,— но без пророчеств в тексте, без предвидения всей последующей военной судьбы Жукова. Это делает эту главу очень, на мой взгляд, достоверной и интересной для публикации. Она небольшая, в ней всего лист, двадцать пять страниц. Думаю, что такая вещь могла бы найти место на страницах «Дружбы народов» — может быть, с небольшой врезкой, рассказывающей об авторе, которую мог бы сделать или кто-то из военных, или Вы, или редакция — безымянно. Я себя в данном случае в авторы врезки не предлагаю, поскольку это было бы неудобно после моей предыдущей публикации о Жукове...» [1]

И еще совет Константина Михайловича — обратить внимание на творчество Георгия Караваева — человека трудной судьбы, но очень способного.

Константин Михайлович много читал и часто, по старой традиции русской литературы, писал авторам письма. Два таких письма, вернее копии их, мы в свое время взяли у Константина Михайловича и опубликовали в журнале («Дружба народов», № 10 за 1977 г.). Это были письма Д. Я. Гусарову по поводу его книги «За чертой милосердия» и Г. С. Оганову по поводу его книги «Кто правит бал?».

Мне казалось, что Константин Михайлович знает меня по работе в Союзе писателей и журнале, а с книгами моими вряд ли знаком.

И вот как-то он встречает меня в Центральном Доме литераторов и говорит:

— Слышал, что у Вас будет выходить в Гослите двухтомник. А кто пишет к нему предисловие?

— Не знаю,— признался я, ибо издание двухтомника предполагалось не скоро, через четыре года.

— Я бы написал с удовольствием, если Вы не возражаете. Подскажите издателям.

Двухтомник с предисловием К. Симонова «Точка отсчета» вышел в 1977 году. И надо сказать, что, по-моему, «Точка отсчета» далеко выходит за рамки предисловия. В ней масса интересных мыслей о военной теме в литературе, о литературе и НТР, о жизни.

Вспоминаю и нашу с Константином Михайловичем более давнюю поездку на Стружские поэтические вечера в Македонии (СФРЮ). В нашу делегацию входили Роберт Рождественский, украинец Борис Олейник и эстонец Пауль-Ээрик Руммо. Так вот, в ходе поездки выяснилось, что Константин Михайлович прекрасно знает стихи Олейника и Руммо.

Мне хочется вспомнить еще одно письмо Константина Михайловича, в котором содержатся, по-моему, очень важные мысли о стихах. Кстати, оно в какой-то мере объясняет и появление последних стихов самого Симонова, о которых я буду еще говорить.

---

[1] В «Дружбе народов» были опубликованы воспоминания К. М. Симонова о встречах с Г. К. Жуковым. Записки Л. Ф. Минюка «Несколько страниц из жизни Г. К. Жукова» были опубликованы в «Дружбе народов» № 2 за 1980 год.

Вот это письмо:

«Дорогой Сергей Алексеевич.

Читая Вашу книгу стихов, вернее первую ее часть, думал о собственной жизни, собственных отношениях, собственных растянувшихся на долгие годы воспоминаниях. В общем-то, наверное, главное назначение стихов и есть вот это — то, что человек, читая чужое,— думает о собственном.

Бывают иногда стихи, которые чем-то мешают рассуждать о них, как о стихах,— и больше всего тою болью, за которой жизнь и ее боль. Я читал Ваши стихи с глубоким уважением к силе их искренности и с глубокой болью за двух хороших настоящих людей, про которых они написаны и которым так трудно, и которым есть что вспомнить в жизни, но в то же время сама необходимость вспоминать — звучит трагично.

Думал и о себе, и о том, что успеваю и чего не успеваю, откладываю сказать самому близкому человеку. Когда люди откладывают, не успевают сказать друг другу самого нужного, где-то рядом чуть слышно или совсем неслышно прячется трагедия. Драма во всяком случае.

Простите за многословие.

«Просто Саша» мне пришлась очень по душе — очевидно, нам с Вами нравятся похожие люди, в данном случае — женщины. И еще мне из книжки, кроме Саши, понравился больше всего другого рассказ про мальчика Караваева.

Крепко жму Вашу руку.

Ваш Константин Симонов

12.XII.73».

Я был у Константина Михайловича в больнице на Мичуринском проспекте за две недели до его неожиданной кончины. Признаться, ничто тогда не предвещало беды. Конечно, Константин Михайлович был нездоров. Он сильно похудел. Кашлял. Но он вовсю работал и был полон замыслов на многие годы вперед. Писалась «Книга воспоминаний». Главы из нее — о К. Федине, Б. Горбатове, М. Луконине — мы опубликовали в «Дружбе народов» № 1 за 1979 год. Симонов приводил в порядок свою переписку с матерью и с нежностью рассказывал мне о ней: какой она была сильной, интересной личностью.

— Жаль, если эта переписка пропадет. Это прекрасная книга! — говорил Константин Михайлович.

Уже после смерти К. М. Симонова мы напечатали цикл его неопубликованных стихов («Дружба народов», № 2 за 1980 год).

Скажу откровенно: это какие-то совершенно новые, может быть, даже не похожие на знакомые симоновские, а точнее, открывающие его с совершенно незнакомой стороны стихи.

Не хватает меня во времени,
Не хватает меня в пространстве,
Не могу я вынести бремени
Этих бдений и этих странствий.

Или:

Был перепахан за эту зиму я,
Как неудавшиеся
озимые.

И тут же рядом с грустными стихами строки, полные иронии, но тоже не без грусти:

Какой-то врач, а может быть,
                                        и знахарь,
По современным
                    правилам
                              игры
Сперва нам запретил
                         белки
                              и сахар,
Потом, вдогонку,
                    запретил
                              жиры!
Диетою
          лишенные
                    свободы,
Едва его
          успели
               упросить:
Оставить нам
               хоть спирт
                         и углеводы —
Чтоб с горя —
               выпить,
С горя —
          закусить!

Тут и «Начало перевода «Лорелеи», и «Надпись, найденная в Эфесе», и полное сарказма «Ангелам критики», и «О воспитании», и «О пользе грамоты».

Стихи все очень разные, непохожие друг на друга, и тем они значимей.

Вот еще одно:

Кабы дубы
Шли на гробы,
А не на лбы!

«Он был «человеком поэзии»,— писала в предисловии к этим стихам жена и друг Константина Михайловича Л. А. Жадова,— в том самом прямом смысле, что, собственно говоря, писал стихи всегда в свободные, самому себе предоставленные часы, дни, месяцы...

Он любил преподносить стихи-поздравления, стихи-шутки своим друзьям и близким, зачастую превращая их в своеобразные коллажи, обклеивая и обрисовывая всевозможными рисунками, занимаясь стихографикой. Дома у нас иногда создавались целые стенные стихотворные газеты.

Стихи возникали как бы нечаянно, хотя работа над некоторыми из них иногда продолжалась довольно долго и имеются даже варианты. Стихи были и игрой, развлечением, и самым любимым и серьезным делом — как бы подпочвой всего его творчества».

Когда-то Константин Михайлович писал:

«Чувствовать себя нужным — самое главное счастье в жизни человека, чувствовать себя ненужным — самое главное несчастье в жизни человека».

Просто и очень точно сказано.

Переделкино,
июнь 1980 г.

Сергей БАРУЗДИН

СОДЕРЖАНИЕ

Константин Михайлович СИМОНОВ

РАЗНЫЕ ДНИ ВОЙНЫ

Том II

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1981, 720 стр. с илл.

Оформление «Библиотеки» **Ю. Алексеевой**

Редактор **М. Серебрянникова**

Художественный редактор **Э. Канаева**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **Л. Сухоставская**

●

А 06465. Сдано в набор 29/VII-80 г. Подписано в печать 1/IV-81 г. Формат $84 \times 108^1/_{32}$. Бумага тип. № 1. Гарнитура «Латинская». Печать офсетная. Печ. л. 22,5.+1 печ. л. вкладки. Усл. печ. л. 37,80. Уч.-изд. л. 44,59. Зак. 1084. Тираж 240.000 (100 001 — 240 000) экз.

Цена 3 руб. 10 коп.

●

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий»,
103473, Москва, И-473, Краснопролетарская, 16.

